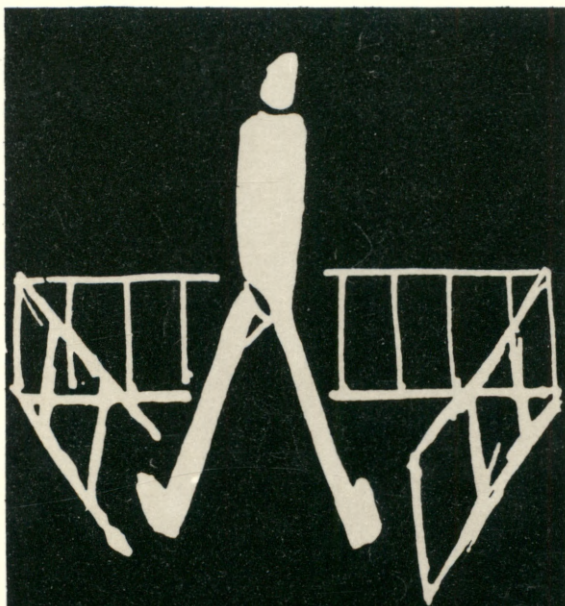


ФРАНЦ КАФКА

ФРАНЦ КАФКА

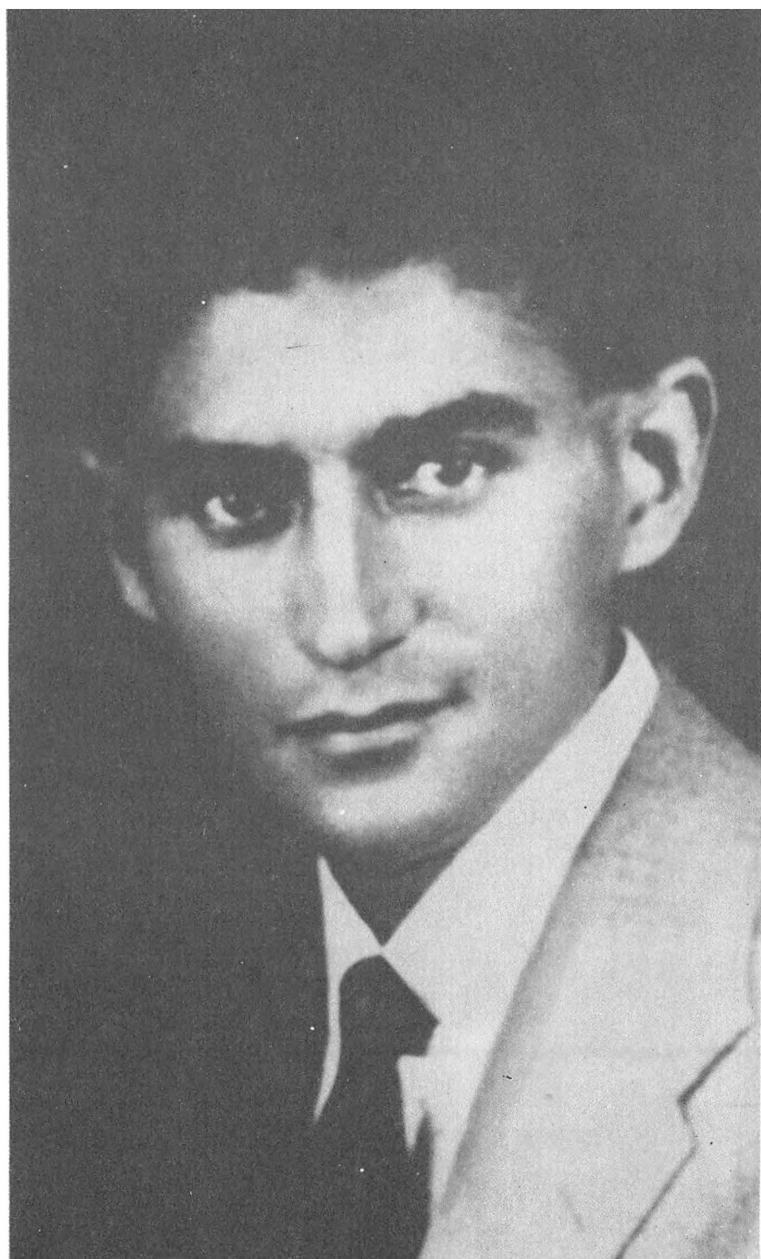


АМЕРИКА
ПРОЦЕСС
Из дневников



Trotz der ~~geringen~~ Menschkenntnis, und ~~der~~ während
seiner langen Dienstzeit in der ~~Zeit~~ ~~der~~ ihm doch
die Gesellschaft eine ~~stimmliche~~ ~~als~~ ~~stetig~~ ~~deutlich~~ ~~das~~
Lehrerin ~~würdig~~ ~~erschienen~~ und so ~~lang~~ ~~nicht~~ ~~selbst~~ ~~gegenüber~~
menschlich, ~~den~~ ~~es~~ ~~für~~ ~~ihn~~ ~~eine~~ ~~große~~ ~~Ehre~~ ~~war~~ ~~einer~~ ~~während~~ ~~der~~
Gesellschaft ~~anzugehören~~. ~~Sie~~ ~~bestand~~ ~~aus~~ ~~anzehender~~ ~~am~~ ~~Richter~~,
~~mit~~ ~~den~~ ~~Recht~~ ~~beamteten~~ ~~und~~ ~~Advokaten~~, ~~auch~~ ~~einige~~ ~~ganz~~ ~~jüngere~~ ~~Beamte~~
und ~~Lehrer~~ ~~zuzugeworben~~ ~~waren~~ ~~eingelassen~~, ~~we~~ ~~sagen~~ ~~mit~~ ~~den~~
Lehrern und ~~Lehrer~~ ~~nicht~~ ~~in~~ ~~die~~ ~~Debatten~~ ~~nur~~ ~~erwähnen~~ ~~wenn~~ ~~besonders~~
Frage ~~an~~ ~~sie~~ ~~gestellt~~ ~~wurden~~. ~~solche~~ ~~Fragestellungen~~ ~~sie~~ ~~haben~~
nicht ~~nur~~ ~~den~~ ~~Zweck~~ ~~der~~ ~~Gesellschaft~~ ~~zu~~ ~~überzeugen~~ ~~besonders~~ ~~fast~~
anzieht. ~~Lehrer~~ ~~der~~ ~~gewöhnlich~~ ~~K~~, ~~Nachbar~~ ~~wer~~ ~~liebte~~ ~~es~~ ~~an~~
Glück ~~liebe~~ ~~in~~ ~~auf~~ ~~diese~~ ~~Weise~~ ~~die~~ ~~jüngere~~ ~~Flora~~ ~~in~~

Franz Kafka



ФРАНЦ КАФКА

АМЕРИКА

Роман

ПРОЦЕСС

Роман

Из дневников

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
1991

ББК 84.4А
К30

Составитель
Е. Кацева

Автор предисловия
Д. Затонский

В художественном оформлении
использованы рисунки
Франца Кафки

К $\frac{0301080000-113}{079(02)-91}$

ISBN 5—250—01696—0

© Составление Е. Кацева, 1991
© Предисловие Д. Затонский, 1991
© Художественное оформление
ПОЛИТИЗДАТ, 1991

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Нет нужды выходить из дому,— писал Кафка.— Оставайся за своим столом и прислушивайся. Даже не прислушивайся, жди. Даже не жди, будь неподвижен и одинок. И мир разоблачит себя перед тобой, он не сможет поступить иначе...» А мы долгими годами верили, что писателю надлежит быть общественником и жить в гуще масс. Кто масс сторонится, писатель плохой, даже вредный.

Кафка — писатель замечательный, только очень странный. Может быть, самый странный из тех, что творили в XX столетии. И странен он не в последнюю очередь тем, что его прижизненная и посмертная судьба необыденностью своей ничуть не уступает его же сочинениям. При этом она вовсе не изобилует приключениями. Напротив, замешена на редкостной ординарности, которая, однако, то и дело рождает в себе неожиданности того вида, какие принято нарекать абсурдными. Ведь абсурд и есть непонятное в своей неожиданности следствие, что вытекает из простейших причин.

Историкам литературы ведомы все факты, слагающиеся в жизнь и творчество Кафки. Но вряд ли они понимают Кафку лучше, чем Шекспира или Сервантеса, о которых многое неизвестно. Даже о том, к какой национальной литературе следует его причислить, интерпретаторы все еще не договорились, поскольку был он евреем, жил в Праге и писал по-немецки. Как некогда семь городов оспаривали друг у друга Гомера, так ныне Кафку хотят присвоить себе и целые литературы, и отдельные влиятельные литературно-философские школы.

Кто-то видит в нем иудейского вероучителя, а кто-то — экзистенциалистского пророка, кто-то — авангардиста, а кто-то — консерватора, кто-то ищет ключ к его тайнам в

психоанализе, а кто-то — в анализе семиотическом или структуральном. Но реальный Кафка всегда как бы выскальзывает из границ четкого мироощущения. И, думается, дело здесь не в его аморфности, не в его эклектизме, а в том, что он крупнее, значительнее, глубже и неизбытнее каждой из тех школ, что пытались наложить на него руку.

Сходным образом обстоит дело и с принадлежностью к национальной литературе. Целиком и полностью он не принадлежит ни одной из них — ни немецкой, ни чешской, ни еврейской. Кафка — австрийский писатель. Но в том смысле, каким это понятие наполняли специфические обстоятельства XIX и первой половины XX века. После второй мировой войны австрийская литература постепенно обретает черты литературы национальной, принадлежащей народу, населяющему нынешнюю Австрийскую Республику. Но старую Австро-Венгрию, ту габсбургскую монархию, что развалилась в 1918 году, населяло множество народов, обладавших собственными национальными литературами. Оттого лишь литературу, что так или иначе держала в поле зрения проблематику всей габсбургской империи, следует именовать «австрийской». Ее языком был немецкий, ибо никакого другого языка не поняли бы одновременно хорват и венгр, поляк и украинец, но дух ее был именно австрийским, то есть многонациональным, даже наднациональным.

В творчестве Кафки смешиваются, сталкиваются элементы германской, иудейской, славянской культур, образуя свой страшный поэтический мир. Но это пока еще черта, объединяющая его с другими австрийскими писателями — Музилом, Брехом, Рильке, Гофмансталем. Некоторые из них тоже странны, хотя и не до такой, как Кафка, степени. Другие (например, Стефан Цвейг) вообще лишены странностей. Так что черта эта на его австрийской принадлежности никак не замыкается.

Здесь-то и вступает в игру та ordinarily неординарная кафковская судьба, о которой уже шла речь. Буду-

ций писатель родился в Праге 3 июля 1883 года. Его мать происходила из рода ученых раввинов, отец, напротив, был сыном полунищего деревенского резника и в юности терпел лишения, но со временем «выбился в люди», став галантерейщиком, даже мелким фабрикантом. Жизненный успех сделал эту практичную, но примитивную натуру авторитарно-нетерпимой. Герман Кафка подчинил своей тирании жену, трех дочерей (пока одна из них не взбунтовалась), а внешне и сына — полную свою противоположность, — которого тем не менее тщился вырастить достойным себя наследником.

Собственная биография наследника событиями не богата. В 1901—1905 годах изучал право в университете и там же слушал лекции по истории искусств и германистике. В 1906—1907 годах стажировался в адвокатской конторе и окружном суде. С 1908 года и практически до конца жизни служил в полугосударственной организации, специализировавшейся на страховании производственных травм. Имея степень доктора права, старательно выполняя свои обязанности, он все же не поднялся выше скромных, дурно оплачиваемых должностей. В 1917 году заболел туберкулезом и с тех пор работал с перерывами, а в 1922 году вынужден был уйти на пенсию. 3 июня 1924 года он скончался в курортном городке Кирлинг под Веной. Если не считать проживания в Берлине в 1923 году, Кафка никогда надолго не покидал Прагу, хотя путешествовать любил и в дни каникул или отпуска изъезжал Германию, Францию, Швейцарию, Италию.

Словом, все здесь удручающе обыкновенно: обывательский мирок, а посреди него жизнь серенькая, почти бессобытийная. Но только внешне, ибо за таким фасадом кроется бытие стойка, борющегося за достойное место под солнцем, трагического стойка, наперед знающего, что он игру свою проиграл. Оттого и растворена в море его боли капля черного юмора. Юмор этот проглядывает и в рисунках, которыми Кафка порой украшал свои рукописи, в рисунках примитивных, напоминающих

детские, изображающих одетых в темное человечков, схожих с печальными клоунами...

Для Кафки не существовало ничего более важного, чем его писательство. «Все мое существо нацелено на литературу...— сообщал он отцу своей невесты Фелиции Бауэр,— если я от литературы когда-нибудь откажусь, то просто перестану жить». Служба писательству мешала; он постоянно на это жаловался, но службы тем не менее не бросал. Более того, признавался упомянутой Фелиции: «Бюро? Что я сумею его когда-нибудь бросить, вообще исключено». Он жаждал создать собственную семью. «Жениться... принять всех рождающихся детей, сохранить их в этом неустойчивом мире...— читаем в его «Письме к отцу» (1919),— это, по моему убеждению, самое большое благо, которое дано человеку». Но далее помолвок дело не шло. Дважды был он обручен с Фелицией Бауэр и один раз с Юлией Вохрыцек. Но, опасаясь, что семейная жизнь повредит писательству, он в последнюю минуту «сбегал из-под венца». Однако и свое писательство он высоко не ценил: постоянно сомневался в своих способностях, редко и неохотно печатался, а перед смертью попросил друга и душеприказчика Макса Брода сжечь все его рукописи...

Такая неустойчивость характера (да еще помноженная на непривычную зашифрованность творчества) вызывала у исследователей подозрение, не был ли Кафка болен душевно? И на болезнь легко списывалось все, что в кафковской жизни и в кафковских сочинениях не удавалось втиснуть в традиционные причинно-следственные ряды. Стобит, однако, подобрать к Кафке ключ, и он перестанет выглядеть столь уж нелогичным.

В том, что писательство было для него всем и что он в то же время книги свои ни во что не ставил, противоречия, по сути, нет. Писательство для Кафки — средство самоутверждения, способ эмансипироваться от тирании отца, вообще, наверное, единственная возможность устоять в этом враждебном мире, как-то от мира заслониться.

И писательство необходимо ему прежде всего как процесс — процесс непрерывный, безостановочный, ибо, остановившись, Кафка, подобно велосипедисту, способен был упасть. А как результат писательство его почти не интересовало. Более того, страшило, потому что грозило превратить часть его самого в чужую или даже ничью собственность. Оттого Кафка и не бросал постылую службу: он не хотел стать профессиональным писателем и тем самым потерять себя.

Для каждого писателя творчество — это часть его личности. Но многое зависит от степени их сращения. А Кафка, имея в виду прежде всего себя, говорил: «Искусство всегда дело всей личности». И так у него во всем: он сращен не только с собственным творчеством, но и с окружающей жизнью. Вся эта жизнь как бы целиком уместается в его голове или, еще точнее, душе, будучи освоена и присвоена субъективным чувствованием. Оттого и нет для него никакой четкой границы между тем, что он заметил на улице, и тем, что ему привиделось во сне...

Подобрать к Кафке ключ — значит постичь, что он воспринимал и воссоздавал мир лишь в себе и через себя. Однако ключ этот всех дверей не открывает: Кафка перестает выглядеть столь уж нелогичным, но и логичным выглядеть не начинает. Его мысли и поступки какому бы то ни было рациональному упорядочению все-таки не поддаются. Главная тому причина — непоправимый, можно бы сказать, удручающий разлад с внешним миром, вина за который, кстати сказать, ложится на мир, а не на страдающего за него Кафку.

Чешская журналистка Милена Есенская, близко знавшая и хорошо понимавшая Кафку, писала о нем: «Для него жизнь является чем-то совершенно иным, чем для всех других людей; деньги, биржа, пункт для обмена валюты, даже пишущая машинка — вещи в его глазах абсолютно мистические (и они действительно таковы, только мы, другие, этого не видим), они для него самые удивительные загадки. Нет у него убежища, нет крыши

над головой. Поэтому он целиком во власти того, от чего мы защищены. Он — как голый среди одетых». Речь идет о какой-то особой обостренности зрения. Надо думать, что породило ее скрещение таланта и обстоятельств: нужно иметь глаза, чтобы видеть, но можно ли что-нибудь увидеть, если смотреть не на что?

Как писателю Кафке «повезло»: он, умевший удивляться, столкнулся с действительностью удивительной, во всей своей обыденности фантастичной. То была рушившаяся на его глазах и в конце концов рухнувшая Австро-Венгерская монархия — своего рода кунсткамера, где тысячелетия, точно старец Ной на своем ковчеге, сберегли все социальные раритеты прошлого, настоящего и будущего, собрали все хвори и деформации человеческой истории. Но и этого мало: судьба уготовила ему, такому, каков он был, специальную роль изгоя, когда сделала евреем, поселила в Праге, да еще в семье выбившегося в люди галантерейщика. «Как еврей,— писал один из немецких его биографов,— он не был своим в христианском мире. Как индифферентный еврей — ибо таковым Кафка был вначале — он не был своим среди евреев. Как человек, говорящий по-немецки, он не был своим среди чехов. Как говорящий по-немецки еврей, он не был своим среди немцев. Как богемец, он не был вполне австрийцем. Как служащий по страхованию рабочих, он не вполне относился к буржуазии. Как бюргерский сын — не вполне к рабочим. Но и на службе он не был весь, ибо чувствовал себя писателем. Но и писателем он не был, ибо отдавал все силы семье. Но «я живу в своей семье более чужим, чем самый чужой». (Последняя фраза заимствована из письма Кафки к отцу Фелицину.)

Воистину у него не было нужды выходить из дому: мир сам вползал к нему в комнату, как тот безногий зеленый дракон, что фигурирует в одном из его видений,— вползал и разоблачал себя...

И все-таки при жизни замечательный писатель Кафка замечен почти не был. И дело даже не столько в том,

что он хотел оставаться незамеченным, сколько в том, что время его еще не пришло. Впрочем, его ситуация не была и такой, какой позднее изображали ее творцы «кафковского бума»: дескать, был он совершенно неизвестным провинциалом, через ночь превратившимся во властителя дум и тем посрамившим порядок вещей, что ухитрился сначала умереть и лишь потом родиться. Он и при жизни был ценен, правда, в узком, зато избранном кругу, состоявшем из таких мастеров, как Гессе, Т. Манн, Деблин, Музиль, Верфель, Брехт.

Напомнить об этом особенно важно потому, что разразившийся в 40—50-е годы «бум», который превратил в бестселлеры не только романы Кафки, но и ученые книги о нем, нес в себе что-то нездоровое, расчетливо-сенсационное. И возникло подозрение, будто Кафка отнюдь не великий писатель, а просто баловень судьбы. Или даже орудие в чьих-то «нечистых руках» — орудие пропаганды. «Бум», однако, кончился, а Кафка остался: его и сегодня широко издают, охотно читают, интенсивно изучают. Правда, по преимуществу на Западе. Хотя года два тому назад начали к этому приобщаться и мы — с большим опозданием, но и с большим энтузиазмом.

Чем же объяснить неутолимость интереса к Кафке? Особенно если речь идет как о нас, так и о Западе, который мог бы успеть Кафкой пресытиться. Ведь он писал и «Процесс», и «Замок», и «Превращение» еще в годы первой мировой войны и последовавших за ней революций, когда по Европе лишь начали расползаться тоталитарные режимы, а прославлен был уже после второй мировой войны, когда рухнул нацизм и дала трещины сталинщина. Ныне иные времена (наступила как бы третья, считая от Кафки, эпоха), когда демократия с терпимостью возросла в цене.

Некогда распространялось мнение, будто Кафка предрек и фашизм и большевизм, даже предсказал вынос тела Сталина из Мавзолея. Но он политическим писателем не был, хотя и мог сказать, отвечая на прямой во-

прос: «В конце всякого подлинно революционного процесса появляется какой-нибудь Наполеон Бонапарт... Чем шире разливается половодье, тем более мелкой и мутной становится вода. Революция испаряется, и остается только ил новой бюрократии». В принципе же его мучили вопросы метафизические и онтологические, общим знаменателем которых была проблема: «человек и власть». Лауреат Нобелевской премии Э. Канетти так и сказал о нем: «. среди всех поэтов Кафка — величайший эксперт по вопросам власти». Но вовсе не власти Гитлера или Сталина, ибо у Кафки она всегда безлика, анонимна, по временам почти неосязаема и все же вездесуща и необорима. Это власть бюрократии, власть системы, внутри себя идеальной, во всем остальном бессмысленной.

Кафка глубоко заглянул в природу столкновений между индивидом и такой властью, почему и постиг их новейшую особость. Более того, ему открылось, что алогизм заложен в фундамент всякой власти, что он в том или ином виде присущ всем общественным системам. Отчуждение личности — их неизбежный побочный продукт, который они, однако, «утилизируют», успешно используя в качестве инструмента насилия. Живя в Австро-Венгрии, наблюдая ее распад, Кафка постиг механизм анонимного, вездесущего, но почти неосязаемого насилия и — что, может быть, не менее важно — оказался чем-то вроде его подопытного кролика. Это и сделало Кафку величайшим экспертом не только по вопросам власти, но и по вопросам отчуждения.

Пойдем, однако, далее. Демократия с терпимостью ныне возросли в цене отнюдь не по причине повсеместного распространения того гуманизма, который владел европейскими умами со времен Возрождения и до конца XIX века. Цену на них подняли соображения более прагматичные. Атомную бомбу люди создавали, чтобы ее взорвать, а взрыва термоядерной бомбы убоялись из-за ее чрезмерной убийственной силы, способной истребить все живое. Так поначалу думалось, но потом оказа-

лось, что термоядерный взрыв вообще не нужен, что взаимный страх уже более полувека бережет человечество лучше любого ангела-хранителя. Дьявольское оружие, способное по капризу каждого маньяка отправить мир в тартарары, этот же самый мир и охраняет! Наверное, за всю историю человечества никому не приснился сюжет более абсурдный. Пусть не каждому дано понять, что он — заложник безумия, но не чувствовать этого он просто не может. И обращается к Кафке, потому что Кафка еще и величайший эксперт по вопросам абсурда.

Взять хотя бы его роман «Америка» — неоконченный, как и все романы этого писателя, и самый из них ранний, сочинявшийся между 1911 и 1916 годами. Это рассказ о шестнадцатилетнем мальчике, которого родители в наказание за то, что он дал совратить себя служанке, спровадили в Нью-Йорк. Этот Карл Россман на редкость добр, отзывчив, наивен. Разного рода проходимцы пользуются его доверчивостью и втягивают в неприятные и странные авантюры. Здесь, как и всюду у Кафки, человек противопоставлен непонятному и враждебному миру. Правда, мир «Америки» еще относительно конкретен: он как бы окрашен в диккенсовские тона, и в нем присутствуют некоторые реалии современных автору Соединенных Штатов.

Вот что, однако, примечательно: Кафка никогда за океаном не бывал. Так зачем же ему, великолепно знавшему свою Прагу, понадобилось забираться в никогда им не виденный Нью-Йорк? На то имелось несколько причин самого разного свойства. Осязаемо воссоздать атмосферу фатального отчуждения легче, если поместить героя в чужую среду, в мир, на который и он, и автор смотрят взглядом непосвященного. Такой взгляд способен по-настоящему преобразить действительность, извлечь на свет все в ней заложенные абсурды. Это с одной стороны, а с другой — все, что Кафка хорошо знает, становится частью его души и, следовательно, претворяется по законам кафковской мифотворческой символики. Но писатель

ведь хотел создать роман в некотором роде традиционный, диккенсовский. Такому роману необходимы люди и предметы, еще сохраняющие некую долю независимой от автора объективности. У Кафки они могли быть только людьми и предметами вторичного мира, заимствованного из книг, из чьих-то рассказов, даже логически домысленного.

Но и будучи вторичным, мир «Америки» — типично кафковский: коридоры-лабиринты, бесконечные грязные лестницы, «чудовищная иерархия» провинциальной гостиницы. Так что человек, противопоставленный ему в этом романе, куда для Кафки необычнее: в поражении Карла Россмана повинны условия, действующие вне его воли и сознания; он мог бы победить, если бы изменились условия. «Америка» — нечто вроде кафковской утопии. И, как во всякой утопии, ее действию следует разыгрываться в стране если не вымышленной, то по крайней мере экзотической...

В романе «Процесс» (Кафка работал над ним в 1915—1918 годах и тоже не завершил) действие происходит в Праге, хотя город и не назван. Там по делу Йозефа К., прокуриста крупного банка, ведет следствие некий неофициальный, но всесильный суд: его присутствия почему-то располагаются на чердаках всех домов города. Поначалу герою кажется, что стоит сделать вид, будто ничего не случилось, и все само собою образуется. Но постепенно тихий омут процесса затягивает его. И тогда он начинает сопротивляться. В сопротивлении этом есть немало трагического: некоему коммерсанту благодаря пресмыкательству перед судейскими удается затянуть свой процесс на долгих пять лет, а для Йозефа К. конец наступает скоро, ибо он отказывается принять несправедливый закон. Являются двое в цилиндрах, похожие на «старых отставных актеров», ведут его в заброшенную каминную и убивают ножом, как скотину. Сходство палачей с отставными актерами — это одна из капель черного юмора, растворенных в море боли.

Э. Канетти написал в 1969 году книгу «Другой процесс», в которой, опираясь на переписку Кафки, поставил себе целью доказать, что рассматриваемый роман насквозь автобиографичен: в нем иносказательно воссоздана история первой помолвки и разрыва с Феллицей Бауэр. Доводы Канетти вполне убедительны, тем более что си ни в коей мере не отбрасывает социальное истолкование романа. Ему лишь важно показать, что общее у Кафки никогда не выступает (да и не способно выступать) в отрыве от сугубо личного, частного, приватного. Оно-то и порождает первый пласт значений, то есть судилище, которое семейство Бауэр устроило в Берлине несостоявшемуся жениху. Но суд в «Процессе» — это и социальная система, посреди которой Кафка существовал; это и мир, который автор хорошо знает, с которым сросся и который преобразуется за счет такого сращения.

Если Карл Россман был противопоставлен окружению, внутренне не имел с ним ничего общего, то Йозеф К. плоть от плоти системы, породившей тот кошмарный суд, что судит его. С одной стороны, он преследуемый, гонимый человек, а с другой — крупный бюрократ, защищенный заслоном секретарей от всех неожиданностей и случайностей (арест произошел утром, в пансионе и застал едва проснувшегося героя врасплох). Иначе говоря, Йозеф К. — часть враждебной ему самому действительности, и это делает его «нечистым» в собственных глазах, вызывает все возрастающее чувство вины. Оттого он и не может уйти от суда, хотя тот его и не держит. «Суду ничего от тебя не нужно, — говорит ему священник. — Суд принимает тебя, когда ты приходишь, и отпускает, когда ты уходишь». Тем самым суд — еще и высшая справедливость, индивидуальный закон, который каждый создает для себя. И это, третье, значение суда постепенно берет верх. Йозеф К. начинает не столько осматриваться, сколько всматриваться в себя и видит лишь то, что делает его сопричастным чудовищной и бессмысленной орга-

низации бытия. Даже как личности ему не остается ничего, кроме стоицизма отчаяния.

27 января 1922 года Кафка сделал в дневнике следующую запись: «Несмотря на то что я четко написал свое имя в гостинице, несмотря на то что и они уже дважды правильно написали его, внизу на доске все-таки написано «Йозеф К.». Просветить мне их или самому у них просветиться?» При жизни автора «Процесс» не издавался, так что отождествить его с героем романа не мог ни один гостиничный портье. Это сделал сам Кафка, ибо ощущал себя Йозефом К. Всех своих протагонистов он в некотором роде писал с себя. Так что его жизнь никак не была отделена от его творчества; они легко и таинственно друг в друга переливались. Что же до самого творчества, то и в нем, по сути, не было границ между художественным и нехудожественным.

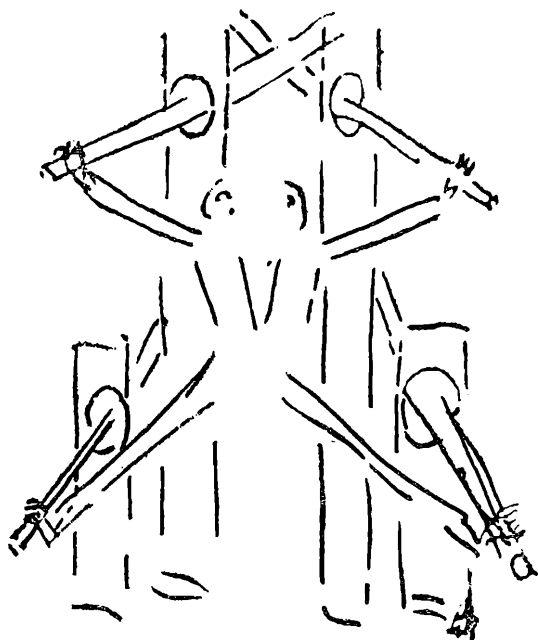
Вот еще одна дневниковая запись: «...мне заткнули рот кляпом, надели кандалы на руки и ноги, завязали платком глаза. Несколько раз меня протащили взад-вперед... дали немножко полежать спокойно, а потом стали глубоко всаживать что-то острое...» В дневниках Кафки нередко присутствуют литературные наброски, но эта запись не из их числа: она прямо относится к нему самому. Это, естественно, не значит, будто он и правда был подвергнут пытке. Перед нами метафора его человеческой судьбы. Такой он ее не видел, но такой он ее чувствовал. Это чувство сообщало душевным болям, нравственным тупикам, политическим страхам конкретный, зримый, осязаемый облик. И дневники оборачивались художественными текстами, а романы или новеллы — «документами» кафковской биографии. Тут все было сочинено и одновременно ни одно слово не было выдуманно.

Все сочинено, но ничто не выдуманно — может быть, это и есть формула, с помощью которой улавливается странный и замечательный писатель Франц Кафка?

Д. Затонский

АМЕРИКА

Роман



AMERIKA

Roman

1911—1916

Глава первая

КОЧЕГАР

Когда шестнадцатилетний Карл Россман, отправленный опечаленными родителями в Америку из-за того, что некая служанка соблазнила юношу и родила от него ребенка, медленно вливал на корабле в нью-йоркскую гавань, статуя Свободы, которую он завидел еще издали, внезапно предстала перед ним как бы залитая ярким солнцем. Ее рука с мечом* была по-прежнему поднята, фигуру ее оведал вольный ветер.

— Какая высокая! — сказал он себе, меж тем как все более густой поток носильщиков, тянувшийся мимо, мало-помалу, хотя он вовсе не думал пока выходить, вынес его к самому борту.

Молодой человек, с которым Карл немного познакомился во время плавания, сказал ему мимоходом:

— Ну, вы все еще не решаетесь сойти?

— Я готов, — сказал Карл, улыбнувшись ему, и с вызовом, так как был сильным парнем, вскинул на плечо свой чемодан. Но, взглянув на своего знакомого, который, помахивая тростью, уже смешался с толпой других пассажиров, он растерялся, вспомнив, что забыл в каюте свой зонт. Он попросил знакомого, пожалуй не слишком осчастливленного этим, оказать ему любезность и присмотреть за его чемоданом, огляделся, чтобы сориентироваться при возвращении, и поспешил прочь. Внизу, к своему сожалению, Карл обнаружил, что проход, который очень сократил бы его путь, впервые оказался закрыт, что, по-видимому, было связано с полной высадкой пассажиров, и был вынужден разыскивать трапы, снова и снова следовавшие друг за другом, проходить то и дело заворачивающимися коридорами, мимо пустых кают с одинокими письменными столами, — до тех пор, пока на са-

* Так у автора. — Здесь и далее примечания переводчиков.

мом деле, так как проходил этим путем раз или два и всегда в большой компании, окончательно и бесповоротно не заблудился. В растерянности, не видя кругом ни души, а только слыша над собою непрерывно текущий тысяченогий людской поток и улавливая далекий отзвук уже остановленных машин, он, не раздумывая, принялся стучать в первую попавшуюся маленькую дверь, у которой остановился в своих блужданиях.

— Да открыто же,— крикнули изнутри, и Карл со вздохом облегчения толкнул дверь.— Чего ради вы стучите как сумасшедший? — спросил огромного роста мужчина, едва взглянув на Карла. Откуда-то сверху через иллюминатор в жалкую каюту падал мутный, давным-давно рассеявшийся в недрах корабля свет; койка, шкаф, стул и мужчина теснились друг подле друга, как в камере хранения.

— Я заблудился,— сказал Карл.— Во время плаванья я как-то не обратил внимания, что корабль ужасно большой.

— Да, вы правы,— произнес мужчина с оттенком гордости, продолжая заниматься замком небольшого сундучка, раз за разом закрывая его обеими руками и прислушиваясь к щелканью язычка.

— Входите же! — воскликнул мужчина.— Не стоять же вам в коридоре!

— Я не мешаю? — спросил Карл.

— А чему тут можно помешать?!

— Вы немец? — Карл решил на всякий случай подстраховаться, так как много слышал об опасностях, грозивших эмигрантам в Америке, особенно от ирландцев.

— Да немец, немец,— сказал мужчина.

Карл все еще медлил. Тут мужчина внезапно схватил дверную ручку и, быстро закрыв дверь, вдвинул Карла к себе в каюту.

— Я не терплю, когда за мной подсматривают из коридора,— продолжал он, снова занявшись своим сундучком,— потому что каждый идет мимо и заглядывает сюда, такое не всякий выдержит.

— Но коридор совершенно пуст,— сказал Карл, неловко прижатый к коечной стойке.

— Это сейчас,— сказал мужчина.

«Именно о «сейчас» и идет речь,— подумал Карл.— С этим человеком нелегко столкнуться».

— Ложитесь-ка на койку, там места побольше,— сказал мужчина.

Карл кое-как забрался туда, громко посмеявшись над первой неудачной попыткой. Но, едва оказавшись на койке, он воскликнул:

— Боже милостивый, я же совсем забыл о своем чемодане!

— Где же он?

— На верхней палубе, его стережет мой знакомый. Как бишь его зовут? — И он вытащил из потайного кармашка, который мать пришила ему для поездки к подкладке пиджака, визитную карточку.— Буттербаум. Франц Буттербаум.

— Чемодан вам очень нужен?

— Естественно.

— Тогда почему вы отдали его чужому человеку?

— Я оставил внизу зонтик и побежал за ним, но не хотел тащиться с чемоданом. А потом я в конце концов еще и заблудился.

— Вы один? Без сопровождающих?

— Да, один.

«Наверное, мне нужно держаться этого человека,— мелькнуло в голове у Карла.— Лучшего товарища мне сейчас не найти».

— Так. Теперь вы еще и чемодан потеряли. Не говоря уж о зонтике.

И мужчина уселся на стул, как будто теперь дело Карла приобрело для него некоторый интерес.

— Но я полагаю, чемодан еще не потерян.

— Блажен, кто верует,— сказал мужчина и энергично взбил свою темную, короткую, густую шевелюру.— Что ни порт, то на корабле новые обычаи. В Гамбурге ваш Буттербаум, возможно, и стерег бы чемодан; здесь же, вероятнее всего, обоих и след простыл.

— Но тем не менее я должен сейчас посмотреть,— произнес Карл, прикидывая, как бы отсюда выбраться.

— Лучше останьтесь,— сказал мужчина и прямо-таки грубо толкнул его назад, на койку.

— Почему это? — сердито спросил Карл.

— Потому что это не имеет смысла,— сказал мужчина.— Через минуту я тоже пойду, вот и отправимся вместе. Чемодан или украден — тогда ничем не поможешь, или тот человек оставил его, и мы скорее его отыщем, когда судно совсем опустеет. То же и с вашим зонтиком.

— Вы хорошо ориентируетесь на корабле? — спросил Карл недоверчиво, и ему почудилась скрытая загвоздка

в убедительной, впрочем, мысли, что на опустевшем корабле его вещи найдутся скорее.

— Я как-никак судовой кочегар.

— Вы судовой кочегар! — радостно воскликнул Карл, будто это превосходило все его ожидания, и, опершись на локоть, присмотрелся к собеседнику получше.— Как раз перед каютой, которую я делил с одним словаком, был люк, а в него можно было видеть машинное отделение.

— Да, там я и работал,— кивнул кочегар.

— Я всегда интересовался техникой,— сказал Карл, продолжая свою мысль,— и непременно стал бы инженером, если бы не пришлось поехать в Америку.

— Отчего же вам пришлось поехать?

— Это неважно! — сказал Карл и отмахнулся рукой от всей той истории. При этом он с улыбкой смотрел на кочегара, будто прося его о снисхождении к тому, в чем даже не признался.

— Стало быть, причина имеется,— заметил кочегар, и было неясно, то ли он требует рассказа, то ли отклоняет его.

— Теперь я тоже мог бы стать кочегаром,— сказал Карл.— Моим родителям теперь совершенно безразлично, кем я стану.

— Мое место освободилось,— решительно сообщил кочегар, сунул руки в карманы жестких, как кожа, серо-стальных мягких брюк и, вытянув ноги, забросил их на койку. Карлу пришлось отодвинуться дальше к стене.

— Вы оставляете корабль?

— Вот именно, мы нынче уходим.

— Отчего же? Вам не нравится здесь?

— Есть определенные обстоятельства, а нравится или нет — дело второе. Впрочем, вы правы — мне здесь не нравится. Вероятно, вы не думаете стать кочегаром всерьез, хотя как раз в таком случае это легче всего. Я лично решительно вам не советую. Если в Европе вы собирались учиться, почему не хотите здесь? Американские университеты гораздо лучше европейских.

— Возможно,— сказал Карл,— но для учебы у меня почти нет денег. Правда, я читал об одном человеке — днем он работал, а по ночам учился, пока не стал ученым и, помнится, бургомистром, но ведь для этого требуется большая настойчивость, верно? Боюсь, что у меня ее нет. Кроме того, я был не особенно хорошим учеником, и расставание со школой мне нисколько не было тягост-

но. А здесь, скорее всего, порядки в школах еще строже. По-английски я почти не знаю. И вообще, думаю, к иностранцам здесь питают предубеждение.

— Вы и это уже почувствовали? Ну, тогда все в порядке. Вы-то мне как раз и нужны. Видите ли, мы — на немецком корабле, принадлежащем Гамбургско-Американскому пароходству; почему же здесь не одни только немцы? Почему старший механик — румын? Его фамилия Шубал. Невероятно, а? И эта подлая собака сдирает шкуру с нас, немцев, на немецком судне! Вы не думайте, — тут он задохнулся и замахал рукой, — что я жалуюсь в надежде на сочувствие. Я знаю, у вас нет никакого влияния, вы сами просто бедный паренек. Но это уж слишком! — И он ударил несколько раз по столу, не сводя взгляда с собственного кулака. — Ведь я служил уже на многих посудинах, — и он перечислил два десятка названий, друг за другом, будто одно слово, совершенно заморочив Карла, — и неплохо отличился, удостоился похвал, все мои капитаны были мною довольны, даже ходил несколько лет на одном из нынешних торговых парусников, — он поднялся, словно это была вершина его жизни, — а здесь, на этой развалине, где все по расчету, где шутка под запретом, здесь я никуда не гожусь, здесь я вечно стою Шубалу поперек горла, лентяйничая, получаю свой заработок из милости и вполне заслуживаю пинка под зад. Вы что-нибудь понимаете? Я — нет.

— Вы не должны с этим мириться, — взволнованно сказал Карл. Он уже почти забыл, что находится на борту корабля, у берегов незнакомой части света, — так по-домашнему уютно было ему здесь, на койке кочегара. — Вы уже были у капитана? Искали у него справедливости?

— Ах, идите вы лучше, куда шли. Я не хочу вас больше видеть. Вы не слушаете, что я говорю, а даете советы. Да разве я могу идти к капитану?! — Кочегар устало сел, спрятав лицо в ладони.

«Лучшего совета я ему дать не могу», — подумал Карл. И вообще, он считал, что лучше бы ему отправиться за своим чемоданом, чем давать здесь советы, которые еще и называют глупыми. Когда отец напоследок вручал ему чемодан, то спросил в шутку: «Долго ли ты будешь его владельцем?» — а теперь его верный чемодан, по-видимому, действительно потерял. Хорошо еще, отец вряд ли узнает о его нынешнем положении, даже если вздумает навести справки. Пароходство сообщит лишь,

что он добрался до Нью-Йорка. Но Карла огорчало, что вещи в чемодане почти еще не были в употреблении, хотя ему, например, давно следовало бы сменить рубашку. Не на том он сэкономил, ясное дело; именно теперь, когда в начале жизненного пути необходимо предстать аккуратно одетым, ему придется ходить в грязной сорочке. В остальном пропаша чемодана была не слишком огорчительна, потому что костюм на нем был даже лучше того, что в чемодане; собственно говоря, тот костюм был на крайний случай, перед отъездом мать тщательно его заштопала. Тут же он припомнил, что в чемодане был еще кусок веронской салиаи, подарок матери, от которого он съел совсем чуть-чуть, так как в течение всего рейса у него совершенно не было аппетита и он довольствовался супом, выдаваемым на твиндеке. Но сейчас эта колбаса пришлась бы очень кстати, чтобы уважить кочегара. Ведь таких людей легко расположить к себе, подарив какой-нибудь пустяк; это Карл знал от своего отца, каковой, раздавая сигары мелким чиновникам, с которыми сталкивался по делу, неизменно привлекал их на свою сторону. Теперь у Карла для подарка оставались только деньги, а их, коль скоро чемодан потерян, он пока что трогать не хотел. Его мысли опять вернулись к чемодану; теперь он совершенно не понимал, почему во время рейса так старательно оберегал чемодан, что это бдение порою стоило ему сна, если сейчас с такой легкостью позволил себе его лишиться. Ему вспомнились пять ночей, в течение которых он непрерывно подозревал в посягательстве на свое сокровище маленького словака, расположившегося слева от него, через две койки. Этот словак только и ждал, когда Карл, вконец ослабев, задремлет, чтобы быстренько перетянуть к себе чемодан длинной тростью, с которой он днем все время играл или упражнялся. При свете дня словак выглядел вполне безобидно, но едва наступала ночь, он время от времени поднимался со своего места, озабоченно посматривая на чемодан Карла. Это Карл видел совершенно явственно, так как кто-нибудь то и дело с беспокойством эмигранта зажигал свет, хотя корабельными порядками это строго запрещалось, и пытался разобраться в бестолковых проспектах эмиграционных агентств. Если свет зажигали поблизости, Карл мог немного вздремнуть, если же свет был далеко или вообще не горел, приходилось смотреть в оба. Эти усилия порядком его издергали, а при теперешних обстоятельствах оказались, по-видимому, вообще

бессмысленными. Ох уж этот Буттербаум, ну попадись он Карлу!

В это мгновение в ничем до сих пор не нарушаемый покой каюты откуда-то из коридора, издали, вторглись негромкие частые звуки — как от детских ножек; вот они приблизились, стали слышнее и превратились в звук неспешных мужских шагов. Из-за тесноты коридора люди шли, видимо, вереницей, и слышался лязг, будто бряцало оружие. Карл, избавленный от забот о чемодане и словачке, едва не погрузился на койке в сон, насторожился и подтолкнул кочегара, чтобы предостеречь и его, так как голова процессии, похоже, достигла двери их каюты.

— Это судовой оркестр,— сказал кочегар,— они отыграли наверху, а теперь идут укладываться. Все в порядке, нам тоже пора. Пойдемте!

Он схватил Карла за руку, снял напоследок еще иконку Богородицы, висевшую в изголовье, сунул ее в нагрудный карман, взял свой сундучок и вместе с Карлом топливо вышел из каюты.

— Пойду сейчас в канцелярию и выскажу господам все, что я думаю. Пассажиров там больше нет, так что любезничать не обязательно.— Кочегар повторял это на разные лады и на ходу попытался пришибить ногой перебежавшую коридор крысу, но его пинок только отбросил ее ближе к норе, куда она и юркнула. Кочегар вообще был медлителен в движениях из-за своих хотя и длинных, но излишне массивных ног.

Они шли через камбузный отсек, где несколько девушек в грязных, будто нарочно, фартуках мыли в больших чанах посуду. Кочегар подозвал некую Лину, обнял ее за талию и повел за собой, а она меж тем кокетливо прижималась к его плечу.

— Сейчас нам выплатят деньги, пойдешь с нами? — спросил он.

— С чего это я должна утруждать себя, лучше сюда принеси деньги,— ответила она, проскользнула у него под мышкой и убежала.— Где ты подцепил такого хорошенького мальчика? — успела она еще крикнуть, но ответа ждать не стала. Девушки, прервавшие свою работу, засмеялись.

А они отправились дальше и подошли к двери с небольшим козырьком наверху, который поддерживали маленькие позолоченные карниаты. На корабле это выглядело просто расточительством. Карл отметил про

себя, что во время рейса ни разу не попадал в эту часть корабля, вероятно предоставленную пассажирам первого и второго класса; теперь же, перед генеральной уборкой, все обычно запертые двери были распахнуты. Они в самом деле повстречали уже нескольких мужчин, несших на плече швабры и поздоровавшихся с кочегаром. Карл удивился этой рабочей суете, которую редко замечал на своей жилой палубе. Вдоль коридоров тянулись кабели электропроводки, и все время слышались удары сигнального колокола.

Кочегар почтительно постучал в дверь и, когда слышалось: «Войдите!» — жестом показал Карлу: входи, мол, не бойся. Тот вошел, но остался стоять у двери. За тремя иллюминаторами канцелярии он увидел морские волны, и при виде их радость подступила к его сердцу, словно он пять долгих дней подряд не всматривался в океанские просторы. Огромные корабли шли пересекающимся курсом, покачиваясь соответственно своим размерам. Если прищурить глаза, казалось, что корабли пошатывает от непомерной тяжести. На мачтах они несли вымпелы, длинные и узкие, расправлявшиеся на полном ходу, однако же временами бестолково трепетавшие. Порой доносились пушечные выстрелы, вероятно, салют с военных кораблей; стволы пушек одного не слишком далеко проходившего корабля, сияя блеском стали, словно нежились после благополучного плавания по бурному океану. От двери можно было также наблюдать, как вдали, проскальзывая между огромными кораблями, в гавань входило множество лодок и суденышек. А за всем этим высился Нью-Йорк, глядя на Карла тысячеоконными громадами небоскребов. Да, в этом помещении стоило побывать.

За круглым столом сидели трое: один — судовой офицер в синей морской форме, два других — чиновники портового ведомства в черных американских мундирах. На столе лежали сложенные стопкой различные документы, которые офицер сначала с пером в руке бегло просматривал, а затем передавал чиновникам, которые то читали их, то делали выписки, то укладывали в свои портфели; порою же один из них, чуть ли не непрерывно поскрипывавший зубами, что-то диктовал для протокола своему коллеге.

У окна, за письменным столом, спиной к двери, сидел невысокий человек, занимавшийся огромными фолиантами, которые были расставлены перед ним на добротной

полке. Возле него стоял открытый и пустой — по крайней мере на первый взгляд — сейф.

Второй иллюминатор не был загорожен и предоставлял прекрасную возможность обзора гавани. Зато неподалеку от третьего стояли, вполголоса беседуя, двое мужчин. Один из них, прислонившийся к стене, тоже был в морской форме и поигрывал эфесом шпаги. Второй глядел в иллюминатор, и порой, когда он шевелился, можно было увидеть ордена на груди его собеседника. Он был в штатском, с тонкой бамбуковой тросточкой, которая, поскольку он держал руки на бедрах, тоже торчала как шпага.

У Карла было маловато времени, чтобы все толком разглядеть, потому что очень скоро к ним подошел стюард и спросил кочегара, что ему здесь нужно, глядя на него при этом так, будто ему тут не место. Кочегар так же тихо ответил, что хотел бы поговорить со старшим кассиром. Стюард в свою очередь жестом отклонил эту просьбу, но все же, обойдя подальше круглый стол, на цыпочках приблизился с низким поклоном к человеку с фолиантами. Тот — это было ясно видно — прямо-таки оцепенел от слов стюарда, но в конце концов повернулся к тому, кто желал с ним поговорить, и протестующе замахал руками, отказывая и кочегару, и — надежности ради — стюарду. После этого стюард вернулся к кочегару и сказал ему чуть ли не доверительно:

— Немедленно освободите помещение!

Услышав сей ответ, кочегар обратил свой взгляд на Карла, словно тот был его сердцем, коему он безмолвно жаловался на свое горе. Без долгих размышлений Карл сорвался с места, быстро пересек каюту, так что даже слегка задел кресло офицера; стюард семенил рядом, пригнувшись и растопырив руки, будто отгоняя назойливого паразита, но Карл первым достиг стола старшего кассира и ухватился за его край, на случай, если стюард попытается оттащить его.

Естественно, все вокруг тотчас оживилось. Морской офицер у стола вскочил; представители портового ведомства наблюдали за происходящим спокойно, но внимательно; те двое, что беседовали у иллюминатора, стали рядом; стюард, полагая, что не след ему высовываться там, где уже и начальство проявляет интерес, отступил назад. Кочегар у двери напряженно ожидал минуты, когда понадобится его помощь. И наконец, старший кассир резко повернулся направо в своем кресле.

Карл сунул руку в потайной карман, без опаски обнаружив его перед этими людьми, вытащил свой заграничный паспорт и положил его открытым на стол, тем самым как бы представившись. Старшему кассиру паспорт показался совершенно излишней вещью, он щелчком отбросил его в сторону, после чего Карл, решив, что с формальной стороны дела покончено, снова его спрятал.

— Я позволю себе сказать,— начал он,— что, по моему мнению, с господином кочегаром поступили несправедливо. Есть здесь некий Шубал, который его подсиживает. Господин кочегар благополучно служил на многих кораблях, которые он может вам перечислить, он прилежен, усердно исполняет свою работу, и в самом деле непонятно, почему именно на этом корабле, где служба не столь уж и трудна, не в пример паруснику, он оказался не ко двору. Стало быть, только клевета препятствует ему в продвижении по службе и лишает одобрения, которое в иной ситуации он бы непременно снискал. Я изложил лишь суть дела, свои конкретные жалобы он выскажет сам.

Карл обращался с речью ко всему обществу, да фактически все его и слушали; и ведь среди всех них куда вероятнее мог сыскаться человек справедливый, и не обязательно это будет старший кассир. Вдобавок Карл схитрил и умолчал, что знаком с кочегаром совсем недавно. Впрочем, он высказался бы еще красноречивее, если бы его не смутило багровое лицо человека с тросточкой, которое он увидел со своего теперешнего места.

— Все это верно, от первого до последнего слова,— сказал кочегар, прежде чем кто-либо успел задать ему вопрос и даже взглянуть на него. Эта поспешность кочегара обернулась бы большой ошибкой, если бы господин в орденах — не иначе как капитан, догадался Карл — не принял решение выслушать кочегара. Он повелительно взмахнул рукой и громко произнес: «Подойдите сюда!» Голос у него был железный, в пору молотом ковать. Теперь все зависело от кочегара, ибо что до справедливости его жалоб, то в ней Карл не сомневался.

К счастью, тут выяснилось, что кочегар недаром много бродил по свету. Не суетясь, с достоинством вытащил он из своего сундучка связку бумаг и записную книжку, будто так и надо, подошел к капитану, полностью игнорируя старшего кассира, и разложил на подоконнике свои доказательства. Старшему кассиру не оставалось ничего, кроме как тоже перебраться поближе.

— Этот человек — известный склочник,— объяснил он,— и больше отирается в канцелярии, чем в машинном отделении. Шубала, этого выдержанного человека, он довел до полного отчаяния. Послушайте! — обратился он к кочегару.— Ваша назойливость в самом деле дошла до предела. Сколько раз вас уже выставляли из бухгалтерии, как вы того и заслуживали своими совершенно и исключительно необоснованными претензиями! Сколько раз вы оттуда прибегали ко мне! Сколько раз вам объясняли по-хорошему, что Шубал — ваш непосредственный начальник, с которым вы, его подчиненный, обязаны ладить! А теперь вы являетесь еще и сюда бесстыдно надоедать господину капитану, мало того, у вас хватило наглости привести с собой подголоска — этого юнца, который заученно твердит ваши пошлые обвинения, а его я вообще вижу на судне в первый раз!

Карла так и подмывало выскочить вперед, однако он сдержался. Но тут вмешался капитан:

— Давайте все же выслушаем этого человека. Мне тоже кажется, что Шубал с некоторых пор берет на себя слишком много, но этим я ничего не хочу сказать в ваше оправдание.

Последнее относилось к кочегару; вполне естественно, что капитан не мог сразу за него вступить, но, похоже, все шло как надо. Кочегар приступил к объяснениям и, превозмогая себя, с самого начала титуловал Шубала «господином». А Карл всей душой радовался, стоя у покинутого старшим кассиром письменного стола и от удовольствия покачивая почтовые весы.

— Господин Шубал несправедлив! Господин Шубал покровительствует иностранцам! Господин Шубал выгнал меня из машинного отделения и заставил чистить гальюны, что конечно же не является обязанностью кочегара!

Под сомнение была поставлена даже деловитость господина Шубала: она, мол, скорее мнимая, чем наличествующая фактически. На этом месте Карл пристально посмотрел на капитана, доверительно, словно был его коллегой: дескать, не обессудьте, такая уж у кочегара неловкая манера выражаться. Как бы там ни было, ничего конкретного в этой долгой речи не прозвучало, и, хотя капитан все еще смотрел прямо перед собой, твердо решив на сей раз выслушать кочегара до конца, остальные уже выказывали признаки нетерпения, и вскоре голос кочегара перестал быть центром общего внимания, что вызы-

вало известные опасения. Сначала человек в штатском пустил в ход бамбуковую тросточку, постукивая ею — хоть и чуть слышно — по полу. Другие посматривали по сторонам; чиновники из портового ведомства, очевидно торопившиеся, снова взялись за документы и начали, пока еще рассеянны, их просматривать; офицер опять придвинул свой стул поближе, а старший кассир, полагая, что победа за ним, вздохнул с подчеркнутой насмешкой. Всеобщая рассеянность не затронула, пожалуй, лишь стюарда, который в какой-то мере извещал страдания маленького человека под пятою сильных мира сего и серьезно кивал Карлу, будто желая этим что-то объяснить.

Меж тем порт за окном жил своей жизнью, низкая баржа с горой бочек, искусно уложенных так, чтобы они не раскатывались, прошла мимо, на минуту погрузив помещение в полумрак; катерки, которые Карл, будь у него время, мог бы сейчас как следует разглядеть, стрелой летели вперед, подчиняясь уверенным рукам рулевых. Странные плавающие предметы неожиданно выныривали тут и там из беспокойной воды и снова скрывались в пучине от изумленных взоров; резвые гребцы-матросы вели вперед шлюпки океанских пароходов, набитые пассажирами — стиснутые со всех сторон, они сидели робкие и полные ожидания, хотя кое-кто не упускал случая повертеть головой, разглядывая изменчивый вид. Бесконечное движение, беспокойство неугомонной стихии передавались маленьким человечкам и плодам их труда!

И все призывало к быстроте, к ясности, к совершенно четкому исполнению обязанностей, а чем был занят кочегар? Он весь вспотел от своей речи и давным-давно не мог дрожащими руками удерживать на подоконнике свои бумаги; со всех сторон света собирались к нему жалобы на Шубала, каждой из которых, по его мнению, вполне хватало, чтобы уничтожить этого Шубала, но капитану он сумел предъявить лишь печальную неразбериху. Господин с бамбуковой тросточкой давно уже легонько насвистывал, глядя на потолок; портовые чиновники взяли офицера за столom в осаду и всем своим видом показывали, что освободить его не намерены; старшего кассира удерживало от вмешательства явно только спокойствие капитана; стюард, стоя по стойке «смирно», с минуты на минуту ожидал распоряжения капитана относительно кочегара.

Тут уж Карл не мог оставаться пассивным. Он медленно направился к кочегару, стараясь на ходу сообразить, как бы поискуснее взяться за дело. Пора было вмешаться, ведь еще немного — и они с кочегаром могут быстренько вылететь из канцелярии. Капитан, конечно, человек добрый, к тому же именно сейчас, как казалось Карлу, у него есть особые основания выступить в роли справедливого начальника, но нельзя же заговаривать его до полусмерти, а кочегар именно это и делал, пусть и от безграничного возмущения.

Итак, Карл обратился к кочегару:

— Вы должны рассказывать проще, яснее, господин капитан не в силах уразуметь ваш сбивчивый рассказ. Разве он знает всех машинистов и рассыльных по фамилиям, а тем более по именам, чтобы сразу, едва вы произнесете какое-либо имя, догадаться, о ком идет речь? Изложите ваши жалобы по порядку; во-первых, назовите самую главную, а затем, по нисходящей, — остальные; может быть, тогда будет вовсе незачем большинство из них даже упоминать. Мне-то вы очень четко все представили!

«Если в Америке можно похищать чемоданы, то и солгать иногда тоже не грех», — подумал он в свое оправдание.

Хоть бы это помогло! Не слишком ли поздно? Правда, услышав знакомый голос, кочегар тотчас умолк, но глаза его, полные слез от оскорбленного мужского самолюбия, ужасных воспоминаний и теперешнего крайне бедственного положения, уже толком не узнавали Карла. Да и как ему было именно сейчас — Карл без слов понял умолкшего кочегара, — как ему было именно сейчас вдруг изменить свою манеру выражаться, ведь он полагал, что все уже сказал, не возбудив ни малейшего сочувствия, с другой стороны, будто вовсе ничего еще не сказал, но уже не может ожидать, что господа выслушают его до конца! И в такой-то вот момент вмешивается Карл, его единственный союзник, хочет дать ему добрый совет, а вместо этого показывает, что все, все пропало!

«Мне бы вмешаться раньше, вместо того чтобы глядеть в окно», — сказал себе Карл, опустив голову под взглядом кочегара и в отчаянии хлопнув ладонями по бедрам. Но кочегар истолковал это превратно, по-видимому, он заподозрил в поведении Карла некий тайный упрек себе и, намереваясь разубедить его, в довершение

всего заспорил с Карлом. И это когда господа за круглым столом давно уже сердились на нелепый шум, мешающий их важной работе, когда старший кассир, вкопонец озадаченный терпеливостью капитана, готов был вот-вот взорваться, когда стюард, снова полностью на стороне хозяев, буквально испепелял кочегара взглядом и, наконец, когда господин с бамбуковой тросточкой, на которого время от времени дружески поглядывал даже капитан, совершенно охладел к кочегару, более того — проникся к нему отвращением и, вытащив записную книжечку, явно размышлял о своих делах, переводя взгляд с записной книжечки на Карла и обратно.

— Я же знаю,— сказал Карл, стараясь отразить обратившееся теперь против него словоизвержение кочегара, но при всем том дружески ему улыбаясь,— вы правы, правы, я в этом несколько не сомневаюсь.— Из страха перед дракою он бы охотно схватил размахивающие руки кочегара, а еще лучше отвел бы его в угол и шепнул несколько успокоительных слов, чтоб никто больше их не слышал. Но кочегар закусил удила. Теперь уже Карл пытался найти какое-никакое утешение в мысли, что, на худой конец, кочегар покорит всех семерых присутствующих здесь мужчин силою своего отчаяния. Кстати, на письменном столе, если взглянуть повнимательнее, имелся пульт со множеством электрических кнопок; хлопни по нему рукой — и весь корабль с его коридорами, полными враждебных людей, будет поднят на ноги.

Тут к Карлу подошел тот самый индифферентный господин с бамбуковой тросточкой и не слишком громко, но отчетливо, перекрыв выкрики кочегара, спросил:

— Как же вас, собственно, зовут?

В этот миг в дверь постучали, будто только и ждали там этого вопроса. Стюард взглянул на капитана, тот кивнул. Стюард подошел к двери и открыл ее. На пороге стоял мужчина средней комплекции, в старом сюртуке, по виду не очень-то подходящий для работы с машинами, и все-таки это был — Шубал. Если бы Карл не понял этого по лицам присутствующих, на которых отразилось известное удовлетворение — в том числе и на лице капитана,— он непременно догадался бы об этом по ужасу кочегара, так стиснувшего кулаки обвисших рук, будто это действие для него — самое важное и он готов пожертвовать ради него всей своей жизнью. В сжатые кулаки устремились все его силы, даже те, что помогали ему держаться на ногах.

Итак, вот он, враг, свободный и свежий в парадном своем костюме, с конторской книгой под мышкой — вероятно, это были платежные ведомости и характеристики кочегара,— смотрит в глаза всем по очереди, не скрывая, что пытается установить настроение каждого. Семеро были уже на его стороне, ведь если раньше у капитана и были кое-какие претензии к нему, объективные или хотя бы притворные, то после мучений, которые он принял от кочегара, Шубал, по всей вероятности, казался ему безупречным работником. С такими, как кочегар, мягко обращаться нельзя, и упрекнуть Шубала можно лишь в том, что даже за столь долгий срок он не сумел сломить строптивость кочегара, который посмел явиться нынче к капитану.

Вот теперь, вероятно, можно предположить, что очная ставка кочегара и Шубала произведет на этих людей именно то воздействие, какое она должна оказывать на высокое собрание, ибо, хотя Шубал и умел хорошо притворяться, он вряд ли сможет удержаться в своей роли до конца. Коротенькой вспышки его злобы хватит, чтобы присутствующие ее заметили, уж об этом Карл позаботится. Он уже кое-что знал о проницательности, слабостях, капризах каждого, и с этой точки зрения проведенное здесь время не пропало зря. Только бы кочегар остался на высоте, но он казался совершенно небоеспособным. Если бы Шубала к нему подвели, он бы, верно, смог разбить кулаками его ненавистный череп. Однако же сделать самому несколько шагов к этому человеку кочегар был не в силах. Отчего столь предусмотрительный Карл не предусмотрел, что Шубал должен в конце концов прийти, если не по собственной инициативе, то по зову капитана? Отчего по дороге сюда он не обсудил с кочегаром точный план действий,— на деле-то они просто вошли в эту дверь до ужаса неподготовленные. Способен ли кочегар вообще говорить, отвечать «да» и «нет», как положено на перекрестном допросе, каковой, кстати, предстоял лишь в самом благоприятном случае? Вон стоит — ноги расставил, колени дрожат, голова чуть приподнята, и воздух клокочет в открытой глотке, будто в груди больше нет легких, чтобы справиться с дыханием.

Сам Карл, однако, чувствовал себя столь сильным и рассудительным, каким дома, пожалуй, никогда не бывал. Видели бы его родители, как он на чужбине, перед важными особами, отстаивает добро и, хотя пока не до-

бился победы, приготовился сражаться до конца! Изменили бы они свое мнение о нем? Посадили бы рядом с собой за стол? Похвалили бы? В кои-то веки заглянули бы в его любящие глаза? Праздные вопросы и совсем не время их задавать!

— Я пришел, полагая, что кочегар обвиняет меня в каких-то неблагоприятных поступках. Девушка с камбуза сказала мне, что видела, как он направился сюда. Господин капитан и вы все, господа, я готов документально опровергнуть любое обвинение, а в случае необходимости и показаниями объективных и незаинтересованных свидетелей, которые ждут за дверью.— Так говорил Шубал. Во всяком случае, это была внятная человеческая речь, и по изменившемуся выражению на лицах слушателей можно было подумать, будто впервые за долгое время они вновь слышат членораздельные звуки. Правда, они не заметили, что и эта прекрасная речь страдала шероховатостями. Почему первыми словами, что пришли ему на ум, были — «неблаговидные поступки»? Может быть, обвинения и нужно было начинать с этого, а не с национальных предрассудков Шубала? Девушка с камбуза видела кочегара на пути в канцелярию, и Шубал тут же все понял? Не подтолкнуло ли его к пониманию чувства вины? И он тотчас привел с собой свидетелей, назвав их, в довершение всего, «объективными» и «незаинтересованными»? Плутство, и только! А присутствующие это терпят да еще считают такое поведение достойным? Зачем ему понадобилось, чтобы между разговором с девушкой и его прибытием сюда прошло так много времени? Не иначе как затем, чтобы кочегар вконец утомил господ и рассудок их омрачился, а рассудка-то Шубал и опасался в первую очередь. Он ведь явно долго стоял за дверью и постучал лишь в тот миг, когда, услышав праздный вопрос того господина, укрепился в мысли, что с кочегаром все кончено.

Все было ясно, ведь и Шубал представил дело именно так, хоть и против воли, но господам надо было показать это иначе, более наглядно. Они нуждались во встряске. Поэтому быстрее, Карл, лови момент, пока не явились свидетели и не заполнили канцелярию!

А капитан как раз в это время сделал знак Шубалу, и тот — поскольку его дело вроде бы ненадолго отложили — сразу же отошел в сторону и тихонько заговорил с присоединившимся к нему стюардом; при этом они многозначительно жестикуют и поминутно искоса

поглядывали на Карла и на кочегара. Казалось, что Шубал репетировал новую речь.

— Вы, господин Якоб, кажется, хотели о чем-то спросить молодого человека? — в наступившей тишине обратился капитан к господину с бамбуковой тросточкой.

— Верно,— ответил тот, легким поклоном поблагодарив за внимание. И еще раз спросил у Карла: — Как вас, собственно говоря, зовут?

Карл, полагавший, что в интересах главного дела поскорее покончить с вмешательством настойчивого вопрошателя, ответил коротко, не предъяснив, как обычно, паспорт, который пришлось бы доставать из потайного кармана:

— Карл Россман.

— Однако,— сказал тот, кого назвали господином Якобом, и сперва было отпрянул, улынувшись несколько недоверчиво.

Капитан, старший кассир, судовой офицер и даже стюард, услышав имя Карла, тоже явственно выказали чрезвычайное удивление. Только портовые чиновники и Шубал отнеслись к этому равнодушно.

— Однако,— повторил господин Якоб и не совсем уверенно шагнул к Карлу,— в таком случае я — твой дядя Якоб, а ты — мой дорогой племянник. Я же все время это предчувствовал! — сказал он капитану, прежде чем обнять и расцеловать Карла, который принял случившееся без единого слова.

— Как ваше имя? — спросил Карл, когда ощутил, что его выпустили из объятий, спросил хоть и весьма учтиво, но совершенно равнодушно, пытаясь мысленно предугадать, какими последствиями это новое событие чревато для кочегара. На первый взгляд Шубалу от всего этого никакой пользы не предвиделось.

— Поймите же, молодой человек, какой вы счастливец! — воскликнул капитан, уловив в вопросе Карла оскорбление достоинства господина Якоба, каковой отошел к окну, очевидно стараясь не показать обществу своего взволнованного лица, которое он к тому же утирал носовым платком.— Это — сенатор господин Эдвард Якоб, и он — ваш дядя. Отныне вас ждет блестящее будущее, вы такого, наверное, никак не ожидали. Попытайтесь уяснить себе это, насколько возможно, и возьмите себя в руки!

— В Америке у меня, конечно, есть дядюшка Якоб,— сказал Карл, обращаясь к капитану,— но, если я пра-

вильно понимаю, Якоб — всего лишь фамилия господина сенатора.

— Верно,— сказал капитан, ожидая продолжения.

— Так вот, мой дядя Якоб, брат моей матери, зовется Якобом по имени, тогда как фамилия, естественно, звучит одинаково с фамилией моей матери, урожденной Бендельмайер.

— Господа! — вскричал сенатор, бодро вернувшись из своего укрытия у окна и имея в виду слова Карла.

Все, за исключением портовых чиновников, громко рассмеялись — одни как бы растроганно, другие с неприщипаемым видом.

«То, что я сказал, вообще-то не слишком забавно», — подумал Карл.

— Господа,— повторил сенатор,— вопреки моему и своему желанию, вы стали участниками маленькой семейной сцены, и потому я не могу не дать вам объяснений, ибо, как я полагаю, только господин капитан,— тут они оба отвесили друг другу легкий поклон,— осведомлен полностью.

«Сейчас мне нужно действительно следить за каждым словом», — подумал Карл и, бросив взгляд в сторону, с радостью заметил, что кочегар мало-помалу начал возвращаться к жизни.

— Все долгие годы моего пребывания в Америке — слово «пребывание», конечно, не очень-то годится для американского гражданина, которым я являюсь до мозга костей,— так вот, все эти долгие годы я живу в полном отрыве от моих европейских родственников; причины этого, во-первых, сюда не относятся, а во-вторых, рассказ о них чересчур для меня мучителен. Я даже побаиваюсь того мгновения, когда мне, возможно, придется раскрыть их моему любимому племяннику, причем, увы, не избежать откровенных слов о его родителях и их близких.

«Вне всякого сомнения, это — мой дядя; наверное, он просто сменил фамилию», — сказал себе Карл и стал слушать дальше.

— В настоящее время родители — назовем вещи своими именами — попросту выпихнули из дому моего дорогого племянника, как выбрасывают за дверь кошку, когда она досаждаст. Я вовсе не хочу оправдывать то, что натворил мой племянник и за что понес такое наказание, но проступок его из тех, в самом имени которых уже содержится достаточное извинение.

«Звучит неплохо,— подумал Карл,— но мне бы не хотелось, чтобы он рассказывал все. Впрочем, он и не может ничего знать. Откуда бы?»

— Итак,— дядя выставил перед собой бамбуковую тросточку и, немного склонившись, оперся на нее, благодаря чему в самом деле сумел устранить ненужную торжественность, которая иначе неминуемо завладела бы ситуацией,— итак, его соблазнила служанка, некая Иоганна Бруммер, тридцатипятилетняя особа. Говоря «соблазнила», я вовсе не хочу обидеть моего племянника, но очень трудно найти другое слово, столь же подходящее.

Карл, уже довольно близко подошедший к дяде, обернулся, чтобы прочесть на лицах присутствующих, какое впечатление произвел дядин рассказ. Никто не смеялся, все слушали серьезно и терпеливо. Да в конце концов над племянником сенатора и не смеются при первом же удобном случае. Скорее уж можно было бы сказать, что кочегар слегка улыбнулся Карлу, а это, во-первых, было новым признаком жизни и потому отраднo и, во-вторых, простительно, потому что в каюте Карл окружал тайною сей факт, который теперь стал публичным достоянием.

— И вот эта Бруммер,— продолжал дядя,— родила от моего племянника ребенка, крепенького мальчугана, получившего при крещении имя Якоб, несомненно, в честь моей скромной особы, которая, хотя и была упомянута моим племянником вскользь, видимо, произвела на девушку большое впечатление. К счастью, скажу я. Ведь родители, чтобы не платить содержание и избежать вообще любого другого скандала, могущего затронуть и их,— подчеркиваю, я не знаю ни тамошних законов, ни иных обстоятельств его родителей,— ну так вот, во избежание выплаты содержания и скандала они отправили своего сына, моего дорогого племянника, в Америку, безответственно снабдив его весьма скудными средствами, и в результате, если бы не чудеса, которые только в Америке еще и случаются, юноша, предоставленный самому себе, вероятно, тотчас же пропал бы где-нибудь в переулках нью-йоркского порта — но, к счастью, та служанка написала мне письмо, которое после долгих странствий третьего дня попало в мои руки, и вместе с подробным рассказом о случившемся и описанием внешности моего племянника благоразумно сообщила также и название судна. Если бы я, господа, замыслил развлечь

вас, я, пожалуй, мог бы зачитать вам отдельные выдержки из ее письма.— Он достал из кармана два огромных, исписанных убористым почерком листа почтовой бумаги и помахал ими.— Оно, безусловно, произвело бы впечатление, так как написано с несколько простодушной, однако же неизменно доброжелательной хитринкой и с большой любовью к отцу ребенка. Но я не хочу ни развлекать вас более, чем это необходимо для моего объяснения, ни тем паче оскорблять еще, быть может, сохранившиеся чувства моего племянника, который, если пожелает, может прочесть письмо в назидание себе в тишине своей уже поджидающей его комнаты.

Но Карл не питал никаких чувств к той девушке. В перипетиях все дальше отступавшего прошлого она сидела возле кухонного стола, опершись на крышку локтем. Она смотрела на него, когда он заходил в кухню взять стакан воды для отца или выполнить какое-то поручение матери. Иногда Иоганна в неловкой позе сбоку от буфета писала письмо, черпая вдохновение на лице у Карла. Иногда она прикрывала глаза рукой и тогда ничего кругом не слышала. Временами она становилась на колени в своей тесной каморке рядом с кухней и молилась перед деревянным распятием; Карл тогда робко посматривал на нее, проходя мимо, в щель приоткрытой двери. Иногда она сновала по кухне и отскакивала назад, хохоча как ведьма, когда Карл попадался ей на пути. А то закрывала кухонную дверь, когда Карл входил, и держалась за ручку до тех пор, пока он не просил выпустить его. Иногда она доставала вещи, которые ему вовсе не были нужны, и молча совала в руки. Но однажды она сказала: «Карл» и, вздыхая и гримасничая, повела его, ошеломленного неожиданным обращением, в свою комнатку и заперла дверь изнутри. Она обняла его, едва не задушив, и попросила раздеть ее, на самом же деле сама раздела его и уложила в свою постель, будто отныне хотела владеть им одна, ласкать его и ухаживать за ним до скончания века. «Карл! О, мой Карл!» — вскрикивала она, пожирая глазами своего пленника, тогда как он ничегошеньки не видел и чувствовал себя неуютно в теплых перинах, которые она, похоже, нагромоздила специально для него. Затем она улеглась рядом и принялась выпытывать у него какие-то тайны, но рассказывать ему было нечего, и она, не то в шутку, не то всерьез, рассердилась, стала тормозить его, послушала, как бьется его сердце, прижалась грудью к его уху, предлагая послу-

шать свое, но Карл наотрез отказался, прижималась голым животом к его телу, шупала рукой внизу так мерзко и стыдно, что Карл выпростал голову и шею из подушек; затем она раз-другой толкнула его животом — так, будто стала частью его самого, и, вероятно, поэтому он почувствовал себя до ужаса беспомощным. Наконец после долгого прощания он в слезах вернулся в свою постель. Вот все, что произошло, и однако же дядя сумел сделать из этого целую историю. Значит, кухарка не только помнила о нем, но и сообщила дяде о его приезде. Это она хорошо придумала, и когда-нибудь, наверно, он еще благодарит ее.

— А сейчас,— воскликнул сенатор,— скажи мне откровенно, признаешь ты меня своим дядей или нет.

— Ты — мой дядя,— сказал Карл и поцеловал ему руку, а тот в свою очередь поцеловал его в лоб.— Я очень рад, что встретил тебя, но ты заблуждаешься, полагая, что родители всегда отзываются о тебе плохо. Не говоря уж о том, что в твоей речи были и еще кое-какие погрешности, я имею в виду, в действительности дело обстояло не совсем так. Да ты и не можешь по-настоящему верно судить отсюда обо всех обстоятельствах, а кроме того, я думаю, невелика беда, если даже присутствующие не вполне точно информированы о предмете, который вряд ли представляет для них большой интерес.

— Отлично сказано,— произнес сенатор, подведя Карла к явно сочувствующему капитану, и спросил: — Ну не замечательный ли у меня племянник?

— Я счастлив,— сказал капитан с поклоном, свидетельствующим о военной выучке,— я счастлив, господин сенатор, познакомиться с вашим племянником. Для моего корабля особая честь — послужить местом подобной встречи. Правда, путешествие четвертым классом было, наверное, весьма утомительным, ну да ведь никогда не знаешь, кого везешь. Мы, конечно, делаем все возможное, чтобы максимально облегчить путешествие пассажиров четвертого класса, гораздо больше, например, чем американские компании, но превратить такой рейс в сплошное удовольствие нам пока, увы, не удалось.

— Мне это не повредило,— сказал Карл.

— Ему это не повредило! — громко смеясь, повторил сенатор.

— Боюсь только, мой чемодан потерян...— И тут Карл вспомнил все, что произошло и что еще оставалось сделать, осмотрелся: присутствующие, онемевшие от удив-

ления и пиетета, замерли на своих местах, устремив на него взгляды. Только на лицах портовых чиновников — если вообще удавалось заглянуть под маску сурового самодовольства — читалось сожаление: дескать, надо же нам было прийти сюда так не ко времени! — и карманные часы, которые они выложили перед собой на стол, были, по-видимому, для них важнее всего того, что происходило и еще могло произойти в канцелярии.

Первым после капитана, как ни странно, выразил свою радость кочегар.

— Сердечно вас поздравляю,— сказал он и пожал Карлу руку, вложив в это пожатие и нечто вроде благодарности. Когда он хотел было обратиться с аналогичной речью к сенатору, тот отпрянул назад, дав кочегару понять, что он преступает границы дозволенного; кочегар тотчас отказался от своего намерения.

Остальные, однако, сообразили теперь, что надо делать, и вокруг Карла и сенатора началось столпотворение. Так и вышло, что Карл получил поздравление даже от Шубала и принял его с благодарностью. Последними среди вновь воцарившегося спокойствия подошли портовые чиновники и произнесли два слова по-английски, что произвело забавное впечатление.

Сенатор был решительно настроен вкусить радость полной мерой и потому стремился запечатлеть в своей памяти и в памяти всех присутствующих даже малосущественные обстоятельства, к чему все отнеслись не только терпеливо, но и с интересом. Он сообщил, что на всякий случай занес особые приметы Карла, упомянутые в письме кухарки, в свою записную книжку. И вот во время несносных разглагольствований кочегара он, чтобы отвлечься, вытащил записную книжку и забавы ради попытался сопоставить внешность Карла со служанкиным описанием, конечно же далеким от детективной точности.

— Вот так находят племянников! — произнес он в заключение таким тоном, будто надеялся еще раз услышать поздравления.

— Что же теперь будет с кочегаром? — спросил Карл, пропустив мимо ушей последнюю тираду дяди. Он полагал, что в новом своем положении может высказывать все, что думает.

— Кочегар получит то, что заслуживает,— сказал сенатор,— и что господин капитан считает нужным. Я полагаю, мы сыты кочегаром по горло; в этом, без всякого со-

мнения, со мной согласится любой из присутствующих.

— Не в этом дело, речь ведь идет о справедливости,— возразил Карл. Он стоял между дядей и капитаном и, повидимому, в силу этого вообразил, что решение находится в его руках.

Тем не менее кочегар, похоже, ни на что уже не надеялся. Он зачихнул пальцы за брючный ремень, из-под которого от порывистых движений выбилась узорчатая рубашка. Его это ничуть не волновало; он выплакал все свои беды — пускай напоследок полюбуются его лохмотьями, а там и за дверь выставят. Он прикинул, что стюард и Шубал, как самые низкие по званию среди присутствующих, окажут ему эту последнюю любезность. Тогда Шубал успокоится и не будет больше приходить в отчаяние, как говорил старший кассир. Капитан сможет набрать команду сплошь из румын, всюду будут говорить по-румынски, и, быть может, все действительно наладится. Кочегары не станут больше пустословить в бухгалтерии; в благосклонной памяти останется только его нынешняя болтовня, ибо она, как только что заявил господин сенатор, послужила косвенной причиной его встречи с племянником. Кстати, этот племянник сегодня не раз пытался быть ему полезным и потому более чем достаточно отблагодарил его за нечаянную услугу — знакомство с дядей-сенатором; кочегару и в голову не приходило требовать от Карла чего-либо еще. Впрочем, он бы тоже хотел быть племянником сенатора, до капитана он покуда не дорос, но в конце концов из уст капитана он и услышит сердитое слово. В соответствии со своим намерением кочегар старался не смотреть на Карла, но, к сожалению, в этой враждебной комнате не оставалось иной отрады для его глаз.

— Не пойми ситуации превратно,— сказал Карлу сенатор,— речь, конечно, о справедливости, но одновременно и о дисциплине. То и другое, особенно последнее, находится здесь в ведении господина капитана.

— Так и есть,— пробормотал кочегар. Те, кто обратил на это внимание и расслышал его слова, удивленно улыбнулись.

— Однако мы уже и так помешали господину капитану в его делах, которых у него по прибытии в Нью-Йорк, безусловно, накопилось очень много, и нам давно пора покинуть судно, а не то, чего доброго, эта пустячная перебранка двух машинистов превратится по нашей милости в большой скандал. Впрочем, милый племянник,

твои побуждения я вполне понимаю, но именно это дает мне право поскорее увести тебя отсюда.

— Я тотчас же прикажу спустить для вас шлюпку,— сказал капитан, к удивлению Карла ни словом не возразив на заявление дяди, которое, несомненно, могло быть воспринято как самоуничижительное.

Старший кассир со всех ног бросился к столу и по телефону передал боцману приказ капитана.

«Время не ждет,— подумал Карл,— но я не могу ничего сделать, не причинив всем обиды. Не могу же я теперь оставить дядю, когда он с таким трудом наконец нашел меня. Правда, капитан учтив, но это и все. На дисциплине его вежливость кончается, и дядя, безусловно, высказал его сокровенные мысли. С Шубалом я говорить не хочу и даже жалею, что подал ему руку. А все остальные здесь — просто шваль».

С такими мыслями он медленно подошел к кочегару, вытащил его правую руку из-под ремня и легонько пожал.

— Почему ты ничего не говоришь? — спросил он.— Почему все это терпишь?

Кочегар только наморщил лоб, будто подбирая нужные слова. И все смотрел на Карла и его руку.

— С тобой поступали несправедливо, как ни с кем другим на корабле, я это точно знаю.— И Карл пошевелил пальцем руку кочегара, а тот огляделся вокруг сияющим взором, будто на него снизошло блаженство, которого никто не смеет у него отнять.

— Ты должен бороться за себя, соглашаться или отрицать, иначе эти люди так и не узнают правды. Ты должен обещать мне, что послушаешься моего совета, ибо у меня есть серьезные причины опасаться, что я больше уже не смогу помочь тебе.— И тут Карл заплакал, целуя ладонь кочегара; он взял эту шершавую, бессильную сейчас руку и прижал ее к щеке, как соковище, с которым приходится расставаться. Но тут рядом вырос дядя-сенатор и потащил его прочь — легонько, но настойчиво.

— Этот кочегар словно околдовал тебя,— сказал он и проникновенно взглянул на капитана поверх головы Карла.— Ты чувствовал себя одиноким, когда встретил его, и теперь ты ему благодарен, что весьма похвально. Но, хотя бы ради меня, не заходи слишком далеко и осознай свое нынешнее положение.

За дверью раздался шум, послышались крики, каза-

лось даже, кого-то грубо швырнули на дверь. Вошел порядком ошеломленный матрос в женском фартуке.

— Там полно народу! — выкрикнул он, резко двинув локтем, словно все еще находился в толпе. Потом наконец опомнился и хотел стать во фрунт, но заметил фартук, сорвал его и бросил на пол с криком: — Какая мерзость! Они повязали мне женский фартук! — после чего щелкнул каблуками и отдал честь капитану. Кто-то было засмеялся, но капитан строго сказал:

— Не вижу причин для веселья. Так кто же там за дверью?

— Мои свидетели, — выступив вперед, сказал Шубал. — Я покорнейше прошу прощения за их неуместные шутки. После рейса народ иногда как с цепи срывается.

— Сейчас же зовите их сюда! — приказал капитан и тут же, обернувшись к сенатору, добавил любезно, но нетерпеливо: — Теперь, уважаемый господин сенатор, будьте добры последовать вместе с племянником за этим матросом, он проводит вас к шлюпке. Мне ли говорить вам, какое удовольствие и какая честь для меня, господин сенатор, лично познакомиться с вами. Искренне надеюсь иметь в скором времени возможность возобновить нашу прерванную беседу о положении в американском флоте, которая, быть может, вновь будет прервана столь же приятным образом, как нынче.

— Пока мне достаточно и одного этого племянника, — улыбаясь, сказал дядя. — А сейчас примите мою глубокую благодарность за вашу любезность и — будьте здоровы! Впрочем, не исключено, что мы, — он ласково обнял Карла, — коли отправимся в Европу, сможем вполне насладиться вашим обществом.

— Я был бы сердечно рад, — сказал капитан. Они крепко пожали друг другу руки; Карл же успел только молча и мимоходом подать руку капитану, потому что того уже осаждали человек пятнадцать, которые под водительством Шубала несколько смущенно, но все же очень шумно заполнили помещение. Матрос попросил у сенатора разрешения идти первым и проложил дорогу для него и Карла в толпе кланяющихся людей.казалось, что эти в целом добродушные люди относились к стычке между Шубалом и кочегаром как к развлечению, и даже присутствие капитана не было им помехой. Среди них Карл заметил и Лину, девушку с камбуза, которая, весело ему подмигнув, повязала брошенный матросом фартук, ведь он принадлежал именно ей.

Следуя за матросом, они покинули канцелярию и свернули в маленький коридор, закончившийся через несколько шагов дверцей, от которой короткий трап вел вниз, к приготовленной для них шлюпке. Матросы в шлюпке, куда тут же одним прыжком соскочил их вожакий, поднялись и отдали честь. Едва сенатор предупредил Карла, что спускаться надо осторожно, как вдруг тот еще на верхней ступеньке заплакал навзрыд. Сенатор правой рукой обнял племянника, крепко прижал его к себе, а другой рукою гладил по голове. Так они и спустились вниз — медленно, ступенька за ступенькой — и, прижавшись друг к другу, сошли в шлюпку, где сенатор выбрал для Карла хорошее местечко напротив себя. По знаку сенатора матросы оттолкнулись от борта и тотчас принялись усиленно грести. Не успели они отплыть на несколько метров, как Карл обнаружил, что они находятся с того борта, на который выходят окна канцелярии. Все три окна были заняты свидетелями Шубала, они дружелюбно кланялись и махали руками; дядя даже кивнул благосклонно, а один матрос умудрился, не прерывая ритмичной гребли, послать воздушный поцелуй. Похоже, кочегара уже не было. Карл внимательно смотрел в глаза дяди, с которым почти соприкасался коленями, и у него зародилось сомнение, сможет ли этот человек когда-нибудь заменить ему кочегара. А дядя отвел взгляд и смотрел на волны, бившиеся о борта шлюпки.

Глава вторая

ДЯДЯ

В доме дяди Карл быстро привык к своему новому положению. Да и дядя шел ему навстречу в любой мелочи, и Карлу ни разу не представилось случая получить тот печальный опыт, который на первых порах так отвращает многим жизнь на чужбине.

Комната Карла располагалась на шестом этаже здания, пять нижних этажей которого плюс трехэтажное подземелье занимало дядино предприятие. Свет, заливавший его комнату через два окна и балконную дверь, снова и снова изумлял Карла, когда по утрам он выходил из своей маленской спальни. Где бы ему пришлось обитать, ступи он на землю этой страны ничтожным бедным иммигрантом? Да, по всей вероятности, — дядя, хорошо знакомый с законами об иммиграции, был в этом уверен

почти на сто процентов,— Карла вообще не впустили бы в Соединенные Штаты, а отправили бы домой, не заботясь о том, что родины у него больше нет. Ведь на сочувствие здесь рассчитывать нечего, и все, что Карл читал по этому поводу об Америке, вполне соответствовало истине; пожалуй, только счастливым выпадает здесь наслаждаться счастьем в окружении столь же беспечных собратьев.

Узкий балкон протянулся во всю длину комнаты. Но то, что в родном городе Карла оказалось бы, вероятно, самым высоким наблюдательным пунктом, здесь давало возможность обозревать одну только улицу — прямая, зажатая между двумя рядами точно срезанных по линейке зданий, она как бы убегала вдаль, где из густой дымки выступала громада кафедрального собора. Утром, вечером и в часы ночных сновидений на этой улице не прекращалось оживленное движение, представавшее сверху в виде клокочущей мешанины сплюснутых человеческих фигурок и крыш всевозможных экипажей, над которой висела еще и безумная, многообразная мешанина грохота, пыли и вони, и все это было залито и пронизано резким светом, который шел буквально отовсюду, рассеивался и возвращался снова,— одурелому глазу он казался настолько материальным, будто над улицей каждую секунду вновь и вновь изо всех сил раскалывали накрывающее ее стекло.

Предусмотрительный, каким был он во всем, дядя посоветовал Карлу пока ничего не затевать. Присматриваться, изучать — пожалуйста, но не увлекаться. Ведь первые дни европейца в Америке — как новое рождение, и хотя кое-кто — Карлу полезно это знать, чтобы не пугаться без нужды,— обживается здесь быстрее, чем если бы перешел из мира потустороннего в мир человеческий, необходимо все же учитывать, что первое суждение всегда неосновательно, и не стоит допускать, чтобы оно было помехой всем последующим суждениям, которыми желательно руководствоваться в своей здешней жизни. Дядя сам знал иммигрантов, которые, например, вместо того чтобы придерживаться этих добрых правил, целыми днями простаивали на балконе и таранились вниз на улицу, как бараны на новые ворота. Поневоле собьешься с толку! Такое праздное уединение, когда любуются на преисполненный трудов день Нью-Йорка, позволительно туристам, и — вероятно, хотя и небезоговорочно — им можно его рекомендовать; для того же, кто останется

здесь, это — погибель, в данном случае слово вполне уместное, даже если это и преувеличение. И в самом деле, досада кривила лицо дяди, если, навещая племянника — а он делал это раз в день, причем в разное время, — он заставлял Карла на балконе. Юноша вскоре заметил это и потому, по мере возможности, отказывался от удовольствия постоять там.

К тому же это была не единственная его радость. В комнате у него стоял превосходный американский письменный стол — именно о таком долгие годы мечтал его отец и пытался на различных аукционах купить что-либо подобное по доступной цене, но при его скромных доходах это ему так и не удалось. Само собой, стол этот был не сравним с теми якобы американскими столами, которые попадаются на европейских аукционах. В верхней его части была чуть не сотня ящичков всевозможного размера, и сам президент Соединенных Штатов нашел бы тут надлежащее место для каждого официального документа; кроме того, сбоку имелся регулятор, и при необходимости и желании поворотом рукоятки возможны были различные перестановки и переустройства отделений. Тонкие боковые стенки медленно опускались, образуя доньшко или крышку нового отсека; с каждым поворотом рукоятки вид бюро совершенно изменялся, медленно или невообразимо скоро — смотря как двигаешь рукоятку. Это было новейшее изобретение, но оно весьма живо напомнило Карлу вертеп, который на родине показывали удивленным детям во время рождественских базаров, и тепло закутанный Карл тоже частенько стоял перед ним, наблюдая, как старик вертепщик вращает рукоятку игрушки и на крохотной сцене появляются три волхва, загорается звезда и скромно течет жизнь в священном хлеву. И всегда ему казалось, что мать, стоявшая позади, не слишком внимательно наблюдает за этими событиями; он тянул ее к себе и громкими возгласами привлекал ее внимание ко всяким малоприметным деталям, например к зайчишке, который в траве на переднем плане то вставал на задние лапки, то снова пускался наутек; в конце концов мать зажимала ему рот и впадала в прежнюю рассеянность. Конечно, стол был сделан не ради таких воспоминаний, но в истории его изобретения, вероятно, присутствовало что-то смутно похожее на воспоминания Карла. Дяде в отличие от Карла этот стол ничуть не нравился, он просто хотел купить племяннику порядочный письменный стол, а все они были теперь

снабжены таким новшеством; мало того, хитрую эту штуковину можно было без больших затрат приспособить и к столу устаревшей конструкции. Так или иначе дядя не преминул посоветовать Карлу пользоваться регулятором как можно реже; дабы усилить действенность совета, дядя заявил, что механизм крайне чувствителен, легко ломается, а починка его стоит дорого. Нетрудно было догадаться, что подобные замечания — всего лишь уловки, хотя, с другой стороны, следовало отметить, что регулятор очень легко было заблокировать, чего дядя, однако, не сделал.

В первые дни дядя и Карл, разумеется, частенько беседовали; Карл, в частности, рассказал, что дома немножко, но с охотой играл на фортепьяно, правда, на этом поприще он сделал только первые шаги, с помощью матери. Карл вполне сознавал, что такой рассказ — одновременно и просьба о фортепьяно, но он уже достаточно осмотрелся, чтобы понять: экономничать дяде совершенно незачем. Все же эта его просьба была выполнена не сразу, лишь дней через восемь дядя чуть ли не против воли признался, что фортепьяно привезли и Карл может, если угодно, пронаблюдать за его доставкой наверх. Занятие это было хотя и нетрудным, но при всем том ненамного легче самой работы, так как в доме был специальный грузовой лифт, спокойно вмещавший целый мебельный фургон, — в этом-то лифте и подняли инструмент в комнату Карла. Сам Карл мог, конечно, поехать в этом лифте вместе с инструментом и грузчиками, но, поскольку рядом был действующий пассажирский лифт, Карл поднялся на нем, с помощью особого рычага держась все время на уровне соседнего лифта и через стеклянную перегородку пристально рассматривая прекрасный инструмент, ставший теперь его собственностью. Когда фортепьяно уже стояло в комнате и Карл взял первые ноты, он так по-глупому обрадовался, что, бросив игру, вскочил, отошел на несколько шагов и, подбодчившись, решил просто полюбоваться подарком. Акустика в комнате тоже была превосходная и способствовала тому, чтобы первоначальное ощущение, будто его поселили в железном доме, совершенно исчезло. Ведь в самом деле дом казался железным только снаружи, в комнате ничего такого совершенно не замечалось, и никто не сумел бы обнаружить в ее убранстве ни единой мелочи, которая хоть как-то нарушала бы идеальный уют. На первых порах Карл многого ожидал от своей игры на фортепьяно и да-

же осмеливался перед сном подумывать насчет того, как бы ему через эту музыку непосредственно повлиять на американскую жизнь. Действительно, странное возникало ощущение, когда он у распахнутых, выходящих на шумную улицу окон играл старую солдатскую песню своей родины — солдаты поют ее вечерами, устроившись в казарме на подоконниках и глядя на угрюмый плац, — но стоило ему бросить взгляд на улицу, и он видел: она все та же — малая частица исполинского круговорота, который невозможно остановить ни на секунду, если не знаешь тех сил, что приводят его в движение. Дядя терпел игру на фортепьяно, ничего против не говорил, тем более что Карл, опять-таки в угоду дяде, лишь изредка позволял себе помузицировать; однако же дядя принес ему ноты американских маршей и, конечно, национального гимна тоже, но одним только удовольствием от музыки, пожалуй, не объяснить, почему как-то раз он безо всякого намека на шутку спросил Карла, не хочет ли он научиться играть также на скрипке или валторне.

Естественно, изучение английского языка было самой первой и самой важной задачей Карла. Молодой преподаватель коммерческого колледжа приходил в семь утра, когда Карл уже сидел с тетрадами за письменным столом или расхаживал взад-вперед по комнате, заучивая что-либо наизусть. Карл прекрасно понимал, что английским нужно овладеть как можно скорее, вдобавок это самый удобный случай порадовать дядю своими быстрыми успехами. И действительно, если поначалу общение с дядей на языке его новой родины сводилось к приветственным и прощальным фразам, то в скором времени все большая часть бесед шла на английском, отчего, естественно, между ними начали устанавливаться доверительные отношения. Первое американское стихотворение, описание пожара, которое Карл однажды вечером декламировал дяде, доставило тому глубокое удовлетворение. Они оба стояли тогда у окна в комнате Карла; дядя, поглядывая на меркнущий небосвод, медленно отбивал хлопками ритм стиха, а Карл стоял подле него и с застывшим взглядом одолевал трудные строфы.

Чем свободнее Карл владел английским, тем настойчивее дядя выказывал желание свести его со своими знакомыми и только на всякий случай распорядился, чтобы при таких встречах рядом с Карлом пока находился и его преподаватель. Самый первый, кому однажды утром представили Карла, был стройный, невероятно гиб-

кий юноша,— дядя ввел его в комнату, рассыпаясь в любезностях. Он был, по-видимому, из тех многих, с точки зрения родителей-миллионеров, неудавшихся сынков, жизнь которых протекала таким образом, что человек обыкновенный не мог без душевной боли проследить хотя бы один, выбранный наугад день такого юнца. А тот, словно зная об этом или догадываясь и как бы стараясь по мере сил этому противостоять, так и лучится счастьем, губы и глаза его сияют неистребимой улыбкой, обращенной к самому себе, собеседнику и всему миру.

С этим юношей, господином Маком, по настоятельной рекомендации дяди, Карл договорился вместе ездить верхом в половине шестого утра — в манеже школы верховой езды либо в парке. Правда, Карл сначала колебался, давать ли согласие: все-таки он никогда еще не садился на коня и хотел сперва немного подучиться, но дядя и Мак так горячо убеждали его, что верховая езда — сплошное удовольствие и здоровый вид спорта, а вовсе не искусство, что в конце концов он дал согласие. Правда, теперь он был вынужден вставать в половине пятого и частенько весьма об этом сожалел, так как, по-видимому, из-за постоянного напряжения внимания, которое требовалось от него изо дня в день, его прямо-таки одолевала сонливость, но от этой напасти он мигом избавлялся в ванной комнате. Над ванной во всю ее длину и ширину располагалась сетка душа — разве на родине у его школьных товарищей, даже самых богатых, было что-либо подобное в единоличном их распоряжении?! — в этой-то ванне, где можно было свободно раскинуть руки, Карл и устраивался спозаранку, а сверху на него лились потоки теплой, горячей, снова теплой и, наконец, ледяной воды, лились по желанию — на всю поверхность ванны или только на ее часть. Будто еще наслаждаясь сном, лежал он в воде и с особенным удовольствием ловил смеженными веками последние редкие капли, которые затем стекали по лицу.

В школе верховой езды, куда Карла доставлял большой дядин автомобиль, его уже ожидал преподаватель английского языка, тогда как Мак всегда появлялся позже. Впрочем, он-то как раз и мог спокойно опаздывать, ибо настоящая, полноценная верховая езда начиналась только с его прибытием. Едва он ступал на порог — и полусонные лошади вмиг оживали, и удары бича звучали громче, и галерея, опоясывавшая манеж, наполнялась людьми — зрителями, конюхами, учениками и Бог

весть кем еще. Время до появления Мака Карл использовал для того, чтобы хоть немного потренироваться в простейших приемах верховой езды. Был тут один верзила, который, не поднимая рук, вскакивал на самую высокую лошадь, он и тренировал Карла, каждый день минут по пятнадцать. Успехи Карла были не слишком значительны, зато он попутно усваивал множество английских жалобных воплей, которые в процессе тренировок, задыхаясь, адресовал своему преподавателю, невыспавшемуся, подпирающему дверной косяк. Но почти все неприятности верховой езды прекращались с появлением Мака. Долговязого отсылали, и вскоре во все еще сумрачном манеже был слышен только стук копыт, а видна была только поднятая рука Мака, подающая команду Карлу. Полчаса этого удовольствия проходили как сон. Мак торопливо прощался с Карлом, иногда потрепав его по щеке, если был особенно доволен его успехами, и исчезал, не дожидаясь Карла. Затем Карл с преподавателем усаживались в автомобиль и ехали на свой урок английского большей частью окольной дорогой, так как поездка в толчее магистрали, вообще-то ведущей от школы верховой езды прямо к дому дяди, занимала слишком много времени. Впрочем, вскоре преподаватель перестал сопровождать молодого человека, ибо Карл, упрекавший себя в том, что заставляет его томиться без пользы в школе верховой езды — тем более что указания Мака по-английски были совсем несложны, — упросил дядю освободить преподавателя от этой обязанности. Поразмыслив немного, дядя согласился.

Прошло довольно много времени, прежде чем дядя позволил Карлу, хотя бы бегло, ознакомиться с его фирмой, а ведь тот частенько просил об этом. Фирма являлась своего рода комиссионно-экспедиционной конторой, какие, насколько мог судить Карл, в Европе, пожалуй, не встречались вовсе. Фирма занималась комиссионной деятельностью, но посредничала не между производителями и потребителями или торговцами, а между крупными предприятиями, снабжая их различным сырьем и полуфабрикатами. Поэтому, занимаясь крупномасштабными закупками, хранением, перевозками и сбытом, фирма должна была постоянно и весьма скрупулезно поддерживать телефонную и телеграфную связь с клиентами. Телеграфный зал был не меньше, а гораздо больше телеграфа в родном городе Карла, через который его однажды провел школьный приятель. В зале для те-

лефонных переговоров, куда ни посмотри, открывались и закрывались двери кабин, и трезвон стоял оглушительный. Дядя отворил ближайшую дверь — там в ярком электрическом свете за столиком сидел служащий, не обративший никакого внимания на скрип петель, голову его стягивала металлическая дужка наушников. Правая рука лежала на столике, словно была неимоверно тяжелой, и только пальцы, державшие карандаш, двигались нечеловечески быстро и ритмично. Говоря в микрофон, он был очень лаконичен, и часто было даже заметно, что он в чем-то не согласен со своим абонентом, хочет что-то уточнить, но сведения, которые он получал, сдерживали его, и бедняга не мог выполнить своего намерения, опускал глаза и что-то записывал. Дядя тихо пояснил Карлу, что служащий и не должен говорить, поскольку данное сообщение помимо него принимают еще двое, а затем сообщения сравниваются, чтобы максимально исключить ошибку. Как только Карл и дядя покинули кабину, в дверь прошмыгнул практикант и тут же вышел с пачкой уже исписанных бумаг. По залу беспрерывно сновали люди. Не здороваясь — приветствия были отменены, — каждый приспособивал свой шаг к рысце впереди идущих и смотрел под ноги, чтобы, не дай Бог, не споткнуться, или выхватывал взглядом отдельные слова и цифры со страниц, трепетавших при торопливых шагах у него в руках.

— Да, ты в самом деле преуспел, — заметил Карл во время одного из таких обходов предприятия, на ознакомление с которым требовалось много дней, даже если просто заглянуть в каждое его помещение.

— И если хочешь знать, всего этого я достиг сам за тридцать лет. Вначале у меня было маленькое дельце в районе порта, и если за день туда поступал пяток ящиков, я уже летел домой как на крыльях. Сегодня у меня третьи по величине склады в порту, тот давний магазинчик служит инструментальной кладовкой и столовой шестьдесят пятой бригаде моих грузчиков.

— Да это граничит с чудом, — сказал Карл.

— Здесь все происходит необычайно быстро, — заявил дядя, обрывая разговор.

Как-то раз дядя пришел незадолго до обеда, который Карл, по обыкновению, намеревался вкушать в одиночестве, и предложил племяннику тотчас надеть парадный костюм и идти обедать с ним и с двумя его компаньонами. Пока Карл переодевался в соседней комнате, дядя уселся

за письменный стол и, просмотрев только что выполненное задание по английскому языку, хлопнул ладонью по столешнице и громко воскликнул:

— Отлично, в самом деле!

Конечно же одевание пошло лучше, когда Карл услышал эту похвалу, но в английском он поднаторел действительно изрядно.

В столовой дяди, которую Карл помнил еще с первого вечера, им навстречу поднялись двое крупных грузных мужчин — некий господин Грин и некий господин Поллундер, как выяснилось во время застольной беседы. Дядя, по обыкновению, лишь вскользь обронил о знакомых несколько слов, предоставляя Карлу самому добывать необходимые или интересующие его сведения. Во время обеда обсуждали сугубо деловые вопросы, что послужило для Карла хорошим уроком по части экономических терминов, самому же Карлу предоставили меж тем спокойно заниматься едой, будто он — ребенок, который обязан прежде всего наесться досыта. Но вот наконец господин Грин наклонился к Карлу и осведомился, с явно нарочитой отчетливостью выговаривая слова, каковы первые американские впечатления Карла. Поглядывая на дядю, в наступившей мертвой тишине Карл отвечал довольно обстоятельно и, чтобы произвести хорошее впечатление, постарался расцветить свою речь нью-йоркским акцентом. Над каким-то его выражением трое слушателей даже засмеялись, и Карл было испугался, что допустил грубую ошибку, но нет, — объяснил господин Поллундер — выражение оказалось весьма удачным. Этот господин Поллундер определенно выказывал Карлу особое расположение, и, меж тем как дядя и господин Грин снова вернулись к деловым переговорам, он заставил Карла придвинуть свое кресло поближе, сначала расспросил его о всякой всячине: фамилии, родителях, путешествии, затем, наконец, чтобы дать Карлу передохнуть, рассказал вздохнув, смеясь и спеша, о себе и своей дочери, с которой живет в небольшом загородном доме вблизи Нью-Йорка, где, разумеется, может проводить только вечера, он ведь банкир и дела удерживают его целыми днями в Нью-Йорке. И он тут же от всего сердца пригласил Карла посетить его загородный дом: новоиспеченный американец вроде Карла, несомненно, испытывает потребность иногда выбраться из Нью-Йорка. Карл тотчас испросил у дяди позволения принять это приглашение, и дядя, похоже с радостью, такое позволе-

ние дал, не называя, однако, конкретной даты и даже о ней не задумываясь, вопреки ожиданию Карла и господина Поллундера.

Но уже на следующий день Карл был вызван в дядину контору (в одном этом доме у дяди было с десяток таких контор), где он застал молчаливо расположившихся в креслах дядю и господина Поллундера.

— Господин Поллундер,— сказал дядя, в по-вечернему сумрачной комнате он был едва различим,— господин Поллундер приехал, чтобы увезти тебя в свой загородный дом, как мы вчера договаривались.

— Я не знал, что визит состоится уже сегодня,— сказал Карл,— иначе бы я подготовился.

— Если ты не готов, лучше, пожалуй, немного отложить визит,— предложил дядя.

— Какие там приготовления! — воскликнул господин Поллундер.— Юноша всегда наготове.

— Это не из-за него,— сказал дядя, обернувшись к гостю,— но ему придется еще зайти в свою комнату, и он задержит вас.

— И для этого времени вполне достаточно,— сказал господин Поллундер,— я предусмотрел задержку и закончил свои дела пораньше.

— Видишь,— сказал дядя,— сколько осложнений уже вызвал твой визит.

— Мне очень жаль,— произнес Карл,— но я вернусь тотчас же.— И он хотел было выбежать из комнаты.

— Не торопитесь слишком-то,— сказал господин Поллундер,— вы не доставляете мне никаких осложнений, напротив, ваш визит для меня — чистое удовольствие.

— Ты завтра пропустишь урок верховой езды, ты договорился насчет этого?

— Нет,— сказал Карл. Этот визит, которому он так радовался, начинал становиться в тягость.— Я же не знал.

— И, несмотря на это, ты хочешь уехать? — продолжал дядя.

Господин Поллундер, этот любезный человек, пришел на помощь:

— По дороге мы заедем в школу верховой езды и все уладим.

— Прекрасная мысль,— согласился дядя.— Но все-таки тебя будет ждать Мак.

— Ждать он меня не станет,— ответил Карл,— но прийти, во всяком случае, придет.

— Так как же быть? — сказал дядя, будто ответ Карла не удовлетворил его ни в коей мере.

И опять решающее слово осталось за господином Поллундером:

— Но Клара,— он имел в виду свою дочь,— тоже ждет его, и уже сегодня вечером, и, пожалуй, она имеет предпочтение перед Маком?

— Разумеется,— согласился дядя.— Так что беги в свою комнату.— И он как бы невольно хлопнул несколько раз по подлокотнику кресла. Карл был уже у двери, когда дядя задержал его новым вопросом: — К уроку английского ты завтра, наверное, вернешься?

— Однако! — воскликнул господин Поллундер и, насколько позволяла ему тучность, от изумления повернулся в своем кресле.— Неужели ему нельзя остаться за городом хотя бы завтрашний день? Послезавтра утром я привезу его.

— Ни в коем случае,— отрезал дядя.— Я не могу так нарушать распорядок его занятий. Позднее, когда он войдет в колею самостоятельной деловой деятельности, я охотно разрешу ему принимать такие почетные и дружеские приглашения даже на более долгий срок.

«Что за возражения!» — подумал Карл.

Господин Поллундер опечалился.

— Но один вечер и ночь — это же всего ничего.

— Вот и я говорю,— сказал дядя.

— Придется довольствоваться малым,— засмеялся господин Поллундер.— Итак, я жду! — крикнул он Карлу, который, так как дядя больше ничего не сказал, поспешно удалился.

Когда он вскоре вернулся, готовый в путь, то застал в конторе одного господина Поллундера, дядя ушел. Господин Поллундер сердечно пожал Карлу обе руки, будто желая тем самым удостовериться как можно надежнее, что Карл все-таки едет с ним. От спешки Карл очень разгорячился и в свою очередь тоже пожал руки господина Поллундера, он от души радовался поездке.

— Дядя не рассердился, что я еду?

— Ну нет! Он не имел в виду ничего серьезного. Просто он принимает ваше воспитание близко к сердцу.

— Он сам вам сказал, что не имел в виду ничего серьезного?

— О да,— промямлил господин Поллундер, доказывая тем самым, что лгать не умеет.

— Странно, почему он так неохотно позволил мне навестить вас, вы же как-никак друзья.

Господин Поллундер тоже не мог, хотя и не сказал этого открыто, найти объяснение, и оба еще долго размышляли об этом, пока теплым вечером ехали в автомобиле господина Поллундера, говоря при этом совсем о других вещах.

Они сидели близко друг к другу, и господин Поллундер, ведя свой рассказ, держал руку Карла в своей. Карл хотел побольше услышать о фройляйн Кларе, словно долгая поездка испытывала его терпение и рассказ помогал ему быстрее добраться до места, чем в действительности. Хотя он никогда еще не ездил по вечерним улицам Нью-Йорка, а по тротуарам и проезжей части, каждую секунду меняя направление, вихрем метался шум, вызванный словно бы и не людьми, но сверхъестественными силами, внимание Карла, пока он старался понять буквально каждое слово собеседника, было приковано к темному жилету и темной часовой цепочке господина Поллундера. С улиц, где публика из огромной и нескрываемой боязни опоздать в театры доводила скорость торопливых шагов и экипажей до пределов возможного, они мало-помалу выехали в предместья, где конные полицейские снова и снова направляли их автомобиль в боковые улицы, так как улицы покрупнее были заняты демонстрацией бастующих рабочих-металлистов и движение экипажей допускалось в самых ограниченных пределах только на перекрестках. Когда автомобиль из темных, гулких переулков выбрался на одну из таких просторных больших улиц, оказалось, что, насколько хватал глаз, тротуары переполняла медленно движущаяся толпа, чье пение было слаженным и единодушным. На свободной мостовой тут и там виднелись замершие на лошадях полицейские, знаменосцы, поднятые над улицей лозунги, вожак рабочих в окружении помощников, вагон трамвая, который не успел вовремя уехать и стоял теперь пустой и неосвещенный, тогда как водитель и кондуктор отсиживались на площадке. Группки любопытствующих теснились поодаль от демонстрантов и не уходили, хотя подлинный смысл событий оставался для них неясен. Карл же беспечно откинулся на руку полуобнявшего его Поллундера; уверенность, что скоро он станет желанным гостем в освещенном, окруженном стенами и охраняемом

собаками загородном доме, доставляла ему неизъяснимое удовольствие, и хотя из-за подступавшей сонливости он понимал господина Поллундера не без ошибок и вообще через пятое на десятое, но время от времени он собирался с силами и протирали глаза, чтобы выяснить, заметил ли рассказчик его состояние, так как стремился избежать этого любой ценой.

Глава третья

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ ПОД НЬЮ-ЙОРКОМ

— Ну вот мы и приехали,— сказал господин Поллундер как раз в тот миг, когда Карл опять задремал. Автомобиль стоял перед загородным домом, который, как принято у нью-йоркских финансовых воротил, был больше и выше, чем необходимо одной-единственной семье. Освещена была только нижняя часть дома, поэтому высоту его нельзя было установить. На переднем плане шумели каштаны, между ними — решетка ворот была открыта — коротенькая дорожка вела к дому. Выходя из автомобиля, порядочно уставший Карл мысленно отметил, что поездка продолжалась довольно долго. В тени каштановой аллеи он услышал рядом девичий голос:

— Наконец-то господин Якоб приехал.

— Меня зовут Россман,— откликнулся Карл и пожал протянутую ему руку девушки, силуэт которой он теперь различал.

— Он племянник Якоба,— пояснил господин Поллундер,— Карл Россман.

— От этого мы ничуть не меньше рады видеть вас здесь,— сказала девушка, которой было неважно, как его зовут.

Несмотря на это, Карл все-таки спросил, пока шел к дому между девушкой и Поллундером:

— Вы фройляйн Клара?

— Да,— сказала она, и на ее лицо, повернувшееся к нему, упал рассеянный свет из окон дома.— Просто я не хотела представляться здесь, во мраке.

«Так почему же она ждала нас у ворот?» — подумал Карл, с каждым шагом мало-помалу просыпаясь.

— Кстати, сегодня вечером у нас еще один гость,— сказала Клара.

— Не может быть! — с досадой воскликнул Поллундер.

— Господин Грин,— добавила Клара.

— Когда он приехал? — спросил Карл, охваченный непонятным предчувствием.

— Сию минуту. Разве вы не слышали впереди его автомобиль?

Карл взглянул на Поллундера, чтобы узнать его отношение к происходящему, но тот, сунув руки в карманы брюк, лишь немного сильнее топал на ходу.

— Ничего хорошего — жить так близко от Нью-Йорка, беспокойства не оберешься. Нам нужно обязательно уехать подальше, даже если мне придется полночи добираться до дому.

Они остановились у лестницы.

— Но господин Грин так давно не бывал у нас,— сказала Клара, по-видимому вполне согласная с отцом, но пытавшаяся успокоить его.

— Зачем же он явился именно сегодня вечером? — спросил Поллундер, и ярость уже закипела на его толстой нижней губе, которая, как слабая мясистая плоть, возбуждалась весьма легко.

— Действительно! — воскликнула Клара.

— Может быть, он скоро уедет обратно,— заметил Карл и сам поразился, как легко нашел общий язык с этими еще вчера совершенно незнакомыми людьми.

— О нет,— сказала Клара,— у него какое-то важное дело к папе, и обсуждение, наверное, продлится долго, так как он мне уже в шутку пригрозил, что если я собираюсь стать настоящей хозяйкой дома, то придется мне сидеть с ними до самого утра.

— Еще и это. В таком случае он останется на ночь! — воскликнул Поллундер, будто хуже этого ничего и быть не могло.— Честное слово,— продолжил он, и новая мысль заставила его помягчить,— честное слово, господин Россман, впору опять сесть в автомобиль и отвезти вас к вашему дяде. Сегодняшний вечер испорчен с самого начала, а кто знает, когда еще ваш дядюшка снова доверит вас нам. Если же сегодня я отвезу вас обратно, в ближайшем будущем он не сможет отказать нам в вашем визите.

И он уже взял Карла под руку, чтобы привести свой план в исполнение. Карл, однако, не пошевелился, а Клара попросила оставить его здесь, ведь уж ей-то и Карлу господин Грин нисколько не может помешать, и в конце концов Поллундер и сам признал, что его предложение не слишком удачно. Кроме того — и, возможно,

что имело решающее значение,— господин Грин внезапно окликнул с самого верха лестницы:

— Где это вы запропали?

— Пойдемте,— сказал Поллундер и свернул к лестнице. За ним шли Карл и Клара, теперь на свету изучавшие друг друга.

«Какие у нее алые губы»,— отметил про себя Карл и подумал о губах господина Поллундера, которые так прелестно преобразились в его дочери.

— После ужина,— так сказала она,— если вы не возражаете, сразу пойдем в мои комнаты, по крайней мере избавимся от этого господина Грина, если уж папа вынужден им заниматься. И тогда, очень вас прошу, не откажите в любезности поиграть мне на фортепьяно, потому что папа уже рассказал мне, как хорошо вы это умеете; я-то, к сожалению, совершенно не способна к музыке и не прикасаюсь к инструменту, несмотря на то что очень люблю музыку.

Карл полностью согласился с предложением Клары, хотя охотно включил бы в их общество и Поллундера. Однако при виде громадной фигуры Грина — к размерам Поллундера Карл уже привык,— которая постепенно, по мере того как они поднимались по ступенькам, вырастала перед ними, надежды Карла каким-то образом отобрать нынче вечером господина Поллундера у этого человека вконец улетучились.

Господин Грин встретил их явно нетерпеливо, словно и без того было упущено много времени, взял мистера Поллундера под руку и подтолкнул Карла и Клару впереди себя в столовую, выглядевшую весьма торжественно, в особенности из-за цветов, возвышавшихся на столе среди свежей листвы, что заставило вдвойне сожалеть о назойливом присутствии мистера Грина. Только Карл порадовался, ожидая у стола, пока другие усаживались, что большая стеклянная дверь в сад останется открытой — сильный аромат зелени так и веял по комнате, словно в беседке,— как подоспевший господин Грин, громко сопя, закрыл эту дверь, наклонившись до самой низкой защелки и вытянувшись до верхней, и все это так по-юношески быстро, что подбежавшему слуге делать было совершенно нечего. За столом господин Грин первым долгом выразил удивление, что Карл получил у дяди разрешение на этот визит. Он раз за разом подносил ко рту полную ложку супа и объяснял (направо — Кларе, налево — господину Поллундеру), отчего он так удив-

ляется и как дядя заботится о Карле, и что любовь дяди к Карлу слишком велика, чтобы можно было ее назвать любовью дядюшки.

«Мало того, что он бесцеремонно вторгся сюда, он к тому же вмешивается в наши с дядюшкой отношения», — подумал Карл, не в силах проглотить ни глотка чудесного золотистого супа. Но, с другой стороны, он не хотел показывать, как скованно себя чувствует, и начал безмолвно поглощать суп. Ужин тянулся медленно, как пытка. Только господин Грин да разве что еще Клара были оживлены и порой находили повод для короткого смешка. Господин Поллундер вступал в беседу лишь несколько раз, когда господин Грин заводил речь о делах. Однако он быстро устранился и от этих разговоров, и господину Грину приходилось через некоторое время вновь захватывать его врасплох. Кстати, господин Грин то и дело подчеркивал — тут прислушивающийся Карл испуганно настораживался, и Клара напоминала ему, что перед ним жаркое и что он на ужине, — подчеркивал, что вначале не имел намерения наносить этот неожиданный визит. Ведь хотя дело, о котором еще пойдет речь, весьма спешное, важнейшие его аспекты можно было бы обсудить сегодня в городе, а второстепенные — завтра или еще попозже. Поэтому задолго до окончания рабочего дня он побывал у господина Поллундера, но, не застав его, вынужден был сообщить по телефону домой, что не придет ночевать, и отправился сюда.

— В таком случае я должен просить извинения, — громко сказал Карл, прежде чем кто-либо успел ответить, — ведь это я виноват, что господин Поллундер сегодня рано оставил свои дела; мне очень жаль, что так вышло.

Господин Поллундер прикрыл большую часть лица салфеткой, в то время как Клара улыбнулась Карлу, однако улыбка была не сочувствующая, она словно предупредила его о чем-то.

— В таких случаях не извиняются, — сказал господин Грин, ловко разделявая голубя, — совсем напротив, я даже рад провести вечер в столь приятной компании, вместо того чтобы в одиночестве ужинать дома, где мне прислуживает старенькая экономка, до того дряхлая, что пройти от двери до моего стола для нее уже большой труд, и я могу подолгу сидеть, откинувшись на спинку кресла и дожидаясь, пока она одолеет этот путь. Только недавно я настоял, чтобы слуга приносил блюда к двери

столовой, но путь от двери до моего стола — ее привилегия, насколько я ее понимаю.

— Бог мой! — воскликнула Клара.— Вот это преданность!

— Да, есть еще на свете преданность,— подтвердил господин Грин и отправил в рот кусок голубя, язык его, как случайно заметил Карл, жадно устремился навстречу пище. Карлу чуть не сделалось дурно, и он встал. Почти одновременно господин Поллундер и Клара схватили его за руки.

— Вы должны посидеть еще,— сказала Клара. А когда он снова уселся, она шепнула: — Скоро мы вместе исчезнем. Потерпите.

Между тем господин Грин хладнокровно занимался своим ужином, будто господину Поллундеру и Кларе сам Бог велел успокаивать Карла, когда того тошнит.

Трапеза весьма затянулась из-за тщательности, с которой господин Грин подходил к каждому блюду; хотя он неизменно, без признаков усталости, готов был приняться за всякое новое блюдо, впечатление и впрямь было такое, словно он собрался основательно отдохнуть от своей старушки экономки. Время от времени он хвалил фройляйн Клару за умение вести домашнее хозяйство, что ей явно льстило, а вот Карла так и подмывало дать ему отпор, как обидчику. Но господин Грин этим не ограничился, он, не поднимая глаз от тарелки, несколько раз посетовал на бросающееся в глаза отсутствие аппетита у Карла. Господин Поллундер взял аппетит Карла под защиту, хотя, как хозяину дома, ему бы следовало тоже потчевать Карла. И в самом деле, чувствуя принуждение, Карл страдал в продолжение всего ужина так ощутимо, что вопреки лучшим побуждениям истолковывал высказывание мистера Поллундера как недружелюбное. И по причине этого своего состояния он то неприлично быстро поглощал огромные куски, то, утомленный, снова опускал вилку и нож и замирал точно истукан, так что слуга, подававший на стол, частенько не знал, как к нему подступиться.

— Я завтра же расскажу господину сенатору, как вы обидели фройляйн Клару, не прикасаясь к ужину,— сказал господин Грин и подчеркнул шутливость своих слов, взмахнув столовым прибором.— Вы только взгляните, как девочка огорчилась,— добавил он и ухватил Клару за подбородок.

Она не возмутилась, только закрыла глаза.

— Ах ты малышка! — воскликнул господин Грин, откинулся на спинку стула и сыто засмеялся; лицо у него побагровело. Тщетно Карл пытался объяснить себе поведение господина Поллундера. Тот сидел, глядя в свою тарелку, словно самое важное происходит именно там. Он не придвинул стул Карла ближе к себе и, когда говорил, обращался ко всем, а Карлу ничего особенного не сообщал. Напротив, он допускал, чтобы Грин, этот старый прожженный нью-йоркский холостяк, недвусмысленно прикасался к Кларе, чтобы он обижал Карла, гостя Поллундера, или по меньшей мере обращался с ним как с ребенком и вообще позволял себе невесть что.

После ужина — когда господин Грин заметил общее настроение, он первым поднялся из-за стола и до некоторой степени поднял всех — Карл в одиночестве отошел к большому, разделенному тонким белым переплетом окну, обращенному на террасу, а на самом деле — как он заметил, подойдя ближе, — являющемуся дверью. Куда девалась антипатия, которую господин Поллундер и его дочь вначале питали к Грину и которая тогда казалась Карлу необъяснимой? Теперь они стояли рядом с Грином и поддакивали ему.

Поллундер угостил Грина сигарой из тех, о толщине которых дома отец иногда рассказывал как о факте, какового, по всей вероятности, никогда собственными глазами не видел; дым от нее расплылся по залу, донося авторитет Грина даже в уголки и ниши, куда он лично никогда бы не втиснулся. И хотя Карл стоял поодаль, в носу у него свербило от дыма, и поведение господина Грина, на которого он со своего места резко оглянулся, показалось ему гнусным. Теперь он уже не исключал, что дядя так долго отказывал ему в разрешении на этот визит именно по той причине, что знал слабохарактерность господина Поллундера и оттого, если и не предвидел точно, но все-таки предусматривал возможность, что Карла чем-то оскорбят. И эта американская девушка ему не понравилась, хотя в воображении она вовсе и не представлялась ему этакой красавицей. С тех пор как ею занялся господин Грин, Карл даже поразился, какой красивой она умела быть, и в особенности тому, как сияли ее непомерно кокетливые глаза. Он никогда еще не видел юбки, которая бы так плотно, как у нее, обтягивала тело; маленькие складки на светлой, тонкой и прочной ткани подчеркивали, до чего туго она натянута. И все же Карла к ней ни капли не тянуло, и он предпочел бы не

ходить в ее комнаты, а открыть вместо этого дверь террасы, на ручку которой он предусмотрительно положил ладонь, сесть в автомобиль или, если шофер уже спит, в одиночку прогуляться до Нью-Йорка. Ясная ночь с благосклонной полной луною была открыта каждому, а праздновать под чистым небом труса казалось Карлу нелепым. Он представил себе — и впервые ему стало уютно в этом зале, — как утром (раньше он едва ли доберется до дому) удивит дядю. Карл, правда, никогда еще не бывал в его спальне и даже не знал, где она расположена, но об этом можно и спросить. Потом он постучит в дверь и, услышав «Войдите!», вбежит в комнату, огорошив милого дядю, которого до сих пор всегда видел тщательно одетым, застегнутым на все пуговицы, застав его в кровати в ночной рубашке, — дядя с изумлением уставится на дверь. Вероятно, само по себе это не представляет ничего особенного, но только подумать, что может впоследствии. Наверное, он впервые позавтракает вместе с дядей: дядя — в постели, он — в кресле, а завтрак — на столике между ними; наверное, этот совместный завтрак отныне войдет в привычку; наверное, после такого вот завтрака они неизбежно станут встречаться чаще, чем прежде (не только по разу в день), и, естественно, смогут откровеннее беседовать друг с другом. В конце-то концов лишь из-за недостатка откровенности он был сегодня непослушен или, вернее, строптив. И если даже он сегодня останется здесь на ночь — увы, похоже, так и будет, хотя его оставили здесь, у окна, развлекаться на собственный манер, — быть может, этот злосчастный визит ознаменует поворот к лучшему в отношениях с дядей; быть может, и дядя думает о том же сегодня вечером в своей спальне.

Несколько успокоившись, он обернулся. Клара стояла перед ним и говорила:

— Неужели вам вовсе у нас не нравится? Ну же, будьте как дома! Пойдите, я попробую сделать последнюю попытку и приручить вас.

Она провела его через весь зал к двери. Сбоку за столиком сидели старшие, перед ними пенились в высоких бокалах напитки, которые были Карлу незнакомы, и он бы с удовольствием их отведал. Господин Грин облокотился на стол, придвинув лицо как можно ближе к господину Поллундеру; не зная господина Поллундера, вполне можно было бы предположить, будто здесь обсуждают не бизнес, а замышляют преступление. Госпо-

дин Поллундер проводил Карла к двери дружелюбным взглядом, тогда как Грин, хотя обычно люди волей-неволей повторяют взгляд собеседника,— Грин даже не взглянул на Карла, который усмотрел в этом Гринову убежденность, что каждый из них — Карл сам по себе, Грин тоже — должен полагаться только на свои способности, а соответствующие светские отношения между ними возникнут со временем, в зависимости от победы или поражения одного из противников.

«Если он так думает,— сказал себе Карл,— то он просто дурак. Мне на самом деле от него ничегошеньки не нужно, и пусть он оставит меня в покое».

Едва он вышел в коридор, ему подумалось, что, вероятно, он вел себя невежливо, так как не сводил глаз с Грина, и Клара буквально вытащила его из комнаты. Тем охотнее он сейчас шел рядом с ней. Шагая по коридорам, он сначала не поверил своим глазам, что через каждые двадцать шагов стоят лакеи в богатых ливреях, которые обеими руками сжимают толстую подставку канделябра.

— Новое электрическое освещение провели пока только в столовую,— объяснила Клара.— Мы купили этот дом совсем недавно и полностью его перестроили, насколько вообще возможна перестройка старого дома с его своеобразной архитектурой.

— Стало быть, здесь, в Америке, тоже есть старые дома,— заметил Карл.

— Конечно,— засмеялась Клара и повела его дальше.— У вас странные представления об Америке.

— Вы не должны надо мной смеяться,— раздраженно сказал Карл. В конце концов он знаком уже и с Европой, и с Америкой, а она — только с Америкой.

На ходу Клара, протянув руку, толкнула одну из дверей и сказала, не останавливаясь:

— Здесь будете спать вы.

Карл, естественно, хотел незамедлительно посмотреть комнату, но Клара нетерпеливо и почти резко сказала, что это не к спеху и сначала ему надо пойти с ней. Некоторое время они препирались в коридоре, но в конце концов Карл подумал, что не обязан во всем повиноваться Кларе, оставил ее и вошел в комнату. Поразительная темнота за окном объяснялась совершенно его заслонившей верхушкой дерева. Слышался щебет птиц. В самой комнате, куда еще не добрался лунный свет, почти ничего нельзя было различить. Карл пожалел, что не взял с собой электрический карманный фонарик — подарок

дяди. В этом доме карманный фонарик был просто необходим; при наличии нескольких таких фонариков можно было бы отправить лакеев спать. Карл, усевшись на подоконнике, смотрел в окно и слушал. Потрявоженная птица, похоже, металась в кроне старого дерева. Где-то далеко прогудел нью-йоркский пригородный поезд. В остальном царил тишина.

Но недолго, так как в комнату торопливо вошла Клара. Явно рассерженная, она вскричала:

— Что все это значит?—и хлопнула рукой по юбке. Карл решил ответить, когда она станет повежливее. Но Клара подошла к нему широким шагом и, воскликнув:

— Так вы идете со мной или нет? — не то намеренно, не то просто от возбуждения толкнула его в грудь так, что он чуть было не свалился с окна, но, соскальзывая с подоконника, в последнюю минуту коснулся ногами пола.

— Я едва не выпал из окна,— сказал он укоризненно.

— Жаль, что этого не случилось. Отчего вы такой непослушный? Вот возьму и толкну вас еще разок.

И она в самом деле обхватила его и, поскольку тело у нее было закалено спортом, донесла чуть не до окна; от неожиданности он сначала забыл о сопротивлении. Но потом опомнился, вывернулся из ее рук и обхватил ее за талию.

— Ой, мне больно,— тотчас сказала она.

Но Карл решил больше ее не выпускать. Он, правда, позволял ей шагать в любую сторону, однако не отставал от нее и не выпускал. К тому же было совсем несложно удерживать ее, в таком-то узком платье.

— Отпустите меня,— шепнула она; ее разгоряченное лицо было так близко, что он с трудом различал его черты.— Отпустите меня, и я покажу вам кое-что интересное.

«Почему она так взволнованно дышит,— думал Карл,— ей же не больно, я ведь не сжимаю ее»,— и не стал размыкать руки. Как вдруг, после минутной безмолвной расслабленности, он опять всем телом ощутил ее растущее сопротивление, и она вырвалась, ловко перехватила его руки и обездвижила ноги с помощью каких-то неизвестных борцовских приемов, отеснила его к стене, дыша на удивление глубоко и размеренно. А у стены стояло канапе, на которое она уложила Карла, и сказала, не наклоняясь к нему слишком близко:

— Теперь пошевелись, если сможешь.

— Кошка, бешеная кошка! — только и смог крикнуть

Карл, обуреваемый стыдом и яростью.— Сумасшедшая, бешеная кошка!

— Не распускай язык,— сказала она, и одна ее рука скользнула к его шее и сдавила ее так сильно, что Карлу оставалось только хватать ртом воздух, другую руку Клара поднесла к его щеке, как бы на пробу коснулась ее и снова отдернула — того и гляди, влепит пощечину.

— А что,— спросила она при этом,— если я в наказание за твое обращение с дамой выпровожу тебя домой с хорошей оплеухой? Наверное, на будущее это тебе бы не повредило, хотя само воспоминание не из приятных. Мне тебя жаль, ты вполне симпатичный парень и, если бы обучался джиу-джитсу, наверное, поколотил бы меня. И все же, все же у меня просто руки чешутся дать тебе пощечину, пока ты тут лежишь. Вероятно, я пожалею об этом; но если я это сделаю, знай, это произойдет почти против моей воли. К тому же одной пощечиной я, разумеется, не удовлетворюсь, а буду бить справа и слева, пока у тебя не вспухнут щеки. А ты, скорее всего, человек чести — я готова в это поверить,— не захочешь жить с пощечинами и покончишь с собой. Но почему же ты так ко мне отнесся? Я что, тебе не нравлюсь? И в мою комнату заходить не стоит? Смотри! Я чуть ненароком не влепила тебе оплеуху. Если ты намерен убраться отсюда целым-невредимым, то изволь впредь вести себя поучитивей. Я — не твой дядюшка, с которым ты можешь капризничать. Кстати, обрати внимание: если я отпущу тебя без пощечин, ты не должен думать, что с точки зрения чести твое теперешнее положение и фактическое получение пощечины — одно и то же. Если ты так думаешь, то лучше уж я по-настоящему дам тебе оплеуху. Интересно, что скажет Мак, когда я расскажу ему все это?

Упомянув о Маке, она отпустила Карла, в спутанных мыслях которого Мак предстал избавителем. Еще с минуту он чувствовал руку Клары на своем горле, поэтому еще немного подергался и наконец затих.

Она предложила ему встать, он не ответил и не пошевелился. Клара зажгла где-то свечу, комната осветилась, голубой волнистый рисунок обозначился на потолке, а Карл лежал, откинув голову на валик канапе, как уложила его Клара, и ни на йоту не сдвинулся. Клара ходила по комнате, юбка шуршала у нее по ногам; потом она остановилась, вероятно, возле окна.

— Кончил упрямиться? — слышался ее голос.

Карл испытывал тяжкое чувство оттого, что не мог найти покоя в этой комнате, предназначенной ему господином Поллундером. Здесь расхаживала эта девушка, останавливалась, говорила, а она ведь так ему надоела. Единственным его желанием было — поскорее уснуть, а утром уйти отсюда. Ему даже не хотелось больше в постель — остаться здесь, на канапе, и ладно. Он только и ждал ее ухода, чтобы вскочить, запереть дверь на задвижку и снова броситься на канапе. До смерти хотелось потянуться и зевнуть, но при Кларе он не хотел этого делать. И потому лежал, уставившись в потолок и чувствуя, как каменеет лицо, а перед глазами мельтешила муха, только он не отдавал себе отчета, что это такое.

Снова подошла Клара, склонилась так, чтобы окатиться в поле его зрения, и не спохватись он вовремя, ему бы пришлось посмотреть на нее.

— Я ухожу, — сказала она. — Может быть, позднее у тебя появится желание зайти ко мне. Моя комната четвертая, считая от твоей, по этой стороне коридора. Стало быть, три двери ты минуешь, а следующая будет как раз та, что надо. В зал я больше спускаться не стану, посижу у себя. Ты меня порядком утомил. Ждать я тебя не буду, но если захочешь, приходи. Напоминаю, ты обещал поиграть мне на фортепьяно. Впрочем, я, наверно, совсем тебя измучила, и ты не в силах пошевелиться, тогда оставайся здесь и отоспись. Отцу о нашей стычке я пока не скажу ни слова; так что не волнуйся.

Затем, несмотря на свою мнимую усталость, девушка в два прыжка выбежала из комнаты.

Карл тотчас же сел, лежать он уже просто не мог. Чтобы немного размяться, он подошел к двери и выглянул в коридор. Ну и темнота! Он рад был закрыть дверь, запереться и очутиться у стола в мерцании свечи. Оставаться в этом доме Карл не собирался, он решил сойти вниз, к господину Поллундеру, откровенно рассказать, как обошлась с ним Клара — он ничуть не стыдился признать свое поражение, — и по этой вполне уважительной причине просить разрешения уехать или уйти домой. Если господин Поллундер станет возражать против его немедленного возвращения домой, тогда Карл собирался хотя бы просить, чтобы кто-нибудь из слуг проводил его в ближайшую гостиницу. Таким способом, какой выбрал Карл, с гостеприимными хозяевами, как правило, не обходятся, но ведь и с гостями не обращаются так, как это сделала Клара. Она ведь считала любезностью свое обе-

щание ничего пока не говорить господину Поллундери о стычке, а это уж и вовсе наглость. Не для того ли Карла и втянули в эту борьбу, чтобы он опозорился, потерпев поражение от девушки, которая, по-видимому, большую часть жизни провела за изучением борцовских приемов? Чего доброго, уроки ей давал Мак. Пусть, пусть она ему все расскажет; он человек благоразумный и все поймет, это Карл знал, хотя ни разу не имел случая непосредственно в этом убедиться. Знал он и другое: если Мак станет давать уроки ему, он добьется еще больших успехов, чем Клара; тогда в один прекрасный день он опять явится сюда, по всей вероятности без приглашения, для начала, само собой, изучит обстановку, точное знание которой было большим преимуществом Клары, а затем сцапает эту самую Клару и выбьет ею эту самую кушетку, на которую она сегодня бросила его.

Теперь дело только за тем, чтобы найти дорогу в столовую, где он, по-видимому, в минуту первоначальной растерянности оставил свою шляпу в каком-то неподходящем месте. Свечу он, конечно, возьмет с собой, но даже при свете сориентироваться было нелегко. К примеру, он даже не знал, расположена ли эта комната на одном этаже со столовой. На пути сюда Клара так спешила, что он ничего не успел рассмотреть. Мысли о господине Грине и слуги с канделябрами тоже отвлекли его внимание; словом, он и впрямь запамятовал, сколько лестниц встретилось им по дороге — две, три или вовсе ни одной. Судя по виду из окна, комната располагалась довольно высоко, и поэтому он решил, что они шли по лестницам, но ведь, чтобы попасть в дом, они уже поднялись по ступенькам, — так, может, и эта часть дома приподнята над землей? Хоть бы увидеть в коридоре лучик света из какой-нибудь двери или уловить вдалеке голос, пусть даже чуть слышный!

Его карманные часы, дядин подарок, показывали одиннадцать, он взял свечу и вышел в коридор. Дверь он оставил открытой на случай, если его поиски окажутся тщетны, по крайней мере можно снова найти эту комнату или — на худой конец — комнату Клары. Для надежности, чтобы дверь сама собой не закрылась, он приставил к ней кресло. В коридоре обнаружилась неприятность: навстречу Карлу — он, естественно, пошел налево, прочь от двери Клары, — тянул сквозняк, правда слабенький, но способный легко погасить свечу, так что Карлу пришлось ладонью защищать огонек и вдобавок часто

останавливаться, чтобы дать поникшему пламени разгореться поярче. Продвижение вперед было медленным, и оттого путь казался вдвое длиннее. Карл уже миновал длинные пространства стен, где не было ни единой двери,— нипочем не догадаешься, что за ними скрывалось. Затем опять пошли сплошные двери, одна за другой, он попытался их открыть — все заперто, а комнаты, по видимому, необитаемы. Сколько же места пропадает зря — неслыханно; и Карл вспомнил о жилищах в восточной части Нью-Йорка, которые обещал ему показать дядя, где в одной комнатухе якобы проживало по несколько семей и семейный очаг представлял собою угол, в котором дети копошились возле родителей. А здесь пусто так много комнат, лишь эхо гулко отзывается в ответ на стук в дверь. Господин Поллундер, похоже, обманут мнимыми друзьями, до безумия любит свою дочь и оттого человек конченный. Дядя наверняка судил о нем правильно, и лишь его принцип — не влиять на суждения Карла — был злосчастной причиной этого визита и этих блужданий по коридорам. Карл решил утром без обвиняков сказать об этом дяде, так как, руководствуясь своим принципом, дядя охотно и спокойно выслушает и мнение о нем племянника. Впрочем, этот принцип был, пожалуй, единственным, чего Карл в дяде не одобрял, но даже и это недовольство было не столь уж категоричным.

Внезапно с одной стороны коридора стена кончилась, и вместо нее обнаружились холодные как лед мраморные перила. Карл поставил свечу возле себя и осторожно перегнулся вниз. Темной пустотой повеяло ему в лицо. Если это большой холл дома — в мерцании свечи обнаружился сводчатый потолок,— то почему они вошли не через него? Для чего служит это огромное, высокое помещение? Быть здесь, наверху, все равно что стоять на церковных хорах. Карл почти пожалел, что не сможет остаться в этом доме до завтра, он хотел бы, чтобы господин Поллундер при дневном свете поводил его повсюду и со всем ознакомил.

Перила, впрочем, скоро кончились, и Карл снова очутился в замкнутом пространстве коридора. При внезапном повороте он с размаху налетел на каменную стену, и только неусыпная бдительность, с которой он судорожно сжимал свечку, к счастью, спасла ее от падения, а его — от темноты. Коридору не было конца-краю, взгляд везде упирался в глухую стену, ни над головой, ни под ногами ничто не подавало признаков жизни; Карл уже

решил было, что безостановочно ходит по кругу, и мечтал вновь отыскать хотя бы открытую дверь своей комнаты, но ни она, ни перила на пути больше не повстречались. До сих пор Карл воздерживался от громких зовов, поскольку не хотел в такую поздноту поднимать шум в чужом доме, но теперь понял, что в этом громадном, неосвещенном здании подобная щепетильность неуместна, и поэтому громко крикнул: «Алло!» в обе стороны коридора; как вдруг в том направлении, откуда он пришел, Карл заметил крохотный приближающийся огонек. Только теперь он смог оценить протяженность коридора; дом был крепостью, а не виллой. Карл так обрадовался спасительному свету, что забыл всякую осторожность и бросился навстречу; при первых же прыжках его свеча погасла. Он не обратил на это внимания, потому что в ней не было больше нужды — навстречу ему шел старый слуга с фонарем, уж он-то укажет дорогу.

— Кто вы? — спросил слуга и поднял фонарь к лицу Карла, осветив одновременно и свое. Оно казалось малоподвижным из-за окладистой седой бороды, спускавшейся на грудь шелковистыми завитками. «Должно быть, верный слуга, раз ему позволили обзавестись такой бородой», — подумал Карл, пристально разглядывая вдоль и поперек эту бороду и нисколько не смущаясь тем, что и сам находится под наблюдением. В ответ же он сразу сказал, что он — гость господина Поллундера, направляется из своей комнаты в столовую и не может ее найти.

— Ах вот как, — сказал слуга, — мы еще не провели электрическое освещение.

— Я знаю, — кивнул Карл.

— Не хотите ли зажечь свою свечу от моей лампы? — спросил слуга.

— Пожалуй, — ответил Карл и сделал это.

— Здесь в коридорах такой сквозняк, — сказал слуга, — свеча легко гаснет, поэтому я пользуюсь фонарем.

— Да, фонарь гораздо практичнее, — согласился Карл.

— А вы изрядно обкапались воском, — сказал слуга, посветив на костюм Карла.

— Ох, а я и не заметил! — воскликнул Карл, весьма огорченный, так как это был черный костюм, о котором дядя говорил, что он идет Карлу больше остальных.

«Стычка с Кларой тоже не пошла костюму на благо», — подумалось ему. Слуга был столь любезен, что худобно, насколько позволяла спешка, почистил костюм,

снова и снова Карл поворачивался перед ним, показывая тут и там пятна, которые слуга послушно оттирал.

— Почему же здесь, собственно говоря, такой сквозняк? — спросил Карл, когда они зашагали дальше.

— Работы еще непочатый край, — ответил слуга, — перестройку уже начали, но идет она очень медленно. К тому же, как вам, должно быть, известно, строители сейчас бастуют. С этим строительством вообще много неприятностей. Стены-то вон пробили, а замуровывать дыры даже и не думают, и сквозняк гуляет по всему дому. Если бы я не затыкал уши ватой, я бы не выдержал.

— В таком случае мне, пожалуй, надо говорить громче? — спросил Карл.

— Нет, у вас звонкий голос, — сказал слуга. — Но вернемся к строительству, здесь, вблизи часовни, которую позже непременно отгородят от остальной части дома, сквозняк особенно невыносим.

— Значит, галерея, в которую можно попасть из этого коридора, выходит в часовню?

— Да.

— Я так и подумал, — сказал Карл.

— Она весьма достойна внимания, — сказал слуга, — не будь ее, господин Мак, наверно, не купил бы дом.

— Господин Мак? — спросил Карл. — Я думал, дом принадлежит господину Поллундеру.

— В общем, да, — сказал слуга, — но господин Мак сыграл при этой покупке главную роль. Вы знаете господина Мака?

— О да, — ответил Карл. — Но как он связан с господином Поллундером?

— Он — жених барышни.

— Вот этого я не знал, — сказал Карл и остановился.

— Вас это так удивляет? — спросил слуга.

— Я просто хочу это обдумать. Не зная о таких отношениях, можно наделать серьезных ошибок, — ответил Карл.

— Удивительно, что вам ничего об этом не сообщили, — сказал слуга.

— Да, действительно, — сконфуженно произнес Карл.

— Наверное, думали, что вам все известно, — сказал слуга, — ведь это не новость. Ну, вот мы и пришли. — И он открыл дверь, за которой обнаружилась крутая лестница, ведущая к задней двери по-прежнему ярко освещенной столовой.

Прежде чем Карл вошел в столовую, откуда точно так же, как и два часа назад, слышались голоса Поллундера и Грина, слуга предложил:

— Если хотите, я подожду вас тут и потом отведу в вашу комнату. Все-таки трудновато сразу, с первого же вечера, здесь сориентироваться.

— Я больше не вернусь в свою комнату,— сказал Карл и невесть почему погрустнел.

— Не печальтесь,— сказал слуга, чуть снисходительно улыбаясь, и похлопал его по плечу. Должно быть, он решил, что Карл намерен всю ночь провести в столовой, беседуя и выпивая с господами. Карлу не хотелось сейчас ничего объяснять. Кроме того, он подумал, что слуга, понравившийся ему куда больше других слуг этого дома, сможет потом указать ему верную дорогу на Нью-Йорк, и потому сказал:

— Очень любезно с вашей стороны подождать меня здесь, и я очень вам за это благодарен. Во всяком случае, я скоро выйду и скажу, что собираюсь предпринять. Полагаю, ваша помощь мне все-таки понадобится.

— Извольте,— согласился слуга, поставил фонарь на пол и уселся на низенький постамент, незанятость которого, вероятно, также объяснялась перестройкой дома.— Итак, я подожду здесь. Свечу вы тоже можете оставить со мной,— добавил слуга, когда Карл собрался войти в столовую с зажженной свечой.

— Ну и рассеянный же я,— произнес Карл и протянул свечу слуге, который лишь слегка ему кивнул — то ли сознательно, то ли просто из-за того, что погладил рукой бороду.

Карл открыл дверь — она неожиданно громко зазвенела, так как состояла из цельного листа стекла, который чуть ли не прогнулся, когда дверь быстро открывали, держась при этом только за ручку. В испуге Карл отпустил ручку, так как в его намерения вовсе не входило нарушать тишину. Не оборачиваясь более, он успел заметить, как слуга, оставив свой постамент, осторожно и без малейшего шороха прикрыл за ним дверь.

— Простите, пожалуйста, за беспокойство,— обратился Карл к собеседникам, которые смотрели на него с чрезвычайно удивленным видом. Одновременно он окинул взглядом зал, пытаясь побыстрее обнаружить где-нибудь свою шляпу. Ее нигде не было видно, обеденный стол оказался аккуратно прибран; возможно, шляпу, по досадному недоразумению, унесли на кухню.

— Где это вы оставили Клару? — спросил господин Поллундер, как будто бы даже обрадованный неожиданным появлением Карла, так как поспешил переменить позу и повернулся к Карлу. Господин Грин с наигранным безучастием вынул бумажник, размеры и толщина которого были в своем роде необычайны, и рылся в бесчисленных его отделениях, словно разыскивая некий документ, но во время поисков читал и другие бумаги, которые попадались ему под руку.

— У меня есть просьба, только не поймите ее превратно, — сказал Карл, поспешно подойдя к господину Поллундеру, и, чтобы быть к нему поближе, положил руку на подлокотник кресла.

— Что же это за просьба? — спросил господин Поллундер и посмотрел на Карла прямо и открыто. — Считайте, что она уже выполнена. — Он обнял юношу за талию и поставил его между своих колен. Карл не сопротивлялся, хотя, в общем и целом, полагал себя слишком взрослым для подобного обращения. Но высказать просьбу стало, конечно, более затруднительно.

— Как вам у нас, собственно говоря, понравилось? — спросил господин Поллундер. — Не кажется ли вам, что, приехав из города в сельскую местность, испытываешь, как сказать, освобождение? В общем, — он со значением искоса взглянул из-за Карла на господина Грина, — в общем, я снова и снова, каждый вечер испытываю это чувство.

«Он говорит так, — подумал Карл, — будто знать ничего не знает об этом огромном доме, о бесконечных коридорах, часовне, пустых комнатах, повсеместной темноте».

— Ну, — сказал господин Поллундер, — выкладывайте вашу просьбу! — И он дружелюбно встряхнул безмолвного Карла.

— Я прошу, — сказал Карл, но, как он ни понижал голос, сидевший рядом господин Грин все равно услышал его слова, хотя Карлу очень хотелось оставить его в неведении относительно своей просьбы, которая, чего доброго, могла быть воспринята как оскорбление Поллундера, — я прошу позволить мне прямо теперь, ночью, вернуться домой!

И так как самое страшное было произнесено, следом быстро выплеснулось и все остальное; нимало не солгав, он высказал такие вещи, о которых, собственно говоря, перед тем вовсе и не думал.

— Больше всего мне хотелось бы домой. Я охотно приеду опять, потому что мне доставляет удовольствие находиться там же, где и вы, господин Поллундер. Но сегодня я не могу здесь остаться. Вы знаете, дядя разрешил этот визит скрепя сердце. Наверняка для этого у него были веские основания, как и для всего, что он делает, а я дерзнул буквально вырвать это разрешение вопреки его воле. Я попросту злоупотребил его ко мне любовью. Какие возражения были у него против этого визита, сейчас значения не имеет; одно я знаю совершенно определенно: в этих возражениях не было ничего обидного для вас, господин Поллундер, ибо вы — лучший, самый лучший друг моего дяди. Нет никого, кто мог бы, хотя бы приблизительно, сравниться с вами в симпатиях моего дяди. И это единственное, хотя и недостаточное оправдание моей неучтивости. Вероятно, вы не вполне осведомлены об отношениях между мною и дядей, поэтому я буду говорить только о самом существенном. Пока я не овладел английским языком и не понаторел достаточно в практической коммерции, я полностью завишу от дядиной благосклонности, которой он дарит меня как близкого родственника. Не стоит полагать, что я уже теперь способен заработать на жизнь каким-либо порядочным способом — а от прочих Боже меня сохрани! Увы, мое воспитание было слишком непрактичным. Я весьма средне закончил четыре класса европейской гимназии, и с точки зрения заработков это все равно что ничего, так как учебные программы в наших гимназиях очень реакционны. Вы бы рассмеялись, расскажи я вам, чему обучался. Если учиться дальше, окончить гимназию, пойти в университет, возможно, все кое-как выравнивается и в конце концов человек получает порядочное образование, с которым можно что-то предпринять и которое позволяет претендовать на некий заработок. Но я, к сожалению, был вырван из этой системы обучения; иногда я думаю, что совершенно ничего не знаю; да и вообще, все, что я мог там почерпнуть, для американцев просто мизерно. С недавних пор у меня на родине кое-где открываются реформированные гимназии, там изучают современные языки и даже коммерческие дисциплины; когда я кончал народную школу, такого еще не было. Мой отец, правда, хотел, чтобы я изучал английский язык, но, во-первых, я в то время не предполагал, какая меня постигнет беда и как понадобится мне этот язык, а во-вторых, гимназические уроки отнимали много времени

и для других занятий его уже не было... Я упоминаю обо всем этом, чтобы показать вам, как я завишу от дяди и сколь многим ему обязан. Вы безусловно согласитесь, что в такой ситуации для меня непозволительно даже в мелочах действовать вопреки его хотя бы и предполагаемому желанию. Вот почему, чтобы мало-мальски искупить огорчение, которое ему доставил, я должен немедля уехать домой.

Длинную речь Карла господин Поллундер внимательно выслушал; при этом он частенько, особенно когда упоминался дядя, легонько прижимал Карла к себе и раз-другой серьезно и как бы с надеждой взглянул на Грина, продолжавшего рыться в бумажнике. Карл же, по ходу речи все более отчетливо осознававший свою зависимость от дяди, с каждой минутой становился беспокойнее и невольно пытался высвободиться из рук господина Поллундера. Все здесь его стесняло; путь к дяде — через стеклянную дверь, по лестнице, по аллее, по дорогам, через пригороды к широкому проспекту, подводящему к дядиному дому, — представлялся ему чем-то сугубо целостным, которое наготове лежало перед ним пустынное, ровное и громко, требовательно призывало к себе. Доброта господина Поллундера и гнусность господина Грина утратили всякое значение, и от этой прокуренной комнаты он не хотел ничего иного, кроме возможности избавиться от нее. И хотя чувствовал он себя отъединенным от господина Поллундера и готовым к борьбе с господином Грином, все-таки его снедал смутный страх, волны которого омрачали зрение.

Он сделал шаг назад и стоял теперь на одинаковом удалении от господина Поллундера и господина Грина.

— Вы ничего не хотите ему сказать? — спросил господин Поллундер господина Грина и как бы просительно накрыл его руку ладонью.

— Не знаю, что мне ему сказать, — ответил господин Грин, вынув наконец из бумажника письмо и положив его перед собою на стол. — Стремление вернуться к дяде весьма похвально, и с точки зрения человеческой можно было бы предполагать, что это доставит дяде особенную радость. Ведь своим непослушанием дяди он, скорей всего, порядком разозлил дядю, очень может быть. Тогда, разумеется, ему бы лучше остаться здесь. Н-да, трудно сказать что-либо определенное; оба мы, конечно, друзья дяди, и едва ли возможно установить, кто из нас ему ближе — господин Поллундер или я, но в душу вашего

дяди мы проникнуть не в силах, тем более что от Нью-Йорка нас отделяет не один десяток километров.

— Извините, господин Грин,— сказал Карл и, превозмогая себя, приблизился к нему.— Как я понял из ваших слов, вы тоже считаете, что мне лучше немедленно вернуться.

— Я этого отнюдь не говорил,— произнес господин Грин и углубился в созерцание письма, водя пальцами вверх-вниз по его краям. Тем самым он словно намекал, что вопрос задал господин Поллундер, ему-то он, Грин, ответил, а Карл тут, собственно, ни при чем.

Между тем господин Поллундер подошел к Карлу и мягко увел его от господина Грина к большому окну.

— Дорогой господин Россман,— сказал он, склонившись к уху Карла и в качестве подготовки обтерев носовым платком лицо и высморкавшись,— вы ведь не думаете, что я стану вас здесь удерживать против вашего желания. Об этом и речи нет. Правда, я не могу предоставить в ваше распоряжение автомобиль, так как он находится далеко отсюда в платном гараже; все здесь — еще в процессе становления, мне пока недосуг было заняться собственным гаражом. К тому же шофер ночует не в доме, а по соседству с гаражом, да я и сам не знаю — где именно. Кроме того, в его обязанности не входит присутствовать в моем доме по ночам, он обязан только приезжать утром к условленному часу. Но все это не препятствие для вашего немедленного возвращения домой, потому что, если вы настаиваете, я провожу вас до ближайшей станции городской железной дороги, которая, впрочем, так далеко, что вы доберетесь до дому не намного раньше, чем если утром — ведь мы отправимся уже в семь часов — поедете со мной в автомобиле.

— Я все же предпочел бы поехать железной дорогой,— сказал Карл.— О железной дороге я совсем не подумал. Вы сами сказали, что в таком случае я приеду раньше, чем утром на автомобиле.

— Но разница совершенно незначительна.

— Тем не менее, тем не менее, господин Поллундер,— сказал Карл,— памятуя о вашем радушии, я с удовольствием приеду сюда снова, если, конечно, вы извините мое сегодняшнее поведение и опять пригласите меня, и, быть может, я тогда смогу лучше объяснить, отчего для меня так важна сегодня каждая минута, приближающая встречу с дядей.— И, будто получив уже согласие на отъ-

езд, он добавил: — Но вы ни в коем случае не должны меня провожать. В этом совершенно нет необходимости. За дверью ждет слуга, который охотно проводит меня до станции. Теперь мне осталось только найти свою шляпу.— С этими словами он пересек комнату, пытаясь на ходу обнаружить где-нибудь свою пропажу.

— Не смогу ли я выручить вас кепкой? — спросил господин Грин, вытаскивая из кармана кепку.— Может быть, она случайно будет вам впору?

Ошеломленный, Карл остановился:

— Не могу же я оставить вас без вашей кепки. Я прекрасно отправлюсь в путь с непокрытой головой. Шляпа мне не так уж и необходима.

— Это не моя кепка. Возьмите же!

— В таком случае благодарю вас,— сказал Карл, чтобы не задерживаться, и взял кепку. Он надел ее и сначала засмеялся, так как она оказалась впору, снова взял ее в руки и осмотрел, однако не обнаружил ничего особенного: это была совершенно новая кепка.— Как на меня!

— Ну вот видите, как на вас! — вскричал господин Грин и хлопнул по столу.

Карл уже шагал к двери, чтобы позвать слугу, но тут господин Грин встал, потянулся после обильной трапезы и долгого покоя, громко стукнул себя в грудь и произнес, не то советуя, не то приказывая:

— Прежде чем уйти, вы должны проститься с фройляйн Кларой.

— Да, должны,— подтвердил и господин Поллундер, тоже поднявшись с кресла. Было заметно, что у него эти слова идут не от чистого сердца; он смущенно разглаживал складку на брюках, то расстегивал, то застегивал пиджак, который, по современной моде, был очень короткий и едва доходил до бедер, что совершенно не шло толстякам вроде господина Поллундера. Кстати, когда он стоял рядом с господином Грином, однозначно складывалось впечатление, что полнота у господина Поллундера нездоровая; спина у него сутулилась, живот казался дряблым, отвисшим и даже на вид тяжелым, а лицо выглядело бледным и измученным. Господин Грин был, пожалуй, еще толще господина Поллундера, но его толщина была плотной, ядреной; ноги его стояли на земле крепко, по-солдатски, голову он держал прямо, слегка ею покачивая; похоже, он был хороший гимнаст, если не сказать образцовый.

— Прежде всего,— продолжил господин Грин,— пойдите к фройляйн Кларе. Это непременно доставит вам удовольствие и весьма хорошо сочетается с моими планами. Дело в том, что, прежде чем вы отсюда уйдете, мне нужно сказать вам кое-что действительно интересное и, вероятно, решающее для вашего возвращения. Только я, увы, связан строжайшим запретом ничего не выдавать вам до полуночи. Вы можете себе представить, как я сам сожалею об этом, ведь это мешает моему ночному отдыху, но я выполню возложенную на меня миссию. Сейчас четверть двенадцатого, значит, я успею закончить дела с господином Поллундером, в которых ваше присутствие было бы только помехой, и вы можете прекрасно провести это время с фройляйн Кларой. Затем ровно в двенадцать вы явитесь сюда, чтобы получить необходимые сведения.

Не говоря уже о минимальной вежливости и благодарности к господину Поллундеру, мог ли Карл отклонить это требование, предъявленное к тому же человеком грубым, чужим, тогда как господин Поллундер, которого все это прямо касалось, выказывал незаинтересованность молчанием и всем своим видом? И что же, любопытно, он должен узнать в полночь? Если это не ускорит его возвращения домой хотя бы на три четверти часа, на которые оно сейчас отсрочилось, оно его мало интересовало. Но больше всего он сомневался, может ли вообще пойти к Кларе, ведь они были в ссоре! Будь у него при себе по крайней мере железный брусок, подаренный ему дядей вместо пресс-папье! Комната Клары может оказаться воистину опасной ловушкой. Но сейчас никак нельзя ни словечка обронить против Клары, поскольку она дочь Поллундера и даже, как он выяснил, невеста Мака. Если бы она отнеслась к нему чуточку иначе, ему бы только польстили дружеские отношения с ней. Еще обдумывая все это, он заметил, что размышлений от него не ждут, ибо Грин открыл дверь и сказал слуге, вскочившему с постамента:

— Проводите этого молодого человека к фройляйн Кларе.

«Вот как выполняют приказы»,— подумал Карл, когда слуга чуть не бегом, тяжело дыша от старческой слабости, вел его самым коротким путем в комнату Клары. Когда Карл проходил мимо своей комнаты, дверь которой была по-прежнему открыта, он хотел было — возможно, чтобы успокоиться,— войти в нее на минуту. Но слуга не допустил этого.

— Нет,— сказал он,— вам нужно к фройляйн Кларе. Вы ведь сами слышали.

— Я только на минутку,— сказал Карл и тут же решил немного полежать для разнообразия на канаве, чтобы ускорить приближение полуночи.

— Не затрудняйте мне исполнение поручения,— сказал слуга.

«Кажется, он считает наказанием то, что я должен идти к фройляйн Кларе»,— подумал Карл и сделал несколько шагов, но из упрямства снова остановился.

— Пойдите же, сударь,— сказал слуга,— раз вы уж здесь. Я знаю, вы хотели уехать еще ночью, только не все случается по нашему желанию; я же вам сразу сказал, что это едва ли осуществимо.

— Да, я хочу уехать и уеду,— ответил Карл,— я хочу только проститься с фройляйн Кларой!

— Вот как! — произнес слуга, всем своим видом показывая, что не верит словам Карла.— Что же вы тогда медлите с прощанием? Идите.

— Кто тут в коридоре? — прозвучал голос Клары, и она высунулась из ближней двери, держа в руке большую настольную лампу под красным абажуром. Слуга поспешил к ней и объяснил, в чем дело. Карл медленно последовал за ним.

— Поздно вы пришли,— сказала Клара.

Покуда не отвечая ей, Карл тихо, но, так как знал уже натуру слуги, строгим приказным тоном сказал:

— Подождите меня немного за дверью!

— Я собиралась уже лечь,— сказала Клара и поставила лампу на стол. Как и ранее, в столовой, слуга осторожно прикрыл дверь снаружи.— Уже больше половины двенадцатого.

— Больше половины двенадцатого? — повторил Карл вопросительно, словно напуганный этим известием.— Тогда я должен сейчас же распрощаться, ведь ровно в двенадцать мне нужно быть внизу, в столовой.

— Ну и спешные у вас дела,— сказала Клара и рассеянно поправила складки просторного пеньюара. Ее лицо пылало, и она все время улыбалась. Карл заключил, что новая стычка с Кларой ему не грозит.— Может, все-таки поиграете немного на фортепьяно, как мне вчера обещал папа, а сегодня — вы сами.

— А не слишком ли уже поздно? — спросил Карл. Он был бы рад доставить ей удовольствие, так как она держалась совсем иначе, не как прежде, будто непостижи-

мым образом переместилась в сферу Поллундера и далее — Мака.

— Да, действительно поздно,— подтвердила она, и желание послушать музыку как будто бы вновь пропало.— Каждый звук разнесется отсюда по всему дому, если вы станете играть; я уверена, даже прислуга наверху, в мансарде, проснется.

— В таком случае отставим музицирование, я ведь надеюсь повторить визит; кстати, если вас не затруднит, посетите разочек моего дядю, а заодно загляните и в мою комнату. У меня замечательный инструмент. Подарок дяди. Тогда, если угодно, я сыграю вам все мои пьески; к сожалению, их немного, и они совершенно не подходят к такому огромному инструменту,— на нем должны играть только виртуозы. Но вы и это удовольствие получите, если заранее известите меня о приезде, ведь дядя намерен в ближайшее время пригласить для меня знаменитого преподавателя,— можете себе представить, как я этому радуюсь! — и ради того, чтобы услышать его игру, очень даже стоит навестить меня во время урока. Я, если уж быть честным, доволен, что уже поздно для музыки, поскольку ничем не смог бы удивить вас — так мало я умею. А теперь разрешите мне откланяться, в конце концов уже пора спать.

И так как Клара смотрела на него благосклонно и, похоже, вовсе не сердилась на давешнюю стычку, он с улыбкой добавил, протягивая руку:

— На моей родине обычно говорят: спокойного сна и сладких сновидений.

— Подождите,— сказала она, не принимая рукопожатия,— пожалуй, все-таки придется вам сыграть.— И она исчезла за маленькой боковой дверью, возле которой стояло фортепьяно.

«Что же это такое? — подумал Карл.— Она, конечно, очень мила, но я не могу долго ждать». В дверь, ведущую в коридор, постучали, и слуга, не осмелившийся открыть ее широко, шепнул в щелку:

— Извините, меня только что позвали, и ждать я больше не могу.

— Идите, идите,— сказал Карл, полагая, что сумеет теперь один отыскать путь в столовую.— Только оставьте мне фонарь за дверью. Кстати, который час?

— Почти без четверти двенадцать.

— Как медленно тянется время! — заметил Карл.

Слуга хотел уже закрыть дверь, но тут Карл вспом-

нил, что еще не дал ему чаевых, вынул из брючного кармана — теперь он всегда, по американскому обычаю, держал монеты россыпью в брючном кармане, банкноты же, напротив, в жилетном кармане,— и протянул слуге полдоллара со словами:

— За ваши услуги.

Снова вошла Клара, подняв руки к аккуратной прическе, и тут Карлу пришло в голову, что все-таки зря он отпустил слугу — кто его теперь проводит на станцию? Впрочем, господин Поллундер вполне может вызвать какого-нибудь другого, и не исключено, что этого вытребовали всего лишь в столовую и потом он будет в его, Карла, распоряжении.

— Я все-таки прошу вас немного поиграть. Здесь так редко слышишь музыку, что не хочется упускать ни малейшей возможности.

— Что ж, не будем откладывать,— сказал Карл и, не раздумывая, сел за фортепьяно.

— Вам нужны ноты? — спросила Клара.

— Благодарю, я ведь толком не умею их читать,— ответил Карл и начал играть маленькую песенку. Он прекрасно понимал, что играть ее нужно плавно, медленно, иначе она останется непонятной, особенно для чужих, но отбарабанил ее в самом неподходящем маршевом ритме. С последним звуком нарушенная тишина поспешила вновь воцариться в комнате. А они оба, словно оцепенев, замерли без движения.

— В общем, прекрасно.— сказала Клара, но после такой игры польстить Карлу было ничем невозможно.

— Который час? — спросил он.

— Без четверти двенадцать.

— Тогда у меня есть еще несколько минут,— сказал он, а про себя подумал: «Или — или. Я ведь не обязан играть все десять песен, которые знаю, но уж одну-то могу исполнить как следует». И начал свою любимую солдатскую песню. Заиграл так медленно, что разбуженное желание слушательницы нарастало в ожидании следующей ноты, которую Карл придерживал и отдавал через силу. На самом деле ему приходилось в каждой песне сперва отыскивать глазами нужные клавиши, а кроме того, он чувствовал, как в нем рождается печаль, которая, изливаясь через край песни, искала и не могла найти иного завершения.

— Я же ничего не умею,— сказал Карл, закончив песню и глядя на Клару сквозь намернувшиеся на глаза

слезы. Тут из соседней комнаты донеслись громкие аплодисменты.— Кто-то нас слушал! — встревоженно вскричал Карл.

— Мак,— едва слышно сказала Клара. И тотчас раздался голос Мака:

— Карл Россман! Карл Россман!

Перекинув разом обе ноги через рояльный табурет, Карл распахнул дверь. Там он увидел Мака: тот полулежал в огромной кровати с балдахином, одеяло было небрежно наброшено на его ноги. Балдахин голубого шелка был единственным и вполне девическим украшением простой, грубо сколоченной кровати. На ночном столике горела лишь одна свеча, но постельное белье и сорочка Мака были настолько белоснежны, что от падавшего на них света лучились прямо-таки ослепительными бликами; балдахин тоже сверкал, во всяком случае по кромке слегка волнистого, небрежно натянутого шелка. Но кровать позади Мака и все остальное тонуло в кромешной темноте. Клара прислонилась к кроватиному столику, не сводя глаз с Мака.

— Здравствуйте,— сказал Мак и протянул Карлу руку.— Вы играете очень недурно, до сих то пор я был знаком только с вашим искусством верховой езды.

— Я не силен ни в том, ни в другом,— ответил Карл.— Если бы я знал, что вы слушаете, я, безусловно, не стал бы играть. Но ваша фройляйн...— Он умолк, медля сказать «невеста», так как сожителство Мака и Клары было очевидным.

— Я это предвидел,— сказал Мак,— поэтому Кларе и пришлось заманить вас сюда из Нью-Йорка, иначе я вовсе не услышал бы вашей игры. Конечно, это игра начинающего, и даже в этих песенках, которые вы разучили и которые аранжированы весьма примитивно, вы сделали несколько ошибок, но тем не менее вы меня порадовали, не говоря уже о том, что я не пренебрегаю ничьим музицированием. Не хотите ли вы посидеть с нами еще минутку? Подвинь же ему кресло, Клара.

— Благодарю,— Карл запнулся.— Я не могу остаться, как бы мне этого ни хотелось. Слишком поздно я узнал, что в этом доме есть такие уютные комнаты.

— Я все перестрою в таком духе,— сказал Мак.

В этот миг колокол пробил двенадцать, удары следовали быстро, перекрывая друг друга. На Карла повеяло могучим движением этих колоколов. Ну и деревня — колокола-то какие.

— Пора,— сказал Карл, протянув руки к Маку и Кларе, и, не дожидаясь ответного рукопожатия, выбежал в коридор. Фонаря он там не нашел и пожалел, что поспешил вручить слуге чаевые.

Он попытался ошупью добраться до открытой двери своей комнаты, но уже на полпути увидел, как навстречу ему вперевалку спешит господин Грин со свечой в руке. Вместе со свечой рука сжимала и письмо.

— Россман! Где вы пропадаете? Почему заставляете меня ждать? Чем это вы занимались у фройляйн Клары?

«Многовато вопросов! — подумал Карл.— А сейчас он еще и прижмет меня к стене». И действительно, Грин встал вплотную перед Карлом, прислонившись к стене. В этом коридоре фигура Грина выглядела до смешного огромной, и Карл в шутку спросил себя, уж не съел ли он, чего доброго, господина Поллундера.

— Человеком слова вас явно не назовешь: обещали ровно в двенадцать сойти вниз, а вместо этого слоняетесь у двери фройляйн Клары. Я же, напротив, обещал вам к полуночи кое-что любопытное, и вот я здесь.

С этими словами он протянул Карлу письмо. На конверте было написано: «Карлу Россману, в собственные руки, в полночь, где бы она его ни застала».

— В конце концов,— сказал господин Грин, пока Карл вскрывал конверт,— я полагаю, заслуживает признательности уже то, что ради вас я приехал сюда из Нью-Йорка, так что мне совершенно ни к чему вдобавок гоняться за вами по коридорам.

— От дяди! — воскликнул Карл, едва взглянув на письмо.— Я этого ожидал,— добавил он, поворачиваясь к господину Грину.

— Ожидали вы этого или нет — мне донельзя безразлично. Вы читайте, читайте,— сказал тот и поднес Карлу свечу.

При ее свете Карл прочитал:

«Любезнейший племянник! Как ты, наверно, понял за время нашего, увы, слишком короткого совместного проживания, я прежде всего человек принципиальный. Это весьма неприятно и печально не только для моего окружения, но и для меня самого, однако именно благодаря моим принципам я достиг своего нынешнего положения, и никто не вправе требовать, чтобы я изменил себе, никто, в том числе и ты, любезнейший племянник,

хотя, вздумай я допустить такое, как раз тебе первому я бы и уступил. Тогда бы я с радостью обеими руками, пишущими сейчас это письмо, подхватил тебя в объятия и возвысил. Поскольку же покуда абсолютно ничто не предвещает, что это когда-нибудь случится, я вынужден после сегодняшнего инцидента непременно удалить тебя из своей жизни и настоятельно прошу не тревожить меня ни лично, ни письменно, ни через посредников. Сегодня вечером ты решился покинуть меня вопреки моему желанию, так пусть это решение и определит твою дальнейшую жизнь; только в таком случае оно будет решением настоящего мужчины. Это известие передаст тебе господин Грин, мой лучший друг; он найдет для тебя достаточно осторожные слова, которые мне сейчас просто-напросто не приходят в голову. Он человек влиятельный и, хотя бы ради меня, поможет тебе словом и делом на первых порах твоей самостоятельной жизни. Стараясь постичь наше расставание, которое теперь, к концу этого письма, опять кажется мне непостижимым, я невольно повторяю себе снова и снова: из твоей семьи, Карл, не приходит ничего доброго. Если господин Грин забудет вручить тебе твой чемодан и зонтик, напomini ему об этом. С наилучшими пожеланиями благополучия

твой верный дядя Якоб».

— Прочитали? — спросил Грин.

— Да, — ответил Карл. — Вы принесли мне чемодан и зонтик?

— Вот он, — сказал Грин и поставил на пол возле Карла старый дорожный чемодан, который до сих пор прятал в левой руке за спиною.

— А зонтик? — спросил Карл.

— Все здесь, — сказал Грин, отцепляя от брючного кармана зонтик. — Вещи принес некий Шубал, старший механик линии «Гамбург — Америка», утверждая, что обнаружил их на корабле. Вы могли бы при случае поблагодарить его.

— По крайней мере теперь мои старые вещи со мной, — сказал Карл и положил зонтик на чемодан.

— Но впредь вы должны лучше присматривать за ними — так велел сказать вам господин сенатор, — заметил Грин, а затем спросил, вероятно из любопытства: — Что это; собственно говоря, за странный чемодан?

— С такими на моей родине солдаты уходят на военную службу, это старый солдатский сундучок моего отца.

Вообще-то он очень удобный,— улыбнулся Карл,— если, конечно, не оставлять его где попало.

— В конце концов поучений с вас уже достаточно,— сказал Грин,— а второго дяди в Америке у вас, вероятно, нет. Вот вам билет третьего класса до Сан-Франциско. Я решил отправить вас в это путешествие, потому что, во-первых, виды на заработок для вас на Западе гораздо лучше, во-вторых, все, чем вы могли бы заняться здесь, так или иначе связано с вашим дядей, а встречаться с ним вам ни под каким видом нельзя. Во Фриско вы можете работать без помех; спокойно начните с самых азав и постарайтесь мало-помалу выбиться в люди.

Карл не уловил в этих словах злорадства, скверная новость, весь вечер таившаяся в Грине, была сообщена, а потому он уже не казался опасным, и разговаривать с ним, пожалуй, можно откровеннее, чем с любым другим. Самый лучший человек, не по своей вине ставший исполнителем столь неприятного секретного поручения, поневоле будет казаться подозрительным, куда не выполнит свою миссию.

— Я,— сказал Карл, ожидая одобрения этого бывалого человека,— тотчас же покину этот дом, потому что принят здесь только как племянник дяди-сенатора, а как чужаку мне здесь делать нечего. Не откажите в любезности, проводите меня к выходу, а затем укажите путь к ближайшей гостинице.

— Только побыстрее,— сказал Грин.— Вы доставляете мне массу хлопот.

Заметив, какой большой шаг немедля сделал Грин, Карл остановился: что-то очень уж подозрительная спешка,— он ухватил Грина за полу пиджака и сказал, внезапно поняв истинное положение дел:

— Вы должны объяснить мне еще вот что: на конверте письма, которое вы мне вручили, написано только, что я должен получить его в полночь, где бы я ни находился. Почему же в таком случае, ссылаясь на это письмо, вы задержали меня здесь, когда я хотел покинуть дом еще в четверть двенадцатого? Вы превысили тем самым свои полномочия.

Грин сопроводил свой ответ движением руки, которое представило замечание Карла в издевательском свете, как нелепую придирку:

— Разве на конверте написано, что из-за вас я должен уморить себя, и разве содержание письма позволяет сделать подобные выводы из надписи на конверте? Если

бы я не задержал вас, мне пришлось бы вручать вам письмо как раз в полночь на дороге.

— Нет,— твердо заявил Карл,— не совсем так. На конверте стоит: «Вручить в полночь». Если вы чересчур устали, то, вероятно, не смогли бы и последовать за мной; или же я — правда, господин Поллундер на это не согласился — к полуночи уже добрался бы до дяди; или, в конце концов, ваш долг был — отвезти меня в вашем автомобиле, о котором почему-то вдруг забыли, а ведь я так хотел возвратиться! Разве надпись на конверте не говорит совершенно определенно, что полночь для меня самый крайний срок? И по вашей вине я его пропустил.

Карл пристально смотрел на Грина и ясно понимал, что в нем борются стыд за это разоблачение и радость за успех своего предприятия. Наконец Грин овладел собой и произнес таким тоном, будто перебил Карла, хотя тот давно замолчал:

— Ни слова больше! — а затем вытолкнул Карла, поднявшего чемодан и зонтик, через маленькую дверь, которую открыл перед ним.

Удивленный, Карл стоял на вольном воздухе. Одна из пристроенных к дому лестниц без перил вела вниз. Нужно только спуститься вниз и потом чуть правее свернуть в аллею, ведущую к шоссе. При ярком лунном свете заблудиться было невозможно. Он слышал в саду лай собак, спущенных с цепи и бегавших во мраке среди деревьев. В ночной тишине доносилось совершенно отчетливо, как под их мощными прыжками шуршит трава.

Удачно избежав встречи с собаками, Карл вышел из сада. Он не мог с уверенностью определить, в каком направлении был Нью-Йорк. Едучи сюда, он обращал мало внимания на подробности, которые сейчас могли бы ему пригодиться. В конце концов он сказал себе, что в Нью-Йорк ему вовсе не обязательно, там его никто не ждет — не ждет совершенно определенно. И потому он зашагал куда глаза глядят.

Глава четвертая

ДОРОГА НА РАМЗЕС

После короткого перехода Карл добрался до маленькой гостиницы, которая вообще-то служила всего лишь для последней краткой остановки экипажей перед Нью-Йорком, а потому редко — для ночлега, и попросил самый

дешевый номер из имеющихся, так как полагал, что надо немедленно начать экономить. В ответ на его просьбу хозяин кивком, словно слуге, указал ему на лестницу, где Карла встретила старая растрепанная баба; раздраженная из-за прерванного сна, она, почти не слушая его и без конца призывая ступать потише, привела в комнату и, предварительно прошипев ему многозначительно «тсс!», закрыла за собой дверь.

Поначалу Карл даже не сообразил, в чем дело: то ли оконные шторы опущены, то ли, быть может, в комнате вообще не было окон,— такой здесь царил мрак; наконец он обнаружил маленький занавешенный люк и, откинув занавеску, впустил в комнату немного света. Здесь стояли две кровати, но обе уже были заняты. Карл разглядел двух молодых людей, забывшихся тяжким сном и не вызывавших доверия прежде всего потому, что они — по непонятным причинам — забрались в кровати одетыми, а один — даже в сапогах.

В тот миг, когда Карл приоткрыл люк, один из спящих чуть приподнял руки и ноги, явив собою зрелище такого рода, что Карл, несмотря на свои заботы, ухмыльнулся.

Он тут же сообразил, что спать ему не придется: во-первых, не на чем — в каморке нет ни канапе, ни дивана, а во-вторых, нельзя же подвергать опасности только что обретенный чемодан и бывшие при нем деньги. Но и уходить он тоже не хотел, так как не надеялся незаметно проскользнуть мимо прислуги и хозяина. В конце концов, здесь, наверное, не более опасно, чем на дороге. Удивляло, однако, что во всей комнате, насколько позволяла определить полутьма, невозможно было обнаружить никакого багажа. Но, быть может и скорее всего, эти два молодых человека — просто лакеи, которым из-за постояльцев скоро придется вставать, потому они и спали одетыми. В таком случае ночевать с ними было хоть и не особенно лестно, зато безопасно. Правда, не уверившись в этом на сто процентов, спать никак нельзя.

Под кроватью обнаружили свеча и спички, которые Карл крадучись достал. Не раздумывая, он зажег свечу, ведь комната определена хозяином и ему, и двум незнакомцам, которые к тому же проспали уже полночи и были в неизмеримо более выгодном положении, поскольку занимали кровати. Впрочем, он, разумеется, изо всех сил старался не шуметь, чтобы не разбудить этих двоих.

Для начала он решил заглянуть в свой чемодан, чтобы сразу осмотреть все свои вещи, которые успел уже подзабыть, а самые ценные из них, вероятно, пропали. Ведь если Шубал накладывает на что-либо лапу, нет почти никакой надежды получить это назад в целости и сохранности. Правда, Шубал, наверно, рассчитывал на крупную награду от дяди, с другой же стороны, если какие-то вещи в чемодане и отсутствуют, он вполне мог свалить вину на изначального караульщика, господина Буттербаума.

Открыв чемодан, Карл пришел в ужас. Как много часов во время плавания через океан провел он, снова и снова разбирая вещи, а теперь все запихнули туда в таком беспорядке, что, едва он отпер замок, крышка сама собой откинулась.

Но вскоре, к своей радости, он понял, что причина беспорядка лишь в том, что поверх всего уложили костюм, который был на нем во время рейса, а на это чемодан, естественно, не был рассчитан. Ни малейшей пропажи. В потайном кармане пиджака сохранился не только паспорт, но и привезенные из дому деньги, так что вместе с теми, которые были при нем сейчас, Карл был вполне ими обеспечен. И белье, бывшее на нем во время поездки, находилось тут же, чисто выстиранное и выглаженное. Он незамедлительно спрятал часы и деньги в надежный потайной карман. Досадно только, что все вещи пропахли веронской саями, которая тоже не пропала. Если не найдется способа устранить этот запах, Карлу предстоит долгие месяцы ходить в облаке смрада.

Когда он добрался до вещей, лежавших в самом низу, — карманной Библии, почтовой бумаги, фотографий родителей, — кепка с его головы упала в чемодан. Среди старых своих вещей он сразу узнал ее — это была его кепка, которую мать дала ему в дорогу. Однако из предусмотрительности он не надевал ее на корабле: зная, что в Америке в обычае носить кепку вместо шляпы, не хотел истрепать ее еще до прибытия. Ну а господин Грин воспользовался ею, чтобы повеселиться на его счет. Уж не сделал ли он и это по поручению дяди? И неожиданным яростным жестом Карл громко захлопнул крышку чемодана.

Ничего теперь не поделаешь — спящие проснулись. Сначала один потянулся и зевнул, затем другой. Притом ведь почти все содержимое чемодана было выложено на стол; если это — воры, то им оставалось только подойти

и отобрать вещи. Чтобы предупредить эту возможность, а заодно внести ясность в ситуацию, Карл со свечой в руке подошел к кроватям и объяснил, на каком основании он здесь. Они как будто бы вовсе и не ожидали этого объяснения, так как, еще не вполне проснувшись и потому не в состоянии говорить, только смотрели на него без малейшего удивления. Оба они были очень молоды, но от тяжелой работы и жизненных невзгод их лица не по возрасту осунулись, обросли бородой, давно не стриженные волосы были всклокочены; они протирали, старательно нажимая костяшками пальцев, заспанные, провалившиеся глаза.

Карл решил воспользоваться их минутной слабостью и потому произнес:

— Меня зовут Карл Россман, я — немец. И раз уж комната у нас общая, пожалуйста, скажите мне, как вас зовут и какой вы национальности. Я же добавлю только, что на кровать не претендую, так как явился поздно и вообще не имею намерения спать. Кроме того, вас не должна смущать моя шикарная одежда, я совершенно нищ и без всяких перспектив.

Тот, что пониже ростом, — это он спал в сапогах — руками, ногами и выражением лица дал понять, что все это его нисколько не интересует и что сейчас вообще не время для подобных объяснений, лег на койку и тотчас уснул; второй, смуглый мужчина, тоже улегся, но перед тем, как заснуть, сказал все-таки, вяло протянув руку:

— Его зовут Робинсон, он ирландец; я — Деламарш, француз, а теперь прошу нас не беспокоить. — Едва вымолвив это, он могучим выдохом задул свечу Карла и снова рухнул на подушку.

«Итак, эта опасность пока миновала», — подумал Карл и вернулся к столу. Если их сонливость не притворство, то все хорошо. Досадно только, что один оказался ирландцем. Карл не помнил точно, но дома в какой-то книге он читал, что в Америке следует остерегаться ирландцев. Конечно, живя у дяди, он имел массу возможностей выяснить, чем же именно опасны ирландцы, но он упустил их, так как понадеялся, что судьба его счастливо устроилась отныне и навсегда. Теперь он решил хотя бы с помощью свечи, которую снова зажег, рассмотреть этого ирландца получше, причем обнаружил, что как раз он внушал куда больше доверия, чем француз. У него тоже были еще юношески округлые щеки, и улыбался он во

сне совершенно добродушно, насколько мог заметить Карл, встав поодаль на цыпочки.

Твердо решив ни за что не спать, Карл уселся на единственный в комнате стул, отложив пока что упаковку чемодана, ведь вся ночь еще впереди, и немного полистал Библию, ничего не читая. Затем взял в руки фотографию родителей, на которой низенький отец стоял, вытянувшись в струнку, тогда как мать сидела перед ним, немного откинувшись в кресле. Одну руку отец держал на спинке кресла, другую, сжатую в кулак,— на открытой иллюстрированной книге, лежавшей рядом на хрупком изящном столике. Была и еще одна фотография, на которой Карл был снят вместе с родителями. Отец и мать сурово смотрели на него, а он, по наущению фотографа, глядел в аппарат. Но эту фотографию он с собой не взял.

Тем внимательнее рассматривал он лежащий перед ним снимок, стараясь и так и этак поймать взгляд отца. Но сколько он ни передвигал свечу, отец никак не хотел оживать, даже его густые прямые усы выглядели непохоже, фотография была плохая. Мать, напротив, удалась получше; губы ее кривились, словно ее обидели и она заставляет себя улыбнуться. Карлу почудилось, что это должно бросаться в глаза каждому, рассматривающему фотографию, но уже в следующий миг он решил, что яркость этого впечатления слишком сильна и чуть ли не абсурдна. С какой же неопровержимой убедительностью фотография способна поведать о потаенных чувствах изображенных на ней людей! И он на минутку отвел взгляд. Когда же опять посмотрел на снимок, ему бросилась в глаза материнская рука, свесившаяся со спинки кресла,— до чего она близко, так бы и поцеловал. Он подумал, что, наверное, неплохо бы написать родителям, о чем его просили и отец и мать (отец напоследок очень настойчиво в Гамбурге). Правда, когда в тот ужасный вечер мать объявила ему, что надо ехать в Америку, он поклялся никогда писем не писать, но чего стоит клятва неискушенного юнца здесь, в новых обстоятельствах! С тем же успехом он мог бы тогда поклясться, что, пробыв в Америке два месяца, станет генералом тамошнего ополчения, а на деле оказался вместе с двумя босяками в каморке жалкой гостиницы под Нью-Йорком и не мог не признать, что фактически ему здесь самое место. И, улыбнувшись, Карл испытующе посмотрел на лица родителей, словно по ним можно было узнать, хотят ли они еще получить весточку от сына.

Разглядывая фотографию, он вскоре заметил, что очень устал и вряд ли сможет просидеть всю ночь, не смыкая глаз. Фотография выпала у него из рук, он положил на нее лицо (она приятно освежала щеку) и с легким сердцем уснул.

Проснулся он утром от щекотки. Эту фамильярность позволил себе француз. Но и ирландец уже стоял у стола, и оба рассматривали Карла с не меньшим интересом, чем это делал ночью он сам. Карл не удивился, что его не потревожило их пробуждение; должно быть, они поднялись особенно тихо не со злым умыслом,— просто он спал глубоким сном, а кроме того, их «одевание», да и «умывание» тоже не наделали много шума.

Теперь они поздоровались по всем правилам и даже с некоторой официальностью; Карл узнал, что оба — слесари по ремонту машин, долгое время не могут найти в Нью-Йорке работу и потому изрядно обносились. В доказательство Робинсон распахнул пиджак, показывая, что рубашки под ним нет, хотя это было и без того заметно по свободно болтающемуся на шее воротничку, пришпиленному сзади к пиджаку. Они намеревались добраться до городка Баттерфорд, что в двух днях пути от Нью-Йорка, где якобы были шансы получить работу. Оба нисколько не возражали, чтобы Карл им сопутствовал, и обещали ему, во-первых, время от времени помогать нести чемодан, а во-вторых, в случае если сами получают работу, добиться для него места ученика, что вообще-то легко устроить, если есть работа. Не успел Карл согласиться, а они уже дружески посоветовали ему снять щегольскую одежду, поскольку она, безусловно, затруднит поиски работы. Как раз в этом доме, по их словам, есть хорошая возможность избавиться от костюма, ведь прислуга торгует одеждой. Они помогли Карлу раздеться, хотя он еще не принял окончательного решения насчет одежды, и унесли костюм. Когда Карл, оставшись один, по-прежнему немного заспанный, медленно надевал свой старый дорожный костюм, он упрекал себя за продажу одежды, которая, быть может, и повредила бы ему при поступлении на место ученика, но могла оказаться кстати при поисках более приличной работы, и он открыл дверь, чтобы вернуть обоих, но тут же с ними столкнулся,— приятели выложили на стол вырученные за костюм полдоллара, но при этом соорудили такие радостные физиономии, что не захочешь, да заподозришь, что на про- даже они подзаработали, и здорово.

Впрочем, времени для объяснений не было — вошла прислуга, совершенно заspanная, как и ночью, и выставила всех троих в коридор, заявив, что комнату надо подготовить для новых постояльцев. Но дело, конечно, было не в постояльцах, она действовала так по злобе. Карл, как раз собиравшийся навести порядок в чемодане, вынужден был смотреть, как эта баба обеими руками хватала его вещи и с силой швыряла в чемодан, словно перед ней какие-то твари, которых она старается усмирить. Слесари, правда, обхаживали ее, теребили за юбку, хлопывали по спине, однако, если тем самым они и пытались помочь Карлу, проку от этого не было. Захлопнув чемодан, прислуга сунула его Карлу, стряхнула слесарей и выставила всех троих из комнаты, угрожая в случае непослушания оставить их без кофе. Она, должно быть, начисто запомнила, что Карл изначально не имел отношения к слесарям, и обходилась с троицей как с одной шайкой-лейкой. Неудивительно — слесари продали ей одежду Карла и тем самым доказали, что они все вместе.

В коридоре им пришлось долго бродить взад-вперед; француз, взявши Карла под руку, беспрестанно ругался, угрожал побить хозяина, если тот посмеет сунуться, и словно подготовки ради неистово размахивал сжатыми кулаками. Наконец явился ни в чем не повинный малец, ему пришлось стать на цыпочки, когда он подавал французу кружку с кофе. К сожалению, кружка была только одна, а растолковать малышу, что нужны еще две, было невозможно. Вот и пришлось пить по очереди: один пьет, двое ждут. Карлу пить не хотелось, но обижать других незачем, и поэтому, когда приходил его черед, нехотя подносил кружку к губам.

На прощание ирландец швырнул кружку на кафельный пол. Никем не замеченные, они покинули гостиницу и нырнули в густой белесый утренний туман. Молча шли они рядом по обочине дороги; Карлу пришлось нести чемодан, ведь попутчики подменяют его, вероятно, только если он попросит; порой из тумана вылетали автомобили, и все трое поворачивали головы, провожая взглядом в большинстве своем огромные машины, необычайные по своим размерам и проскакивавшие так быстро, что заметить пассажиров было вовсе даже невозможно. Позднее на дороге появились колонны фургонов, везущих в Нью-Йорк провизию, они двигались пятью рядами во всю ширину мостовой, да так плотно, что пересечь ее было бы невозможно. Иногда дорога расширялась, образуя подо-

бие площади, в центре которой на возвышении-башенке поворачивался полицейский, обозревая окрестности и с помощью жезла регулируя движение по магистрали и по боковым дорогам; затем вплоть до очередного перекрестка с очередным полицейским движение оставалось без присмотра, но внимательно-молчаливые кучера и шоферы сами худо-бедно следили за порядком. Больше всего Карла поразило это спокойствие. Если бы не беззаботный рев скотины, которую везли на бойню, слышны были бы, вероятно, только стук копыт да шуршание шин. Притом ведь скорость передвижения, разумеется, не всегда была одинакова. Когда на иных перекрестках из-за непомерного наплыва транспорта с боковых дорог необходимо было произвести крупные перестроения, целые ряды останавливались и ползли буквально шагом, затем все опять устремлялось вперед и опять останавливалось словно каким-то общим тормозом. При этом с мостовой не поднималось ни пылинки — движение происходило в прозрачайшем воздухе. Пешеходов не было, здесь рыночные торговки не брели в город пешком, как на родине Карла, но нет-нет да и появлялись громадные приземистые грузовики, в которых стояло десятка два женщин с корзинами за спиной — возможно, все те же рыночные торговки, они вытягивали шеи, обозревая уличное движение и волнуясь из-за задержек. Затем появились похожие автомобили, в кузовах которых, руки в брюки, расхаживали мужчины. На одном из этих автомобилей, снабженных различными надписями, Карл, тихо вскрикнув, прочел: «Наем грузчиков для экспедиционной конторы Якоба». Машина ехала как раз очень медленно, и стоящий на подножке бойкий сутулый человек пригласил трех путников забраться в кузов. Карл спрятался за слесарями, словно в машине мог находиться дядя и видеть его. Он был рад, что оба его спутника тоже отклонили приглашение, хотя и несколько обиделся на высокомерную гримасу, с какой они это сделали. Напрасно они воображают, будто чересчур хороши, чтобы служить у дяди. Карл тотчас дал им это понять, хотя, конечно, и не слишком явно. После чего Деламарш попросил его по возможности не вмешиваться в дела, которых он не понимает; этот способ нанимать людей — гнусное мошенничество, и о фирме Якоба идет дурная слава во всех уголках Соединенных Штатов. Карл не ответил, но с этой минуты держался поближе к ирландцу, попросив его немного понести чемодан, что тот после неоднократных просьб Кар-

ла и исполнил. Только вот он непрерывно сетовал на тяжесть чемодана, покуда не выяснилось, что он всего-навсего намеревался облегчить его на веронскую салями, видно приглянувшуюся ему еще в гостинице. Пришлось Карлу ее вытащить, француз, тотчас же завладев ею, принялся орудовать своим кинжалообразным ножом и один съел почти всю колбасу. Робинсону досталось лишь несколько ломтиков, сам же Карл, вынужденный снова нести чемодан, чтобы не оставлять его на шоссе, не получил ничего, словно съел свою долю заранее. Ему казалось мелочным клянуть кусочек, но обида зашевелилась в его груди.

Туман уже развеялся, вдали засверкали высокие горы, волнистый гребень их исчезал далеко-далеко в солнечном мареве. Вдоль дороги тянулись плохо обработанные поля, огибавшие большие, до черноты прокопченные фабрики. Многочисленные окна беспорядочно понастроенных тут и там доходных домов трепетали движением и светом, на хилых балкончиках суетились женщины и дети, а вокруг, то заслоняя их, то снова открывая, развешивалось и надувалось парусом на утреннем ветру развешанное на веревках белье. Отведя взгляд от домов, можно было увидеть высоко в небе жаворонков, а ниже — ласточек, выделяющих курбеты чуть ли не над самой головой.

Многое напомнило Карлу о его родине, и он не знал, хорошо ли сделал, покинув Нью-Йорк и отправившись в глубь страны. В Нью-Йорке было море и в любое время — возможность вернуться на родину. И вот он остановился и объявил спутникам, что решил все-таки вернуться в Нью-Йорк. А когда Деламарш просто-напросто хотел потащить его дальше, он не позволил себя тащить и заявил, что, вероятно, все-таки вправе распоряжаться собой. Пришлось вмешаться ирландцу и объяснить, что Баттерфорд гораздо лучше Нью-Йорка, но лишь после долгих уговоров Карл отправился с ними дальше. И все равно сдвинулся с места не раньше, чем сказал себе, что для него, наверное, лучше идти в такой город, откуда не так уж и легко вернуться на родину. Там он наверняка будет лучше работать и преуспеет, так как бесполезные мечтания не станут ему докучать.

Теперь уже он потащил за собой эту парочку, и они так пылко радовались его энтузиазму, что без всяких упрасиваний поочередно несли чемодан, а Карл не мог взять в толк, чем он вызвал у них приступ этой непод-

дельной радости. Дорога пошла в гору, и когда они время от времени останавливались, то, обернувшись, видели ширящуюся с каждым часом панораму Нью-Йорка и его гавани. Ажурный мост, связывающий Нью-Йорк с Бруклином, висел над Ист-Ривер и, если прищуриться, словно бы подрагивал. Движения на нем видно не было, а под ним протянулась безжизненная гладкая лента воды. Оба города-колосса казались пустыми и никчемными. Домишки и дома-громадины практически сливались в одну сплошную массу. В невидимой глубине улиц, наверное, продолжалась своя жизнь, но с высоты ничего не было видно, кроме легкого марева, которое хотя и не двигалось, но выглядело так, будто его без труда можно разогнать. Даже порт, крупнейший в мире, угомонился, и только кое-где, видимо, под воздействием прежних впечатлений, угадывался продвигавшийся вперед корабль. Но следить за ним долго не представлялось возможным, он исчезал из виду, и найти его снова не удавалось.

Но Деламарш и Робинсон различали, судя по всему, гораздо больше; они указывали направо и налево, обводили жестом площади и парки, приводя их названия. У них в голове не укладывалось, что Карл пробыл в Нью-Йорке больше двух месяцев и не видел в городе почти ничего, кроме одной улицы. И они пообещали ему, если достаточно подзаработают в Баттерфорде, поехать с ним в Нью-Йорк и показать все достопримечательности, в первую очередь, конечно, те места, где можно великолепношим образом развлечься. После чего Робинсон во все горло затянул песню, а Деламарш в такт хлопал в ладоши; Карл узнал в ней мелодию из немецкой оперетты, с английским текстом она понравилась ему куда больше, чем нравилась дома. Так под открытым небом состоялось небольшое представление, в котором приняли участие все, только вот город внизу, который якобы развлекался под эту мелодию, похоже, знать об этом не хотел.

Раз Карл спросил, где расположены склады Якоба, и тотчас увидел, как Деламарш и Робинсон наставили указательные пальцы то ли на одну и ту же, то ли на разные, на много миль отстоящие друг от друга точки. Они зашагали дальше, и Карл спросил, когда они смогут, самое раннее, вернуться в Нью-Йорк с достаточным заработком. Деламарш ответил, что, вполне возможно, через месяц, так как в Баттерфорде нехватка рабочих и зарплаты высокие. Конечно, они сложат день-

ги в общий котел, чтобы по-товарищески выравнять случайную разницу в заработках. Общий котел Карлу не понравился, хотя он, как ученик, будет, конечно, зарабатывать меньше квалифицированных слесарей. Кроме того, Робинсон упомянул, что, если в Баттерфорде работы не найдется, они волей-неволей двинутся дальше, чтобы наняться где-нибудь на ферму или, быть может, отправиться в Калифорнию на золотые прииски, что, судя по обстоятельному рассказу ирландца, было ему милее всего.

— Зачем же вы тогда стали слесарями, если теперь хотите податься на золотые прииски? — спросил Карл, с неудовольствием услышав о необходимости столь долгих и небезопасных путешествий.

— Зачем я стал слесарем? — спросил Робинсон. — Конечно же не за тем, чтобы голодать. На золотых приисках хорошие заработки.

— Были когда-то, — заметил Деламарш.

— И остались, — заверил Робинсон и рассказал о множестве разбогатевших знакомых, которые по-прежнему жили там, теперь уже в безделье, разумеется, но по старой дружбе, само собой, помогут разбогатеть ему и его товарищам.

— Мы уж будем добиваться места в Баттерфорде, — заметил Деламарш, словно прочитав мысли Карла, по слову его не очень-то обнадеживали.

За день они только раз сделали остановку в гостинице, поели на воздухе за железным, как показалось Карлу, столиком полусырого мяса, разрезать которое с помощью ножа и вилки было невозможно, приходилось раздирать его на куски. Караваи хлеба были небольшие, и в каждом торчал длинный нож. К этой еде подали темное пойло, от которого жгло в глотке. Однако Деламаршу и Робинсону оно пришлось по вкусу, оба чашенько пили за исполнение различных желаний и чокались, на секунду-другую сдвигая стаканы. За соседним столом сидели рабочие в блузах, испачканных известкой, и все пили такое же пойло. Автомобили, во множестве проезжавшие мимо, вздымали над столами клубы пыли. Из рук в руки переходила большая газета, возбужденно толковали о забастовке строительных рабочих, то и дело упоминалась фамилия Мака. Карл осведомился о нем и узнал, что это — отец его знакомого Мака, крупнейший строительный подрядчик в Нью-Йорке. Забастовка обходилась ему в миллионы, а то и грозила

разорением. Карл решил, что это не более чем слухи, распускаемые плохо информированными, недоброжелательными людьми.

Этот обед был для Карла испорчен еще и потому, что было совершенно неясно, как за него расплачиваться. Казалось бы, чего проще — пусть каждый оплатит свою долю, но Деламарш и Робинсон невзначай заметили, что истратили последние деньги на прошлый ночлег. Часов, колец и вообще чего-либо ценного видно не было. И не мог же Карл обвинить их в том, что они заработали на продаже его костюма, — это оскорбление грозило полным разрывом. Но удивительнее всего, что ни Деламарш, ни Робинсон не беспокоились из-за оплаты, более того, они были в преотличнейшем настроении и друг перед другом строили куры официантке, грузко и величественно расхаживающей между столиками. Волосы свободно падали ей на лоб и щеки, и она снова и снова движением руки отбрасывала их назад. Наконец она подошла к их столу, положила на него руки и, естественно, вместо приветливых слов, ожидаемых от нее, спросила:

— Кто платит?

Никогда руки не взмывали быстрее, чем сейчас у Деламарша и Робинсона, — оба указали на Карла. Карл это предвидел и ничуть не всполошился; он не видел ничего дурного в том, что товарищи, от которых он тоже ожидал услуг, заставили его немножко раскошелиться, хотя куда порядочнее обговаривать такие дела заранее. Неприятно только, что деньги пришлось доставать из потайного кармана. Первоначально он намеревался сохранить деньги на самый крайний случай и, таким образом, стать пока на одну доску с товарищами. Преимущество, которое он имел благодаря этим деньгам, а главное — благодаря сокрытию денег от товарищей, с избытком уравнивалось для них тем, что они с детства жили в Америке, располагали достаточными познаниями и опытом в поисках работы и, наконец, не привыкли жить в лучших условиях, чем теперешние. Прежним намерениям Карла насчет денег эта выплата сама по себе не должна была помешать, ведь, в конце концов, четверть доллара его не разорит, он мог положить монету на стол и сказать, что это — его единственное достояние и он готов им пожертвовать на совместное путешествие в Баттерфорд. Если идти пешком, такой суммы вполне достаточно. Но сейчас он не знал,

достаточно ли у него мелочи, кроме того, она лежала вместе с банкнотами где-то в глубине потайного кармана, а из него, если пожелаешь что-нибудь срочно отыскать, лучше всего высыпать содержимое на стол. Вдобавок его товарищам совершенно незачем знать о потайном кармане. К счастью, в данную минуту его товарищи больше интересовались официанткой, нежели тем, как Карл собирает деньги, чтобы расплатиться. Деламарш заманил официантку под предлогом выписки счета между собой и Робинсоном, и она могла отбиться от приставаний обоих, только отталкивая раскрытой ладонью лицо то одного, то другого. Тем временем Карл, вспотев от напряжения, собирал под столешницей в ладонь мелочь, монету за монетой разыскивая в потайном кармане и вытаскивая их оттуда. Наконец, хотя плохо разбирался пока в американских деньгах, он — просто по количеству монет — решил, что наскреб достаточную сумму, и выложил ее на стол. Звон монет тотчас прекратил шуточки. К досаде Карла и ко всеобщему удивлению, оказалось, что набрался почти целый доллар. Никто, правда, не спросил, почему Карл не сказал раньше о деньгах, которые можно было бы употребить для удобной поездки в Баттерфорд по железной дороге, но все же Карл порядком смутился. После того как обед был оплачен, он медленно взял сдачу, а Деламарш уже у него из рук выхватил монету, предназначенную официантке в качестве чаевых; француз обнял официантку, прижал к себе и вручил ей деньги с другого боку.

Карл был благодарен им, что, продолжив путь, они словом не обмолвились насчет этих денег, и даже подумывал некоторое время сообщить им про всю свою наличность, но отказался от этой мысли, так как не выдалось подходящего случая. К вечеру они очутились в плодородной сельской местности. Кругом были видны бескрайние поля, расстилавшие на округлых холмах свою раннюю зелень; богатые усадьбы окаймляли шоссе, и часами они шли между золотыми садовыми решетками, несколько раз пересекли одну и ту же медленную реку и неоднократно слышали над собой в вышине грохот железнодорожных поездов по виадукам.

Солнце только что опустилось за ровную кромку дальних лесов, когда они бросились на траву в небольшой рощице на холме, чтобы отдохнуть после длинного перехода. Робинсон и Деламарш лежали, блаженно вытянув руки и ноги. Карл сидел, поглядывая на прохо-

дившую метра на три-четыре ниже автостраду, где, как и весь день, мчались встречные потоки автомобилей, словно их вновь и вновь порциями отправляли из одной дали в другую. За весь день с раннего утра Карл ни разу не видел, чтобы какой-нибудь автомобиль остановился и высадил пассажира.

Робинсон предложил заночевать здесь, ведь они здорово устали, а назавтра могли бы пораньше пуститься в дорогу, и, наконец, до наступления полной темноты вряд ли удастся найти более дешевый и удобный ночлег. Деламарш согласился, и, лишь Карл счел своим долгом заметить, что у него достаточно денег, чтобы оплатить для всех ночевку в гостинице. Деламарш сказал, что деньги им еще пригодятся, пусть он их прибережет. При этом француз ничуть не скрывал, что они весьма рассчитывали на деньги Карла. Первое предложение Робинсона было принято, и он тут же добавил, что перед сном не мешало бы как следует подкрепиться, скопить сил на завтра и кто-то должен принести еды из гостиницы, реклама которой — Отель «Оксиденталь» — светилась неподалеку, в двух шагах от шоссе. Как самый младший, а также потому, что ни один из приятелей не вызвался, Карл, не раздумывая, предложил свои услуги и, получив заказ на пиво, хлеб и шпик, отправился в гостиницу.

Вероятно, вблизи находился большой город, ведь первый же зал гостиницы, в котором очутился Карл, был заполнен шумной толпой, а за буфетом, с трех сторон обрамлявшим помещение, непрерывно во множестве сновали официанты в белых куртках и тем не менее не могли угодить нетерпеливых посетителей — то тут, то там слышались ругань и удары кулаком по стойке. На Карла никто не обратил внимания; в самой зале тоже никто не обслуживал — посетители, сидевшие за крохотными столиками, где и для троих было мало места, брали закуски в буфете. На всех столиках стояла высокая бутылка с маслом, уксусом или чем-то в таком роде, и принесенные из буфета блюда непременно поливали перед едой этими приправами. Чтобы только пройти к буфету, где из-за его большого заказа наверняка уже начнутся затруднения, Карлу пришлось протискиваться между столиками, что при всей осторожности невозможно было осуществить, не задевая посетителей, которые, впрочем, оставались совершенно невозмутимы, даже когда Карл, опять-таки от тычка од-

ного из них, чуть не опрокинул какой-то столик. Он, правда, извинился, но, похоже, его не поняли, да и он тоже не понял ни слова из тех, что выкрикнули по его адресу.

У буфета он с трудом нашел свободное местечко, где ему долго мешали оглядеться локти соседей. Здесь вообще было, как видно, в обычае облакачиваться на стойку и подпирать кулаками виски; Карлу невольно вспомлось, как ненавидел эту манеру преподаватель латинского языка доктор Крумпал и всегда, неожиданно подкравшись, сметал локти со столов шутливым взмахом невесть откуда взявшейся линейки.

Карл стоял, плотно прижатый к стойке, ведь не успел он подойти к буфету, как позади него поставили столик, и один из обосновавшихся там посетителей, когда во время разговора хоть немного откидывался назад, тыкал Карла в спину своей огромной шляпой. И при всем том было так мало надежды получить что-нибудь от буфетчика, даже когда, утолив жажду, ушли его нескладные соседи. Несколько раз Карл, перегнувшись через стойку, хватал буфетчика за куртку, но тот всякий раз, скривив физиономию, вырывался. Ни один не останавливался, все бегом, бегом мимо. Если бы по крайней мере вблизи от Карла на стойке нашлось что-нибудь подходящее из еды или выпивки, он взял бы это, спросив о цене, положил деньги и с радостью ушел. Но перед ним стояли только блюда с рыбой, вроде селедки, темная чешуя которой поблескивала по краям золотом. Она могла оказаться очень дорогой и вряд ли сытной. Кроме того, в пределах досягаемости были бочонки с ромом, но он не собирался нести этот напиток своим товарищам — они и без того норовили по любому поводу приложиться к спиртному, а в этом Карл не хотел им потворствовать.

Таким образом, Карлу оставалось только попытаться найти другое место и начать все сначала. Он ведь уже потерял много времени. На часах в другом конце зала, стрелки которых можно было кое-как разглядеть сквозь чад, было девять с лишним. Но в других местах у буфета давка была еще больше. Вдобавок, чем позднее становилось, тем гуще заполнялся зал. Через парадную дверь с громким «Хэлло!» вваливались новые и новые посетители. Кое-где они нагло очищали стойку, усаживались на нее и пили за здоровье друг друга; и это были лучшие места для обозрения зала.

Карл, правда, протискивался все дальше, однако уже совершенно отчаялся преуспеть в своем деле. Он укорял себя в том, что, не зная местных обстоятельств, вызвался исполнить это поручение. Товарищи заслуженно обругают его, да еще и подумают, что он ничего не принес, пожалев денег. В довершение всего он очутился теперь в том месте зала, где кругом на столах громоздились горячие мясные блюда с прекрасным золотистым картофелем; ему было непонятно, где люди все это раздобыли.

Тут он увидел в нескольких шагах от себя пожилую женщину, очевидно принадлежавшую к гостиничному персоналу; смеясь, она разговаривала с одним из посетителей. А при этом то и дело орудовала шпилькой в прическе. Карл тотчас решил сделать свой заказ этой женщине, так как среди всеобщего гама и суматохи в зале она казалась ему исключением, и по той простой причине, что была единственной из персонала, до кого он мог добраться, если, конечно, она не ускользнет по своим делам при первом же слове, с которым он к ней обратится. Но случилось совершенно противоположное. Карл рта открыть не успел, только задержал на ней взгляд, а она — так иногда посматривают по сторонам во время беседы — дружелюбно взглянула на него и, прервав разговор, спросила его по-английски, выговаривая слова подчеркнуто правильно, не ищет ли он чего-нибудь.

— Конечно, — ответил Карл, — я не могу здесь ничего получить.

— В таком случае пойдем со мной, малыш, — сказала она, прощаясь со знакомым, снявшим свою шляпу, что здесь казалось невероятным проявлением учтивости, взяла Карла за руку и направилась к буфету; отодвинув одного из посетителей, женщина открыла откидную дверцу, пересекла свободное пространство за стойкой, где надо было остерегаться без устали снующих буфетчиков, открыла неприметную дверь, и они очутились в большой прохладной кладовой. «Надо знать, что к чему, вот то-то и оно», — подумал Карл.

— Итак, чего вы хотите? — спросила она и услужливо склонилась перед ним. Женщина была очень толстая, прямо необъятная, но лицо — конечно, сравнительно с фигурой — было почти миловидным. Карл едва не соблазнился при виде множества продуктов, в образцовом порядке размещенных на полках и столах, быст-

ренько придумать более изысканный ужин, особенно потому, что надеялся у этой влиятельной женщины на скидку, но в конце концов, так ничего и не придумав, назвал все тот же шпик, хлеб и пиво.

— И больше ничего? — спросила женщина.

— Нет, благодарю, — сказал Карл, — но на троих.

На вопрос женщины Карл в двух словах сообщил о своих товарищах; он обрадовался, что она проявила к ним интерес.

— Но ведь это пища арестантов, — сказала женщина, ожидая, видимо, следующих пожеланий Карла. А тот опасался, что она не захочет брать с него денег, и потому молчал.

— Сейчас мы все подберем, — сообщила женщина, с удивительной при ее полноте подвижностью направилась к столу, длинным, тонким, похожим на пилу ножом отрезала огромный кусок сала с мясными прожилками, взяла с полки каравай хлеба, подняла с пола три бутылки пива и сложила все это в легкую соломенную корзинку, которую и протянула Карлу. Попутно она объясняла ему, что привела его сюда потому, что, несмотря на быстрое потребление, продукты там, в буфете, из-за чада и разнообразных испарений скоро теряют свежесть. Впрочем, для тамошних посетителей сойдет и это. Карл ничего не сказал, не зная, чем заслужил такое отличительное обращение. Он подумал о своих товарищах, которые, вероятно, при всем своем знании Америки вряд ли попали бы в эту кладовую и принуждены были бы довольствоваться испорченной пищей из буфета. Здесь не было слышно из зала ни звука — должно быть, кирпичная кладка была очень толстой, чтобы поддерживать низкую температуру под этими сводами. Карл уже некоторое время держал корзинку в руке, но не вспоминал ни об оплате, ни об уходе. Только когда женщина хотела было положить в корзинку бутылку, вроде тех, что стояли на столах в зале, он, вздрогнув, поблагодарил.

— Далеко ли вам еще идти? — спросила женщина.

— До Баттерфорда, — ответил Карл.

— Это очень далеко.

— Еще день пути.

— Не дальше? — спросила женщина.

— О нет.

Женщина передвинула на столе какие-то предметы, наводя порядок; вошел буфетчик, обвел взглядом по-

мещение и, когда женщина указала на большое блюдо с грудой сардин, посыпанных петрушкой, унес это блюдо на высоко поднятых руках в зал.

— Почему же вы, собственно, решили ночевать под открытым небом? — спросила женщина. — Здесь достаточно места. Отдохните у нас в гостинице.

Для Карла это предложение было очень соблазнительно, особенно потому, что прошлую ночь он провел так скверно.

— Мой багаж там, на улице, — помедлив, ответил он не без некоторой рисовки.

— Так несите его сюда, — сказала женщина, — это не помеха.

— А мои товарищи! — вскричал Карл и тут же сообразил, что они-то, конечно, помехой будут.

— Разумеется, они тоже могут переночевать здесь, — сказала женщина. — Приходите же! Не заставляйте себя упрашивать!

— Мои товарищи — brave ребята, только не очень опрятные, — сказал Карл.

— Разве вы не видели, какая в зале грязь? — спросила женщина и поморщилась. — К нам даже самое отребье заходит. Итак, я сейчас велю приготовить три кровати. Правда, на чердаке, ведь гостиница переполнена, я и сама перебралась на чердак, но это все равно лучше, чем под открытым небом.

— Я не могу привести с собой товарищей, — сказал Карл. Он представил себе, сколько шума наделали бы эти двое в коридорах столь приличной гостиницы; Робинсон все перепачкал бы, а Деламарш непременно начал бы приставать к этой женщине.

— Не понимаю, почему это невозможно, — сказала женщина, — но, если вам так хочется, оставьте своих товарищей на воздухе и приходите к нам один.

— Нет, так не пойдет, — возразил Карл, — это мои товарищи, и я должен остаться с ними.

— Вы упрямец, — заметила женщина и отвернулась, — к вам относятся по-доброму, стараются помочь, а вы отбиваетесь изо всех сил.

Карл все это сознавал, но не видел иного выхода и потому только добавил:

— Примите мою величайшую благодарность за доброе ко мне отношение. — Тут он вспомнил, что еще не уплатил, и спросил, сколько с него причитается.

— Расплáтитесь, когда вернете корзинку. Я должна получить ее, самое позднее, утром.

— Благодарю,— сказал Карл.

Она открыла дверь, ведущую прямо на улицу, и, когда он с поклоном вышел, сказала ему вслед:

— Доброй ночи, но вы поступаете неразумно.

Он был уже в нескольких шагах от нее, когда она крикнула:

— До встречи утром!

Едва очутившись на улице, он опять услышал неослабевающий шум из зала, к которому примешивались теперь звуки духового оркестра. Карл был доволен, что не пришлось выходить через зал. Все пять этажей гостиницы сейчас сияли огнями, освещая дорогу на всю ее ширину. Автомобили проносились по-прежнему, но теперь уже с интервалами; еще быстрее, чем днем, они появлялись издали, ощупывали яркими лучами фар мостовую, пересекали с побледневшими фарами освещенное пространство перед гостиницей и, полыхнув огнями, уносились дальше в темноту.

Карл обнаружил товарищей уже крепко спящими— так долго он отсутствовал. Только он собрался разложить принесенное поаппетитнее на бумаге, обнаруженной в корзинке, с тем чтобы, когда все будет готово, разбудить товарищей, как вдруг, к своему ужасу, увидел, что его чемодан раскрыт, хотя оставил он его запертым и ключ унес в кармане; половина содержимого чемодана была разбросана вокруг по траве.

— Вставайте!— крикнул он.— Вы спите, а здесь меж тем побывали вору!

— Чего-нибудь недостает?— спросил Деламарш. Робинсон, еще толком не проснувшись, ухватился за пиво.

— Я не знаю,— сказал Карл,— но чемодан открыт. Все-таки опрометчиво улечься спать и оставить чемодан без присмотра.

Деламарш и Робинсон рассмеялись, и француз сказал:

— В другой раз не уходите так надолго. Гостиница в десяти шагах, а вы потратили на дорогу туда и обратно три часа. Мы проголодались, подумали, что в вашем чемодане может оказаться что-нибудь съестное, и щекотали замок, пока он не открылся. Впрочем, ничего съестного там не было, так что можете спокойно уложить все обратно.

— Ну-ну,— сказал Карл, в оцепенении глядя на бы-

стро пустеющую корзинку и прислушиваясь к своеобразному звуку, с которым Робинсон поглощал пиво; жидкость сначала врывалась ему в глотку, с присвистом возвращалась и в конце концов бурным потоком устремлялась в желудок.

— Наелись? — спросил Карл, когда парочка на мгновение остановилась отдышаться.

— Разве вы не поели в гостинице? — удивился Деламарш, полагая, что Карл требует своей доли.

— Если не наелись, то поторопитесь, — сказал Карл и направился к своему чемодану.

— Кажется, он не в духе, капризничает, — заметил Деламарш, обращаясь к Робинсону.

— Я не капризничаю, — сказал Карл, — но разве же порядочно — взломать в мое отсутствие чемодан и выбросить оттуда вещи. Я понимаю, среди товарищей многое позволительно, и я вполне готов кое-что допустить, но это уж слишком. Я переночую в гостинице и в Баттерфорд не пойду. Ешьте быстрее, я должен вернуть корзинку.

— Слышишь, Робинсон, — начал Деламарш, — как он заговорил, вот тебе изысканная речь. Немец есть немец. Ты меня предупреждал, но я сдуру все-таки взял его с собой. Мы оказали ему доверие, целый день тащили его с собой, потеряли из-за этого не меньше чем полдня, а теперь там, в гостинице, кто-то его поманил — и он сматывается, просто-напросто сматывается. Но поскольку он — лживый немец, он это делает не в открытую, а вынскал предлог — чемодан, а поскольку он — немец хамовитый, он не может уйти, не оскорбив нашего достоинства и не обозвав нас ворами за то, что мы сыграли с его чемоданом маленькую шутку.

Карл, укладывая свои вещи и не оборачиваясь, сказал:

— Продолжайте, продолжайте, тем легче мне будет уйти. Я прекрасно знаю, что такое товарищество. В Европе у меня тоже были друзья, и ни один не упрекнет меня в том, что я обманывал или интриговал против него. Правда, сейчас мы потеряли контакт, но, если я вернусь в Европу, все меня встретят по-доброму и тотчас признают во мне друга. А вы, Деламарш, и вы, Робинсон, смеете говорить, будто я вас предал, притом что вы — а я никоим образом не намерен это замалчивать — проявили ко мне дружеское участие и обещали добиться для меня место ученика в Баттерфорде! Нет,

здесь нечто другое. У вас ничего нет, но это ни в коей мере не унижает вас в моих глазах, однако вы завидуете моему мизерному имуществу и потому стараетесь меня унижить,— вот этого я вынести не могу. А теперь, взломав мой чемодан, вы даже не подумали извиниться, наоборот, вы оскорбляете меня и мою нацию, а тем самым лишаете меня всякой возможности остаться свами. Впрочем, в сущности, речь не о вас, Робинсон. Мне просто жаль, что по слабости характера вы слишком уж подпали под влияние Деламарша.

— Вот теперь,— сказал Деламарш, подступил к Карлу и слегка толкнул его, как бы привлекая его внимание,— теперь вы себя показали во всей красе. Целый день топали позади меня, цеплялись за мой пиджак, подражали каждому моему движению и вели себя тихо, как мышка. Теперь же, заручившись чьей-то поддержкой в гостинице, вы начинаете громкие речи. Вы — маленький хитрец, и я не уверен, можно ли такое спускать. Не стоит ли потребовать с вас плату за то, что вы переняли у нас за день? Нет, ты послушай, Робинсон, мы завидуем — так он полагает — его имуществу. День работы в Баттерфорде — о Калифорнии и говорить нечего,— и у нас будет в десять раз больше того, что вы нам показывали и что, наверное, прячете в подкладке пиджака. Стало быть, попрдержите-ка язык!

Карл поднялся от чемодана и увидел, что Робинсон, заспанный, но слегка оживившийся от пива, тоже идет к нему.

— Останься я здесь еще,— сказал Карл,— меня, пожалуй, ожидают новые сюрпризы. Похоже, вам охота поколотить меня.

— Всякому терпению приходит конец,— сказал Робинсон.

— Лучше помолчите, Робинсон,— сказал Карл, не сводя глаз с Деламарша,— ведь в глубине души вы согласны со мной, но вынуждены держать сторону Деламарша!

— Вы никак хотите его задобрить? — спросил Деламарш.

— Даже и не думаю,— сказал Карл.— Я рад, что ухожу, и не желаю больше иметь с вами дела. Только одно скажу: вы упрекнули меня в том, что у меня есть деньги и что я прячу их от вас. Допустим, это правда, но разве можно поступить иначе, если знаешь людей всего несколько часов, и разве не подтвердили вы сво-

им нынешним поведением правильность таких действий?

— Спокойно,— сказал Деламарш Робинсону, хотя тот не шевелился. Затем он обратился к Карлу:— Раз уж вы так бесстыдно искренни, давайте, пока мы спокойно стоим тут, доведите свою искренность до конца и сознайтесь, почему, собственно, вы собрались в гостиницу.

Карлу пришлось перешагнуть через чемодан— так близко подступил к нему Деламарш. Но тот, не смущаясь, отодвинул ногой чемодан, сделал шаг вперед, наступив при этом на белую манишку, лежавшую на траве, и повторил свой вопрос.

Как бы в ответ с дороги к компании поднялся человек с ярко светящим карманным фонариком. Это был один из гостиничных буфетчиков. Едва увидев Карла, он сказал:

— Я ищу вас уже почти полчаса. Обыскал все откосы по обеим сторонам дороги. Госпожа старшая кухарка велела передать, что ей срочно нужна соломенная корзина, которую она вам дала.

— Вот она,— сказал Карл прерывающимся от волнения голосом. Деламарш и Робинсон с показной скромностью отступили в сторону, как они всегда делали перед незнакомыми обеспеченными людьми. Буфетчик взял корзинку и добавил:

— Кроме того, госпожа старшая кухарка велела спросить, не надумали ли вы все-таки переночевать в гостинице. Для двух других господ тоже найдется местечко, если вы пожелаете взять их с собой. Постели уже приготовлены. Хоть ночь сегодня теплая, но здесь, на косогоре, спать не вполне безопасно— часто встречаются змеи.

— Раз уж госпожа старшая кухарка так любезна, я приму приглашение,— сказал Карл, ожидая реакции товарищей. Но Робинсон стоял молчком, а Деламарш, сунув руки в карманы, смотрел вверх на звезды. Оба явно рассчитывали, что Карл без разговоров возьмет их с собой.

— В таком случае,— сказал буфетчик,— мне поручено проводить вас в гостиницу и принести ваш багаж.

— Тогда подождите, пожалуйста, еще минутку,— сказал Карл и нагнулся, чтобы убраться в чемодан оставшиеся вещи.

Вдруг он выпрямился. Фотографии, лежавшей в че-

модане на самом верху, нигде не было видно. Все было в сохранности, кроме фотографии.

— Я не могу найти фотографии,— просительно обратился он к Деламаршу.

— Какой фотографии? — спросил тот.

— Фотографии моих родителей.

— Мы не видели никакой фотографии,— ответил Деламарш.

— Фотографии в чемодане не было, господин Росман,— подтвердил со своей стороны и Робинсон.

— Но этого не может быть,— сказал Карл, и мольба в его глазах заставила буфетчика подойти ближе.— Она лежала наверху, а сейчас исчезла. Если бы вы не проказничали с чемоданом!

— Всякая ошибка исключается,— сказал Деламарш.— В чемодане фотографии не было.

— Для меня она — самое ценное из всего, что есть в чемодане,— сказал Карл буфетчику, который ходил вокруг и искал в траве.— Она совершенно невозполнима, другой не будет.— И когда буфетчик прекратил безуспешные поиски, добавил:— Это единственный портрет родителей, который у меня был.

В ответ на это буфетчик сказал громко, без обиняков:

— Может, проверим еще и карманы этих господ?

— Да,— тотчас откликнулся Карл,— я должен найти фотографию. Но прежде чем проверять карманы, скажу одно: тот, кто добровольно вернет мне снимок, получит весь чемодан целиком.— После мгновения общего молчания Карл обратился к буфетчику:— Итак, мои товарищи, очевидно, предпочитают обыск. Но даже сейчас я обещаю: тот, в чьем кармане обнаружится фотография, получит весь чемодан. Сделать больше я не могу.

Тотчас буфетчик принялся обыскивать Деламарша, с которым, как ему казалось, справиться труднее, чем с Робинсоном, Робинсона он уступил Карлу. Буфетчик обратил внимание Карла на то, что обыскивать нужно обоих сразу, так как иначе оставшийся без наблюдения может избавиться от фотографии. Тут же, с первой попытки, Карл обнаружил в кармане Робинсона свой галстук, но не забрал его и крикнул буфетчику:

— Что бы вы ни нашли у Деламарша, оставьте все, пожалуйста, ему. Мне нужна только фотография. Только она одна.

Обыскивая нагрудные карманы, Карл коснулся рукой горячей, грязной груди Робинсона, и тут ему пришло в голову, что, возможно, он поступает с товарищами очень несправедливо. И он заторопился как только мог. Впрочем, все было напрасно: ни у Деламарша, ни у Робинсона фотографии не обнаружилось.

— Бесполезно,— сказал буфетчик.

— Наверное, они разорвали фотографию на мелкие клочки и выбросили,— сказал Карл.— Я думал, они мне друзья, а они тайком старались мне только навредить. Робинсон, конечно, в меньшей степени, он бы нипочем не набрел на мысль, что фотография представляет для меня такую ценность, а вот Деламарш...

Карл видел перед собой только буфетчика, фонарь которого освещал небольшое пространство, тогда как все остальное, в том числе Деламарш и Робинсон, тонulo в кромешной тьме.

Теперь, конечно, не было и речи о том, чтобы взять эту парочку с собой в гостиницу. Буфетчик взвалил на плечо чемодан, Карл поднял корзинку, и они двинулись в путь. Карл уже был на дороге, когда, прервав свои раздумья, остановился и крикнул в темноту:

— Послушайте, если все-таки фотография у кого-нибудь из вас и он захочет принести ее мне в гостиницу, я все равно отдам ему чемодан и, клянусь, не заявлю в полицию.

Ответа, как такового, не последовало, донесся лишь обрывок какого-то слова, начало отклика Робинсона, которому Деламарш, очевидно, тотчас заткнул рот. Карл подождал еще — вдруг наверху передумают. Дважды, с перерывом он крикнул:

— Я все еще здесь!

Но в ответ — ни звука, только однажды вниз с откоса скатился камень — может, случайно, а может, от неудачного броска.

Глава пятая

ГОСТИНИЦА «ОКСИДЕНТАЛЬ»

В гостинице Карл сразу попал в некое подобие конторы, где старшая кухарка с записной книжкой в руке диктовала письмо молоденькой секретарше, сидевшей за пишущей машинкой. Подчеркнуто размеренная диктовка, сосредоточенный и четкий перестук клавиш со-

ревновались с время от времени спешным тиканьем стальных часов, показывавших уже почти половину двенадцатого.

— Ну вот,— сказала старшая кухарка, захлопнув записную книжку; пишбарышня вскочила и накрыла пишущую машинку деревянной крышкой, при этом привычным движением не сводя глаз с Карла. С виду она казалась совсем школьницей, халатик ее был аккуратно отглажен, плечики с воланами, прическа довольно высокая, и на этом фоне слегка удивляло ее серьезное лицо. Поклонившись сначала старшей кухарке, потом Карлу, она вышла, а Карл невольно бросил на старшую кухарку вопросительный взгляд.

— Замечательно, что вы все-таки пришли! — воскликнула она.— А ваши товарищи?

— Я не взял их с собой.

— Им, вероятно, надо выйти пораньше,— заметила старшая кухарка, как бы объясняя себе ситуацию.

«Неужели ей не приходит в голову, что мне тоже надо в дорогу?» — подумал Карл и, чтобы исключить всякие сомнения, сказал:

— Мы расстались из-за разногласий.

Старшая кухарка, кажется, сочла это известие приятным.

— Значит, вы теперь свободны? — спросила она.

— Да, свободен,— ответил Карл, и ничто не казалось ему более бесполезным, чем эта свобода.

— Послушайте, не хотите ли поступить на работу к нам в гостиницу? — спросила старшая кухарка.

— С большим удовольствием,— сказал Карл,— но я ужасно мало знаю. Например, не умею даже печатать на машинке.

— Это не самое главное,— сказала старшая кухарка.— Для начала вы получите совсем маленькую должность, а дальше все в ваших руках — усердием и прилежанием вы вполне можете продвинуться. Как бы там ни было, я полагаю, что для вас гораздо лучше где-нибудь обосноваться, вместо того чтобы шататься по белу свету. К этому вы, судя по всему, не приспособлены.

«Дядя был бы точь-в-точь такого же мнения», — подумал Карл и кивнул, соглашаясь. Одновременно он вспомнил, что забыл представиться, а ведь о нем здесь так пекутся.

— Простите, пожалуйста,— сказал он,— я вам еще не представился, меня зовут Карл Россман.

— Вы немец, не так ли?

— Да, я недавно в Америке.

— Откуда же вы?

— Из Праги, из Богемии.

— Смотрите-ка! — воскликнула женщина по-немецки с сильным английским акцентом и всплеснула руками, — в таком случае мы — земляки, меня зовут Грета Митцельбах, я из Вены. И Прагу я знаю отлично, я ведь полгода служила в «Золотом гусе» на Вацлавской площади. Нет, вы только подумайте!

— Когда же это было? — спросил Карл.

— О, много-много лет назад.

— Старого «Золотого гуся» два года как снесли, — сказал Карл.

— Вот как, — проговорила старшая кухарка, уйдя мыслями в прошлое.

Но, тотчас же снова оживившись, схватила Карла за руки и воскликнула:

— Теперь, когда выяснилось, что мы земляки, вам ни в коем случае нельзя уходить отсюда. Вы не должны меня огорчать. Может, хотите, к примеру, стать лифтером? Только скажите, и место ваше. Когда вы немного пообвыкнете, то поймете, что получить такое место не так-то легко, потому что для начала ничего лучше и не придумаешь. Будете общаться со всеми постояльцами, всегда на виду, станете выполнять небольшие поручения, — словом, каждый день у вас будет шанс добиться продвижения по службе. Обо всем остальном, с вашего разрешения, позабочусь я.

— Я бы с радостью стал лифтером, — сказал Карл, чуть помедлив. Глупо отказываться от такого места только потому, что окончил пять классов гимназии. Здесь, в Америке, эти пять классов гимназии скорее повод для стыда. А вообще, лифтеры Карлу всегда нравились, казались ему украшением гостиниц.

— Знание языков не обязательно? — спросил он еще.

— Вы говорите по-немецки и вполне хорошо по-английски, этого достаточно.

— Английский я учил в Америке всего два с половиной месяца, — сказал Карл, полагая, что замалчивать свое единственное преимущество не стоит.

— Это изрядный плюс, — сказала старшая кухарка, — если вспомнить, какие затруднения английский поставил мне. Впрочем, это было тридцать лет назад. Как раз вчера я говорила об этом. Вчера мне исполнилось пять-

десять.— И, улыбаясь, она старалась по выражению лица Карла уловить, какое впечатление произвел на него столь солидный возраст.

— В таком случае желаю вам большого счастья,— сказал Карл.

— Это всегда кстати,— отозвалась она, пожав руку Карла и чуть-чуть взгрустнув над этой старинной родной поговоркой, вспомнившейся ей по-немецки.— Я ведь вас задерживаю,— спохватилась она.— А вы, верно, очень устали, лучше мы потолкуем об этом днем. Так радостно встретить земляка, что просто все из головы вон. Пойдемте, я отведу вас в вашу комнату.

— У меня есть еще просьба, госпожа старшая кухарка,— вспомнил Карл при виде телефонного аппарата, стоявшего на столе.— Возможно, утром, и даже очень рано, мои бывшие товарищи принесут фотографию, которая мне крайне необходима. Будьте так добры, позвоните портье, пусть он пошлет этих людей ко мне или вызовет меня.

— Непременно,— ответила старшая кухарка.— Но не достаточно ли ему взять у них эту фотографию? И что это за фотография, позвольте спросить?

— Фотография моих родителей,— сказал Карл.— Нет, я должен сам поговорить с этими людьми.

Старшая кухарка ничего больше не сказала и отдала по телефону распоряжение портье, причем назвала номер комнаты Карла — 536.

Затем они через дверь, противоположную входной, вышли в небольшой коридор, где, прислонившись к решетке лифта, дремал маленький лифтер.

— Мы можем сами себя обслужить,— тихо сказала старшая кухарка, пропуская Карла в лифт.— Десять — двенадцать часов работы многовато для такого мальчугана,— говорила она, пока лифт поднимался,— но так уж в Америке заведено. Вот, например, этот малыш, он итальянец и приехал сюда с родителями полгода назад. Поглядеть на него, так эта работа ему не по силам, личико совсем исхудало, засыпает во время смены, хотя по натуре очень услужлив; но стоит ему проработать здесь или в любом другом месте Америки еще полгода, и он все с легкостью выдержит, а через пять лет станет настоящим крепким мужчиной. О примерах такого рода я могу рассказывать часами. При этом я вовсе не имею в виду вас — вы-то сильный юноша; вам лет семнадцать, не так ли?

— В следующем месяце будет шестнадцать.

— Даже только шестнадцать! — воскликнула старшая кухарка. — Ну, тогда смелей!

Наверху она ввела Карла в комнату, которая, правда из-за наклонной стены, выглядела уже как мансарда, но при свете двух электрических лампочек оказалась в остальном очень уютной.

— Вы не робейте, — сказала старшая кухарка, — эта комната — не гостиничный номер, а часть моей квартиры, состоящей из трех комнат, так что вы меня несколько не стесните. Я запру эту вот дверь, чтобы вы чувствовали себя совершенно свободно. Утром вы, конечно, как новый гостиничный служащий, получите свою комнатку. Если б вы пришли с товарищами, я бы устроила вас всех в общей спальне для персонала, но, так как вы один, я думаю, для вас лучше будет здесь, хотя спать придется на диване. А теперь доброй ночи, отдохните как следует перед работой. Завтрашний день пока не самый напряженный.

— Премного благодарен вам за вашу любезность, — сказал Карл.

— Подождите, — сказала она, остановившись на пороге, — иначе вас скоро опять разбудят. — Она подошла к боковой двери, постучала и крикнула: — Тереза!

— Слушаю, госпожа старшая кухарка, — слышался голос молоденькой пишбарышни.

— Когда ты пойдешь будить меня утром, ступай через коридор, здесь в комнате спит гость. Он до смерти устал. — Она улыбнулась Карлу. — Понятно?

— Да, госпожа старшая кухарка.

— Ну, тогда доброй ночи!

— И вам доброй ночи.

— Дело в том, — сказала старшая кухарка, как бы поясняя, — что уже несколько лет я ужасно плохосплю. А ведь теперь я могу быть довольна своим положением и, откровенно говоря, слишком-то не хлопотать. Но должно быть, результаты моих прежних забот и наградили меня этой бессонницей. Если я засну часа в три ночи — уже надо радоваться. Но так как в пять, самое позднее в половине шестого, пора вновь приступить к работе, я вынуждена просить, чтобы меня будили, причем осторожно, чтобы нервы не расходились пуще прежнего. И будит меня Тереза. Ну, теперь вам все уже известно, да и я ухожу не навсегда. Доброй ночи! — И, не-

смотря на свою полноту, она прямо-таки выпорхнула из комнаты.

Карл предвкушал сон, так как этот день очень уютно-мил его. А более уютной обстановки для долгого, безмятежного отдыха и пожелать было нельзя. Правда, комната служила не спальнею, скорее уж это была гостиная или, вернее, парадный салон госпожи старшей кухарки, и умывальник принесли сюда специально на этот вечер, ради Карла, и тем не менее он не чувствовал себя незванным гостем, наоборот, был, как никогда, обласкан. С чемоданом все было в порядке, и, пожалуй, он давненько не бывал в большей безопасности. На низком комод, покрытом ажурной шерстяной накидкой, стояли в рамках и под стеклом всевозможные фотографии; осматривая комнату, Карл остановился взглянуть на них. В большинстве снимки были старые и изображали девушек в допотопных неуклюжих платьях и небрежно приколотых, крохотных, но довольно высоких шляпках; опершись правой рукою на зонтик, они смотрели на зрителя, однако поймать их взгляд никак не удавалось. Среди фотографий мужчин Карл обратил внимание на портрет молодого солдата с буйной черной шевелюрою, который, положив кепи на столик, стоял по стойке «смирно» и едва сдерживал переполнявший его горделивый смех. Пуговицы его мундира на фотографии были подкрашены золотом. Все эти снимки, вероятно, были привезены из Европы, и, наверное, подтверждение тому можно было прочесть на обороте, но Карлу не хотелось брать их в руки. Он мечтал вот так же поставить в своей комнате фотографию родителей, как стояли здесь эти.

После основательного мытья с ног до головы — из-за соседки Карл постарался сделать это как можно тише — он вытянулся в предвкушении сна на канаве, и тут ему почудился слабый стук в дверь. Нельзя было сразу установить, в какую именно дверь стучали; впрочем, это мог быть и просто случайный шорох. Повторился он не сразу, и Карл уже задремал, когда тихий звук послышался вновь. Но теперь уже не было сомнения, что это стук и идет он от двери пишбарышни. Карл на цыпочках подбежал к двери и спросил так тихо, что, если бы за стеною все-таки спали, он никого бы не разбудил:

— Вам что-нибудь нужно?

Тотчас и так же тихо ответили:

— Не могли бы вы открыть дверь? Ключ с вашей стороны.

— Пожалуйста,— сказал Карл,— только сначала я должен одеться.

Маленькая пауза, затем послышалось:

— Это не обязательно. Отоприте и ложитесь в постель, я немного подожду.

— Хорошо,— согласился Карл и так и сделал, а заодно включил электрический свет.— Я уже лег,— сказал он чуть погромче. И вот из своей темной комнаты вышла маленькая пишбарышня, одетая точно так же, как внизу, в конторе, наверное, все это время она и не думала спать.

— Очень прошу извинить меня,— сказала она и остановилась, чуть склонившись, у постели Карла,— и не выдавайте меня, пожалуйста. Я не собираюсь вам долго мешать, я знаю, что вы смертельно устали.

— Ничего-ничего,— ответил Карл,— но, вероятно, мне было бы все же лучше одеться.— Ему пришлось лежать, вытянувшись пластом, чтобы укрыться одеялом до подбородка, так как ночной рубашки у него не было.

— Я только на минутку,— сказала она и взялась за спинку кресла.— Можно мне сесть поближе?

Карл кивнул. Она уселась так близко от канапе, что Карлу пришлось отодвинуться к стене, иначе он не видел ее лица. А лицо у нее было круглое, правильное, только лоб необычайно высок, хотя, быть может, это впечатление создавала прическа, которая ей не шла. Одетая она была очень чистенько и аккуратно. И в левой руке комкала носовой платок.

— Вы здесь надолго останетесь? — спросила она.

— Это пока не совсем ясно,— ответил Карл,— но думаю, что останусь.

— Вот было бы замечательно,— сказала она и провела платком по лицу,— ведь я так одинока здесь.

— Странно,— отозвался Карл.— Госпожа старшая кухарка так дружелюбно к вам относится. Она обращается с вами вовсе не как с подчиненной. Я даже подумал, что вы родственницы.

— О нет, мое имя — Тереза Берхтольд, я из Померании.

Карл тоже представился. Теперь она посмотрела на него в упор, словно, назвав свое имя, он стал для нее более чужим. Минутку они помолчали. Затем она сказала:

— Не думайте, что я неблагодарная. Без госпожи старшей кухарки мне пришлось бы много хуже. Раньше я работала на кухне здесь, в гостинице, и мне уже грозило увольнение, так как я не справлялась с этой тяжелой работой. Здесь предъявляют очень высокие требования. Месяц назад одна из кухонных девушек от переутомления упала в обморок и две недели пролежала в больнице. А я не очень-то сильная, в детстве мне порядком досталось, и поэтому я несколько отстала в развитии; вы, наверное, не дадите мне моих восемнадцати лет. Но теперь я уже становлюсь покрепче.

— Служба здесь, должно быть, и впрямь очень утомительна,— заметил Карл.— Внизу я только что видел, как мальчик-лифтер спал стоя.

— При том, что лифтерам живется лучше других,— добавила она,— они получают хорошие чаевые и в конечном счете далеко не так надрываются, как кухонный персонал. Но вот однажды мне улыбнулось счастье: госпоже старшей кухарке понадобилась девушка, чтобы свернуть салфетки для банкетного стола, она послала к нам на кухню за кем-нибудь из девушек, нас здесь около пятидесяти, я оказалась под рукой и очень ей понравилась, потому что всегда умела ловко сворачивать салфетки. Тогда-то она и перевела меня из кухни к себе поближе и постепенно сделала своей секретаршей. При этом я очень многому научилась.

— Неужели приходится так много печатать? — спросил Карл.

— О, очень много,— ответила девушка,— вы даже не представляете себе сколько. Вы же видели, нынче я работала до половины двенадцатого, а это не какой-то особенный день. Конечно, печатаю я не все время — занимаюсь также закупками в городе.

— Какой же это город? — полюбопытствовал Карл.

— Вы не знаете? Рамзес.

— Он большой?

— Очень,— ответила девушка,— я не люблю туда ездить. Но вы, наверно, уже хотите спать?

— Нет, нет,— сказал Карл,— я ведь еще не узнал, зачем вы пришли.

— Затем, что не с кем поговорить. Я не нытик, но в самом деле, если ты совершенно одинок, то уже большое счастье, когда кто-нибудь наконец тебя слушает. Я заметила вас еще внизу, в зале, я как раз пришла за

госпожой старшей кухаркой, когда она повела вас в кладовую.

— Это ужас, а не зал,— сказал Карл.

— Я этого больше не замечаю,— ответила она.— Но я только хотела сказать, что госпожа старшая кухарка очень добра ко мне, совсем как родная мать. Но все же разница в нашем положении слишком велика, чтобы я могла говорить с нею свободно. Раньше у меня были подруги среди кухонных девушек, но их здесь уже нет, а новых я почти не знаю. Наконец, иногда мне кажется, что нынешняя работа утомляет меня больше прежней и что я выполняю ее вовсе не так хорошо, как ты, и госпожа старшая кухарка держит меня на этой должности только из жалости. В конце концов, чтобы быть секретаршей, нужно действительно иметь школьное образование получше моего. Грешно так говорить, но я часто боюсь сойти с ума. Ради Бога,—вдруг скороговоркой сказала она и легонько тронула Карла за плечо, так как руки он держал под одеялом,— ради Бога, ни слова не говорите об этом госпоже старшей кухарке, иначе я погибла. Если я кроме тех хлопот, которые доставляю моей работой, причину ей еще и горе, это действительно будет уж слишком.

— Разумеется, я ничего не скажу,— заверил Карл.

— Ну и хорошо,— сказала она,— и оставайтесь здесь. Я была бы рада, если бы вы остались, и мы могли бы держаться друг друга, если вы не против. Я сразу, как только вас увидела, почувствовала к вам доверие. И все же — вы подумайте, какая я плохая! — я испугалась, что госпожа старшая кухарка назначит вас на мое место, а меня уволит. Лишь постепенно, пока я сидела тут одна, а вы были внизу, в конторе, я представила себе, что было бы очень даже хорошо, если бы вы взяли мою работу, в которой, верно, уж лучше разбираетесь. Если вам не захочется делать в городе покупки, я могла бы оставить за собой эту часть работы. А вообще-то на кухне от меня наверняка было бы куда больше пользы, тем более что я уже немного окрепла.

— Все улажено,— сказал Карл,— я буду лифтером, а вы останетесь секретаршей. Но если вы хоть чуть-чуть намекнете госпоже старшей кухарке о своих планах, я выдам и остальное, что вы мне сказали сегодня, как ни печально это для меня будет.

Его тон настолько взволновал Терезу, что она рухнула на пол и, рыдая, уткнулась лицом в одеяло.

— Я-то ничего не выдам,— сказал Карл,— но и вы не должны ничего говорить.

Теперь он уже не мог прятаться под одеялом, он слегка погладил ее плечо, не найдя, что ей сказать, и только подумал, что жизнь и здесь безрадостна. Наконец она успокоилась, по крайней мере устыдилась своего плача, благодарно посмотрела на Карла, посоветовав ему утром подольше поспать, и обещала, если выдаться свободная минутка, около восьми подняться наверх и разбудить его.

— Вы так наловчились будить,— сказал Карл.

— Да, кое-что я умею.— На прощание она ласково провела рукой по одеялу и убежала к себе.

Наутро Карл настоял, чтобы сразу приступить к работе, хотя старшая кухарка хотела освободить его на этот день для осмотра Рамзеса. Но Карл откровенно заявил, что случай для экскурсии еще представится, сейчас же главное для него — приступить к работе, ведь в Европе он безо всякой пользы прервал начатое дело и начинает как лифтер в таком возрасте, когда мальчишки — по крайней мере самые старательные из них — уже близки к тому, чтобы шагнуть на более высокую ступень в служебной иерархии. Совершенно справедливо, что начинает он как лифтер, но не менее справедливо и другое: он должен особенно торопиться. В таких обстоятельствах экскурсия по городу не доставит ему ни малейшего удовольствия. Даже на коротенькую прогулку, предложенную Терезой, он решиться не смог. Ему все время мерещилось, что если он не будет прилежен, то пойдет по дорожке Деламарша и Робинсона.

У гостиничного портного ему примерили форму лифтера, с показной роскошью отделанную золотыми пуговицами и галуном; правда, надев ее, Карл слегка поежился, так как курточка — особенно под мышками — была холодная, жесткая и влажная от невысыхающего пота лифтеров, носивших ее прежде. Форму нужно было подогнать по фигуре Карла и первым делом расставить в груди, ведь ни один из десяти мундирчиков даже и приблизительно не подошел. Несмотря на необходимые переделки — к тому же и мастер оказался весьма дотошным: готовая курточка дважды возвращалась из его рук в мастерскую, — все было закончено буквально в пять минут, и Карл покинул пошивочную уже лифтером в облегающих брюках и — вопреки заве-

рениям мастера — в очень тесной курточке, в которой то и дело хотелось сделать вдох поглубже, чтобы убедиться, можно ли в ней вообще дышать.

Затем он явился к старшему администратору, под началом которого ему предстояло работать, — стройному красивому мужчине лет сорока, с крупным носом. Тому было недосуг пускаться в разговоры, он просто вызвал звонком лифтера, случайно как раз того, которого Карл видел вчера. Карл выяснил это гораздо позже, ибо в английском произношении это имя было не узнать. Мальчик получил приказ ознакомить Карла с особенностями лифтерской службы, но так робел и так спешил, что, как ни мало требовалось объяснений, Карл даже этой малости толком не усвоил. Джакомо наверняка злился еще и на то, что из-за Карла ему пришлось оставить службу лифтера и отныне помогать горничным, а это, по некоторым наблюдениям, о которых он умолчал, казалось ему позорным. Прежде всего Карл был разочарован тем, что лифтер имеет дело с механизмом лифта лишь постольку, поскольку приводит его в движение простым нажатием кнопок, тогда как ремонтом двигателя занимались исключительно механики, так что Джакомо, например, несмотря на полугодовую службу при лифте, собственными глазами не видел ни двигателя в подвале, ни механизма самого лифта, хотя это, по собственному его признанию, было бы очень интересно. Вообще работа была монотонная и, поскольку смена длилась двенадцать часов — то днем, то ночью, до того утомительная, что, по словам Джакомо, выдержать ее было невозможно, если не выучиться спать стоя, урывками, по несколько минут. Карл ничего не сказал по этому поводу, но понял, что как раз это умение и стоило Джакомо места.

Карла очень устраивало то, что лифт, который он обслуживал, предназначался только для самых верхних этажей, ведь это избавляло его от общения с богатыми и требовательными постояльцами. Конечно, многому здесь не научишься, но для начала годилось и это.

После первой же недели Карл понял, что работа ему вполне по плечу. Латунные детали его лифта были великолепно надраены, другие тридцать лифтов не шли с ним ни в какое сравнение, возможно, эти детали блестяли бы еще ярче, если бы мальчик, напарник Карла по лифту, был хотя бы в половину так же старателен и не полагал, что усердие Карла дает ему повод небреж-

ничать. Это был коренной американец по имени Ренелл, тщеславный юнец с темными глазами и гладкими, слегка ввалившимися щеками. У него был собственный элегантный костюм, в котором он в свободные вечера, слегка надушенный, спешил в город; время от времени он даже просил Карла заменить его вечером, потому что ему надо уйти по семейным обстоятельствам, и его мало заботило, что внешний его вид противоречил подобным объяснениям. Тем не менее Карл симпатизировал ему и любил, когда в такие вечера Ренелл перед уходом останавливался перед ним внизу, у лифта, в своем элегантном костюме, еще раз извинялся, натягивая перчатки, а затем удалялся по коридору. Впрочем, этими подменами Карл просто хотел оказать ему услугу, считая, что на первых порах это вполне естественно по отношению к старшему коллеге, однако вводить это в привычку он не собирался. Ведь бесконечная езда на лифте, что ни говори, утомляла, тем более что перерывов в вечерние часы почти не было.

Скоро Карл выучился и быстрым глубоким поклонам, которых ждут от лифтеров, и чаевые он тоже ловил на лету. Монеты исчезали в его жилетном кармане, и по выражению его лица никто бы не догадался, щедрые они или скудные. Дамам он открывал двери с преувеличенной учтивостью и не спеша проскальзывал в лифт следом за ними, входившими в кабину медлительнее мужчин из опасения прищемить юбки, шляпы и накидки. Во время поездки он стоял, поскольку так привлекал меньше внимания, спиной к пассажирам, держась за ручку двери, чтобы в момент остановки быстро, однако же без пугающей внезапности толкнуть ее вбок. Лишь изредка кто-нибудь хлопал его во время поездки по плечу, чтобы получить какую-либо незначительную справку, тогда он поспешно оборачивался, словно ожидал этого, громким шепотом отвечал. Несмотря на большое количество лифтов, часто, особенно после театральных спектаклей или прибытия некоторых экспрессов, возникало такое столпотворение, что Карл, едва высадив постояльцев наверху, снова должен был срываться вниз, чтобы принять ожидавших. У него была еще и возможность подтягиванием троса, проходящего сквозь кабину лифта, увеличивать обычную его скорость, что, кстати, было запрещено правилами эксплуатации лифтов и даже опасно. Карл никогда этого не делал, если вез пассажиров, но, когда одни выходили на-

верху, а другие ждали внизу, он пренебрегал правилами и сильными ритмичными движениями, как моряк, подтягивал трос. Он, впрочем, знал, что другие лифтеры делали то же самое, и не хотел уступать им своих клиентов. Некоторые постояльцы, проживавшие в отеле долгое время, что было здесь довольно обычным явлением, иногда улыбкой показывали Карлу, что узнают своего лифтера; Карл принимал этот знак расположения с серьезным видом, но в душе был весьма польщен. Порой, когда движение спадало, он мог даже выполнять мелкие поручения; если, например, кому-то из постояльцев не хотелось лишний раз подниматься к себе в номер из-за какого-нибудь забытого пустяка, тогда Карл в одиночку взлетал на своем лифте, который он в такие минуты особенно любил, на нужный этаж, входил в чужую комнату, где, как правило, лежали и висели на вешалках диковинные вещи, которых он в жизни не видал, он ощущал специфический запах чужого мыла, духов, зубного эликсира и, несмотря на туманные указания, без задержки спешил с нужной вещью назад. Нередко он сожалел, что не может браться за более важные поручения, так как для этого в гостинице были специальные служители и рассыльные, обеспеченные для поездок велосипедами, а то и мотоциклами. Карл мог рассчитывать при случае только на то, чтобы сбежать с поручением из номеров в рестораны или игорные залы.

Когда после двенадцатичасовой смены он возвращался к себе — трижды в неделю в шесть вечера и трижды в шесть утра, — он был до того усталым, что сразу, не обращая ни на кого внимания, падал на койку. Она стояла в общей спальне лифтеров; госпожа старшая кухарка, вероятно все же не столь влиятельная, как он решил в первый вечер, пыталась, правда, раздобыть для него отдельную комнатку и, скорей всего, преуспела бы в этом, но Карл, видя, что тут возникает масса затруднений и что старшая кухарка то и дело звонит по телефону своему начальнику, тому самому страшно занятому старшему администратору, — Карл отказался от этой затеи и убедил старшую кухарку ссылкой на то, что не хочет вызывать у других лифтеров зависть, получив привилегию, которой покуда ничем не заслужил.

Покою в этой общей спальне конечно же не было. Каждый по-своему распределял свои свободные двенадцать часов на сон, еду, развлечения и приработки, и

суматоха здесь никогда не прекращалась. Одни спали, натянув одеяло на голову, чтобы ничего не слышать; а если кого-нибудь все-таки будили, он со злости поднимал такой крик, что вскакивали все, даже перворазрядные сони. Полагая трубку предметом роскоши, чуть ли не каждый юнец обзавелся оной, Карл тоже приобрел себе одну и вскоре к ней пристрастился. Но на работе курить воспрещалось, поэтому в общей спальне все, если только не спали, обязательно курили. В итоге каждая койка была окутана облаком дыма, и все кругом тонуло в чаду. Невозможно было добиться — хотя в принципе большинство с этим соглашалось, — чтобы ночью свет горел лишь в одном конце спальни. Будь это предложение осуществлено, желающие могли бы спокойно спать в темной половине помещения — оно было огромное, на сорок кроватей, — тогда как остальные играли бы на освещенной половине в кости или в карты и вообще могли бы заниматься всем тем, для чего необходим свет. Желающий спать, если его койка находилась на освещенной половине, мог расположиться на свободной койке в темноте, таких всегда было в достатке, и никто бы не стал протестовать против временного использования его койки кем-то другим. Но не бывало еще ночи, когда бы этот порядок соблюдался. К примеру, обязательно обнаруживалась парочка, которая, покемарив в темноте, желала, не вставая, поиграть в карты на уложенной между койками доске; естественно, они включали ближайшую электрическую лампу, ослепительный свет которой мигом поднимал спящих, если бедняги лежали лицом к лампе. Какое-то время они еще ворочались, но в конце концов только и оставалось, что заняться на свету игрой с опять-таки разбуженным соседом. И, само собой, опять дымили все трубки. Конечно, кое-кто предпочитал спать, невзирая ни на что, — Карл чаще всего был среди них, — так им приходилось накрывать или укутывать голову подушкой; но разве можно спать, если глубокой ночью ближайший сосед встает, чтобы до работы немного поразвлечься в городе, если он, громко фыркая и брызгаясь, умывается у изголовья твоей койки, если не только с грохотом натягивает башмаки, но еще и тяжело топает, втискивая в них ноги — несмотря на хорошие американские колодки, почти все носили слишком тесную обувь, — чтобы в конце концов по причине отсутствия какого-нибудь пустяка в экипировке поднять по-

душку спящего товарища, а тот, давным-давно разбуженный, только и ждал момента, чтобы наброситься на ночного гуляку. Надо сказать, все они были спортсмены, молодые и в большинстве крепкие парни, не упускавшие случая заняться спортивными упражнениями. И, вскакивая среди ночи от страшного шума, можно было быть уверенным, что обнаружишь на полу у своей койки двух борцов, а вокруг, в ярком свете стоящих на постелях арбитров в сорочках и кальсонах. Однажды во время такого ночного боя один из боксеров упал на спящего Карла, и первое, что тот увидел, открыв глаза, была кровь, текшая из носа бойца, и в считанные секунды, прежде чем он смог предпринять что-либо, залившая всю постель. Часто все двенадцать часов отдыха Карл тратил на попытки хоть немного поспать, хотя соблазн принять участие в беседах других был весьма велик; но ему все казалось, что в жизни у остальных есть перед ним преимущество, которое он должен компенсировать старательной работой и некоторым самоотречением. Таким образом, хотя с точки зрения работы сон был для него очень и очень важен, он не жаловался ни старшей кухарке, ни Терезе на обстановку в общей спальне, ведь, во-первых, в общем и целом все парни изрядно от этого страдали, но всерьез не жаловались, а во-вторых, мучения спального зала были неотъемлемой частью его лифтерской должности, которую он с благодарностью принял из рук старшей кухарки.

Раз в неделю при пересменке у него выдавались свободные сутки, которые он частично использовал для одного-двух визитов к старшей кухарке и для того, чтобы где-нибудь — в уголке, в коридоре и крайне редко у нее в комнате — перекинуться несколькими фразами с Терезой, которую он подкарауливал в ее краткие свободные минуты. Иногда он сопровождал девушку в город, куда ее посылали со срочными поручениями. Тогда они почти бежали — Карл с ее сумкой в руке — к ближайшей станции подземки, поездка занимала всего лишь мгновение: поезд мчался, как бы не испытывая ни малейшего сопротивления, — и вот уж пора выходить; вместо того чтобы дожидаться эскалатора, который казался им слишком медлительным, они взбегали вверх по лестнице, перед ними открывались площади, от которых звездообразно расходились улицы, мельтешила сутолока потоком текущего со всех сторон транспорта, но Карл и Тереза рука об руку спешили в различные кон-

торы, прачечные, склады, магазины, где нужно было выполнить «нетелефонные», а в общем не особенно ответственные поручения или уладить недоразумения. Тереза скоро заметила, что помощью Карла пренебрегать не стоит, напротив, во многих случаях именно она значительно ускоряла дела. С Карлом ей не приходилось ждать, как часто бывало без него, чтобы сверхзанятые деловые люди выслушали ее. Он подходил к конторке и до тех пор стучал по ней костяшками пальцев, пока ему не отвечали; он кричал поверх толпы на своем все еще правильном, легко отличимом среди сотни голосов английском; он подступал к людям без колебаний, даже если они спесиво удалялись в глубину просторнейших контор. Делал он это не из молодечества и уважал любой протест, однако он чувствовал себя на высоте положения, дающего ему все права,—гостиница «Оксиденталь» была солидным предприятием, с которым шутки плохи, и, наконец, Тереза, несмотря на ее деловой опыт, все-таки нуждалась в помощи.

— Вы должны всегда сопровождать меня,—говорила она порой, счастливо смеясь, когда они возвращались, особенно удачно выполнив поручение.

Лишь три раза за полтора месяца жизни в Рамзесе Карл побыл в комнатке Терезы подольше, по несколько часов. Конечно, комнатка была меньше любой из комнат старшей кухарки, немногочисленные вещи в ней сгруппированы были у окна, но Карл, учитывая опыт спального зала, хорошо понимал ценность собственного, сравнительно спокойного жилья, и, хотя прямо он не говорил об этом, Тереза заметила, как ему нравится ее комнатка. У девушки не было от него секретов, да и возможно ли иметь их от него после ее визита в тот первый вечер. Она была незаконнорожденной, отец ее, строительный десятник, вызвал к себе из Померании мать с ребенком; но — словно тем самым он исполнил свой долг или ожидал кого-то другого, а не изработавшуюся женщину и слабую девочку, которых встретил на пристани,—вскоре после их прибытия он без всяких объяснений эмигрировал в Канаду, и с тех пор они не получили от него ни письма, ни какой-либо иной весточки, оно и не удивительно — ведь обе совершенно затерялись в трущобах восточного Нью-Йорка.

Однажды Тереза рассказала — Карл стоял рядом с нею у окна и смотрел на улицу — о смерти своей матери. Они с матерью зимним вечером — Терезе было тог-

да лет пять — каждая со своим узелком торопливо шли по улицам в поисках ночлега. Сначала мать вела ее за руку — мела метель и идти вперед было трудно, — потом рука ее обессилела, и она, даже не оглянувшись, отпустила Терезу, которая теперь шла, цепляясь за материну юбку. Девочка часто спотыкалась и падала, но мать, точно в забытьи, не останавливалась. А эти метели на длинных прямых улицах Нью-Йорка! Карл-то еще не видел нью-йоркской зимы. Если идешь против ветра, сквозь его круговерть, невозможно ни на миг открыть глаза, ветер непрерывно залепляет лицо снегом, пытаешься бежать и не двигаешься с места, впору прийти в отчаяние. Ребенку, естественно, полегче, чем взрослому, он бежит под ветром и даже находит в этом удовольствие. Вот и Тереза тогда не могла понять матери и была теперь твердо убеждена, что, если бы в тот вечер вела себя с матерью поумнее — все же она была еще так мала! — той не пришлось бы погибнуть столь жалкой смертью. Мать уже два дня была без работы, в кармане не осталось ни цента, весь тот день они провели на улице без крошки во рту, в узелках было только ничемное тряпье, которое они не осмеливались бросить, быть может, из суеверия. На следующее утро матери обещали работу на строительстве, но она опасалась — и целый день пробовала объяснить это Терезе, — что не сумеет воспользоваться этой возможностью, так как чувствует себя смертельно усталой, еще утром, к ужасу прохожих, она обильно харкала кровью, и мечтала она только об одном — попасть куда-нибудь в тепло и отдохнуть. И как раз в тот вечер найти такое место было невозможно. Обычно дворник не давал им даже войти в парадную, где можно было бы кое-как передохнуть от непогоды, а если и удавалось войти в дом, они спешили по узким ледяным коридорам, поднимались по лестницам с этажа на этаж, кружили по узким дворовым галереям, стучали во все двери подряд, они то не отваживались ни с кем заговорить, то просили о помощи каждого встречного, а раз или два мать, совершенно запыхавшись, присаживалась на ступеньки тихой лестницы, привлекала к себе упиравшуюся Терезу и целовала ее, судорожно прижимаясь губами. Потом, когда уже знаешь, что это были последние поцелуи, в голове не укладывается, как можно было так ослепнуть, чтобы не понять этого, пусть даже ты и был тогда совсем мал. Двери иных комнат, мимо которых

они проходили, были открыты, чтобы выпустить засто-
явшийся воздух, а из дымного марева, которое, словно
после пожара, наполняло комнату, выступала чья-то
фигура, стоявшая на пороге, и либо своим немым без-
участием, либо кратким «нет!» говорившая, что приюта
не найдется и здесь. Теперь, задним числом, Терезе ка-
залось, что мать настойчиво искала пристанища только
в первые часы, так как примерно после полуночи она
уже ни к кому не обращалась, хотя, с небольшими пе-
рерывами, не переставала до рассвета кружить по кори-
дорам домов, где ни подъезды, ни квартиры никогда не
закрываются — жизнь там кипит всю ночь и на каждом
шагу попадают люди. Конечно, спешить они уже были
не в состоянии, обе из последних сил заставляли себя
идти и на самом деле, наверное, едва брели, с трудом
переставляя ноги. Тереза даже не знала, побывали ли
они с полуночи до пяти утра в двадцати домах или
только в двух, а то и в одном. Коридоры этих домов
хитро спланированы для наиболее выгодного использо-
вания площади, но в них так трудно ориентироваться;
должно быть, не раз они проходили по одному и тому
же коридору! Тереза смутно помнила, как они вышли
из ворот дома, в котором целую вечность искали при-
станища, но точно так же ей казалось, что в переулке
они сразу повернули назад и снова устремились в этот
дом. Для ребенка все это, конечно, были совершенно
непонятные мучения — то его крепко держала за руку
мать, то он сам держался за нее и шел, шел, не слыша
ни единого слова утешения; в то время, по недомыслию,
девочка находила этому только одно объяснение: мать
решила от нее убежать. Поэтому Тереза крепче цепля-
лась за мать, та вела ее за руку, но, безопасности ради,
другой рукой девочка хваталась за материнские юбки
и время от времени редела. Она не хотела, чтобы ее бро-
сили здесь, среди людей, которые, тяжело ступая, под-
нимались впереди них по лестнице или, невидимые, при-
ближались сзади из-за поворота, спорили в коридорах
друг с другом и вталкивали одни другого в комнату.
Пьяные, нечленораздельно распевая, бродили по дому,
и хорошо еще, что матери с Терезой удавалось про-
скользнуть мимо таких компаний. Поздно ночью, когда
надзор не такой строгий и люди уже не столь безапелля-
ционно настаивают на выполнении правил, они, верно,
сумели бы приткнуться в какой-нибудь заурядной поч-
лежке, мимо которых им случалось проходить, но Те-

реза об этом не догадывалась, а мать более не жаждала покоя. Утром, в начале прекрасного зимнего дня, обе они стояли, прислонясь к стене какого-то дома, не то дремали, не то просто забылись с открытыми глазами. Оказалось, что Тереза потеряла свой узелок, и мать в наказание за невнимательность принялась бить ее, но девочка не чувствовала и не замечала ударов. Потом они потащились дальше по просыпающимся улицам — мать держалась за стены домов, — вышли на мост, где мать, цепляясь за перила, стерла рукой весь иней, и наконец добрались — Тереза тогда не удивилась, а сейчас не могла взять этого в толк — до той самой стройки, куда матери велено было явиться утром. Она не сказала Терезе, ждать ей или уходить, и девочка поняла это как распоряжение ждать, поскольку это отвечало ее желанию. Итак, она пристроилась на кучке кирпича и увидела, как мать развязала свой узелок, достала из него пестрый лоскут и повязала поверх платка, который не снимала всю ночь. Тереза так устала, что ей даже в голову не пришло помочь матери. Не отметившись, как обычно делается, в конторке и никого не спросив, мать поднялась по лестнице, словно уже знала, на какую работу ее поставят. Тереза удивилась, так как подсобницы занимались обычно внизу гашением извести, подноской кирпича и другой несложной работой. Поэтому она решила, что нынче у матери работа более высокооплачиваемая, и сонно улыбнулась ей снизу. Постройка была еще невысокой — только-только завершили первый этаж, хотя высокие опоры для дальнейшего строительства, правда еще без деревянных перемычек, уже поднимались к голубому небу. Наверху мать ловко обошла каменщиков, которые укладывали кирпич к кирпичу и, странным образом, ни о чем ее не спросили; она предусмотрительно держалась слабой рукой за деревянную перегородку, служившую ограждением, а внизу Тереза, в своей полудреме, поражалась ее ловкости и думала, что мама приветливо поглядывает на нее. Но вот мать подошла к небольшой груде кирпича, возле которой кончались перила, да, вероятно, и помост, она, однако же, продолжала идти вперед на кирпичи, вся ловкость словно бы вдруг оставила ее, она опрокинула кирпичные кучи и рухнула в бездну. Множество кирпичей попадало следом, а через некоторое время откуда-то сорвалась тяжелая доска и грохнулась на нее. В последнем воспоминании Терезы мать распласталась на

земле, раскинув ноги, в клетчатой юбке, привезенной еще из Померании, неструганая доска почти целиком накрыла ее, со всех сторон сбежались люди, а наверху, на лесах, что-то сердито кричал какой-то мужчина.

Уже стемнело, когда Тереза закончила свою повесть. Рассказывала она подробно, хотя это было не в ее привычках, и в самых прозаических местах, например при описании каркасных опор, которые поодиночке вздымались к небу, она замолкала со слезами на глазах. Теперь, десять лет спустя, она совершенно точно помнила каждую мелочь, а поскольку последний раз она видела мать живой там, наверху, и никак не могла убедительно донести до своего друга этот образ, то, закончив рассказ, хотела еще раз вернуться к злосчастному эпизоду, но запнулась, спрятала лицо в ладони и не сказала больше ни слова.

Впрочем, в комнате Терезы бывали и часы повеселее. Еще при первом своем посещении Карл заметил там пособие по коммерческой переписке и попросил его на время. Тут же было условлено, что Карл выполнит содержащиеся в книге задания и отдаст их на проверку Терезе, уже изучившей пособие в той мере, в какой это было необходимо для ее небольших работ. Теперь Карл ночи напролет, заткнув уши ватой, лежал на своей койке в спальном зале, для разнообразия то в одной позе, то в другой, то в третьей, читал книгу и каракулями записывал в тетрадочке задания авторучкой, которой старшая кухарка вознаградила его за то, что он составил и аккуратно оформил для нее большущий инвентарный список. Он сумел обернуть себе на пользу даже беспокойство, которое причиняли ему другие юнцы, так как в подобных случаях он просил у них маленьких консультаций по части английского языка, что им вскоре надоело, и они оставили его в покое. Частенько он дивился тому, что другие полностью примирились со своим нынешним положением, совершенно не чувствуя его временного характера — в лифтерах юншей старше двадцати лет не держат, — ничуть не задумываясь над своим будущим и, несмотря на пример Карла, читая разве что детективы, затрепанные и рваные, эти книжонки кочевали с койки на койку.

Теперь при свиданиях Тереза тщательнейшим образом правила его работы; порой у них возникали споры, Карл ссылался тогда на своего знаменитого нью-йорк-

ского профессора, но для Терезы это значило не больше, чем грамматические познания лифтеров. Она брала у него авторучку и вычеркивала места, в ошибочности которых была убеждена, Карл же педантично восстанавливал текст в подобных сомнительных случаях, хотя в общем-то здесь в таких делах не было более высокого авторитета, чем Тереза. Иногда, правда, приходила старшая кухарка и неизменно решала спор в пользу Терезы, что, однако, ничего не доказывало, ведь Тереза была ее секретарем. Вместе с тем старшая кухарка примиряла обе стороны, ибо тут же готовили чай, приносили печенье, и Карл должен был рассказывать о Европе, хотя старшая кухарка поминутно его перебивала, она все время задавала вопросы и удивлялась, благодаря чему Карл осознал, сколь многое на родине в корне изменилось за сравнительно короткое время и сколь много перемен успело, вероятно, произойти за месяцы его отсутствия и еще произойдет.

Карл пробыл в Рамзесе почти месяц, когда однажды вечером Ренелл мимоходом сообщил, что перед гостиницей с ним заговорил человек по имени Деламарш и расспрашивал о Карле. У Ренелла не было оснований что-либо утаивать, и он рассказал правду: что Карл — лифтер, однако имеет шанс получить местечко получше благодаря протекции старшей кухарки. Карл обратил внимание на то, как предупредительно отнесся Деламарш к Ренеллу, пригласив его нынче даже на товарищеский ужин.

— Я не хочу иметь с Деламаршем ничего общего,— сказал Карл,— а ты будь с ним поосторожнее!

— Я? — сказал Ренелл, потянулся и поспешил прочь. Он был самым миловидным и изящным мальчиком в гостинице, и среди лифтеров ходил слух — неизвестно, кем пущенный, — что одна важная дама, уже долгое время проживавшая в гостинице, целовала Ренелла в лифте. У тех, кто знал об этих слухах, мурашки по спине бежали от волнения, когда эта самоуверенная дама, наружность которой и мысли о подобном поведении не допускала, легкой спокойной походкой, под воздушной вуалью, затянутая в корсет, шла мимо. Жила она на втором этаже, и лифт Ренелла ей не подходил, но, ведь если другие лифты заняты, такой постоялице не запретишь воспользоваться его лифтом. Вот почему эта дама время от времени поднималась и спускалась на лифте Карла и Ренелла, причем всегда только в смену

второго. Возможно, случайность, но в это никто не верил, и, когда лифт был занят дамой и Ренеллом, всей сменой лифтеров овладевало плохо скрываемое волнение, иной раз приводившее даже к вмешательству старшего администратора. То ли из-за этой дамы, то ли из-за слухов, но, так или иначе, Ренелл изменился, стал еще более самоуверенным, уборку лифта целиком переложил на Карла, который выжидал удобного случая для серьезного объяснения по этому поводу, и в общей спальне не показывался. Никто еще не порывал так резко с сообществом лифтеров, ведь по крайней мере в вопросах службы все они держались друг друга и имели организацию, которую признавала дирекция гостиницы.

Все это вспомнилось Карлу при мысли о Деламарше, пока он, как всегда, исполнял свою службу. Около полуночи ему выпало небольшое развлечение: Тереза, частенько радовавшая его маленькими подарками, принесла ему большое яблоко и плитку шоколада. Они немного поболтали, даже перерывы — поездки лифта — им не мешали. Разговор коснулся и Деламарша, и Карл заметил, что вообще-то оказался под влиянием Терезы и считает Деламарша опасным человеком лишь потому, что таким Деламарш представляется Терезе по его рассказам. Однако, в сущности, Карл считал его просто мошенником, которого сделали таким невзгоды и с которым все-таки можно найти общий язык. Тереза горячо возражала против этого и после долгих уговоров потребовала от Карла обещания больше не разговаривать с Деламаршем. Вместо этого обещания Карл начал настаивать, чтобы она шла спать, так как полночь давным-давно миновала, а когда она отказалась, пригрозил покинуть свой пост и отвести ее в комнату. Когда она наконец собралась уходить, он сказал:

— Зачем ты так беспокоишься, Тереза? Чтобы тебе лучше спалось, я, конечно, твердо обещаю, что заговорю с Деламаршем только в случае крайней необходимости.

Затем ему пришлось совершить много поездок, так как соседа отозвали по какому-то делу и Карлу пришлось обслуживать оба лифта. Некоторые постояльцы сказали, что это «безобразия», а один господин, сопровождавший даму, даже легонько прикоснулся к Карлу тростью, чтобы потеронить его, хотя Карл в подобных напоминаниях вовсе не нуждался. Если бы постояльцы, видя, что один лифт остался без лифтера, по крайней

мере перешли к лифту Карла, но, увы, они этого не сделали, а стояли у соседнего, взявшись за ручку двери, или даже входили в лифт, что, по строжайшей инструкции, лифтеры любой ценою должны были предотвратить. Вот Карл и сновал туда-сюда, выбиваясь из сил, причем у него не было уверенности, что он четко выполняет свой долг. В довершение всего часов около трех старик носильщик, с которым немного сблизился, попросил его помочь, но Карл не мог пойти ему навстречу, потому что как раз в это время постояльцы осаждали оба его лифта, и требовалось немалое самообладание, чтобы тотчас устремиться большими шагами к одной из ожидающих групп. Он чрезвычайно обрадовался, когда вернувшийся лифтер снова приступил к работе, и бросил ему несколько слов упрека за долгое отсутствие, хотя, возможно, тот и не был ни в чем виноват.

После четырех утра наступила небольшая передышка, как раз вовремя, поскольку Карлу она была уже крайне необходима. Тяжело опершись на перила около своего лифта, он медленно ел яблоко, от которого, едва он прокусил кожицу, пошел сильный аромат, и смотрел вниз, в световую шахту, куда выходили большие окна кладовых, где желтели во мраке подвешенные гроздья бананов.

Глава шестая

ИНЦИДЕНТ С РОБИНСОНОМ

Вдруг кто-то хлопнул его по плечу. Карл, естественно, думая, что это постоялец, поспешно сунул яблоко в карман и, едва глянув на мужчину, заторопился к лифту.

— Добрый вечер, господин Россман,— сказал мужчина,— это я, Робинсон.

— Как же вы изменились! — воскликнул Карл и покачал головой.

— Да, дела мои идут хорошо,— сказал Робинсон и скользнул взглядом по своей одежде, которая хоть и состояла из вещей довольно шикарных, но была подобрана так безвкусно, что выглядела прямо-таки убогой. В первую очередь бросался в глаза явно новехонький белый жилет с четырьмя маленькими, отороченными черным шнурком карманчиками,— на него Робинсон, выпятив грудь, особенно старался обратить внимание собеседника.

— На вас дорогая одежда,— заметил Карл и попутно вспомнил о своем превосходном строгом костюме, в котором ему не стыдно было бы показаться даже рядом с Ренеллом и который эти прохвосты продали.

— Да,— сказал Робинсон,— я почти каждый день что-нибудь себе покупаю. Как вам нравится жилет?

— Недурен.

— Между прочим, карманчики не настоящие, а всего лишь имитация,— пояснил Робинсон и схватил Карла за руку, чтобы тот сам убедился. Но Карл отпрянул назад, потому что от Робинсона нестерпимо разлило виски.

— Вы опять много пьете,— сказал Карл, вернувшись на старое место к перилам.

— Нет,— сказал Робинсон,— не много,— и добавил, опровергая свое прежнее самодовольство: — Что же еще остается человеку на этом свете?

Беседу прервал рейс лифта, а едва Карл снова очутился внизу, зазвонил телефон, в результате чего Карлу пришлось сходить за гостиничным доктором, так как на седьмом этаже с одной дамой случился обморок. Выполняя это поручение, Карл втайне надеялся, что Робинсон тем временем уйдет, так как не хотел появляться в его обществе и, памятуя о предостережении Терезы, ничего не желал слышать о Деламарше. Но Робинсон, все в той же напряженной позе пьяного, дожидался его у лифта; к счастью, проходивший мимо администратор в черном сюртуке и цилиндре как будто бы не обратил на Робинсона внимания.

— Не хотите ли, Россман, как-нибудь заглянуть к нам, теперь мы живем получше,— сказал Робинсон, умильно глядя на Карла.

— Вы меня приглашаете или Деламарш? — спросил Карл.

— Я и Деламарш — мы в этом единодушны,— ответил Робинсон.

— Тогда я скажу вам и прошу передать то же самое Деламаршу: наше расставание, если уж вы тогда этого не поняли, было окончательным и бесповоротным. Вы оба обидели меня больше, чем кто-либо другой. Может, вы и впредь намерены не давать мне покоя?

— Все-таки мы ваши товарищи,— сказал Робинсон, и мерзкие хмельные слезы показались на его глазах.— Деламарш просил передать вам, что возместит вам все прошлые неприятности. Мы живем теперь вместе с Бру-

нельдой, замечательной певицей.— И он бы тут же затянул фальцетом песню, если бы Карл вовремя не шикнул на него:

— Замолчите немедленно; вы что, не знаете, где находитесь?

— Россман,— сказал Робинсон, в испуге оборвав пение,— я ведь ваш товарищ, вы только скажите, что вам угодно. У вас здесь прекрасная должность, может, одолжите мне немного денег?

— Вы снова их пропъете,— ответил Карл,— я даже вижу у вас в кармане бутылку виски, к которой вы в мое отсутствие определенно приложились, так как вначале рассуждали еще более или менее здраво.

— Это я так, чтобы подкрепиться,— виновато сказал Робинсон.

— Я не намерен вас воспитывать,— заметил Карл.

— А деньги! — воскликнул Робинсон, широко раскрыв глаза.

— Наверное, Деламарш велел вам принести денег. Хорошо, денег я дам, но только при условии, что вы немедленно уберетесь отсюда и никогда больше у меня здесь не появитесь. Если захотите что-нибудь сообщить мне, напишите. Карлу Россману, лифтеру, отель «Оксиденталь». Вполне достаточно для адреса. Но сюда, повторяю, вы являться не должны. Я здесь на службе, и мне не до посетителей. Итак, хотите денег на этих условиях? — спросил Карл и полез в жилетный карман, решив пожертвовать сегодняшними чаевыми. Робинсон только кивнул в ответ и тяжело задышал. Карл истолковал это превратно и спросил еще раз: — Да или нет?

Тут Робинсон знаком поманил его к себе и прошептал, недвусмысленно давась:

— Россман, мне очень плохо.

— Черт! — вырвалось у Карла, и он обеими руками подтащил Робинсона к перилам. И беднягу тут же вырвало прямо в шахту. В промежутках между приступами тошноты он беспомощно, ошупью тянулся к Карлу.

— Вы действительно хороший парень,— бормотал он, затем: — Ну, все прошло,— но до этого было еще далеко, и снова: — Ах, мерзавцы, что за пакостью они меня там напоили!

От отвращения и тревоги Карл не мог больше стоять рядом с ним и принялся расхаживать взад-вперед по площадке. Здесь, в углу возле лифта, Робинсон был не

на глазах, но вдруг кто-нибудь все-таки заметит его, какой-нибудь раздражительный богатый постоялец, только и ждущий, чтобы пожаловаться гостиничному начальнику, который затем, рассвирепев, отыграется на правом и виноватом; или вдруг мимо пройдет один из постоянно меняющихся гостиничных детективов, которых никто, кроме дирекции, не знает, остальные могут только гадать, подозревая детектива в любом человеке с пристальным взглядом, вызванным даже просто близорукостью. А внизу? Достаточно кому-нибудь пойти в кладовую — ресторан-то всю ночь работает, — и он, с изумлением обнаружив на полу световой шахты эту мерзость, тотчас же позвонит Карлу по телефону и спросит, что, собственно, происходит наверху? Сможет ли Карл тогда отпереться от Робинсона? И если даже так, не станет ли Робинсон, вместо того чтобы извиниться, сдурить и от отчаяния апеллировать к Карлу? И не уволят ли в таком случае Карла сию же минуту, ведь случилось неслыханное: лифтер, ничтожнейший и бесполезнейший виштик в гигантской иерархии гостиничного персонала, через своего дружка осквернил отель и напугал постояльцев? Или даже стал причиной их отъезда? Можно ли дальше терпеть лифтера, имеющего таких друзей, да еще позволяющего им заходить к нему на работу? Не наведет ли это на подозрение, что и сам этот лифтер — пьяница, и даже того хуже, ибо буквально напрашивается вывод, что он так и будет подкармливать своих дружков из гостиничных запасов, пока они не сотворят пакости вроде той, что учинил Робинсон, в любом месте этой чистой гостиницы? И почему такой юнец должен ограничиваться кражей съестного, ведь есть еще и возможность воровать вещи — при известной небрежности постояльцев, повсеместно открытых шкафах, валяющихся на столах драгоценностях, незапертых денежных шкатулках и бездумно брошенных ключах?

Тут Карл завидел постояльцев, поднимавшихся из подвального ресторана, где только что закончилась программа варьете. Карл вытянулся у своего лифта, не отваживаясь оглянуться на Робинсона из страха перед тем, что мог бы там увидеть. Его немного успокаивало то, что из-за угла не доносилось ни звука, даже вздох не было слышно. Он обслуживал клиентов, возил их вверх-вниз, но не мог полностью скрыть своей рассеянности и при каждом спуске опасался, что обнаружит внизу неприятный сюрприз.

Наконец у него выдалась минута, чтобы взглянуть на Робинсона, который, уткнув лицо в колени, скорчился в углу. Его круглая твердая шляпа была сдвинута на макушку.

— Ну а теперь уходите,— тихо, но решительно сказал Карл.— Вот деньги. Если вы поторопитесь, я могу указать вам самую короткую дорогу.

— Я не в силах уйти,— ответил Робинсон и вытер лоб крохотным носовым платком,— я умру здесь. Вы не можете себе представить, как мне плохо. Дела марш таскает меня с собой по шикарным ресторанам, а я не выношу этих изысканных штучек, каждый день ему твержу.

— Здесь вам оставаться нельзя,— сказал Карл,— вспомните-ка, где вы. Если вас здесь найдут, то оштрафуют, а я потеряю свое место. Вы этого хотите?

— Не могу я уйти,— ответил Робинсон,— лучше уж прыгну туда, вниз.— И он жестом указал на шахту.— Пока я сижу здесь, то кое-как терплю, но встать я не могу, я уже пробовал, пока вас не было.

— Тогда я вызову автомобиль, и вас увезут в больницу,— заявил Карл и подергал ноги Робинсона, который грозил впасть в полнейшую прострацию. Но, едва услышав слово «больница», казалось вызвавшее у него неприятные воспоминания, Робинсон громко разрыдался и простер руки к Карлу, словно моля о пощаде.

— Тише,— сказал Карл, шлепком заставил Робинсона опустить руки, подбежал к лифтеру, которого замещал этой ночью, попросил его о такой же любезности, поспешил обратно ко все еще всхлипывающему ирландцу, собрав все силы, поставил его на ноги и зашептал: — Робинсон, если вы не хотите, чтобы я вас бросил, возьмите себя в руки: идти совсем недалеко. Я отведу вас на мою койку, там вы сможете остаться, пока вам не станет лучше. Вы сами удивитесь, как скоро придете в себя. Но теперь извольте вести себя разумно, всюду в коридорах люди, и моя койка тоже стоит в общей спальне. Если вы привлечете хотя бы малейшее внимание, я ничего уже не смогу для вас сделать. И глаза вы должны держать открытыми, не могу же я тащить вас как смертельно больного.

— Я готов сделать все, что вы хотите,— пробормотал Робинсон,— но в одиночку вы меня не доведете. Может, позовете Ренелла?

— Ренелла здесь нет.

— Ах да. Ренелл сейчас с Деламаршем. Они ведь и послали меня за вами. Я все перепутал.

Карл воспользовался этим и последующими невразумительными монологами Робинсона, чтобы подталкивать его вперед, и удачно добрался с ним до угла, откуда тускло освещенный коридор вел в лифтерскую спальню. Как раз сейчас мимо них бегом промчался один из лифтеров. Впрочем, до сих пор у Карла с Робинсоном случались только безобидные встречи; между четырьмя и пятью часами утра в гостинице было особенно спокойно, и Карл прекрасно понимал, что если сейчас не сумеет водворить Робинсона в спальню, то на рассвете, когда отель начнет просыпаться, об этом вообще нечего будет и думать.

В дальнем конце спального зала как раз в разгаре была крупная потасовка или что-то в этом роде: слышались ритмичные хлопки, возбужденный топот ног и азартные возгласы. В ближней к дверям половине спальни дрыхли только самые отчаянные сони, большинство лежали на спине, уставясь в потолок, а кое-кто, все равно — одетый или раздетый, вскакивал с постели, чтобы выяснить, как обстоят дела в другом конце зала. Так что Карл почти незаметно провел Робинсона, немного уже приноровившегося к ходьбе, к койке Ренелла, расположенной в двух шагах от двери и, к счастью, незанятой, тогда как на собственной его кровати, как Карл увидел издали, спокойно спал вовсе ему незнакомый юноша. Едва ощутив под собой матрас, Робинсон тотчас заснул, свесив одну ногу с кровати. Карл накрыл его с головой одеялом и решил, что по крайней мере в ближайшее время можно не беспокоиться, так как Робинсон явно не проснется раньше шести часов, а к тому времени он вернется сюда и тогда, возможно вместе с Ренеллом, найдет способ выпроводить Робинсона. Проверка спальни каким-нибудь начальством была событием чрезвычайным, отмены таких утренних проверок лифтеры добились уже многие годы назад, так что и в этом смысле опасаться было нечего.

Когда Карл снова заступил на свой пост, он увидел, что оба лифта как раз ушли наверх. И с тревогой стал ждать разъяснения случившегося. Его лифт спустился первым, и вышел оттуда тот лифтер, который минутой раньше бежал по коридору.

— Где же ты пропадал, Россман? — спросил он. — Почему ты ушел? Почему не сообщил об этом?

— Но я же сказал ему, чтобы он подменил меня на минутку,— ответил Карл, показывая на парня из соседнего лифта, который как раз подъехал.— Я-то замещал его целых два часа, когда был страшный наплыв постояльцев.

— Все это хорошо,— заметил собеседник,— но все же недостаточно. Ты ведь знаешь, что даже о незначительной отлучке необходимо сообщать в контору старшему администратору! Для того у тебя и телефон. Я бы с удовольствием тебя подменил, но ты же знаешь, как это непросто. Перед обоими лифтами как раз толпились новые клиенты с экспресса четыре тридцать. Не мог же я уехать с твоим лифтом и заставить своих клиентов ждать, поэтому я сначала поднялся вверх со своим лифтом!

— Ну и?..— спросил Карл напряженно, так как оба молчали.

— Ну и...— продолжил сосед-лифтер,— мимо как раз проходил старший администратор, увидел людей перед твоим лифтом безо всякой надежды на обслуживание, пожелтел от злости, спрашивает, где ты,— я в эту минуту подъехал,— а я понятия не имею, ведь ты не сказал мне, куда идешь, и тогда он тут же позвонил в спальню, чтобы мигом явился другой лифтер.

— Я же встретил тебя в коридоре,— сказал сменщик Карлу. Тот кивнул.

— Конечно,— заверил второй лифтер,— я тут же сказал, что ты попросил ненадолго подменить тебя, но разве начальство станет слушать такие объяснения? Ты, видать, еще не знаешь его. Велено передать, чтобы ты немедленно явился в контору. Так что лучше не задерживайся, беги туда. Может, он еще простит тебя, ты действительно отсутствовал только две минуты. Объясни, только спокойно, что ты просил меня о подмене. О том, что ты подменял меня, лучше не упоминать, советую тебе настоятельно; мне ничего не сделают, у меня есть разрешение, но незачем говорить о том случае, да еще путать его с этим, к которому он не имеет отношения.

— Я же впервые оставил свой пост,— сказал Карл.

— Так бывает всегда, но они не верят,— ответил парень и побежал к своему лифту, так как к нему уже приближались люди.

Мальчик лет четырнадцати, сменивший Карла и явно ему сочувствующий, сказал:

— Я знаю много случаев, когда такие вещи прощались. Обычно переводят на другую работу. Уволили, насколько мне известно, лишь одного. Тебе нужно придумать серьезное оправдание. Ни в коем случае не говори, что тебе вдруг стало плохо, он тебя засмеет. Лучше уж сказать, что один постоялец дал тебе поручение к другому, а ты запомнил, кто дал тебе поручение, и не смог найти другого.

— Ничего,— сказал Карл,— все обойдется.

Но после всего, что услышал, он уже не надеялся на хороший исход. Если даже это унущение ему простят, в общей спальне до сих пор находится Робинсон, живое свидетельство вины, а при дотошном характере старшего администратора весьма вероятно, что он не ограничится поверхностным расследованием и в конце концов разыщет Робинсона. Хотя никто прямо не запрещал приводить в спальню посторонних, но запрета не существовало явно только потому, что это было невысказано.

Когда Карл вошел в кабинет старшего администратора, тот сидел за утренним кофе; сделав глоток, он заглядывал в какой-то список, полученный, видимо, от присутствующего здесь старшего портье. Это был крупный мужчина, а роскошная, с богатой отделкой форма — даже на плечах и по рукавам змеились золотые галуны и шитье — делала его еще массивнее. Блестящие, длинные черные усы вроде тех, какие носят венгры, были неподвижны при самых что ни на есть резких поворотах головы. И вообще, из-за тяжелой одежды старший портье двигался с большим трудом и стоял не иначе как широко расставив ноги, чтобы вернее распределить свой вес.

Карл вошел легко и быстро, как привык здесь, в гостинице, потому что медлительность и осторожность, которые у частных лиц служат признаком учтивости, у лифтеров означают лень. Кроме того, нельзя же прямо с порога выказывать, что чувствуешь свою вину. Старший администратор, правда, мельком взглянул на открывшуюся дверь, но тотчас вернулся к своему кофе и бумагам, не обращая внимания на Карла. Однако портье, вероятно, воспринял появление Карла как помеху, возможно, он хотел сообщить какой-то секрет или высказать просьбу, — как бы там ни было, он, набычившись, поминутно зло поглядывал на Карла, чтобы затем, очевидно, в соответствии со своими намерениями,

встретившись взглядом с Карлом, снова обратиться к старшему администратору. Но Карл полагал, что произведет дурное впечатление, если сейчас, едва явившись, вновь покинет кабинет без приказа начальства. А оно продолжало изучать список и время от времени угощалось тортом, с которого то и дело, не прерывая чтения, стряхивало сахар. Когда один лист списка упал на пол, портье даже не попытался поднять его, знал, что ему это не по силам, да в этом не было и необходимости, ведь Карл был уже тут как тут, поднял лист и протянул старшему администратору, который взял его так, словно он сам собой взлетел с пола. В общем, эта маленькая услуга ничего не дала, потому что портье не прекратил своих злобных поглядываний.

И все же Карл был спокойнее, чем раньше. Уже то, что его дело, похоже, представляется старшему администратору маловажным, можно считать добрым знаком. В конце концов, это и понятно. Лифтер, конечно, абсолютно ничего не значит и потому не смеет ничего себе позволить, но как раз потому, что он ничего не значит, не может и натворить ничего из ряда вон выходящего. Вдобавок старший администратор в юности сам был лифтером — что составляло предмет гордости нынешнего лифтерского поколения, — именно он первый организовал лифтеров и наверняка оставлял, бывало, без разрешения свой пост, хотя сейчас его, конечно, никто не заставит вспомнить об этом, и нельзя не учитывать, что, как бывший лифтер, он видит свой долг как раз в том, чтоб неумолимой строгостью, хотя бы время от времени, поддерживать дисциплину среди этих парней. К тому же теперь Карл полагал, что время работает на него. Часы в кабинете показывали уже четверть шестого, каждую минуту мог вернуться Ренелл, может быть, он уже тут, ведь должен же он был заметить, что Робинсон не вернулся; кстати, Деламарш и Ренелл вряд ли находились далеко от «Оксиденталья», пришло в голову Карлу, потому что иначе Робинсон в жалком своем состоянии едва ли нашел бы дорогу сюда. Если теперь Ренелл обнаружит Робинсона в своей постели, а это неизбежно, — тогда все хорошо. Он малый практичный, особенно когда речь идет о его собственных интересах, и конечно же постарается немедля удалить Робинсона из гостиницы, что будет несложно, поскольку этот пьяница уже мало-мальски оклемался, да и Деламарш, вероятно, ждет у подъезда, готовый встретить его. Если

же Робинсона удалили, Карл может возражать старшему администратору гораздо увереннее и на этот раз, быть может, отделается просто строгим выговором. Затем он посоветуется с Терезой, сказать ли правду старшей кухарке — сам он видел этому препятствие, — и, по мере возможности, без особого ущерба с этим делом будет покончено.

Едва Карл успокоил себя подобными рассуждениями и занялся незаметным подсчетом чаевых, полученных этой ночью, — у него было ощущение, что их особенно много, — как старший администратор со словами: «Подождите, пожалуйста, минуточку, Федор» — положил список на стол, упруго поднялся и так заорал на Карла, что от испуга тот устоял в его огромную черную пасть.

— Ты без разрешения бросил свой пост. Знаешь ли ты, что это означает? Это означает увольнение. Я не хочу слушать оправданий, можешь оставить при себе свои лживые отговорки, мне вполне достаточно факта, что тебя там не было. Если я оставлю это без последствий и прощу тебя, в скором времени все сорок лифтеров сбегут с работы, и мне впору будет самому поднимать на руках по лестнице все пять тысяч постояльцев.

Карл молчал. Портье подошел поближе и одернул курточку Карла, топорщившуюся складками, — несомненно чтобы обратить внимание старшего администратора на эту маленькую неряшливость в одежде Карла.

— Может, тебе вдруг стало плохо? — коварно спросил старший администратор.

Карл испытующе посмотрел на него и ответил:

— Нет.

— Значит, тебе даже плохо не стало? — завопил старший администратор еще громче. — В таком случае ты наверняка придумал какую-нибудь грандиозную ложь. Чем ты намерен оправдаться? Выкладывай!

— Я не знал, что должен просить разрешения по телефону, — сказал Карл.

— Это восхитительно, в самом деле! — воскликнул старший администратор, схватил Карла за воротник курточки и почти перенес его к «Правилам обслуживания лифтов», висевшим на стене. Портье тоже подошел к стене. — Читай! — сказал старший администратор, указывая на один из параграфов. Карл решил, что должен читать про себя. Однако последовала команда: — Вслух!

Вместо того чтобы читать вслух, Карл сказал, надеясь успокоить начальника:

— Я знаю этот параграф, ведь я тоже получил инструкцию и внимательно ее изучил. Но те пункты, которыми не пользуешься, вылетают из головы. Я служу уже два месяца и ни разу не покидал своего поста.

— Зато сегодня ты его покинешь,— сказал старший администратор, подошел к столу, снова взял в руки список, словно собираясь вновь приняться за чтение, но хлопнул им по столу, как никчемной бумажонкой, и, побагровев, забегал по комнате.— Из-за этого мальчика вытерпеть подобное! Такой переполох в ночную смену! — выкрикнул он несколько раз.— Вы знаете, кто хотел подняться наверх, когда этот малый сбежал с лифта? — обратился он к портье. И назвал имя, услышав которое портье, конечно же знавший всех постояльцев и могущий оценить ситуацию, так ужаснулся, что быстро взглянул на Карла как на овеществленное подтверждение того, что носитель ТАКОГО ИМЕНИ вынужден был напрасно ждать возле лифта, от которого сбежал лифтер.

— Кошмар! — сказал портье и медленно покачал головой, повернувшись к Карлу с безграничной тревогой, а тот печально смотрел на него и думал, что поплатится еще и за тупоумие этого человека.

— Кстати, я тоже давно тебя заметил,— заявил портье и наставил на Карла толстый, дрожащий от напряжения палец.— Ты — единственный лифтер, который принципиально со мной не здороваются. Что ты, собственно, о себе вообразил! Каждый, кто проходит мимо стойки портье, должен мне поклониться. К остальным портье можешь относиться как угодно, но я требую поклона. Я, правда, иной раз делаю вид, будто ничего не замечаю, но, будь уверен, я совершенно точно знаю, кто мне кланяется, а кто — нет, олух ты этакий! — И он отвернулся от Карла и, расправив плечи, шагнул к старшему администратору, но тот, вместо того чтобы откликнуться на выпад портье, заканчивал свой завтрак и перелистывал утреннюю газету, которую ему только что принесли.

— Господин старший портье,— сказал Карл, он решил ответить на его выпад, воспользовавшись невнимательностью старшего администратора, так как понимал, что повредить ему может скорее враждебное отношение портье, чем его упреки,— я всегда вам кланяюсь. В Аме-

рике я недавно, а родом из Европы, где, как известно, кланяются куда больше, чем нужно. Естественно, я не мог полностью отвыкнуть от этого, и еще два месяца назад в Нью-Йорке, где по воле случая вращался в довольно высоких кругах, меня то и дело уговаривали отказаться от этой чрезмерной вежливости. И вы говорите, что я с вами не здоровался! Я здоровался с вами каждый день по нескольку раз. Но, естественно, не всегда, когда вас видел, так как ежедневно прохожу мимо раз сто.

— Ты обязан кланяться мне каждый раз, каждый раз, без исключения; все время, пока ты со мной разговариваешь, ты обязан держать головной убор в руках; и называть меня обязан «господин старший портье», а не просто «вы». И так — каждый раз, каждый раз.

— Каждый раз? — повторил Карл тихо и вопросительно, теперь он вспомнил, что все время здесь находился под неусыпным надзором этих строгих укоряющих глаз, прямо с того первого утра, когда, еще не совсем приноровившись к своему положению слуги, безо всяких околичностей настойчиво выпрашивал у этого старшего портье, не интересовались ли им двое мужчин и не оставляли ли для него фотографии.

— Теперь ты видишь, куда заводит такое поведение, — сказал портье, снова подступив вплотную к Карлу и указывая на все еще читавшего старшего администратора, словно тот был орудием его мести. — Уж на новом-то месте ты научишься приветствовать портье, пусть даже это будет самая что ни на есть жалкая дыра.

Карл понимал, что место он уже потерял, так как старший администратор только что об этом сказал и старший портье говорил об этом как о деле решенном, а для увольнения лифтера санкции гостиничной дирекции, наверное, не требуется. Правда, произошло все быстрее, чем он предполагал, ведь, в конце концов, он честно прослужил два месяца и, несомненно, работал лучше многих. Но в решающий момент такие вещи ни в одной части света — ни в Европе, ни в Америке — не учитываются, решение выносят спонтанно, под влиянием минутного гнева. Может, лучше прямо сейчас попрощаться и уйти. Тереза и старшая кухарка, должно быть, еще спят, и, чтобы избавить их по крайней мере от разочарования и грусти при личном прощании, написать

им письмо, быстренько собрать чемодан и потихоньку удалиться. Если же он останется хотя бы на один день, а ему, конечно, не помешал бы небольшой отдых, то ждет его не что иное, как раздувание скандала из этого инцидента, упреки со всех сторон, невыносимое зрелище слез Терезы, а возможно, и старшей кухарки и, наконец, не исключена даже возможность наказания. С другой стороны, его смущало то, что здесь ему противостояли два противника и каждое высказанное им слово не один, так другой переиначит и истолкует в дурную сторону. Вот почему он молчал и пока что радовался тишине, установившейся в комнате, поскольку старший администратор по-прежнему читал газету, а старший портье складывал по порядку разбросанный по столу список, что вызывало у него, в силу явной близорукости, большие затруднения.

Наконец старший администратор, зевнув, положил газету, взглянул на Карла, удостоверился, что тот еще здесь, и покрутил ручку телефона. Несколько раз он крикнул в трубку «Алло!», но никто не отвечал.

— Никто не отвечает,— сказал он портье.

Тот, наблюдая за попыткой позвонить, как показалось Карлу, с особым интересом, заметил:

— Уже без четверти шесть. Она наверняка встала. Позвоните подольше.

В это мгновение без всякого вызова раздался телефонный звонок.

— Старший администратор Исбери,— отозвался старший администратор.— Доброе утро, госпожа старшая кухарка. Надеюсь, я вас не разбудил? Мне очень жаль. Да, да, уже без четверти шесть. Но мне искренне жаль, что я вас потревожил. Вам бы надо отключать телефон на время сна. Нет, нет, с моей стороны это совершенно непростительно, тем более что дело, о котором я хочу с вами поговорить, сущий пустяк. Конечно же у меня есть время, пожалуйста, я подожду у телефона, если вы не возражаете.

— Она, видать, подбежала к телефону в ночной сорочке,— улыбаясь, сказал старший администратор старшему портье, который стоял с напряженным выражением лица, склонившись к телефонному аппарату.— Я ее в самом деле разбудил; обычно ее будит молоденькая девушка, служащая при ней машинисткой, но сегодня она почему-то забыла это сделать. Жаль, что я напугал ее, она и без того такая нервная.

— Почему она не продолжает разговор?

— Пошла взглянуть, что случилось с девушкой,— ответил старший администратор уже с трубкой возле уха, так как снова позвонили.— Ничего, она найдется,— сказал он уже в телефонную трубку.— Вы ни в коем случае не должны так тревожиться по всякому поводу. Вам действительно необходимо как следует отдохнуть. Итак, что касается моего небольшого дела. Здесь у меня лифтер по фамилии...— Он вопросительно повернулся к Карлу, который, внимательно слушая, тотчас же подсказал свое имя,— по фамилии Карл Россман. Если я не ошибаюсь, он представляет для вас кое-какой интерес; к сожалению, он не оценил вашей доброты и без разрешения оставил свой пост, тем самым причинив мне большие и, по-видимому, весьма серьезные неприятности, вот почему я его только что уволил. Надеюсь, вы не воспримете это трагически. Что-что? Уволил, да, уволил. Но я ведь сказал вам, он оставил свой пост. Нет, дорогая старшая кухарка, тут я действительно не могу пойти вам навстречу. Речь идет о моем авторитете, на карту поставлено слишком много, один такой юнец может взбаламутить всю эту шайку. Именно с лифтерами нужно быть особенно начеку. Нет, нет, в этом случае я не могу сделать вам такого одолжения, как бы мне этого ни хотелось. Даже если я, несмотря ни на что, оставляю его здесь, так сказать, для того чтобы упражнять собственную желчность, из-за вас, да, да, из-за вас, госпожа старшая кухарка, ему здесь оставаться нельзя. Вы принимаете в нем участие, которого он вовсе не заслуживает, и так как я знаю не только его, но и вас, то мне понятно, что это приведет только к величайшим разочарованиям, от которых я любой ценой хочу вас избавить. Я говорю совершенно откровенно, хотя этот черствый юнец стоит в нескольких шагах от меня. Он будет уволен, нет, нет, госпожа старшая кухарка, он будет уволен вчистую, нет, нет, его не переведут ни на какую другую работу, он ни на что не годен. Кстати, на него вообще много жалоб. Старший портье, например, находящийся здесь Федор, да, Федор, жалуется на невежливость и дерзость этого мальчишки. Как? Неужели этого недостаточно? Ну, дорогая старшая кухарка, ради этого мальчишки вы изменяете своим принципам. Нет, вы не вправе так на меня наседать.

В этот миг портье нагнул к уху старшего администратора и что-то прошептал. Тот сначала посмот-

рел на него удивленно, а затем заговорил в телефонную трубку так быстро, что Карл поначалу не совсем его понимал и на цыпочках подошел на два шага ближе.

— Дорогая госпожа старшая кухарка, откровенно говоря, не ожидал, что вы так плохо разбираетесь в людях. Я только что узнал о вашем ангелочке нечто такое, что основательно изменит ваше мнение о нем, и мне почти жаль, что именно я вынужден сообщить вам это. Так вот, этот замечательный мальчуган, которого вы называете образцом добродетели, не пропускает ни одной свободной от службы ночи, чтобы не удрать в город, откуда он возвращается только под утро. Да, да, госпожа старшая кухарка, это подтверждают свидетели, безупречные свидетели, да. Может быть, теперь вы мне скажете, откуда у него деньги для подобных увеселений? И откуда ему взять внимание для работы? Может быть, вам угодно, чтобы я еще и рассказал, что он вытворяет в городе? Я хочу избавиться от этого малого, и поскорее. А для вас пусть это будет предупреждением — нужно быть поосторожнее с молодцами без роду без племени.

— Но, господин старший администратор,— воскликнул Карл прямо-таки с облегчением, ведь здесь, оказывается, вкралась крупная ошибка, и если ее исправить, то, вероятно, нет, скорее всего, дело пойдет на поправку,— тут, несомненно, случилось недоразумение. Помому, господин старший портье сказал вам, что я каждую ночь ухожу из отеля. Но это неправда, наоборот, каждую ночь я нахожусь в общей спальне, это могут подтвердить все лифтеры. Когда не сплю, я изучаю курс коммерческой корреспонденции, по спальни я не покидал ни на одну ночь. Это легко проверить. Господин старший портье, очевидно, с кем-то меня спутал, и теперь я также понимаю, почему он решил, что я ему не кланяюсь.

— Замолчи сейчас же! — выкрикнул старший портье и взмахнул кулаком, хотя другой в этой ситуации просто погрозил бы пальцем.— Очень мне нужно путать тебя с кем-то! Какой же я старший портье, если путаю людей! Вы только послушайте, господин Исбери: какой же я старший портье, если путаю людей! За тридцать лет службы у меня ни разу не случалось путаницы, это подтвердит сотня старших администраторов, которые сменились за это время в гостинице, а тебя, паршивец,

я, видите ли, начал с кем-то путать! Тебя, с твоей приметной льстивой физиономией. Какая уж тут путаница! Можешь хоть каждую ночь удирать в город за моей спиной, я по твоему лицу вижу: ты — прожженный мошенник.

— Довольно, Федор! — сказал старший администратор, тем временем, похоже, оборвавший разговор со старшей кухаркой.— Дело ведь совершенно ясное. Ночные развлечения — это далеко не самое главное. Ему, может, и хочется, чтобы перед увольнением провели серьезное расследование его ночных делишек. Могу себе представить, что это пришлось бы ему по вкусу. Ведь все сорок лифтеров будут вызваны сюда, наверх, и допрошены в качестве свидетелей, они, конечно, тоже спутают его с кем-то; таким образом, постепенно в качестве свидетелей придется вызывать весь личный состав служащих; работа отеля, естественно, прекратится на неопределенное время, в конце концов его все-таки вышвырнут, но шутку свою он тем не менее разыграет. Стало быть, мы этого делать не станем. Старшую кухарку, эту добрую женщину, он уже одурачил, и этого вполне достаточно. Я не хочу больше ничего слушать; итак, с этой минуты ты уволен за прогул. Вот тебе ордер в кассу, получишь заработок по сегодняшний день. Кстати, между нами говоря, при твоём поведении это просто подарок, который я делаю тебе только ради старшей кухарки.

Телефонный звонок помешал старшему администратору подписать ордер.

— Покоя нет сегодня от этих лифтеров! — крикнул он в трубку после первых же слов.— Это неслыханно! — опять крикнул он немного погодя. И, отвернувшись от телефона, сказал портье: — Пожалуйста, Федор, придержи немного этого малого, мы еще с ним поговорим.— И отдал приказ в телефонную трубку: — Сейчас же поднимись сюда!

Теперь старший портье мог по крайней мере отвести душу, раз уж был не силен в речах. Он схватил Карла за плечо, но не спокойной хваткой, которую в конце концов можно было бы вытерпеть, нет, временами он ослаблял ее, чтобы затем стиснуть покрепче, что при огромной силе его мускулов длилось без конца, у Карла просто в глазах чернело. Он не только держал Карла, но, будто получив одновременно приказ вытянуть его подлиннее, время от времени поднимал в воздух и тряс, при-

чем снова и снова, полувопросительно говорил старшему администратору:

— Уж теперь-то я его не спутаю, уж теперь-то я его не спутаю.

Выручило Карла появление старшего лифтера, некоего Бесса, ворчливого толстого парня, который отвлек внимание портье. Карл до того измучился, что едва сумел сказать «Здравствуй», когда, к своему удивлению, увидел, что за парнем в дверь проскользнула Тереза, мертвенно-бледная, одетая кое-как, с небрежно заколотыми волосами. В тот же миг она была уже возле него и прошептала:

— Знает ли об этом госпожа старшая кухарка?

— Старший администратор звонил ей по телефону,— ответил Карл.

— Это хорошо, это уже хорошо,— быстро сказала она, и взгляд ее повеселел.

— Нет,— сказал Карл.— Ты ведь не знаешь, в чем меня обвиняют. Я должен уйти, госпожу старшую кухарку уже убедили. Пожалуйста, не оставайся здесь, ступай наверх, я потом зайду попрощаться.

— Но, Россман, что это ты надумал, ты прекрасно останешься с нами до тех пор, пока захочешь. Старший администратор сделает все, чего захочет старшая кухарка, он ведь ее любит, я на днях узнала об этом. Так что не беспокойся.

— Пожалуйста, Тереза, уйди. При тебе мне трудно будет защищаться. А я должен защищаться, так как меня оболгали. И чем внимательней я стану защищаться, тем больше надежды на то, что я останусь. Поэтому, Тереза...— во внезапном приступе отчаяния он не выдержал и шепотом добавил:— Только бы старший портье меня отпустил! Я даже не подозревал, что он — мой враг. Вон как вцепился — и давит, давит.

«Зачем я это говорю! — подумал он сию же минуту.— Женщины не могут спокойно слышать такое». И действительно, не успел он свободной рукой удержать девушку, как она уже бросилась к старшему портье:

— Господин старший портье, пожалуйста, немедленно отпустите Россмана. Вы причиняете ему боль. Госпожа старшая кухарка сейчас придет сюда, и тогда сразу станет ясно, что с ним обходятся несправедливо. Отпустите его, что вам за удовольствие его мучить! — И она даже схватила старшего портье за руку.

— Приказ, девочка, приказ,— сказал старший портье и свободной рукой ласково привлек девушку к себе, другую же еще сильнее стиснул плечо Карла, словно не только хотел причинить ему боль, а преследовал какую-то особую цель, которая еще далеко не достигнута.

Терезе потребовалось некоторое время, чтобы выскользнуть из объятий старшего портье, и она собралась уже обратиться к старшему администратору, все еще выслушивавшему обстоятельный рассказ Бесса, как быстрыми шагами вошла старшая кухарка.

— Слава Богу! — воскликнула Тереза, и эти громкие слова на миг заполонили комнату. Старший администратор тотчас вскочил и отстранил Бесса.

— Значит, вы все-таки пришли сами, госпожа старшая кухарка? Из-за этого пустяка? После нашего телефонного разговора я, конечно, мог это предположить, но по-настоящему никак не верил. К тому же перечень проступков вашего протеже продолжает расти. Боюсь, придется не просто уволить его, но посадить в тюрьму. Послушайте сами.— И он поздравил Бесса.

— Сначала я хочу поговорить с Россманом,— сказала старшая кухарка и уселась в кресло, предложенное старшим администратором.

— Пожалуйста, Карл, подойди поближе,— сказала она затем.

Карл шагнул к ней, вернее, портье подтащил его.

— Отпустите же его,— сердито сказала старшая кухарка,— он ведь не разбойник.

Портье наконец-то отпустил Карла, но напоследок так сдавил ему плечо, что у самого от усилия слезы выступили на глазах.

Старшая кухарка спокойно сложила руки на коленях и, склонив голову, взглянула на Карла; это было вовсе не похоже на допрос.

— Прежде всего, Карл, я хочу сказать тебе, что до сих пор вполне тебе доверяю. И господин старший администратор — человек справедливый, за это я ручаюсь. В сущности, мы оба с удовольствием оставим тебя здесь,— при этом старшая кухарка мельком взглянула на старшего администратора, как бы выражая просьбу не перебивать ее. Он и не думал перебивать.— Поэтому забудь все, что тебе здесь говорили. И прежде всего не принимай близко к сердцу слова господина старшего портье. Он человек вспыльчивый, что при его должности вовсе не удивительно, но у него есть жена и дети, и

он знает, что нельзя без нужды мучить молодого человека, которому не на кого опереться в жизни, ему и без того порядком достается от окружающих.

В комнате было совершенно тихо. Старший портье вопросительно смотрел на старшего администратора, а тот глядел на старшую кухарку и покачивал головой. Лифтер Бесс тупо ухмылялся за спиной начальства. Тереза украдкой всхлипывала от радости и печали, изо всех сил стараясь, чтобы никто этого не услышал.

Карл, однако, смотрел, хотя это можно было истолковать только как плохой знак, не на старшую кухарку, конечно же ожидающую его взгляда, а перед собой, в пол. Рука его пульсировала болью, рубашка липла к синякам, ужасно хотелось снять куртку и взглянуть, в чем там, собственно, дело. Старшая кухарка, конечно, говорила очень дружелюбно, однако, на беду, ему казалось, что именно из-за этого и обнаруживается, что он недостоин ее дружелюбия, что два месяца незаслуженно пользовался ее благосклонностью и, более того, вполне заслужил угодить в лапы старшего портье.

— Я говорю это,— продолжала старшая кухарка,— чтобы ты ответил абсолютно правдиво, что, впрочем, ты и без того сделал бы, насколько я тебя знаю.

— Простите, быть может, мне тем временем привести врача, иначе человек может истечь кровью,— неожиданно вмешался лифтер Бесс очень вежливо, но очень не вовремя.

— Ступай,— приказал старший администратор, и тот сейчас же убежал. Затем он обратился к старшей кухарке:— Дело обстоит таким образом. Старший портье задержал парня не ради шутки. Внизу, в общей спальне лифтеров, а именно в кровати, обнаружили старательно укрытого одеялом совершенно чужого, абсолютно пьяного человека. Естественно, его разбудили и хотели выдворить. Но этот человек устроил там большой скандал, крича, что спальня зал принадлежит Карлу Россману, гостем которого он является, что Россман его привел и накажет любого, кто осмелится его тронуть. И вообще, он должен дожидаться Карла Россмана еще и потому, что тот сулил ему денег и как раз пошел за ними. Обратите внимание, госпожа старшая кухарка: посулил денег и пошел за ними. Ты тоже смотри в оба, Россман,— сказал старший администратор как бы между прочим Карлу, только что обернувшемуся к Терезе, которая, оцепенев, уставилась на стар-

шего администратора и поминутно то ли отводила со лба волосы, то ли успокаивала себя этим жестом.— Пожалуй, стоит напомнить тебе о кое-каких обязательствах. Человек внизу, между прочим, сказал, что после твоего возвращения вы оба нанесете ночной визит некой певице, имени которой, увы, никто не разобрал, потому что этот человек произносил его все время только вперемежку с пением.

Здесь старший администратор прервал свою речь, потому что явственно побледневшая старшая кухарка поднялась с кресла, немного отодвинув его назад.

— Я избавлю вас от дальнейших подробностей,— сказал старший администратор.

— Нет, нет,— сказала она и схватила его за руку,— продолжайте, я хочу услышать все, для этого я и здесь.

Старшего портье, который выступил вперед и громко стукнул себя в грудь в знак того, что он предвидел все с самого начала, старший администратор утихомирил и осадил, сказав ему:

— Да, вы были совершенно правы, Федор!.. Осталось рассказать совсем немного,— продолжал он.— Как водится, лифтеры сначала высмеяли этого человека, затем повздорили с ним и, так как среди них всегда найдутся хорошие боксеры, здорово его поколотили; и я даже не рискнул спросить, как много кровавых ссадин и в каких именно местах он получил, потому что эти ребята—ужасные драчуны и справиться с пьяницей для них совершеннейший пустяк.

— Так,— сказала старшая кухарка, взявшись за спинку кресла и уставившись на только что оставленное ею сиденье.— Ну говори же, Россман, скажи, пожалуйста, хотя бы слово!

Тереза перебежала со своего места к старшей кухарке и взяла ее под руку, чего, как помнилось Карлу, прежде никогда не делала. Старший администратор стоял почти вплотную за спиной старшей кухарки и медленно разглаживал ее скромный кружевной воротничок, который слегка замялся. Старший портье рядом с Карлом повторил: «Ну, так как?»—но сделал это только лишь затем, чтобы замаскировать тычок в спину Карла.

— Это правда,— сказал Карл неувереннее, чем собирался, из-за тычка портье,—я привел этого человека в спальню лифтеров.

— Больше мы не хотим ничего знать,— произнес портье от имени всех.

Старшая кухарка безмолвно повернулась к старшему администратору, потом к Терезе.

— У меня не было выхода,— продолжил Карл.— Когда-то этот человек был моим товарищем; мы не виделись два месяца, и он пришел встретиться со мной, но был так пьян, что оказался не в силах уйти один.

Старший администратор вполголоса сказал стоявшей рядом старшей кухарке:

— Итак, он пришел в гости и после этого оказался так пьян, что не смог уйти.

Старшая кухарка через плечо прошептала ему что-то, а он с улыбкой, явно не относящейся к этому делу, как будто бы возражал ей. Тереза — Карл наблюдал только за ней — в полнейшем отчаянии уткнулась лицом в старшую кухарку и больше ничего не хотела видеть. Единственный, кто совершенно удовлетворился объяснением Карла, был старший портье, повторивший несколько раз: «Совершенно верно, собутыльнику нужно помогать» — и постаравшийся взглядами и жестами закрепить это пояснение в памяти каждого из присутствующих.

— Значит, я виноват,— сказал Карл и сделал паузу, словно ожидая от своих судей доброго слова, которое могло бы ободрить его для дальнейшей защиты, но этого не последовало.— Но виноват я только в том, что привел этого человека в спальню, он ирландец, по фамилии Робинсон. Что же до всего остального, им сказанного,— это пьяная болтовня и вранье.

— Значит, ты не обещал ему денег? — спросил старший администратор.

— Да,— сказал Карл и пожалел, что забыл об этом, но рассеянности или недомыслию он оправдывался в слишком уж категоричных выражениях.— Я обещал ему деньги, ведь он попросил у меня в долг. Но я не собирался ходить за ними, я хотел отдать ему чаевые, которые заработал нынче ночью.— И в доказательство он вытащил из кармана и показал на ладони несколько мелких монет.

— Ты все больше запутываешься,— сказал старший администратор.— Если верить тебе, то все сказанное тобою нужно каждый раз забывать. Значит, первым делом ты привел этого человека — я не верю даже, что его зовут Робинсон; у ирландцев просто-напросто нет таких фамилий — значит, ты привел его в общую спальню; между прочим, одного этого достаточно, чтобы вылететь с

работы; денег ты ему сперва якобы не обещал, затем, когда вопрос застал тебя врасплох, ты сознался, что обещал ему деньги. Но мы тут не в вопросы-ответы играем. Мы хотим услышать твои оправдания. Итак, сначала ты якобы не собирался ходить за деньгами, а хотел отдать ему сегодняшние чаевые, потом оказывается, что эти деньги еще при тебе,— следовательно, ты все-таки собирался принести какие-то другие деньги, об этом свидетельствует и твое долгое отсутствие. В конце концов, что особенного, если ты собирался принести ему деньги из своего чемодана? Но ведь ты изо всех сил отрицаешь это и тем уже вызываешь серьезные подозрения, вдобавок ты упорно умалчиваешь, что напоил этого человека здесь, в отеле, а это не подлежит сомнению, поскольку ты сам признался, что он пришел один, но уйти один не смог, да и в спальне этот тип кричал, что он — твой гость. Значит, остается выяснить только два обстоятельства, которые ты, если хочешь упростить дело, объяснишь сам, но в конце концов ясность можно внести и без твоей помощи: во-первых, каким образом ты обеспечил себе доступ в кладовые, и, во-вторых, как это ты скопил чаевые?

«Невозможно защититься, если тебя во всем подозревают»,— подумал Карл и ничего не ответил старшему администратору, чем, вероятно, очень огорчил Терезу. Он знал: все, что он мог сказать, тотчас получило бы превратное истолкование и судьба его в руках толкователя: захочет — казнит, захочет — помилует.

— Он не отвечает,— заметила старшая кухарка.

— Это — самое разумное, что он может сделать,— сказал старший администратор.

— Опять небось что-то придумывает,— сказал старший портье и давешней жестокой рукою бережно разгладил свою бороду.

— Молчи,— сказала старшая кухарка расплакавшейся Терезе,— видишь, он не отвечает; что же я могу в таком случае для него сделать? В конце концов я оказываюсь совершенно права в глазах господина старшего администратора. Тереза, скажи мне, может, я не все для него сделала?

Откуда Терезе было это знать и какой прок в том, что старшая кухарка, обращаясь к молоденькой девушке публично, при этих двух господах, с таким вопросом и мольбою, наверное, поступалась очень многим?

— Госпожа старшая кухарка,— сказал Карл, еще

раз собравшись с силами, но лишь для того, чтобы избавить Терезу от ответа, иного намерения у него не было,—я не думаю, что опозорил вас чем-либо и после тщательного расследования каждый наверняка это подтвердит.

— Каждый,—повторил старший портье, указывая пальцем на старшего администратора,—это выпад против вас, господин Исбери.

— Ну что же, госпожа старшая кухарка,—сказал тот,—сейчас половина седьмого, давно пора. Думаю, вы позволите мне закончить это дело, к которому мы и без того подошли чересчур снисходительно.

Вошел маленький Джакомо, шагнул было к Карлу, но, испугавшись общего напряженного молчания, остановился в ожидании.

Старшая кухарка неотрывно смотрела на Карла, и ничто не говорило о том, что она слышала реплику старшего администратора. Глаза ее смотрели только на Карла — большие, голубые, чуть потускневшие с возрастом и от многих переживаний. Она стояла, покачивая перед собой кресло, и вполне можно было ожидать, что в следующий миг она скажет: «Что ж, Карл, как я понимаю, дело покуда не разъяснилось и, как ты справедливо заметил, нуждается в скрупулезном расследовании. Егото мы сейчас и устроим, независимо от того, хотят этого некоторые или нет, потому что справедливость должна восторжествовать».

Но вместо этого старшая кухарка сказала после небольшой паузы, которую никто не рискнул прервать — только часы, подтверждая слова старшего администратора, пробили половину седьмого, а с ними, как всем было известно, начали бить все часы в гостинице, и звучало это как дрожь огромного нетерпения,—кухарка сказала:

— Нет, Карл, нет, нет! Мы этому не верим. Справедливое дело и выглядит таковым, а твое, должна сознаться, выглядит иначе. Я могу и даже обязана это сказать; я должна это признать, потому что пришла сюда с полным к тебе расположением. Ты видишь, даже Тереза молчит.

(Но она вовсе не молчала — она плакала.)

Старшая кухарка запнулась, словно неожиданно приняла решение и продолжила:

— Подойди-ка сюда, Карл.— И как только он к ней подошел, старший администратор и портье тотчас всту-

пили за его спиной в оживленный разговор; она обняла Карла левой рукой и вместе с ним и безвольной Терезой направилась в глубину комнаты, прошла там с обоими несколько раз взад-вперед, говоря: — Возможно, Карл, и, похоже, ты как раз на это и уповаешь — в противном случае я вообще тебя не пойму, — что расследование признает твою правоту в отдельных деталях. Почему бы нет? Наверно, ты в самом деле кланялся старшему портье. Я даже уверена в этом совершенно, я ведь знаю, что он за человек; как видишь, я даже теперь вполне с тобой откровенна. Но подобные крошечные оправдания ничем тебе не помогут. Старший администратор — а за много лет я научилась ценить то, как он разбирается в людях, — самый надежный человек из всех, кого я знаю, так вот, он однозначно считает тебя виновным, и мне твоя вина кажется неопровержимой. Может быть, ты действовал всего лишь необдуманно, а может быть, ты не тот, за кого я тебя принимала. Но все же, — тут она как бы оборвала сама себя и мельком оглянулась на обоих мужчин, — я не могу отказаться от мысли, что в глубине души ты мальчик вполне порядочный.

— Госпожа старшая кухарка! Госпожа старшая кухарка! — воскликнул старший администратор, перехватив ее взгляд.

— Мы сейчас закончим, — отозвалась она и заговорила еще быстрее: — Слушай, Карл, обдумав твое дело, я еще рада, что старший администратор не затевает расследования; и если он решит его начать, я обязана помешать этому в твоих же интересах. Никому не нужно знать, как и чем ты угощал этого человека, который, кстати, не может быть одним из прежних бывших товарищей, как ты утверждаешь, ведь под конец у тебя произошла с ними крупная ссора, и ты вряд ли станешь кого-то из них угощать. Следовательно, это может быть только знакомый, с которым ты легкомысленно подружился в каком-нибудь городском кабаке. Как ты только мог, Карл, скрывать от меня такие вещи? Если тебе было невмоготу в общей спальне и ты по этой безобидной причине пустился в свои ночные похождения, почему ты не сказал мне ни слова, ты же знал, я хотела раздобыть тебе отдельную комнатку и отказалась от этого только по твоему настоянию. Теперь выходит, что ты предпочел общую спальню, поскольку там чувствовал себя посвободнее. И деньги твои хранились в моем

сейфе, и чаевые ты приносил мне каждую неделю; где, скажи на милость, мальчик, ты добывал средства для своих ночных развлечений и откуда хотел принести деньги своему дружку? Это, естественно, важные обстоятельства, на которые я, по крайней мере сейчас, не могу даже намекать старшему администратору, потому что тогда, вероятно, расследование станет неизбежным. Таким образом, ты, безусловно, должен покинуть отель, и чем быстрее, тем лучше. Иди прямо в пансион Бреннера — ты ведь не раз уже бывал там с Терезой, — по этой рекомендации тебя сразу там примут. — И, вытащив из кармашка блузы золотой карандашик, она написала несколько строк на визитной карточке, не прерывая, впрочем, своей речи: — Твой чемодан я отправлю следом. Тереза, беги в гардероб лифтеров и собери его чемодан! (Но Тереза не двинулась с места, после всех этих мучений она хотела теперь до конца пережить тот поворот к лучшему, который приняло дело благодаря вмешательству старшей кухарки.)

Кто-то приоткрыл, не показываясь, дверь и тотчас закрыл ее. Это, должно быть, имело отношение к Джакко, так как он выступил вперед и сказал:

— Россман, я должен кое-что тебе передать.

— Сейчас, — прервала его старшая кухарка и сунула визитную карточку в карман Карлу, который слушал ее склонив голову. — Твои деньги пока останутся у меня, ты знаешь, что можешь мне доверять. Сегодня побудь в пансионе и обдумай свое дело; завтра — нынче у меня нет времени, я здесь и так уже слишком задержалась, — я приду к Бреннеру, и мы посмотрим, что можно для тебя сделать. Я тебя не брошу, так и знай. Думать тебе надо не о будущем, а, скорее, о недавнем прошлом. — Засим она легонько хлопнула его по плечу и направилась к старшему администратору. Карл поднял голову и проводил взглядом эту крупную, статную женщину, которая спокойно и уверенно уходила от него.

— Неужели ты не рад, — сказала Тереза, оставшаяся с ним рядом, — что все так хорошо устроилось?

— О, да, — Карл улыбнулся ей, совершенно не понимая, отчего он должен радоваться, что его гонят прочь как вора.

Глаза Терезы сияли невинной радостью, будто ей совершенно безразлично, провинился Карл в чем-нибудь или нет, справедливо ли с ним обошлись или нет, если все-таки отпускают его — с честью или с позором. И так

ведет себя именно Тереза, которая в своих собственных делах так щепетильна и неделями обдумывает и взвешивает какое-нибудь не вполне однозначное слово старшей кухарки. И Карл нарочно спросил:

— Ты сейчас соберешь и отправишь мой чемодан? — Против своей воли он от изумления покачал головой — так быстро она разобралась в подтексте вопроса, и догадка, что в чемодане есть вещи, которые нужно хранить в тайне от других, не позволила ей ни взглянуть на Карла, ни протянуть ему руки, она только прошептала:

— Конечно, Карл, сейчас; я сейчас же соберу чемодан. — И она убежала.

Джакомо больше дожидаться не стал, он и так уже истомился и громко крикнул:

— Россман, тот человек свалился вниз в коридоре и не дает себя увести. Его хотели отправить в больницу, но он упирается и твердит, будто ты никогда не допустишь, чтобы он попал в больницу. Нужно, мол, взять такси и отвезти его домой за твой счет. Согласен?

— Человек доверяет тебе, — сказал старший администратор.

Карл пожал плечами и положил в ладонь Джакомо деньги.

— Больше у меня нет, — сказал он.

— Велено еще узнать, не поедешь ли ты с ним, — сказал Джакомо, бренча монетами.

— Он не поедет, — ответила старшая кухарка.

— Итак, Россман, — быстро, не дожидаясь, пока уйдет Джакомо, сказал старший администратор, — ты уволен.

Старший портье кивнул несколько раз подряд, точно старший администратор только повторил его собственные слова.

— Причины твоего увольнения я оглашать не хочу, потому что в противном случае должен был бы засадить тебя в тюрьму.

Старший портье донельзя строго взглянул на старшую кухарку, видимо уразумев, что из-за нее-то приговор и оказался слишком мягким.

— А сейчас ступай к Бессу, переоденься, сдай форму и сию же минуту — вон из гостиницы.

Старшая кухарка закрыла глаза, тем самым она хотела успокоить Карла. Отвешивая прощальный поклон, он мельком увидел, как старший администратор

словно бы украдкой взял руку старшей кухарки и погладил ее. Старший портье, грузно топая, проводил Карла к двери, закрыть которую ему не позволил, а даже еще и подержал отворенной, чтобы крикнуть вслед:

— Живо! Через пятнадцать секунд ты должен пройти мимо меня у главного выхода! Хорошенько запомни!

Карл изо всех сил торопился, чтобы избежать придинок портье, но дело шло гораздо медленнее, чем он хотел. Сначала он не мог найти Бесса; к тому же сейчас, во время завтрака, кругом было полно людей; затем выяснилось, что кто-то из лифтеров позаимствовал старые брюки Карла, и пришлось обыскивать почти все вешалки, пока они нашлись, так что, вероятно, прошло минут пять, прежде чем Карл появился у главного входа. Как раз перед ним шла дама в сопровождении четырех господ. Все они направлялись к большому автомобилю, который ожидал их и дверцу которого швейцар уже распахнул, напряженно вытянув в сторону свободную левую руку, что выглядело весьма торжественно. Но напрасно Карл надеялся выйти незамеченным, спрятавшись за этой благородной компанией. Старший портье тут же схватил его за руку и, попросив у господ извинения, втащил к себе.

— Это называется пятнадцать секунд,— сказал он и поглядел на Карла сбоку, как рассматривают плохо идущие часы.— Пойдем-ка,— сказал он затем и повел его в швейцарскую, которую Карлу давно хотелось увидеть, но теперь, подталкиваемый своим недругом, он зашел туда с недоверием, и только. Они были уже в дверях, когда Карл повернулся и, оттолкнув портье, попытался уйти.

— Нет, нет, сюда,— сказал старший портье и втащил Карла внутрь.

— Я ведь уже уволен,— заметил Карл, намекая, что никто в гостинице не может ему приказывать.

— Пока я тебя держу, ты еще не свободен,— сказал портье, что, разумеется, тоже было верно.

В конце концов Карл тоже решил, что упираться не зачем. Ну что, в сущности, может с ним случиться. Вдобавок стены швейцарской были сплошь стеклянные, сквозь них превосходно был виден вестибюль с его колдовращением людских потоков. Во всей швейцарской, казалось, не было уголка, где можно спрятаться от людских глаз. Люди там, в вестибюле, судя по всему, ужасно спешили, прокладывая себе путь растопыренными

локтями и высоко поднятыми чемоданами, наклонив головы, глядя исподлобья по сторонам, но чуть ли не каждый успевал бросить взгляд в швейцарскую, за стеклянными перегородками которой всегда вывешивались объявления и сообщения, важные как для постояльцев, так и для персонала. Кроме того, швейцарская сообщалась с вестибюлем еще и непосредственно, так как за двумя большими раздвижными окнами сидели двое младших портье и непрерывно давали справки по самым различным вопросам. Оба они были совершенно затурканные, и, зная старшего портье, Карл готов был поспорить, что он в своей карьере вильнул мимо таких должностей. У этих двух информаторов — просто невозможно себе и представить! — перед открытыми окошками всегда толклось по меньшей мере с десяток желающих получить справку. В этой толпе, состав которой все время менялся, обычным делом была языковая неразбериха, будто постояльцы все, как один, прибыли из разных стран. И вопросы задавали все сразу, да еще и между собой разговаривали. Большинство хотели что-то забрать из швейцарской или оставить там, поэтому над толпой то и дело взлетали нетерпеливо размахивающие руки. Вот кому-то потребовалась газета, которая на лету ненароком развернулась и на мгновение накрыла лица просителей. И весь этот напор двум младшим портье приходилось выдерживать. Обычный темп речи для их работы не годился, они тараторили, в особенности один — угрюмый человек с лицом, основательно обросшим бородой, — он давал справки не закрывая рта. Он не смотрел ни на стол, откуда беспрестанно что-то брал, ни на просителя, он оцепенело таранился в пространство, очевидно, чтобы не растрачивать зря свои силы. Кстати, борода, похоже, отрицательно влияла на отчетливость его речи, и Карл, на секунду задержавшись рядом, толком не понял его слов, хотя, вероятно, он говорил на чужих языках, просто с английским акцентом. Вдобавок смущало то, что пауз между справками фактически не было, они сливались, так что нередко иной проситель продолжал слушать с напряженным выражением лица, полагая, что речь идет еще о его деле, и только через секунду соображал, что ему уже все сказали. Нужно было также привыкнуть, что младший портье не просил повторить вопрос, даже когда общий смысл был понятен, только формулировка была слегка нечеткая, — едва заметным покачиванием головы он давал по-

нять, что не намерен отвечать на этот вопрос, представляя просителю признать собственную ошибку и сформулировать вопрос получше. Из-за этого некоторые проводили перед окошком очень много времени. В помощь каждому из младших портье был выделен мальчишка-рассыльный, который метался по швейцарской, доставая с полок и из ящиков все, что требовалось шефу. Это была наиболее высокооплачиваемая, хотя и наиболее утомительная должность, предусмотренная в гостинице для мальчишек; в некотором смысле им приходилось еще труднее, чем младшим портье, — те только думали и работали языком, тогда как рассыльные должны были одновременно и бегать, и соображать. Если они приносили не то, что нужно, младшему портье, естественно, недосуг было читать им мораль. Он просто сбрасывал эту вещь со стола на пол. Очень любопытно происходила смена младших портье, которая имела место как раз вскоре после появления Карла в швейцарской. Подобные смены, конечно, должны были происходить часто, во всяком случае днем, потому что вряд ли нашелся бы хоть один человек, способный выдержать у окошка справочной больше часа. В урочное время раздавался звонок, и одновременно в боковую дверь входили два новых младших портье, за каждым следовал мальчик-рассыльный. Сначала они праздно становились у окошка и с минуту разглядывали людей в вестибюле, чтобы установить, на каком этапе находится сейчас процесс ответов. Если момент казался им подходящим, чтобы вмешаться, они похлопывали сменяемого коллегу по плечу, а тот, хотя до сих пор совершенно не обращал внимания на происходящее за спиной, мгновенно понимал, что к чему, и освобождал свое место. Происходило это так быстро, что частенько заставляло людей у окошка врасплох, и они буквально ошатаивались от внезапно возникшего перед глазами нового лица. Сменившиеся младшие портье потягивались и поливали свои разгоряченные головы водой над двумя стоящими наготове умывальниками. Сменившимся рассыльным было куда не время расслабляться: они подбирали с полу сброшенные со стола вещи и укладывали их на места.

Все это Карл усвоил за считанные секунды напряженнейшего внимания и с легкой головной болью молча проследовал за старшим портье, который повел его дальше. Очевидно, даже старший портье заметил, какое большое впечатление произвел на Карла этот способ

выдачи справок, потому что он вдруг дернул Карла за руку и сказал:

— Вот видишь, как здесь работают.

Конечно же здесь, в гостинице, Карл не лентяйничал, но о такой работе он и понятия не имел и, почти совсем забыв, что старший портье его недруг, посмотрел на него и молча, с уважением кивнул. Но старший портье опять-таки воспринял это как переоценку младшего портье и неучтивость к собственной своей персоне, потому что, как бы в насмешку над Карлом, крикнул, не заботясь о том, что его могут услышать:

— Само собой, это самая глупая работа во всем отеле; послушав один час, выучишь почти все вопросы, которые задают, а на остальные и отвечать незачем. Если б не твоя наглость и невоспитанность, если б ты не лгал, не мошенничал, не пьянствовал и не воровал, я, может, и пристроил бы тебя к такому окошку, ведь здесь дуракам самое место.

Выпад по своему адресу Карл пропустил мимо ушей, настолько его возмутило, что трудная и честная работа младших портье вместо похвалы заслужила издевку, и от кого — от человека, который, отважясь он хоть раз подсесть к одному из таких окошек, уже через несколько минут вынужден был бы убраться оттуда под хохот просителей.

— Отпустите меня,— сказал Карл, чье любопытство относительно швейцарской было удовлетворено с избытком,— я не хочу больше иметь с вами ничего общего.

— Этого недостаточно, чтобы уйти,— заявил старший портье, стиснув Карлу плечи так, что он рукой пошевелить не мог, и буквально отнес его в другой конец помещения. Неужто люди в вестибюле не видели этого насилия над Карлом? А если видели, то как они все это расценивали — ведь ни один не остановился, не постучал по стеклу, показывая старшему портье, что за ним наблюдают и что он не вправе тиранить Карла?

А вскоре Карл потерял всякую надежду на помощь из вестибюля, так как старший портье дернул за шнурок и задернувшиеся темные шторы мгновенно скрыли полшвейцарской от посторонних глаз. В этой части помещения тоже находились люди, но они работали, не видя и не слыша ничего, что не было связано с их работой. К тому же они полностью зависели от старшего портье и, вместо помощи Карлу, скорее помогли бы

утаить все, что бы ни натворил их начальник. Например, здесь сидели у шести телефонов шесть младших портье. С первого взгляда было ясно, что, по инструкции, только один принимал звонки, а его сосед передавал по телефону в соответствующие инстанции полученные от первого данные. Телефонные аппараты были новейшего типа, для них не требовалось специальных кабин, так как звонки стрекотали не громче сверчка, а в трубку можно было говорить шепотом, и все равно благодаря специальному электрическому усилителю в ушах абонента слова звучали громко. Поэтому голоса троиц говоривших по телефону были еле-еле слышны, можно было подумать, будто они, бормоча, следят за какими-то процессами в телефонных наушниках, тогда как остальные трое, словно оглушенные неслышным для окружающих шумом, склонились над бумагой, записывая полученные депеши. Рядом с каждым из говорящих по телефону опять-таки стоял мальчик-помощник, он только и делал, что прислушивался к своему шефу и торопливо, как ужаленный, бросался разыскивать телефонные номера в огромных желтых томах — шелест книжных страниц перекрывал зуммер телефонов.

Карл конечно же удержался и во все глаза следил за этим, хотя старший портье, усевшись, держал его перед собой точно в клещах.

— Мой долг,— сказал старший портье и встряхнул Карла, как бы желая добиться, чтобы тот обратил к нему лицо,— от имени дирекции отеля хотя бы немного наверстать то, что бог весть по каким причинам упустил старший администратор. Здесь всегда один подменяет другого. Иначе такое огромное предприятие не могло бы функционировать. Ты, наверное, скажешь, что я не являюсь твоим непосредственным начальством; ну так вот, больше мне зачтется, что я занялся этим брошенным на полдороге делом. Кстати, как старший портье, я в определенном смысле поставлен надо всеми, ибо в моем ведении находятся все входы отеля — главный, три средних и десять боковых, не говоря уж о несчетных дверцах и бездверных проемах. Естественно, весь обслуживающий их персонал обязан подчиняться мне. Ввиду этой большой и почетной миссии, я, конечно, несу перед дирекцией ответственность за то, чтобы не выпускать из отеля даже мало-мальски подозрительных лиц. А ты, поскольку мне так угодно, даже чересчур подозрительный.— И на радостях он воздел руки, а потом снова

уронил их на плечи Карла, так что тот поморщился от боли.— Возможно,— продолжил портье с царственным видом,— ты бы улизнул через другой выход незамеченным, не настолько ты важная персона, чтобы я отдавал насчет тебя специальные распоряжения. Но раз уж ты здесь, я своего не упущу. Впрочем, я не сомневался, что ты явишься на встречу, назначенную мной у главного входа, ведь, как правило, дерзость и непослушание кончаются именно тогда, когда их отсутствие идет на пользу во вред. Ты наверняка еще не раз в этом убедишься.

— Вы не воображайте,— сказал Карл и вдохнул до странности тяжелый запах, исходивший от старшего портье, он ощутил его только здесь, в непосредственной близости от этого человека,— не воображайте, что я всецело в вашей власти, ведь я могу и закричать.

— А я могу заткнуть тебе рот,— сказал старший портье так же быстро и уверенно, как, наверно, и выполнил бы свою угрозу.— И неужели ты действительно думаешь, что если кто и придет на твой крик, то обязательно станет на твою сторону, против меня, старшего портье? Полагаю, ты отдаешь себе отчет в тщетности своих надежд. Знаешь, пока ты был в униформе, ты и вправду выглядел еще мало-мальски представительно, но эта одежонка действительно годится только для Европы!— И он подергал в разных местах костюм, пять месяцев тому назад почти новый, а теперь потрепанный, мятый и весь в пятнах, что объяснялось в основном бесцеремонностью лифтеров, которым предписано было содержать спальню в чистоте, но заниматься уборкой по настоящему им было лень, они только обрызгивали какой-то маслянистой жидкостью пол, а заодно и одежду на вешалках. Можно было хранить одежду где угодно, все равно находился кто-нибудь, задевавший куда-то свои вещи, но с легкостью отыскивавший чужие и бравший их поносить. А уж если этот кто-нибудь еще и должен был убирать в тот день спальню, он не просто обрызгивал одежду маслом, он буквально обливал ее этой мерзостью сверху донизу. Лишь Ренелл прятал свои щегольские наряды в каком-то недоступном месте, откуда их почти никто и не таскал, тем более что чужую одежду заимствовали не назло и не от жадности, а просто в спешке не глядя хватали первое, что попадалось под руку. Но даже на пиджаке Ренелла посредине спины было круглое красноватое масляное пят-

но, и в городе по этому пятну мало-мальски сведущий человек мог легко угадать в элегантном юноше лифтера.

И Карл, вспоминая это, сказал себе, что и лифтером натерпелся достаточно, к тому же совершенно напрасно, так как эта должность не стала, как он надеялся, первой ступенькой на пути вверх, скорее наоборот, он скатился еще ниже, чуть в тюрьму не загремел. А теперь его вдобавок задержал старший портье, вероятно придумывая, как бы посильнее ему досадить. И, совершенно забыв, что старший портье отнюдь не из тех, кого можно переубедить, Карл вскричал, свободной рукой несколько раз хлопнув себя по лбу:

— Если уж я и вправду с вами не здоровался, как может взрослый человек мстить за такую малость!

— Я не мщу,— сказал старший портье,— я только хочу осмотреть твои карманы. Хотя и уверен, что ничего не найду, ведь ты наверняка действовал осторожно, и твой дружок выносил краденое постепенно, каждый день понемногу. Но обыскать тебя нужно.

И он запустил ручищу Карлу в пиджачный карман, да так неуклюже, что боковые швы лопнули.

— Стало быть, здесь ничего нет,— сказал он, перебирая на ладони содержимое кармана; рекламный календарик отеля, листок с заданием по коммерческой корреспонденции, несколько пуговиц от пиджака и брюк, визитная карточка старшей кухарки, пилочка для ногтей, когда-то брошенная ему постояльцем при упаковке чемодана, старенькое карманное зеркальце, подаренное ему Ренеллом в знак благодарности за десяток подмен на дежурстве, и еще несколько мелочей.— Ничего нет,— повторил старший портье и швырнул все под скамью, будто собственность Карла, коль скоро не была краденой, только и заслуживала этой жалкой участи.

«Ну, хватит»,— подумал Карл; его лицо пылало, и, когда старший портье, которого алчность заставила забыть обо всем, полез в другой карман, Карл одним махом высвободился из рукавов; в первом, еще нерассчитанном прыжке довольно сильно толкнул одного из младших портье на телефонный аппарат, побежал через душное помещение,— пожалуй, медленнее, чем намеревался,— к двери и сумел выскочить наружу, прежде чем старший портье в своем тяжелом сюртуке ус-

пел подняться на ноги. Охрана все-таки была организована недостаточно образцово, с разных сторон хоть и слышались звонки, но Бог знает с какой целью! Гостиничные служащие сновали взад-вперед у дверей в таком количестве, что можно было подумать, будто они хотят неприметным способом перекрыть выход, ибо иного смысла в этом мельтешении как-то не угадывалось; тем не менее Карл скоро очутился на улице, но ему предстояло еще пройти по тротуару вдоль гостиницы, потому что перебраться через дорогу было невозможно — мимо главного входа нескончаемым потоком двигались автомобили. Спеша к своим хозяевам, машины чуть не наезжали друг на друга, буквально подталкивали одна другую. Торопливые пешеходы, пересекая улицу, то тут, то там пролезали напрямик через салоны автомобилей, словно так и надо, и им было совершенно безразлично, сидели там шофер, лакей или благороднейшие господа. Но Карлу такое поведение показалось слишком уж бесцеремонным, нужна была изрядная самоуверенность, чтобы осмелиться на это; он легко мог нарваться на автомобиль, пассажиры которого с возмущением вытолкнут его и устроят скандал, ему, сбежавшему, подозрительному гостиничному служащему, без пиджака, это грозило бы полной катастрофой. В конце концов вереница автомобилей не может тянуться вечно, да и он, пока находится рядом с отелем, меньше всего бросается в глаза. И в самом деле, Карл углядел место, где поток машин хотя и не кончался, но сворачивал к автостраде и был не такой плотный. Только он собрался нырнуть в гущу движения, где свободно шныряли люди куда более подозрительного вида, чем он, и вдруг услышал, как где-то рядом его окликнули по имени. Он обернулся и увидел двух хорошо знакомых лифтеров; из маленькой низкой дверцы, похожей на вход в могильный склеп, они с трудом вытаскивали носилки, на которых, как Карл теперь разглядел, и впрямь лежал Робинсон; голова, лицо и руки его были в бинтах. Странно было смотреть, как он подносил руки к глазам, стараясь повязкой утереть слезы, хлынувшие не то от боли или иных страданий, не то от радости свидания с Карлом.

— Россман! — воскликнул он укоризненно. — Почему ты заставил меня так долго ждать! Я уже целый час бьюсь за то, чтобы меня не увозили, пока ты не придешь. Эти парни, — и он дал одному из лифтеров подзатыль-

ник, словно бинтами был защищен от ударов,—сущие дьяволы. Ах, Россман, визит к тебе дорого мне обошелся.

— Что с тобой стряслось? — спросил Карл и подошел к носилкам, которые лифтеры, смеясь, опустили на тротуар, чтобы передохнуть.

— Ты еще спрашиваешь,—вдохнул Робинсон, сам видишь, на кого я похож. Учти, очень может быть, что я на всю жизнь останусь калекой. У меня ужасные боли от сих до сих,—и он показал сначала на голову, а затем на ноги.— Очень бы я хотел, чтоб ты полюбовался, как у меня кровь шла из носу. Жилет совершенно испорчен, я его там и оставил, брюки порваны, я в кальсонах.— Он приподнял одеяло, приглашая Карла взглянуть.— Что теперь будет! Как минимум, несколько месяцев придется лежать в постели, и я скажу тебе сразу, кроме тебя, ухаживать за мной некому; Деламарш слишком нетерпелив. Россман! Россман! — Робинсон потянулся рукой к чуть отпрянувшему Карлу, чтобы разжалобить его.— Зачем я только пошел к тебе! — повторил он несколько раз, напоминая Карлу, что он-то и виноват во всех бедах.

Тут Карл разом понял, что жалобы Робинсона вызваны не ранами, а тем, что пребывал он в глубочайшем похмелье; ведь едва он, вдрызг пьяный, успел заснуть, как был тотчас разбужен и, к своему удивлению, избит до крови, после чего протрезветь был уже не в состоянии. О пустячности ран говорили сами повязки, бесформенные, сделанные кое-как, лифтеры,—очевидно, в шутку — с ног до головы обмотали Робинсона обрывками бинтов. Да и оба «носильщика» время от времени прыскали от смеха. Но здесь было не место приводить Робинсона в чувство, ведь кругом кишели торопливые прохожие, не обращая внимания на группу у носилок, они нередко, словно заправские гимнасты, перепрыгивали через Робинсона, а шофер, нанятый на деньги Карла, кричал:

— Вперед! Вперед!

Лифтеры из последних сил подняли носилки, Робинсон схватил Карла за руку и льстиво сказал:

— Ну, поедем, поедем, а?

В самом деле, не лучше ли Карлу в таком виде укрыться в машине? И он сел рядом с Робинсоном, который тут же положил голову ему на плечо. Лифтеры, как бывшие коллеги, сердечно пожали Карлу руку, и

шофер резко вырулил на дорогу. Казалось, авария неизбежна, но гигантская транспортная река спокойно вошла в себя и прямой как стрела путь этого автомобиля,

Глава седьмая

УБЕЖИЩЕ

Судя по всему, автомобиль остановился на далекой окраинной улице, так как кругом царил тишина, на краю тротуара, сидя на корточках, играли дети. Какой-то человек, перекинув через плечо груды старого платья, что-то призывно кричал и смотрел при этом на окна домов. От усталости Карл чувствовал себя неприкаянно, ступив из автомобиля на асфальт, освещенный теплыми лучами утреннего солнца.

— Ты в самом деле здесь живешь? — крикнул он в машину.

Робинсон, который всю дорогу мирно спал, пробурчал нечто похожее на подтверждение, как будто бы ожидал, что Карл вынесет его наружу на руках.

— Тогда мне здесь больше нечего делать. Будь здоров! — сказал Карл и зашагал было по идущей под углом улице.

— Но, Карл, ты что это надумал? — воскликнул Робинсон и, встревоженный, привстал в кабине, хотя колени у него дрожали.

— Мне нужно идти, — сказал Карл, отметив, как быстро очухался Робинсон.

— Без пиджака? — спросил тот.

— На пиджак я как-нибудь заработаю, — ответил Карл, ободряюще кивнул Робинсону, взмахнул на прощание рукой и в самом деле ушел бы, если бы шофер не крикнул:

— Минутку терпения, сударь!

Вот ведь досадная неприятность: шофер требовал доплат, он ждал у гостиницы, а это тоже стоит денег.

— Ну да, — выкрикнул из автомобиля Робинсон, — мне же пришлось долго ждать тебя. Ты обязан дать ему еще хоть сколько-нибудь.

— Да, да, конечно, — поддакнул шофер.

— Само собой, если б у меня хоть что-то было, —

сказал Карл, шаря по карманам, хотя прекрасно знал, что поиски напрасны.

— Я могу взять деньги только с вас,— заявил шофер и встал напротив, широко расставив ноги,— с большого человека требовать грешно.

От подъезда отделился молодой парень с изъеденным носом и остановился в нескольких шагах, прислушиваясь. Полицейский, совершавший обход участка, заметил человека без пиджака и тоже остановился.

Робинсон, заметив полицейского, по глупости крикнул ему в окошко автомобиля:

— Все в порядке! Все в порядке! — словно полицейского можно было прогнать, как муху. Когда полицейский остановился, следившие за ним тоже обратили внимание на Карла с шофером и рысью подбежали ближе. В подворотне напротив появилась старуха и уставилась в их сторону.

— Россман! — слышалось сверху. Это с балкона последнего этажа кричал Деламарш. Сам он был плохо различим на фоне белесо-голубого неба; кажется, он стоял в домашнем халате и рассматривал улицу в театральный бинокль. Рядом с ним под раскрытым ярким красным зонтиком как будто бы сидела женщина.— Алло! — крикнул Деламарш еще громче, чтобы его слышали.— Робинсон тоже здесь?

«Да» Карла было усилено вторым, куда более громким «да» Робинсона.

— Алло! — крикнул Деламарш.— Я сейчас спущусь! Робинсон высунулся из автомобиля.

— Вот это человек! — похвалил он Деламарша, адресуясь к Карлу, шоферу, полицейскому и ко всем желавшим слушать. Наверху, на балконе, куда по рассеянности еще поглядывали, хотя Деламарш оттуда ушел, из-под зонтика выбралась крупная женщина в мешковатом красном платье, взяла с перил бинокль и посмотрела в него на людей внизу, которые мало-помалу отвели глаза. Карл в ожидании Деламарша смотрел на ворота дома и дальше — во двор, по которому почти непрерывной чередой тянулись грузчики; каждый из них нес на плече небольшой, но явно очень тяжелый ящик. Шофер отошел к своему автомобилю и, чтобы не терять времени зря, протирал тряпкой фары. Робинсон с пристрастием ощупывал свои руки-ноги, видимо сам удивляясь незначительности испытываемой боли, нагнув голову, принял-

ся осторожно разматывать толстую повязку на ноге. Полицейский привычно держал обеими руками свою черную дубинку и спокойно ждал, с неистощимым терпением, каким и должен обладать человек его профессии, несет ли он обычную службу или находится в засаде. Парень с изъеденным носом уселся на тумбу у ворот, вытянув перед собой ноги. Дети потихоньку, маленькими шажками, приблизились к Карлу — в голубой рубашке, без пиджака, он казался им самым важным из всех, хотя и не обращал на них внимания.

По времени, прошедшему до появления Деламарша, можно было оценить порядочную высоту этого дома. А Деламарш спустился очень даже торопливо, кое-как запахнувшись в халат.

— Ну, наконец-то! — вскричал он обрадованно и вместе с тем строго. При каждом его широком шаге на мгновение приоткрывалось цветное нижнее белье. Карл удивился, почему здесь, в городе, в громадном доходном доме Деламарш разгуливает по улице совсем по-домашнему, будто на собственной вилле. Как и Робинсон, Деламарш очень изменился. Его смуглое, чисто выбритое, тщательно умытое лицо грубой лепки выглядело высокомерно и внушительно. Глаза, теперь почти всегда прищуренные, поражали своим ярким блеском. Его фиолетовый халат, правда, был старый, в пятнах и для него великоват, однако на фоне этого неприглядного одеяния красовался солидный темный галстук из плотного шелка.

— Ну? — спросил он всех сразу.

Полицейский подступил поближе и прислонился к капоту автомобиля. Карл коротко пояснил:

— Робинсон несколько утомлен, но, если постарается, лестницу одолеет; шофер же ожидает денег в дополнение к той сумме, которую я уже заплатил за поездку. А теперь я ухожу. До свидания.

— Ты не уйдешь, — сказал Деламарш.

— Я ему то же самое сказал, — отозвался из автомобиля Робинсон.

— И все-таки я ухожу, — отрезал Карл и сделал несколько шагов. Но Деламарш догнал его и силой заставил вернуться.

— Я сказал: ты остаешься! — воскликнул он.

— Да отцепитесь вы от меня, — сказал Карл и приготовился, в случае чего, добиться свободы кулаками, как ни малы были шансы на успех против такого чело-

века, как Деламарш. Но тут находились и полицейский, и шофер; по в целом спокойной улице нет-нет да и проходили группы рабочих — допустят ли эти люди, чтобы Деламарш обошелся с ним несправедливо? Карл не хотел бы остаться с ним один на один в комнате, ну а здесь? Сейчас Деламарш спокойно расплачивался с шофером, который, усиленно кланяясь, быстренько прибрал незаслуженно крупную сумму и из благодарности подошел к Робинсону и заговорил с ним, очевидно, о том, как удобнее выбраться из машины. Карл решил, что остался без присмотра; возможно, Деламарша больше устроит его безмолвное исчезновение; и если уж избегать ссоры, то лучше всего так, и Карл быстро зашагал по мостовой. Дети кинулись к Деламаршу, чтобы обратить его внимание на бегство Карла, но его вмешательство не понадобилось, так как полицейский вскинул дубинку и скомандовал:

— Стой! Как твоя фамилия? — спросил он, сунул дубинку под мышку и медленно вытащил блокнот.

Только теперь Карл рассмотрел его: сильный, крижистый, но почти совсем седой.

— Карл Россман, — сказал он.

— Россман, — повторил полицейский, явно потому только, что был человеком медлительным и обстоятельным. Однако же Карл, по сути впервые столкнувшийся с американскими властями, уже в этом повторении усмотрел известную подозрительность. Да, дела его определенно незавидны, ведь даже Робинсон, у которого своих забот хватало, оживленно жестикулируя, просил Деламарша прийти на выручку Карлу. Но Деламарш энергично мотнул головой: дескать, я вмешиваться не стану — и бесстрастно наблюдал за событиями, спрятав руки в огромных карманах халата. Парень на тумбе у ворот объяснял только что вышедшей со двора женщине обстоятельства происшествия. Дети стояли полукругом позади Карла и молча таранились на полицейского.

— Предъяви документы, — сказал полицейский.

Вопрос был, пожалуй, формальный, ведь, раз ты без пиджака, едва ли у тебя с собой много документов. Поэтому Карл молчал, надеясь, что сможет обстоятельнее ответить на следующий вопрос и таким образом замять дело с отсутствием документов.

Но следующий вопрос был:

— Значит, документов у тебя нет?

— Карл вынужден был ответить:

— При себе — нет.

— Плохо,— сказал полицейский, задумчиво осмотрелся и постучал двумя пальцами по обложке своего блокнота.— Работаете где-нибудь? — спросил он наконец.

— Я был лифтером,— сказал Карл.

— Ты был лифтером, но теперь-то уже нет, чем же ты живешь сейчас?

— Буду искать новую работу.

— Значит, тебя уволили?

— Да, час назад.

— Внезапно?

— Да,— сказал Карл и, как бы извиняясь, поднял руку. Он не мог рассказывать тут всю историю, да если бы это и было возможно, то все равно оказалось бы бесполезно — рассказом о перенесенной несправедливости не предотвратить несправедливость угрожающую. И коль скоро ни доброта старшей кухарки, ни пронизательность старшего администратора не помогли ему отстаивать свои права, то здесь, на улице, вообще нечего ожидать.

— Вот так, без пиджака, тебя и уволили? — спросил полицейский.

— Ну да,— сказал Карл; выходит, и в Америке власти тоже спрашивают о том, что и так очевидно. (Как же злился его отец на нелепые расспросы чиновников, пока хлопотал о заграничном паспорте!) Карлу до смерти хотелось сбежать, спрятаться где-нибудь и не слышать больше этих вопросов. Ведь полицейский задал тот самый вопрос, которого Карл боялся как огня и оттого, вероятно, вел себя неосмотрительнее, чем в нормальных обстоятельствах.

— В какой же гостинице ты служил?

Карл опустил голову и не ответил, на это он не хотел отвечать ни в коем случае. Нельзя допустить, чтобы его вернули в «Оксиденталь», да еще под конвоем полицейского, чтобы там начались допросы, на которые вызовут его друзей и недругов, чтобы старшая кухарка потеряла остатки уважения к Карлу, она-то надеется, что он — в пансионе Бреннера, а увидит его под конвоем полицейского, без пиджака, без ее визитной карточки; старший администратор, тот, наверное, только понимающе кивнет, а старший портье заговорит о деснице Господней, которая настигла-таки мошенника.

— Он служил в отеле «Оксиденталь»,— сказал Деламарш, став рядом с полицейским.

— Нет! — крикнул Карл и даже ногой топнул.— Это неправда!

Деламарш смотрел на него, иронически кривя губы, словно мог и еще кое-что порассказать. Неожиданная вспышка Карла переполошила детей, и они отбежали поближе к Деламаршу, предпочитая смотреть на Карла с безопасного расстояния. Робинсон высунул голову из окошка автомобиля и недвижно замер в напряженном ожидании, только ресницы время от времени вздрагивали. Парень у ворот от удовольствия хлопнул в ладоши, женщина рядом толкнула его локтем, чтобы он угомонился. Грузчики как раз устроили перерыв на завтрак, в руках у каждого появились огромные кружки с черным кофе, в который они обмакивали батоны. Кое-кто уселся прямо на бровку тротуара, все очень громко прихлебывали кофе.

— По-видимому, вы знаете этого молодого человека? — спросил полицейский Деламарша.

— Лучше, чем хотелось бы,— ответил тот.— В свое время я сделал для него много хорошего, а он мне за это отплатил злом, что вам, наверное, понятно даже после столь короткого допроса, который вы ему устроили.

— Да,— сказал полицейский,— ушлый малый.

— Вот именно,— подтвердил Деламарш,— но это еще не самое скверное его качество.

— Даже так?

— Да,— сказал Деламарш; он уже разглагольствовал вовсю и при этом так жестикулировал в карманах, что весь халат мотался из стороны в сторону,— это тот еще субчик! Я и мой друг — он там, в автомобиле,— помогли ему в беде, он тогда понятия не имел об американском образе жизни, только-только приехал из Европы, где тоже оказался не у дел; ну, мы взяли его с собой, позволили ему с нами жить, все ему объяснили, хотели раздобыть ему работу, думали сделать из него порядочного человека, вопреки всем настораживающим приметам; а он однажды ночью попросту исчез, скрылся, да еще при таких обстоятельствах, о которых я лучше умолчу. Так оно было или нет? — спросил в конце концов Деламарш и дернул Карла за рукав рубашки.

— Эй, ребятня, назад! — крикнул полицейский, пото-

му что дети подобрались уже настолько близко, что Деламарш чуть не споткнулся об одного из них. Между тем грузчики, ранее недооценившие возможности поразвлечься допросом, наострили уши и тесным кольцом собрались позади Карла, который теперь не смог бы сделать назад и шага, да к тому же все время слышал невнятицу их голосов: грузчики больше шумели, чем разговаривали на совершенно непонятном английском, по-видимому изрядно сдобренном славянскими выражениями.

— Спасибо за информацию,— сказал полицейский и взял под козырек.— На всякий случай я заберу его с собой и сдам в отель «Оксиденталь».

Но Деламарш всзразил:

— Я должен просить вас пока что уступить мальчишку мне, мне нужно с ним кое-что уладить. Обязуюсь потом лично доставить его в гостиницу.

— Этого я сделать не могу,— сказал полицейский.

Деламарш продолжил:

— Вот вам моя визитная карточка.

Полицейский с уважением осмотрел карточку, но заявил, любезно улыбаясь:

— Нет, это ни к чему.

Если до сих пор Карл опасался Деламарша, то теперь видел в нем единственный шанс на спасение. Правда, его старания отбить Карла у полицейского весьма подозрительны, но, во всяком случае, его будет легче, чем официального блюстителя порядка, упросить не возвращаться в гостиницу. И если Карл даже явится туда под руку с Деламаршем, это куда лучше, чем под конвоем полицейского. Но пока что Карлу, само собой, нельзя было и виду показывать, что он предпочитает остаться с Деламаршем, иначе все пропало. И он с беспокойством смотрел на руку полицейского, которая могла в любое мгновение подняться, чтобы схватить его.

— Я должен по крайней мере узнать, почему его так внезапно уволили,— сказал наконец полицейский, пока Деламарш с досадой смотрел в сторону и мял в пальцах визитную карточку.

— Но он вовсе не уволен! — неожиданно для всех выкрикнул Робинсон и, опершись на шофера, высунулся из автомобиля.— Наоборот, у него же там прекрасное место. Он — главный в общей спальне и может приводить туда кого угодно. Просто он ужасно занят, и, если хочешь от него что-то получить, ждать приходится

долго. Он все время торчит у старшего администратора или у старшей кухарки и является их доверенным лицом. Об увольнении не может быть и речи. Не знаю, зачем он так сказал. С чего это его должны уволить? В гостинице со мной произошло несчастье, и он получил задание доставить меня домой и, поскольку был в тот момент без пиджака, так, без пиджака, и поехал. Не мог же я дожидаться, пока он сходит за пиджаком.

— Вот так,— сказал Деламарш, разводя руками, будто упрекая полицейского в недостатке знания людей, и эти его слова, казалось, внесли полную ясность в неопределенное свидетельство Робинсона.

— Но правда ли это? — уже нерешительно спросил полицейский.— И если правда, зачем парень говорит, что уволен?

— Надо ответить,— сказал Деламарш.

Карл посмотрел на полицейского, которому придется улаживать отношения чужих, думающих только о себе людей, и в какой-то мере проникся его заботами. Он решил не врать и крепко сцепил руки за спиной.

В воротах появился приказчик и хлопнул в ладоши, давая грузчикам знак, что пора продолжать работу. Они выплеснули гущу из кружек и молча вразвалку потянулись во двор.

— Так мы никогда не кончим,— сказал полицейский и хотел схватить Карла за плечо. Тот непроизвольно отпрянул назад, почувствовал свободное пространство, открывшееся сзади после ухода грузчиков, повернулся и, сделав для начала несколько огромных прыжков, пустился наутек. Дети все, как один, вскрикнули и, протянув ручонки, пробежали немного следом.

— Держи его! — закричал полицейский и, то и дело повторяя этот призыв, бросился вдогонку за Карлом бесшумными, пружинистыми, говорящими о большой силе и тренировке прыжками по длинной, почти безлюдной улице. К счастью для Карла, дело происходило в рабочем квартале. А рабочие с властями не заодно. Карл бежал посреди мостовой, так как там было меньше препятствий, и видел, как тут и там на тротуарах останавливаются рабочие и спокойно наблюдают за ним, в то время как полицейский с криком «Держи его!» все время указывал дубинкой на Карла и бежал, держась именно тротуара. Шансов у Карла было мало, и они совсем поч-

ти исчезли, когда полицейский, приблизившись к поперечным улочкам, где наверняка тоже патрулировали полицейские, разразился прямо-таки оглушительным свистом. Единственным преимуществом Карла была его легкая одежда; он летел, вернее, несся по идущей все более под уклон мостовой; от усталости он плохо себя контролировал и часто делал слишком высокие, отнимающие время, бесполезные скачки. Кроме того, полицейский бежал не задумываясь, цель все время была у него перед глазами, для Карла же бег был, по сути, делом второстепенным, прежде всего он должен был обдумывать свой путь, выбирать одну из многочисленных возможностей, снова и снова принимать решение. Пока что его несколько отчаянный план заключался в том, чтобы избегать переулков, неизвестно ведь, на что там можно нарваться, вдруг угодишь напрямик в полицейский участок; до поры до времени он решил держаться этой хорошо обозримой улицы, которая лишь далеко внизу выбегала на мост, теряющийся в испарениях и солнечной дымке. Решив так, он приготовился ускорить бег и побыстрее миновать ближайшую поперечную улицу, как вдруг увидел впереди, совсем близко, полицейского, который, подкарауливая его, прижался к темной стене лежащего в тени дома, чтобы, улучив подходящий момент, броситься на беглеца. Теперь выручить мог только переулок, и, когда из этого переулка Карла вдобавок еще и окликнули — ему, правда, сначала показалось, что он ослышался, потому что в ушах уже давным-давно шумело, — он без колебаний, резко, чтобы захватить полицейских врасплох, свернул в этот переулок.

Не успел он сделать и двух прыжков — что его звали по имени, он уже опять забыл, ведь и второй полицейский тоже засвистел, и сил у этого блюстителя порядка явно хоть отбавляй, прохожие в переулке словно бы прибавили шагу, — не успел он сделать и двух прыжков, как чья-то рука высунулась из входной двери и со словами «Тише! Тише!» втощила его в темный подъезд. Это был Деламарш — запыхавшийся, разгоряченный, волосы слиплись от пота. Халат он сунул под мышку и был в одной рубашке и кальсонах. Дверь, которая, собственно говоря, была не парадной, а просто невзрачным боковым входом, он сразу же закрыл и запер.

— Секундочку. — Деламарш, тяжело дыша, присло-

нился высоко поднятой головой к стене, Карл буквально повис у него на руках и, почти теряя сознание, припал лицом к его груди.

— А они бегут,— сказал Деламарш и, прислушиваясь, указал пальцем в сторону двери. Действительно, полицейские пробежали мимо, их топот гулко отдавался в пустом переулке.

— А ты совсем обессилел,— сказал Деламарш Карлу, который все еще задыхался и не мог вымолвить ни слова. Деламарш бережно усадил его на пол, опустился рядом на колени и несколько раз отер рукою его лоб.

— Уже лучше,— выдохнул Карл и с трудом встал.

— Тогда пошли,— сказал Деламарш, снова надел свой халат и двинулся в путь, подталкивая перед собой Карла, который от слабости головы не мог поднять. Время от времени Деламарш встряхивал Карла, стараясь его приободрить.

— Неужто устал? — спросил он.— Ты-то мог мчаться на просторе, словно рысак, а мне пришлось гнать через эти треклятые дворы и переходы. Но, к счастью, я тоже неплохо бегаю.— Он самодовольно хлопнул Карла по спине.— Иногда полезно этак посоревноваться с полицией.

— Я устал еще до того, как кинулся бежать,— сказал Карл.

— Для плохого бега нет оправданий,— сказал Деламарш.— Если бы не я, они тебя давным-давно бы сдапали.

— Согласен. Я вам очень обязан.

— Еще бы,— сказал Деламарш.

Они шли по узкому длинному коридору, вымощенному темными гладкими плитками. То справа, то слева открывался вход на лестницу или другой коридор, побольше. Взрослых почти не было видно, только дети играли на ступеньках. В одном месте у перил стояла маленькая девочка и плакала, так что все ее лицо блестело от слез. Заметив Деламарша, она, жадно хватая ртом воздух, взбежала по лестнице и успокоилась только на самом верху, когда, обернувшись несколько раз, убедилась, что никто ее не преследует и преследовать не собирается.

— Я ее давеча сбил с ног,— засмеялся Деламарш и погрозил ей кулаком, после чего она с визгом кинулась еще выше.

Дворы, которыми они проходили, тоже были почти сплошь безлюдны. Лишь кое-где толкал перед собой двухколесную тележку рассыльный да женщина наполняла у колонки кувшин, мерным шагом пересекал двор почтальон, старик с седыми усами сидел, скрестив ноги, у застекленной двери и курил трубку, выгружали ящики перед экспедиционной конторой, праздные лошади мотали головами, человек в рабочем халате, с бумагами в руке наблюдал за выгрузкой; в какой-то конторе было открыто окно, и служащий, сидя за столом, обернулся и задумчиво поглядел на проходивших мимо Карла и Деламарша.

— Более спокойного местечка нельзя и пожелать,— заметил Деламарш.— Вечером тут часок-другой бывает очень шумно, но днем всегда тишина и порядок.

Карл кивнул, тишина показалась ему чрезмерной.

— Я не смог бы жить в другом месте,— продолжал Деламарш,— так как Брунельда совершенно не выносит шума. Ты знаешь Брунельду? Ну да ничего, сейчас увидишь. На всякий случай предупреждаю, веди себя как можно тише.

Когда они подошли к лестнице, ведущей в жилище Деламарша, автомобиль уже уехал, а парень с изъеденным носом, ничуть не удивившись возвращению Карла, сообщил, что отнес Робинсона наверх. Деламарш только кивнул ему в ответ, словно парень был его слугой, выполнившим свою естественную обязанность, и потащил за собой Карла, нерешительно оглядывавшегося на солнечную улицу.

— Сейчас придем,— повторял Деламарш, поднимаясь по ступенькам, но его обещание никак не хотело сбываться, лестничные марши тянулись один за другим, только неприметно меняли направление. Один раз Карл даже остановился — не от усталости вообще-то, но в отчаянии от лестничной бесконечности.

— Квартира, конечно, расположена очень высоко,— сказал Деламарш, когда они пошли дальше,— но в этом есть свои преимущества. На улицу выходишь редко, целыми днями сидишь в халате — очень уютно. Да и гости на такую верхотуру взбираться не любят.

«Откуда же эти гости возьмутся?» — подумал Карл. Наконец на площадке перед закрытой дверью обнаружился Робинсон,— значит, добрались; лестница же так и не кончилась, она уходила дальше в полумрак, и ничто как будто не сулило ее скорого завершения.

— Я так и думал,— сказал Робинсон тихо, словно все еще страдал от боли.— Деламарш его приведет! Россман, что было бы с тобой без Деламарша?!

Робинсон стоял в нижнем белье, пытаясь, насколько это было возможно, завернуться в маленькое одеяло, с которым его выдворили из отеля; непонятно было, почему он не вошел в квартиру, а торчал здесь с риском выставить себя на посмешище перед возможными прохожими.

— Она спит? — спросил Деламарш.

— Не думаю,— ответил Робинсон,— но все-таки решил дождаться тебя.

— Для начала выясним, спит ли она,— сказал Деламарш и склонился к замочной скважине. Довольно долго он вертел головой, присматриваясь и так и этак, потом выпрямился и сказал:

— Ее плохо видно, шторы опущены. Она сидит на канаве, может быть, и спит.

— Разве она больна? — спросил Карл, так как Деламарш словно бы просил совета. Но тут он возмущенно бросил:

— Больна?!

— Он же не знает ее,— снисходительно сказал Робинсон.

Чуть подальше вышли в коридор две женщины, старательно вытирая фартуком руки, они посматривали на Деламарша и Робинсона и, кажется, говорили о них. Из другой двери выскочила совсем еще юная девушка с блестящими светлыми волосами и, протиснувшись между женщинами, подхватила их под руки.

— Вот противные бабы,— сказал Деламарш тихо, вероятно только оберегая сон Брунельды.— Ничего, скоро я заявлю на них в полицию и тогда отдохну от них годик-другой. Не смотри туда,— шикнул он на Карла, который не находил ничего дурного в том, чтобы рассматривать женщин, раз уж приходится ждать в коридоре пробуждения Брунельды. Карл сердито тряхнул головой: дескать, Деламарш ему не указчик — и, чтобы подчеркнуть это, хотел было подойти к женщинам, но тут уж Робинсон со словами: «Россман, поберегись!» — оттащил его назад, а Деламарш, и без того взбешенный поведением Карла, от громкого смеха девчушки вконец рассвирепел и, размахивая руками, ринулся к женщинам, но тех как ветром сдуло — каждую в свою дверь.

— Вот так мне частенько приходится очищать здешние коридоры,— сказал Деламарш, возвращаясь медленным шагом; тут он вспомнил об ершистости Карла и добавил: — Но от тебя я жду совершенно другого поведения, иначе тебе не поздоровится.

Тут из комнаты вопросительно послышалось с усталыми, кроткими интонациями:

— Деламарш?

— Да,— ответил Деламарш, добродушно взглянув на дверь,— нам можно войти?

— О да,— ответили изнутри, и Деламарш, бросив взгляд на парочку, стоявшую в ожидании позади него, медленно открыл дверь.

Они очутились в полной темноте. Штора на балконной двери — окон не было вовсе — была спущена до самого пола и почти не пропускала света, вдобавок комната была переполнена мебелью и увешана одеждой и оттого казалась еще мрачнее. Воздух был спертый и явственно пах пылью, скопившейся в местах, недоступных даже для старательной руки. Первое, на что Карл обратил внимание, были три шкафа, стоявшие впритык один за другим.

На канаве лежала женщина, ранее смотревшая вниз с балкона. Ее красное платье на спине задралось вверх и длинным хвостом свисало до полу, чуть не до колен обнажив ее ноги, обтянутые белыми шерстяными чулками, туфель на ней не было.

— Жарко, Деламарш,— сказала она, отвернула лицо от стены, небрежно протянув Деламаршу руку, которую тот схватил и поцеловал. Карл не мог оторвать глаз от ее двойного подбородка, повторявшего все движения Брунельдиной головы.

— Может, поднять шторы? — спросил Деламарш.

— Только не это,— ответила она с закрытыми глазами и словно в отчаянии,— тогда будет еще хуже.

Карл подошел к изножию канаве, чтоб получше разглядеть женщину; странно, что она жалуется, жара-то самая обыкновенная.

— Погоди, сейчас я тебе помогу,— робко произнес Деламарш, расстегнул ей верхние пуговицы, освободив шею и верхнюю часть груди, в вырезе мелькнуло даже тонкое кремовое кружево сорочки.

— Кто это? — вдруг спросила женщина, указывая пальцем на Карла,— и почему он так смотрит на меня?

— Ты скоро понадобишься для дела,— сказал Деламарш Карлу и отодвинул его в сторону, одновременно успокаивая женщину: — Это просто мальчишка, он будет тебе прислуживать.

— Но мне никто не нужен! — воскликнула она. — Зачем ты приводишь в дом чужих людей!

— Но ты же все время мечтала о прислуге,— сказал Деламарш, присев на корточки, ведь возле Брунельды, несмотря на ширину канапе, свободного места не было.

— Ах, Деламарш,— сказала она,— ты никак не желаешь меня понять.

— В данном случае я действительно тебя не понимаю,— отозвался Деламарш, взяв ее лицо в ладони.— Но это не беда, если хочешь, он сию же минуту исчезнет.

— Раз уж он здесь, пусть остается,— снова заговорила она, и, хотя особого дружелюбия в этих словах, пожалуй, не было, Карл от усталости почувствовал такую благодарность к ней, что, все еще в смутных мыслях об этой бесконечной лестнице, которую, быть может, придется сейчас снова одолевать, переступил через мирно почивавшего на своем одеяле Робинсона и, не обращая внимания на сердитую жестикуляцию Деламарша, сказал:

— Спасибо вам хотя бы за то, что вы позволяете мне остаться здесь еще немного. Я не смыкал глаз, кажется, целые сутки, при том что изрядно поработал и напереживался по разным поводам. Я ужасно устал. Сейчас я даже толком не понял, куда попал. Дайте мне поспать часок-другой, а потом можете с чистой совестью выпроводить меня, и я охотно уйду.

— Ты можешь вообще остаться здесь,— сказала женщина и прибавила иронически: — Места у нас в избытке, как видишь.

— Значит, придется тебе уйти,— сказал Деламарш,— ты нам не нужен.

— Нет, пусть остается,— возразила женщина совершенно серьезно.

И Деламарш, как бы исполняя ее желание, сказал Карлу:

— Тогда устранивайся.

— Он может лечь на шторы, только пускай снимет ботинки, чтобы ничего не порвать.

Деламарш показал Карлу место, которое она имела в виду. Между дверью и шкафами высилась огромная

куча разного рода оконных штор. Если ее разобрать, тяжелое сложить в самом низу, а сверху — более легкое и, наконец, вытащить торчащие из кучи многочисленные карнизы и деревянные кольца, то получилось бы вполне сносное ложе, а так это была просто шаткая разъезжающаяся груда, но, несмотря на это, Карл тут же улегся — слишком он устал для особых приготовлений ко сну, да и не хотел обременять хозяев лишней суетой.

Он уже почти заснул, когда услышал громкий крик, приподнялся и увидел, что Брунельда, сидя на канопе, обнимает стоящего на коленях Деламарша. Карл, смущенный этой сценою, опять улегся и поглубже зарылся в шторы, чтобы продолжить сон. Здесь он и двух дней не выдержит, это совершенно ясно, но тем нужнее ему сон; выспится как следует, а на свежую голову быстро примет правильное решение.

Но Брунельда уже заметила вытаращенные спросонья глаза Карла, которые один раз ее уже напугали, и громко воскликнула:

— Деламарш, я умираю от духоты, мне нужно раздеться, мне нужно искупаться, отошли их обоих из комнаты куда хочешь — в коридор, на балкон, — только чтобы я их больше здесь не видела! Быть в собственной квартире и совершенно не иметь покоя! Если бы мы остались одни, Деламарш! О Боже, они все еще здесь! Как посмел этот бесстыдник Робинсон разлечься тут, при даме, в нижнем белье! А этот чужой мальчишка, только что глядевший на меня диким взглядом, снова улегся, чтобы ввести меня в заблуждение! Убери их отсюда, Деламарш, они действуют мне на нервы; если я сейчас умру — то из-за них.

— Сейчас они уберутся, а ты можешь раздеваться, — сказал Деламарш, подошел к Робинсону и, поставив ногу ему на грудь, встряхнул его. Одновременно он крикнул Карлу: — Россман, вставай! Живо на балкон, оба! И пеняйте на себя, если сунетесь сюда прежде, чем вас позовут! Ну, Робинсон, шевелись, — он тряхнул того по сильнее. — А ты, Россман, смотри, как бы мне не пришлось и тобой заняться! — Тут он дважды громко хлопнул в ладоши.

— Долго это будет продолжаться! — закричала Брунельда с канопе; она широко расставила ноги на полу, чтобы чрезмерно упитанные тела чувствовали себя повольнее, и только с огромным усилием, громко пых-

тя и то и дело отдыхая, она сумела нагнуться так, чтобы достать до верха чулок и немного их приспустить; снять их без посторонней помощи она не могла — этим пришлось заняться Деламаршу, которого она с нетерпением дождалась.

Вконец отупевший от усталости, Карл сполз со штор и медленно пошел к балконной двери: кусок гардин обмотался вокруг его ноги, и он вяло тащил его за собой. По рассеянности он даже сказал Брунельде «Доброй ночи» и проковылял мимо Деламарша, чуть отодвинувшего занавесь, на балкон. За ним приплелся Робинсон, тоже совершенно сонный, брюзжа себе под нос:

— Вечные издевательства. Если Брунельда не пойдет с нами, я на балкон ни шагу.

Но, несмотря на это заверение, он, не сопротивляясь, вышел наружу, где тотчас улегся на каменный пол, поскольку Карл уже занял кресло.

Когда Карл проснулся, был уже вечер, звезды выпали на небе, за высокими домами на противоположной стороне улицы вставала луна. Только осмотревшись и несколько раз вдохнув прохладный живительный воздух, Карл сообразил, где он. Как же он был неосторожен, ведь он пренебрег всеми советами старшей кухарки, всеми предупреждениями Терезы, своими собственными опасениями — сидит себе спокойно здесь, на балконе, и спит целых полдня, словно тут, за занавесью, в помине нет Деламарша, его главного врага! На полу лениво потягивался Робинсон, дергая Карла за ногу. Похоже, он-то его и разбудил, потому что сказал:

— Ну и соня ты, Россман! Вот что значит беззаботная юность! Сколько ж ты намерен еще спать! Я бы не стал тебя трогать, но, во-первых, здесь, на полу, скучно, а во-вторых, я голоден. Будь добр, привстань, там, в кресле, я припрятал кое-какую еду и хочу ее достать. Тогда и тебе немножко перепадет.

Карл встал и увидел, как Робинсон, не поднимаясь с полу, перевернулся на живот и, запустив руки под кресло, вытащил посеребренную вазу, в какие обычно кладут, например, визитные карточки. Но в этой вазе лежало полкруга совершенно черной колбасы, несколько тонких сигарет, открытая, но еще почти полная банка сардин в масле и куча карамелек, по большей части раздавленных и слипшихся. Затем он из-

влек из тайника большой кусок хлеба и что-то вроде парфюмерного флакона, содержавшего, похоже, отнюдь не одеколон, потому что Робинсон продемонстрировал его с особенным удовольствием и даже прищелкнул языком.

— Вот, Россман,— говорил Робинсон, глотая сардину за сардиной и время от времени вытирая масляные руки шерстяным платком, который Брунельда забыла на балконе.— Вот, Россман, как нужно припрятывать жратву, если не хочешь помереть с голоду. Знаешь, меня тут совсем ни в грош не ставят. А когда с тобой все время обращаются как с собакой, в конце концов решишь, что так оно и есть. Хорошо, что ты здесь, Россман, хоть поговорить можно. Со мной ведь во всем доме никто не разговаривает. Нас ненавидят. И все из-за Брунельды. Она, конечно, роскошная баба. Слышь...— и он поманил Карла к себе, чтобы шепнуть: — Я ее однажды нагишом видел — ого! — и при воспоминании об этом радостном событии он принялся тискать и дергать ноги Карла, так что тот воскликнул:

— Робинсон, ты с ума сошел! — перехватил его руки и отбросил.

— Ты-то совсем ребенок, Россман,— сказал Робинсон, достал из-под рубашки кинжал, висевший у него на шее, вытащил из ножен и разрезал твердую колбасу.— Тебе еще многому надо учиться. Но с нами ты на верной дороге. Да садись же. Хочешь чего-нибудь куснуть? Ну, может, глядя на меня, аппетит и нагуляешь. И хлебнуть не хочешь? Что-то ты от всего отказываешься. И ничего толком не говоришь. Впрочем, совершенно безразлично, с кем находиться на балконе, лишь бы вообще кто-нибудь был. Я-то здесь частенько сижу. Брунельде это очень уж нравится. Как только ей что-нибудь взбредет на ум: то ей холодно, то жарко, то она хочет спать, то причесаться, то снять корсет, то надеть его — меня тут же высылают на балкон. Иногда она действительно делает то, что говорит, но большей частью так и лежит на канаве, даже не пошевелинется. Раньше я, бывало, малость отодвигал занавесь и подсматривал, но с тех пор, как однажды Деламарш после такой проделки — я точно знаю, он этого не хотел, просто выполнял просьбу Брунельды — несколько раз ударил меня по лицу плетью — видишь рубцы? — я больше подсматривать не рискую. Вот и торчу здесь, на балконе, только и развлечений что еда. Позавчера сидел я вечером один,

тогда я был еще в своем замечательном костюме, который, к сожалению, остался в твоей гостинице,— вот сабаки! Им лишь бы сорвать с человека дорогую одежду! — сидел я тут, стало быть, совсем один и поглядывал вниз сквозь решетку, и такая меня одолела тоска, что я разрыдался. И как раз в эту минуту случайно — я сразу и не заметил — Брунельда ко мне вышла в своем красном платье — оно ей больше других к лицу, — посмотрела-посмотрела на меня и говорит: «Робинсон, почему ты плачешь?» Потом приподняла платье и подолом вытерла мне глаза. Кто ее знает, что бы она еще сделала, если бы Деламарш не позвал ее обратно в комнату. Само собой, я подумал, что теперь моя очередь, и спросил сквозь штору, нельзя ли мне войти. И что, ты думаешь, сказала Брунельда? «Нет! — говорит. — Еще чего выдумал!»

— Зачем же ты остаешься здесь, если с тобой так обращаются? — спросил Карл.

— Извини, Россман, но ты задаешь глупые вопросы, — ответил Робинсон. — Ты тоже останешься, даже если с тобой будут обращаться еще хуже. Впрочем, ко мне относятся вовсе не так уж плохо.

— Нет, — сказал Карл, — я обязательно уйду, сегодня же вечером. С вами я не останусь.

— Как же ты, к примеру, собираешься уйти сегодня вечером? — спросил Робинсон, выковыряв из хлеба мякиш и старательно обмакнув его в масло, оставшееся в коробке из-под сардин. — Как ты уйдешь, если тебя даже в комнату не пускают?

— Это еще почему? Возьмем да и войдем!

— Нет, пока не позвонят, входить нельзя, — промычал Робинсон, набивая рот жирным хлебом и перехватывая ладонью капли масла, чтобы время от времени обмакивать хлеб в этот сосуд. — Порядки здесь все строже. Сперва тут висели тонкие гардины, хотя и непрозрачные, но вечером все-таки были видны тени. Брунельде это пришлось не по нраву, и мне было велено шить занавесь из ее театральных халатов. Так что теперь ничего уже не видно. Во-вторых, раньше мне дозволялось спрашивать, можно ли войти, и они отвечали «да» или «нет», смотря по обстоятельствам; но я, наверное, перегнул палку, спрашивая слишком часто. Брунельда не выдержала, ведь несмотря на свою толщину она очень слабого здоровья, у нее часто болит голова, а ноги вечно ломит от подагры; вот они и решили, что спрашивать мне боль-

ше нельзя, ну а чтобы я знал, когда входить, будут звонить в колокольчик. От этого трезвона я даже просыпаюсь, одно время я завел себе для развлечения кошку, так она, испугавшись этого звона, сбежала и не вернулась; а сегодня, между прочим, еще не звонили; кстати, после звонка я не просто могу, а обязан войти; н-да, что-то все не звонят, наверняка ждать еще долго.

— Ну вот что,— сказал Карл,— тебя это, может, и касается, а я-то при чем? В общем, так обращаются только с теми, кто позволяет себя унижать.

— Эй! — вскричал Робинсон.— Почему это ты вдруг ни при чем? Само собой, все это относится и к тебе. Сиди себе и жди здесь спокойно вместе со мной, пока не позвонят. А потом уж, пожалуйста, сколько угодно пробуй, сумеешь уйти или нет.

— Ты-то почему отсюда не уходишь? Только потому, что Деламарш твой друг, вернее, был другом? Разве это жизнь? Не лучше ли было бы в Баттерфорде, куда вы сначала собирались? Или даже в Калифорнии, где у тебя друзья?

— Да,— сказал Робинсон,— такого никто не ожидал.— И прежде чем продолжить рассказ, он воскликнул:— За твое здоровье, милый Россман! — и отпил большой глоток из флакона.— Когда ты нас бросил, мы были в прескверном положении. Работу в первые дни получить не удавалось, впрочем, Деламарш и не хотел работать, хотя он-то бы мигом устроился, и только все время посылал на поиски меня, но мне не везет. Он просто разгуливал по округе, и был, по-моему, уже вечер, а он всего-то и добыл, что дамский кошелек. Правда, красивый, вышитый бисером — после он подарил его Брунельде,— но почти что пустой. Потом Деламарш сказал, что нам придется идти попрошайничать по квартирам, ведь при этом можно, конечно, кое-что насобирать; так вот, отправились мы просить, и я, чтоб произвести впечатление получше, пел у дверей. А Деламаршу всегда везет: перед второй же квартирой — роскошной, в первом этаже, едва мы немножко спели у дверей кухарке и слуге, смотрим, по лестнице поднимается дама, которой принадлежит эта вот квартира, то есть Брунельда. Она, наверно, слишком туго зашнуровала корсет и никак не могла одолеть ступеньки. Но как прекрасно она выглядит, Россман! Платье на ней было совершенно белое, а зонтик от солнца — красный. Конфетка, да и только!

Лучше выпивки! О Боже, как она была хороша! Вот это женщина! Нет, скажи мне, откуда такие берутся? Конечно, горничная и слуга тут же выбежали на подмогу и почти внесли ее наверх. Мы вытянулись справа и слева от двери и приветствовали ее, как здесь принято. Она чуть приостановилась, так как все еще не отдышалась, и теперь уж я и не знаю, как оно вышло, от голода я был не в себе, а она вблизи оказалась еще красивее и ширины необъятной и из-за специального корсета — я могу тебе потом показать его в сундуке — вся такая ядреная; короче говоря, я ее малость потрогал сзади, но совсем легонько, знаешь, так — прикоснулся. Конечно, нищему никак нельзя касаться богатой дамы. Прикосновения как бы не было, но вместе с тем было. Кто знает, чем бы все кончилось, если б Деламарш тотчас не дал мне оплеуху, причем такую, что я обеими руками за шею схватился.

— Вот до чего дошло! — сказал Карл и, увлекшись, уселся рядом с рассказчиком на пол. — Значит, это и была Брунельда?

— Ну да, — кивнул Робинсон, — Брунельда.

— Ты разве не говорил, что она певица? — спросил Карл.

— Конечно, певица, и певица большая, — ответил Робинсон, перекатывая языком комок карамелек и пальцем заталкивая обратно конфету, выскользнувшую из рта. — Но тогда мы об этом еще не знали, мы только видели, что она — богатая и очень шикарная дама. Она сделала вид, что ничего не произошло, а может быть, и вправду не почувствовала, я ведь только коснулся ее пальцами. Она не отрывала взгляда от Деламарша, который опять — как он умеет! — уставился ей в глаза. Она ему сказала: «Зайди-ка на минутку!» — и указала зонтиком на квартиру, куда Деламарш должен был войти первым. Они вместе вошли, и прислуга закрыла за ними дверь. Меня позабыли снаружи, тут я решил, что это вряд ли надолго, и уселся на лестнице, ожидая Деламарша. Но вместо него появился слуга и вынес мне целую миску супа. «Деламарш позаботился!» — подумал я. Слуга подождал немного, пока я ел, постоял со мной минутку и рассказал кое-что о Брунельде, и тут я сообразил, чем может стать для нас эта встреча. Ведь Брунельда была разведена, имела крупное состояние и была совершенно независима! Ее бывший муж, владелец фабрики какао, правда, все еще любил ее, но она и слышать

о нем не хотела. Он приходил в квартиру очень часто, всегда одетый очень элегантно, как на свадьбу — это чистая правда, я сам видел его, — но слуга, несмотря на крупные взятки, не смел спросить Брунельду, не согласится ли та его принять, так как он уже несколько раз спрашивал и всегда вместо ответа Брунельда бросала ему в лицо то, что в этот миг держала в руке. Однажды это была большая грелка с водой, которая выбила ему передний зуб. Да, Россман, видишь, какие дела!

— Откуда ты знаешь ее мужа? — спросил Карл.

— Он изредка приходит и сюда, — ответил Робинсон.

— Сюда? — от удивления Карл легонько шлепнул рукой по полу.

— Тут действительно есть чему удивляться, — продолжал Робинсон, — я сам удивился, когда слуга рассказал мне об этом. Подумай только, когда Брунельды не бывало дома, муж просил слугу провести его в ее комнаты и всегда брал там на память какую-нибудь мелочь, оставляя для Брунельды взамен что-нибудь дорогое и красивое и строго-настрого наказывая слуге не говорить, от кого это. Но однажды, когда он — так говорил слуга, и я ему верю, — принес что-то совсем уж бесценное из фарфора, Брунельда каким-то способом догадалась, откуда эта вещица, тут же швырнула ее на пол, растоптала ногами, наплевала на осколки и сотворила еще кое-что похуже, так что слуга от омерзения едва сумел вынести осколки.

— Чем же муж так ей насолил? — спросил Карл.

— Собственно, я не знаю, — ответил Робинсон. — Но думаю, ничего особенного; во всяком случае, он сам никак не поймет. Я ведь говорил с ним об этом, и не раз. Он каждый день поджидает меня вон там, на углу; если я прихожу, то рассказываю ему новости; если не могу прийти, он ждет полчаса, а после уходит. Для меня это был неплохой приработок, так как новости он оплачивает весьма щедро, но с тех пор, как об этом проведал Деламарш, мне приходится все ему отдавать, и из-за этого я хожу туда реже.

— Но чего же хочет муж? — спросил Карл. — Что ему надо? Он ведь слышит, что она знает его не желает.

— Да, — вздохнул Робинсон, закурил сигарету и широко взмахнув рукой, выпустил вверх дым. Затем он словно бы передумал и добавил: — Я-то здесь при чем?

Я знаю только, что он отдал бы кучу денег, чтобы лежать тут, на балконе, как мы.

Карл встал, облокотился на перила и посмотрел вниз. Луна уже взошла, но ее свет еще не проник в глубину улицы. А улица, такая пустынная днем, наполнилась людьми — особенно много их было в подворотнях; движения всех были медлительны и неуклюжи, рубашки мужчин, светлые платья женщин чуть белели в темноте, все были без головных уборов. Многочисленные балконы теперь были сплошь заняты; там при электрическом свете сидели семьями — смотря по величине балконов — вокруг маленьких столиков или в креслах, поставленных рядом, или просто высовывали головы из комнаты наружу. Мужчины сидели, широко расставив ноги и высунув ступни сквозь решетку балкона, и читали газеты, листы которых почти касались пола, или играли в карты — похоже, молчком, сильно шлепая картами об стол; на коленях у женщин лежало шитье, они лишь изредка поглядывали на домашних или на улицу. На одном из соседних балконов, как заведенная, зевала белокурая хрупкая женщина, закатывая при этом глаза и прикрывая рот бельем, которое она чинила; даже на самых крохотных балкончиках дети умудрялись гоняться друг за другом, надоедая родителям. Во многих комнатах были включены граммофоны, выплескивавшие на улицу песни или оркестровую музыку; на этот шум никто не обращал особенного внимания, только временами по знаку главы семьи кто-нибудь спешил в комнату, чтобы сменить пластинку. У иных окон виднелись совершенно неподвижные влюбленные парочки; в окне напротив Карла как раз стояла такая пара — одной рукой юноша обнимал девушку, а другой шупал ее грудь.

— Ты знаешь кого-нибудь из этих людей? — спросил Карл Робинсона, который тоже встал и, так как его знобило, кроме одеяла закутался еще в шаль Брунельды.

— Почти никого, тем-то мое положение и плохо, — сказал Робинсон и притянул Карла поближе, чтобы прошептать ему на ухо: — Иначе мне бы не на что было сейчас жаловаться. Ведь ради Деламарша Брунельда продала все, что имела, ради него со всем своим добром переехала сюда, в этот дом на окраине, чтобы полностью посвятить себя ему и чтобы никто

ей не мешал; впрочем, это тоже было желание Деламарша.

— А прислугу она уволила? — спросил Карл.

— Совершенно верно, — ответил Робинсон. — Где здесь прислугу-то размещать? Слуги — люди очень привередливые. Однажды Деламарш при Брунельде пощечинами вытурил одного такого из комнаты, не единожды оплеуху отпустил, пока этот субъект выкатился за дверь. Остальные слуги, конечно, столкнулись с первым и подняли на лестнице шум, тогда Деламарш вышел к ним (я в ту пору был не слуга, а друг дома, но все-таки присоединился к слугам) и спросил: «Чего вы хотите?» Самый старый слуга, некто Исидор, в ответ на это сказал: «Нам с вами говорить не о чем, наша хозяйка — госпожа Брунельда». Как ты, вероятно, понимаешь, они весьма уважали Брунельду. Но она, не обращая на них внимания, подбежала к Деламаршу — в те времена она была еще не такая грузная, как теперь, — обняла и поцеловала его при всех, называя «милым Деламаршем». «Да проводи же ты этих обезьян», — сказала она в конце концов. Обезьяны — это, конечно, слуги; вообрази, какие они скорчили физиономии. Затем Брунельда поднесла руку Деламарша к кошельку, который она носила на поясе, Деламарш открыл его и начал рассчитывать слуг; Брунельдино участие в платеже свелось к тому только, что она стояла тут же с открытым кошельком на поясе. Деламаршу приходилось часто запускать в него руку, так как он раздавал деньги, не считая и не проверяя, кому сколько положено. Под конец он заявил: «Раз вы не хотите со мной разговаривать, я скажу вам от имени Брунельды: собирайтесь и вон отсюда». Так они были уволены, кое-кто вчинил юридический иск, Деламаршу пришлось даже явиться в суд, но об этом я ничего определенного не знаю. Только вот, уволив слуг, Деламарш сразу сказал Брунельде: «Итак, теперь у тебя нет прислуги». Она ответила: «Но ведь есть Робинсон». После чего Деламарш воскликнул, хлопнув меня по плечу: «Ну, все в порядке, ты будешь нашим слугой». А Брунельда потрепала меня по щеке. При случае, Россман, не увиливай, дай ей потрепать тебя по щеке. Это ужасно приятно.

— Значит, ты стал слугой Деламарша? — подытожил Карл.

Робинсон уловил нотку сочувствия в этом вопросе и ответил:

— Я — слуга, но догадываются об этом немногие. Видишь, даже ты не понял, хотя пробыл с нами уже некоторое время. Ты же видел ночью в гостинице, как я был одет. Лучше не бывает. Разве слуги ходят в такой одежде? Но все дело в том, что мне редко позволяют отлучиться, я должен быть всегда под рукой, в хозяйстве всегда найдется какое-нибудь занятие. Для одного здесь слишком много работы. Как ты, наверное, заметил, в комнате чрезвычайно много вещей; все, что при переезде не удалось продать, мы забрали с собой. Конечно, можно было бы раздарить эти вещи, но Брунельда подарков не делает. Ты подумай только, какой труд — втащить весь этот скарб вверх по лестнице!

— Робинсон, ты что же, сам все это затаскивал? — воскликнул Карл.

— А кто же еще! — сказал Робинсон. — Был тут помощник, редкий лентяй, так что в основном мне пришлось надрываться одному. Брунельда стояла внизу, у автомобиля, Деламарш распоряжался наверху, где что размещать, а я мотался вверх — вниз по лестнице. Так продолжалось два дня — очень долго, верно? Да ты понятия не имеешь, сколько здесь, в комнате, вещей: шкафы забиты до отказа и за шкафами все заполнено до потолка. Если б нанять для перевозки несколько человек, дело закончилось бы гораздо скорее, но Брунельда не хотела доверить этого никому, кроме меня. Конечно, это очень лестно, но я на всю жизнь испортил себе здоровье, а что у меня еще есть, кроме здоровья? Стоит только малость напрячься, у меня сразу колет здесь, и здесь, и здесь. Думаешь, парни в гостинице, эти подонки — иначе их не назовешь! — смогли бы меня одолеть, будь я здоров? Но что бы у меня ни болело, Брунельде и Деламаршу я об этом ни слова не скажу, буду работать, пока могу, а когда сил не станет, лягу и умру, и только потом, когда будет уже поздно, они поймут, что я был болен и, несмотря на это, продолжал трудиться и доработался на службе у них до смерти. Ах, Россман, — сказал он в конце концов, утерев глаза рукавом Карла. Помолчав, он заметил: — Неужели тебе не холодно, ты ведь так и стоишь в одной рубашке?

— Слышь ты, Робинсон, — сказал Карл, — ты все скулишь. А я не уверен, что ты очень уж болен. Вид у тебя совершенно здоровый, просто ты все время торчишь

тут на балконе, вот и напридумывал. Возможно, у тебя иногда колет в груди, у меня тоже так бывает, как и у каждого. Но если все из-за таких мелочей начнут, как ты, скулить, все балконы будут заполнены плаксами.

— Я лучше знаю,— сказал Робинсон и на сей раз утер глаза уголком одеяла.— Студент, квартирующий поблизости — его хозяйка стряпала и для нас,— на днях, когда я возвращал посуду, сказал мне: «Послушайте-ка, Робинсон, вы не больны?» Мне запрещено разговаривать с этими людьми, я только поставил посуду и хотел уйти. Тогда он подошел ко мне и говорит: «Послушайте, старина, не доводите до крайности, вы больны». — «Извините, что же мне в таком случае делать?» — спросил я. «Это вам решать», — сказал он и отвернулся. Остальные за столом рассмеялись, ведь здесь кругом враги, поэтому я предпочел уйти.

— Значит, людям, которые над тобой насмешничают, ты веришь, а тем, кто желает тебе добра,— нет.

— Но я ведь лучше знаю, какое у меня самочувствие,— возмутился Робинсон, но тут же опять захныкал.

— Ты как раз и не знаешь, что с тобой, нашел бы себе лучше приличную работу, вместо того чтоб прислуживать Деламаршу. Ведь, насколько я могу судить по твоим рассказам и по тому, что видел сам, это не служба, а рабство. Для человека такое невыносимо — тут я тебе верю. Но ты считаешь, что, раз ты друг Деламарша, бросать его ты не вправе. Это неверно; если он не понимает, что обрек тебя на жалкое существование, то у тебя нет ни малейших обязательств перед ним.

— Значит, по-твоему, Россман, я поправлюсь, если покончу с этой службой?

— Разумеется,— сказал Карл.

— Разумеется? — переспросил Робинсон.

— Вне всякого сомнения,— улыбнулся Карл.

— Тогда можно начать выздоровление прямо сейчас,— сказал Робинсон и посмотрел на Карла.

— Каким же образом?

— Ну, ведь ты возьмешь мою работу на себя,— ответил Робинсон.

— Кто тебе это сказал? — спросил Карл.

— Так это давнишний план. Его уже который день обсуждают. Началось все с того, что Брунельда выбрала меня за грязь в квартире. Я, конечно, обещал, что

сию же минуту приведу все в порядок. Но ведь дело-то нелегкое. Например, в моем теперешнем состоянии я не могу повсюду ползать, чтобы вытереть пыль, посреди комнаты и то повернуться невозможно, а между шкафами, коробками тем более. Если хочешь аккуратно все вычистить, нужно опять-таки передвинуть мебель — и все это я должен делать один? Вдобавок надо соблюдать тишину, поскольку нельзя беспокоить Брунельду, которая почти не покидает комнату. Так вот, я хоть и обещал навести чистоту, но так ничего и не сделал. Когда Брунельда это заметила, она сказала Деламаршу, что дальше так дело не пойдет, необходимо нанять еще одного помощника. «Я не хочу, Деламарш, — сказала она, — чтобы ты упрекал меня в том, что я плохо вела хозяйство. Мне напрягаться нельзя, ты сам понимаешь, а Робинсона недостаточно; вначале он был бодрый и за всем присматривал, теперь же все время усталый и большей частью сидит в углу. А комната с такой уймой вещей, как наша, не может сама себя содержать в порядке». Деламарш задумался, что бы тут можно сделать, ведь в такой дом не возьмешь первого встречного, даже на пробу, потому что мы тут на виду. А поскольку я тебе верный друг и слышал от Ренелла, как ты надрываешься в гостинице, я предложил тебя. Деламарш тотчас согласился, хотя в свое время ты и обошелся с ним очень дерзко, и я, конечно, обрадовался, что могу оказать тебе услугу. Это место словно для тебя и создано, ты молодой, сильный и ловкий, а я уже ни на что больше не гожусь. Только не воображай, что тебя уже приняли на службу; если ты не понравишься Брунельде, мы тебя не возьмем. Стало быть, постарайся ей понравиться, а об остальном я позабочусь.

— А что будешь делать ты, если я останусь здесь в качестве слуги? — спросил Карл; он почувствовал облегчение — первый испуг, вызванный сообщениями Робинсона, прошел. Значит, Деламарш всего-навсего собирался сделать из него прислугу — будь у него планы пострашней, Робинсон наверняка бы проболтался, — но, если дело обстоит именно так, Карл сегодня же ночью распростится с ними. Силком никого служить не заставишь. И хотя ранее Карл тревожился, сумеет ли он после увольнения быстро найти хорошую и, по возможности, столь же солидную работу — иначе-то и с голоду помереть недолго! — теперь он готов был согласиться на что угодно, даже на тяготы безработицы, но служить здесь,

как они задумали, ни за что не станет. Однако растолковывать это Робинсону он даже и не пытался, особенно потому, что сейчас все суждения ирландца будут окрашены надеждой на то, что Карл избавит его от работы.

— Итак,— начал Робинсон, сопровождая свои слова плавными жестами,— первым делом я все тебе объясню и покажу припасы. Ты человек образованный, и почерк у тебя наверняка красивый, а значит, ты мог бы прямо сейчас составить список наличных вещей. Брунельда давно об этом мечтает. Если завтра с утра будет хорошая погода, мы попросим Брунельду посидеть на балконе и спокойно, не тревожа ее, поработаем в комнате. Вот что самое главное, Россман. Ни в коем случае не тревожь Брунельду. Она все слышит, наверное, у нее, как у певички, очень уж тонкий слух. К примеру, выкатываешь из-за шкафа бочонок виски, тут без шума не обойтись, бочонок тяжелый, вещей кругом тьма-тьмушая, сразу его не выкатишь. Брунельда, к примеру, спокойно лежит на канале и ловит мух, которые ей изрядно докучают. Ты полагаешь, что она не обращает на тебя внимания, и катишь бочонок дальше. Она покуда лежит себе спокойно. Но в тот самый миг, когда ты меньше всего ждешь и почти совсем не шумишь, она вдруг садится, колотит обеими руками по канале, так что пыль столбом — с тех пор как мы здесь, я канале ни разу не выбивал, не могу, она же все время на нем валяется,— начинает страх как орать, словно мужик, и орет часами. Петь ей запретили соседи, а кричать никто запретить не может, вот она и кричит, впрочем, теперь это случается редко: мы с Деламаршем стали осторожны. Ведь ей это очень вредно. Как-то раз она упала в обморок, и мне — Деламарш куда-то ушел — пришлось привести соседа-студента, он обрызгал ее из большой бутылки какой-то жидкостью, ей это помогло, но жидкость была нестерпимо вонючая, запах даже сейчас ощущается, если понюхать канале. Студент, само собой, наш враг, как и все здесь, ты тоже должен быть начеку и ни с кем не связываться.

— Да, Робинсон,— сказал Карл,— это очень тяжелая служба. Хорошенькое место ты мне подсудобил.

— Не беспокойся,— сказал Робинсон и покачал головой, закрыв глаза и открещиваясь от всех возможных претензий Карла.— У этого места, как нигде, есть свои преимущества. Ты будешь все время вблизи такой дамы,

как Брунельда, даже спать изредка будешь в одной комнате с ней — уже одно это несет с собой, как ты понимаешь, различные приятности. Платить тебе будут щедро, денег здесь более чем достаточно, я-то, как друг Деламарша, не получал ничего; только когда я ходил в город, Брунельда обязательно давала мне кое-что, но тебе, естественно, будут платить, как всякому слуге. Ты ведь и есть слуга, ни больше ни меньше. Но самое главное, я весьма облегчу тебе службу. Сначала-то, само собой, я ничего делать не буду, мне надо отдохнуть, но, как только поправлюсь, можешь на меня рассчитывать. Обслуживание Брунельды я оставляю за собой, в том числе причесывание и одевание, если этим не станет заниматься Деламарш. На твоих плечах будут лишь уборка комнаты, закупки и тяжелая домашняя работа.

— Нет, Робинсон,— сказал Карл,— все это меня не прельщает.

— Не делай глупостей, Россман,— Робинсон приблизил лицо к лицу Карла,— не проморгай эту прекрасную возможность. Где ты сейчас найдешь место? Кто тебя знает? Кого знаешь ты? Мы, двое мужчин, уже многое испытавшие и набравшиеся опыта, неделями скитались в поисках работы. Это нелегко, да что там — отчаянно трудно.

Карл кивнул, удивляясь благоразумию Робинсоновых доводов. Для него эти советы, однако же, не имели значения — ему здесь оставаться нельзя, в этом огромном городе наверняка найдется для него местечко; по ночам — он знал — все гостиницы и рестораны переполнены, требуется прислуга для постояльцев, а у него теперь есть какой-никакой опыт. О, он постарается быстро и незаметно где-нибудь пристроиться. Вон и в доме напротив располагался маленький кабачок, из него доносилась бравурная музыка. Главный вход был прикрыт только большим желтым занавесом, который временами, подхваченный сильным ветром, парусил над улицей. Но вообще вокруг стало потише. Большая часть балконов погрузилась в темноту, только поодаль некоторые были пока освещены, но едва задержишь на них взгляд, а люди уже встают и скрываются в квартире, кто-то из мужчин тянется к лампочке и, бросив последний взгляд в переулок, гасит свет.

«Вот и ночь наступила,— подумал Карл,— если я здесь еще останусь, то превращусь в одного из них». Он повернулся, чтобы отодвинуть балконную занавесь,

— Ты что это задумал? — сказал Робинсон, преграждая ему путь.

— Я хочу уйти, — сказал Карл. — Пусти меня! Пусти!

— Ты же не станешь ее тревожить, — воскликнул Робинсон, — ишь чего выдумал! — И, обхватив обеими руками шею Карла, он повис на нем всей тяжестью, стиснул ногами ноги Карла и таким манером свалил его на пол. Но в обществе лифтеров Карл немного научился драться и ударил Робинсона кулаком снизу в подбородок — правда, не в полную силу, осторожно. Тот еще успел быстро, с размаху угостить Карла коленом в живот, а потом схватился обеими руками за челюсть и взвыл так громко, что мужчина с соседнего балкона гулко хлопнул в ладоши и приказал: «Тихо вы!» Карл немного полежал, чтобы перетерпеть боль от тычка Робинсона. Он только повернул лицо к занавеси, тяжелой и недвижимой, за которой пряталась темная комната. Казалось, в квартире никого больше нет; возможно, Деламарш с Брунельдой ушли и Карл уже совершенно свободен. От Робинсона, который и впрямь вел себя как сторожевой пес, он теперь отделался.

Тут откуда-то издалека донеслись ритмичные звуки труб и барабанов. Отдельные возгласы скоро слились в рев людской массы. Карл повернул голову и увидел, что все балконы снова ожили. Он медленно поднялся, полностью распрямиться пока не удалось, пришлось тяжело привалиться к перилам. Внизу по тротуару широким шагом маршировали молодые парни: руки с фуражками подняты вверх, лица в резком развороте. Мостовая еще оставалась свободной. Некоторые размахивали лампами на длинных палках, окруженными желтоватым дымом. Барабанщики и трубачи как раз вышли на свет, и Карл поразился их многочисленности, тут он услышал за спиной голоса, обернулся и увидел Деламарша, поднявшего тяжелую занавесь, а затем из темной комнаты появилась Брунельда в красном платье, с кружевной накидкой на плечах, в темном чепчике на, видимо, не причесанных, а лишь подколотых волосах, кончики которых тут и там выбивались наружу. В руке она держала маленький открытый веер, но не обмахивалась им, а только крепко прижимала его к груди.

Карл передвинулся вбок вдоль перил, чтобы дать им обоим место. Никто, разумеется, не заставит его остаться здесь, и, даже если Деламарш попытается это сде-

лать, Брунельда тотчас отпустит его, стоит ее попросить. Она же терпеть его не может, он напугал ее своим взглядом. Но едва он шагнул к двери, она сразу заметила это и спросила:

— Куда ты, малыш?

Карл замер под строгим взглядом Деламарша, а Брунельда притянула его к себе.

— Тебе не хочется посмотреть на процессию внизу? — спросила она, придвигая его к перилам. — Ты знаешь, что это такое? — услышал Карл за спиной ее голос и непроизвольно шевельнулся, стараясь вывернуться из ее рук, но безуспешно. С грустью смотрел он вниз на улицу, словно там была причина его тоски.

Деламарш сначала стоял позади Брунельды, скрестив руки на груди, потом сбегал в комнату и принес ей театральный бинокль. Внизу следом за музыкантами показалась основная часть процессии. На плечах огромного роста мужчины восседал некий господин, сверху была видна только его матово поблескивающая плешь, над которой он в знак приветствия высоко поднимал свой цилиндр. Вокруг него несли фанерные щиты, которые с балкона казались совершенно белыми; создавалось впечатление, что эти щиты как бы подпирают плешивого со всех сторон, поддерживая его над толпою. Поскольку процессия была в движении, стена из щитов то распадалась, то выстраивалась снова. Вокруг плешивого господина улица во всю ширину, хотя, насколько можно было разглядеть в темноте, на небольшом пространстве, была заполнена его приверженцами, все они рукоплескали и, судя по всему, выкрикивали его имя, коротенькое, но непонятное из-за общего шума и пения. Несколько человек, ловко расставленные в толпе, несли мощные и яркие автомобильные прожекторы и медленно обводили световыми лучами дома по обе стороны улицы. Карлу на его верхотуре свет не мешал, но на нижних балконах ослепленные зеваки поспешно закрывали лицо руками.

Деламарш, по просьбе Брунельды, осведомился у людей на соседнем балконе, что означает сия манифестация. Карлу было довольно любопытно узнать, ответят ли ему, и если ответят, то как. В самом деле — Деламаршу пришлось спросить трижды, а ответа он так и не получил. Он уже рискованно перегнулся через перила, Брунельда от злости на соседей легонько топнула ногой, Карл почувствовал ее колени. Наконец какой-то ответ

все же последовал, но одновременно с этого заполненного людьми балкона донесся громкий взрыв смеха. Деламарш выкрикнул что-то в их сторону так громко, что, не будь сейчас на улице такого шума, все вокруг поневоле с удивлением прислушались бы. Во всяком случае, реплика Деламарша действие возымела — смех резко оборвался.

— Завтра в нашем округе состоятся выборы судьи, и внизу как раз несут одного из кандидатов, — сказал Деламарш, совершенно спокойно вернувшись к Брунельде. — Да! — воскликнул он затем, ласково похлопав Брунельду по спине. — Мы уж вовсе знать не знаем, что творится в мире.

— Деламарш, — сказала Брунельда, возвращаясь опять к поведению соседей, — я бы с радостью переехала отсюда, не будь это столь утомительно! К сожалению, я на такое не способна. — И, часто и громко вздыхая, она рассеянно и беспокойно потербила рубашку Карла, который старался как можно незаметнее избежать прикосновения ее маленьких жирных ручек, что с легкостью ему удалось, так как Брунельда не обращала на него внимания, занятая совсем другими мыслями.

Но вскоре и Карл забыл о Брунельде и уже словно бы не чувствовал тяжести ее рук на своих плечах, потому что его увлекли события на улице. По команде группки жестикулирующих мужчин, маршировавших впереди кандидата, — их указания, должно быть, имели особую важность, ибо со всех сторон к ним тянулись сосредоточенные лица, — все неожиданно остановилось перед ресторанчиком. Один из этих важных субъектов, вскинув руку, подал знак — и толпе, и кандидату. Толпа смолкла, а кандидат после нескольких неудачных попыток встать на плечах своего носильщика произнес небольшую речь, время от времени резко взмахивая цилиндром. Это было видно совершенно отчетливо, ведь, пока он говорил, прожекторы были направлены на него, так что он находился в перекрестье световых конусов.

Вот теперь стало ясно, с каким интересом вся улица воспринимает это событие. На балконах, занятых сторонниками кандидата, начали нараспев скандировать его имя и, высунув далеко сквозь решетку руки, дружно рукоплескать. На остальных же балконах — их было, пожалуй, большинство — раздалось еще более громкое

пение, впрочем не единодушное, поскольку это были приверженцы разных кандидатов. Затем все противники присутствующего кандидата объединились в общем свисте, а кое-где, причем во многих местах, снова запустили граммофоны. Между отдельными балконами вспыхивали политические споры, особенно возбужденные ввиду позднего времени. Большинство уже были в ночной одежде и только накинули пальто, женщины кутались в большие темные шали; безнадзорные дети — страшно смотреть! — карабкались по балконным перелетам и во все возрастающем количестве выбегали из темных комнат, где совсем было заснули. То тут, то там горячие головы швыряли в своих противников какие-то предметы, иногда они попадали в цель, но по большей части падали вниз, на улицу, зачастую вызывая яростные вопли. Когда руководителям манифестации шум надоедал, они тотчас отдавали приказ трубачам и барабанщикам, и оглушительный, мощный, бесконечный сигнал перекрывал все человеческие голоса, поднимаясь до самых крыш. Затем совершенно внезапно — трудно даже поверить — они смолкали, после чего явно натренированная толпа оглашала притихшую на мгновение улицу своим партийным гимном — в свете прожекторов видны были широко открытые рты, пока опомнившиеся противники не принимались с удесятеренною силой вопить с балконов и из окон и нижняя партия после кратковременной победы над верхней не умолкала совершенно.

— Как тебе это нравится, малыш? — спросила Брунельда, которая так и этак вертелась за спиной у Карла, чтобы разглядеть все в бинокль. Карл в ответ лишь кивнул головой. Он заметил, как Робинсон что-то с жаром рассказывал Деламаршу — очевидно, о поведении Карла, — но Деламарш, похоже, не придавал этому значения, потому что, правой рукой обнимая Брунельду, левой старался отодвинуть ирландца в сторону. — Не хочешь ли посмотреть в бинокль? — спросила Брунельда и хлопнула Карла по груди, показывая, что имеет в виду именно его.

— Я и так вижу, — ответил он.

— Все-таки попробуй, с биноклем гораздо лучше.

— У меня хорошее зрение, — ответил Карл, — я все вижу.

Когда она приблизила бинокль к его глазам, он принял это не как любезность, а как помеху, хотя она

ведь только и сказала «Вот как!», мелодично, но угрожающе. А бинокль был уже перед глазами Карла, и теперь он действительно ничего не видел.

— Я ничего не вижу,— сказал он и хотел оттолкнуть бинокль, но бинокль Брунельда держала крепко, а сам он отодвинуться не мог, потому что был прижат головой к ее груди.

— Сейчас увидишь,— сказала она, покрутив винт.

— Нет, я по-прежнему ничего не вижу,— ответил Карл и подумал, что, сам того не желая, пришел на помощь Робинсону, так как свои несносные капризы Брунельда вымещает теперь на нем.

— Когда ж ты наконец увидишь? — воскликнула она, пыхтя ему в лицо и все накручивая винт бинокля.— Ну а теперь?

— Нет, нет, нет! — крикнул Карл, хотя на сей раз, пусть и не очень ясно, мог все различить. Как раз в это время Брунельда, переключив внимание на Деламарша, перестала прижимать бинокль к глазам Карла, и он мог незаметно для нее смотреть на улицу поверх бинокля. А потом она и вовсе оставила его в покое и принялась смотреть в бинокль сама.

Внизу из ресторанчика вышел официант и торопливо засновал взад-вперед, принимая заказы руководителей манифестации. Видно было, как он, приподнявшись на носки, заглядывает внутрь ресторана, стараясь подозвать как можно больше своих коллег. Эти приготовления к большой даровой выпивке отнюдь не мешали выступлению кандидата. Гигант, державший его на плечах, все время потихоньку поворачивался на месте, чтобы донести его речь до всех участников митинга. Кандидат сидел большей частью скорчившись и порывистыми движениями свободной руки и цилиндра старался придать своим словам максимальную убедительность. Но порой, чуть ли не регулярно, его посещало вдохновение, он поднимался, раскинув руки, и обращался уже не к окружавшей его группе, а ко всем собравшимся, к жильцам домов, вплоть до самых верхних этажей, однако же было совершенно ясно, что даже в нижних этажах никто его не слышит, да если бы такая возможность и была, никто слушать не желал, так как в каждом окне и на каждом балконе горланил по меньшей мере один собственный оратор. Тем временем официанты вынесли из ресторана огромный, с бильярдный стол, поднос, уставленный сверкающими наполненными

бокалами. Руководители организовали раздачу, происходившую в форме церемониального марша мимо дверей ресторана. Но хотя бокалы на подносе наполнялись снова и снова, для толпы их не хватало, и двум шеренгам барменов пришлось протискиваться справа и слева от подноса, обслуживая жаждущую толпу. Кандидат, естественно, прервал свою речь и воспользовался паузой, чтобы передохнуть. В стороне от толпы и резкого света прожекторов гигант медленно прохаживался взад-вперед со своей живой ношей, и только несколько ближайших приверженцев сопровождали кандидата и разговаривали с ним, задрав головы.

— Взгляни-ка на малыша,— сказала Брунельда,— ишь как увлекся зрелищем — забыл, где он.— И, захватив Карла врасплох, она обеими руками повернула его к себе и посмотрела прямо в глаза. Но это длилось лишь мгновение, потому что Карл сразу же стряхнул ее руки; раздосадованный, что его ни на минуту не оставляют в покое, и одновременно стгорая от желания выйти на улицу и рассмотреть все вблизи, он теперь изо всех сил старался высвободиться из тисков Брунельды и сказал:

— Пожалуйста, отпустите меня.

— Ты останешься с нами,— заявил Деламарш, не отрывая взгляда от улицы, и лишь вытянул руку, препятствуя уходу Карла.

— Прекрати,— сказала Брунельда и отвела руку Деламарша,— он и так останется.— И она еще сильнее прижала Карла к перилам; ему пришлось бы драться с нею, чтобы освободиться. И даже если бы это ему удалось, чего бы он добился! Слева от него стоял Деламарш, справа — Робинсон, он был форменным образом в плену.

— Радуйся, что тебя не прогоняют,— сказал Робинсон и похлопал Карла рукой, просунув ее под мышкой Брунельды.

— «Прогоняют»? — повторил Деламарш.— Сбежавшего вора не прогоняют, его передают в руки полиции. И если он не уgomонится, завтра утром именно это и произойдет.

С этой минуты зрелище внизу больше не доставляло Карлу удовольствия. Лишь поневоле склонялся он над перилами, так как из-за Брунельды не мог выпрямиться. Снедаемый собственными заботами, он рассеянно смотрел на людей внизу, которые группами человек по два-

дцать подходили к дверям ресторана, расхватывали бокалы, оборачивались, салютовали покуда занятому собой кандидату, выкрикивали партийное приветствие, осушали бокалы и со стуком — здесь, наверху, не слышимым — опускали их на поднос, чтобы уступить место новой, галдящей от нетерпения группе. По распоряжению руководителей оркестр, игравший до сих пор в ресторане, вышел на улицу; громоздкие духовые инструменты сверкали в темной толпе, но звуки музыки тонули в общем шуме. Улица, по крайней мере та ее сторона, где был ресторан, кишела людьми. Они сбегали с горы, откуда Карл утром прибыл на автомобиле, а снизу, от моста, спешили в гору, и даже обитатели близлежащих домов не устояли перед соблазном лично вмешаться в события, на балконах и у окон остались почти везде только женщины и дети, тогда как мужчины толпами выскакивали из подъездов на улицу. Музыка и угощение принесли желанный результат — сборище было теперь достаточно многочисленным, один из руководителей, рядом с которым стояли двое прожектористов, жестом остановил музыку, громко свистнул, после чего из толпы поспешно вынырнул гигант с кандидатом на плечах; толпа расступилась.

Как только он очутился у дверей ресторана, кандидат, снова ярко освещенный прожекторами, начал новую речь. Но теперь обстановка была куда сложнее, носильщик оказался словно в тисках, толпа стояла стеной. Ближайшие сторонники, которые ранее всеми возможными способами старались усилить эффект речи кандидата, теперь с трудом удерживались поблизости от него, человек двадцать из них кое-как цеплялись за гиганта носильщика. Но и этот силач шагу не мог сделать по своему усмотрению, о целенаправленном воздействии на толпу посредством поворотов, продвижения вперед или назад нечего было и думать. Толпа беспорядочно колыбалась, люди буквально лежали друг на друге, прямо никто уже не стоял; из-за притока новой публики число противников кандидата, похоже, значительно увеличилось; гигант долго держался у дверей ресторана, теперь же, словно и не сопротивляясь, позволил толпе нести себя взад-вперед по переулку; кандидат говорил без умолку, но было уже непонятно, разъясняет ли он свою программу или взывает о помощи; если глаза не обманывали, то появился еще один кандидат, и даже несколько, потому что тут и там внезапно вспыхивал свет

и становился виден поднятый над толпой оратор, бледный, размахивающий сжатыми кулаками, поддерживаемый многоголосными криками.

— Что же здесь происходит? — в полном замешательстве спросил Карл у своих караульщиков.

— Как это волнует малыша! — сказала Брунельда Деламаршу и взяла Карла за подбородок, чтобы притянуть к себе его голову. Но он этого не хотел и, из-за событий на улице начисто позабыв всякую осторожность, дернулся так сильно, что Брунельда не только отпустила его, но и отпрянула, совершенно освободив Карла. — Теперь ты насмотрелся достаточно, — сказала она, явно рассерженная поведением Карла, — ступай в комнату, стели постель и приготовь все на ночь. — Она махнула рукой в направлении комнаты. Карл уже который час мечтал об этом и не возразил ни слова. Тут с улицы донесся громкий звон разбитого стекла. Карл, не совладав с собой, быстро подбежал к перилам, чтобы еще разок мельком глянуть вниз.

Противник успешно провел диверсию, притом, пожалуй, решающую: прожекторы сторонников кандидата, яркий свет которых позволял продемонстрировать обществу хотя бы главные события и таким образом держал все более или менее в рамках, были разбиты, все без исключения. Кандидат и его носильщик оказались во власти рассеянного уличного света, который после яркого сияния прожекторов ощущался как крошечная тьма. Сейчас даже приблизительно нельзя было сказать, где находится кандидат, а обманчивость тьмы еще больше усилилась, поскольку снизу, от моста, приближалось еще и мощное, многоголосое пение.

— Разве я не сказала, что ты должен делать! — воскликнула Брунельда. — Поторопись. Я устала, — добавила она и потянулась, подняв руки, отчего ее грудь выпятилась еще больше обычного.

Деламарш, по-прежнему державший Брунельду в объятиях, увлек ее в угол балкона. Робинсон двинулся за ними, чтобы убрать забытые там остатки своего обеда.

Этот благоприятный случай Карлу следовало использовать, сейчас недосуг было глядеть вниз, спустившись на улицу, он разглядит события лучше и обстоятельнее, чем отсюда, сверху. В два прыжка он пересек комнату, озаренную красным светом ночника, но дверь была заперта и ключ вытасчен. Его надо найти, но как это сде-

лать в такой неразберихе и за те краткие, драгоценные секунды, что были в распоряжении у Карла! Сейчас нужно быть уже на лестнице, нужно мчаться и мчаться. А он ищет ключ! Ищет его во всех доступных выдвижных ящиках, на столе, заваленном столовой посудой, салфетками и какой-то начатой выпивкой, в кресле под кучей старой одежды, наваленной в полнейшем беспорядке, ведь ключ вполне мог находиться там, но все напрасно, в конце концов он бросился к действительно вонючему канале, пытаясь нащупать ключ в каком-нибудь уголке или в складке покрывала. Затем прекратил поиски и остановился посреди комнаты. «Наверное, Брунельда прицепила ключ к своему поясу,— подумал он,— там у нее много чего висит, и все поиски напрасны».

Карл на ощупь схватил два ножа и просунул их между створками двери, один сверху, другой снизу, чтобы получить две точки опоры. Едва он надавил на ножи, лезвия, естественно, сломались пополам. Но это и к лучшему, обломками он мог орудовать гораздо увереннее. И он налег изо всех сил, широко разведя руки и упершись ногами в пол, постанывая и внимательно наблюдая за дверью. Замок едва ли будет сопротивляться долго, Карл с радостью почувствовал, что язычок явно поддается медленно, но верно; чтобы на балконе не всполошились, дверь следовало открыть совершенно бесшумно, поэтому Карл действовал с величайшей осторожностью, чуть не уткнувшись в замок носом.

— Смотрите-ка,— услышал он голос Деламарша. Вся тронца стояла в комнате, занавесь за ними была задернута, Карл, должно быть, не услышал их шагов, но, увидев их, выпустил ножи из рук, у него не оказалось даже времени для объяснения или извинения, так как в припадке давно копившейся ярости Деламарш набросился на Карла — развязанный пояс его халата описал в воздухе сложный зигзаг. В последнее мгновение Карл увернулся, он мог бы вытащить ножи из двери и использовать их для защиты, но вместо этого, пригнувшись и подпрыгнув, схватился за широкий воротник халата Деламарша, поднял его, дернул вверх — халат-то был французу велик — и ловко набросил его на голову противника, захватив его совершенно врасплох; тот сначала сослепу замахал руками и неуклюже замолотил кулаками по спине Карла, который, чтобы уберечь лицо, прилип к его груди. Карл терпел удары, хотя и содрогался

от боли, но удары становились сильнее, а как же не терпеть, ведь впереди была победа. Схватив руками голову противника так, что большие пальцы прились как раз против глаз, он толкал его перед собой в гущу мебельного беспорядка и вдобавок старался захлестнуть ноги Деламарша поясом халата, чтобы свалить его с ног.

Поскольку же Карл целиком и полностью был занят Деламаршем, тем более что он чувствовал, как возрастает сопротивление и как жилистое тело врага все больше упирается, он начисто забыл, что Деламарш здесь не один. Но очень скоро ему об этом напомнили: у него вдруг подкосились ноги, которые Робинсон, с криком кинувшись позади Карла на пол, дернул к себе. Вздыхнув, Карл выпустил Деламарша, и тот отпрянул еще на шаг. Брунельда в борцовской стойке возвышалась в центре комнаты и сверкающими глазами наблюдала за схваткой. Словно участвуя в ней, она тяжело дышала, примеривалась прищуренными глазами и медленно замахивалась кулаками. Деламарш рывком сбросил с головы воротник халата, опять получив возможность видеть, и теперь, само собой, пошла уже не борьба, а наказание. Схватив Карла за грудки, он прямо-таки оторвал его от пола и, от презрения даже не посмотрев на него, с такой силой швырнул на находящийся в нескольких шагах шкаф, что Карл в первое мгновение решил, будто резкая боль в спине и голове, вызванная ударом о шкаф, идет от кулаков Деламарша.

— Мерзавец! — услышал он в темноте, заставшей глаза, восклицание француза. И когда он, теряя сознание, упал возле шкафа, в ушах у него эхом звучало: — Ну, погоди!

Когда Карл пришел в себя, в комнате было совсем темно, — вероятно, еще стояла глубокая ночь, только сквозь балконную занавесь проникал слабый лунный свет. Слышалось спокойное посапывание трех спящих — самое громкое принадлежало Брунельде, она и во сне пыхтела, как днем; было, однако, трудноато установить, где находился кто из спящих — вся комната полнилась шумом их дыхания. Немного сориентировавшись, Карл решил обследовать себя и испугался: ведь хотя все тело было сведено от боли, он даже и не думал о том, что мог получить серьезную травму. Теперь он чувствовал тяжесть в голове, и все лицо, шея и грудь под рубашкой были влажны, как от крови. Нужен был свет,

чтобы выяснить, в каком он состоянии, вдруг он искалечен, тогда Деламарш, наверное, охотно его отпустит, но что он будет делать, ведь в таком случае все кончено. Ему припомнился парень с изъеденным носом, и на минуту он закрыл лицо руками.

Потом он невольно обернулся к двери и ощупью на четвереньках пополз туда. Вскоре его пальцы нашарили ботинок, а затем и ногу. Это был Робинсон — кто же еще станет спать не разуваясь? Ему велели устроиться перед дверью, чтобы помешать побегу Карла. Но разве они не заметили, в каком он состоянии? Он пока и не собирался убегать, просто хотел выбраться на свет. Раз через дверь не выйти, остается путь на балкон.

Обеденный стол обнаружился совсем не на том месте, где стоял вечером, канаве, к которому Карл, естественно, приблизился очень осторожно, неожиданным образом оказалось пустым, зато посреди комнаты он наткнулся на высокую, но плотную кучу одежды, одеял, занавесей, подушек и ковров. Сначала он решил, что куча небольшая, вроде той, какую он нашел вечером на канаве, может, это она и свалилась на пол, однако когда пополз дальше, то, к своему удивлению, понял, что тут целый вагон вещей, вероятно вынутых из шкафов, где они хранились днем. Обогнув ползком эту груду, Карл сообразил, что она являет собой импровизированное ложе, на самом верху которого, как он убедился после осторожного ощупывания, отдыхали Деламарш и Брунелда.

Итак, теперь он знал, кто где спит, и поспешил выбраться на балкон. Там, за занавесью, был совершенно иной мир. Он встал на ноги, прошелся несколько раз по балкону в свежем ночном воздухе, в сиянии полной луны. Он посмотрел на улицу — там было тихо, из ресторана еще доносилась музыка, но уже приглушенно, какой-то человек подметал у входа тротуар, в улочке, где вечером среди всеобщего чудовищного гама невозможно было услышать выкрики кандидата, теперь отчетливо слышалось ширканье метлы по мостовой.

На соседнем балконе скрипнул стол — там кто-то сидел и занимался. Это был молодой человек с бородкой клинышком, которую он за чтением все время теребил; читал он, быстро шевеля губами, а сидел лицом к Карлу за маленьким, заваленным книгами столом; снятая со стены лампочка была втиснута между двумя большими книгами и заливала его ярким светом.

— Добрый вечер,— сказал Карл, так как ему почудилось, будто молодой человек взглянул на него.

Но, должно быть, он ошибся, потому что молодой человек, похоже, вовсе не замечал его,— только сейчас, прикрыв рукой глаза, он оторвался от книги, чтобы выяснить, кто это неожиданно с ним поздоровался, но ничего не увидел и в конце концов приподнял лампу и осветил на соседний балкон.

— Добрый вечер,— ответил он наконец, пристально глядя на Карла, и добавил:

— Ну а дальше что?

— Я вам мешаю? — спросил Карл.

— Несомненно, несомненно,— сказал тот и вернул лампу на прежнее место.

Эти слова вообще-то пресекали общение, но Карл все-таки не покинул уголок балкона по соседству с парнем. Молча смотрел он, как тот читает книгу, переворачивает страницы, время от времени листает другие тома, хватаясь за них с молниеносной быстротой, что-то там выверяет и часто делает заметки в тетради, поразительно низко склоняясь к ней лицом.

Может быть, этот человек — студент? Похоже было, что он занимается. Почти так же — давно-давно — Карл сидел за столом в доме родителей и делал уроки, отец же читал газету или занимался бухгалтерией и корреспонденцией какого-нибудь ферейна, а мать шила, высоко поднимая иглу над материей. Чтобы не мешать отцу, Карл держал на столе только тетрадь и письменные принадлежности, а нужные книги размещал справа и слева от себя на креслах. Как спокойно там было! Как редко заходили в ту комнату чужие люди! Еще ребенком Карл любил смотреть, как под вечер мать запирала на ключ дверь квартиры. Она и не догадывается, что Карл дошел до того, что пытается взламывать ножами чужие двери.

И чего ради он учился! Он же все забыл; случись ему продолжить здесь учебу, будет очень и очень трудно. Он вспомнил, как однажды дома целый месяц болел; сколько труда стоило потом наверстать упущенное. Теперь он, помимо английского учебника коммерческой корреспонденции, давным-давно не читал ни одной книги.

— Молодой человек,— неожиданно услышал Карл,— вы не могли бы стать в другом месте? Ваш пристальный взгляд ужасно мне мешает. В два-то часа ночи я могу поработать на балконе без помех? Вы чего-нибудь от меня хотите?

— Вы учитесь? — спросил Карл.

— Да, да, — ответил тот и воспользовался этой потерянкой для занятий минуткой, чтобы разложить книги в другом порядке.

— Тогда я не буду вам мешать, — сказал Карл, — и вообще я возвращаюсь в комнату. Спокойной ночи.

Молодой человек даже не ответил, помеха исчезла, и он решительно вернулся к своим книгам, тяжело подперев лоб правой рукой.

Но перед самой занавесью Карл вспомнил, зачем, собственно, вышел на балкон; он ведь так и не выяснил, в каком состоянии находится. Что за тяжесть у него на голове? Он поднял руку и удивился, не обнаружив кровавой раны, как опасался там, в темной комнате, это была всего лишь влажная, похожая на тюрбан повязка. Судя по обрывкам кружева, она была сооружена из старой рваной рубашки Брунельды, и, вероятно, Робинсон небрежно обмотал ее вокруг головы Карла. Только забыл отжать тряпицу, и, пока Карл лежал без сознания, много воды натекло ему под рубашку, нагнав потом страху.

— Вы что, все еще здесь? — спросил молодой человек, взглянув на него.

— Сейчас я на самом деле уйду, — сказал Карл, — я только хотел кое-что рассмотреть, в комнате слишком темно.

— Кто вы? — спросил студент, положил ручку в открытую книгу и подошел к перилам. — Как вас зовут? Как вы попали к этим людям? Что вы хотели рассмотреть? Поверните лампочку, чтобы вас было видно.

Карл так и сделал, но, прежде чем ответить, получше задернул занавесь на дверях, чтобы свет не проник в комнату.

— Извините, — сказал он затем шепотом, — что я так тихо говорю. Если меня услышат там, снова будет скандал.

— Снова? — спросил тот.

— Да, — сказал Карл, — вот только что, вечером, я крупно с ними повздорил. И, похоже, заработал на этом порядочную шишку. — Он ощупал затылок.

— Отчего же вы повздорили? — спросил студент и, так как Карл сразу не ответил, добавил: — Мне вы можете спокойно доверить все, что у вас на сердце против этих господ. Я ненавижу всю эту троицу, и особенно — вашу мадам. Меня, впрочем, весьма удивило бы, если

бы вас уже не натравили на меня. Я — Йозеф Мендель, студент.

— Да, — сказал Карл, — мне о вас рассказывали, но ничего дурного. Вы, кажется, как-то лечили госпожу Брунелльду, не правда ли?

— Совершенно верно, — засмеялся студент. — Канапе-то еще воняет?

— О да.

— Приятно слышать, — сказал студент и пригладил волосы. — И за что же вам наставили шишек?

— Мы повздорили, — повторил Карл, размышляя о том, как объяснить студенту случившееся. Затем прервал свои мысли и продолжил: — Я вам не мешаю?

— Во-первых, вы мне уже помешали, а я, к сожалению, очень нервный, и, чтобы успокоиться, мне нужно время. С той минуты, как вы появились на балконе, мои занятия стоят на месте. Во-вторых, в три часа я всегда делаю перерыв. Так что рассказывайте. Мне даже интересно.

— Все очень просто, — начал Карл. — Деламарш хочет, чтобы я стал его слугой. А я не хочу. Я бы с радостью ушел сегодня же вечером. Но он не отпустил меня, запер дверь, я пытался ее взломать, и из-за этого случилась потасовка. И на беду, я все еще здесь.

— Что же, у вас есть другое место? — спросил студент.

— Нет, — ответил Карл, — но это неважно, главное — убраться подальше отсюда.

— Как это «неважно»? — сказал студент.

С минуту оба молчали.

— Отчего же вы не хотите остаться с этими людьми? — продолжал студент.

— Деламарш — плохой человек, — сказал Карл, — я давно его знаю. Однажды прошагал с ним вместе целый день и был рад распрощаться. И теперь я должен стать у него слугой?

— Если б все слуги были столь привередливы, выбирая хозяев! — воскликнул студент и словно бы усмехнулся. — Видите ли, днем я — продавец, самый-самый младший продавец, скорее, даже мальчик на побегушках в универсальном магазине Монтли. Этот Монтли, вне всякого сомнения, мошенник, но это меня совершенно не волнует, свирепею я только оттого, что платят мне сущие гроши. Так что берите пример с меня.

— Как? — удивился Карл.— Днем вы — продавец, а по ночам учитесь?

— Да, другого выхода нет. Я уже испробовал все варианты, но этот все-таки самый лучший. Несколько лет назад я только учился, днем и ночью, и вы знаете, я почти умирал с голоду, спал в старой грязной клетушке, а костюм у меня был такой, что боязно войти в аудиторию. Но это — дело прошлое.

— Но когда же вы спите? — Карл удивленно посмотрел на студента.

— Да уж, сплю! Спать я буду, когда завершу образование. А пока пью черный кофе.— И он повернулся, вытащил из-под столика большую бутылку, налил из нее в чашечку кофе и быстро опрокинул в рот, так глотают лекарство, чтобы не ощутить его вкуса.— Черный кофе — отличная штука. Жаль, вы так далеко, не могу передать вам чашечку.

— Я не люблю черный кофе,— сказал Карл.

— Я тоже,— сказал студент и засмеялся.— Но что бы я без него делал? Без черного кофе Монтли меня и секунды держать бы не стал. Я постоянно говорю «Монтли», хотя он, конечно, и не догадывается о моем существовании. Я совершенно не представляю, как бы вел себя на работе, если бы там, в конторке, у меня не была запасена точно такая же большая бутылка, как эта,— я еще ни разу не рискнул обойтись без кофе, но, поверьте, без него я бы мигом заснул за конторкой. К сожалению, там это заметили и прозвали меня Черный Кофе, идиотская шутка, которая, безусловно, вредит моей карьере.

— И когда же вы кончите учиться? — спросил Карл.

— Дело продвигается медленно,— ответил студент, опустив голову. Он отошел от перил и опять уселся за стол; облокотясь на открытую книгу и взъерошив пальцами волосы, он продолжил: — Еще года два.

— Я тоже собирался учиться,— сказал Карл, словно это обстоятельство дает ему право на еще большее доверие, чем то, какое оказал ему умолкший студент.

— Так,— буркнул студент, и было не совсем ясно, то ли он опять читает книгу, то ли просто рассеянно глядит в пространство,— радуйтесь, что у вас с этим не вышло. Я, собственно говоря, уже который год учусь только по привычке. Удовлетворения я получаю мало, а видов на будущее у меня и того меньше. Да и какие могут быть перспективы: в Америке полным-полно докторов-шарлатанов.

— Я хотел стать инженером,— поспешно сказал Карл студенту, хотя тот, похоже, совсем его не слушал.

— А теперь должны прислуживать этим людям,— студент на миг поднял взгляд,— и вам это, конечно, обидно.

Вывод студента был вообще-то не вполне правильным, но, пожалуй, Карл мог использовать его себе во благо. Поэтому он спросил:

— А для меня не найдется, случайно, местечка в универсальном магазине?

Этот вопрос окончательно оторвал студента от книги: мысль, что он мог бы посодействовать Карлу в поисках работы, совершенно не приходила ему в голову.

— Попробуйте,— сказал он,— но лучше и не пытайтесь. То, что я получил место у Монтли, поныне остается самой большой удачей в моей жизни. Если бы пришлось выбирать между учебой и работой, я, бы, конечно, выбрал работу. Просто я стараюсь не допустить необходимости такого выбора.

— Значит, место там получить трудно,— сказал Карл больше самому себе.

— А вы как думали — здесь легче стать окружным судьей, чем швейцаром у Монтли.

Карл промолчал. Этот студент, куда более опытный, чем он, и по каким-то еще неизвестным Карлу причинам навлекший на себя ненависть Деламарша, однако же не желающий Карлу ничего худого, ни словом не одобрил его желание покинуть Деламарша. А ведь он пока знать не знал об опасности, грозившей Карлу от полиции, только Деламарш и спас его кое-как.

— Видели вечером манифестацию внизу? Да? Если не знать ситуации, можно подумать, что этот кандидат, Лобтер его зовут, имеет какие-то шансы или, по крайней мере, его можно принять в расчет, верно?

— Я не разбираюсь в политике,— сказал Карл.

— Это большой изъян,— сказал студент.— Но уши и глаза у вас все-таки есть. Несомненно, у этого человека есть друзья и враги, вы наверняка поняли. А теперь прикиньте: по-моему, у него нет ни малейшего шанса на победу. Я случайно все о нем знаю, тут у нас живет один его знакомый. Он — человек не без способностей и, учитывая его политические взгляды и политическое прошлое, был бы для этого округа самым подходящим судьей. Но никто и не подумает его выбирать, он великолепно-шим образом провалится, выбросит на предвыборную

кампанию свои последние доллары, тем все и кончится.

Некоторое время Карл и студент молча смотрели друг на друга. Студент с улыбкой кивнул и потер рукой усталые глаза.

— Ну что, вы все еще не намерены идти спать? — спросил он затем. — Мне опять пора заниматься. Взгляните, сколько мне еще нужно проработать. — И он быстро перелистал полкниги, чтобы дать Карлу представление о работе, которая его ожидает.

— В таком случае покойной ночи, — сказал Карл и поклонился.

— Заходите как-нибудь сюда к нам, — сказал студент, опять усевшийся за стол, — конечно, если будет охота. Здесь вы всегда найдете большую компанию. С девяти до десяти вечера у меня тоже найдется для вас время.

— Значит, вы советуете мне остаться у Деламарша?

— Обязательно, — сказал студент и тут же склонился над книгами. Казалось, это слово произнес вовсе не он, а куда более низкий голос, который по-прежнему звучал в ушах Карла. Он медленно пошел к занавеси, бросив еще раз взгляд на соседа — теперь тот сидел совсем неподвижно, светлое пятно среди огромного моря тьмы, и скользнул в комнату. Его встретило шумное сопение трех спящих. Он ощупью, по стенке, добрался до канале и спокойно вытянулся на нем, будто это было его привычное ложе. Поскольку студент, хорошо знавший Деламарша и здешние обстоятельства, а к тому же человек образованный, посоветовал ему остаться здесь, Карл покуда отбросил опасения. У него не было столь высоких целей, как у студента; кто знает, может, он и дома не сумел бы завершить образование, раз уж это казалось маловероятным на родине, кто может потребовать этого здесь, на чужбине? Однако надежд подыскать место, где он сможет чего-то добиться и где его старания будут по достоинству оценены, здесь, конечно, больше, если он пока согласится служить у Деламарша и тихо-спокойно дожидается благоприятного случая. На этой улице как будто бы много контор средней руки и еще более низкого пошиба, которые, возможно, не слишком разборчивы в подборе персонала. Если уж на то пошло, он охотно поработает посыльным в какой-нибудь конторе, но, ведь в конце концов, вовсе не исключено, что его примут на чисто конторскую службу и в один прекрасный день он, сидя за письменным столом в качестве конторщика, станет время от

времени беззаботно посматривать в открытое окно, вроде как давешний клерк, которого он видел утром в проходном дворе.

Карл закрыл глаза, и ему пришла на ум успокоительная мысль, что он молод и когда-нибудь Деламарш его все-таки отпустит; в самом деле, не похоже, чтобы эта тройца могла долго прожить в согласии. Если же Карл получит однажды должность в конторе, он будет заниматься только своей работой и не станет распыхлять силы, как студент. В случае необходимости он готов работать на контору даже по ночам, что, вероятно, потребует от него на первых порах из-за нехватки коммерческого опыта. Он всецело посвятит себя только интересам фирмы, которым намерен служить, и возьмется за любую работу, даже такую, которую другие служащие сочтут унижительной для себя. Благие намерения переполняли Карла, словно будущий шеф уже стоял рядом с канапе и угадывал их по его лицу.

С такими мыслями Карл уснул, и только раз, когда он начал погружаться в дремоту, ему было помешал мощный вздох Брунельды, она ворочалась на постели, видимо, ей снился кошмар.

Глава последняя

ОКЛАХОМСКИЙ ЛЕТНИЙ ТЕАТР

На углу улицы Карл увидел афишу с надписью: «Сегодня с шести утра и до полуночи на ипподроме в Клейтоне производится набор труппы для Оклахомского театра! Большой оклахомский театр зовет вас! Только сегодня, только один раз! Кто думает о своем будущем — наш человек! Приглашаются все! Кто хочет стать артистом — спеши записаться! В нашем театре всем найдется дело — каждому на своем месте! Решайтесь — мы уже сейчас поздравляем вас с удачным выбором! Но поторопитесь — оформиться надо до полуночи! Ровно в двенадцать прием будет закончен, раз и навсегда! Горе тому, кто нам не верит! Вперед, в Клейтон!»

Народу перед афишей стояло много, но было видно, что соблазняет она мало кого. Афиш было огромное количество, афишам никто не верил. А эта была еще неправдоподобней, чем обычные объявления. Вдобавок у нее был серьезный изъян — она ни словечка не говорила

об оплате. Если бы сумма была мало-мальски приличная, она бы, конечно, стояла в афише — ведь самое заманчивое не забывают. В артисты никто не рвался, но каждый, естественно, хотел получать за работу деньги.

Однако для Карла в этом объявлении таился большой соблазн. «Приглашаются все!» — гласило оно. Все, а значит, и Карл тоже. Было забыто все, чем он занимался до сих пор, и никто не посмеет упрекнуть его за это. Он вправе устроиться на работу, за которую не придется краснеть, более того, на которую приглашают публично! И к тому же опять-таки публично обещают, что примут и его. Он не требовал ничего другого, он только стремился начать солидную карьеру, и здесь, похоже, ему представился такой случай. Пусть велеречивые заверения на афише окажутся ложью, пусть Большой оклахомский театр окажется маленьким бродячим цирком — там берут людей на работу, и этого достаточно. Карл не стал перечитывать афишу, отыскал только фразу: «Приглашаются все!» Путь был утомительный, три часа, не меньше, и, скорее всего, явится он как раз, чтобы узнать, что все вакантные места уже заняты. Конечно, судя по рекламе, людей принимали в неограниченном количестве, но объявления о найме всегда составляются в подобном стиле. Карл понимал, что должен либо отказаться от этой возможности, либо ехать. Он пересчитал свои деньги; если бы не эта поездка, их хватило бы на восемь дней; он побренчал мелочью. Какой-то человек, наблюдавший за ним, хлопнул его по плечу и сказал:

— Желаю удачи в Клейтоне.

Карл молча кивнул, продолжая свои подсчеты. Но вскоре он решил, выделил деньги на поездку и побежал к метро. Когда он вышел в Клейтоне, то сразу же услышал звуки фанфар. Ужасная какофония, трубы вопили несогласно, вразнобой, кто во что горазд. Но Карла это не тревожило, напротив, убедило в том, что Оклахомский театр — заведение солидное. Когда же он вышел из станционного здания, его взору открылась картина, превзошедшая все его ожидания, и он просто не мог взять в толк, как это фирма идет на такие расходы лишь для набора труппы. У входа на ипподром был сооружен низкий длинный помост, на котором сотни красоток, наряженных ангелами, в белых балахонах, с большими крыльями за спиной, трубили в сверкающие золотом трубы. И стояли они не прямо на помосте, у каждой был свой пьедестал,

которого не было видно, потому что его полностью закрывало длинное развевающееся ангельское одеяние. А так как пьедесталы были очень высоки, вероятно до двух метров, фигуры женщин выглядели колоссальными, только их маленькие головки несколько портили это впечатление, да и распущенные волосы, свешиваясь между крыльями и по бокам, казались слишком короткими и едва ли не смешными. Чтобы избежать однообразия, пьедесталы сделали разными по размеру: одни женщины казались совсем обычного роста, а другие, тут же рядом, были вознесены на такую высоту, что, глядя на них, страшно становилось — вдруг ветром сдует. И все эти женщины дули в трубы.

Зрителей было немного. Десяток парней, невысоких по сравнению с этими огромными фигурами, расхаживали взад-вперед перед помостом, то и дело поглядывая вверх. Они показывали друг другу на женщин, но, кажется, вовсе не собирались входить и записываться в труппу. Из людей постарше обнаружился один-единственный мужчина, он стоял чуть поодаль и привел с собой жену и ребенка в коляске. Женщина одной рукой держалась за ручку коляски, другой — за плечо мужа. Они хотя и любовались зрелищем, однако были все же заметно разочарованы. Вероятно, они тоже рассчитывали получить работу, но эта трубная какофония сбила их с толку. Карл был в таком же положении. Он приблизился к мужчине, еще немного послушал фанфары и спросил:

— Это здесь принимают в Оклахомский театр?

— Я тоже так думал, — сказал мужчина, — но мы ждем здесь уже целый час и ничего не слышали, кроме этих труб. Нигде не видно ни рекламы, ни глашатая, никого, кто может дать хоть какие-нибудь справки.

— Наверно, — сказал Карл, — ждут, когда соберется побольше народу. Ведь людей действительно очень мало.

— Возможно, — буркнул мужчина, и они опять замолчали. Да и в реве фанфар трудно было разбирать слова. Но затем женщина шепнула что-то своему мужу, он кивнул, и она тут же крикнула Карлу:

— Вы не могли бы сходить на ипподром и спросить, где тут принимают на работу?

— Могу, — сказал Карл, — но в таком случае мне придется идти через помост, между ангелами.

— Это так трудно? — спросила женщина.

Ей казалось, что Карлу это сделать легко, а посылать своего мужа она не хотела.

— Ладно,— сказал Карл,— схожу.

— Вы очень любезны.— Женщина следом за мужем пожала Карлу руку.

Парни сбежались в кучку, чтобы посмотреть, как Карл поднимается на помост. Ангелы словно бы затрубили громче, приветствуя первого претендента. Те же, мимо которых проходил Карл, отнимали мундштуки от губ и даже оборачивались, следя за продвижением Карла. На противоположном конце помоста Карл увидел беспокойно прохаживающегося взад-вперед человека, который, по-видимому, только и ждал, чтобы снабдить кого-нибудь любого рода сведениями. Карл хотел было подойти к нему, как вдруг услышал, что кто-то зовет его по имени.

— Карл! — кричал ангел.

Карл поднял голову и рассмеялся от радостной неожиданности. Это была Фанни.

— Фанни! — воскликнул он, приветственно взмахнув рукой.

— Иди же сюда! — крикнула Фанни.— Ты ведь не пройдешь мимо! — И она распахнула балахон так, что стали видны постамент и узкая лестничка, ведущая наверх.

— А можно ли подняться? — спросил Карл.

— Кто запретит нам пожать друг другу руки! — крикнула Фанни и сердито огляделась, не идет ли сюда этакий запретитель. А Карл уже взбирался вверх по лестничке.

— Не спеши! — предупредила Фанни.— Постамент опрокинется вместе с нами обоими.— Но ничего не случилось, Карл благополучно одолел последнюю ступеньку.— Только взгляни,— сказала Фанни, когда они поздоровались,— только взгляни, что за работу я получила.

— Замечательно,— ответил Карл и огляделся. Все женщины поблизости уже обратили внимание на Карла и захихикали.— Ты чуть не самая высокая,— сказал Карл и вытянул руку, чтобы прикинуть высоту других.

— Я тебя сразу заметила,— сказала Фанни,— как только ты вышел из станции, но, увы, я здесь в последнем ряду, меня не видно, и крикнуть я тоже не могла. Правда, я затрубила погромче, но ты меня не увидел.

— Вы все плохо играете,— заметил Карл,— дай-ка я попробую.

— Пожалуйста,— сказала Фанни и протянула ему трубу,— только не расстрой оркестра, иначе меня уволят.

Карл начал трубить; он думал, что у них обыкновенные плохонькие трубы, предназначенные лишь для шумовых эффектов, но оказалось, что эти инструменты способны вывести почти любые рулады. Если они такого качества, то здесь над ними просто издеваются. Не обращая внимания на окрестный шум, Карл громко затрубил мелодию, слышанную когда-то в одном кабаке. Он радовался, что встретил старую знакомую, что не в пример другим ему дозволено сыграть здесь на трубе и что вскоре он, наверно, получит хорошее место. Многие ангелы перестали трубить и прислушались; когда он внезапно оборвал мелодию, гремела едва ли половина инструментов, и только мало-помалу они зашумели с прежней силой.

— Да ты артист,— сказала Фанни, когда Карл вернул ей трубу.— Поступай к нам трубачом.

— Мужчин тоже берут? — удивился Карл.

— Да,— сказал Фанни,— мы играем два часа. Потом нас сменяют мужчины, переодетые чертями. Половина трубит, половина барабанит. Здорово, и вообще весь антураж тут ого-го. Мы-то вон как разряжены! Одни крылья чего стоят! — Она оглядела себя.

— Ты полагаешь,— спросил Карл,— я тоже смогу получить место?

— Непременно,— ответила Фанни,— это же крупнейший театр в мире. Какая удача, мы снова будем вместе! Впрочем, все зависит от того, какую работу ты получишь. Ведь вполне возможно, что, даже работая здесь, мы все-таки видеться не сумеем.

— Неужели театр и впрямь так велик? — спросил Карл.

— Крупнейший в мире,— еще раз сказала Фанни.— Правда, сама я его еще не видела, но кое-кто из девушек — мои коллеги, побывавшие в Оклахоме, говорят, что ему просто конца-краю нет.

— А записывается мало кто,— заметил Карл, показывая вниз на парней и маленькое семейство.

— Верно. Но учти, мы набираем людей во всех городах, наша вербовочная группа постоянно разъезжает, и таких групп еще много.

— Разве театр еще не открыт? — спросил Карл.

— Конечно, открыт,— ответила Фанни,— театр старый, но он постоянно расширяется.

— Меня удивляет,— сказал Карл,— что люди совсем не рвутся к вам.

— Да, странно,— согласилась Фанни.

— Может быть, это обилие ангелов и чертей скорее отпугивает, чем привлекает?

— Кто ж его знает,— отозвалась Фанни,— и это не исключено. Скажи нашему шефу, может, это ему пригодится.

— Где он?

— На ипподроме, на судейской трибуне,— сказала Фанни.

— И это меня удивляет,— сказал Карл,— почему набор людей организован на ипподроме?

— Ну,— сказала Фанни,— мы везде тщательно готовимся к самому большому наплыву. А на ипподроме как раз просторно. И во всех киосках, где обыкновенно заключаются пари, оборудованы приемные пункты. Их, говорят, штук двести.

— Однако! — воскликнул Карл.— Неужели у Оклахомского театра такие большие доходы, что он может поддержать подобные вербовочные отряды?

— Разве это наша забота? — ответила Фанни.— Теперь ступай, Карл, пока не опоздал, а мне опять нужно трубить. Постарайся в любом случае получить место в этой труппе и не забудь сразу же сообщить мне об этом. А то я ведь от тревоги измучаюсь.

Она сжала ему руку, призвала к осторожности при спуске, вновь поднесла трубу к губам, но не заиграла, пока не увидела Карла внизу целым и невредимым. Карл снова накрыл лестничку ангельским облачением, как было раньше, Фанни поблагодарила его кивком, и Карл, так и этак размышляя об услышанном, направился к мужчине, который уже высмотрел его наверху возле Фанни и теперь поджидал неподалеку от поста-мента.

— Хотите поступить к нам? — спросил мужчина.— Я заведую кадрами в этой труппе и горячо вас приветствую.— Как бы из вежливости он стоял, слегка склонившись вперед, все время пританцовывал на месте и поигрывал часовой цепочкой.

— Благодарю,— сказал Карл,— я прочитал объявление вашей фирмы, вот и пришел записаться.

— Вы совершенно правильно поступили,— одобрил мужчина.— К сожалению, не каждый столь благоразумен, как вы.

Карл хотел было сказать, что зазывная реклама не действует, причем как раз в силу своей грандиозности. Но промолчал, ведь этот человек был вовсе не руководитель труппы, а кроме того, пристало ли ему, еще не принятому на работу, соваться со своими предложениями. Поэтому он лишь заметил:

— За помостом ждет еще один желающий поступить к вам, он-то и послал меня вперед. Вы позволите привести его?

— Конечно, чем больше придет людей, тем лучше.

— У него с собой жена и младенец в коляске. Им тоже прийти?

— Конечно,— ответил человек, словно бы усмехнувшись сомнениям Карла.— У нас всем дело найдется.

— Я тотчас вернусь,— сказал Карл и побежал к краю помоста. Жестом он подозвал супружескую пару и крикнул, что всем можно подойти. Он помог поднять на помост коляску, и они зашагали вместе.

Парни, увидев это, посовещались, а затем нерешительно, руки в брюки, тоже поднялись на помост и в конце концов последовали за Карлом и семейством. Из станции подземки вышли новые пассажиры и, увидев помост с ангелами, в изумлении всплеснули руками. Ну, кажется, теперь претендентов на работу станет побольше. Карл порадовался, что приехал рано, чуть ли не самым первым; супружеская пара оробела и все допытывалась, велики ли требования к поступающим. Карл сказал, что пока толком не знает, но у него в самом деле создалось впечатление, что принимают всех подряд. Он считает, что волноваться не стоит. Заведующий кадрами уже шел им навстречу, чрезвычайно довольный, что претендентов так много, потирал руки, легким поклоном приветствовал каждого в отдельности и выстроил всех в одну шеренгу. Карл стоял первым, за ним — супружеская пара и лишь затем — остальные. Когда они построились — парни сначала беспорядочно толкались, и прошло несколько секунд, прежде чем установился порядок,— трубы смолкли, и заведующий сказал:

— От имени Оклахомского театра приветствую вас. Вы пришли рано (хотя время уже близилось к полудню), наплыв пока невелик, поэтому формальности будут скоро закончены. Документы у вас, разумеется, при себе.

Парни тотчас достали из карманов какие-то бумаги и протянули их заведующему, муж толкнул в бок жену, и она вытащила из-под матрасика коляски целую пачку.

документов. У Карла же ничего не было. Вдруг его из-за этого не примут? По опыту Карл знал, что, если действовать решительно, такие правила легко обойти. Это вполне возможно. Заведующий обозрел шеренгу, удостоверился, что документы есть у всех, а поскольку Карл тоже поднял руку, естественно пустую, он решил, что с ним тоже все в порядке.

— Хорошо,— сказал шеф и жестом остановил парней, хотевших тут же развернуть свои бумаги,— документы проверяют в приемных пунктах. Как вы поняли из нашего объявления, мы найдем дело каждому. Но, естественно, нам надо знать вашу прежнюю профессию, с тем чтобы определить на соответствующее место, где вы могли бы использовать свои навыки.

«Ведь это театр»,— подумал Карл с сомнением и стал слушать очень внимательно.

— Для этого,— продолжал заведующий кадрами,— мы оборудовали в букмекерских конторках приемные пункты: каждая — для одной профессиональной группы. Итак, каждый назовет мне сейчас свою профессию; семейство определится по профессии мужа. Затем я отведу вас в приемные пункты, где для начала проверят ваши документы, а также ваши профессиональные знания, проверка совсем коротенькая, бояться не стоит. После этого вас сразу оформят и снабдят дальнейшими инструкциями. Итак, начнем. Первый пункт, как значится на табличке, предназначен для инженеров. Среди вас, может, есть инженер?

Карл выступил вперед. Он считал, что, раз у него нет документов, нужно покончить со всеми формальностями как можно быстрее; у него имелось даже крохотное обоснование своего шага, ведь он хотел стать инженером. Но когда парни увидели, что Карл выступил вперед, то от зависти тоже сказались инженерами,— вперед выступили все. Шеф по кадрам выпрямился и спросил парней:

— Вы действительно инженеры?

Тогда все они медленно опустили руки, Карл же стоял на своем. Шеф, правда, посмотрел на него недоверчиво, поскольку Карл был очень уж плохо одет, да чересчур молод для инженера, однако ничего не добавил — может быть, из благодарности за то, что Карл, по крайней мере по его мнению, привел ему кандидатов. Он только сделал приглашающий жест в сторону приемного пункта, и Карл направился туда, тогда как шеф занялся остальными.

В канцелярии для инженеров за прямоугольной конторкой сидели два господина, сверяя огромные списки, лежавшие перед ними. Один читал вслух, а другой отчеркивал названные имена в своем списке. Когда Карл, войдя, поздоровался, они тотчас отложили списки, достали грессбухи и раскрыли их.

Один, по-видимому писарь, сказал:

— Прошу ваши документы.

— К сожалению, у меня нет их при себе,— ответил Карл.

— У него нет их при себе,— сказал писарь другому господину и тут же записал ответ в свою книгу.

— Вы инженер? — спросил тогда второй, с виду начальник.

— Пока еще нет,— быстро сказал Карл,— но...

— Достаточно,— еще быстрее сказал господин,— в таком случае вы к нам отношения не имеете. Извольте обратить внимание на табличку.— Карл стиснул зубы, по-видимому заметив это, тот продолжил: — Вы не волнуйтесь. Мы для всех дело найдем.— И он подозвал служителя, праздно расхаживавшего между барьерами: — Отведите этого господина в приемный пункт для кандидатов с техническим уклоном.

Служитель понял приказ дословно и схватил Карла за руку. Они прошли между многочисленными киосками, в одном из них Карл увидел парня, который уже был принят и благодарно жал руку какому-то господину. В канцелярии, куда привели Карла, процедура была примерно такая же, как и в первой, он догадался правильно. Только отсюда, едва услышав, что он посещал среднюю школу, его направили в приемный пункт для бывших учеников средней школы. Но когда Карл сообщил там, что учился в Европе, ему сказали, что он и здесь не по адресу, и велели идти в бюро для школьников-европейцев. Оно располагалось на дальнем краю и было не просто меньше, но и ниже других. Служитель, приведший сюда Карла, рассвирепел из-за долгих хождений и многочисленных отказов, виноват в которых, по его мнению, был один только Карл. Он не стал дожидаться новых вопросов, а сразу удрал. Да, в общем, и идти отсюда было больше некуда — последняя инстанция. Увидев здешнего начальника, Карл прямо-таки перепугался — до того он был похож на некоего преподавателя, который, быть может, и сейчас еще работает в реальном училище у него на родине. Впрочем, сразу же выяснилось, что сходство

заклучалось только в деталях, но очки на коротком носу, светлая, на диво холеная окладистая борода, чуть сутулая спина и неожиданно громкий голос еще некоторое время держали Карла в напряжении. К счастью, от него не требовалось особой сосредоточенности, так как здесь все было проще, чем в других пунктах. Хотя и тут записали, что у него нет документов, и начальник назвал это непонятной небрежностью, однако писарь, распорядившись здесь, быстро перешел к другим проблемам и после двух-трех кратких вопросов начальника сказал Карлу, что он принят. Начальник, собиравшийся как раз задать вопрос потруднее, с открытым ртом повернулся к писарю, но тот жестом показал, что дело сделано, сказал: «Принят» — и зафиксировал решение в гроссбухе. Писарь явно считал, что быть учеником европейской средней школы — обстоятельство настолько постыдное, что каждому, кто себя таковым называет, можно сразу и поверить. В свою очередь Карл ничего не имел против такого поворота событий, он подошел к писарю и хотел поблагодарить его. Но случилась еще маленькая заминка, когда его спросили насчет имени. Карл ответил не сразу, он робел назвать свое подлинное имя и позволить зарегистрировать его. Вот когда он получит хоть самую маленькую должность и будет удовлетворительно с нею справляться, настанет пора узнать его настоящее имя, но не теперь; слишком долго он его скрывал, чтобы выболтать сейчас. Однако в голову ничего не приходило, поэтому он назвал прозвище со своего последнего места:

— Негро.

— Негро? — переспросил начальник, повернул голову и скорчил гримасу, словно это был уже предел недостовренности.

Писарь тоже некоторое время испытующе глядел на Карла, но затем повторил:

— Негро,— и записал.

— Надеюсь, вы все-таки не «Негро»? — спросил начальник.

— Именно так и записал — Негро,— спокойно откликнулся писарь и взмахнул рукой: дескать, давайте дальше.

Начальник взял себя в руки, встал и проговорил:

— Итак, вы теперь... Тут он осекся, не в силах пойти против своей совести, сел и сказал: — Его зовут не Негро.

Писарь приподнял брови, тоже встал и объявил сам: — Итак, я вам сообщаю, что вы приняты в Оклахомский театр и сейчас вас представят нашему руководству.

Снова крикнули служителя, который повел Карла к судейской трибуне.

У лестницы Карл увидел детскую коляску, и тотчас вниз сошла супружеская пара, женщина с ребенком на руках.

— Вас приняли? — спросил мужчина, он был гораздо оживленнее, чем раньше; женщина тоже улыбалась из-за его плеча. Когда Карл ответил, что только что принят и идет представляться, мужчина сказал:

— В таком случае поздравляю. Нас тоже приняли. Предприятие, похоже, солидное, конечно, сразу ко всему не прилькнешь, но ведь оно повсюду так.

Они еще сказали друг другу «До свидания», и Карл поднялся на трибуну. Он шел медленно, так как небольшая площадка наверху была переполнена людьми и он не хотел толкаться. Он даже приостановился и обвел взглядом скаковое поле, вдали со всех сторон окруженное лесом. Его охватило желание хотя бы раз увидеть скачки, в Америке ему еще не представлялось такого случая. В Европе его, маленького мальчика, однажды брали на бега, но он запомнил только, как они с матерью протискивались между людьми, не желавшими уступить дорогу. Короче говоря, бегов он до сих пор вообще не видел. Сзади затрещал какой-то механизм, Карл обернулся и прочел на табло, где обычно значились имена победителей в скачках, следующую надпись: «Торговец Карла с женой и ребенком». Значит, таким вот образом канцеляриям сообщались имена принятых.

В это время несколько мужчин, оживленно разговаривая, с карандашами и блокнотами в руках, сбежали вниз по лестнице; Карл отступил к перилам, чтобы пропустить их, и поднялся наверх — место там теперь освободилось. В углу огражденной деревянными перилами площадки — она была похожа на плоскую крышу узкой башенки, — раскинув руки вдоль перил, сидел человек, у которого через плечо была переброшена широкая белая шелковая лента с надписью: «Шеф десятой вербовочной группы Оклахомского театра». Рядом с ним на столике — телефон, использовавшийся, вероятно, и во время скачек — с его помощью шеф, очевидно, еще до личного представления получал все необходимые сведения о претендентах, так как поначалу он не задал Карлу ни одного вопроса,

а сказал господину, который, скрестив ноги и поглаживая рукой подбородок, прислонился рядом к перилам: — Негро учился в европейской средней школе.— И, словно уже и не видя низко кланяющегося Карла, скользнул взглядом вниз по лестнице — не идет ли кто-нибудь еще. Но поскольку никто не шел, он стал временами прислушиваться к разговору другого господина с Карлом, но большей частью поглядывал на скаковое поле и постукивал пальцами по перилам. Эти тонкие и все же сильные, длинные и проворные пальцы нет-нет да и отвлекали внимание Карла, занятого беседой с другим господином.

— Вы были безработным? — спросил тот для начала. Этот вопрос, да и почти все остальные, которые он задавал, были очень просты, совершенно безобидны, и полученные ответы дополнительно не уточнялись; и тем не менее уже сама манера задавать эти вопросы, пристально изучать собеседника, наблюдать, чуть склонившись вперед, за его реакцией, выслушивать ответы, опустив голову на грудь, и время от времени громко их повторять, — сама эта манера говорила о том, что он придает сей процедуре особое значение, правда неясное, но вводившее в замешательство и принуждавшее к осторожности. Карлу частенько хотелось взять свои слова обратно и заменить их другими, быть может более удачными, однако он сдерживался, так как знал, сколь плохое впечатление производит подобная нерешительность и до какой степени вообще непредсказуем эффект его ответов. Вдобавок вопрос о его приеме как будто бы уже решен, сознание этого придавало ему уверенности.

На вопрос, был ли он безработным, Карл ответил коротким «да».

— Ваше последнее место работы? — продолжал господин. Карл хотел было ответить, но тут господин многозначительно поднял указательный палец и повторил: — Последнее!

Карл и без того прекрасно понял и, сочтя, что заключительное восклицание сделано нарочно, чтобы сбить его с толку, тряхнул головой и сказал:

— В одной конторе.

Пока это еще была правда, но если от него потребуют более подробных сведений о конторе, придется врать. Собеседник, однако, не стал этого делать и задал следующий вопрос, на который Карл легко мог ответить, не кривя душой:

— Вы были довольны этой работой?

— Нет! — воскликнул Карл, чуть ли не перебивая его. Краем глаза Карл заметил, что шеф едва заметно улыбнулся, и пожалел о своем опрометчивом восклицании, но слишком уж было заманчиво выкрикнуть это «нет», ведь на последнем месте работы у него все время было одно-единственное огромное желание: чтобы какой-нибудь наниматель-конкурент однажды вошел и задал ему этот вопрос. Впрочем, этот его ответ имел и другой изъян, ведь теперь у него могли спросить, почему он был недоволен. Однако спросили его совсем не об этом:

— К какой работе вы чувствуете склонность?

В этом вопросе, возможно, и в самом деле крылась ловушка; зачем же его иначе задали, если Карл уже принят актером? И хотя он вполне это понимал, тем не менее у него язык не поворачивался сказать, что он видит себя актером. Поэтому он якобы понял вопрос по-своему и ответил уклончиво, рискуя показаться упрямым:

— В городе я прочитал объявление и, поскольку там было написано, что работа найдется для каждого, тоже приехал сюда.

— Это мы знаем, — сказал господин и замолчал, показывая тем самым, что хочет услышать ответ на свой вопрос.

— Меня приняли актером, — робко начал Карл, чтобы намекнуть, в какое сложное положение поставил его злополучный вопрос.

— Верно, — подтвердил господин и опять умолк.

— Нет, — сказал Карл, и все его надежды получить работу пошатнулись, стали зыбкими, — я не знаю, годюсь ли в актеры. Но я постараюсь выполнить любые задания.

Его собеседник повернулся к шефу, оба кивнули; похоже, Карл отвечал правильно — он снова воспрянул духом и теперь спокойно ждал следующего вопроса. А он был вот какой:

— На кого же вы изначально собирались учиться? — Уточняя вопрос — точность этот человек ценил превыше всего, — он добавил: — Я имею в виду — в Европе. — При этом он отнял руку от подбородка и слегка шевельнул ею, словно подчеркивая, как далека Европа и как незначительны некогда намеченные там планы.

Карл сказал:

— Я хотел стать инженером.

Этот ответ он дал через силу, смешно ведь, трезво оценивая свою американскую карьеру, вспоминать здесь о том, что когда-то он хотел стать инженером — да и стал ли бы он им в Европе? — но ничего другого он сказать не мог и поэтому ответил именно так.

Собеседник, однако, воспринял эти слова всерьез, как и все вообще.

— Ну что же,— сказал он,— инженером вы, конечно, сразу стать не можете, но, полагаю, согласитесь до поры до времени выполнять технические работы более низкой квалификации.

— Конечно,— откликнулся Карл, очень довольный; приняв это предложение, он, конечно, передвинется из актерской труппы в состав технического персонала, но, с другой стороны, он куда лучше сумеет зарекомендовать себя на такой работе. Впрочем, повторял он себе снова и снова, характер работы совсем не главное, главное — вообще получить постоянное место.

— Хватит ли у вас сил выполнять тяжелую работу?

— О, да,— ответил Карл.

Засим его попросили подойти ближе и пощупали бицепсы.

— Сильный парень,— сказал тот, кто задавал вопросы, и подтолкнул Карла к шефу. Шеф с улыбкой кивнул, не меняя своей вольготной позы, подал Карлу руку и сказал:

— Что ж, пока все. В Оклахоме вас еще раз дополнительно проверят. Уж вы не подведите нашу вербовочную группу!

На прощание Карл поклонился шефу, хотел попроситься и с другим господином, но тот с сознанием исполненного долга, запрокинув голову, уже прогуливался взад-вперед по площадке. Когда Карл спускался вниз, на табло сбоку от лестницы появилась надпись: «Негро, технический персонал».

Так как все прошло чин чинном, Карл ничего бы не потерял, если бы на табло появилось его настоящее имя. Все было спланировано даже более чем тщательно: у подножия лестницы Карла уже ожидал служитель, прикрепивший к его рукаву повязку. Подняв руку, Карл увидел, что значилось на ней «технический персонал».

Но куда бы теперь Карла ни вздумали направить, в первую очередь он все-таки хотел сообщить Фанни о своей удаче. Однако, к сожалению, он узнал от служителя, что ангелы и черты уже отбыли к очередному месту

назначения вербовочной группы, чтобы разрекламировать там ее прибытие на следующий день.

— Жаль,— сказал Карл; это было первое разочарование на новом месте,— у меня есть знакомая среди ангелов.

— Вы увидите ее в Оклахоме,— утешил его служитель,— а теперь пойдете, вы — последний.

Он повел Карла вдоль задней стороны помоста, на котором раньше располагались «ангелы»; теперь там было только множество пустых постаментов. Предположение Карла, что без «ангельской» музыки претендентов явится куда больше, оказалось ошибочным, так как перед помостом теперь вообще не было взрослых, только несколько ребятишек дрались из-за длинного белого пера, выпавшего, по-видимому, из «ангельского» крыла. Один мальчишка поднял перо вверх, а остальные пытались тычками заставить его опустить руку.

Карл показал на детей, но служитель, даже не взглянув на них, бросил:

— Идете быстрее, очень уж долго вас продержали. Сомневались они, что ли?

— Не знаю,— удивленно ответил Карл, но подумал, что сомневались они вряд ли. Ведь даже если ситуация яснее ясного, всегда найдется такой, что постарается добавить ближнему хлопот. Но, глядя на большую зрительскую трибуну, к которой они сейчас подходили и вид которой ласкал взор, Карл тотчас забыл о замечании служителя. Одну из широких длинных скамеек покрыли белой скатертью, ниже, на другой скамье, спиной к беговому полю сидели и пировали все вновь принятые. Люди были веселы и взволнованны; как раз когда Карл самым последним незаметно уселся на скамью, многие встали, подняв стаканы, и один провозгласил тост за шефа десятой вербовочной группы, которого называли «отец родной». Кто-то заметил, что его можно увидеть и отсюда, и действительно, судейская трибуна с обоими мужчинами возвышалась не слишком далеко. Тотчас все со своими стаканами повернулись туда, и Карл тоже, но, хотя кричали очень громко, усердно стараясь привлечь к себе внимание, ничто на судейской трибуне не указывало на то, что овации замечены. Как и раньше, шеф располагался в углу, а его напарник стоял рядом, подняв руку к подбородку. Несколько разочарованно все опять уселись, поначалу кое-кто еще изредка оборачивался на судейскую трибуну, но скоро люди всецело занялись обильным

угощением, подали крупную птицу. Карл таких никогда не видел — со множеством вилок в хрустящем поджаренном мясе; служители снова и снова наливали вино — пирующие толком и не замечали, увлеченно склонившись над тарелками, а в стакан лилась красная струя; кто не хотел принимать участие в общей беседе, мог посмотреть фотографии Оклахомского театра, сложенные стопкой на дальнем конце импровизированного стола, их передавали из рук в руки. Правда, это мало кого заботило, вот почему до Карла, последнего в ряду, дошел один-единственный снимок. Но, судя по этому снимку, не мешало бы посмотреть все фотографии. На нем была изображена ложа президента Соединенных Штатов. В первую секунду можно было подумать, это не ложа, а сцена — слишком уж широкой дугой выдвигался ее барьер в пространство зала. И был этот барьер сплошь вызолочен. Между изящными, словно искусно вырезанными ножницами балясинами разместился ряд медальонов с изображениями бывших президентов; у одного из них был крупный прямой нос, толстые губы, глаза под выпуклыми веками неподвижно опущены долу. Вокруг ложи, с боков и сверху, струился свет; белые и все же мягкие лучи обнажали переднюю ее часть, тогда как в глубине, за алым бархатом драпировок, живописные складки которых отливали всеми оттенками красного и были подхвачены шнурами, она представляла темно-багряной мерцающей пустотой. Невозможно вообразить, чтобы в этой ложе находились люди, настолько самодовлеющей она выглядела. Карл не забывал о еде, но частенько поглядывал на сию фотографию, лежавшую рядом с его тарелкой.

Вообще-то он с большим удовольствием посмотрел бы хоть еще одну из остальных фотографий, но идти за ней сам не решался, так как служитель держал руку на снимках и, вероятно, старался соблюсти их последовательность; поэтому Карл взглянул по сторонам, чтобы установить, не передают ли вдоль стола еще какую-либо фотографию. И тут он с удивлением — сначала он просто глазам своим не поверил — заметил среди увлеченных едой сотрапезников хорошего знакомого — Джакомо. Тотчас Карл бросился к нему, крича:

— Джакомо!

Тот, робкий, как всегда, когда его захватывали врасплох, оторвался от еды, с трудом повернулся в тесном пространстве между скамейками, вытер рукой рот, но тут же очень обрадовался, увидев Карла, и пригласил его

сесть рядом или перейти обоим на место Карла; им хотелось рассказать все друг другу и больше не разлучаться. Карл не хотел мешать другим, поэтому оба решили пока оставаться на своих местах, обед скоро кончится, и уж тогда, разумеется, их друг от друга не оторвать. Карл все же постоял еще рядом с Джакомо, с удовольствием глядя на него. О, эти воспоминания о прошлом! Где-то теперь старшая кухарка? Что подельывает Тереза? Сам Джакомо внешне почти не изменился, предсказание старшей кухарки, что через полгода он станет сухопарым американцем, не подтвердилось; Джакомо остался хрупким, как раньше, со впалыми щеками; правда, сейчас щеки округлились, так как во рту у него был здоровенный кусок мяса, из которого он не спеша вытаскивал кости и бросал их на тарелку. Как явствовало из надписи на его повязке, в актеры Джакомо тоже не приняли, его наняли лифтером — Оклахомский театр действительно находил работу каждому! Заглядевшись на Джакомо, Карл долго не возвращался на свое место. Когда же он хотел вернуться туда, подошел заведующий кадрами, взгромоздился на расположенную выше скамью, хлопнул в ладоши и произнес короткую речь, во время которой большинство встало, да и оставшихся сидеть, не желавших оторваться от еды, в конце концов тычками тоже подняли на ноги.

— Я хочу надеяться, — сказал шеф по кадрам, Карл меж тем на цыпочках вернулся к своему месту, — что вы довольны нашим угощением. Питание в нашей вербовочной группе вообще хвалят. К сожалению, настало время встать из-за стола, так как поезд, направляющийся в Оклахому, отходит через пять минут. Путь вам предстоит долгий, но вы увидите, что о вас хорошо позаботятся. Сейчас я познакомлю вас с человеком, который будет руководить переездом и которому вы должны повиноваться.

Маленький тощий человечек взобрался на скамью заведующего, небрежно поклонился и, не теряя времени, тотчас принялся бурно жестикулировать, показывая, как нужно собраться, построиться и двинуться в путь. Но куда никто его не слушал, так как тот из новичков, который раньше произносил тост, хлопнул ладонью по столу и начал пространную благодарственную речь, хотя — Карл стоял как на иголках — только что было сказано, что поезд скоро отправляется. Но оратор не обращал внимания даже на то, что заведующий кадрами его не

слушает, а отдает руководителю поездки какие-то распоряжения, он знай себе разглагольствовал, перечислив все поданные блюда, сообщив свое мнение о каждом из них, и в конце концов заключил речь возгласом:

— Почтенные господа! Так завоевывают наше расположение!

Все, кроме тех, кому был адресован этот клич, рассмеялись, но это была не шутка, а скорее факт.

Речь эта не осталась безнаказанной — на вокзал пришлось бежать бегом. Впрочем, это не составляло особого труда, поскольку — Карл только сейчас заметил — багажа ни у кого не было; единственным грузом, по сути, была детская коляска, — ведомая отцом семейства, она подпрыгивала теперь во главе группы. Какие же неимущие, сомнительные личности сошлись здесь — и тем не менее были так хорошо встречены и обогреты! И руководителю поездки не иначе как велено опекать их словно родных детей. Он то хватался одной рукой за ручку коляски, а другую поднимал вверх, ободряя группу, то отбегал в хвост, подгоняя отставших, то спешил вдоль колонны, отыскивая в группе самых медлительных и жестами показывая им, как нужно шагать.

Когда они пришли на станцию, поезд был уже готов к отправлению. Люди на перроне кивали на группу, слышались возгласы:

— Вот эти все из Оклахомского театра!

Похоже, этот театр был гораздо известнее, чем думал Карл; правда, он никогда особенно не интересовался театральными представлениями. Для них забронировали целый вагон, руководитель поездки торопил с посадкой больше, чем кондуктор. Он сперва пробежался вдоль вагона, заглядывая в каждое купе, и лишь после этого тоже поднялся на площадку. Карл случайно занял место у окна, а Джакомо устроился рядом. Они сидели бок о бок и радовались предстоящему путешествию. Так беззаботно они по Америке еще не ездили. Когда поезд тронулся, они замахали в окошко, а парни на скамейке напротив смеялись над ними, подталкивая друг друга локтями.

Ехали они два дня и две ночи. Только теперь Карл осознал, как велика Америка. Он без усталости смотрел в окно, и Джакомо все время тянулся туда же, пока парням, которые дулись в карты, это не надоело и они добровольно не уступили ему место у окна. Карл поблагодарил их — английский язык Джакомо понимали не все, — мало-помалу парни стали дружелюбнее — иначе

среди соседей по купе и быть не может,— хотя частенько их дружелюбие бывало обременительно: к примеру, когда карта падала на пол и они ее там искали, то всякий раз изо всех сил щипали Джакомо или Карла за ногу. Джакомо тогда вскрикивал от неожиданности и поджимал ногу; Карл же только однажды попытался ответить пинком, в остальных случаях он молча терпел. Все, что происходило в маленьком, задымленном даже при открытых окнах купе, было ничтожным по сравнению с тем, что они видели за окном.

В первый день они перевалили высокие горы. Иссиня-черные ребристые скалы подступали к самому поезду, пассажиры высывались из окон, тщетно стараясь разглядеть их вершины, взору открывались узкие, мрачные изломы ущелий, и люди пальцами следили за направлением, в котором они исчезали, мелькали широкие горные потоки, вскипая валами на холмистом ложе и рассыпаясь тончайшим пышным кружевом, они устремлялись под мосты, по которым мчался поезд, и были так близко, что от их холодного дыхания пробирала дрожь.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ФРАГМЕНТЫ

I

— Вставай! Вставай! — крикнул Робинсон, едва утром Карл открыл глаза. Занавесь еще не раздвинули, но в щелки пробивался яркий солнечный свет, говоривший о том, что время близится к полудню. Робинсон с озабоченным видом сновал по комнате, то тащил полотенце, то тазик, то белье и платье, и каждый раз, пробегая мимо Карла, он кивком призывал его встать и, высоко подняв свою ношу, показывал, как напоследок мучается сегодня из-за Карла, который в первое утро, естественно, не способен разобраться в своих обязанностях.

Вскоре Карл увидел, кому Робинсон, собственно говоря, прислуживает. В закутке, отделенном от остальной комнаты двумя шкафами — прежде Карл его не замечал, — происходило большое омовение. Голова Брунелды, открытая шея — волосы как раз рассыпались по лицу — и часть затылка виднелись над шкафами, а время от времени поднималась рука Деламарша с мокрой губкой, которой он тер и мыл Брунелду. Слышались отрывистые приказы, которые Деламарш отдавал Робинсону, тот передавал нужные вещи через узкую щель между шкафами и испанской ширмой, при этом он вынужден был изо всех сил вытягивать руку и старательно отворачиваться в сторону.

— Полотенце! Полотенце! — крикнул Деламарш. И едва испуганный Робинсон, забравшийся под стол в поисках чего-то другого, высунул оттуда голову, как последовал новый приказ:

— Где же вода, черт побери! — И над шкафом возникла злющая физиономия Деламарша. Впрочем, все, что, по мнению Карла, требовалось при умывании и одевании только один раз, здесь требовали и приносили многократно и в какой угодно последовательности. На маленькой электрической плитке все время подогревалось ведро с водой, и Робинсон снова и снова, раскоря-

чив ноги, ташил эту тяжесть к закутку. Удивительно ли, что при таком обилии обязанностей он не всегда точно придерживался указаний, и однажды, когда в очередной раз потребовали полотенце, он просто схватил сорочку с широкого ложа посреди комнаты и, скомкав, перебросил в закуток.

Но и у Деламарша работа была не из легких, и злился он из-за Робинсона — Карла он в своем раздражении просто не замечал — только оттого, что сам не мог угодить Брунельде.

— Ах! — вскрикивала она, и даже не причастный к событиям Карл вздрагивал. — Ты делаешь мне больно! Уходи! Лучше я сама вымоюсь, зато не буду страдать! Вот опять я не могу поднять руки. В глазах чернеет — так ты меня сжимаешь. На спине, должно быть, сплошные синяки. Но разве ты мне об этом скажешь?! Подожди, я покажусь Робинсону или нашему малышу. Нет, я же этого не делаю, только будь немного поласковее. Осторожно, Деламарш! Впрочем, я повторяю это каждое утро, а ты хоть бы что... Робинсон! — крикнула она неожиданно и взмахнула над головой кружевными панталонами. — Помоги мне, смотри, как я страдаю! И эту пытку Деламарш называет мытьем! Робинсон, Робинсон, куда ты запропастился, неужели у тебя нет сердца?!

Карл молча шевельнул пальцем, показывая: иди, мол, но Робинсон не глядя помотал головой в знак того, что ему виднее.

— Ты что! — шепнул он на ухо Карлу. — Она совсем не это имеет в виду. Я один раз сходил туда и больше не пойду. В тот раз они вдвоем схватили меня и окунули в ванну, так что я чуть не утонул. И целыми днями Брунельда упрекала меня в бесстыдстве, то и дело твердила: «Давненько ты у меня не купался!» или: «Когда же ты снова придешь посмотреть, как я моюсь?» Она прекратила, только когда я на коленях вымолил у нее прощение. Этого я не забуду.

И пока Робинсон об этом рассказывал, Брунельда снова и снова кричала:

— Робинсон! Робинсон! Куда же запропастился этот Робинсон!

Хотя никто не приходил ей на помощь и даже ответа не последовало — Робинсон подсел к Карлу, и оба смотрели на шкафы, над которыми нет-нет да и появлялась голова Брунельды и Деламарша, — Брунельда не переставала громко жаловаться на Деламарша.

— Ах, Деламарш! — кричала она. — Теперь я вовсе не чувствую, что ты меня моешь. Где у тебя губка? Ну, давай же! Если б я только могла нагнуться, если б могла пошевелиться! Я бы тебе показала, как надо мыть. Где мои девичьи годы, когда я каждое утро в имении моих родителей плавала в Колорадо и была самой шустрой и ловкой среди своих подруг! А сейчас! Когда же ты научишься мыть меня, Деламарш? Машешь губкой, напрягаешься, а я ничего не чувствую. Когда я говорила, чтобы ты не тер до крови, я вовсе не собиралась стоять тут и простужаться. Дождешься, что я выпрыгну из ванны и убегу, ты мой характер знаешь!

Но она не выполнила своей угрозы — да и вообще, это было для нее невозможно, — похоже, Деламарш из боязни, что она простудится, силком усадил ее в ванну, так как послышался очень сильный всплеск воды.

— Да, это ты умеешь, Деламарш, — сказала Брунельда чуть тише, — натворишь что-нибудь, а потом подлизываешься.

Затем некоторое время было тихо.

— Он ее целует, — сказал Робинсон, вскинув брови.

— А теперь что надо делать? — спросил Карл. Раз уж он решил здесь остаться, пора приступить к своим обязанностям. Он оставил промолчавшего Робинсона на канаве и стал разбирать импровизированную постель, еще примятую после долгой ночи, чтобы затем аккуратно сложить каждую вещь из этой груды, чем, вероятно, не занимались уже которую неделю.

— Взгляни-ка, Деламарш, — сказала Брунельда, — по-моему, они разбрасывают нашу постель. Во все надо вникать, нет ни минуты покоя. Ты бы построже с обонми, иначе они на шею сядут.

— Не иначе как малыш со своим треклятым служебным рвением! — крикнул Деламарш, вероятно собираясь выскочить из закутка; Карл тут же выронил все из рук, но, к счастью, Брунельда сказала:

— Не уходи, Деламарш, не уходи. Ах, от горячей воды так размаривает. Останься со мной, Деламарш!

Только сейчас Карл заметил, что из-за шкафов поднимаются клубы пара.

Робинсон испуганно приложил руку к щеке, словно Карл натворил что-то невообразимое.

— Оставьте все как было! — раздался голос Деламарша. — Вы разве не знаете, что Брунельда после купания еще целый час отдыхает? Безалаберные болваны!

Погодите, я еще доберусь до вас! Робинсон небось опять размечтался? Ты, один ты в ответе за все происходящее. Держи парня в узде, а то он здесь нахозяйничает. Когда надо, вас не дожدهшься, когда не надо, на вас трудовой стих нападает! Сядьте где-нибудь и ждите, пока не потребуетесь!

Но тотчас же все было забыто, так как Брунельда устало, точно горячая вода лишила ее последних сил, проштала:

— Духи! Принесите духи!

— Духи! — крикнул Деламарш. — Пошевеливайтесь!

Да, но где же они? Карл посмотрел на Робинсона. Робинсон — на Карла. Карл понял, что придется все здесь брать в свои руки; Робинсон понятия не имел, где духи, он просто-напросто улегся на пол и начал шарить под канапе, но не выгреб оттуда ничего, кроме клубков пыли и женских волос. Карл первым делом бросился к умывальному столику возле двери, но в его ящиках обнаружили только старые английские романы, журналы и ноты, и все ящики были до того переполнены, что, открыв, их невозможно было закрыть.

— Духи! — стонала Брунельда. — Ну что вы так долго! Получу я сегодня мои духи или нет?

Из-за нетерпения Брунельды Карл, естественно, не мог нигде искать основательно и вынужден был ограничиться поверхностным осмотром. В туалетном шкафчике флакона не оказалось, а сверху стояли одни только бутылочки со старыми лекарствами и мазями; все остальное уже перекечевало в купальный закуток. Может, духи в выдвижном ящике обеденного стола? На пути туда — Карл думал только о духах и ни о чем другом — он столкнулся с Робинсоном, который прекратил наконец-то поиски под канапе и, ведомый смутной догадкой о местоположении духов, как слепой, спешил навстречу. Они громко стукнулись лбами, Карл не проронил ни звука, а Робинсон хотя и не остановился, но вскрикнул протяжно и преувеличенно громко, словно боль от этого станет меньше.

— Вместо того чтобы искать духи, они дерутся, — сказала Брунельда. — Я просто заболеваю от этой безалаберности, Деламарш, и непременно умру у тебя на руках. Духи мне абсолютно необходимы! — снова крикнула она. — Я не выйду из ванны, пока их не принесут, пусть хоть до вечера в воде просижу. — И она ударила кулаком по воде, так что с шумом плеснули брызги.

В ящике обеденного стола духов тоже не было; правда, там лежали исключительно туалетные принадлежности Брунельды — старые пуховки, баночки с гримом, щетка для волос, шиньончики и множество свалявшихся и слипшихся мелочей, но духов там не было. Робинсон, все еще хныча, открывал одну за другой едва ли не сотню нагроможденных в углу коробок и шкатулок и перебирал их содержимое, причем чуть не половина его — большей частью швейные и письменные принадлежности — падала на пол, да так там и оставалась; ирландец тоже ничего не мог найти, о чем время от времени сообщал Карлу, покачивая головой и пожимая плечами.

Тут из закутка в нижнем белье выскочил Деламарш; Брунельда меж тем разразилась громкими рыданиями. Карл и Робинсон прекратили поиски и усталились на Деламарша, а тот, насквозь мокрый — даже с лица и волос его стекала вода, — выкрикнул:

— Извольте сейчас же искать! Ты — здесь! — приказал он Карлу. — А ты, Робинсон, — там!

Карл в самом деле опять взялся за поиски и осмотрел даже те места, куда отрядили Робинсона, но духов не обнаружил ни он, ни Робинсон, который искал еще старательнее, чем он, искоса посматривая на Деламарша; а тот, сердито топая, метался по комнате и, вероятно, охотнее всего избил бы того и другого.

— Деламарш! — крикнула Брунельда. — Помогите мне хотя бы вытереться! Эти двое все равно не найдут духов, только беспорядок устроят! Пусть сейчас же прекратят поиски! Немедленно! Все положить! И ничего больше не трогать! А то всю квартиру в конюшню превратят! Встряхни-ка их за шиворот, Деламарш, если они еще не бросили! Да они все еще возьмется — только что упала коробка. Пусть они ее больше не поднимают, все оставят и — вон из комнаты! Запри за ними дверь и иди ко мне. Я сижу в воде слишком долго, у меня совсем заковчели ноги.

— Сейчас, Брунельда, сейчас! — крикнул Деламарш и поспешил выдворить Карла с Робинсоном за дверь. Но прежде он дал им задание принести завтрак и, по возможности, одолжить у кого-нибудь хороших духов для Брунельды.

— У вас такая грязь и кавардак! — сказал Карл уже на лестнице. — Как только вернемся с завтраком, нужно приняться за уборку.

— Будь я покрепче здоровьем! — воскликнул Робинсон. — А обращение! — Робинсон наверняка разобиделся на то, что Брунельда не делала никакого различия между ним, который ухаживал за нею уже не один месяц, и только вчера появившимся Карлом. Но лучшего он не заслуживал, и Карл сказал:

— Придется тебе собраться с силами. — И чтобы не довести беднягу до полного отчаяния, добавил: — Разочек потрудимся как следует, и все. Я устрою тебе постель за шкафами, и, как только мы все приведем мало-мальски в порядок, ты сможешь отдыхать там целый день, ни о чем не беспокоясь, и скоро выздоровеешь.

— Сам видишь теперь, как со мной обстоит, — сказал Робинсон и отвернулся от Карла, чтобы остаться один на один со своей болью. — Но дадут ли они мне спокойно полежать?

— Если хочешь, я сам поговорю об этом с Деламаршем и Брунельдой.

— Разве Брунельда хоть с кем-то считается? — воскликнул Робинсон и без всякого предупреждения ударом кулака распахнул дверь, к которой они как раз подошли.

Перед ними была кухня, из плиты, явно требовавшей ремонта, валили клубы прямо-таки черного дыма. У печной дверцы стояла на коленях одна из женщин, которых Карл видел вчера в коридоре, и голыми руками клала большие куски угля в огонь, так и эдак заглядывая в топку. Поза для ее пожилого возраста была неудобная, и она то и дело вздыхала.

— Ясное дело, беда никогда не приходит одна, — сказала она при виде Робинсона, с трудом, опершись на угольный ларь, поднялась и закрыла топку, прихватив ее ручку фартуком.

— Четыре часа дня, — при этих ее словах Карл вззрился на кухонные часы, — а вы только завтракать собираетесь! Ну и шайка! Садитесь, — сказала она затем, — и ждите, куда у меня найдется для вас время.

Робинсон потянул Карла на скамеечку возле двери и прошептал ему на ухо:

— Надо ее слушаться. Мы же от нее зависим. Мы снимаем у нее комнату, и, само собой, она может нас выгнать в любую минуту. Но мы опять же не в состоянии сменить квартиру, — ведь тогда пришлось бы снова таскаться с вещами, а вдобавок Брунельда нетранспортабельна.

— А здесь другой комнаты не получить? — спросил Карл.

— Никто нам ее не сдаст, — ответил Робинсон. — Во всем доме никто не сдаст.

Поэтому они тихо сидели на скамеечке и ждали. Женщина сновала между двумя столами, стиральной лоханью и плитой. Из ее возгласов выяснилось, что дочь ее нездорова и потому все хлопоты, а именно обслуживание и кормежка трех десятков квартирантов, свалились на нее одну. Вдобавок еще и плита вышла из строя, обед никак не сварится, в двух огромных кастрюлях кипел густой суп, женщина то и дело совала туда поварешку, переливала так и этак, но суп упорно не желал дойти до готовности, виной чему был не иначе как слабый огонь; женщина чуть не усаживалась на пол перед топкой и шуровала кочергой в раскаленных угольях. От дыма, переполнявшего кухню, у нее першило в горле, и порой она так кашляла, что судорожно хваталась за спинку стула и по нескольку минут ничего не могла делать. Не раз она повторила, что завтрака сегодня вообще не даст, так как у нее для этого нет ни времени, ни желания. Карл и Робинсон, которые, с одной стороны, получили приказ принести завтрак, с другой же стороны, не имели возможности взять его силой, не отвечали на ее ворчание и по-прежнему тихо сидели на скамеечке.

Повсюду: на стульях и на скамеечках, на столах и под ними, даже на полу, составленная в угол, громоздилась немытая посуда квартирантов. Там были кружки с остатками молока и кофе, на иных тарелках виднелись остатки масла, из большой опрокинутой жестянки выпалось печенье. Из всего этого вполне можно было организовать завтрак для Брунельды, и, если не говорить ей о его происхождении, она будет до смерти довольна. Карл как раз размышлял об этом — а взгляд на часы показал, что ждут они уже полчаса, и Брунельда наверняка бушует и науськивает на них Деламарша, — когда женщина между приступами кашля, не сводя глаз с Карла, воскликнула:

— Сидеть здесь вы можете, но завтрака не получите. Зато часа через два получите ужин.

— Робинсон, — сказал Карл, — давай сами себе организуем завтрак.

— Как? — взвизгнула женщина, наклонив голову.

— Пожалуйста, будьте благоразумны, — сказал Карл, — почему вы не хотите дать нам завтрак? Мы про-

ждали уже полчаса, этого вполне достаточно. Вам же за все платят, и наверняка гораздо больше, чем остальные квартиранты. Конечно, завтракаем мы поздно, и вам это в тягость, но мы — ваши жильцы, у нас свои привычки, и вы обязаны мало-мальски с ними считаться. Сегодня из-за болезни дочери вам, естественно, особенно трудно, но в таком случае мы готовы составить себе завтрак из остатков, раз уже по-другому не получается и вы не даете нам еды получше.

Женщина, однако, не собиралась пускаться в дружелюбные объяснения, для этих квартирантов даже остатки общего завтрака казались ей слишком роскошными, но, с другой стороны, она была уже по горло сыта назойливостью обоих слуг, поэтому схватила миску и ткнула ею в грудь Робинсона, который, жалобно скривив лицо, лишь через секунду сообразил, что должен держать ее, пока женщина собирает для них съестное. Она с величайшей поспешностью навалила в миску всякой всячины, но в общем это походило скорее на грудку грязной посуды, чем на завтрак. Пока женщина выталкивала их из кухни и они, пригнувшись, словно ожидая ругани или тычков, торопливо шли к двери, Карл забрал миску из рук Робинсона, не слишком-то надеясь на своего бестолкового товарища.

Отойдя подальше от двери квартирной хозяйки, Карл с миской в руках уселся на пол, чтобы кое-как привести все в порядок; молоко он слил в один кувшинчик, сгреб на одну тарелку остатки масла, а затем тщательно обтер ножи и вилки, обрезал подкушенные булочки и таким образом придал всему более или менее приличный вид. Робинсон считал эти старания бесполезными и уверял, что завтраки, бывало, выглядели и похуже, но Карл не слушал его, только радовался, что Робинсон со своими грязными пальцами не лез помогать. Чтобы он не мешал, Карл сказал, что это, конечно, из ряда вон выходящий случай, дал ему несколько галет и кувшинчик с толстым осадком шоколада.

Когда они подошли к своей квартире и Робинсон, не раздумывая, взялся за дверную ручку, Карл удержал его, так как было неясно, можно ли им войти.

— Ну конечно,— сказал Робинсон,— сейчас он ее всего лишь причесывает.

И действительно, во все еще не проветренной и занавешенной комнате, широко расставив ноги, сидела в кресле Брунельда, а Деламарш, низко склонившись над нею,

расчесывал ее короткие, похоже, очень спутанные волосы. Брунельда опять надела просторное платье, на сей раз бледно-розовое, оно, пожалуй, было немного короче вчерашнего — во всяком случае, белые, грубой вязки чулки виднелись чуть не до колен. Причесывание затянулось, и от нетерпения Брунельда толстым красным языком поминутно облизывала губы, а иногда с криком «Ой, Деламарш!» вырывалась от француза, а тот, подняв гребень вверх, спокойно ждал, когда Брунельда вернет голову в прежнее положение.

— Долго же вы валандались,— сказала Брунельда как бы в пространство, а затем обратилась к Карлу: — Будь порасторопнее, если хочешь, чтоб тобой остались довольны. Не бери пример с ленивого и прожорливого Робинсона. Вы-то небось уже где-нибудь позавтракали; предупреждаю: впредь я этого не потерплю.

Это было ужасно несправедливо, Робинсон даже покачал головой и зашевелил губами, правда беззвучно. Карл же понял, что на хозяев можно произвести впечатление только работой. Поэтому он вытащил из угла низенький японский столик, накрыл его салфеткой и поставил принесенное. Тот, кто видел, из чего получился завтрак, вполне мог быть им доволен, но вообще, как поневоле признался себе Карл, тут было к чему придраться.

По счастью, Брунельда была голодна. Она благосклонно кивнула Карлу, пока тот все подготавливал, и частенько ему мешала, не вовремя выхватывая какой-нибудь приглянувшийся ей кусочек мягкой, жирной рукой, которая, поди, сразу все и раздавливала.

— Он постарался,— сказала она, причмокнув губами, и усадила Деламарша, оставившего куда гребень в ее волосах, в кресло рядом с собой. Деламарш при виде еды тоже повеселел; оба они были очень голодны, руки их так и мелькали над столиком. Карл понял: чтобы их угомонить, нужно попросту приносить как можно больше; и, вспомнив, что на полу в кухне осталось еще много съедобных остатков, он сказал:

— На первый раз я не знал, как все приготовить, но в другой раз сделаю это гораздо лучше.

Уже, говоря это, он сообразил, к кому обращается, слишком он увлекся. Довольная Брунельда кивнула Деламаршу и в награду протянула Карлу горсть галет.

II ОТЪЕЗД БРУНЕЛЬДЫ

Однажды утром Карл вывез из парадной инвалидную коляску, в которой сидела Брунельда. Было уже не так рано, как он надеялся. Они договорились уехать ночью, чтобы не привлекать на улицах особого внимания, днем это было неизбежно, как бы скромно Брунельда ни укуталась в большой серый плед. Но спуск по лестнице занял чрезвычайно много времени, несмотря на энергичное содействие студента, который, как выяснилось, был куда слабее Карла. Брунельда держалась храбро, почти не вздыхала и всеми возможными способами старалась облегчить своим носильщикам работу. Все равно приходилось на каждой пятой ступеньке останавливаться, давая отдохнуть себе и ей. Утро было прохладное, по коридорам, как в погребе, тянуло холодом, но Карл и студент взмокли от пота и во время передышек утирали лицо краями Брунельдиного пледа, которые она им, кстати, любезно протягивала. Вот так они и спускались вниз целых два часа, а там еще с вечера стояла коляска. Усадить Брунельду в коляску тоже потребовало изрядных усилий, но в целом все прошло успешно, так как везти коляску, благодаря высоким колесам, будет наверняка нетрудно, и оставалось только опасение, что она рассыплется под тяжестью Брунельды. Однако пришлось рискнуть — не тащить же с собой запасную коляску, раздобыть и везти которую полушутя вызвался студент. Теперь пора было прощаться со студентом, и они попрощались даже весьма сердечно. Все неурядицы между студентом и Брунельдой, казалось, остались в прошлом, он даже извинился за давнюю обиду, нанесенную ей во время болезни, но Брунельда сказала, что все давным-давно забыто и улажено. В конце концов она попросила студента в знак дружбы принять от нее на память доллар, который она с трудом отыскала в складках своих бесчисленных юбок. При всей известной скупости Брунельды этот подарок был весьма значителен, студент действительно очень обрадовался и подбросил монету высоко в воздух. Правда, затем ему пришлось искать ее на земле вместе с Карлом, в конце концов Карл-то и нашел ее под коляской. Карл со студентом расстались очень просто, они обменялись рукопожатием и заверили друг друга, что, вероятно, когда-нибудь встретятся и что к тому времени по крайней мере один из них (студент твердил, что Карл, а

Карл — что студент) совершит нечто выдающееся, для чего, увы, пока не настала пора. Затем Карл бодро взялся за ручку коляски и вывез ее из парадной. Студент глядел им вслед, пока они не исчезли из виду, и махал платком. Карл часто оборачивался, прощально кивая; Брунельда тоже охотно обернулась бы, но подобные движения были для нее слишком утомительны. Чтобы все-таки дать ей возможность попрощаться напоследок, в конце улицы Карл развернул коляску так, чтобы и Брунельда увидела студента, который ради такого случая замахал платком особенно усердно.

После этого Карл сказал, что теперь им останавливаться недосуг, путь долгий, и выехали они гораздо позже, чем намеревались. Действительно, тут и там уже виднелись экипажи и — хотя и очень редко — спешащие на работу люди. Своим замечанием Карл ни на что не намекал, но мнительная Брунельда истолковала все превратно и с головой накрылась серым пледом. Карл возражать не стал; правда, накрытая серым пледом коляска весьма бросалась в глаза, однако же привлекала неизмеримо меньше внимания, нежели ненакрытая Брунельда. Двигался Карл очень осторожно; прежде чем завернуть за угол, осматривал следующую улицу, останавливал, если нужно, коляску, проходил несколько шагов вперед, порой, во избежание неприятной встречи, на некоторое время пережидал опасность, а то и выбирал совсем другую улицу. Даже и в таком случае он ни разу не сделал значительного крюка, так как предварительно разведal все возможные маршруты. Конечно, возникали и препятствия, которые хоть и вызывали опасения, но были непредсказуемы. Так, например, на одной из улиц, которая шла немного в гору, что позволяло видеть далеко вперед, и была совершенно пустынная — это преимущество Карл старался использовать для увеличения скорости, — из темной подворотни внезапно выступил полицейский и спросил, что это он везет в столь тщательно укрытой коляске. Но, строго посмотрев на Карла, он поневоле улыбнулся, когда приподнял плед и увидел раскрасневшееся, перепуганное лицо Брунельды.

— Что такое? — воскликнул он. — Я думал, у тебя тут мешков десять картошки, а оказывается, одна-единственная женщина. Куда же вы едете? И кто вы?

Брунельда даже взглянуть на полицейского не смела, только все смотрела на Карла, явно сомневаясь, что он сумеет ее выручить. Но у Карла уже был опыт обраще-

ния с полицейскими, поэтому он считал, что особой опасности нет.

— Сударыня,— сказал он,— предъявите бумагу, которую вам выдали.

— Ах, да, конечно,— заторопилась Брунelda и начала поиски таким бестолковым образом, что вполне могла вызвать подозрение.

— Ну, так бумагу не найти,— с нескрываемой иронией сказал полицейский.

— Нет, нет,— спокойно сказал Карл,— бумага при ней, просто она ее куда-то засунула.— Он сам включился в поиски и впрямь вытащил документ из-за спины Брунелды.

Полицейский бросил на бумагу беглый взгляд.

— Вот оно что,— улыбнулся он.— Значит, это и есть та самая женщина, а? А вы, малыш, обеспечиваете доставку? Неужто не найдете занятия получше?

Карл только пожал плечами — опять эти обычные полицейские придирки.

— Ну, счастливого пути,— сказал полицейский, не получив ответа. В этих словах, пожалуй, таилось презрение, зато Карл молча отправился дальше, презрение полиции куда лучше ее внимательности.

Вскоре после этого произошла, быть может, еще более неприятная встреча. К Карлу приблизился человек, толкавший перед собой тележку с большими молочными бидонами, ему очень хотелось узнать, что это Карл везет под серым покрывалом. Хотя им вряд ли было по пути, он упорно не отставал от Карла, какие бы маневры тот ни проделывал. Сначала попутчик довольствовался замечаниями вроде: «Груз-то, поди, тяжелый!» или: «Ты плохо все уложил, верхушка сейчас свалится!» А немного погодя он уже прямо спросил:

— Что это у тебя там?

Карл ответил:

— Тебе-то какое дело? — но так как эти слова только распалили любопытство молочника, в конце концов он сказал: — Яблоки.

— Столько яблок! — удивился тот и без устали повторял это восклицание.— Похоже, целый урожай! — сказал он затем.

— Ну да,— ответил Карл.

Но молочник то ли не поверил, то ли решил позлить Карла — короче говоря, он и тут не отстал, более того, попытался на ходу как бы в шутку дотянуться до покры-

вала и даже рискнул подергать за него. Каково-то было Брунельде! Жалея ее, Карл не стал заводить с молочником ссору, а свернул в ближайшую подворотню, словно туда-то ему и надо.

— Вот я и дома,—сказал он,—спасибо за компанию.

Молочник в удивлении остался у ворот, глядя вслед Карлу, который в случае чего готов был пересечь весь первый двор. Сомневаться этому надоеде было больше не в чем, однако по злобе своей он оставил тележку, на цыпочках догнал Карла и с такой силой рванул на себя плед, что едва не выпростал лицо Брунельды.

— Чтобы твои яблоки проветрились,—сказал он и побежал назад. Карл стерпел и это, лишь бы избавиться от нахала. Затем он откатил коляску в угол двора, где стояло несколько больших пустых ящиков — под их прикрытием он собирался сказать Брунельде несколько ободряющих слов. Но успокаивать ее пришлось долго, так как она была вся в слезах и вполне серьезно умоляла его остаться на день здесь, за ящиками, и только с наступлением ночи отправиться дальше. Может, он так и не сумел бы убедить ее, насколько это ошибочно, но помог случай: по другую сторону ящичной груды кто-то с жутким грохотом, гулко раскатившимся в пустом дворе, швырнул наземь пустой ящик, и она до того перетрусилась, что, не смея больше рта раскрыть, натянула на себя плед и, вероятно, была рада-радехонька, когда Карл тотчас же решительно двинулся в путь.

Улицы становились все оживленнее, но коляска привлекала к себе куда меньше внимания, чем Карл думал. Может, и вообще стоило выбрать для поездки другое время. В следующий раз Карл поедет в полдень. Без особых приключений он свернул наконец в узкий темный переулок, где обосновалось заведение под номером двадцать пять. У дверей стоял косоглазый управляющий с часами в руке.

— Ты всегда так непунктуален? — спросил он.

— Были кой-какие затруднения,—ответил Карл.

— Они, как известно, всегда бывают,—заметил управляющий.— Но здесь, у нас, их в расчет не принимают. Запомни!

Такие заявления Карл слушал вполуха, каждый пользовался властью и поносил нижестоящих. Человек привычный замечает это не более чем бой часов. Зато, когда он втолкнул коляску в вестибюль, его напугала царившая здесь грязь, хотя он ничего иного и ожидать не мог.

Если присмотреться, грязь была какая-то неуловимая. Каменный пол выметен почти дочиста, роспись на стенах отнюдь не старая, искусственные пальмы запылены лишь чуть-чуть, и тем не менее все казалось засаленным и мерзким, будто со всем этим обращались кое-как и теперь никакая уборка уже не вернет дому первоначальной чистоты. Очутившись где-нибудь, Карл любил прикинуть, что там можно улучшить и какая, наверно, радость — сию же минуту засучить рукава, пусть даже работе конца-краю не будет. Но здесь он просто не представлял себе, что делать. Он медленно снял с Брунельды покрывало.

— Милости просим, сударыня, — напыщенно сказал управляющий; было ясно, что Брунельда произвела на него хорошее впечатление. Едва заметив это, она тут же сумела им воспользоваться, как с удовлетворением увидел Карл. Все страхи последних часов развеялись.

ПРОЦЕСС

Роман



DER PROZEß

Roman

1925

Перевод Р. Райт-Ковалевой

© Издательство «Прогресс», 1965

Глава первая

АРЕСТ. РАЗГОВОР С ФРАУ ГРУБАХ, ПОТОМ С ФРОЙЛЯЙН БЮРСТНЕР

Кто-то, по-видимому, оклеветал Йозефа К., потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест. Кухарка его квартирной хозяйки фрау Грубах, ежедневно приносившая ему завтрак около восьми, на этот раз не явилась. Такого случая еще не бывало. К. немного подождал, поглядел с кровати на старуху, жившую напротив,— она смотрела на него из окна с каким-то необычным для нее любопытством — и потом, чувствуя и голод, и некоторое недоумение, позвонил. Тотчас же раздался стук, и в комнату вошел какой-то человек. К. никогда раньше в этой квартире его не видел. Он был худощав и вместе с тем крепко сбит, в хорошо пригнанном черном костюме, похожем на дорожное платье — столько на нем было разных выточек, карманов, пряжек, пуговиц и сзади хлястик,— от этого костюм казался особенно практичным, хотя трудно было сразу сказать, для чего все это нужно.

— Вы кто такой? — спросил К. и приподнялся на кровати.

Но тот ничего не ответил, как будто его появление было в порядке вещей, и только спросил:

— Вы звонили?

— Пусть Анна принесет мне завтрак,— сказал К. и стал молча разглядывать этого человека, пытаясь прикинуть и сообразить, кто же он, в сущности, такой? Но тот не дал себя особенно рассматривать и, подойдя к двери, немного приоткрыл ее и сказал кому-то, очевидно стоявшему тут же, за порогом:

— Он хочет, чтобы Анна подала ему завтрак.

Из соседней комнаты послышался короткий смешок; по звуку трудно было угадать, один там человек или их несколько. И хотя незнакомец явно не мог услышать ничего для себя нового, он заявил К. официальным тоном:

— Это не положено!

— Вот еще новости! — сказал К., соскочил с кровати и торопливо натянул брюки. — Сейчас взгляну, что там за люди в соседней комнате. Посмотрим, как фрау Грубах объяснит это вторжение.

Правда, он тут же подумал, что не стоило высказывать свои мысли вслух, — выходило так, будто этими словами он в какой-то мере признает за незнакомцем право надзора; впрочем, сейчас это было неважно. Но видно, незнакомец так его и понял, потому что сразу сказал:

— Может быть, вам лучше остаться тут?

— И не останусь, и разговаривать с вами не желаю, пока вы не скажете, кто вы такой.

— Зря обижаетесь, — сказал незнакомец и сам открыл дверь.

В соседней комнате, куда К. прошел медленнее, чем ему того хотелось, на первый взгляд со вчерашнего вечера почти ничего не изменилось. Это была гостиная фрау Грубах, загроможденная мебелью, коврами, фарфором и фотографиями; пожалуй, в ней сейчас стало немного просторнее, хотя это не сразу было заметно, тем более что главная перемена заключалась в том, что там находился какой-то человек. Он сидел с книгой у открытого окна и сейчас, подняв глаза, сказал:

— Вам следовало остаться у себя в комнате! Разве Франц вам ничего не говорил?

— Да что вам, наконец, нужно? — спросил К., переводя взгляд с нового посетителя на того, кого называли Франц (он стоял в дверях), и снова на первого. В открытое окно видна была та старуха: в припадке старческого любопытства она уже перебежала к другому окну — посмотреть, что будет дальше.

— Вот сейчас я спрошу фрау Грубах, — сказал К. И хотя он стоял поодаль от тех двоих, но сделал движение, словно хотел вырваться у них из рук, и уже пошел было из комнаты.

— Нет, — сказал человек у окна, бросил книжку на столик и встал: — Вам нельзя уходить. Ведь вы арестованы.

— Похоже на то, — сказал К. и добавил: — А за что?

— Мы не уполномочены давать объяснения. Идите в свою комнату и ждите. Начало вашему делу положено, и в надлежащее время вы все узнаете. Я и так нарушаю свои полномочия, разговаривая с вами по-дружески. Но надеюсь, что, кроме Франца, никто нас не слышит, а он и сам вопреки всем предписаниям слишком любезен с

вами. Если вам и дальше так повезет, как повезло с назначением стражи, то можете быть спокойны.

К. хотел было сесть, но увидел, что в комнате, кроме кресла у окна, сидеть не на чем.

— Вы еще поймете, какие это верные слова,— сказал Франц, и вдруг оба сразу подступили к нему.

Второй был много выше ростом, чем К. Он все похлопывал его по плечу. Они стали ощупывать ночную рубашку К., приговаривая, что теперь ему придется надеть рубаху куда хуже, но эту рубашку и все остальное его белье они приберегут, и, если дело обернется в его пользу, ему все отдадут обратно.

— Лучше отдайте вещи нам, чем на склад,— говорили они.— На складе вещи подменяют, а кроме того, через некоторое время все вещи распродают — все равно, окончилось дело или нет. А вы знаете, как долго тянутся такие процессы, особенно в нынешнее время! Конечно, склад вам в конце концов вернет стоимость вещей, но, во-первых, сама по себе сумма ничтожная, потому что при распродаже цену вещей назначают не по их стоимости, а за взятки, да и вырученные деньги тают, они ведь что ни год переходят из рук в руки.

Но К. даже не слушал, что ему говорят, ему не важно было, кто получит право распоряжаться его личными вещами, как будто еще принадлежавшими ему; гораздо важнее было уяснить свое положение; но в присутствии этих людей он даже думать как следует не мог: второй страж — кто же они были, как не стражи? — все время толкал его, как будто дружески, толстым животом, но когда К. подымал глаза, он видел совершенно не соответствующее этому толстому туловищу худое, костлявое лицо с крупным, свернутым набок носом и перехватывал взгляд, которым этот человек обменивался через его голову со своим товарищем. Кто же эти люди? О чем они говорят? Из какого они ведомства? Ведь К. живет в правовом государстве, всюду царит мир, все законы незыблемы, кто же смеет нападать на него в его собственном жилище? Всегда он был склонен относиться ко всему чрезвычайно легко, признавался, что дело плохо, только когда действительно становилось очень плохо, и привык ничего не предпринимать заранее, даже если надвигалась угроза. Но сейчас ему показалось, что это неправильно, хотя все происходящее можно было почесть и за шутку, грубую шутку, которую неизвестно почему — может быть, потому, что сегодня ему исполнилось тридцать

лет? — решили с ним сыграть коллеги по банку. Да, конечно, это вполне вероятно; по-видимому, следовало бы просто рассмеяться в лицо этим стражам, и они рассмеялись бы вместе с ним; а может, это просто рассыльные, вполне похоже, но почему же тогда при первом взгляде на Франца он твердо решил ни в чем не уступать этим людям? Меньше всего К. боялся, что его потом упрекнут в непонимании шуток, зато он отлично помнил — хотя обычно с прошлым опытом и не считался — некоторые случаи, сами по себе незначительные, когда он в отличие от своих друзей сознательно пренебрегал возможными последствиями и вел себя крайне необдуманно и неосторожно, за что и расплачивался полностью. Больше этого с ним повториться не должно, хотя бы теперь, а если это комедия, то он им подыграет. Но пока что он еще свободен.

— Позвольте,— сказал он и быстро прошел мимо них в свою комнату.

— Видно, разумный малый,— услышал он за спиной.

В комнате он тотчас же стал выдвигать ящики стола; там был образцовый порядок, но удостоверение личности, которое он искал, он от волнения никак найти не мог. Наконец он нашел удостоверение на велосипед и уже хотел идти с ним к стражам, но потом эта бумажка показалась ему неубедительной, и он снова стал искать, пока не нашел свою метрику.

Когда он возвратился в соседнюю комнату, дверь напротив отворилась и вышла фрау Грубах. Но, увидев К., она остановилась в дверях, явно смутившись, извинилась и очень осторожно прикрыла двери.

— Входите же!— только и успел сказать К.

Сам он так и остался стоять посреди комнаты с бумагами в руках, глядя на дверь, которая не открывалась, и только возглас стражей заставил его вздрогнуть,— они сидели за столиком у открытого окна, и К. увидел, что они поглощают его завтрак.

— Почему она не вошла? — спросил он.

— Не разрешено,— сказал высокий.— Ведь вы арестованы.

— То есть как арестован? Разве это так делается?

— Опять вы за свое,— сказал тот и обмакнул хлеб в баночку с медом.— Мы на такие вопросы не отвечаем.

— Придется ответить,— сказал К.— Вот мои документы, а вы предъявите свои, и первым делом — ордер на арест.

— Господи, твоя воля! — сказал высокий. — Почему вы никак не можете примириться со своим положением? Нет, вам непременно надо злить нас, и совершенно зря, ведь мы вам сейчас самые близкие люди на свете!

— Вот именно, — сказал Франц, — можете мне поверить. — И он посмотрел на К. долгим и, должно быть, многозначительным, но непонятым взглядом поверх чашки с кофе, которую держал в руке.

Сам того не желая, К. ответил Францу таким же выразительным взглядом, но тут же хлопнул по своим документам и сказал:

— Вот мои бумаги.

— Да какое нам до них дело! — крикнул высокий. — Право, вы ведете себя хуже ребенка. Чего вы хотите? Неужто вы думаете, что ваш огромный, страшный процесс закончится скорее, если вы станете спорить с нами, с вашей охраной, о всяких документах, об ордерах на арест? Мы — низшие чины, мы и в документах почти ничего не смыслим, наше дело — стеречь вас ежедневно по десять часов и получать за это жалованье. К этому мы и приставлены, хотя, конечно, мы вполне можем понять, что высшие власти, которым мы подчиняемся, прежде чем отдать распоряжение об аресте, точно устанавливают и причину ареста, и личность арестованного. Тут ошибок не бывает. Наше ведомство — насколько оно мне знакомо, хотя мне там знакомы только низшие чины, — никогда, по моим сведениям, само среди населения виновных не ищет: вина, как сказано в законе, сама притягивает к себе правосудие, и тогда властям приходится посылать нас, то есть стражу. Таков закон. Где же тут могут быть ошибки?

— Не знаю я такого закона, — сказал К.

— Тем хуже для вас, — сказал высокий.

— Да он и существует только у вас в голове, — сказал К. Ему очень хотелось как-нибудь проникнуть в мысли стражей, изменить их в свою пользу или самому проникнуться этими мыслями. Но высокий только отрывисто сказал:

— Вы его почувствуете на себе.

Тут вмешался Франц:

— Вот видишь, Виллем, он признался, что не знает закона, а сам при этом утверждает, что невиновен.

— Ты совершенно прав, но ему ничего не объяснишь, — сказал тот.

К. больше не стал с ними разговаривать; неужели, подумал он, я дам сбить себя с толку болтовней этих низших чинов — они сами так себя называют. И говорят они о вещах, в которых совсем ничего не смыслят. А самоуверенность у них просто от глупости. Стоит мне обменяться хотя бы двумя-тремя словами с человеком моего круга, и все станет несравненно понятнее, чем длиннейшие разговоры с этими двумя. Он прошелся несколько раз по комнате, увидел, что старуха напротив уже притащила к окну еще более древнего старика и стоит с ним в обнимку. Надо было прекратить это зрелище.

— Проведите меня к вашему начальству,— сказал он.

— Не раньше, чем начальству будет угодно,— сказал страж, которого звали Виллем.— А теперь,— добавил он,— я вам советую пройти к себе в комнату и спокойно дожидаться, что с вами решат сделать. И наш вам совет: не расходуйте силы на бесполезные рассуждения, лучше соберитесь с мыслями, потому что к вам предъявят большие требования. Вы отнеслись к нам не так, как мы заслужили своим обращением, вы забыли, что, кем бы мы ни были, мы, по крайней мере по сравнению с вами, люди свободные, а это немалое преимущество. Однако, если у вас есть деньги, мы готовы принести вам завтрак из кафе напротив.

К. немного постоял, но на это предложение ничего не ответил. Может быть, если он откроет дверь в соседнюю комнату или даже в прихожую, эти двое не посмеют его остановить; может быть, самое простое решение — пойти напролом? Но ведь они могут его схватить, а если он потерпит такое унижение, тогда пропадет его превосходство над ними, которое он в некотором отношении еще сохранил. Нет, лучше дожидаться развязки — она должна прийти сама собой, в естественном ходе вещей; поэтому К. прошел к себе в комнату, не обменявшись больше со стражами ни единым словом.

Он бросился на кровать и взял с умывальника прекрасное яблоко — он припас его на завтрак еще с вечера. Другого завтрака у него сейчас не было, и, откусив большой кусок, он уверил себя, что это куда лучше, чем завтрак из грязного ночного кафе напротив, который он мог бы получить по милости своей стражи. Он чувствовал себя хорошо и уверенно; правда, он на полдня опаздывал в банк, где служил, но при той сравнительно высокой должности, какую он занимал, ему простят это опозда-

ние. Не привести ли в оправдание истинную причину? Он так и решил сделать. Если же ему не поверят, чему он нисколько не удивится, то он сможет сослаться на фрау Грубах или на тех стариков напротив — сейчас они, наверно, уже переходят к другому своему окошку. К. был удивлен, вернее, он удивлялся, становясь на точку зрения стражи: как это они прогнали его в другую комнату и оставили одного там, где он мог десятком способов покончить с собой? Однако он тут же подумал, уже со своей точки зрения: какая же причина могла бы его на это толкнуть? Неужели то, что рядом сидят двое и поедают его завтрак? Покончить с собой было бы настолько бессмысленно, что при всем желании он не мог бы совершить такой бессмысленный поступок. И если бы умственная ограниченность этих стражей не была столь очевидна, то можно было бы предположить, что и они пришли к такому же выводу и поэтому не видят никакой опасности в том, что оставили его одного. Пусть бы теперь посмотрели, если им угодно, как он подходит к стенному шкафчику, где спрятан отличный коньяк, опрокидывает первую рюмку взамен завтрака, а потом и вторую — для храбрости, на тот случай, если храбрость понадобится, что, впрочем, маловероятно.

Но тут он так испугался окрика из соседней комнаты, что зубы лязгнули о стекло.

— Вас вызывают к инспектору! — крикнули оттуда.

Его напугал именно крик, этот короткий, отрывистый солдатский окрик, какого он никак не ожидал от Франца. Сам же приказ его очень обрадовал.

— Наконец-то! — крикнул он, запер стеной шкафчик и побежал в гостиную. Но там его встретили оба стража и сразу, будто так было нужно, загнали обратно в его комнату.

— Вы с ума сошли! — крикнули они. — В рубаше идти к инспектору! Он и вас прикажет высечь, и нас тоже!

— Пустите меня, черт побери! — крикнул К., которого уже оттеснили к самому гардеробу. — Напали на человека в кровати, да еще ждут, что он будет во фраке!

— Ничего не поделаешь! — сказали оба; всякий раз, когда К. подымал крик, они становились не только совсем спокойными, но даже какими-то грустными, что очень сбивало его с толку, но отчасти и успокаивало.

— Смешные церемонии! — буркнул он, но сам уже снял пиджак со стула и подержал в руках, словно представляя стражам решать, подходит ли он.

Те покачали головой.

— Нужен черный сюртук,— сказали они.

К. бросил пиджак на пол и сказал, сам не зная, в каком смысле он это говорит:

— Но ведь дело сейчас не слушается?

Стражи ухмыльнулись, но упрямо повторили:

— Нужен черный сюртук.

— Что ж, если этим можно ускорить дело, я не возражаю,— сказал К., сам открыл шкаф, долго рылся в своей многочисленной одежде, выбрал лучшую черную пару — она сидела так ловко, что вызывала прямо-таки восхищение знакомых,— достал свежую рубашку и стал одеваться со всей тщательностью. Втайне он подумал, что больше задержек не будет — стража забыла даже заставить его принять ванну. Он следил за ними — а вдруг они все-таки вспомнят, но им, разумеется, и в голову это не пришло, хотя Виллем не забыл послать Франца к инспектору доложить, что К. уже одевается.

Когда он оделся окончательно, Виллем, идя за ним по пятам, провел его через пустую гостиную в следующую комнату, куда уже широко распахнули двери. К. знал точно, что в этой комнате недавно поселилась некая фройляйн Бюрстнер, машинистка; она очень рано уходила на работу, поздно возвращалась домой, и К. только обменивался с ней обычными приветствиями. Теперь ее ночной столик был выдвинут для допроса на середину комнаты, и за ним сидел инспектор. Он скрестил ноги и закинул одну руку на спинку стула.

В углу комнаты стояли трое молодых людей — они разглядывали фотографии фройляйн Бюрстнер, воткнутые в плетеную циновку на стене. На ручке открытого окна висела белая блузка. В окно напротив уже высунулись те же старики, но зрителей там прибавилось: за их спинами возвышался огромный мужчина в раскрытой на груди рубахе, который все время крутил и вертел свою рыжеватую бородку.

— Йозеф К.? — спросил инспектор, должно быть, только для того, чтобы обратить на себя рассеянный взгляд К.

К. наклонил голову.

— Должно быть, вас очень удивили события сегодняшнего утра? — спросил инспектор и обеими руками подвинул к себе немногие вещи, лежавшие на столике,— свечу со спичками, книжку, подушечку для булавок, как будто эти предметы были ему необходимы при опросе.

— Конечно,— сказал К., и его охватило приятное чув-

ство: наконец перед ним разумный человек, с которым можно поговорить о своих делах.— Конечно, я удивлен, но, впрочем, и не очень удивлен.

— Не очень?— переспросил инспектор и, передвинув свечу на середину столика, начал расставлять вокруг нее остальные вещи.

— Возможно, что вы не так меня поняли,— заторопился К.— Я только хотел сказать...— Тут он осекся и стал искать, куда бы ему сесть.— Мне можно сесть? — спросил он.

— Это не полагается,— ответил инспектор.

— Я только хотел сказать,— продолжал К. без задержки,— что я, конечно, очень удивлен, но когда проживешь тридцать лет на свете, да еще если пришлось самому пробиваться в жизни, как приходилось мне, то поневоле привыкаешь ко всяким неожиданностям и не принимаешь их слишком близко к сердцу. Особенно такие, как сегодня.

— Почему особенно такие, как сегодня?

— Нет, я не говорю, что все считаю шуткой, по-моему, для шутки это слишком далеко зашло. Очевидно, в этом принимали участие все обитатели пансиона, да и все вы, а это уже переходит границы шутки. Так что не думаю, чтоб это была просто шутка.

— И правильно,— сказал инспектор и посмотрел, сколько спичек осталось в коробке.

— Но, с другой стороны,— продолжал К., обращаясь ко всем присутствующим — ему хотелось привлечь внимание и тех троих, рассматривавших фотографии,— с другой стороны, особого значения все это иметь не может. Вывожу я это из того, что меня в чем-то обвиняют, но ни малейшей вины я за собой не чувствую. Но и это не имеет значения, главный вопрос — кто меня обвиняет? Какое ведомство ведет дело? Вы чиновники? Но на вас нет формы, если только ваш костюм,— тут он обратился к Францу,— не считать формой, но ведь это, скорее, дорожное платье. Вот в этом вопросе я требую ясности, и я уверен, что после выяснения мы все расстанемся друзьями.

Тут инспектор со стуком положил спичечный коробок на стол.

— Вы глубоко заблуждаетесь,— сказал он.— И эти господа, и я сам — все мы никакого касательства к вашему делу не имеем. Больше того, мы о нем почти ничего не знаем. Мы могли бы носить самую настоящую форму,

и ваше дело от этого ничуть не ухудшилось бы. Я даже не могу вам сказать, что вы в чем-то обвиняетесь, вернее, мне об этом ничего не известно. Да, вы арестованы, это верно, но больше я ничего не знаю. Может быть, вам стража чего-нибудь наболтала, но все это пустая болтовня. И хотя я не отвечаю на ваши вопросы, но могу вам посоветовать одно: поменьше думайте о нас и о том, что вас ждет, думайте лучше, как вам быть. И не кричите вы так о своей невинности, это нарушает то, в общем неплохое, впечатление, которое вы производите. Вообще вам надо быть сдержаннее в разговорах. Все, что вы тут наговорили, и без того было ясно из вашего поведения, даже если бы вы произнесли только два слова, а кроме того, все это вам на пользу не идет.

К. в недоумении смотрел на инспектора. Его отчитывают, как школьника, и кто же? Человек, который, вероятно, моложе его! За откровенность ему приходится выслушивать выговор! А о причине ареста, о том, кто велел его арестовать,— ни слова! Он даже разволновался, стал ходить взад и вперед по комнате, чему никто не препятствовал. Сдвинул под рукав манжеты, поправил манишку, пригладил волосы, сказал, проходя мимо трех молодых людей: «Какая бессмыслица!», на что те обернулись к нему и сочувственно, хотя и строго, посмотрели на него, и наконец остановился перед столиком инспектора.

— Прокурор Гастерер — мой давний друг,— сказал он.— Можно мне позвонить ему?

— Конечно,— ответил инспектор,— но я не знаю, какой в этом смысл, разве что вам надо переговорить с ним по личному делу.

— Какой смысл? — воскликнул К. скорее озадаченно, чем сердито.— Да кто вы такой? Ищете смысл, а творите такую бессмыслицу, что и не придумаешь. Да тут камни возопят! Сначала эти господа на меня напали, а теперь расселись, стоят и глазают всем скопом, как я пляшу под вашу дудку. И еще спрашиваете, какой смысл звонить прокурору, когда мне сказано, что я арестован! Хорошо, я не буду звонить!

— Отчего же? — сказал инспектор и повел рукой в сторону передней, где висел телефон.— Звоните, пожалуйста!

— Нет, теперь я сам не хочу,— сказал К. и подошел к окну.

Вся компания еще стояла у окна напротив, но то, что К. подошел к окну, нарушило их спокойное созерцание.

Старики хотели было встать, но мужчина, стоявший сзади, успокоил их.

— А эти там тоже глазают! — громко крикнул К. инспектору и ткнул пальцем в окно.— Убирайтесь оттуда! — закричал он в окошко.

Те трое сразу отступили вглубь, старики даже спрятались за соседа, прикрывшего их своим большим телом, и по его губам было видно, как он им что-то говорил, но издали трудно было разобрать слова. Однако они не ушли совсем, а словно выжидали минуту, когда можно будет незаметно опять подойти к окну.

— Какая назойливость, какая бесцеремонность! — сказал К., отходя от окна.

Инспектор как будто с ним согласился, по крайней мере так показалось К., когда он искоса на него взглянул. Впрочем, возможно, что тот и не слушал, потому что он плотно прижал ладонь к столику и как будто сравнивал длину своих пальцев. Оба стража сидели на сундуке, прикрытом для красоты ковриком, и потирали колени. Трое молодых людей, уперев руки в бока, бесцельно смотрели по сторонам. Было тихо, словно в какой-нибудь опустевшей конторе.

— Ну-с, господа! — воскликнул К., и ему показалось, что он отвечает за них за всех.— По вашему виду можно заключить, что мое дело исчерпано. Я склонен считать, что лучше всего не разбираться, оправданны или неоправданны ваши поступки, и мирно разойтись, обменявшись дружеским рукопожатием. Если вы со мной согласны, то прошу вас...— И, подойдя к столику инспектора, он протянул ему руку.

Инспектор поднял глаза и, покусывая губы, посмотрел на протянутую руку. К. подумал, что он ее сейчас пожмет. Но тот встал, взял круглую жесткую шляпу, лежавшую на постели фройляйн Бюрстнер, и осторожно, обеими руками, как меряют обычно новые шляпы, надел ее на голову.

— Как просто вы все себе представляете! — сказал он К.— Значит, по-вашему, нам надо мирно разойтись? Нет, нет, так не выйдет. Но я вовсе не хочу сказать, что вы должны впасть в отчаяние. Нет, зачем же! Ведь вы только арестованы, больше ничего. Что я и должен был вам сообщить, сообщил и видел, как вы это приняли. На сегодня хватит, и мы можем попрощаться — правда, только на время. Вероятно, вы захотите сейчас отправиться в банк?

— В банк? — спросил К.— Но я думал, что меня арестовали!

К. сказал это с некоторым вызовом: несмотря на то что его рукопожатие отвергли, он чувствовал, особенно когда инспектор встал, что он все меньше зависит от этих людей. Он с ними играл. Он даже решил, если они уйдут, побежать за ними до ворот и предложить, чтобы они его арестовали. Поэтому он и повторил:

— Как же я могу пойти в банк, раз я арестован?

— Вот оно что! — сказал инспектор уже от дверей.— Значит, вы меня не поняли. Да, конечно, вы арестованы, но это не должно помешать выполнению ваших обязанностей. И вообще вам это не должно помешать вести обычную жизнь...

— Ну, тогда этот арест вовсе не так страшен,— сказал К. и подошел вплотную к инспектору.

— А я иначе и не думал,— сказал тот.

— Тогда и сообщать об аресте, пожалуй, не стоило,— сказал К. и подошел совсем вплотную.

Остальные тоже подошли к ним. Все столпились у самой двери.

— Это была моя обязанность,— сказал инспектор.

— Глупейшая обязанность,— не сдаваясь, сказал К.

— Возможно,— сказал инспектор,— но не стоит терять время на такие разговоры. Я предположил, что вы хотите пойти в банк. Так как вы каждому слову придаете значение, добавлю: я вас не заставляю идти в банк, я только предположил, что вы этого хотите. И чтобы облегчить вам этот шаг и сделать ваш приход по возможности незаметным, я и предоставил в ваше распоряжение этих трех господ, ваших коллег.

— Что? — крикнул К. и уставился на трех молодых людей.

Эти ничем не приметные худосочные юнцы, которых он воспринимал до сих пор только как посторонних людей, глазающих на фотографии, действительно были чиновники из его банка; не коллеги — это было слишком сильно сказано и доказывало, что всеведущий инспектор знает далеко не все,— но действительно это были низшие служащие из его банка. И как это К. мог их не узнать? Насколько же он был занят разговором с инспектором и стражей, что не узнал этих троих! Суховатого Рабенштейнера, вечно размахивающего руками белокурого Куллиха с запавшими глазами и Каминера с его не-

выносимой улыбкой из-за хронически перекошенных мускулов лица.

— С добрым утром! — сказал К. минуту спустя, и все трое с корректным поклоном пожали протянутую руку. — Совсем вас не узнал. Значит, теперь отправимся вместе на работу?

Все трое с готовностью заулыбались и закивали, словно только этого и дожидались, а когда К. не нашел своей шляпы — она осталась в его комнате, — они все гуськом побежали туда, что, разумеется, указывало на некоторую растерянность. К. стоял и смотрел им вслед через обе открытые двери; последним, конечно, бежал равнодушный Рабенштейнер, он просто трусил элегантно рысцой. Каминер подал шляпу, и К. должен был напомнить самому себе, как часто бывало и в банке, что Каминер улыбается не нарочно, больше того, что улыбнуться нарочно он не может.

Фрау Грубах, у которой вид был вовсе не виноватый, отперла двери в прихожей перед всей компанией, и К. по привычке взглянул на завязки фартука, которые слишком глубоко врезались в ее мощный стан. На улице К. поглядел на часы и решил взять такси, чтобы не затягивать еще больше получасовое опоздание. Каминер побежал на угол за такси, а оба других сослуживца явно пытались развлечь К. И вдруг Куллик показал на парадное в доме напротив, откуда только что вышел высокий человек со светлой бородкой и, несколько смущенный тем, что его видно во весь рост, отступил назад и прислонился к стенке. Очевидно, старики еще спускались по лестнице. К. рассердился на Куллика за то, что тот обратил его внимание на этого мужчину; он же сам видел его еще тогда, у окна, более того, он ждал, что тот выйдет.

— Не смотрите туда! — отрывисто бросил он, не замечая, насколько неуместен такой тон по отношению к взрослым людям.

Но объяснять ничего не пришлось, потому что подошел автомобиль, все уселись и поехали. Только тут К. спохватился, что он совершенно не заметил, как ушел инспектор со стражей: раньше из-за инспектора он не видел троих чиновников, а теперь из-за чиновников прозевал инспектора. Об особом присутствии духа это не свидетельствовало, и К. твердо решил последить за собой в этом отношении.

Но он невольно обернулся и высунулся из такси, что-

бы проверить еще раз, там ли инспектор со стражей или нет. Однако он тут же повернулся назад и удобно откинулся в угол, даже не посмотрев, там ли они. Хотя он и не показывал виду, но именно сейчас ему хотелось бы с кем-нибудь заговорить. Но его спутники явно устали: Рабенштейнер смотрел направо, Куллик — налево, и только Каминер как будто был готов к разговору, со своей вечной ухмылкой, над которой, к сожалению, нельзя было подтрунить из простого человеколюбия.

Этой весной К. большей частью проводил вечера так: после работы, если еще оставалось время — чаще всего он сидел в конторе до девяти, — он прогуливался один или с кем-нибудь из сослуживцев, а потом заходил в пивную, где обычно просиживал с компанией пожилых господ за их постоянным столом часов до одиннадцати. Бывали и нарушения этого расписания, например когда директор банка, очень ценивший К. за его работоспособность и надежность, приглашал его покататься в автомобиле или поужинать на даче. Кроме того, К. раз в неделю посещал одну барышню, по имени Эльза, которая всю ночь до утра работала кельнершей в ресторане, а днем принимала гостей исключительно в постели.

Но в этот вечер — весь день пролетел незаметно в напряженной работе и во всяких лестных и дружественных поздравлениях с днем рождения — К. решил сразу пойти домой. Каждый раз в перерывах между работой он об этом думал; неизвестно почему, ему все время казалось, что из-за утренних событий во всей квартире фрау Грубах царит ужасный хаос и что именно он должен навести там порядок. А раз порядок будет восстановлен, то все следы утренних событий исчезнут и все пойдет по-прежнему. Опасаться тех трех чиновников, конечно, было нечего: они растворились в огромной массе банковских служащих, и по ним ничего заметно не было. К. несколько раз, и вместе и поодиночке, вызывал их к себе с единственной целью — понаблюдать за ними, и каждый раз он отпускал их вполне удовлетворенный.

Когда он в половине десятого подошел к своему дому, он встретил в подъезде молодого парня, который стоял, широко расставив ноги, с трубкой в зубах.

— Вы кто такой? — сразу спросил К. и надвинулся на парня; в полутемном подъезде трудно было что-либо разглядеть.

— Я сын швейцара, ваша честь,— сказал парень, вынул трубку изо рта и отступил в сторону.

— Сын швейцара? — переспросил К. и нетерпеливо постучал палкой об пол.

— Может быть, вам что-нибудь угодно? Прикажете позвать отца?

— Нет, нет,— сказал К., и в голосе его послышалось что-то похожее на снисхождение, словно парень натворил бед, а он его простил.— Все в порядке,— добавил он и пошел дальше, но, прежде чем подняться на лестницу, еще раз оглянулся.

Он мог бы пройти прямо к себе в комнату, но, так как ему надо было поговорить с фрау Грубах, он сразу постучался к ней. Она сидела с чулком в руках у стола, на котором лежала еще груда старых чулок. К. рассеянно извинился, что зашел так поздно, но фрау Грубах была с ним очень приветлива и никаких извинений слушать не захотела; для него она всегда дома, он отлично знает, что из всех ее квартирантов он самый лучший, самый любимый. К. оглядел комнату: все было на старом месте, посуда от завтрака, стоявшая утром на столике у окна, тоже была убрана. Женские руки все могут сделать незаметно, подумал он; сам он, наверно, скорее перебил бы всю посуду, но, уж конечно, не сумел бы унести ее отсюда. С благодарностью он посмотрел на фрау Грубах.

— Почему вы так поздно работаете? — спросил он.

Теперь они оба сидели у стола, и К. время от времени ворошил рукой груду чулок.

— Работы много,— сказала она.— Весь день уходил на квартирантов; а приводить свои вещи в порядок я могу только по вечерам.

— Сегодня я, наверно, доставил вам много лишних хлопот?

— Чем же это? — спросила она, оживившись, и опустила чулок на колени.

— Я про тех людей, которые приходили утром.

— Ах, вот оно что,— сказала она прежним спокойным голосом.— Нет, никаких особых хлопот тут не было.

К. молча смотрел, как она снова взялась за чулок. Кажется, она удивлена, что я об этом заговорил, подумал он, кажется, она считает неправильным, что я об этом заговорил. Тем важнее все ей высказать. Только с таким старым человеком я не могу об этом поговорить.

— Ну как же,— сказал он вслух,— хлопот вам они, конечно, доставили немало. Но больше это не случится!

— Да, больше такое случиться не может,— подтвердила она и взглянула на К. с немного грустной улыбкой.

— Вы серьезно так думаете? — спросил К.

— Да,— сказала она тихо.— Но главное — вы не должны принимать все это близко к сердцу. Чего только на свете не бывает! И уж раз вы со мной так откровенно заговорили, господин К., то могу вам признаться: я кое-что подслушала под дверью, да и стража мне немножко рассказала. Ведь речь идет о вашей судьбе, и я за вас душой болею, хоть, может быть, мне это и не пристало, ведь я вам всего лишь квартирная хозяйка. Так вот, я кое-что слышала и не могу сказать, что все так плохо. Нет, нет. Правда, вы арестованы, но не так, как арестовывают воров. Когда арестовывают вора, дело плохо, а вот ваш арест... мне кажется, в нем есть что-то научное. Вы уж меня простите, если я говорю глупости, но, мне кажется, тут, безусловно, есть что-то научное. Я, правда, мало что понимаю, но, наверно, тут и понимать не следует.

— Вообще это не глупости, фрау Грубах, по крайней мере я с вами отчасти согласен. Правда, я сужу об этом гораздо строже, чем вы, для меня тут не только ничего научного нет, но и вообще за всем этим нет ничего. На меня напали врасплох, вот и все. Если бы я встал с постели, как только проснулся, не растерялся бы оттого, что не пришла Анна, не обратил бы внимания, попался мне кто навстречу или нет, а сразу пошел бы к вам и на этот раз в виде исключения позавтракал бы на кухне, а вас попросил бы принести мое платье из комнаты, тогда ничего и не произошло бы, все, что потом случилось, было бы задушено в корне. Но в таких делах человек легко попадает впросак. Вот, например, в банке я ко всему подготовлен, там ничего подобного со мной случиться не могло бы, там у меня свой курьер, на столе стоит городской и внутренний телефон, все время заходят люди — и служащие и клиенты, да кроме того, я там все время связан с работой, во всем отдаю себе отчет, там такая история мне просто доставила бы удовольствие. Ну, ничего, теперь все кончилось. Собственно говоря, мне даже не хотелось об этом говорить, надо было только услышать ваше мнение, мнение разумной женщины, и я чрезвычайно рад, что мы во всем с вами сошлись. А теперь давайте руку, такое единодушие надо скрепить рукопожатием.

Интересно, подаст она мне руку или нет? Инспектор мне руки не подал, подумал он и посмотрел на хозяйку долгим, испытующим взглядом. Она встала, потому что встал он, слегка смущенная тем, что не все слова К. ей были понятны. И от смущения она сказала вовсе не то, что хотела и что было совсем уж неуместно.

— Не принимайте все так близко к сердцу, господин К.,— сказала она со слезами в голосе, но пожать ему руку забыла.

— Да я как будто и не принимаю,— сказал К., чувствуя внезапную усталость и поняв, насколько ему не нужно сочувствие этой женщины.

У двери он еще спросил:

— А фройляйн Бюрстнер дома?

— Нет,— сказала фрау Грубах и смягчила сухой ответ запоздалой, участливой и понимающей улыбкой.— Она в театре. А вам она нужна? Может быть, передать ей что-нибудь?

— Нет, мне просто хотелось сказать ей несколько слов.

— К сожалению, я не знаю, когда она вернется. Обычно она возвращается из театра довольно поздно.

— Это неважно,— сказал К. и, опустив голову, пошел к двери.— Я только хотел извиниться, что сегодня пришлось воспользоваться ее комнатой.

— Не стоит, господин К., вы слишком щепетильны, ведь барышня ничего об этом не знает, ее с самого утра дома не было, да там все уже убрано, посмотрите сами.— И она открыла дверь в комнату фройляйн Бюрстнер.

— Не надо, я вам и так верю,— сказал К., но все же подошел к открытой двери. Луна спокойно освещала темную комнату. Насколько можно было разобрать, все действительно стояло на месте, даже блузка уже не висела на оконной ручке. Постель казалась особенно высокой в косоj полосе лунного света.

— Барышня часто приходит поздно,— сказал К. и посмотрел на фрау Грубах, как будто она за это отвечала.

— Молодежь, что поделаешь! — сказала фрау Грубах, словно извиняясь.

— Да, да, конечно,— сказал К.— Но это может быть слишком далеко.

— О да, конечно! — сказала фрау Грубах.— Вы совершенно правы, господин К. Может быть, и в данном случае вы тоже правы. Не хочу сплетничать про фройляйн Бюрстнер, она хорошая, славная девушка, такая

приветливая, аккуратная, исполнительная, трудолюбивая, я все это очень ценю, но одно верно: надо бы ей больше гордости, больше сдержанности. А в этом месяце я уже два раза видела ее в глухих переулках, и каждый раз с другим кавалером. Очень мне это неприятно, господин К. Клянусь богом, я рассказываю это только вам одному, но, как видно, придется и с самой барышней поговорить. Да и не одно это вызывает у меня подозрения:

— Вы глубоко заблуждаетесь,— сказал К. сердито, с трудом скрывая раздражение,— и вообще вы неверно истолковали мои слова про барышню, я совсем не то хотел сказать. Искренне советую вам ничего ей не говорить. Вы глубоко заблуждаетесь, я ее знаю очень хорошо, и все, что вы говорите, неправда! Впрочем, может быть, я слишком много беру на себя, зачем мне вмешиваться, говорите ей, что хотите. Спокойной ночи!

— Господин К.! — умоляюще сказала фрау Грубах и побежала за К. до самой его двери, которую он уже приоткрыл.— Да я вовсе и не собираюсь сейчас говорить с барышней, конечно, я сначала должна еще понаблюдать за ней, ведь я только вам доверила то, что я знаю. В конце концов каждый жилец заинтересован, чтобы в пансионе все было чисто, а я только к этому и стремлюсь!

— Ах, чисто! — крикнул К. уже в щелку двери.— Ну, если вы хотите соблюдать чистоту в вашем пансионе, так откажите от квартиры мне первому! — Он захлопнул двери и не ответил на робкий стук.

Но спать ему совсем не хотелось, и он решил не ложиться и на этот раз установить, когда вернется фройляйн Бюрстнер. И быть может, ему удастся сказать ей несколько слов, хотя время совсем неподходящее. Высунувшись в окно и щуря усталые глаза, он даже на минуту подумал, не наказать ли фрау Грубах, уговорив фройляйн Бюрстнер вместе с ним съехать с квартиры. Но он тут же понял, что слишком все преувеличивает, и даже заподозрил себя в том, что ему просто хочется переменить квартиру после утренних событий. Ничего бессмысленнее, а главное, ничего бесцельнее и бездарнее нельзя было и придумать.

Когда ему надоело смотреть на пустую улицу, он прилег на кушетку, но сначала приоткрыл дверь в прихожую, чтобы, не вставая, видеть всех, кто войдет в квартиру. Часов до одиннадцати он пролежал спокойно на кушетке, покуривая сигару. Но потом не выдержал и вышел в прихожую, как будто этим можно было ускорить

приход фройляйн Бюрстнер. У него не было никакой охоты ее видеть, он даже не мог точно вспомнить, как она выглядит, но ему нужно было с ней поговорить, и его раздражало, что из-за ее опоздания даже конец дня вышел такой беспокойный и беспорядочный. Виновата она была и в том, что он не поужинал и пропустил визит к Эльзе, назначенный на сегодня. Конечно, можно было бы наверстать упущенное и пойти в ресторанчик, где работала Эльза. Он решил, что после разговора с фройляйн Бюрстнер он так и сделает.

Уже пробило половину двенадцатого, когда на лестнице раздались чьи-то шаги. К. так ушел в свои мысли, что с громким топотом расхаживал по прихожей, как по своей комнате, но тут он торопливо нырнул к себе. В прихожую вошла фройляйн Бюрстнер. Заперев дверь, она зябко закутала узкие плечи шелковой шалью. Еще миг, и она скроется в своей комнате, куда К. в этот полуночный час, разумеется, войти не мог. Значит, ему надо было заговорить с ней сразу; но, к несчастью, он забыл зажечь свет у себя в комнате, и, если бы он сейчас вышел оттуда, из темноты, это походило бы на нападение. Во всяком случае, он мог очень напугать ее. В растерянности, боясь потерять время, он прошептал сквозь дверную щелку:

— Фройляйн Бюрстнер! — Этот возглас прозвучал как мольба, а не как оклик.

— Кто тут? — спросила фройляйн Бюрстнер, испуганно оглядываясь.

— Это я! — сказал К. и вышел к ней.

— Ах, господин К.! — с улыбкой сказала фройляйн Бюрстнер. — Добрый вечер! — И она протянула ему руку.

— Я хотел бы сказать вам несколько слов сейчас, вы разрешите?

— Сейчас? — сказала фройляйн Бюрстнер. — Именно сейчас? Как-то странно, правда?

— Я вас жду с девяти часов.

— Ведь я была в театре, вы же меня не предупредили.

— Но повод к нашему разговору возник только сегодня.

— Ах так! Ну что ж, в сущности я не возражаю, вот только устала я до смерти. Зайдите на минутку ко мне. Тут нам разговаривать нельзя, мы весь дом перебудим, а мне не то что жаль этих людей, а неловко за нас самих. погодите, сейчас я зажгу у себя свет, а вы тут потушите.

К. так и сделал и выждал, пока фройляйн Бюрстнер шепотом еще раз позвала его к себе.

— Садитесь,— сказала она и показала на диван, а сама осталась стоять у кровати, несмотря на то что она, по ее словам, очень устала; даже свою маленькую, в изобилии украшенную цветами шляпку она не сняла.— Так что же вы хотели сказать? Мне, право, любопытно.

Она слегка скрестила ноги.

— Возможно, вы опять скажете,— начал К.,— что дело не такое уж срочное и сейчас слишком поздно для обзуждений, но...

— Эти вступления мне всегда кажутся лишними,— сказала фройляйн Бюрстнер.

— Это облегчает мою задачу,— сказал К.— Сегодня утром, отчасти по моей вине, в вашей комнате наделали беспорядок, притом чужие люди, против моей воли, но, как я уже упомянул, по моей вине; за это я и хотел перед вами извиниться.

— В моей комнате? — переспросила фройляйн Бюрстнер, испытующе глядя не на комнату, а на самого К.

— Вот именно,— сказал К., и тут они оба впервые взглянули друг другу в глаза.— Но о причине всего происшедшего и говорить не стоит.

— Да это же самое интересное! — сказала фройляйн Бюрстнер.

— Нет,— сказал К.

— Что ж,— сказала фройляйн Бюрстнер,— не буду вторгаться в ваши тайны, и, если вы утверждаете, что это неинтересно, я вам возражать не собираюсь. И я вас охотно прощаю, раз вы об этом просите, особенно потому, что никаких следов беспорядка я не вижу.

Крепко прижав опущенные руки к бедрам, она обошла всю комнату. У циновки с фотографиями она остановилась.

— Смотрите-ка! — воскликнула она.— Все мои фотографии разбросаны. Фу, как нехорошо! Значит, кто-то хозьяйничал в моей комнате.

К. только наклонил голову, проклиная в душе чиновника Каминера за то, что он никогда не мог сдерживать свою бестолковую, бессмысленную суетливость.

— Странно,— сказала фройляйн Бюрстнер,— странно, что мне приходится запрещать вам именно то, что вы сами должны были бы запретить себе: в мое отсутствие входить ко мне в комнату.

— Я уже объяснил вам, фройляйн,— сказал К. и подошел к фотографиям,— ваши фотографии разбросал не я; но так как вы мне не верите, то придется признаться, что следственная комиссия привела трех банковских чиновников и один из них — я его при ближайшей возможности выставлю из банка — очевидно перебирал ваши фотографии. Да, здесь была следственная комиссия,— добавил К. в ответ на вопросительный взгляд фройляйн Бюрстнер.

— Из-за вас? — спросила она.

— Да,— ответил К.

— Быть не может! — воскликнула барышня и рассмеялась.

— Может,— сказал К.— Разве вы считаете, что на мне никакой вины нет?

— Ну, как сказать — никакой! — ответила барышня.— Не буду высказывать мнение, которое может иметь серьезные последствия, да я вас и не настолько знаю, но срочно присылать на дом следственную комиссию, наверно, стали бы лишь из-за тяжкого преступника. А так как вы на свободе и, судя по вашему спокойствию, из тюрьмы не удирали, значит, никакого тяжкого преступления вы совершить не могли.

— Да,— сказал К.,— но ведь следственная комиссия могла установить, что я невиновен или, во всяком случае, не настолько виновен, как предполагалось.

— Конечно, и так может быть,— в раздумье сказала фройляйн Бюрстнер.

— Вот видите,— сказал К.— Очевидно, вы не очень-то разбираетесь в судебной процедуре.

— Нет, конечно,— сказала фройляйн Бюрстнер,— и часто об этом жалею, мне хотелось бы все знать, и как раз судебные дела меня особенно интересуют. Суд вообще страшно увлекательное дело, правда? Но я, конечно, пополню свои знания в этой области: с будущего месяца я поступаю в канцелярию адвоката.

— Очень хорошо! — сказал К.— Тогда вы мне хоть немного поможете в моем процессе.

— Вполне возможно,— очень сосредоточенно сказала фройляйн Бюрстнер.— Почему бы и нет? Я очень люблю применять свои знания на практике.

— Нет, я серьезно,— сказал К.,— или, во всяком случае, полусерьезно, как и вы. Привлекать адвоката не стоит — дело слишком мелкое, но советчик мне очень может понадобиться.

— Да, но, если мне стать вашим советчиком, я должна знать, о чем идет речь,— сказала фройляйн Бюрстнер.

— В этом-то и загвоздка,— сказал К.,— я сам ничего не знаю!

— Значит, вы надо мной подшутили,— сказала фройляйн Бюрстнер глубоко разочарованным тоном.— Но выбирать для шуток такое позднее время совсем неуместно.— И она отошла от стены с фотографиями, где стояла рядом с К.

— Что вы, что вы! — сказал К.— Я вовсе не шучу. Странно, что вы мне не верите! Все, что я знаю, я вам рассказал. Даже больше, чем знаю; в сущности, никакой следственной комиссии не было, это я так назвал ее, потому что не знаю, как еще можно ее назвать. И вообще никакого следствия не было, меня просто арестовали, но приходила целая комиссия.

Фройляйн Бюрстнер опустила на диван и опять засмеялась.

— Как же это все было? — спросила она.

— Ужасно! — ответил К., уже не думая о происшедшем, настолько его очаровал вид фройляйн Бюрстнер: погрузив локоть в подушки дивана, она подперла лицо рукой, а другой рукой медленно поглаживала колено.

— Это мне ничего не говорит,— сказала фройляйн Бюрстнер.

— Что именно? — спросил К. Но тут же понял и спросил: — Показать вам, как это было? — Ему хотелось что-то делать, только бы не уходить из комнаты.

— Я так устала,— сказала фройляйн Бюрстнер.

— Да, вы поздно пришли,— сказал К.

— Ну вот, теперь начинаются упреки. Впрочем, я их заслужила, не надо было вас сюда пускать. К тому же, как выяснилось, никакой необходимости в этом не было.

— Нет, была,— сказал К.,— и сейчас вы все поймете. Можно отодвинуть ночной столик от кровати вот сюда?

— Что за выдумки? — сказала фройляйн Бюрстнер.— Конечно, нельзя!

— Тогда я вам ничего не смогу показать,— сказал К. с такой обидой, словно ему нанесли непоправимый вред.

— Ах, если вам это надо для наглядности, тогда двигайте сколько хотите,— сказала фройляйн Бюрстнер и добавила ослабевшим голосом: — Я так устала, что позволяю вам больше, чем следует.

К. поставил столик посреди комнаты и сел за него.

— Вы должны себе правильно представить, как расположились все эти люди, это очень интересно. Я — инспектор; вон там, на сундуке, сидит стража, их двое; около фотографий стоят три молодых человека. На оконной ручке — впрочем, я это говорю мимоходом — висит белая блузка. И вот начинается. Да, я забыл себя. Главное действующее лицо, то есть я, стоит вот тут, перед столиком. Инспектор уселся очень удобно, нога на ногу, рука закинута на спинку стула, видно, лентяй каких мало. И вот тут-то все и начинается. Инспектор зовет меня, будто хочет разбудить, он просто орет. К сожалению, для того, чтобы вам стало яснее, мне тоже придется крикнуть. Правда, он выкрикнул только мое имя.

Фройляйн Бюрстнер рассмеялась и приложила палец к губам, чтобы К. не крикнул, однако опоздала. К. так вошел в роль, что уже прокричал, медленно и протяжно: «Иозеф К.!» И хотя крикнул он не так громко, как обещал, все же этот внезапный возглас разнесся по всей комнате.

И вдруг в дверь соседней комнаты постучали — громко, коротко, размеренно. Фройляйн Бюрстнер побледнела и схватилась за сердце. К. испугался еще больше, потому что все время думал об утреннем происшествии, пытаясь его воспроизвести перед фройляйн Бюрстнер. Но, тут же овладев собой, он бросился к ней и схватил ее руку.

— Не бойтесь ничего! — зашептал он. — Я все улажу. Но кто же это стучал? Рядом — гостиная, там никто не спит.

— Нет, спит, — прошептала фройляйн Бюрстнер ему на ухо, — со вчерашнего дня там ночует племянник фрау Грубах, он капитан. Для него свободной комнаты не оказалось. А я забыла. Ах, зачем вы крикнули! Я в отчаянии.

— Напрасно! — сказал К. и, когда она откинулась на подушки, поцеловал ее в лоб.

— Что вы, что вы! — сказала она и торопливо выпрямилась. — Уходите прочь, сейчас же уходите, как можно! Он же подслушивает под дверью, он все слышит. Вы меня замучили!

— Не уйду, пока вы не успокоитесь! Перейдем в тот угол, оттуда он ничего не услышит.

Она покорно дала отвести себя в угол.

— Вы не подумали об одном,— сказал он.— Правда, у вас могут быть неприятности, но никакая опасность вам не грозит. Вы знаете, что фрау Грубах — а в этом вопросе она играет решающую роль, поскольку капитан доводится ей племянником,— вы знаете, что она меня просто обожает и беспрекословно верит каждому моему слову. Кстати, она и зависит от меня, я ей дал в долг порядочную сумму денег. Я готов принять любое предложенное вами объяснение нашей поздней встречи, если только оно будет хоть немного правдоподобно, и обязуюсь подействовать на фрау Грубах так, чтобы она не только приняла его официально, но и поверила безоговорочно и искренне. И пожалуйста, не щадите меня. Если вам угодно распространить слух, что я к вам приставал, то я именно так и сообщу фрау Грубах, и она все примет, не теряя ко мне уважения, настолько она меня ценит.

Фройляйн Бюрстнер молча, опустив плечи, смотрела в пол.

— Да почему бы фрау Грубах не поверить, что я к вам приставал? — добавил К.

Он посмотрел на ее волосы, разделенные пробором, на эти рыжеватые волосы, стянутые низким тугим узлом. Он ждал, что она сейчас подымет на него глаза, но она сказала, не меняя позы:

— Простите, но я испугалась этого внезапного стука, и дело тут не в том, что я боюсь осложнений из-за этого капитана, но вы крикнули, тут стало тихо, и вдруг застучали, вот почему я испугалась, ведь я сидела у самой двери и стук раздался совсем рядом. За ваши предложения я очень благодарна, но принять их не могу. Я сама перед кем угодно несу ответственность за все, что происходит у меня в комнате. Странно, что вы не понимаете, как обидны для меня ваши предложения, хотя я не сомневаюсь в ваших добрых намерениях. А теперь уходите, оставьте меня одну, сейчас мне это еще нужнее, чем прежде. Вы просили уделить вам несколько минут, а прошло полчаса, даже больше.

К. схватил ее за руку выше кисти.

— Но вы на меня не сердитесь? — спросил он.

Она отняла руку и сказала:

— Нет, нет, я ни на кого никогда не сержусь.

Он снова схватил ее за руку, она не сопротивлялась и повела его к двери. Он твердо решил уйти. Но на пороге он вдруг остановился, как будто не ожидал, что

очутится у выхода, и, воспользовавшись этой минутой, фройляйн Бюрстнер высвободила руку, открыла дверь, выскользнула в прихожую и прошептала:

— Идите же скорее, прошу вас. Видите? — И она показала на дверь в комнату капитана, из-под которой пробивался свет.— Он зажег свет и подсматривает за нами.

— Иду, иду,— сказал К., подбежал к ней, схватил ее, поцеловал в губы и вдруг стал осыпать поцелуями все ее лицо, как изжаждавшийся зверь лакает из ручья, гоня языком воду. Наконец он прильнул к ее шее у самого горла и долго не отнимал губ. Только шум из дверей капитана заставил его поднять голову.

— Теперь я ухожу,— сказал он и хотел назвать фройляйн Бюрстнер по имени, но не знал, как ее зовут.

Она устало кивнула, не глядя, подала руку для поцелуя, словно ее это не касалось, и, слегка сутулясь, ушла к себе. Вскоре К. уже лежал в постели. Заснул он очень быстро, но перед сном еще подумал о своем поведении и остался собой доволен, хотя с удивлением почувствовал, что доволен не вполне. Кроме того, он всерьез беспокоился, не будет ли у фройляйн Бюрстнер неприятностей из-за этого капитана.

Глава вторая

СЛЕДСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ

К. сообщили по телефону, что на воскресенье назначено первое предварительное следствие по его делу. Ему сказали, что его будут вызывать на следствия регулярно; может быть, не каждую неделю, но все же довольно часто. С одной стороны, все заинтересованы как можно быстрее закончить процесс, но, с другой стороны, следствие должно вестись со всевозможной тщательностью; однако ввиду напряжения, которого оно требует, допросы не должны слишком затягиваться. Вот почему избрана процедура коротких, часто следующих друг за другом допросов. Воскресный день назначен для допросов ради того, чтобы не нарушать служебные обязанности К. Предполагается, что он согласен с намеченной процедурой, в противном случае ему, поелику возможно, постараются пойти навстречу. Например, допросы можно было бы проводить и ночью, но, вероятно, по ночам у К. не совсем свежая голова. Во всяком случае, если К. не воз-

ражает, решено пока что придерживаться воскресного дня. Само собой понятно, что явка для него обязательна, об этом и напоминать ему не стоит. Был назван номер дома, куда ему следовало явиться; дом находился на отдаленной улице в предместье, где К. еще никогда не бывал.

Выслушав это сообщение, К., не отвечая, повесил трубку; он сразу решил, что в воскресенье пойдет туда; процесс начинался, предстояла борьба, и этот первый допрос должен был стать последним.

Он в задумчивости стоял у телефона, когда сзади его окликнул заместитель директора — ему надо было позвонить, а К. стоял на дороге.

— Плохие новости? — небрежно бросил заместитель вовсе не из любопытства, а просто чтобы К. отошел от телефона.

— Нет, нет,— сказал К., посторонившись, но не уходя.

Заместитель директора взял трубку и, ожидая соединения, сказал поверх трубки:

— Один вопрос, господин К. Не окажете ли вы мне честь присоединиться в воскресенье к нашей компании на моей яхте? Собирается большое общество, наверно, будут и ваши знакомые, среди них, между прочим, и прокурор Гастерер. Вы придете? Приходите непременно!

К. старался вникнуть в каждое слово заместителя директора. Для него это было довольно важно, потому что приглашение заместителя директора, с которым он не слишком ладил, означало попытку примирения с его стороны и показывало, каким незаменимым человеком стал в банке К. и как ценил его дружбу или по крайней мере его нейтральное, беспристрастное отношение второй по значению чиновник банка. И хотя это приглашение было как бы вскользь брошено поверх телефонной трубки, оно звучало несколько заискивающе. Но К. надо было унижить заместителя директора еще больше, и он сказал:

— Благодарю вас! К несчастью, в воскресенье я занят, у меня уже назначена встреча.

— Жаль,— сказал заместитель директора и заговорил по телефону, его как раз соединили.

Разговор был длинный, но К. по рассеянности остался стоять у аппарата. И только когда заместитель дал отбой, он перепугался и, чтобы хоть немного объяснить свое неуместное присутствие, сказал:

— Мне только что звонили, просили прийти в одно место, но забыли сообщить, в какое время.

— А вы еще раз позвоните,— сказал заместитель директора.

— Да это неважно,— сказал К., тем самым сводя на нет свое и без того нелепое объяснение.

Заместитель директора, уходя, бросил еще несколько фраз совсем о другом. К. заставил себя ответить, но думал он в это время главным образом о том, что лучше всего будет в воскресенье пойти по вызову к девяти утра, так как по будням все судебные учреждения начинают работать именно в это время.

Погода в воскресенье была плохая. К. чуть не проспал, он страшно утомился, потому что до поздней ночи сидел в кафе, где завсегдатаи устроили пирушку. Второпях, не давая себе времени обдумать и привести в порядок все планы, составленные за неделю, он оделся и, не позавтракав, помчался в указанное ему предместье. И хотя глазеть по сторонам времени не было, но, как ни странно, он увидел по дороге всех трех чиновников, причастных к его делу,— и Рабенштейнера, и Куллиха, и Каминера. Первые два проехали мимо него в трамвае, а Каминер сидел на терраске кафе и как раз в ту минуту, когда К. пробежал мимо, с любопытством перевесился через перила. Наверно, все трое с удивлением смотрели, как бежит бегом их начальник.

Из какого-то упрямства К. не пожелал ехать, ему была противна любая, даже самая ничтожная причастность посторонних к его делам, не хотелось пользоваться ничьими услугами и тем самым хотя бы в малейшей степени посвящать кого-то в эту историю; и наконец, у него не было ни малейшей охоты унижить себя перед следственной комиссией слишком большой пунктуальностью. И все же он бежал бегом, чтобы по возможности явиться точно в девять, хотя его даже не вызывали на определенный час.

Он думал, что уже издали узнает дом по какому-нибудь признаку, хотя не представлял себе, по какому именно, а может быть, и по необычному оживлению у входа. Но, задержавшись в начале Юлиусштрассе, на которой находился дом, куда его вызвали, К. увидел по обе стороны улицы почти одинаковые здания: высокие, серые, населенные беднотой доходные дома. В это воскресное утро почти из всех окон выглядывали люди. Мужчины без пиджаков курнили, высунувшись наружу, или осторожно и заботливо держали на подоконниках маленьких детей. На других подоконниках громозди-

лись постельные принадлежности, за которыми мелькали растрепанные женские головы. Все перекликались через улицу, и один такой окрик как раз над головой К. вызвал взрыв смеха. По всей длинной улице на одинаковых расстояниях в полуподвалах разместились бакалейные лавочки, куда можно было спуститься по ступенькам. Оттуда входили и выходили хозяйки, останавливались на ступеньках, болтали. Торговец фруктами расхваливал свой товар, задрав голову к окнам, и чуть не сбил К. с ног своей тележкой, когда они оба зазевались. Где-то убийственно завопил граммофон, как видно уже отработавший свое в более богатых кварталах.

К. прошел дальше по улочке медленным шагом, будто у него времени сколько угодно; если следователь видит его из какого-нибудь окна, значит, он знает, что К. явился. Только что пробило девять. Дом оказался довольно далеко, он был необычайно длинный; особенно ворота были очень высокие и широкие. Очевидно, они предназначались для фургонов, развозивших товар по разным складам. Сейчас все склады во дворе были закрыты, но по вывескам К. узнал некоторые фирмы — его банк вел с ними дела. Вопреки свосму обыкновению он пристально разглядывал окружающее, даже остановился у входа во двор. Неподалеку на ящике сидел босоногий человек и читал газету. Двое мальчишек качались на тачке. У колонки стояла болезненная девушка в ночной кофточке, и, пока вода набиралась в кувшин, она не сводила глаз с К. В углу двора между двумя окнами натягивали веревку, на ней уже висело выстиранное белье. Внизу стоял человек и, покрикивая, руководил работой.

К. пошел было к лестнице, чтобы подняться в кабинет следователя, но остановился: кроме этой лестницы, со двора в дом было еще три входа, а в глубине двора виднелся неширокий проход во второй двор. К. рассердился, оттого что ему не указали точнее, где этот кабинет; все-таки к нему отнеслись с удивительным невниманием и равнодушием, и он решил, что заявит об этом громко и отчетливо. Наконец он все же поднялся по лестнице, мысленно повторяя выражение Виллема, одного из стражей, что вина сама притягивает к себе правосудие, из чего, собственно говоря, вытекало, что кабинет следователя должен находиться именно на той лестнице, куда случайно поднялся К.

Подымаясь по лестнице, он все время мешал детям, игравшим там, и они провожали его злыми взглядами.

В другой раз, если придется сюда идти, надо будет взять либо конфет, чтобы подкупить их, либо палку, чтобы их отколотить, сказал он себе. У второго этажа ему даже пришлось переждать, пока мячик докатится донизу: двое мальчишек с хитроватыми лицами взрослых бандитов вцепились в его брюки; стряхнуть их можно было только силой, но К. боялся, что они завопят, если им сделать больно.

Все начиналось со второго этажа. Так как он нипочем не решался спросить, где следственная комиссия, он тут же придумал столяра Ланца — эта фамилия взбрела ему на ум, потому что так звали капитана, племянника фрау Грубах,— и решил во всех квартирах спрашивать, не тут ли проживает столяр Ланц, а под этим предлогом попутно заглядывать в комнаты. Но оказалось, что это можно сделать и без всякого предлога, потому что все двери были открыты, дети вбегали и выбегали из комнат. Комнаты по большей части были маленькие, с одним окном, там же шла стряпня. Многие женщины на одной руке держали грудных младенцев, а другой орудовали у плиты. Больше всех суетились девчонки-подростки; казалось, что, кроме фартучков, на них ничего нет. Во всех комнатах стояли разобранные кровати, везде лежали люди — кто был болен, кто еще спал, а кто просто валялся в одежде. В те квартиры, где двери были закрыты, К. стучался и спрашивал, не здесь ли живет столяр Ланц.

Чаще всего двери открывала женщина и, выслушав вопрос, оборачивалась в комнату, к кому-то, лежащему на кровати:

— Вот господин спрашивает, где живет столяр Ланц?

— Столяр Ланц? — переспрашивал лежащий.

— Да,— отвечал К., хотя уже видел, что никакой следственной комиссии здесь нет и делать ему тут больше нечего.

Многие решали, что для К. очень важно отыскать столяра Ланца, долго думали, называли столяра с другой фамилией, не Ланц, или с фамилией, лишь отдаленно звучащей как «Ланц», расспрашивали и соседей, провожали К. до какой-нибудь дальней двери, где, по их мнению, такой человек мог снимать угол или где кто-нибудь лучше знал жильцов, чем они сами. В конце концов К. уже ничего не приходилось спрашивать, его и так затаскали по всем этажам. Он уже сожалел о своей выдумке, показавшейся ему сначала такой удачной. Перед шестым эта-

жом он решил прекратить поиски, попрощался с приветливым молодым рабочим, который хотел провести его еще дальше, и стал спускаться. Но тут же, раздраженный бессмысленностью всей этой процедуры, он снова поднялся и постучал в первую дверь на шестом этаже. Первое, что он увидел в маленькой комнате, были огромные стенные часы, показывавшие десять часов.

— Здесь живет столяр Ланц? — спросил он.

— Проходите! — ответила молодая женщина с блестящими черными глазами — она стирала в корыте детское белье и мокрой рукой показала на открытую дверь соседней комнаты.

К. сперва подумал, что попал на собрание. Толпа самых разных людей — никто из них не обратил на него внимания — наполняла средней величины комнату с двумя окнами, обнесенную почти у самого потолка галереей, тоже переполненной людьми; стоять там можно было, только согнувшись, касаясь головой и спиной потолка. К. стало душно, он вышел из комнаты и сказал молодой женщине, которая, очевидно, не так его поняла:

— Я спрашивал столяра, некоего Ланца.

— Да, — сказала молодая женщина, — пройдите, пожалуйста, туда!

Может быть, К. и не последовал бы за ней, но она подошла к нему, взялась за ручку двери и сказала:

— Мне придется запереть за вами, больше никого впускать нельзя.

— Вполне разумно, — отвечал К., — там и без того переполнено. — Но все-таки он опять пошел в ту комнату.

Двое мужчин разговаривали у самой двери: один шевелил обеими руками, словно считая деньги, другой пристально смотрел ему в глаза; между ними вдруг протянулась чья-то ручонка и схватила К. Это был маленький краснощекий мальчик.

— Пойдемте, пойдемте! — сказал он.

К. дал себя повести через густую толпу — оказалось, что в ней все-таки был узкий проход, который, по всей вероятности, разделял людей на две группы; за это говорило и то, что К. не видел в первых рядах ни одного лица: все стояли, повернувшись спиной к проходу и обращаясь только к своей группе. Почти все были в черном, в старых, свободно и длинно свисавших праздничных сюртуках. Только эта одежда сбивала с толку К., иначе он решил бы, что попал на районное собрание какой-то политической организации.

В другом конце зальца, куда привели К., на очень низких, тоже переполненных подмостках стоял наискось небольшой столик, и за ним, у самого края подмостков, сидел маленький пыхтящий толстячок — он, громко хохоча, переговаривался с человеком, стоящим за ним, — тот облокотился на спинку его кресла и скрестил ноги. Иногда толстяк подымал руку вверх, словно кого-то передразнивая. Мальчику, который привел К., стоило большого труда доложить о нем. Дважды, подымаясь на цыпочки, он пытался что-то сообщить, но человек в кресле не обращал на него внимания. И только когда один из стоявших на подмостках людей указал ему на мальчика, он обернулся к нему и, нагнувшись, выслушал его тихий доклад. Он сразу вынул часы и быстро взглянул на К.

— Вы должны были явиться ровно час и пять минут назад, — сказал он.

К. хотел что-то ответить, но не успел: едва тот кончил фразу, как в правой половине зала поднялся общий гул.

— Вы должны были явиться ровно час и пять минут тому назад, — повысив голос, повторил толстяк и торопливо посмотрел вниз. Толпа загудела еще громче, но, так как толстяк больше ничего не сказал, гул постепенно стих. В зальце стало гораздо тише, чем когда К. вошел. Только на галерее люди еще обменивались замечаниями. Насколько можно было разглядеть в полутьме, в пыли и в чаду, они были хуже одеты, чем люди внизу. Многие принесли с собой подстилки и просунули их между головой и потолком комнаты, чтобы не натереть кожу до крови.

К. решил больше наблюдать, чем говорить, поэтому он не стал оправдываться, а только сказал:

— Пусть я и опоздал, но ведь я уже тут.

В правой половине толпа зааплодировала. Как их легко расположить к себе, подумал К. Его только смущала тишина во второй половине, сразу за его спиной, — оттуда раздались единичные хлопки. Он подумал, как бы ему сказать что-нибудь такое, чтобы расположить к себе всех сразу, а если это невозможно, то хотя бы временно завоевать и вторую половину публики.

— Да, — сказал человек на подмостках, — но теперь я уже не обязан вас допрашивать... — И снова гул, на этот раз по недоразумению, потому что тот жестом остановил ропот внизу и продолжал: — ...и только в виде исключения я сегодня пойду на это. Но больше опозданий быть не должно. А теперь подойдите.

Кто-то соскочил с подмостков, чтобы освободить место для К., и он поднялся туда. Он стоял, прижатый к столу вплотную, а за ним так густо толпились люди, что приходилось сопротивляться, иначе он столкнул бы с подмостков столик следователя, а то и его самого.

Однако следователь ничуть не беспокоился, наоборот, он удобно откинулся в кресле и, закончив разговор со стоящим сзади человеком, взял маленькую записную книжку — единственное, что лежало перед ним на столе. Книжка походила на школьную тетрадь и от частого перелистывания совершенно растрепалась.

— Значит, так,— проговорил следователь и скорее утвердительно, чем вопросительно, сказал К.: — Вы маляр?

— Нет,— сказал К.,— я старший прокурисст крупного банка.

В ответ на его слова вся группа справа стала хохотать, да так заразительно, что К. и сам расхохотался. Люди хлопали себя по коленкам, их трясло, как в припадке неукротимого кашля. Смеялся даже кто-то на галерее. Следователя это ужасно рассердило, но, очевидно, он был бессилен против людей внизу и попытался отыгаться на галерке; вскочил, погрозил наверх кулаком, и его брови, незаметные на первый взгляд, вдруг сдвинулись на переносице, густые, черные и косматые.

Но левая половина зала все еще безмолвствовала. Люди стояли рядами, лицом к подмосткам, и с одинаковым спокойствием слушали и разговор наверху, и шум группы справа; они даже не реагировали, когда некоторые из их группы время от времени переходили в другую. Но левая группа, хотя и не такая многочисленная, как правая, в сущности тоже никакого веса не имела, однако в ней было что-то значительное благодаря ее полному спокойствию. И когда К. начал говорить, ему показалось, что они с ним соглашаются.

— Ваш вопрос, господин следователь, не маляр ли я, вернее, не вопрос, а ваше безоговорочное утверждение характерно для всего разбирательства дела, начатого против меня. Вы можете возразить, что никакого разбирательства еще нет, и будете вполне правы, потому что разбирательство может считаться таковым, только если я его признаю. Хорошо, на данный момент я, так и быть, его признаю, разумеется исключительно из снисхождения к вам. Тут только и можно проявить снисхождение, если вообще обращать внимание на все, что происходит.

Не стану говорить, что все разбирательство ведется до крайности неряшливо, но хотелось бы, чтобы вы сами осознали это.

К. умолк и оглянул зал. Говорил он резко, куда резче, чем намеревался, но сказал все правильно. И, несомненно, он заслужил одобрение тех или других, но все затихли, явно дожидаясь в напряжении, что будет дальше, и, может быть, эта тишина таила в себе взрыв, который положил бы конец всему. Но тут некстати отворилась дверь и в зал вошла молоденькая прачка, очевидно кончившая свою работу, и, хотя она старалась идти как можно осторожнее, многие обратили на нее взгляды. Но К. искренне обрадовался, взглянув на следователя; казалось, слова К. задели его за живое. Он слушал стоя, а встал он до этого, чтобы утихомирить галерею. Теперь, в наступившей паузе, он начал медленно опускаться в кресло, словно хотел сесть незаметно. И, наверно, чтобы не выдавать волнения, он снова взялся за свою тетрадочку.

— Ничего вам не поможет,— продолжал К.,— и тетрадочка ваша, господин следователь, только подтверждает мои слова.

Довольный тем, что в зале слышен только его собственный спокойный голос, К. даже осмелился без околичностей взять у следователя его тетрадку и кончиками пальцев, словно брезгуя, поднять за один из срединных листков, так что с обеих сторон свисали мелко исписанные, испачканные и пожелтевшие странички.

— И это называется следственной документацией! — сказал он и небрежно уронил тетрадку на стол.— Можете спокойно читать ее и дальше, господин следователь, такого списка грехов я никак не боюсь, хоть и лишен возможности с ним ознакомиться, потому что иначе, как двумя пальцами, я до него не дотронусь, в руки я его не возьму.— И то, что следователь торопливо подхватил тетрадку, когда она упала на стол, тут же попытался привести ее в порядок и снова углубился в чтение, могло быть только сознанием глубокого унижения, по крайней мере так это воспринималось.

Снизу на К. пристально смотрели люди из первого ряда, и он невольно стал всматриваться в их лица. Все это были немолодые мужчины, некоторые даже с седыми бородами. Может быть, они всё и решали и могли повлиять на остальных,— те настолько безучастно отнеслись к унижению следователя, что не вышли из оцепенения, в которое их привела речь К.

— То, что со мной произошло,— продолжал К. уже немного тише, пристально вглядываясь в лица стоявших в первом ряду, отчего его речь звучала несколько сбивчиво,— то, что со мной произошло, всего лишь частный случай, и сам по себе он значения не имеет, так как я не слишком принимаю все это к сердцу, но этот случай — пример того, как разбираются дела очень и очень многих. И я тут заступаюсь за них, а вовсе не за себя.

К. невольно повысил голос. Кто-то, высоко подняв руки, зааплодировал и крикнул: «Браво! Так и надо! Браво! — И еще раз: — Браво!»

Кое-кто из стоявших впереди в задумчивости теребил бороду, но ни один не обернулся на этот возглас. К. и сам не придавал ему значения, хотя несколько ободрился; он даже не считал нужным, чтобы ему аплодировала вся аудитория, достаточно, если все присутствующие хотя бы задумаются над тем, что происходит, и если хоть некоторых удастся убедить и перетянуть на свою сторону.

— Я не стремлюсь к ораторским успехам,— сказал К. в ответ на свои мысли,— да это и не в моих возможностях. Господин следователь, наверно, говорит куда лучше меня, ведь этого требует его профессия. Я хочу только одного — открыто обсудить открытое нарушение законов. Посудите сами: дней десять тому назад я был арестован. Впрочем, самый этот факт мне только смешон, но не о том речь. Рано утром меня захватили врасплох, еще в кровати; возможно, что был отдан приказ — судя по словам следователя, это не исключено — арестовать некоего маляра, такого же невинного человека, как и я, но выбор пал на меня. Соседнюю со мной комнату заняла стража — два грубияна. Будь я даже опасным разбойником, и то нельзя было бы принять больше предосторожностей. Кроме того, эти люди оказались вконец развращенными мошенниками, они наболтали мне с три короба, вымогали взятку, собирались под каким-то предлогом выманить у меня белье и платье, требовали денег, обещая принести мне завтрак, а перед этим на моих глазах нагло уничтожили мой собственный завтрак. Но этого мало. Меня провели в третью комнату к их инспектору. В этой комнате живет дама, которую я глубоко уважаю, и я должен был смотреть, как из-за меня, хотя и не по моей вине, эту комнату в какой-то мере оскверняло присутствие стражи с инспектором. Нелегко было сохранить спокойствие. Но я сдержался и спросил этого инспектора совершенно спо-

койно — будь он здесь, он мог бы вам это подтвердить, — почему я арестован. И что же ответил этот инспектор? Как сейчас вижу его перед собой: сидит в кресле выше-помянутой дамы как воплощение тупейшего высокомерия. Господа, по существу он ничего мне не ответил; может быть, он действительно ничего не знал, просто он меня арестовал и на этом успокоился. Более того, он вызвал в комнату этой дамы трех низших служащих из моего банка, которые занимались тем, что рылись в фотографиях, принадлежавших даме, и привели их в полный беспорядок. Разумеется, присутствие этих служащих преследовало еще одну цель, а именно: так же как моя квартирная хозяйка и ее прислуга, они должны были распространить известие о моем аресте, чтобы повредить моей репутации, а главное — подорвать мое положение в банке. Но из этого ничего, абсолютно ничего не вышло; даже моя квартирная хозяйка, совершенно простая женщина, — назову вам с уважением ее имя: фрау Грубах, — так вот, даже у фрау Грубах хватило благоразумия понять, что такой арест имеет не больше значения, чем драка уличных мальчишек на мостовой. Повторяю, для меня это было только неприятностью, которая вызвала мимолетное раздражение, но ведь последствия могли быть куда хуже, не так ли?

Тут К. остановился и посмотрел на молчаливого следователя — ему показалось, что тот глазами делает знак кому-то из стоящих внизу. К. улыбнулся и сказал:

— Только что господин следователь, сидящий рядом, подал кому-то из вас тайный знак. Значит, среди вас есть люди, которыми он дирижирует отсюда, со своего места. Не знаю, должен ли его знак вызвать свистки или аплодисменты, и тем, что я заранее открываю их сговор, я совершенно сознательно выражаю пренебрежение к этим знакам. Мне в высшей степени безразлично, что они значат, и я могу дать господину следователю право в открытую командовать своими наемниками там, внизу, причем не тайными знаками, а вслух, словами; пусть он прямо говорит: «Свистите!», а в другой раз, если надо: «Хлопайте!»

От смущения или от нетерпения следователь заерзал на стуле. Человек, который стоял сзади и разговаривал с ним раньше, снова наклонился к нему, то ли чтобы просто его подбодрить, то ли подать ему ценный совет. Внизу люди переговаривались, негромко, но оживленно. Обе группы, которые поначалу как будто расходились во мне-

ниях, теперь смешались; одни показывали пальцем на К., другие — на следователя.

Густой чад, наполнявший комнату, действовал удручающе, он мешал рассмотреть даже стоявших поодаль. Особенно трудно было посетителям на галерее, им приходилось, робко косясь на следователя, сверху потихоньку расспрашивать участников собрания, чтобы разобраться, в чем дело. Им отвечали так же тихо, прикрываясь ладонью.

— Сейчас я кончаю,— сказал К. и, так как звонка на столе не было, стукнул по столу кулаком; следователь и его советчик в испуге отшатнулись друг от друга.— Меня все это дело не касается, поэтому я сужу о нем спокойно, а вам всем будет весьма полезно меня выслушать — конечно, при условии, что вы как-то заинтересованы в этом предполагаемом судебном деле. Причем обсуждение того, что я вам излагаю, прошу отложить, так как времени у меня нет и я скоро уйду.

Тотчас наступила тишина, настолько К. сумел овладеть аудиторией. Уже никто не перекрикивал других, как вначале, никто одобрительно не хлопал. Казалось, все уже в чем-то убедились или готовы убедиться.

— Нет сомнения,— очень тихо заговорил К., его радовало напряженное внимание всей аудитории, и в тишине рождался гул, который его подбадривал больше самых восторженных аплодисментов,— нет сомнения, что за всем судопроизводством, то есть в моем случае за этим арестом и за сегодняшним разбирательством, стоит огромная организация. Организация эта имеет в своем распоряжении не только продажных стражей, бестолковых инспекторов и следователей, проявляющих в лучшем случае похвальную скромность, но в нее входят также и судьи высокого и наивысшего ранга с бесчисленным, неизбежным в таких случаях штатом служащих, писцов, жандармов и других помощников, а может быть, даже и палачей — я этого слова не боюсь. А в чем смысл этой огромной организации, господа? В том, чтобы арестовывать невинных людей и затевать против них бессмысленный и по большей части — как, например, в моем случае — безрезультатный процесс. Как же тут, при абсолютной бессмысленности всей системы в целом, избежать самой страшной коррупции чиновников? Это недостижимо, тут даже самый высокий судья не останется честным. Потому и стража пытается красть одежду арестованных, потому их инспектора и врываются в чужие квартиры,

потому и невинные вместо допроса должны позориться перед целым собранием. Стража рассказывала мне о складах, где хранятся вещи арестованных; хотелось бы мне взглянуть на эти склады, где гниет заработанное честным трудом имущество арестованных, если только его не расхищают вору служители.

Но тут речь К. была прервана воплями из дальнего угла. Он затенил глаза рукой, чтобы лучше видеть, — от мутного света чад в комнате казался белесым и слепил глаза. Виной была прачка; уже при ее появлении К. понял, что она непременно помешает. Но виновата она сейчас или нет, сказать было трудно. К. видел только, что какой-то мужчина увлек ее в угол у дверей и там крепко прижал к себе. Однако вопила не она, а этот мужчина, он широко разинул рот и уставился в потолок. Вокруг них столпились те посетители галереи, что стояли поближе; они, как видно, пришли в восторг оттого, что это происшествие нарушило серьезность, которую К. внес в собрание. Под первым впечатлением он чуть не бросился туда, решив, что и все остальные захотят сразу навести порядок и хотя бы выставить эту пару из зала, но первые ряды перед ним плотно сомкнулись, никто не тронулся с места, никто не пропускал К. Напротив, ему помешали: старики выставили руки вперед, и чья-то рука — обернувшись ему было некогда — вцепилась сзади в его воротник. К. уже не думал об этой паре; ему показалось, что у него отнимают свободу, что его и в самом деле арестовали, и он, вырвавшись, соскочил с подмостков. Теперь он очутился лицом к лицу с толпой. Неужели он неправильно оценил этих людей? Неужели он слишком понадеялся на воздействие своей речи? Неужто все они притворялись, а теперь, когда близилась развязка, им притворяться надоело? И какие лица окружали его! Маленькие черные глазки шныряли по сторонам, щеки свисали мешками, как у пьяниц, жидкие бороды жестко топорщились; казалось, запустишь в них руку — и покажется, будто только скрючиваешь пальцы впустую, под ними — ничего. А из-под бород — и для К. это было настоящим открытием — просвечивали на воротниках знаки различия разной величины и цвета. И куда ни кинь глазом — у всех были эти знаки. Значит, все эти люди были заодно, разделение на правых и левых было только кажущимся, а когда К. внезапно обернулся, он увидел те же знаки различия на воротнике следователя — тот, сложив руки на коленях, спокойно смотрел вниз.

— Вот оно что! — крикнул К. и взметнул руки вверх — внезапное прозрение требовало широкого жеста.— Значит, все вы чиновники! Теперь я вижу, все вы та самая продажная свора, против которой я выступал, вы пробрались сюда разнюхивать, подслушивать, разделились для видимости на группы, аплодировали мне, чтобы меня испытать, хотели узнать, можно ли сбить с толку невинного человека! Что ж, надеюсь, вы тут пробыли не без пользы для себя: либо вы посмеялись над тем, что от таких, как вы, ждали защиты невинного, либо... Пусти меня, не то ударю! — крикнул К. какому-то дрожащему старикашке, который придвинулся к нему особенно близко,— ...либо вы все-таки чему-то научились. А засим пожелаю вам удачи на вашем служебном поприще.

Он схватил свою шляпу, лежащую на краю стола, и прошел к выходу при полном и недоуменном молчании присутствующих. Но, очевидно, следователь опередил К., он уже ждал его у дверей.

— Одну минуту! — сказал он. К. остановился и, уже взявшись за ручку, вперил глаза не в следователя, а в дверь.— Я только хотел обратить ваше внимание,— сказал следователь,— что сегодня вы, вероятно сами того не сознавая, лишили себя преимущества, которое в любом случае дает арестованному допрос.

К. расхохотался, все еще глядя на дверь.

— Вот мразь! — крикнул он.— Ну и сидите с вашими допросами! — И, открыв дверь, он побежал вниз по лестнице.

За ним послышался шум — видимо, собрание опять оживилось и затеяло что-то вроде ученой дискуссии, обсуждая все, что произошло.

Глава третья

В ПУСТОМ ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЙ. СТУДЕНТ. КАНЦЕЛЯРИИ

Всю следующую неделю К. изо дня в день ожидал нового вызова, он не мог поверить, что его отказ от допроса будет принят буквально, а когда ожидаемый вызов до субботы так и не пришел, К. усмотрел в этом молчании приглашение в тот же дом на тот же час. Поэтому в воскресенье он снова отправился туда и прямо прошел по этажам и коридорам наверх; некоторые жиль-

цы, запомнившие его, здоровались с ним у дверей, но ему не пришлось никого спрашивать, и он сам подошел к нужной двери. На стук открыли сразу, и, не оглядываясь на уже знакомую женщину, остановившуюся у дверей, он хотел пройти в следующую комнату.

— Сегодня заседания нет,— сказала женщина.

— Как это нет заседания? — спросил он, не поверив.

Чтобы убедить его, женщина отворила дверь в соседнее помещение. Там и вправду было пусто, и от этой пустоты комната казалась еще более жалкой, чем в прошлое воскресенье. На столе, так и стоявшем на подмостках, лежало несколько книг.

— Можно взглянуть на эти книжки? — спросил К. не столько из любопытства, сколько для того, чтобы его приход не был совершенно бесполезным.

— Нет,— сказала женщина и снова заперла дверь,— это не разрешается. Книги принадлежат следователю.

— Ах вот оно что,— сказал К. и кивнул головой.— Должно быть, это свод законов, а теперешнее правосудие, очевидно, состоит в том, чтобы осудить человека не только невинного, но и неосведомленного.

— Должно быть, так оно и есть,— сказала женщина, как видно не совсем понимая его.

— Что ж, тогда я уйду,— сказал К.

— Передать от вас что-нибудь следователю? — спросила женщина.

— А разве вы его знаете? — спросил К.

— Конечно,— сказала женщина,— ведь мой муж — служитель в суде.

Только сейчас К. заметил, что комната, где в прошлый раз стояло только корыто, теперь была убрана как настоящая жилая комната. Женщина заметила его удивление и сказала:

— Да, нам предоставлена бесплатная квартира, но в дни заседаний мы должны освободить эту комнату. На службе мужа много неудобств.

— Меня удивляет вовсе не ваша комната,— сказал К. и сердито посмотрел на женщину.— Гораздо больше я удивлен тем, что вы замужем.

— Вы, должно быть, намекаете на тот случай во время последнего заседания, когда я помешала вашей речи? — спросила женщина.

— Конечно,— сказал К.— Правда, дело прошлое, я бы о нем не вспомнил, но тогда я просто взбесился. А теперь вы сами говорите, что вы замужем.

— Вам только пошло на пользу, что вашу речь превали. О вас потом говорили очень недоброжелательно.

— Возможно,— уклончиво сказал К.,— но для вас это не оправдание.

— А вот все мои знакомые меня оправдывают,— сказала женщина.— Тот, что меня обнимал, уже давно за мной бегаёт. Может быть, для других я ничуть не привлекательна, а для него — очень. Тут ничего не поделаешь, даже моему мужу пришлось примириться; если хочешь сохранить место, пусть терпит, ведь тот человек — студент и, наверно, добьётся больших чинов. Вечно он за мной бегаёт. Он только что ушел перед вашим приходом.

— Одно к одному,— сказал К.,— меня это ничуть не удивляет.

— Видно, собираетесь навести здесь порядок? — спросила женщина медленно и осторожно, словно сказала что-то опасное и для нее, и для К.— Я так и догадалась по вашей речи. Мне лично она очень понравилась. Правда, я не все слышала — начало пропустила, а под конец лежала со студентом на полу. Ах, здесь так гадко! — помолчав, воскликнула она и схватила К. за руку: — А вы верите, что вам удастся завести новые порядки?

К. рассмеялся и слегка потянул свою руку из ее мягких пальцев.

— В сущности,— сказал он,— меня никто не уполномочил заводить здесь, как вы выражаетесь, новые порядки, и если вы, к примеру, скажете об этом следователю, то вас осмеют, а может быть, и накажут. Более того, по доброй воле я ни за какие блага не стал бы вмешиваться в эти дела; и терять сон, придумывая какие-то улучшения судебной процедуры, я тоже не намерен. Но обстоятельства, вызвавшие мой арест,— дело в том, что я арестован,— побудили меня вмешаться ради собственных интересов. Однако, если я могу и вам быть чем-нибудь полезен, я охотно помогу вам. И не только из человеколюбия, но и потому, что и вы можете мне помочь.

— Чем же? — спросила женщина.

— Например, тем, что покажете мне вон те книги.

— Ну конечно же! — воскликнула она и торопливо потянула его к столу. Книги были старые, потрепанные, на одной переплет был переломлен и обе половинки держались на ниточке.

— Какая тут везде грязь,— сказал К., покачав головой, и женщине пришлось смахнуть пыль фартуком хотя бы сверху, прежде чем К. мог взяться за книгу.

Он открыл ту, что лежала сверху, и увидел неприличную картинку. Мужчина и женщина сидели в чем мать родила на диване, и хотя непристойный замысел художника легко угадывался, его неумение было настолько явным, что, собственно говоря, ничего, кроме фигур мужчины и женщины, видно не было. Они грубо мозолили глаза, сидели неестественно прямо и из-за неправильной перспективы даже не могли бы повернуться друг к другу. К. не стал перелистывать эту книгу и открыл титульный лист второй книжки; это был роман под заглавием «Какие мучения терпела Грета от своего мужа Ганса».

— Так вот какие юридические книги тут изучают! — сказал К.— И эти люди собираются меня судить!

— Я вам помогу! — сказала женщина.— Согласны?

— Но разве вы и вправду можете мне помочь, не подвергая себя опасности? Ведь вы сами сказали, что ваш муж целиком зависит от своего начальства.

— И все же я вам помогу,— сказала женщина.— Походите сюда, надо все обсудить. А о том, что мне грозит опасность, говорить не стоит. Я только тогда пугаюсь опасности, когда считаю нужным. Идите сюда.— Она показала на подмости и попросила его сесть рядом с ней на ступеньки.— У вас чудесные темные глаза,— сказала она, когда они сели, и заглянула К. в лицо.— Говорят, у меня тоже глаза красивые, но ваши куда красивее. Ведь я вас сразу заметила, еще в первый раз, как только вы сюда зашли. Из-за вас я и пробралась потом в зал заседаний. Обычно я никогда этого не делаю, мне даже, собственно говоря, запрещено ходить сюда.

Вот к чему все свелось! — подумал К. Она просто мне себя предлагает, испорчена до мозга костей, как и все тут; ей надоели судебные чиновники, что вполне понятно, вот она и встречает любого посетителя комплиментами насчет его глаз. И К. молча встал, будто уже высказал эти мысли вслух, и объяснил женщине свое поведение.

— Не думаю, чтобы вы могли мне помочь,— сказал он.— Для настоящей помощи надо иметь связи с высшими чинами. А вы, наверно, знакомы с мелкой сошкой, их тут много ходит. Их-то вы наверняка хорошо знаете и можете многого у них добиться, в этом я не сомневаюсь, но, даже если бы они сделали все, что в их силах, никакого влияния на исход моего процесса это иметь не мо-

жет. А от вас к тому же могут отступить некоторые друзья. Этого я не хочу. Так что вам не стоит портить отношения с этими людьми; мне кажется, они вам еще понадобятся. Говорю не без сожаления, так как в ответ на ваши комплименты могу сказать, что и вы мне нравитесь, особенно сейчас, когда смотрите на меня такими грустными глазами, хотя никаких оснований для грусти у вас нет. Вы вращаетесь среди людей, с которыми я должен бороться, и с ними чувствуете себя отлично, вы даже влюблены в студента, а если и нет, то, во всяком случае, предпочитаете его мужу. Из ваших слов это ясно видно.

— Нет! — крикнула она и, не вставая, схватила К. за руку, которую он не успел отнять. — Вам уходить нельзя! Вы обо мне совсем неверно думаете, так нельзя! Неужели вы можете взять и уйти? Неужели я так мало стою, что вы ради меня не можете остаться хоть ненадолго?

— Вы меня не поняли, — сказал К. и снова сел. — Если вам действительно хочется, чтобы я остался, я, конечно, останусь, времени у меня много, ведь я пришел сюда, думая, что сегодня тут будет судебное заседание. Я только высказал просьбу: ничего не предпринимайте в отношении моего процесса. И вы никак не должны обижаться; поймите, что мне совершенно безразлично, чем окончится этот процесс, и над их приговором я буду только смеяться. Все это, конечно, лишь в том случае, если процесс вообще состоится, в чем я сильно сомневаюсь. Скорее можно предположить, что все судопроизводство — по лени или по забывчивости, а может быть, просто по трусости чиновников — уже прекращено или прекратится в самое ближайшее время. Разумеется, вполне возможно, что они будут продолжать этот процесс для видимости, в надежде на порядочную взятку, но уверяю вас заранее, что все их надежды напрасны — я никому взятку не даю. Вот тут вы можете сделать мне одолжение: сообщите следователю или кому-нибудь, кто любит распространять всякие слухи, что никогда, никакими фокусами эти господа не способны выманить у меня взятку. Ничего у них не выйдет, так им и передайте. Впрочем, может быть, они и сами это поняли, а может быть, и нет. В общем, мне безразлично, узнают ли они об этом сейчас или потом. Если им все будет известно заранее, мы только облегчим их работу. Правда, и мне было бы меньше неприятностей, но я готов на любые неприятности, лишь

бы ударить и по ним. А об этом я уж позабочусь. Кстати, знакомы ли вы со следователем?

— Ну конечно! — воскликнула женщина. — Я о нем и подумала, когда предлагала вам помощь. Я же не знала, что он всего-навсего низший служащий, но, раз вы так говорите, значит, так оно и есть. И все же я думаю, что доклады, которые он посылает наверх, имеют какое-то влияние. А он их столько пишет! Вот вы сказали, что все чиновники — лентяи. Нет, не все — особенно этот следователь, он все пишет и пишет. Например, в прошлое воскресенье заседание затянулось до вечера. А когда все ушли, следователь остался, пришлось принести лампу; у меня была только маленькая кухонная лампочка, но он и ею был доволен, сразу сел и стал писать. А тут вернулся муж, у него в то воскресенье был свободный день, мы внесли мебель, прибрали нашу комнату, потом пришли соседи, мы посидели при свечке — словом, совсем забыли про следователя и легли спать. И вдруг ночью, наверно далеко за полночь, я просыпаюсь, а возле кровати стоит следователь и затеняет лампу рукой, чтобы свет не падал на моего мужа, хотя это ни к чему, муж так спит, что его никакой свет не разбудит. Я до того испугалась, что чуть не закричала, но этот следователь такой любезный, попросил меня не шуметь и сказал, что он до сих пор писал, а теперь возвращает мне лампу и никогда в жизни не забудет, как он увидел меня сонную. Я вам только хочу этим сказать, что следователь действительно пишет доклады, и главным образом про вас. Видно, в то воскресенье самым основным вопросом на заседании было ваше дело. А такие длинные доклады непременно должны иметь какое-то значение. Кроме того, по этому случаю ясно, что следователю я нравлюсь и что именно сейчас, в первое время — а он только недавно обратил на меня внимание, — я могу очень на него повлиять. У меня есть и другие доказательства, что он мной интересуется. Вчера через студента — он с ним работает и очень ему доверяет — он прислал мне в подарок пару шелковых чулок, будто бы за то, что я убираю зал заседаний, но, конечно, это лишь предлог, работаю я по обязанности, и мужу за это платят. А чулки прекрасные, вот взгляните... — она вытянула ноги, подняв юбку выше колен, и сама посмотрела на чулки, — да, чулки красивые, но слишком уж тонкие, мне они не подходят.

Вдруг она остановилась, положила руку на руку К., словно хотела его успокоить, и шепнула:

— Тише, Бертольд за нами следит.

К. медленно поднял глаза. В дверях зала заседания стоял молодой человек; он был невысок, с кривоватыми ногами и, очевидно для пушей важности, отпустил короткую жиденькую рыжую бородку, которую он непрестанно теребил пальцами. К. посмотрел на него с любопытством — это был первый студент неизвестных ему юридических наук, которого он встречал, так сказать, в частной жизни и который, вероятно, впоследствии достигнет высоких постов. Студент же, напротив, никакого внимания на К. не обратил, он только на минуту вытащил палец из бороды, поманил к себе женщину и отошел к окошку, а женщина наклонилась к К. и шепнула:

— Не сердитесь на меня, умоляю, и не думайте обо мне плохо, но сейчас я должна идти к нему, к этому отвратительному типу, вы только взгляните на его кривые ноги. Я сейчас вернусь и уж тогда пойду с вами, если вы меня возьмете с собой, пойду куда хотите, делайте со мной что хотите, я буду счастлива — лишь бы уйти отсюда надолго, а еще лучше навсегда.

Она погладила К. по руке, вскочила и побежала к окошку. К. машинально хотел схватить ее руку, но схватил пустоту. В этой женщине для него было что-то по-настоящему соблазнительное, и он не находил никаких оснований противиться этому соблазну. Мелькнула мысль, что она подослана судом, чтобы подловить его, но он тут же отбросил это сомнение. Каким образом она могла его подловить? Ведь он пока что совсем свободен. Он мог изничтожить все их судопроизводство, по крайней мере в том, что касалось его дела. Неужели он даже в такой малости не верит в себя? Но ее голос звучал искренне, когда она предлагала ему помощь. Как знать, вдруг она окажется ему полезной? А быть может, лучше и нельзя отомстить следователю и всей его своре, чем отняв у них эту женщину и завоевав ее привязанность. Тогда, может статься, следователь после кропотлившей работы над составлением ложных сведений про К. придет поздно ночью и увидит, что постель этой женщины пуста. И потому пуста, что женщина будет принадлежать К., что эта женщина у окна, это пышное, гибкое, теплое тело в темном платье из грубой ткани будет принадлежать ему одному.

Отбросив таким образом все сомнения насчет этой женщины, К. стал тихонько стучать по подмосткам сначала костяшками пальцев, потом всем кулаком — на-

столько ему надоело тихое перешептывание у окна. Студент мельком через плечо женщины взглянул на К., но никакого внимания на него не обратил, наоборот — он еще крепче прижался к женщине и обнял ее. Она низко наклонила голову, словно прислушиваясь к его словам, он звонко чмокнул ее в склоненную шею, продолжая говорить как ни в чем не бывало. К. увидел, что женщина права, жалуясь, что студент имеет над ней какую-то власть, и, встав со стула, зашагал по комнате. Косясь на студента, он раздумывал, как бы выжить его отсюда поскорее, и даже обрадовался, когда студент, которому, очевидно, мешали шаги К., уже переходившие в нетерпеливый топот, вдруг заметил:

— Если вам так не терпится, можете уходить. Давно могли уйти, никто и не заметил бы вашего отсутствия. Да, да, надо было вам уйти, как только я пришел, и уйти сразу, немедленно.

В этих словах слышалась не только сдержанная злоба, в них ясно чувствовалось высокомерие будущего чиновника по отношению к неприятному для него обвиняемому. К. подошел к нему вплотную и с улыбкой сказал:

— Да, вы правы, мне не терпится, но мое нетерпение проще всего прекратить тем, что вы нас оставите. Однако если вы пришли сюда заниматься — я слышал, что вы студент, — то я охотно уступлю вам место и уйду с этой женщиной. Впрочем, вам еще немало надо будет поучиться, прежде чем стать судьей. Правда, ваше судопроизводство мне совсем незнакомо, но предполагаю, что одними наглыми речами, которые вы ведете с таким бесстыдством, оно не ограничивается.

— Напрасно ему разрешили гулять на свободе, — сказал студент, словно хотел объяснить женщине обидные слова К. — Это несомненный промах. Я так и сказал следователю. Надо держать его под домашним арестом хотя бы между допросами. Но иногда следователя толком не поймешь.

— Лишние разговоры, — сказал К. и протянул руку к женщине. — Пойдем!

— Ах вот оно что! — сказал студент. — Нет, нет, вам ее не заполучить!

С неожиданной силой он подхватил ее на руки и, согнувшись, побежал к двери, нежно поглядывая на нее. По всей видимости, он и побаивался К., и все же не мог удержаться, чтобы не поддразнить его, для чего нарочно

гладил и пожимал свободной рукой плечо женщины. К. пробежал за ним несколько шагов, хотел его схватить, он готов был придушить его, но тут женщина сказала:

— Ничего не поделаешь, его за мной прислал следователь, мне с вами идти никак нельзя, этот маленький уродец,— тут она провела рукой по лицу студента,— этот маленький уродец меня не отпустит.

— Да вы и не хотите освободиться! — крикнул К., опустил руку на плечо студента, и тот сразу лязгнул на него зубами.

— Нет! — крикнула женщина и обеими руками оттолкнула К. — Нет, нет, только не это, вы с ума сошли! Вы меня погубите! Оставьте его, умоляю вас, оставьте же его! Он только выполняет приказ следователя, он несет меня к нему.

— Ну и пусть убирается, а вас я тоже видеть не желаю! — сказал К. и, разочарованный, злой, изо всех сил толкнул студента в спину; тот споткнулся, но, обрадовавшись, что удержался на ногах, еще выше подскочил на месте со своей ношей.

К. медленно пошел за ними, он понял, что эти люди нанесли ему первое безусловное поражение. Конечно, причин для особого беспокойства тут не было, поражение он потерпел оттого, что сам искал столкновений с ними. Если бы он сидел дома и вел обычный образ жизни, он был бы в тысячу раз выше этих людей и мог бы любого из них убрать одним пинком. И он представил себе пресмешную сцену, которая разыгралась бы, если бы вдруг этот жалкий студентиска, этот самодовольный мальчишка, этот кривоногий бородач, очутился на коленях перед кроватью Эльзы и, сложив руки, умолял ее сжалиться над ним. К. пришел в такой восторг от этой воображаемой сцены, что тут же решил при случае взять студента с собой в гости к Эльзе.

Из любопытства К. все-таки подбежал к двери — ему хотелось взглянуть, куда понесли женщину, не станет же студент тащить ее на руках по улице! Выяснилось, что им пришлось идти совсем не так далеко. Прямо напротив квартиры начиналась узкая деревянная лестница — очевидно, она вела на чердак, но конец ее исчезал за поворотом, так что не видно было, куда она ведет. По этой лестнице студент и понес женщину, уже совсем медленно и покряхтывая — его явно утомила вся эта беготня. Женщина помахала К. рукой и, пожимая плечами, старалась дать ему понять, что ее похитили

против воли. Впрочем, особого сожаления ее мимика не выражала. К. посмотрел на нее равнодушно, как на незнакомую, ему не хотелось выдать свое разочарование, но и не хотелось показать, что он все так легко принял.

Оба исчезли за поворотом, а К. все еще стоял в дверях. Он должен был признаться, что женщина не только обманула его, но и солгала, что ее несут к следователю. Не станет же следователь сидеть на чердаке и дожидаться ее. А на деревянную лесенку сколько ни смотри, все равно ничего не узнаешь. И вдруг К. заметил маленькую бумажку у входа, подошел к ней и прочел записку, начарапанную неумелым детским почерком: «Вход в судебную канцелярию». Значит, тут, на чердаке жилого дома, помещается канцелярия суда? Особого уважения такое устройство вызвать не могло, и всякому обвиняемому было утешительно видеть, какими жалкими средствами располагает этот суд, раз ему приходится устраивать свою канцелярию в таком месте, куда жильцы — всякая голь и нищета — выбрасывают ненужный хлам. Правда, не исключалось и то, что денег отпускали достаточно, но чиновники тут же их разворовывали, вместо того чтобы употребить по назначению. Судя по всему, что испытал К., это было вполне вероятно, и хотя такая развращенность судебных властей была крайне унижительна для обвиняемого, но вместе с тем это предположение успокаивало больше, чем мысль о нищете суда. Теперь К. стало понятно, почему обвиняемого при первом допросе постеснялись пригласить на чердак и предпочли напасть на него в его собственной квартире. Насколько же лучше было положение К., чем положение следователя: тот сидел на чердаке, в то время как сам К. занимал у себя в банке просторный кабинет с приемной и мог любоваться оживленной городской площадью через громадное окно. Правда, у К. не было никаких побочных доходов — взятки он не брал, денег не утаивал и, уж конечно, не мог распорядиться, чтобы служитель, схватив женщину в охапку, принес ее к нему в кабинет. Впрочем, К., по крайней мере в данных обстоятельствах, охотно был готов отказаться от таких развлечений.

Все еще стоя перед запиской, К. увидел, что по лестнице поднялся какой-то человек, заглянул в открытую дверь комнаты, осмотрел оттуда зал заседаний и наконец спросил К., не видел ли он тут сейчас женщину.

— Вы служитель суда, не так ли? — спросил К.

— Да,— ответил тот,— а вы, значит, обвиняемый К.? Теперь я вас тоже узнал, рад вас видеть.— И, к удивлению К., он протянул ему руку.— Но ведь сегодня заседаний нет,— сказал служитель, когда К. промолчал.

— Знаю,— сказал К. и посмотрел на штатский пиджак служителя: единственным признаком его служебного положения были две позолоченные, явно споротые с офицерской шинели пуговицы, которые виднелись среди обычных пуговиц.

— Только сейчас я разговаривал с вашей женой. Ее тут нет. Студент унес ее к следователю.

— Вот видите! — сказал служитель.— Вечно ее от меня уносят. Сегодня воскресенье, работать я не обязан, а мне вдруг дают совершенно ненужные поручения, лишь бы усласть отсюда. Правда, услали меня недалеко, ну, думаю, потороплюсь и, даст Бог, вернусь вовремя. Бегу что есть мочи, приоткрываю дверь учреждения, куда меня послали, выкрикиваю то, что мне велели сказать, задыхаюсь так, что меня, наверно, с трудом понимают, бегу назад — но этот студент, видимо, еще больше спешил, чем я; правда, ему-то ближе, только сбегать с чердачной лесенки, и все. Не будь я человеком подневольным, я этого студента давно раздавил бы об стенку. Вот тут, рядом с запиской. Только об этом и мечтаю. Вот тут, чуть повыше пола. Висит весь расплющенный, руки врозь, пальцы растопырены, кривые ножки кренделем, а кругом все кровью забрызгано. Но пока что об этом можно только мечтать.

— А разве другого выхода нет? — с улыбкой спросил К.

— Другого не вижу,— сказал служитель.— И главное, с каждым днем все хуже: до сих пор он таскал ее только к себе, а сейчас потащил к самому следователю; впрочем, этого я давным-давно ждал.

— А разве ваша жена не сама виновата? — спросил К., с трудом сдерживаясь, до того сильно он все еще ревновал ее.

— А как же,— сказал служитель,— она больше всех и виновата. Сама вешалась ему на шею. Он-то за всеми бабами бегаёт. В одном только нашем доме его уже выставили из пяти квартир, куда он втерся. А моя жена самая красивая женщина во всем доме, но как раз мне и нельзя защищаться.

— Да, если дело так обстоит, значит, помочь ничем нельзя,— сказал К.

— Нет, почему же? — сказал служитель. — Надо бы этого студента, этого труса, отколотить как следует, чтобы навсегда отбить охоту лезть к моей жене. Но мне самому никак нельзя, а другие мне тут не подмога, слишком они боятся его власти. Только такой человек, как вы, мог бы это сделать.

— То есть почему же я? — удивился К.

— Ведь вы обвиняемый, — сказал служитель.

— Да, — сказал К., — но тем больше оснований у меня бояться, что он может повлиять если не на самый исход судебного процесса, то, во всяком случае, на предварительное следствие.

— Да, конечно, — сказал служитель, как будто мнение К. не противоречило его мнению. — Но ведь здесь у нас, как правило, безнадежных процессов не ведут.

— Правда, я думаю несколько иначе, — сказал К., — но это мне не мешает как-нибудь взять в оборот вашего студента.

— Я был бы вам очень признателен, — сказал служитель несколько официально; казалось, он не верит в исполнение своего сокровенного желания.

— Но возможно, — продолжал К., — что некоторые ваши чиновники, а может быть, и все заслуживают того же.

— Да, да, — согласился служитель, словно речь шла о чем-то само собой понятном. Тут он бросил на К. доверчивый взгляд, чего раньше, несмотря на всю свою приветливость, не делал, и добавил: — Все бунтуют, ничего не попишешь.

Но ему, как видно, стало немножко не по себе от этих разговоров, потому что он сразу переменял тему и сказал:

— Теперь мне надо явиться в канцелярию. Хотите со мной?

— Мне там делать нечего, — сказал К.

— Можете поглядеть на канцелярию. На вас никто не обратит внимания.

— А стоит посмотреть? — спросил К. нерешительно: ему очень хотелось пойти туда.

— Как сказать, — ответил служитель. — Я подумал, может, вам будет интересно.

— Хорошо, — сказал наконец К., — я пойду с вами. — И он быстро пошел по лесенке впереди служителя.

В дверях канцелярии он чуть не упал — за порогом была еще ступенька.

— С посетителями тут не очень-то считаются,— сказал он.

— Тут ни с кем не считаются,— сказал служитель.— Вы только взгляните на приемную.

Перед ними был длинный проход, откуда грубо сколоченные двери вели в разные помещения чердака. Хотя непосредственного доступа света ниоткуда не было, все же темнота казалась неполной, потому что некоторые помещения отделялись от прохода не сплошной перегородкой, а деревянной решеткой, правда доходившей до потолка; оттуда проникал слабый свет, и даже можно было видеть некоторых чиновников, которые писали за столами или стояли у самых решеток, наблюдая сквозь них за людьми в проходе. Вероятно, оттого, что было воскресенье, посетителей было немного. Держались они все очень скромно. С обеих сторон вдоль прохода стояли длинные деревянные скамьи, и на них, почти на одинаковом расстоянии друг от друга, сидели люди. Все они были плохо одеты, хотя большинство из них, судя по выражению лица, манере держаться, холеным бородам и множеству других, едва уловимых признаков, явно принадлежали к высшему обществу. Никаких вешалок нигде не было, и у всех шляпы стояли под скамьями — очевидно, кто-то из них подал пример. Тот, кто сидел около дверей, увидел К. и служителя, привстал и поздоровался с ними, и, заметив это, следующие тоже решили, что надо здороваться, так что каждый, мимо кого они проходили, привстал перед ними. Никто не выпрямлялся во весь рост, спины сутулились, коленки сгибались, люди стояли, как нищие. К. подождал отставшего служителя и сказал:

— Как их всех тут унизили!

— Да,— сказал служитель,— это все обвиняемые.

— Неужели! — сказал К.— Но тогда все они — мои коллеги! — И он обратился к высокому, стройному, почти седому человеку.— Чего вы тут ждете? — вежливо спросил он.

От неожиданного обращения этот человек так растерялся, что на него тяжело было смотреть, тем более что это явно был человек светский и, наверно, в любых иных обстоятельствах отлично умел владеть собой, не теряя превосходства над людьми. А тут он не мог ответить на самый простой вопрос и смотрел на других соседей так, словно они обязаны ему помочь и без них

ему не справиться. Но подошел служитель и, желая успокоить и подбодрить этого человека, сказал:

— Господин просто спрашивает, чего вы ждете. Отвечайте же ему!

Очевидно, знакомый голос служителя подбодрил его.

— Я жду...— начал он и запнулся.

По-видимому, он начал с этих слов, чтобы точно сформулировать ответ на вопрос, но дальше не пошел. Некоторые из ожидающих подошли поближе и окружили стоявших, но тут служитель сказал:

— Разойдитесь, разойдитесь, освободите проход!

Они немного отошли, однако на прежние места не сели. Между тем тот, кому задали вопрос, собрался с мыслями и ответил, даже слегка улыбаясь:

— Месяц назад я собрал кое-какие свидетельства в свою пользу и теперь жду решения.

— А вы, как видно, не жалеете усилий,— сказал К.

— О да,— сказал тот,— ведь это мое дело.

— Не каждый думает, как вы,— сказал К.— Я, например, тоже обвиняемый, но, клянусь спасением души, никаких свидетельств я не собираю и вообще ничего такого не предпринимаю. Неужели вы считаете это необходимым?

— Точно я ничего не знаю,— ответил тот, уже окончательно растерявшись; он явно решил, что К. над ним подшучивает, и ему, должно быть, больше всего хотелось дословно повторить то, что он уже сказал, но, встретив нетерпеливый взгляд К., он только проговорил: — Что касается меня, то я подал справки.

— Кажется, вы не верите, что я тоже обвиняемый? — спросил К.

— Что вы, конечно, верю,— сказал тот и отступил в сторону, но в его ответе прозвучала не вера, а только страх.

— Значит, вы мне не верите? — повторил К. и, бессознательно задетый униженным видом этого человека, взял его за рукав, словно хотел заставить его поверить.

Он совершенно не собирался сделать ему больно, да и дотронулся до него еле-еле, но тот вдруг закричал, словно К. схватил его за рукав не двумя пальцами, а раскаленными щипцами. Этот нелепый крик окончательно вывел К. из себя; раз ему не верят, что он тоже обвиняемый, тем лучше, а вдруг его принимают за судью? И уже крепко, с силой схватив того за плечо, он толкнул его на скамейку и пошел дальше.

— Все эти обвиняемые такие чувствительные,— сказал служитель.

За их спиной почти все ожидающие собрались вокруг того человека: кричать он перестал, и теперь все его, очевидно, расспрашивали подробно, что произошло. Навстречу К. шел стражник, его можно было отличить главным образом по сабле, у которой ножны, судя по цвету, были сделаны из алюминия. К. удивился этому и даже потрогал ножны рукой. Стражник, как видно, был привлечен шумом и спросил, что тут произошло. Служитель попытался как-то успокоить его, но он заявил, что должен сам все проверить, отдал честь и пошел дальше какими-то торопливыми, семенящими шажками; по-видимому, он страдал подагрой.

К. не стал больше обращать внимания ни на него, ни на посетителей, сидевших в проходе, так как, пройдя половину коридора, он увидел, что можно свернуть вправо через дверной проем. Он справился у служителя, правильно ли он идет, тот кивнул, и К. прошел туда. Ему было неприятно все время идти на два-три шага впереди служителя: именно тут, в этом здании, могло показаться, что ведут арестованного. Он то и дело поджидал служителя, но тот сразу опять отставал. Наконец К., желая прекратить это неприятное состояние, сказал:

— Ну, вот я и посмотрел, как тут все устроено, теперь я ухожу.

— Нет, вы еще не все видели,— небрежно бросил служитель.

— А я и не хочу все видеть,— сказал К., уже по-настоящему чувствуя усталость.— Я хочу уйти, где тут выход?

— Неужели вы уже заблудились? — удивленно спросил служитель.— Надо дойти до угла, а потом направо по тому проходу до самой двери.

— Пойдемте со мной,— сказал К.,— покажите мне дорогу, не то я запутаюсь, здесь столько входов и выходов.

— Нет, это единственный выход,— уже с упреком сказал служитель.— А вернуться с вами я не могу, мне еще надо передать поручение, я и так потерял с вами уйму времени.

— Нет пойдемте! — уже резче сказал К., словно наконец уличил служителя во лжи.

— Не кричите! — прошептал служитель.— Здесь кругом канцелярии. Если не хотите идти без меня, прой-

демте еще немножко вперед, а лучше подождите тут, я только передам поручение, а потом с удовольствием привожу вас.

— Нет, нет,— сказал К.,— ждать я не буду, вы должны сейчас же пройти со мной.

К. еще не осмотрелся в помещении, где они находились, и только когда открылась одна из бесчисленных дощатых дверей, он оглянулся. Какая-то девушка, привлеченная, очевидно, громким голосом К., вышла и спросила:

— Что вам угодно, сударь?

За ней, поодаль, в полутьме, показалась фигура приближающегося мужчины. К. посмотрел на служителя. Ведь он говорил, что никто не обратит внимания на К., а тут уже двое подходят; еще немного — и все чиновники обратят на него внимание, потребуют объяснить, зачем он здесь. Единственным понятным и приемлемым объяснением было бы то, что он обвиняемый и пришел узнать, на какое число назначен следующий допрос, но такого объяснения он давать не хотел, тем более что оно не соответствовало бы действительности, ведь пришел он из чистого любопытства, а также из желания установить, что внутренняя сторона этого судопроизводства так же отвратительна, как и внешняя, но дать такое объяснение было совсем невозможно. Все, что он думал, подтверждалось, и дальше вникать у него охоты не было, его и так удручало все, что он увидел, сейчас он был просто не в состоянии встретиться с каким-нибудь важным чиновником, который мог вынырнуть из-за любой двери; нет, он хотел уйти со служителем, а если придется, то и один.

Но его молчаливое упорство, очевидно, бросалось в глаза, потому что и девушка, и служитель так на него смотрели, будто в ближайший миг с ним произойдет какое-нибудь превращение и они боятся это пропустить. А в дверях уже стоял человек, которого К. заметил еще раньше, издали; он держался рукой за низкую притолоку и слегка раскачивался на носках, как нетерпеливый зритель. Девушка первая поняла, что странное поведение К. объясняется легким недомоганием, она тут же принесла кресло и спросила:

— Может быть, вы присядете?

К. сразу сел и тяжело облокотился на ручки кресла, словно ища опоры.

— Немного закружилась голова, правда? — спроси-

ла девушка. Ее лицо склонилось к нему совсем близко с тем строгим выражением, какое свойственно многим женщинам именно в расцвете молодости.

— Не волнуйтесь,— сказала она,— тут это дело обычное; почти с каждым, кто приходит сюда впервые, бывает такой припадок. Вы ведь здесь в первый раз? Да, тогда это вполне естественно. Солнце страшно нагревает стропила крыши, а от перегретого дерева воздух становится тяжелым, душным. Вот почему, несмотря на все преимущества, это помещение не очень подходит для канцелярии. А что касается воздуха, то при большом скоплении клиентов— а это бывает почти каждый день— тут просто дышать нечем. Если еще вспомнить, что тут часто вешают сушить белье— нельзя же запретить жильцам пользоваться чердаком,— то вы и сами поймете, почему вам стало не по себе. Но в конце концов и к такому воздуху привыкаешь. Вот придете сюда еще раза два-три и даже не почувствуете духоты. Вам уже немного лучше?

К. ничего не ответил— слишком неприятно было из-за внезапной слабости ощущать свою зависимость от этих людей, а кроме того, когда он узнал, почему ему стало дурно, он почувствовал себя не только не лучше, а, пожалуй, еще хуже. Девушка сразу это заметила, взяла багор, стоявший у стены, и открыла небольшой люк над головой у К., чтобы дать доступ свежему воздуху. Но посыпалось столько сажки, что девушке пришлось тут же закрыть люк и смахнуть сажу с рук К. своим носовым платком, потому что сам он слишком ослабел. Он охотно посидел бы тут, чтобы собраться с силами и уйти, и чем меньше на него обращали бы внимания, тем скорее он пришел бы в себя. Но тут девушка сказала:

— Здесь сидеть нельзя, мы мешаем движению.

К. вопросительно взглянул на нее, не понимая, о каком движении идет речь.

— Если хотите, я проведу вас в медицинскую комнату. Помогите мне, пожалуйста!— обратилась она к мужчине, стоявшему в дверях, и он сразу подошел ближе.

Но К. вовсе не хотел идти в медицинскую комнату, он больше всего боялся, что его уведут: наверно, там чем дальше, тем хуже.

— Я уже могу идти,— сказал он, и, как ни удобно ему было сидеть в кресле, он, весь дрожа, встал на ноги. Но удержаться на ногах он был не в силах.

— Не могу,— сказал он, покачивая головой, и со вздохом снова опустился в кресло. Он вспомнил служителя суда, который, несмотря ни на что, мог бы помочь ему выйти отсюда, но тот, как видно, давно ушел. Он заглянул в просвет между мужчиной и девушкой, но слушателя не увидел.

— Я считаю,— сказал мужчина, одетый весьма элегантно — особенно бросалась в глаза серая жилетка, заканчивавшаяся двумя острыми уголками,— я считаю, что нездоровье этого господина вызвано здешней атмосферой, поэтому будет разумнее всего, да и ему приятнее, если мы не станем отводить его в медицинскую комнату, а просто выведем из канцелярии.

— Вот именно! — воскликнул К. и от радости не дал тому договорить.— Конечно же, мне станет сразу лучше, да я и не настолько ослаб, меня надо только немного поддержать под мышки, я вас никак не затрудню, тут ведь близко, доведите меня до двери, я немножко посижу на ступеньках и совсем отдохну, у меня таких припадков никогда не бывало, удивляюсь, как это вышло. Ведь я и сам служащий, привык к канцелярскому воздуху, но здесь, как вы изволили заметить, слишком уж душно. Будьте любезны, проводите меня немного, у меня голова кружится, мне дурно, когда я стою без поддержки.— И он приподнял плечи, чтобы его могли подхватить под мышки.

Но мужчина не внял его просьбе и, не вынимая рук из карманов, громко рассмеялся.

— Вот видите,— сказал он девушке,— этому господину не вообще плохо, а плохо только здесь!

Девушка тоже улыбнулась, но слегка похлопала мужчину по плечу кончиками пальцев, словно он позволил себе слишком явную насмешку над К.

— Да что вы,— сказал тот, не переставая смеяться,— я же действительно хочу помочь ему выйти.

— Вот и прекрасно,— сказала девушка, кивнув хорошенькой головкой.— И пожалуйста, не придавайте слишком много значения нашему смеху,— обратилась она к К., видя, что тот опять помрачнел и усталился перед собой, не интересуясь никакими объяснениями.— Этот господин — вы разрешите вас представить? — (тот жестом выразил согласие),— этот господин заведует справочным бюро. Он дает ожидающим клиентам все необходимые справки, а так как народ не слишком знаком с нашей судебной процедурой, то справок требуется

очень много. Он может ответить на любой вопрос. Вы как-нибудь испытайте его, если угодно. Но это не единственное его преимущество. Второе преимущество — его элегантный костюм. Мы, то есть все служащие, как-то решили, что заведующему справками, который обычно первым встречается с клиентами, необходимо отлично одеваться, для того чтобы сразу произвести хорошее впечатление. Мы, остальные, как вы можете судить по мне, к сожалению, одеты очень плохо и старомодно, да и смысла нет тратиться на одежду, ведь мы почти все время проводим в канцелярии, мы даже ночуем тут. Но, как я уже сказала, мы считаем необходимым, чтобы заведующий справочным бюро был хорошо одет. И так как от нашего начальства, настроенного в этом вопросе несколько странно, добиться ничего нельзя, то мы провели сбор — в нем и клиенты участвовали — и купили ему не только этот прекрасный костюм, но и несколько других. Кажалось бы, все сделано для того, чтобы он производил хорошее впечатление, но своим смехом он все портит, отпугивает людей.

— Верно,— сказал насмешливо господин из справочной.— Я только не понимаю, фройляйн, почему вы посвящаете этого господина в наш внутренний распорядок, до которого ему дела нет. Разве вы не видите, что он сейчас целиком поглощен своими собственными делами?

К. не испытывал никакого желания противоречить девушке, намерения у нее были явно самые добрые, должно быть, ей хотелось отвлечь его или дать ему возможность собраться с силами, но ей это не удалось.

— Надо же мне было объяснить ему причину вашего смеха,— сказала девушка.— Он мог обидеться.

— Наверно, он и не такие обиды готов простить, лишь бы я вывел его отсюда.

К. опять ничего не сказал, даже не поднял глаз; он не возражал, чтобы эти двое говорили о нем как о неодушевленном предмете, ему это было даже приятнее. Но вдруг рука заведующего бюро легла на его правую, а рука девушки — на левую руку.

— Ну, вставайте же, слабый вы человек,— сказал заведующий.

— Я вам очень благодарен,— сказал К., обрадовавшись неожиданной помощи, медленно поднялся и передвинул эти чужие руки так, чтобы они его поддерживали как следует.

— Вам могло показаться,— зашептала девушка на ухо К., когда они подходили к коридору,— будто я стараюсь представить заведующего справочным бюро в чересчур выгодном свете, но поверьте, что я говорю правду. У него не злое сердце. Ведь он не обязан выводить больных клиентов, однако сами видите, как он помогает. Может быть, все мы тут не такие уж злые, может, мы охотно помогли бы каждому, но ведь мы в суде, и нас легко принять за злых людей, которые никому не желают помогать. Я от этого просто страдаю.

— Не хотите ли тут присесть? — спросил заведующий справочным бюро.

Они уже вышли в коридор и очутились как раз напротив того обвиняемого, с которым К. разговаривал раньше. Теперь К. было немного стыдно; раньше он стоял перед этим человеком так уверенно, а теперь двое должны были его поддерживать, заведующий вертел в руках его шляпу, прическа у него растрепалась, волосы свисали на потный лоб. Но обвиняемый как будто ничего не заметил, смиренно стоя перед заведующим справочным бюро; тот не обращал внимания на его попытки объяснить свое присутствие.

— Знаю,— говорил обвиняемый,— сегодня еще не может быть решения по моему заявлению. И все же я пришел. Дай, думаю, подожду, ведь сегодня воскресенье, время у меня есть, а тут я никому не мешаю.

— Да вы не извиняйтесь,— сказал заведующий,— ваша щепетильность весьма похвальна. Правда, вы зря занимаете место, но, пока вы не мешаете мне, я не стану возражать, можете самолично следить за ходом своего дела. Когда насмотришься на людей, бесстыдно пренебрегающих своим долгом, то к таким, как вы, начинаешь относиться терпимее. Садитесь!

— Как он умеет разговаривать с клиентами! — шепнула девушка.

К. только кивнул головой и сразу вздрогнул, когда заведующий справочной снова спросил его:

— Не хотите ли посидеть?

— Нет,— сказал К.,— в отдыхе я не нуждаюсь.

Он постарался сказать это как можно решительнее, но на самом деле ему очень полезно было бы присесть. Он ощущал что-то вроде морской болезни. Ему казалось, что он на корабле в сильнейшую качку. Казалось, волны бьют о деревянную обшивку, откуда-то из глубины коридора подымается рев кипящих валов, пол в коридо-

ре качается поперек, от стенки к стенке, и посетители с обеих сторон то поднимаются, то опускаются. Тем непонятнее было спокойствие девушки и мужчины, которые его вели. Он был всецело предоставлен им; выпусти они его, и он тут же упадет, как полено. Прищурился глаза, они обменивались быстрыми взглядами. К. чувствовал размеренность их шагов, он не попадал в такт, потому что они почти что несли его. Наконец он услышал, как они обращаются к нему, но ничего не понял. Он воспринимал только сплошной шум, наполнявший все вокруг, а сквозь него, казалось, пробивался однотонный высокий звук, похожий на звук сирены.

— Громче,— прошептал он, опустив голову, ему было стыдно от сознания, что они говорят достаточно громко, а он их не понимает. И тут наконец перед ним словно расступилась стена, навстречу повеяло воздухом, и он услышал, как рядом сказали:

— То он хочет уйти, а то ему сто раз повторяешь, что тут выход, а он с места не двигается.

К. увидел, что он стоит перед дверью, которую девушка распахнула настежь. Он почувствовал, что силы внезапно вернулись к нему, и, чтобы полностью предвкушить ощущение свободы, он сразу вышел на лестницу и уже оттуда стал прощаться со своими провожатыми, которые наклонились к нему.

— Большое спасибо,— повторял он, без конца пожимая протянутые руки, и выпустил их, только заметив, что они оба, привыкшие к канцелярскому воздуху, плохо переносят сравнительно свежий воздух лестничного пролета. Они еле отвечали, и девушка, наверно, упала бы, если бы К. с невероятной поспешностью не захлопнул дверь. К. постоял минуту, потом с помощью карманного зеркальца привел в порядок волосы, поднял шляпу, лежащую на следующей ступеньке,— как видно, ее туда сбросил заведующий,— и сбежал по лестнице так бодро, такими большими прыжками, что ему даже стало не по себе от столь быстрой перемены. Никогда его крепкий и в общем здоровый организм не преподносил ему таких сюрпризов. Неужто его тело взбунтовалось и в нем происходит иной жизненный процесс, не тот, прежний, который протекал с такой легкостью? Не отказываясь от мысли обратиться как-нибудь к врачу, он одно решил твердо — и в этом вопросе он в чужих советах не нуждался — постараться в будущем использовать воскресные утра лучше, чем сегодня.

ПОДРУГА ФРОЙЛЯЙН БЮРСТНЕР

В течение ближайших дней К. никак не мог сказать фройляйн Бюрстнер хотя бы два-три слова. Он всячески пытался подойти к ней, но она всегда ухитрялась избегать его. После службы он сразу шел домой, усаживался в своей комнате на кушетку, не зажигая света, ничем другим не занимался — только следил, не появится ли кто-нибудь в прихожей. А если проходила горничная и притворяла дверь его, как ей казалось, пустой комнаты, он через некоторое время вставал и снова открывал дверь. По утрам он подымался на час раньше обычного, чтобы встретить фройляйн Бюрстнер, пока она не ушла в контору. Но все его попытки срывались. Тогда он написал ей письма и на адрес конторы, и на домашний адрес, пытаясь оправдать свое поведение, предлагал чем угодно загладить свой промах, обещал никогда не преступать границ, которые она ему поставит, и только просил дать ему возможность поговорить с ней, тем более что он не мог ни о чем договориться с фрау Грубах, не посоветовавшись предварительно с фройляйн Бюрстнер. А в конце письма сообщал, что в следующее воскресенье он будет весь день дожидаться в своей комнате — пусть даст хоть какой-то знак, что согласна исполнить его просьбу о свидании или по крайней мере объяснить ему, почему эта просьба невыполнима, причем он обещает всецело подчиниться ее требованиям. Письма не вернулись, но и ответа не последовало. Однако в следующее воскресенье ему был подан знак, не допускавший никаких сомнений. С самого утра К. увидел через замочную скважину необычную суету в прихожей, причина которой скоро выяснилась. Учительница французского языка — впрочем, она была немка по фамилии Монтаг, — чахлая, бледная, хроменькая девушка, занимавшая до сих пор отдельную комнату, перебиралась в комнату к фройляйн Бюрстнер. Уже несколько часов шмыгала она взад и вперед через прихожую. То она забывала взять что-то из белья, то коврик, то книжку, и за всем по отдельности ей приходилось бегать, все переносить в новое жилище.

Когда фрау Грубах принесла К. его завтрак — с тех пор как он так на нее разгневался, она даже мелочей не поручала прислуге, — К., не удержавшись, заговорил с ней в первый раз после пятидневного молчания.

— Почему сегодня такой шум в передней? — спросил он, наливая себе кофе.— Нельзя ли это прекратить? Неужто именно в воскресенье надо делать уборку?

И хотя К. не смотрел на фрау Грубах, он заметил, что она вздохнула словно с облегчением. Даже этот суровый вопрос она восприняла как примирение или хотя бы как шаг к примирению.

— Никакой уборки нет, господин К.,— сказала она,— это фройляйн Монтаг перебирается к фройляйн Бюрстнер, переносит свои вещи.

Больше она ничего не сказала, выжидая, как примет К. ее слова и будет ли ей разрешено говорить дальше. Но К. решил ее испытать и, задумчиво помешивая ложечкой свой кофе, промолчал. Потом поднял глаза и спросил:

— А вы уже отказались от своих прежних подозрений относительно фройляйн Бюрстнер?

— Ах, господин К.! — воскликнула фрау Грубах, явно ждавшая этого вопроса, и умоляюще сложила руки перед К.— Вы слишком близко приняли к сердцу совершенно случайное замечание. У меня и в мыслях не было обидеть вас или еще кого-нибудь. Ведь вы меня так давно знаете, господин К., вы мне должны верить. Вы не можете себе представить, как я страдала все эти дни! Неужели я способна оговорить своих квартирантов! И вы, вы, господин К., могли этому верить! Да еще предлагали, чтобы я отказала вам от квартиры! Вам — и отказала! — Слезы уже заглушили последние слова, она закрыла лицо передником и громко зарыдала.

— Не плачьте, фрау Грубах,— сказал К., глядя в окно. Он думал только о фройляйн Бюрстнер и о том, что она взяла к себе в комнату постороннюю девушку.— Да не плачьте же! — повторил он, обернувшись и увидев, что фрау Грубах все еще плачет.— Я в тот раз не хотел сказать ничего дурного. Мы просто друг друга не поняли. Это случается и со старыми друзьями.

Фрау Грубах выглянула из-за передника, чтобы убедиться, действительно ли К. на нее не сердится.

— Да, да, это правда,— сказал К. По всему поведению фрау Грубах он понял, что ее племянник, капитан, ничего не выдал, и потому решил добавить: — Неужели вы и вправду поверили, что из-за какой-то малознакомой барышни я с вами поссорюсь?

— То-то и оно, господин К.,— сказала фрау Грубах.

Но, к несчастью, как только она чувствовала себя хоть немного увереннее, она сразу становилась бестактной.— Я и то себя спрашивала, с чего бы это господин К. так заступался за фройляйн Бюрстнер? Почему он ссорился со мной из-за нее? Ведь он знает, что я ночами не сплю, когда он на меня сердится. А про барышню я только то и говорила, что видела своими глазами!

К. ничего ей не возразил, иначе ему пришлось бы тотчас выставить ее из комнаты, а этого он не хотел. Он только молча пил кофе, как бы подчеркивая, что фрау Грубах тут уже лишняя. За дверью послышалось шарканье: фройляйн Монтаг опять проходила через переднюю.

— Вы слышите? — спросил К. и повел рукой к двери.

— Да,— сказала со вздохом фрау Грубах,— я и сама хотела ей помочь, и горничную послала на помощь, да она такая упрямая, все хочет сама перенести. Удивляюсь я на фройляйн Бюрстнер. Мне и то неприятно, что эта Монтаг у меня живет, а фройляйн Бюрстнер вдруг берет ее к себе в комнату.

— Вас это не должно касаться,— сказал К. и раздавил ложечкой остатки сахара в чашке.— Разве вам от этого убыток?

— Нет,— сказала фрау Грубах,— в сущности, мне это даже на руку, у меня комната освободится, можно будет туда поместить моего племянника, капитана. Мне давно уже боязно, что он вам мешает, оттого что пришлось на эти несколько дней поселить его в гостиной. Он не очень-то церемонится.

— Что за выдумки! — сказал К. и встал со стула.— Об этом и речи нет. Должно быть, вы считаете меня таким капризным, оттого что меня раздражает шмыганье этой Монтаг. Слышите, опять она идет.

Фрау Грубах беспомощно смотрела на К.

— Может быть, господин К., сказать ей, чтобы она отложила переноску? Если вам угодно, я скажу сейчас же!

— Но ведь она должна перебраться к фройляйн Бюрстнер! — сказал К.

— Да,— подтвердила фрау Грубах, не совсем понимая, к чему он клонит.

— Ну вот,— сказал К.,— значит, ей необходимо перенести вещи.

Фрау Грубах только кивнула. Эта немая беспомощность, которая так походила на упрямство, еще больше

раздражала К. Он стал расхаживать по комнате от окна до двери, из-за чего фрау Грубах никак не могла выйти, хотя ей только этого и хотелось.

К. подошел к двери как раз в ту минуту, когда к нему постучали. Вошла горничная и доложила, что фройляйн Монтаг хотела бы сказать господину К. несколько слов и просит его пройти в столовую, где она ждет. К. задумчиво выслушал горничную, потом почти что с насмешкой взглянул на испуганную фрау Грубах. Этот взгляд, казалось, говорил, что он, К., давно предвидел приглашение фройляйн Монтаг, что и это тоже одно из тех мучений, какие ему приходится терпеть от жильцов фрау Грубах в воскресное утро. Он попросил горничную передать, что сейчас придет, подошел к шкафу, чтобы сменить пиджак, и в ответ на жалобные причитания фрау Грубах по адресу назойливой особы он только попросил ее убрать прибор с завтраком.

— Да вы же почти ни до чего не дотронулись! — сказала фрау Грубах.

— Ах, да уберите же скорее! — крикнул К. Ему казалось, что и еда как-то связана с фройляйн Монтаг и потому особенно противна.

Проходя через прихожую, он взглянул на закрытую дверь комнаты фройляйн Бюрстнер. Но его приглашали не в эту комнату, а в столовую, и он рывком открыл туда дверь, даже не постучавшись.

Это была очень длинная и узкая комната в одно окно. В ней только и хватило места для двух шкафов, поставленных углом около дверей, все остальное пространство занимал длинный обеденный стол; он начинался у дверей и тянулся почти до большого окна, к которому из-за этого трудно было пройти. Стол уже накрыли на много персон, так как по воскресеньям почти все жильцы обедали тут.

Когда К. вошел, фройляйн Монтаг двинулась ему навстречу от окна вдоль стола. Они молча поздоровались. Потом фройляйн Монтаг, как всегда неестественно закинув голову, сказала:

— Не знаю, известно ли вам, кто я такая.

К. посмотрел на нее прищурясь.

— Разумеется, известно, — сказал он. — Ведь вы давно живете тут, у фрау Грубах.

— Но, как мне кажется, вы мало интересуетесь этим пансионом?

— Мало, — сказал К.

— Может быть, вы присядете? — спросила фройляйн Монтаг.

Оба молча вытащили два стула и сели в конце стола друг против друга. Но фройляйн Монтаг тут же встала — она забыла сумочку на подоконнике и, шаркая ногами, пошла за ней через всю комнату. Она вернулась от окна, слегка покачивая сумочку на пальце, и сказала:

— Мне хотелось бы передать вам несколько слов по поручению моей подруги. Она собиралась прийти сама, но ей сегодня нездоровится. Она просила вас извинить ее и выслушать меня. Впрочем, она все равно не сказала бы вам больше того, что скажу я. Напротив, я думаю, что могу сказать вам даже больше, так как я в некотором отношении беспристрастна. Вы со мной согласны?

— А что тут можно сказать? — ответил К. Ему доучало, что фройляйн Монтаг уставилась на его губы. Она словно предвосхищала все, что он хотел сказать. — Очевидно, фройляйн Бюрстнер не соблаговолила встретиться со мной для личного разговора, как я ее просил.

— Да, это так, — сказала фройляйн Монтаг. — Или, вернее, все это вовсе не так. Вы слишком резко ставите вопрос. Вообще на такие разговоры и согласия не дают, и отказа не бывает. Но случается, что разговор просто считают бесполезным, и в данном случае так оно и есть. Теперь, после вашего замечания, я могу говорить откровенно. Вы просили мою приятельницу объясниться с вами письменно или устно. Но моя приятельница, как я предполагаю, отлично знает, о чем будет разговор, и по неизвестным мне причинам уверена, что такое объяснение никому пользы не принесет. Вообще же она мне рассказала об этом только вчера, и то совсем мимоходом, причем пояснила, что и для вас этот разговор совершенно неважен, потому что вы только случайно попали на эту мысль и сами поймете, а может быть, уже и поняли без особых разъяснений, всю нелепость своей затеи. Я ей ответила, что, быть может, все это и верно, но для полной ясности я считаю бесполезным дать вам исчерпывающий ответ. Я вызвалась передать ее ответ, и после некоторых колебаний моя приятельница согласилась. Надеюсь, что я действовала и вам на пользу, ведь всякая неизвестность, даже в самом пустячном деле, всегда мучительна, и если ее можно, как в данном случае, легко устранить, то надо это сделать без промедления.

— Благодарю вас,— тут же сказал К., медленно встал, поглядел на фройляйн Монтаг, потом на стол, потом в окно — дом напротив был озарен солнцем — и пошел к двери. Фройляйн Монтаг пошла было следом за ним, словно не совсем ему доверяла. Но у выхода им обоим пришлось отступить: дверь распахнулась, и вошел капитан Ланц. К. впервые увидел его вблизи. Это был высокий мужчина лет сорока, с загорелым до черноты мясистым лицом. Он сделал легкий поклон, относившийся и к К., потом подошел к фройляйн Монтаг и почтительно поцеловал ее руку. Двигался он очень легко и ловко. Его вежливое обращение с фройляйн Монтаг резко отличалось от того, как с ней обращался сам К. Но фройляйн Монтаг, по-видимому, не обижалась на К., она, как заметил К., даже собиралась представить его капитану. Но К. вовсе не хотел, чтобы его кому-то представляли, он все равно не мог бы заставить себя быть любезным ни с фройляйн Монтаг, ни с капитаном, а то, что капитан поцеловал ей руку, сразу сделало их в глазах К. сообщниками, которые, притворяясь в высшей степени безобидными и незаинтересованными, мешают ему встретиться с фройляйн Бюрстнер. Но К. считал, что он не только это понял; он понял также, что фройляйн Монтаг выбрала неплохой, хотя и обоюдоострый способ. Она преувеличила значительность тех взаимоотношений, которые создались между К. и фройляйн Бюрстнер, а главное — она преувеличила значение того разговора, которого добивался К., и при этом старалась так повернуть дело, что выходило, будто сам К. придает всему слишком большое значение. Тут-то она и ошибалась: К. вовсе не желал ничего преувеличивать, он отлично знал, что фройляйн Бюрстнер просто жалкая машинисточка, которая не сможет долго сопротивляться ему. При этом он нарочно не принимал во внимание то, что он узнал про фройляйн Бюрстнер от хозяйки. Все это мелькнуло у него в голове, когда он выходил из столовой с небрежным поклоном. Он хотел сразу пройти к себе в комнату, но тут в столовой за его спиной раздался смешок фройляйн Монтаг, и у него мелькнула мысль, что, может быть, ему удастся удивить и капитана, и фройляйн Монтаг. Он оглянулся вокруг, прислушался, не помешает ли ему кто-нибудь из соседних комнат, но везде было тихо, слышался лишь разговор из столовой, да из коридора, ведущего на кухню, доносился голос фрау Грубах. Обстановка показалась К. благоприятной, и, подойдя к двери фрой-

ляйн Бюрстнер, он тихо постучал. Но ответа не было. Он постучал еще раз — и снова ему не ответили. Неужели она спит? А может быть, ей и вправду нездоровится? Или она нарочно не открывает, зная, что только К. может стучать так тихо? К. решил, что она нарочно прячется, и постучал сильнее, а когда на стук никто не отозвался, К., чувствуя, что поступает не только плохо, но и совершенно нелепо, осторожно приоткрыл дверь. В комнате никого не было. Да ничто и не напоминало знакомую комнату. У стены стояли рядом две кровати, все три кресла у дверей были завалены ворохом белья и платья, шкаф был открыт настежь. Очевидно, фройляйн Бюрстнер ушла, пока фройляйн Монтаг уговаривала К. Но его это не очень огорчило, он почти и не ждал, что так легко найдет фройляйн Бюрстнер, и сделал эту попытку почти исключительно назло фройляйн Монтаг. Но именно поэтому ему было особенно неприятно, когда он, закрывая дверь, вдруг увидел, что капитан и фройляйн Монтаг стоят и беседуют в дверях столовой. Возможно, что они там стояли уже в ту минуту, когда К. отворял дверь, но они сделали вид, что совсем не следят за ним, тихо переговаривались между собой и смотрели на К. рассеянным взглядом, как обычно смотрит человек, поглощенный разговором. Но К. все-таки стало неловко под их взглядами, и, прижимаясь к стенке, он поспешил проскользнуть к себе в комнату.

Глава пятая

ЭКЗЕКУТОР.

В один из ближайших вечеров, когда К. проходил по коридору, отделявшему его кабинет от главной лестницы, — в тот раз он уходил со службы почти последним, только в экспедиции при тусклом свете лампы работали два курьера, — он услышал вздохи за дверью, где, как он думал, помещалась кладовка, хотя он сам никогда ее не видел. Он остановился удивленный, прислушался, чтобы убедиться, что он не ошибается. На минуту там стало тихо, потом снова послышались вздохи. К. хотел было позвать одного из курьеров — мог понадобиться свидетель, — но его охватило такое безудержное любопытство, что он буквально рывком распахнул дверь. Действительно, как он и предполагал, там была кладовка. За порогом громоздились старые, ненужные проспекты, опроки-

нутые глиняные бутылки из-под чернил. Но в самой комнате стояли трое мужчин, согнувшись под низким потолком. Свечка, прикрепленная к полочке, освещала их сверху.

— Что вы тут делаете? — спросил К., запинаясь от волнения, но стараясь сдержать голос.

На одном из мужчин — очевидно, начальнике над остальными — была какая-то странная кожаная безрукавка с глубоким вырезом, так что руки и грудь были обнажены. Он ничего не ответил. Но те двое закричали:

— Ах, сударь! Нас сейчас высекут, потому что ты пожаловался на нас следователю!

И только тут К. узнал обоих стражей — Франца и Виллема; третий держал наготове розгу, словно собираясь их высечь.

— Ну нет, — проговорил К., глядя на них в упор, — я на вас вовсе не жаловался, а просто рассказал, что произошло у меня на квартире. Кстати, ваше поведение было отнюдь не безукоризненным.

— Сударь, — сказал Виллем, тогда как Франц явно старался спрятаться за ним от третьего, — если бы вы только знали, как мало нам платят, вы бы не судили нас так строго. Мне надо кормить семью, а Франц хотел жениться, вот и стараешься урвать, что только можно; одной работой не проживешь, хоть из кожи лезешь вон. У вас бельецо тонкое, вот я на него и польстился, хотя нам, страже, это и запрещено. Конечно, нехорошо вышло, но уж так повелось, что белье достается стражам, издавна так повелось, верьте мне; оно и понятно: разве для того, кто имел несчастье быть арестованным, это играет какую-нибудь роль? Однако, если он пожалуется, нас наказывают.

— Ничего этого я не знал, а кроме того, я никоим образом не требовал для вас наказания, речь шла только о принципе.

— Франц, — обратился Виллем ко второму стражу, — а что я тебе говорил? Господин вовсе и не требовал для нас наказания. Сам слышал: он и не знал, что нас ждет наказание.

— И все они зря болтают, ты не расстраивайся, — сказал третий, обращаясь к К. — Наказание их ждет и справедливое, и неизбежное.

— Ты его не слушай! — сказал Виллем и осекся, торопливо поднося к губам руку, по которой его хлестнула розга. — Нас наказывают только из-за твоего доноса,

Иначе нам ничего не сделали бы, даже если б узнали про наши дела. А разве это называется справедливостью? Оба мы, особенно я, служим давно, отлично себя зарекомендовали, да ты и сам должен признать, что, с точки зрения властей, мы тебя охраняли прекрасно. Мы уже надеялись продвинуться по службе и думали: сами станем экзекуторами, как вот он, ему повезло, на него никто не жаловался, такие жалобы у нас вообще редкость. А теперь, сударь, все пропало, карьере нашей конец, теперь нас пошлют на самую черную работу, это не то, что служить стражами, а к тому же еще крепко высекут.

— Неужели эта розга так больно сечет? — спросил К. и потрогал розгу, которой помахивал перед ним экзекутор.

— Да ведь нам придется раздеться догола, — сказал Виллем.

— Ах вот оно что, — сказал К. и пристально посмотрел на экзекутора; тот был загорелый, как матрос, и лицо у него было здоровое и наглое. — Разве нет возможности избавить их от порки? — спросил К.

— Ну нет! — с улыбкой сказал тот и тряхнул головой. — Раздевайтесь! — приказал он стражам. И тут же обратился к К.: — Не верь им, они от страха перед поркой малость свихнулись. Ну что он, — тут он кивнул на Виллема, — что он тут болтал о своей карьере? Ведь это просто смех. Взгляни, какой он жирный, этот жир сразу и розгой не пробьешь, а знаешь, почему он так разжирел? У него привычка съедать завтраки всех арестованных. Наверно, он и твой завтрак съел? Ну вот, что я говорил! Разве с таким брюхом можно стать экзекутором? Никогда в жизни.

— Неправда, такие экзекуторы тоже бывают, — вмешался Виллем, уже расстегивавший брючный пояс.

— Нет! — отрезал экзекутор и провел розгой по его шее так, что тот вздрогнул. — И вообще, не вмешивайся, а раздевайся поскорее.

— Я тебе хорошо заплачу, только отпусти их, — сказал К. и, не глядя на экзекутора — такие дела лучше вершить, опустив глаза, — вынул свой бумажник.

— Ну нет, потом ты и на меня донесешь, подведешь и меня под розги. Нет, нет!

— Не глупи! — сказал К. — Если бы я хотел наказания этим двум, я бы сейчас не пытался их выкупить. Я мог бы просто захлопнуть дверь, ничего не видеть и не

слышать и спокойно уйти домой. Но ведь я этого не делаю, наоборот, я всерьез стараюсь их освободить. Если бы я только подозревал, что их накажут, даже если б им только грозило наказание, я бы никогда не назвал их имена. Да я их и не считаю виновными, виновата вся организация, виноваты высшие чиновники.

— Верно! — крикнули стражи, и тут же розга хлестнула по их голым спинам.

— Если бы под твою розгу попал сам судья, — сказал К. и придержал розгу, уже готовую опуститься вновь, — я бы никак не стал мешать побоям, напротив, я дал бы тебе денег, чтобы ты подкрепился для доброго дела.

— Слова твои похожи на правду, — сказал экзекутор, — но все-таки подкупить себя я не позволю. Раз я приставлен для порки, значит, надо пороть.

Тут стражник Франц, который вел себя довольно сдержанно в ожидании благоприятного исхода от вмешательства К., в одних брюках подошел к двери и, упав на колени, вцепился в рукав К., шепча:

— Если ты не можешь добиться пощады для нас обоих, попробуй освободить хотя бы меня. Виллем старше, он во всех отношениях не такой чувствительный, да к тому же его уже пороли года два назад, правда не сильно, но меня еще ни разу не бесчестили, да и виноват во всем Виллем, это он меня подбил, он меня учит и хорошему и плохому. А внизу у входа в банк ждет моя невеста, мне так стыдно, так ужасно стыдно! — Он вытер залитое слезами лицо о пиджак К.

— Ну, я больше ждать не буду! — сказал экзекутор, схватил розгу обеими руками и стал хлестать Франца, а Виллем забился в угол и подсматривал исподтишка, не смея обернуться.

Вдруг Франц поднял крик, такой неумолчный и непрерывный, словно не человек кричал, а терзали какой-то музыкальный инструмент. Весь коридор наполнился этими звуками, их, наверно, было слышно во всем здании.

— Не кричи! — воскликнул К., не удержавшись и напряженно вглядываясь в коридор, откуда могли прибежать курьеры, толкнул Франца, не сильно, но все же так, что тот как подкошенный упал на пол, судорожно шаря руками по земле; но экзекутор не зевал, розга нашла Франца и на полу и стала равномерно нахлестывать извивающееся тело. А в конце коридора уже показался курьер, за ним, шагах в двух, второй. К. быстро

захлопнул дверь, подошел к окну, выходявшему во двор, и распахнул его настежь. Крики совершенно прекратились. Чтобы не дать курьерам подойти слишком близко, он крикнул:

— Это я!

— Добрый день, господин прокуррист! — откликнулись те. — Что-нибудь неладное?

— Нет, нет! — крикнул К. — Просто собака во дворе завывала. — Но курьеры не двинулись с места, и он добавил: — Можете идти работать!

Чтобы не ввязываться в разговор с курьерами, он высунулся из окна. Когда он через несколько минут обернулся, те уже ушли. Но К. так и остался стоять у окна; в кладовую он зайти не осмеливался, домой идти тоже не хотелось. Двор был небольшой, квадратный, и, глядя вниз, К. видел вокруг служебные помещения с темными окнами; только в самых верхних стеклах отражался лунный свет. К. напряженно вглядывался в дальний угол двора, где сгрудились какие-то тачки. Его мучило, что он не смог предотвратить порку, но он был не виноват в этой неудаче: если бы Франц не закричал — конечно, ему наверняка было очень больно, но в решающую минуту надо уметь владеть собой, — если бы он не закричал, то К., по всей видимости, нашел бы способ уговорить эскутора. Раз все низшие служащие такая сволочь, почему же этот эскутор, выполняющий самые бесчеловечные обязанности, должен быть исключением? И к тому же К. хорошо видел, как у него при виде ассигнации заблестели глаза; наверно, он и порол так старательно, чтобы нагнать цену. Разумеется, К. не скупился бы, ему действительно хотелось освободить стражей: если он уж начал борьбу с разложением в судебных органах, то естественно, что он вмешивается и тут. Но как только Франц поднял крик, все сорвалось. Не мог же К. допустить, чтобы курьеры, а может быть, и другие люди сбежались сюда и застали его в кладовой за переговорами с этим сбродом. Такой жертвы от К. никто, разумеется, требовать не мог. Если бы он на это решился, то уж проще было бы ему самому раздеться вместо этих стражей и подставить свою спину под удары эскутора. Впрочем, тот наверняка не принял бы такую замену, потому что он, ничего не выиграв, тяжело нарушил бы свой долг, и нарушил бы его еще вдвойне, потому что К., находясь под следствием, наверно, считался неприкосновенным для всех служителей правосудия. Конечно, тут могли су-

ществовать и всякие другие определения. Словом, К. ничего другого сделать не мог, как только захлопнуть дверь, хотя этим он вовсе не устранил грозящую опасность. Жаль, конечно, что он напоследок толкнул Франца, но это можно объяснить его возбужденным состоянием.

Вдали послышались шаги курьеров; не желая, чтобы его заметили, К. закрыл окно и пошел к парадной лестнице. Проходя мимо кладовой, он остановился и прислушался. Было совсем тихо. Может быть, этот малый заporол стражей насмерть — ведь они были всецело в его власти. К. потянулся было к двери, но тут же отдернул руку. Помочь он все равно никому не поможет, а сейчас могут подойти курьеры. Но он тут же дал себе слово вывести это дело на чистую воду и, насколько у него хватит сил, добиться наказания для истинных виновников — высших чинов суда, которые так и не осмелились до сих пор показаться ему на глаза. Спускаясь по внешней лестнице банка, он пристально разглядывал всех прохожих, но даже поодаль не было девушки, которая ждала бы кого-нибудь. Значит, слова Франца о невесте, якобы ожидавшей его, оказались ложью — правда, простительной, но имеющей лишь одну цель: возбудить еще большую жалость.

На следующий день К. никак не мог забыть историю со стражами, работал рассеянно, и, чтобы справиться со всеми делами, ему пришлось просидеть в своем кабинете еще дольше, чем вчера. По дороге домой он прошел мимо кладовки и приоткрыл дверь, уже как бы по привычке. Но то, что он увидел вместо ожидаемой темноты, совершенно ошеломило его. Ничего не изменилось, он увидел то же самое, что и вчера. За порогом — груды проспектов, бутылки из-под чернил, дальше экзекутор с розгой, еще совершенно раздетые стражи, свеча на полке — и снова стражи застонали, закричали: «Сударь!» Но К. тут же захлопнул дверь, да еще пристукнул ее кулаками, словно она от этого закроется крепче. Чуть не плача, бросился он к курьерам, спокойно работавшим у копировальных машин, и те остановили работу, с удивлением глядя на К.

— Да приберите же вы наконец в кладовой! — закричал он. — Мы тонем в грязи!

Курьеры обещали завтра же все убрать, К. кивнул в знак согласия: сейчас было уже очень поздно, и он не мог заставить их работать сейчас, как предположил сна-

чала. Он присел, чтобы хоть немного побыть около людей, перелистал несколько копий, желая показать, будто он их проверяет, и, поняв, что курьеры не решатся уйти одновременно с ним, устало и бездумно побрел домой.

Глава шестая

ДЯДЯ. ЛЕНИ

Однажды к концу дня, когда К. был очень занят отправкой почты, к нему в кабинет, оттеснив двух курьеров, принесших бумаги, проник его дядюшка Альберт, небогатый землевладелец. Увидев дядю, К. испугался меньше, чем пугался раньше, при одной мысли о его приезде. Приезд дяди был неизбежен.— об этом К. знал еще месяц назад. Уже тогда он мысленно видел, как, слегка сутулясь, с мятой шляпой-панамой под левой рукой, дядя спешит к нему и, уже издали протягивая правую руку, торопливо и бесцеремонно сует ее для рукопожатия через стол, опрокидывая все, что стоит на пути. Дядя вечно спешил: он был одержим навязчивой мыслью, будто за свое однодневное пребывание в столице ему нужно не только успеть сделать все, что он себе наметил, но, кроме того, не упустить ни одного интересного разговора, дела или развлечения, какие ему предоставит случай. И К., многим обязанный своему бывшему опекуну, должен был помогать ему, чем только можно, и в довершение ко всему пригласить к себе переночевать. «Призрак из провинции» — так называл его К. про себя.

Поздоровавшись на ходу — сесть в кресло, как предложил К., ему было некогда,— дядя попросил К. остаться с ним наедине.

— Это необходимо,— сказал он, с трудом переводя дух.— Для моего спокойствия это необходимо.

К. тотчас выслал курьеров из комнаты с указанием никого к нему не впускать.

— Что я слышал, Йозеф? — воскликнул дядя, как только они остались вдвоем, и, сев на стол, не глядя, подмял под себя какие-то бумаги, чтобы сидеть было помягче.

К. промолчал, он знал, что будет дальше, но, внезапно оторванный от срочной работы, он вдруг поддался ощущению приятной усталости и уставился в окно на противоположную сторону улицы: со своего места он ви-

дел только маленький треугольный просвет — кусок глухой стены между двумя витринами.

— И ты еще смотришь в окно! — крикнул дядя, вздевая руки. — Ради всего святого, Йозеф, ответь мне! Неужели это правда, неужели это действительно так?

— Милый дядя, — сказал К., с трудом выходя из оцепенения. — Понятия не имею, чего ты от меня хочешь.

— Йозеф, — сказал дядя с укоризной, — насколько я знаю, ты всегда говорил правду. Неужели твои последние слова — дурной знак?

— Теперь я догадываюсь, о чем ты, — покорно сказал К. — Видимо, ты слышал о моем процессе.

— Вот именно, — сказал дядя, медленно кивая головой, — я слышал о твоём процессе.

— От кого же? — спросил К.

— Мне об этом написала Эрна, — сказал дядя. — Тебя она давно не видела, ты, к сожалению, мало ею интересуешься, и, однако, она все узнала. Сегодня я получил от нее письмо и, разумеется, немедленно приехал. Это единственная причина, но причина весьма основательная. Могу прочесть то место, которое касается тебя. — Он вытащил письмо из бумажника. — Вот оно: «Йозефа я давно не видела, на прошлой неделе заходила в банк, но Йозеф был так занят, что меня к нему не пустили. Прождала почти час, но потом пришлось уйти домой — у меня был урок музыки. Мне очень хотелось с ним поговорить, может быть, в другой раз удастся. Ко дню рождения он прислал мне огромную коробку шоколадных конфет, вот какой он милый и внимательный. Тогда я забыла вам об этом написать и вспомнила только сейчас, когда вы спросили про него. К сожалению, в нашем пансионе шоколад исчезает немедленно; не успеешь обрадоваться, что тебе подарили столько шоколаду, как его уже нет. Кстати, мне необходимо рассказать вам про Йозефа еще одну вещь. Как я уже писала, меня к нему в банк не пропустили потому, что он был занят с каким-то господином. Сначала я терпеливо ждала, а потом спросила курьера, надолго ли его задержат. Курьер ответил, что, должно быть, надолго, потому что разговор, очевидно, идет о процессе, который затеян против господина старшего прокурюриста. Я спросила, что это еще за процесс, не ошибся ли он, а он сказал — нет, не ошибся, затеян процесс, и процесс очень серьезный, но больше он ничего не знает. Сам он с удовольствием помог бы господину прокурюсту, пото-

му что господин прокурисст хороший, справедливый человек, но как за это взяться — он не знает, можно только пожелать, чтобы за него заступились люди влиятельные. Наверно, так оно и будет и все кончится хорошо, но пока, судя по настроению господина прокурисста, дела вовсе не так хороши. Конечно, я не придала этому разговору никакого значения, постаралась успокоить этого глупого курьера, запретила ему рассказывать другим и вообще считаю его слова просто болтовней. И все-таки было бы хорошо, если бы ты, милый папа, в следующий приезд вник в это дело, тебе легко будет узнать подробности, а если понадобится, то ты сможешь вмешаться через твоих влиятельных знакомых. Если же это не понадобится — а так оно, видимо, и есть, — то по крайней мере твоей любящей дочери раньше представится возможность обнять тебя, чему она будет очень рада». Хорошая девочка! — сказал дядя, окончив чтение, и смахнул слезинку с глаз.

К. утвердительно кивнул: в последнее время из-за всех этих историй он совсем забыл про Эрну, даже про ее день рождения забыл: про шоколад она выдумала, только чтобы оправдать его перед дядей и тетей. Это было очень трогательно. Он про себя решил регулярно посылать ей билеты в театр, но, даже если этого было и мало, он все равно никак не был расположен посещать пансион и разговаривать с маленькой, восемнадцатилетней гимназисткой.

— Ну, что же ты мне скажешь? — спросил дядя. После чтения письма он перестал суетиться и волноваться и как будто собрался перечитать его еще раз.

— Да, дядя, — сказал К., — это правда.

— Правда? — воскликнул дядя. — То есть как это правда? Какой процесс? Уж не уголовный ли?

— Да, уголовный, — сказал К.

— И ты спокойно сидишь тут, когда тебе грозит уголовный процесс! — еще громче закричал дядя.

— Чем я спокойнее, тем исход будет лучше, — сказал К. устало. — Да ты не бойся!

— Нет, ты меня не успокаивай! — кричал дядя. — Йозеф, милый Йозеф, подумай же о себе, о твоих родных, о нашем добром имени! Ты всегда был нашей гордостью, ты не должен стать нашим позором! Нет, твое отношение мне не нравится, — и, наклонив голову набок, он искоса посмотрел на К. — Так себя не ведет ни в чем не повинный человек в здравом уме. Скорее скажи мне,

в чем дело, тогда я сумею тебе помочь. Тут, конечно, замешаны банковские операции?

— Нет,—сказал К. и встал.— И вообще, милый дядя, ты слишком громко говоришь; курьер, наверно, подслушивает за дверью. Мне это неприятно. Лучше выйдем отсюда. Постараюсь, если смогу, ответить на все твои вопросы. Я отлично понимаю, что несу ответственность перед семьей.

— Правильно!—вскричал дядя.— Очень правильно. Ну, скорее, Йозеф, пойдем скорее!

— Но мне надо еще отдать кое-какие распоряжения,—сказал К. и тут же вызвал по телефону своего заместителя, который через несколько минут вошел в кабинет.

Дядя взволнованно показал ему жестом, что его вызывал К., а не он, хотя это и без того было ясно. Стоя у письменного стола, К. тихим голосом, указывая на различные бумаги, объяснил молодому человеку, что надо сегодня сделать в его отсутствие, и тот выслушал его холодно, но внимательно. Дядя все время мешал, таращил глаза, кусал губы, и хотя он явно не слушал, но одно его присутствие было помехой. Потом он стал расхаживать по комнате, останавливался то перед окном, то перед картиной, причем у него то и дело вырывались разные восклицания: «Нет, мне это совершенно непонятно!» — или: «Скажите на милость, что же теперь будет?» Молодой человек делал вид, что ничего не замечает, спокойно выслушал до конца все поручения К., кое-что записал и вышел, поклонившись К. и дяде, но в эту минуту дядя стоял к нему спиной, смотрел в окошко и, раскинув руки, судорожно мял гардины.

Не успела дверь закрыться, как дядя закричал:

— Наконец-то он ушел, этот паяц! Теперь и мы можем уйти. Наконец-то!

К сожалению, никакими силами нельзя было заставить дядю прекратить вопросы насчет процесса, пока они шли по вестибюлю, где стояли чиновники и курьеры и где как раз проходил заместитель директора банка.

— Так вот, Йозеф,—говорил дядя, отвечая легким поклоном на приветствия окружающих,—скажи мне откровенно, что это за процесс?

К. ответил несколькими ничего не значащими фразами, даже пустил смешок и только на лестнице объяс-

нил дяде, что не хотел говорить откровенно при этих людях.

— Правильно,— сказал дядя.— А теперь рассказывай!

Наклонив голову и торопливо попыхивая сигарой, он стал слушать.

— Прежде всего, дядя,— сказал К.,— этот процесс не из тех, какие разбирают в обычном суде.

— Это плохо! — сказал дядя.

— Почему? — спросил К. и посмотрел на дядю.

— Я тебе говорю — это плохо! — повторил дядя. Они стояли у парадной лестницы, выходящей на улицу, и так как швейцар явно прислушивался, то К. потянул дядю вниз, и они смешались с оживленной толпой. Дядя взял К. под руку, прекратил настойчивые расспросы о процессе, и они молча пошли по тротуару.

— Но как же это случилось? — спросил наконец дядя и так внезапно остановился, что люди, шедшие за ним, испуганно шарахнулись.— Такие вещи сразу не делаются, они готовятся исподволь. Должны же были появиться какие-то признаки, намеки, почему ты мне ничего не писал? Ты же знаешь, что для тебя я готов на все, я до сих пор в каком-то смысле считаю себя твоим опекуном и до сих пор гордился этим. Конечно, я и сейчас тебе помогу, только теперь, когда процесс уже на ходу, это очень трудно. Во всяком случае, тебе лучше всего сейчас же взять небольшой отпуск и поехать к нам в деревню. Теперь я замечаю, как ты исхудал. В деревне ты окрепнешь, и это полезно, ведь тебе, безусловно, предстоят всякие трудности. А кроме того, ты некоторым образом уйдешь от суда. Здесь они располагают всякими мерами принуждения, которые они автоматически могут применить и к тебе; а в деревню они должны сначала послать уполномоченных или пытаться подействовать на тебя письмами, телеграммами, телефонными звонками. Это, конечно, ослабляет напряжение, и хотя ты не будешь вполне свободен, но все же сможешь передохнуть.

— Но мне могут запретить выезд,— сказал К., подаваясь дядиному ходу мыслей.

— Не думаю, чтобы они на это пошли,— задумчиво сказал дядя.— Даже если ты уедешь, они все же не теряют власти над тобой.

— А я-то думал,— сказал К. и подхватил дядю под руку, чтобы он не останавливался,— я-то думал, что ты

всему этому придаешь еще меньше значения, чем я, а смотри, как близко к сердцу ты все это принял.

— Йозеф! — закричал дядя, пытаюсь вырвать у него руку и остановиться, но К. его не отпустил. — Ты стал совсем другим, в тебе всегда было столько здравого смысла, неужели именно сейчас он тебе изменил? Хочешь проиграть процесс? Да ты понимаешь, что это значит? Это значит, что тебя просто вычеркнут из жизни. И всех родных ты потянешь за собой или, во всяком случае, унизишь до предела. Возьми себя в руки, Йозеф! Твое равнодушие сводит меня с ума! Посмотришь на тебя и сразу поверишь пословице: «Кто процесс допускает, тот его проигрывает».

— Милый дядя, — сказал К., — волноваться бессмысленно и тебе, да и мне, если бы я волновался. Волнениями процесс не выиграешь, поверь хоть немного моему практическому опыту, прислушайся, как я всегда прислушивался к тебе и прислушиваюсь сейчас, хоть и с некоторым удивлением. Ты говоришь, что вся наша семья тоже будет втянута в процесс — правда, лично я этого никак не пойму, впрочем, это несущественно, — но, если это так, я охотно буду тебе повиноваться во всем. Однако отъезд в деревню я считаю нецелесообразным даже с твоей точки зрения, потому что это будет похоже на бегство, на признание своей вины. Кроме того, хотя меня здесь и больше преследуют, однако отсюда я могу лучше руководить своим делом.

— Правильно, — сказал дядя таким тоном, словно они наконец поняли друг друга. — Я предложил это только потому, что мне показалось, будто ты своим равнодушием все испортишь, если останешься тут. И я считаю более правильным вместо тебя поработать в твою пользу. Но раз ты решил сам в полную силу взяться за дело, то, разумеется, это куда лучше.

— Значит, сговорились, — сказал К. — А есть ли у тебя предложения, какие шаги мне надо предпринять в дальнейшем?

— Раньше нужно хорошенько все обдумать, — сказал дядя. — Не забывай, что я уже лет двадцать почти безвыездно живу в деревне, ну и, конечно, чутье на такие дела со временем притупляется. К тому же теряешь нужные связи с людьми, которые, наверно, лучше в этом разбираются. В деревне ото всех отрываешься, понимаешь. Но в сущности самому это заметно только при таких обстоятельствах, как сейчас. И вообще все

это для меня было несколько неожиданно, хотя, как ни странно, после письма Эрны я уже что-то подозревал, а сегодня увидел тебя и сразу все понял. Но это не важно, главное сейчас — не терять времени.

С этими словами он привстал на цыпочки и замахал руками, подзывая такси; крикнув адрес шоферу, он потянул за собой К. в машину.

— Едем к адвокату Гульд, — сказал он, — он мой школьный товарищ. Тебе, конечно, знакома эта фамилия? Нет? Очень странно. Ведь он славится как защитник и адвокат бедняков. А я питаю особое доверие к нему как к человеку.

— Я согласен со всем, что ты предпримешь, — сказал К., хотя суетливость и настойчивость дяди вызывали в нем некоторую неловкость. Было не очень приятно ехать в качестве обвиняемого к адвокату для бедняков. — Я и не знал, — сказал он, — что по таким делам тоже можно привлекать адвокатов.

— Ну как же, — сказал дядя, — это само собой понятно. Почему бы и нет? А теперь расскажи мне все, что было до сих пор, мне надо знать все подробности твоего дела.

К. тут же стал рассказывать, ничего не умалчивая, и эта полная откровенность была единственным протестом, который он позволил себе против дядиного утверждения, что его процесс — большой позор. Имя фройляйн Бюрстнер он упомянул только один раз, и то вскользь, но это не нарушило откровенности рассказа: ведь фройляйн Бюрстнер действительно никакого отношения к процессу не имела. Рассказывая, К. смотрел в окошко такси и заметил, что они как раз проезжают мимо предместья, где находятся канцелярии суда. Он обратил на это внимание дяди, но тот не нашел ничего особенного в таком стечении обстоятельств. Такси остановилось у мрачного дома. Дядя тотчас позвонил в первую же дверь нижнего этажа и, пока они ждали ответа, оскалил в улыбке свои крупные зубы и прошептал:

— Восемь часов вечера — довольно необычное время для посещения адвоката. Но Гульд на нас не рассердится.

В дверном окошечке показались два больших темных глаза, взглянули на посетителей и снова исчезли, но дверь так и не отворилась. Дядя и К. дали друг другу понять, что оба видели эти глаза.

— Видно, новая горничная, боится чужих,— сказал дядя и постучал еще раз.

Снова появились глаза, сейчас они могли показаться грустными, но, может быть, это был только обман зрения, вызванный газовым светом — над их головами горел газовый рожок, он шипел очень громко, но света давал мало.

— Откройте! — крикнул дядя и застучал кулаком в дверь.— Мы друзья господина адвоката!

— Господин адвокат болен! — пробормотал кто-то сзади.

В дверях, в глубине небольшого подъезда, стоял господин в шлафроке, он и произнес эти слова чрезвычайно тихим голосом.

Дядя, уже обозленный долгим ожиданием, резко обернулся к нему и воскликнул:

— Болен? Вы говорите, он болен? — И угрожающе навалился на господина, будто тот и был сама болезнь.

— Вам уже открыли,— сказал господин, указывая на дверь адвоката, и, подобрав полы шлафрока, исчез. Дверь действительно была открыта, и молоденькая девушка в длинном белом фартуке — К. узнал ее темные, чуть выпуклые глаза — стояла в прихожей со свечой в руке.

— В другой раз открывайте поживее! — сказал дядя вместо приветствия девушке, слегка присевшей в ответ.— Пойдем, Йозеф,— обратился он к К., который медленно протискивался мимо девушки.

— Господин адвокат болен,— сказала девушка, но дядя, не останавливаясь, побежал к следующей двери. К. залюбовался девушкой, когда она повернулась, чтобы запереть входную дверь. У нее было круглое, как у куклы, личико; округлыми были не только бледные щеки и подбородок, круглились даже виски и края лба.

— Йозеф! — крикнул дядя и, обернувшись к девушке, спросил: — Опять с сердцем плохо?

— Как видно, да,— сказала девушка; она уже успела пройти со свечой вперед и открыть дверь комнаты. В дальнем углу, куда еще не проникал свет от свечки, с подушек поднялась голова с длинной бородкой.

— Лени, кто это пришел? — спросил адвокат. За слепящим светом он не мог рассмотреть гостей.

— Это Альберт, твой старый друг,— сказал дядя.

— Ах, Альберт,— повторил адвокат и опустился на подушки, как будто перед этими гостями не нужно было притворяться.

— Неужели тебе так плохо?— спросил дядя, присаживаясь на край постели.— Мне просто не верится. Наверно, у тебя обычный твой сердечный приступ, он скоро пройдет, как проходил раньше.

— Возможно,— сказал адвокат тихим голосом.— Но так худо мне еще никогда не было. Дышать трудно, совсем не сплю, день ото дня слабею.

— Вот как,— сказал дядя и крепко прижал широкой ладонью свою шляпу к колену.— Неважные новости! А уход за тобой хороший? Здесь так уныло, так темно. Правда, я у тебя давно не бывал, но раньше мне все казалось веселее. Да и эта твоя барышня не очень-то приветлива. А может, она притворяется?

Девушка все еще стояла со свечой у двери; насколько можно было судить по ее мимолетным взглядам, она обращала больше внимания на К., чем на дядю, даже когда тот заговорил о ней. К. облокотился на спинку стула, пододвинув его поближе к девушке.

— Для такого больного человека, как я, важнее всего покой,— сказал адвокат.— Мне тут совсем не уныло.— И, помолчав, добавил:— А Лени хорошо за мной ухаживает. Она молодец.

Но дядю эти слова не убедили, он был явно настроен против сиделки, и хотя он ничего не возразил больному, но сурово следил глазами за девушкой, когда она подошла к кровати, поставила свечу на ночной столик, наклонилась к больному и, поправляя подушки, что-то ему зашептала. Забыв, что надо щадить больного, дядя встал со стула и начал расхаживать за спиной сиделки с таким видом, что К. не удивился бы, если бы он схватил ее за юбку и оттащил от кровати. К. смотрел на все спокойно, болезнь адвоката даже пришлась кстати: иначе он сам никак не мог бы остановить дядюшкино рвение, с каким тот взялся за его дело, а сейчас дядя отвлекся и особого рвения не проявлял, и это было К. очень на руку.

Но тут дядя, желая обидеть сиделку, сказал:

— Барышня, попрошу вас оставить нас одних хоть ненадолго, мне нужно обсудить с моим другом кое-какие личные дела.

Сиделка, наклонившись над больным, как раз поправляла простыни у стенки и, обернувшись, словно в

противовес дяде, который сначала заикнулся от злости, а потом вдруг выпалил ту фразу, сказала очень спокойно:

— Вы же видите, как болен господин адвокат. Он не может сейчас обсуждать личные дела.

Вероятно, она повторила слова дяди только по инерции, но даже беспристрастный человек мог бы принять это за насмешку, а уж дядя взвился как ужаленный.

— Ах ты проклятая! — пробормотал он голосом, сдавленным от возмущения, так что почти нельзя было разобрать слова.

К. испугался, хотя и ожидал такой вспышки, и бросился к дяде, готовый закрыть ему рот обеими руками. К счастью, больной, приподнявшись на кровати, выглянул из-за спины девушки; дядя сделал мрачное лицо, словно проглотил какую-то гадость, и уже спокойнее сказал:

— Ну, знаете, мы еще не окончательно выжили из ума; если бы то, чего я требую, было невозможно, я бы не требовал. Пожалуйста, уходите!

Сиделка стояла у постели, выпрямившись и повернув голову к дяде, а сама, как показалось К., поглаживала руку адвоката.

— При Лени ты можешь говорить все, — сказал адвокат, и в его голосе явно прозвучала настойчивая просьба.

— Дело не меня касается, — сказал дядя, — тайна не моя. — И он резко отвернулся, словно входить ни в какие препирательства не желает, однако дает им время на размышление.

— А чья же? — спросил адвокат слабеющим голосом и опустил на подушки.

— Моего племянника, — сказал дядя. — Я его привел сюда. — И он представил К.: — Это Йозеф К., прокуррист.

— А-а! — сказал больной уже гораздо оживленнее и протянул руку К. — Простите, я вас не заметил. — Выйди, Лени, — сказал он сиделке. Та не стала возражать, и адвокат пожал ей руку, словно прощаясь надолго. — Значит, так, — сказал он дяде, когда тот, успокоенный, подошел поближе. — Значит, ты не навещать больного пришел, а по делу!

Казалось, что до сих пор адвоката угнетала мысль о том, что его пришли навещать как больного, потому что он вдруг совсем ожил, приподнялся и сел, опираясь на

локоть, что само по себе было утомительно, и все время тербил бороду, глубоко запуская в нее пальцы.

— Стоило только этой ведьме уйти, и вид у тебя сразу стал гораздо лучше,— сказал дядя. Тут он остановился и, шепнув: — Пари держу, что она подслушивает! — подскочил к двери. Но за дверью никого не оказалось, и дядя вернулся не то чтобы разубежденный, потому что ее отсутствие показалось ему еще большей низостью, а скорее озлобленный.

— Ты в ней ошибаешься,— сказал адвокат, но защищать сиделку не стал; может быть, он хотел этим показать, что она в защите не нуждается, и уже гораздо более сочувственно продолжал: — Что же касается дела твоего уважаемого племянника, то я почел бы себя счастливым, если бы у меня хватило сил на эту чрезвычайно трудную работу; но я очень боюсь, что сил у меня не хватит, однако попробую сделать все, что смогу; а если не справлюсь, можно будет привлечь еще кого-нибудь. Откровенно говоря, это дело меня слишком сильно заинтересовало, чтобы я решился отказаться от всякого участия в нем. И если сердце у меня не выдержит, то трудно найти более достойную причину его остановки.

К. не понимал, казалось, ни слова из этой речи, он посмотрел на дядю, ища объяснения, но тот со свечой в руке сидел на ночном столике, с которого уже скатился пузырек с лекарством, кивал головой, соглашаясь с каждым словом адвоката, и нет-нет да поглядывал на К., приглашая и его выразить свое согласие. Может быть, дядя уже раньше рассказал адвокату о процессе? Но это было невозможно, весь ход событий говорил против этого.

— Не понимаю...— начал наконец К.

— Нет, это я, по-видимому, вас не понял,— удивленно и растерянно перебил его адвокат.— Может быть, я поторопился? О чем же вы хотели со мной посоветоваться? Я решил, что речь идет о вашем процессе?

— Разумеется!— сказал дядя и обернулся к К.— Чего ты не понимаешь?

— Да откуда же вы знаете обо мне и о моем процессе?— спросил К.

— Ах вот оно что!— с улыбкой сказал адвокат.— На то я и адвокат, я бываю в судейских кругах, там говорят о разных процессах, и невольно запоминаешь самые выдающиеся, особенно если они касаются племянника твоего друга. Ничего удивительного в этом нет.

— Чего тебе надо? — опять спросил дядя у К. — Ты как-то беспокоен.

— Вы бываете в этих судейских кругах? — спросил К.

— Да, — сказал адвокат.

— Ты задаешь ребяческие вопросы, — сказал дядя.

— А с кем же мне еще встречаться, как не с людьми моей профессии? — добавил адвокат. Это звучало так убедительно, что К. ничего не ответил.

«Но ведь вы работаете во Дворце правосудия, а не в тех канцеляриях на чердаке?» — хотелось ему спросить, но заставить себя произнести эту фразу он не мог.

— Сами понимаете, — продолжал адвокат таким тоном, словно мимоходом объяснял что-то само собой разумеющееся, — сами понимаете, что из этих знакомств я извлекаю большую пользу для своей клиентуры, и притом во многих отношениях, хотя говорить об этом не очень-то полагается. Конечно, сейчас болезнь несколько мешает мне, но добрые друзья из суда навещают меня и благодаря им я многое узнаю. И узнаю я, пожалуй, больше, чем те, кто целыми днями просиживает в суде. Вот и сейчас, например, у меня дорогой гость. — И он показал на темный угол комнаты.

— Где же он? — спросил К. грубовато, настолько он был удивлен.

Он неуверенно оглянулся; слабый свет свечи далеко не достигал противоположной стены. Но там действительно что-то зашевелилось. Тут дядя поднял свечу, и они увидели небольшой столик и сидящего за ним пожилого господина. Должно быть, он там сидел не дыша и потому так долго оставался незамеченным. Теперь он неторопливо поднялся, явно недовольный тем, что на него обратили внимание. Он зашевелил руками, похожими на короткие крылья, как будто отмахивался от всяких знакомств и приветствий, никак не желая мешать посетителям, и настоятельно просил оставить его в темном углу и забыть о его присутствии. Однако никто не пошел ему в этом навстречу.

— Вы застали нас врасплох, — объяснил адвокат гостям и ободрительно кивнул пожилому господину, приглашая его подойти поближе; тот подошел медленно, неуверенно, озираясь вокруг, но все же с каким-то достоинством. — Господин директор канцелярии... Ах, простите, я вас не представил — это мой друг Альберт К., это его племянник К., прокуррист банка, а это господин

директор канцелярии... Как я уже говорил, господин директор был настолько любезен, что посетил меня. Только посвященный может понять всю ценность такого визита, только тот, кто знает, как завален работой господин директор. И все-таки он пришел, мы с ним мирно беседовали, насколько позволяла моя немощь. Мы, правда, не запрещали Лени впускать посетителей, потому что мы никого не ждали, но мы хотели побыть наедине, а тут вдруг ты застучал кулаком в двери, Альберт, и тогда господин директор отодвинулся вместе с креслом и столиком в дальний угол, и вот теперь неожиданно выяснилось, что нам, если, конечно, возникнет такая потребность, по всей вероятности, можно будет обсудить совместно некоторые дела, а для этого надо всем сесть поближе. Господин директор канцелярии! — попросил он, с подобострастной улыбкой наклоняя голову и указывая на широкое кресло у кровати.

— К сожалению, я могу задержаться только на несколько минут, — любезно сказал директор канцелярии, удобно развалившись в кресле и глядя на часы. — Дела меня зовут. Однако я не хочу упустить возможность познакомиться с другом моего друга.

Он слегка поклонился дяде, который, видно, был очень доволен новым знакомством. Но так как подобострастие было не в его характере, он встретил слова директора канцелярии смущенным, но очень громким смехом. Впечатление не из приятных! К. спокойно наблюдал за происходящим, потому что на него никто не обращал внимания: директор канцелярии, очевидно по привычке, раз уж его позвали, овладел разговором, адвокат, явно притворившийся больным, по-видимому из желания отвадить новых гостей, теперь внимательно слушал, приставив ладонь к уху, а дядя в качестве светоносца — свечка качалась у него на коленке, и адвокат беспокойно поглядывал в его сторону — уже перестал стесняться и откровенно восхищался не только речью директора канцелярии, но и плавными, волнообразными жестами рук, сопровождавшими его слова. К. стоял, опершись о спинку кровати, и директор, быть может умышленно, ни разу к нему не обратился; как видно, старшие смотрели на него только как на слушателя. Впрочем, и сам К. почти не понимал, о чем идет речь, а думал о сиделке и о том, как невежлив был с ней дядя, или о том, не видел ли он директора канцелярии где-то раньше, может быть, даже на собрании в день первого

допроса. Может быть, он и ошибался, но все же директор канцелярии удивительно походил на участников собрания — тех стариков с жидкими бородами, которые стояли в первых рядах.

Вдруг все встрепенулись — из прихожей послышался звон разбитой посуды.

— Посмотрю, что там случилось, — сказал К. и не торопясь пошел к двери, словно хотел дать остальным возможность задержать его.

Но как только он вышел в прихожую и попытался сориентироваться в темноте, на его пальцы, державшие ручку двери, легла маленькая рука, куда меньше, чем его рука, и тихо притворила дверь. Это была сиделка, ждавшая тут же.

— Ничего не случилось, — шепнула она, — я нарочно бросила тарелку об стену, чтобы вызвать вас сюда.

К. растерялся и сказал:

— Я тоже о вас думал.

— Тем лучше, — сказала сиделка. — Пойдем!

Они сделали несколько шагов и очутились перед дверью с матовым стеклом. Сиделка распахнула ее перед К.

— Ну входите же! — сказала она.

Это явно был рабочий кабинет адвоката. Насколько можно было разглядеть в лунном свете, освещавшем только небольшой квадрат пола у трех окон, вся комната была заставлена тяжелой старомодной мебелью.

— Сюда, — сказала сиделка, указывая на темный ларь с резной деревянной спинкой.

Прежде чем сесть, К. огляделся: комната была высокая, большая; наверно, бедняки из клиентуры адвоката чувствовали себя в ней затерянными. К. представил себе, как они мелкими шажками семят к огромному письменному столу. Но он тут же позабыл обо всем, кроме сиделки, — та оказалась настолько близко от него, что почти прижимала его к боковой ручке ларя.

— А я думала, что вы сами выйдете, — сказала она, — и мне не придется вас вызывать. Удивительное дело. Сначала вы, только успели войти, уже глаз с меня не сводили, а потом заставляете себя ждать. Зовите меня просто Лени, — торопливо и непосредственно добавила она, словно не желая терять ни минуты на объяснения.

— Охотно, — сказал К. — Но знаете, Лени, все это ничуть не удивительно и вполне объяснимо. Во-первых,

мне надо было выслушать болтовню этих стариков, нельзя же было уйти ни с того ни с сего, а во-вторых, я человек несмелый, скорее застенчивый, да и вы с виду вовсе не из тех, кого можно завоевать одним махом.

— Не в том дело,— сказала Лени и, положив руку на спинку ларя, посмотрела на К.— Просто я вам не понравилась, да и сейчас, вероятно, не нравлюсь.

— Нравитесь— не то слово,— сказал К. уклончиво.

— О-о! — с улыбкой сказала Лени.

Этим восклицанием в ответ на слова К. она словно утверждала за собой какое-то превосходство. Поэтому К. промолчал. Привыкнув к темноте, он уже различал некоторые детали обстановки. Особенно бросилась в глаза большая картина, висевшая справа от двери, и он подался вперед, чтобы лучше ее рассмотреть. На картине был изображен человек в судейской мантии, он сидел на высоком, как трон, кресле; там и сям на резьбе выступала позолота. Но самым необычным было то, что поза судьи не выражала ни покоя, ни достоинства, напротив, левой рукой он схватился за подлокотник у самой спинки кресла, а правую вытянул вперед, вцепившись пальцами в поручень, будто в следующую секунду он с силой, может быть даже с гневом, вскочит с места, чтобы сказать решительные слова, а возможно, и объявить приговор. Обвиняемый, очевидно, стоял внизу на лестнице — на картине были видны только верхние ступени, покрытые желтым ковром.

— Может быть, это и есть мой судья,— сказал К., указывая пальцем на картину.

— Да я его знаю,— сказала Лени,— он сюда часто приходит. Эту картину с него писали в молодости, но он и тогда был ничуть не похож, ведь он совсем крошечного роста. А на картине он велел изобразить себя таким вот высоченным — и все от тщеславия. Впрочем, все они тут такие. Я ведь тоже тщеславная и ужасно недовольна, что я вам не нравлюсь.

В ответ на эти слова К. только обнял Лени и притянул к себе, а она молча положила голову ему на плечо. А про картину он спросил:

— А в каком же он чине?

— Он следовательно,— сказала Лени и, взяв К. за руку, обнимавшую ее, стала перебирать его пальцы.

— Всего только следовательно! — разочарованно сказал К.— А высшие чины прячутся. Но ведь он же сидит на троне!

— Это все выдумки,— сказала Лени и прильнула щекой к руке К.— На самом деле он сидит в кухонном кресле, на которое накинута старая попона. Неужели вы постоянно думаете о своем процессе? — медленно добавила она.

— Нет, вовсе нет,— сказал К.,— наоборот, я, наверно, слишком мало о нем думаю.

— Ваша ошибка не в том,— сказала Лени.— Я слышала, что вы чересчур упрямы.

— Кто это вам сказал? — спросил К., он чувствовал, как она прижимается к его груди, видел ее пышные, темные, скрученные тугим узлом волосы.

— Я слишком много выдам, если скажу кто,— сказала Лени.— Пожалуйста, не спрашивайте меня, лучше исправьте свою ошибку, не будьте таким упрямым, все равно сопротивляться этому суду бесполезно, надо сознаться во всем. При первой же возможности сознайтесь! Только тогда есть надежда ускользнуть, только тогда. Впрочем, и это невозможно без посторонней помощи, но тут вам беспокоиться нечего, я сама вам помогу.

— Однако вы много знаете об этом суде и обо всех плутнях, которые там нужны,— сказал К., но тут она прижалась к нему так крепко, что пришлось посадить ее к себе на колени.

— Вот и чудесно! — сказала она и, угнездившись поудобнее, одернула юбку и поправила блузку. Потом обхватила его шею руками, откинулась назад и долго смотрела на него.

— А если я не сознаюсь, вы мне не можете помочь? — испытующе спросил К.

Однако я вербую себе помощниц, подумал он удивленно: сначала фройляйн Бюрстнер, потом жена служителя суда, а теперь эта маленькая сиделка,— непонятно, почему ее ко мне так тянет? Ишь как расселась у меня на коленях, будто только тут ей и место!

— Нет,— сказала Лени и медленно покачала головой,— тогда я вам помочь не смогу. Но ведь вы и не хотите от меня никакой помощи, она вам не нужна, вы упрямец, вас не переубедишь!.. А у вас есть возлюбленная? — спросила она, помолчав.

— Нет,— сказал К.

— Неправда! — сказала она.

— Впрочем, есть! — сказал К.— Подумайте только, я чуть от нее не отрекся, а сам всегда ношу ее фотографию при себе.

Лени стала его просить, он вынул фотографию Эльзы, и девушка, свернувшись у него на коленях, стала разглядывать карточку. Это была моментальная любительская фотография, где Эльзу сняли во время танца — она любила танцевать в своем ресторанчике. Еще летели складки юбки на повороте, а она уперлась руками в крепкие бока и, откинув голову, со смехом смотрела куда-то в сторону: на фотографии не было видно, кому она так улыбалась.

— Слишком сильно зашнурована,— сказала Лени и показала то место, которое, по ее мнению, было слишком перетянuto.— Мне она не нравится, она груба и неуклюжа. Правда, может быть, с вами она кроткая и нежная; судя по этой карточке, и это возможно. Такие крупные высокие девушки иногда оказываются очень кроткими и ласковыми. Но может ли она пожертвовать собой ради вас?

— Нет,— сказал К.,— она и не кроткая, и не ласковая, и собой ради меня не жертвует. Правда, до сих пор я от нее ничего такого и не требовал. По совести сказать, я и фотографию эту никогда не рассматривал так внимательно, как вы.

— Выходит, что для вас она совсем ничего не значит,— сказала Лени,— и вовсе она не ваша возлюбленная.

— Но это так,— сказал К.,— я от своих слов не отпираюсь.

— Ну, пусть она сейчас ваша возлюбленная,— сказала Лени,— но вы даже скучать по ней не будете, если потеряете ее или возьмете взамен другую.

— Конечно,— улыбнулся К.,— и это возможно, но у нее перед вами огромное преимущество: она ничего не знает о моем процессе, а если бы и знала — не думала бы о нем. И она никогда не стала бы уговаривать меня сдать, пойти на уступки.

— Ну, это еще не преимущество,— сказала Лени,— и если других преимуществ у нее нет, я надежды не теряю. А есть у нее какие-нибудь физические недостатки?

— Физические недостатки? — переспросил К.

— Да,— сказала Лени.— У меня, например, есть небольшой физический недостаток, вот посмотрите.

Она растопырила средний и безымянный пальцы правой руки — кожица между ними заросла почти до верхнего сустава коротеньких пальцев. В полутьме К.

не сразу заметил, что она хочет показать, и, взяв его руку, она дала ему ощупать свои пальцы.

— Какая игра природы! — сказал К. и, оглядев всю руку, добавил: — Какая миленькая лапка!

Лени с некоторой гордостью смотрела на К. — он вновь и вновь в удивлении разводил и сводил оба ее пальца, потом бегло поцеловал их и отпустил.

— О-о! — крикнула она. — Вы меня поцеловали!

Приоткрыв рот, она поспешно встала коленками на его колени. К. совсем растерялся, она очутилась так близко, что он почувствовал ее запах, горький и терпкий, как перец. Она прижала к себе его голову, наклонилась над ней и стала целовать и кусать его шею, даже волосы на затылке.

— Вы меня берете взамен той! — воскликнула она между поцелуями. — Вот видите, вы берете меня взамен!

Тут ее колено соскользнуло, и, вскрикнув, она чуть не упала на ковер. К. обхватил ее, пытаясь удержать, но она потянула его за собой.

— Теперь ты мой! — сказала она.

— Вот тебе ключ от дома, приходи, когда захочешь, — были ее последние слова, и поцелуй на лету коснулся его спины, когда он уходил.

Выйдя за ворота дома, он попал под мелкий дождик, хотел шагнуть на мостовую, чтобы увидеть Лени хотя бы в окне, но тут из автомобиля, стоявшего у ворот — К. по рассеянности его не заметил, — выскочил дядя, схватил его за плечи и притиснул к воротам, словно хотел пригвоздить на месте.

— Ах, мальчик, мальчик! — крикнул он. — Что ты натворил! Дело уже было на мази, а теперь ты страшно навредил себе. Забрался куда-то с этой маленькой грязной тварью — ведь она наверняка любовница адвоката! — проторчал там бог знает сколько времени и даже никакого предлога не придумал, ничего не утаил, так открыто, при всех побежал к ней, да там и остался. А мы сидим все трое — твой дядя, который для тебя же старается, адвокат, которого надо перетянуть на твою сторону, а главное, сам директор канцелярии, большой человек, ведь на этой стадии твое дело целиком в его руках. Хотим обсудить, как тебе помочь, я должен осторожно обработать адвоката, он — директора канцелярии, неужели ты не понимаешь, что у тебя были все ос-

нования как-то прийти мне на помощь? А вместо этого ты удираешь! Тут уж ничего нельзя скрыть; хорошо, что они люди вежливые, воспитанные, ни слова не сказали, но в конце концов им тоже стало невмоготу. Говорить они об этом не стали, пришлось сидеть и молчать. Вот мы и сидим и молчим, ждем, когда же ты явишься. Но все напрасно. Наконец директор канцелярии встает — он и так уж просидел много дольше, чем собирался, — прощается со мной и явно жалеет меня, хотя ничем помочь не может, ждет с самой невероятной любезностью еще немного у дверей и только потом уходит. Разумеется, я был счастлив, когда он ушел, мне уже и дышать было нечем. А на больного адвоката все это так подействовало, что он, добрый человек, ни слова сказать не мог, когда я с ним прощался. И, наверно, ты больше всех виноват в том, что он совсем погибает, ты ускоряешь смерть человека, от которого сам зависишь. А меня, своего дядю, ты бросил тут под дождем — пощупай, я весь промок — столько часов ждать и мучиться от беспокойства!

Глава седьмая

АДВОКАТ. ФАБРИКАНТ. ХУДОЖНИК

Как-то в зимнее утро — за окном, в смутном свете, падал снег — К. сидел в своем кабинете, до предела усталый, несмотря на ранний час. Чтобы оградить себя хотя бы от взглядов низших служащих, он велел курьеру никого к нему не впускать, так как он занят серьезной работой. Но вместо того, чтобы приняться за дело, он беспокойно ерзал в кресле, медленно передвигая предметы на столе, а потом помимо воли опустил вытянутую руку на стол, склонил голову и застыл в неподвижности.

Мысль о процессе уже не покидала его. Много раз он обдумывал, не лучше ли было бы составить оправдательную записку и подать ее в суд. В ней он хотел дать краткую автобиографию и сопроводить каждое сколько-нибудь выдающееся событие своей жизни пояснением — на каком основании он поступал именно так, а не иначе, одобряет ли он или осуждает этот поступок со своей теперешней точки зрения и чем он может его объяснить. Преимущества такой оправдательной запи-

ски перед обычной защитой, какую сможет вести и без того далеко не безупречный адвокат, были несомненны. К тому же К. и не знал, что предпринимает адвокат: ничего особенного он, во всяком случае, не делал, вот уже больше месяца он не вызывал его к себе, да и все предыдущие их переговоры не создали у К. впечатления, будто этот человек способен чего-то добиться для него. Прежде всего, адвокат почти ни о чем его не спрашивал. А ведь вопросов должно было возникнуть немало. Главное — поставить вопросы. У К. было такое ощущение, что он и сам мог бы задать множество насущных вопросов. А этот адвокат, вместо того чтобы спрашивать, либо что-нибудь рассказывал сам, либо молча сидел против К., перегнувшись через стол, очевидно по недостатку слуха, теребил бороду, глубоко запуская в нее пальцы, и глядел на ковер — возможно, даже прямо на то место, где в тот раз К. лежал с Лени. Время от времени он читал К. всякие пустячные наставления, словно малолетнему ребенку. За эти бесполезные и к тому же прескучные разговоры К. твердо решил не платить ни гроша при окончательном расчете. А потом адвокат, очевидно считая, что К. уже достаточно смирился, снова начинал его понемножку подбадривать. Судя по его рассказам, он уже выиграл не один такой процесс — многие из них хоть и были не так серьезны по существу, как этот, но на первый взгляд казались куда безнадежнее. Отчеты об этих процессах лежат у него тут, в ящике, — при этом он постукивал по одному из ящиков стола, — но показать эти записи он, к сожалению, не может, так как это служебная тайна. Однако большой опыт, приобретенный им в ходе этих процессов, безусловно, пойдет на пользу К. Разумеется, он уже начал работать, и первое ходатайство уже почти готово. Оно чрезвычайно важно, так как первое впечатление, которое производит защита, влияет на ход всего судопроизводства. К сожалению — и об этом он должен предупредить К., — иногда случается так, что первые жалобы суд вообще не рассматривает. Их просто подшивают к делу и заявляют, что предварительные допросы, а также наблюдение за обвиняемым гораздо важнее. А если проситель настаивает, то ему говорят, что перед окончательным решением суда, когда будут собраны все материалы, включая, разумеется, и все документы, первое ходатайство защиты тоже будет рассмотрено. К сожалению, и это может оказать-

ся не так, потому что первую жалобу обычно куда-то закладывают или даже совсем теряют, а если она и сохраняется, то по дошедшим до адвоката слухам, ее все равно никто, по-видимому, не читает. Все это достойно сожаления, но отчасти может быть и оправдано. К. должен принять во внимание, что все разбирательство ведется негласно; конечно, если суд найдет нужным, оно ведется гласно, но обычно закон гласности не предписывает. Вследствие этого все судебные документы, особенно обвинительный акт, ни обвиняемому, ни его защитнику недоступны, так что в общем они либо совсем не знают, либо знают очень смутно, насчет чего именно направлять первое ходатайство, поэтому в нем только случайно может содержаться что-нибудь имеющее значение для дела. А по-настоящему точные и доказательные ходатайства можно выработать только позже, когда по ходу следствия и допросов обвиняемого можно будет яснее увидеть отдельные пункты обвинения и их обоснование или хотя бы построить какие-то догадки. Вести при таких условиях защиту, конечно, весьма невыгодно и затруднительно. Но и это делается намеренно. Дело в том, что суд, собственно говоря, защиту не допускает, а только терпит ее, и даже вопрос о том, возможно ли истолковать соответствующую статью закона в духе такой терпимости, тоже является спорным. Потому-то, строго говоря, нет признанных судом адвокатов, а все выступающие перед этим судом в качестве защитников, в сущности, являются подпольными адвокатами. Разумеется, это очень унижает все сословие, и когда К. в следующий раз попадет в канцелярию суда, он для ознакомления с этой стороной вопроса может осмотреть адвокатскую комнату. Можно предположить, что его в высшей степени напугает общество, которое там собирается. Уже одно то, что им предоставлена тесная, низкая комната, говорит о презрении, какое суд питает к этим людям. Освещается помещение только через небольшой люк, расположенный на такой высоте, что если хочешь выглянуть, то тебе в нос не только сразу ударяет дым, но и прямо в лицо летит сажа из камина, расположенного тут же; нет, надо еще найти кого-нибудь из коллег, кто подставил бы тебе спину. А в полу этой комнаты — и это еще один пример того, в каком виде она содержится, — в полу уже больше года как появилась дыра, не такая большая, чтобы туда мог провалиться человек, но достаточно широкая, чтобы туда по-

пасть всей ногой. Эта адвокатская комната расположена на втором чердаке; значит, если чья-нибудь нога падает в эту дыру, она свисает вниз и болтается над первым чердаком, над тем самым проходом, где сидят в ожидании клиенты.

Неудивительно, что в адвокатских кругах такое положение вещей считают, мягко говоря, позорным. Жалобы по начальству никаких результатов не дают, однако адвокатам строжайше запрещено делать какой-либо ремонт помещения за свой счет. Впрочем, и это отношение к адвокатам вполне обосновано. Защиту вообще хотят, насколько возможно, отстранить, вся ставка делается на самого обвиняемого. Точка зрения, в сущности, не плохая, но было бы чрезвычайно ошибочным делать вывод, что в этом суде адвокаты обвиняемым не нужны. Напротив, ни в каком другом суде нет такой настоятельной необходимости в адвокатах. Дело в том, что все судопроизводство является тайной не только для общественности, но и для самого обвиняемого. Разумеется, только в тех пределах, в каких это возможно, но возможности тут неограниченные. Ведь и обвиняемый не имеет доступа к судебным материалам, а делать выводы об этих материалах на основании допросов весьма затруднительно, особенно для самого обвиняемого, который к тому же растерян и обеспокоен всякими другими отвлекающими его неприятностями. Вот тут-то и вмешивается защита. Вообще-то защитников на допросы не допускают, поэтому им надо сразу после защиты, по возможности прямо у дверей кабинета следователя, выпытать у обвиняемого, о чем его допрашивали, и из этих, часто уже весьма путаных, показаний отобрать все, что может быть полезно для защиты. Но и это не самое главное, потому что таким путем можно узнать очень мало, хотя и тут, как везде, человек дельный, конечно, узнает больше других. Но самым важным остаются личные связи адвоката, в них-то и кроется основная ценность защиты. Разумеется, К. уже по собственному опыту убедился, что организация судебного аппарата на низших ступенях не вполне совершенна, что там много нерадивых и продажных чиновников, из-за чего в строго замкнутой системе суда появляются бреши. В них-то по большей части и протискиваются всякие адвокаты, тут идет и подслушивание и подкуп, а бывали, по крайней мере в прежние времена, и похищение судебных актов. Не приходится отрицать, что

этими способами на время достигались иногда поразительно благоприятные для подсудимого результаты, и мелкие адвокатишки обычно бахвалятся этим, привлекая новую клиентуру, но на дальнейший ход процесса все это никак не влияет или даже влияет плохо. По-настоящему ценными являются только честные личные знакомства, главным образом с высшими чиновниками; конечно, речь идет хоть и о высших чиновниках, но низшей категории. Только так и можно повлиять на ход процесса — сначала исподволь, а потом все более и более заметно. Но это доступно лишь немногим адвокатам, и тут К. повезло: выбор он сделал правильный. Пожалуй, только у двух-трех адвокатов есть такие связи, как у него, у доктора Гульда. Таким, как он, разумеется, нет дела до той компании из адвокатской комнаты, никакого отношения к ним он не имеет. Тем тесней его связи с судейскими чиновниками. Ему, доктору Гульду, вовсе и не нужно ходить в суд, околачиваться у дверей следственных органов, ждать случайного появления чиновников и, в зависимости от их настроения, добиваться успеха, почти всегда только кажущегося, а иногда и ничего не добиться. Нет — К. сам это видел, — чиновники, и даже весьма высокого ранга, сами приходят сюда, охотно делятся сведениями либо открыто, либо так, что легко можно догадаться, обсуждают следующие этапы процесса; более того, в отдельных случаях они даже дают себя переубедить и охотно становятся на вашу точку зрения. Правда, именно в этом им особенно доверять не следует — даже если они определенно высказывают благоприятные для защиты намерения, — ибо вполне возможно, что отсюда они отправятся прямо в канцелярию и к следующему же заседанию продиктуют прямо противоположное заключение для обвиняемого, гораздо более суровое, чем то первоначальное заключение, от которого они, по их утверждению, отказались начисто. Против этого, конечно, обороняться трудно, ведь то, что сказано с глазу на глаз, так и остается сказанным с глазу на глаз и открыто обсуждаться не может, даже если бы защита не стремилась сохранить благорасположение данного лица. С другой же стороны, вполне правильно, что эти лица связываются с защитой — разумеется, только с защитой компетентной, и делают они это отнюдь не из одного человеколюбия или дружественных чувств, а отчасти и ради собственной выгоды. Тут-то и ощущается недо-

статок судебного устройства, которое с самого начала предписывает секретность в делах. Чиновникам не хватает связи с населением; правда, для обычных, средних процессов они хорошо осведомлены, и такие процессы идут гладко сами по себе, словно по рельсам, их надо только изредка подтолкнуть. А вот в очень простых случаях, а также в случаях очень сложных они совершенно беспомощны: из-за того, что они всегда безоговорочно скованы законами, у них нет понимания человеческих взаимоотношений, а это страшно затрудняет ведение таких дел. Тут-то они и приходят просить совета у адвоката, а за ними идет курьер с теми протоколами, которые обычно хранятся в тайне. Вон у того окна, глядя на улицу с истинной грустью, сживали господа, каких тут меньше всего можно было бы ждать, а в это время адвокат изучал документы у своего стола, чтобы подать им разумный совет. Именно в таких обстоятельствах становилось виднее всего, насколько серьезно эти господа относятся к своей профессии и в какое отчаяние их приводят препятствия, непреодолимые по самой своей природе. Надо им отдать справедливость, положение у них и без того сложное, и службу эту никак нельзя назвать легкой. Ступени и ранги суда бесконечны и неизвестны даже посвященным. А все судопроизводство в общем является тайной и для низших служащих, оттого они почти никогда не могут проследить дальнейший ход тех данных, которые они обрабатывают, оттого и судебное дело предстает перед ними только на их уровне, и они часто сами не знают, откуда оно пришло, и не получают никаких сведений, куда же оно пойдет дальше. Таким образом, знания, которые можно было бы почерпнуть на различных стадиях из этого процесса, а также из окончательного заключения и его обоснования, ускользают от этих чиновников. Они имеют право заниматься только той частью дела, которая выделена для них законом, и обычно знают о дальнейшем ходе вещей, то есть о результатах своей работы, еще меньше, чем защита, которая, как правило, связана с обвиняемым до конца процесса. Значит, и в этом отношении защитник может дать им весьма ценные сведения. И если К. все это учтет, то он вряд ли станет удивляться раздражительности чиновников, которая часто проявляется по отношению к клиентам в чрезвычайно обидной форме — впрочем, каждый это испытывает на себе. Все чиновники раздражены, даже когда кажутся

внешне спокойными. И от этого, разумеется, больше всего страдают мелкие адвокаты. Рассказывают, например, следующую историю, удивительно похожую на правду. Один старый чиновник, добрый, смирный человек, целые сутки изучал трудное дело, к тому же чрезвычайно запутанное из-за вмешательства адвокатов,— усерднее таких чинуш никого не найти. Уже к утру, проработав двадцать четыре часа без видимых результатов, он подошел к входной двери, спрятался за ней и каждого адвоката, который пытался войти, сбрасывал с лестницы. Адвокаты собрались на лестничной площадке и стали советоваться, что им делать. С одной стороны, они не имеют права требовать, чтобы их пустили, значит, жаловаться на этого чиновника по начальству они не могут, а кроме того, как уже говорилось, они должны остерегаться и не раздражать чиновников зря. С другой же стороны, каждый проведенный вне суда день для них потерян, и проникнуть туда им очень важно. В конце концов они договорились измотать старичка. Стали посылать наверх одного адвоката за другим, те взбегали по лестнице и давали себя сбрасывать оттуда при довольно настойчивом, но, разумеется, пассивном сопротивлении, а внизу их подхватывали коллеги. Так продолжалось почти целый час, и тут старичок, уже сильно уставший от ночной работы, совсем сдал и ушел к себе в канцелярию. Стоявшие внизу сначала не поверили и послали одного из коллег наверх взглянуть, действительно ли за дверью никого нет. И только тогда они все поднялись наверх и, должно быть, не посмели даже возмутиться. Ведь адвокат — а даже самый ничтожный из них хоть отчасти представляет себе все обстоятельства — никогда не пытается ввести в судопроизводство какие бы то ни было изменения или улучшения, в то время как почти каждый обвиняемый, даже какой-нибудь недоумок, при первом же соприкосновении с процессом начинает думать, какие бы предложения внести, чтобы улучшить постановку дела, и часто тратит на это время и силы, которые можно было бы с гораздо большей пользой употребить на что-либо иное. Единственно правильное — это примириться с существующим порядком вещей. И если бы даже человек был в силах исправить какие-то отдельные мелочи, что является нелепым заблуждением, то в лучшем случае он чего-то добился бы для хода будущих процессов, но себе самому он только нанес бы непоправимый вред, привле-

кая внимание и особую мстительность чиновников. Главное — не привлекать внимания! Держаться спокойно, как бы тебе это ни претило! Попытаться понять, что суд — этот грандиозный организм — всегда находится, так сказать, в неустойчивом равновесии, и, если ты на своем месте самовольно что-то нарушишь, ты можешь у себя же из-под ног выбить почву и свалиться в пропасть, а грандиозный организм сам восстановит это небольшое нарушение за счет чего-то другого — ведь все связано между собой — и останется неизменным, если только не станет, что вполне вероятно, еще замкнутее, еще строже, еще бдительнее и грознее. Лучше предоставить всю работу адвокату и не мешать ему. Конечно, упреки никому на пользу не идут, особенно если нельзя человеку растолковать, за что его упрекают и в чем виноват, но все-таки следует сказать, что К. чрезвычайно навредил делу тем, как он вел себя при директоре канцелярии. Видимо, придется вычеркнуть этого влиятельнейшего человека из списка тех, у кого можно было бы чего-то добиться для К. Теперь он нарочно пропускает мимо ушей даже мимолетные упоминания о процессе. В некоторых отношениях эти чиновники — сущие дети. Иногда какие-нибудь пустяки — впрочем, поведение К., к сожалению, нельзя отнести к этой категории — так обижают их, что они перестают разговаривать даже с лучшими своими друзьями, отворачиваются от них при встрече и везде, где только можно, действуют им наперекор. И вдруг, совершенно неожиданно, без всяких оснований, их может рассмешить какая-нибудь глупая шутка, на которую решаешься только оттого, что все кажется безнадежным, и тут снова настает полное примирение. С ними общаться и трудно и легко, никаких правил тут не существует. Иногда просто диву даешься, как это одной человеческой жизни хватает на то, чтобы овладеть всеми теми знаниями, которые дают возможность работать хотя бы с некоторым успехом. Правда, бывают, как, впрочем, и у всех, мрачные дни, когда думаешь, что ни малейших успехов не достиг и кажется, будто хорошо кончились только те процессы, в которых благополучный исход был predetermined с самого начала, без всякой посторонней помощи, а все остальные проиграны, несмотря на всю беготню, все старания, все кажущиеся мелкие успехи, которые так тебя радовали. Тут, конечно, теряешь всякую уверенность и даже не осмеливаешься возражать, если тебя

спросят, правда ли, что некоторые процессы, проходившие, по существу, благополучно, ты сорвал именно своим вмешательством. Единственное, что тебе остается,— это какая-то внутренняя самозащита. Таким припадкам сомнения — разумеется, это только припадки — адвокаты бывают особенно подвержены, когда дело, которое они вели уже давно и вполне удовлетворительно, внезапно вырывают у них из рук. Ничего хуже с адвокатом случиться не может. И отнимает дело, конечно, не сам обвиняемый, этого никогда не бывает: если обвиняемый уже взял определенного адвоката, то он за него держится, несмотря ни на что. Да и как он может справиться сам, если он уже воспользовался чей-то помощью? Так что этого не бывает, но иногда бывает другое: процесс принимает такой оборот, что адвоката к нему уже не допускают. И само дело, и обвиняемого, и вообще все просто отнимают у адвоката, и тут уж не помогут самые лучшие отношения с чиновниками, потому что те и сами ничего не знают. Просто весь процесс перешел в такую стадию, где никакой помощи уже оказать нельзя, где дело ведется в недоступных судебных органах и обвиняемый становится недоступным для адвоката. И в один прекрасный день, явившись домой, находишь у себя на столе все те ходатайства, которые составлялись с такой тщательностью, с такой крепкой надеждой на исход дела; оказывается, их отослали тебе обратно, так как на новом этапе процесса их использовать запрещено и они стали бесполезными клочками бумаги. Причем это еще не значит, что процесс проигран, вовсе нет; во всяком случае, никаких оснований для такого предположения нет, просто ты о процессе больше ничего не знаешь и узнать никак не можешь. К счастью, такие случаи — исключение, и даже если процесс самого К. тоже подпадет под такой случай, то пока дело до этого еще не дошло. Сейчас еще представляются самые широкие возможности для работы адвоката, и в том, что он их использует, К. может не сомневаться. Ходатайство, как уже говорилось, еще не подано, да это и не к спеху, гораздо важнее предварительные переговоры с ведущими чиновниками, а они уже велись. Но велись — надо честно сознаться — с переменным успехом. Однако лучше покамест не выдавать подробностей, это может плохо повлиять на К. — пробудить слишком радостные надежды или слишком напугать его; можно сказать только одно: некоторые чиновники выска-

зывались чрезвычайно доброжелательно и выражали полную готовность содействовать, в то время как другие высказывали меньшую доброжелательность, однако в помощи ни в коей мере не отказывали. В общем, результаты, можно сказать, вполне ободряющие, однако делать какие-либо заключения еще нельзя, так как это обычное начало всех предварительных переговоров и только дальнейшее развитие дела покажет, насколько ценны эти предварительные переговоры. Во всяком случае, ничего еще не потеряно, и если бы удалось, несмотря ни на что, вернуть расположение директора канцелярии — а к этому уже приняты разные меры, — то, как говорят хирурги, рану можно считать чистой и надо только спокойно дожидаться дальнейшего.

На такие и подобные разговоры адвокат был неистощим. И это повторялось при каждой встрече. Всегда имелись налицо какие-то успехи, но никогда не сообщалось, в чем они состоят. Работа над первым ходатайством шла непрестанно, но оно все еще не было готово; однако при следующей встрече именно это оказывалось огромным преимуществом; как раз все последние дни были исключительно неблагоприятны для подачи заявлений, хотя предвидеть это заранее никто не мог. И если К., измученный бесконечными словоизвержениями, замечал, даже учитывая все трудности, что дело подвигается очень медленно, то ему возражали, что подвигается оно совсем не так медленно, но, конечно, двинулось бы гораздо дальше, если бы К. обратился к адвокату вовремя. Но, к сожалению, тут он оплошал, и эта оплошность не только сейчас, но и впредь будет порождать затруднения.

Единственное приятное разнообразие в эти посещения вносил приход Лени: она всегда устраивала так, что подавала адвокату чай в присутствии К. Встав за спиной К., она притворялась, что смотрит, как адвокат, с какой-то жадностью, низко пригнувшись к чашке, наливает и пьет чай, и тайком позволяла К. пожимать ей руку. Наступало полное молчание. Адвокат пил чай, К. пожимал руку Лени, а Лени иногда осмеливалась нежно поглаживать К. по голове.

— Ты еще тут? — спрашивал адвокат, допив чай.

— Я хотела убрать посуду, — отвечала Лени с последним рукопожатием, но тут адвокат вытирал губы и с новой силой начинал заговаривать К.

Хотел ли он утешить К. или привести его в отчаяние? К. никак не мог понять, чего тот добивается, хотя отлично понимал, что его защита в ненадежных руках. Возможно, что адвокат говорил правду, хотя было очевидно, что он хочет выставить себя в самом выгодном свете и, вероятно, никогда не вел такой большой процесс, каким, по его мнению, был процесс К. Но самым подозрительным казалось постоянное подчеркивание личных связей с чиновниками. Использовались ли эти связи исключительно для пользы К.? Адвокат постоянно напирал на то, что речь идет только о низших служащих, то есть о людях зависимых, и что для их продвижения по службе определенные повороты процесса, конечно, могут иметь большое значение. Может быть, они используют адвоката, чтобы добиться именно таких, всегда неблагоприятных для обвиняемого оборотов дела? Может быть, они вели себя так не в каждом процессе, это вряд ли было возможно; наверно, случались и такие процессы, когда они помогали адвокату за его услуги, ведь они сами были заинтересованы в том, чтобы поддерживать в чистоте его репутацию. Но если дело и вправду обстоит так, то каким образом они вмешаются в процесс К., чрезвычайно трудный и, по уверениям адвоката, очень сложный, то есть важный и привлечший внимание судебных властей с самого начала? Нет, никаких сомнений их дальнейшие намерения не вызывали. Некоторые симптомы были заметны уже в том, что первое ходатайство все еще не подано, хотя процесс тянется уже несколько месяцев, но до сих пор, по словам адвоката, еще находится в низших инстанциях, а это, конечно, очень способствует намерению усыпить внимание обвиняемого, обезоружить его и вдруг обрушить на него приговор или по меньшей мере объявить ему, что следствие окончилось для него неблагоприятно и дело передано в высшие инстанции.

Нет, К. непременно должен был сам вмешаться. Именно в состоянии крайней усталости, как в это зимнее утро, когда помимо воли все мысли были обращены на его дело, он был в этом безоговорочно убежден. Презрение, с каким он раньше относился к процессу, теперь пропало. Будь он один на свете, он еще мог бы пренебречь процессом, хотя тогда — и в этом сомнений не было — процесс вообще не мог бы возникнуть. Но теперь, когда дядя затащил его к адвокату, приходилось считаться с семейными взаимоотношениями; да и

его служба отчасти зависела от хода процесса, потому что он сам неосторожно и даже с каким-то необъяснимым удовлетворением упоминал о своем процессе при знакомых, а другие знакомые сами о нем узнавали неизвестно откуда; отношения с фройляйн Бюрстнер тоже колебались в зависимости от процесса — словом, у него уже не было выбора, принимать или не принимать этот процесс, он попал в самую гущу и должен был защищаться. А если он устал — тем хуже для него.

Впрочем, для преувеличенной тревоги никаких оснований пока что не было. Он сумел в сравнительно короткое время подняться в своем банке до высокой должности и, признанный всеми, занимал эту должность до сих пор; значит, теперь ему только надо эти свои таланты, благодаря которым он всего достиг, приложить к ведению процесса, и нет никаких сомнений, что тогда все окончится благополучно. Но прежде всего, если хотеть чего-то добиться, надо с самого начала отмести всякие мысли о возможной вине. Никакой вины нет. И весь этот процесс — просто большое дело, какие он с успехом часто вел для банка, и в этом деле, как правило, таятся всевозможные опасности — их только и надо предотвратить. Во имя этой цели никак нельзя играть с мыслью о какой бы то ни было вине, наоборот, надо все мысли твердо сосредоточить на собственной правоте. А отсюда неизбежно вытекало решение отстранить адвоката от дела как можно скорее, лучше всего — сегодня же вечером. Правда, по словам того же адвоката, это было бы неслыханным прецедентом, к тому же очень обидным, но К. больше не мог терпеть, чтобы все его усилия разбивались о препятствия, которые, возможно, подстраивал его собственный адвокат. А как только он стряхнет с себя эту зависимость, он сам сразу подаст ходатайство, и, возможно, ему ежедневно придется добиваться, чтобы эту бумагу рассмотрели. Разумеется, для того чтобы добиться этого, К. не станет, подобно другим, просиживать в коридоре, положив шляпу под стул. Он сам, или знакомые женщины, или те, кого он пошлет, будут ежедневно нажимать на чиновников, чтобы заставить их не глазеть сквозь решетки в коридор, а сесть к столу и рассмотреть ходатайство К. Тут нельзя ослаблять натиск, надо все организовать, проверить; пусть суд наконец столкнется с таким обвиняемым, который умеет постоять за свои права.

Но если К. верил, что он сумеет все это провести в жизнь, то составление ходатайства представило для него непреодолимые трудности. Раньше с неделю назад, он только с чувством некоторой неловкости думал о том, что будет вынужден составлять такую бумагу. Но он даже и не думал, что это может быть так трудно. Он вспомнил, как однажды утром, когда он был завален работой, он вдруг отодвинул все в сторону и взял блокнот, чтобы набросать ходатайство и, может быть, потом отдать этот черновик для исполнения тяжелодуму адвокату, и как именно в эту минуту отворилась дверь директорского кабинета и с громким смехом вошел заместитель директора. Тут К. стало очень неприятно, хотя заместитель директора смеялся вовсе не над его ходатайством, о котором он ничего не знал, а над только что услышанным биржевым анекдотом; для того чтобы этот анекдот стал понятен, надо было сделать рисунок, и заместитель директора, наклонясь над столом К., взял у него из рук карандаш и набросал рисунок на листке блокнота, предназначенном для черновика.

Но сегодня К. забыл о чувстве неловкости — написать ходатайство было необходимо. Если на службе он не сможет выкроить для этого время — что было вполне вероятно, — значит, придется писать дома, по ночам. А если ночей не хватит, придется взять отпуск. Только не останавливаться на полдороге, это самое бессмысленное не только в делах, но и вообще всегда и везде. Правда, ходатайство потребует долгой, почти бесконечной работы. Даже при самом стойком характере человек мог прийти к мысли, что такую бумагу вообще составить невозможно. И не от лени, не от низости, которые только и могли помешать адвокату в этой работе, а потому, что, не зная ни самого обвинения, ни всех возможных добавлений к нему, придется описать всю свою жизнь, восстановить в памяти мельчайшие поступки и события и проверить их со всех сторон. И какая же это грустная работа! Может быть, она подходит тем, кто, уйдя на пенсию, захочет чем-то занять мозг, уже впадающий в детство, и как-то скоротать долгие дни. Но теперь, когда человеку необходимо сохранить всю свежесть мысли для работы, когда часы летят с необыкновенной быстротой, потому что его карьера на подъеме и он представляет собой даже в некотором роде угрозу для заместителя директора, теперь, когда ему, челове-

ку молодому, хочется насладиться жизнью в столь короткие вечера и ночи, именно теперь он должен заниматься составлением этого документа! И К. снова мысленно пожалел себя. Почти нечаянно, лишь бы пре-кратить этот ход мысли, он нажал кнопку звонка, проведенного в приемную. Нажимая кнопку, он взглянул на часы. Уже одиннадцать, значит, два часа драгоценнейшего времени он истратил на раздумье и, конечно, устал еще больше прежнего. И все-таки время прошло не зря, он принял решение, которое может оказаться полезным.

Кроме почты курьер принес визитные карточки двух господ, давно ожидавших К. Как назло, это были очень важные клиенты банка, которых ни в каком случае нельзя было заставлять ждать. И почему они пришли в такое неподходящее время и почему — как, наверно, спрашивали себя эти господа за закрытой дверью — столь усердный К. тратил самое горячее служебное время на личные дела? Устав от всего, что было, и с усталостью ожидая того, что будет, К. поднялся навстречу первому клиенту.

Это был маленький разбитной человек, фабрикант, которого К. хорошо знал. Он выразил сожаление, что отрывает К. от важной работы, а К., со своей стороны, выразил сожаление, что заставил его так долго ждать. Но слова сожаления он произнес настолько машинально и таким неестественным тоном, что, если бы фабрикант не был так занят своим делом, он непременно подметил бы это. Вместо того он торопливо вытащил счета и таблицы из всех карманов, разложил их перед К. и стал разъяснять отдельные пункты, поправил небольшую ошибку в расчетах, которую поймал даже при таком беглом просмотре, напомнил, что К. заключил с ним такую же сделку год назад, мимоходом заметил, что на этот раз другой банк готов идти на значительные жертвы, лишь бы заключить с ним эту сделку, и наконец, умолк, чтобы выслушать мнение К. Действительно, К. вначале с большим вниманием следил за словами фабриканта, мысль о важной сделке захватила и его, но, к сожалению, ненадолго; вскоре он перестал слушать, некоторое время еще кивал головой в ответ на громкие восклицания фабриканта, но потом прекратил и это, ограничиваясь только тем, что смотрел на лысую голову, склоненную над бумагами, и спрашивал себя, когда же фабрикант наконец поймет,

что все его разглагольствования бесполезны. И когда фабрикант замолчал, К. сначала всерьез подумал, будто замолчал он для того, чтобы дать ему возможность сознаться, что слушать он не в состоянии. Но по напряженному взгляду фабриканта, готового на любые возражения, К. с сожалением понял, что деловой разговор придется продолжить. Он наклонил голову, словно подчиняясь приказанию, и стал медленно водить карандашом по бумагам, то и дело останавливаясь и всматриваясь в какую-нибудь цифру. Видимо, фабрикант предположил, что К. с чем-то не согласен, а может быть, цифры были не совсем точные, может быть, и не они решали дело, во всяком случае, фабрикант закрыл бумаги рукой и придвинувшись совсем близко к К., снова начал в общих чертах излагать ему свое дело.

— Трудно все это,— сказал К., наморщив губы, и, так как фабрикант закрыл бумаги — единственное, на чем еще можно было сосредоточиться,— он безвольно откинулся на спинку кресла.

Он только поднял глаза, когда отворилась дверь директорского кабинета и вдали, не очень отчетливо, словно в какой-то дымке, мелькнула фигура заместителя директора. К. не обратил на это особого внимания, но его обрадовала реакция фабриканта — для К. это было очень кстати. Ибо фабрикант тотчас же вскочил с кресла и поспешил навстречу заместителю директора, К. хотел, чтобы он двигался в десять раз скорее, потому что боялся, что заместитель вдруг скроется. Страх оказался напрасным, оба господина встретились, пожали друг другу руки и вместе подошли к столу К. Фабрикант пожаловался, что прокурист никак не склонен идти ему навстречу в этом деле, и кивнул в сторону К., который под взглядом заместителя снова низко нагнулся над бумагами. Они оба стояли, прислонясь к его столу, и фабрикант начал уговаривать заместителя, стараясь привлечь его на свою сторону. К. почувствовал себя так, будто оба эти человека непомерно разрастаются и уже через его голову решают его судьбу. Медленно и осторожно он завел глаза кверху, чтобы взглянуть, что же там происходит; не глядя, взял одну из бумаг со стола, положил ее на ладонь и, постепенно подымаясь с кресла, стал протягивать ее обоим собеседникам. Он ни о чем в это время не думал, а действовал так, как, по его представлению, ему придется действовать, когда

он наконец подготовит тот важный документ, который его окончательно оправдает. Заместитель директора, с большим вниманием слушавший фабриканта, взглянул на бумагу мимоходом, даже не прочитав, что там было написано, ибо то, что было важно для прокуриста, для него никакого интереса не представляло, однако взял бумагу из рук у К., сказал: «Спасибо, я все уже знаю» — и спокойно положил бумагу на стол. К. с неприязнью покосился на него. Но заместитель даже не заметил его взгляда, а если и заметил, то лишь еще больше развеселился. Он то и дело раздражался громким смехом, даже явно привел фабриканта в смущение остроумным ответом и в заключение пригласил его к себе в кабинет, чтобы окончательно договориться.

— Дело весьма важное, — сказал он фабриканту, — мне это совершенно ясно. А господину прокуристу, — при этом он обращался только к фабриканту, — наверно, будет по душе, если мы его от этого освободим. Ваше дело требует спокойного обсуждения. А он как будто сегодня и так перегружен работой, к тому же в приемной вот уже несколько часов его дожидаются люди.

У К. еле хватило выдержки отвернуться от заместителя директора и любезно, хотя и напряженно улыбнуться одному только фабриканту. Больше он не стал вмешиваться и, слегка наклонившись вперед, упершись обеими руками в стол, как приказчик на прилавок, глядел, как оба господина, переговариваясь между собой, взяли бумаги со стола и скрылись в кабинете директора. В дверях фабрикант еще раз обернулся, сказал, что не прощается и не преминет осведомить господина прокуриста о результатах переговоров, а кроме того, собирается сделать ему еще одно небольшое сообщение.

Наконец К. остался один. Он и не подумал впустить следующего клиента и только неясно сознавал, насколько это удачно, что люди там, в приемной, уверены, будто он еще занят с фабрикантом, и поэтому никто, даже курьер, не решается войти к нему. Он подошел к окну, сел на подоконник, держась одной рукой за щеколду, и выглянул на площадь. Снег еще падал, погода никак не прояснялась.

Долго просидел он неподвижно, не понимая, что именно его так беспокоит, и только изредка испуганно

оборачивался через плечо к двери в приемную, где ему слышался какой-то шум. Но так как никто не входил, он успокоился, подошел к умывальнику, умылся холодной водой и с освеженной головой вернулся к окошку. Решение взять свою защиту в собственные руки теперь казалось ему гораздо более ответственным, чем он предполагал сначала. Когда он взваливал всю защиту на адвоката, процесс, в сущности, мало его касался, он наблюдал за ним только со стороны, а непосредственно его ничто не затрагивало, он мог при желании поинтересоваться, как идут его дела, но мог и отойти в сторону, когда ему этого хотелось. А сейчас, если он возьмет ведение своего дела на себя, он — хотя бы на данное время — будет совершенно поглощен судебными делами. Если все пойдет успешно, то впоследствии придет полное и окончательное освобождение, но, чтобы этого достичь, ему придется все время сталкиваться с гораздо большими опасностями, чем до сих пор. И если он еще сомневался в этом, то сегодняшняя встреча с фабрикантом при заместителе директора достаточно убедила его. Как он при них сидел совершенно растерянный лишь оттого, что намеревался с сегодняшнего дня взять свою защиту на себя! Что же будет дальше? Какие дни предстоят ему? Найдет ли он путь, который приведет его к благополучному исходу? Не вызовет ли тщательно продуманное ведение защиты — а иначе все было бы лишено смысла, — не вызовет ли такая защита необходимости отключиться, насколько возможно, от всякой другой работы? Сможет ли он благополучно пройти через это? И как ему провести в жизнь этот план тут, в банке? Ведь время ему нужно не только для составления ходатайства — для этого хватило бы и отпуска, хотя просить об отпуске сейчас было бы большой смелостью, — ему нужно время для целого процесса, а кто знает, как долго он будет тянуться? Вот сколько препятствий вдруг встало на жизненном пути К.!

Неужто в таком состоянии он должен работать для банка? Он взглянул на стол. Неужели сейчас принимать клиентов, вести с ними переговоры? Там его процесс идет полным ходом, там наверху, на чердаке, судебские чиновники сидят над актами этого процесса, а он должен заниматься делами банка? Не похоже ли это на пытку, не с ведома ли суда в связи с процессом его подвергают этой пытке? А разве в банке при оценке его

работы кто-нибудь станет учитывать его особое положение? Никто и никогда. Кое-что о его процессе знали, хотя и было не совсем ясно, кому и сколько об этом известно. Надо надеяться, что слухи еще не дошли до заместителя директора, иначе сразу стало бы видно, как он старается использовать эти сведения против К. вопреки чувству товарищества и простой человечности. А сам директор? Да, конечно, он хорошо относится к К., и если бы он узнал о процессе, то сейчас же сделал бы все от него зависящее, чтобы внести какие-то облегчения для К., но ему это вряд ли удалось бы, потому что теперь, когда К. почти перестал противодействовать влиянию заместителя, это влияние усилилось, причем заместитель для укрепления своей власти использовал болезненное состояние самого директора. На что же К. мог надеяться? Может быть, от этих мыслей сила сопротивления в нем понижалась, но, с другой стороны, нельзя обманывать себя, надо все предвидеть, все, насколько это возможно в данную минуту.

Без всякой причины, просто чтобы не возвращаться к письменному столу, К. отворил окно. Оно открывалось с трудом, пришлось обеими руками нажать на задвижки. Всю комнату и ввысь и вширь заполнил туман, пропитанный дымом, вместе с ним вполз запах гари. Сквозняком внесло несколько снежинок.

— Прескверная осень,— сказал за спиной К. голос фабриканта — тот вышел от заместителя директора и незаметно подошел к окну. К. утвердительно кивнул и с опаской поглядел на портфель фабриканта: наверно, он сейчас вынет оттуда бумаги и начнет рассказывать, как прошли переговоры с заместителем директора. Но фабрикант поймал взгляд К., похлопал по своему портфелю и сказал, не открывая его:

— Вам, наверно, интересно услышать, чего я достиг. У меня, можно сказать, заключение уже в кармане. Превосходный человек ваш заместитель директора, но ему пальца в рот не клади.

Он засмеялся и потряс руку К., явно желая и его рассмешить. Но тому показалось подозрительным, что фабрикант не хочет показать ему документы, да и ничего смешного в его словах он не нашел.

— Господин прокурист,— сказал вдруг фабрикант,— на вас, наверно, погода плохо действует? Вид у вас такой удрученный.

— Да,— сказал К. и поднес руку к виску,— голова болит, семейные неполадки.

— Верно, верно,— сказал фабрикант, человек он был торопливый и никогда не дослушивал спокойно, что ему говорят,— каждому приходится нести свой крест.

К. невольно подался к двери, как будто хотел выпроводить фабриканта, но тот сказал:

— Господин прокурист, у меня есть для вас еще одно небольшое сообщение. Очень боюсь, что сейчас вам не до того, но за последнее время я уже дважды был у вас и каждый раз об этом забывал. Если еще откладывать, то мое сообщение, наверно, потеряет всякий смысл. А это жаль, может быть, оно все-таки будет иметь для вас какое-то значение.— И прежде чем К. успел ответить, фабрикант подошел к нему вплотную, постучал согнутым пальцем ему в грудь и тихо сказал: — У вас идет процесс, не так ли?

К. отшатнулся и воскликнул:

— Вам это сказал заместитель директора!

— Да нет же,— сказал фабрикант,— откуда заместитель мог узнать об этом?

— А вы? — уже спокойнее спросил К.

— Я кое о чем осведомлен из судебных кругов,— сказал фабрикант.— Вот об этом-то я и хотел с вами поговорить.

— Сколько же людей связано с судебными кругами! — сказал К., опустив голову, и подвел фабриканта к столу.

Они уселись, как сидели раньше, и фабрикант сказал:

— К сожалению, я могу сообщить вам очень немного. Но в таких делах нельзя пренебрегать даже самой малостью. Кроме того, мной руководит искреннее желание хоть чем-нибудь помочь вам, даже если эта помощь окажется весьма скромной. Ведь до сих пор у нас в делах были самые дружеские отношения, не так ли? Ну вот видите!

К. хотел было извиниться за свое поведение во время сегодняшнего разговора, но фабрикант не терпел, когда его перебивали. Он засунул портфель глубоко под мышку, чтобы показать, как он торопится, и продолжал:

— О вашем процессе я узнал от некоего Титорелли. Он художник, Титорелли — его псевдоним, настоящего его имени я даже не знаю. Уже много лет подряд он из-

редка заходит ко мне в контору и приносит небольшие картинки, и за них — ведь он почти нищий — я даю ему что-то вроде милостыни. Эти сделки — мы оба к ним привыкли — всегда проходили гладко. Но вот его посещения стали учащаться, я его упрекнул, мы разговорились, я заинтересовался, как это он может жить одними этими картинками, и, к своему удивлению, узнал, что главный источник его дохода — писание портретов. «Работаю на суд», — сказал он. «На какой суд?» — спросил я. И тут он рассказал мне об этом суде. Вероятно, вы лучше всех поймете, как меня удивил его рассказ. С тех пор при каждом посещении я выслушиваю какие-нибудь новости и постепенно составил себе некоторое представление об этом суде. Правда, Титорелли очень болтлив, и часто мне приходится его останавливать, не только потому, что он наверняка привирает, но главным образом из-за того, что мне, человеку деловому, которому и свои заботы покоя не дают, некогда слишком много заниматься чужими делами. Но это я мимоходом. И вот я подумал: а вдруг Титорелли будет вам хоть чем-то полезен, он знаком со многими судьями, и хотя сам он особого влияния не имеет, но все же сможет дать совет, как попасть ко всяким влиятельным лицам. И если даже эти советы сами по себе ничего не значат, то вам, по моему мнению, они могут очень и очень пригодиться. Ведь вы сами почти адвокат. Я всегда говорю: «Прокуррист К. почти что адвокат». Нет, за исход вашего процесса я совершенно не беспокоюсь. И все-таки не зайдете ли вы к Титорелли? По моей рекомендации он сделает для вас все, что в его силах. Право же, я думаю, что вам стоит к нему пойти. Не обязательно сегодня, а как-нибудь при случае. Разумеется — и я должен вам это подчеркнуть, — вы ни в коем случае не обязаны следовать моему совету и идти к Титорелли. Нет, если вы можете обойтись без Титорелли, то лучше оставить его в стороне. Может быть, у вас уже есть свой определенный план и Титорелли только нарушит его? Нет, нет, тогда вам ни в коем случае к нему ходить не надо! Конечно, от такого типа нелегко принимать советы. Впрочем, как хотите. Вот рекомендательное письмо и вот его адрес.

К. взял письмо и сунул его в карман — он был очень разочарован. Даже при самых благоприятных обстоятельствах польза от этого знакомства была неизмеримо меньше вреда, который нанес ему художник, доведя до

сведения фабриканта слухи о процессе и распространяя сплетни.

К. с трудом заставил себя пробормотать какую-то благодарность вслед фабриканту, уже выходящему из комнаты.

— Я зайду к нему,— сказал он, прощаясь с фабрикантом у двери,— или, пожалуй, так как я сейчас очень занят, напишу ему, чтоб он зашел ко мне сюда.

— О, я знал, что вы найдете наилучший выход,— сказал фабрикант.— Правда, я думал, что вам лучше было бы не приглашать в банк людей вроде этого Титорелли и не разговаривать с ним тут о процессе. Да и не очень-то полезно давать письма в руки таким людям. Но, конечно, вы все сами продумали, вам виднее, что можно делать и чего нельзя.

К. наклонил голову и проводил фабриканта через приемную. При всем своем внешнем спокойствии он очень испугался за себя: в сущности, он говорил о письме к Титорелли, только чтобы показать фабриканту, что ценит его рекомендацию и обдумывает, как ему встретиться с Титорелли, но вместе с тем, если бы он счел помощь Титорелли полезной, он и в самом деле не преминул бы ему написать. Но слова фабриканта открыли ему опасность такого шага со всеми его последствиями. Неужели он уже не может надеяться на свой здравый смысл, на свой ум? Если он способен письменно пригласить какую-то сомнительную личность в банк и в двух шагах от заместителя директора, отделенный от него одной только дверью, просить у этого проходимца советов насчет своего процесса, то не значило ли это, что он, по всей вероятности, а может быть, и наверняка, не видит и других опасностей и бросается в них очертя голову? Не всегда же с ним рядом будет человек, который сможет его предупредить. Как раз сейчас, когда ему надо собрать все силы и действовать, на него напали сомнения в собственной бдительности. Неужели ему будет так же трудно заниматься своим процессом, как трудно вести банковские дела? Сейчас он, конечно, сам уже не понимал, как ему могло прийти в голову написать Титорелли и пригласить его в банк.

Он еще в недоумении покачивал головой, когда к нему подошел курьер и обратил его внимание на трех посетителей, сидевших в приемной на скамье. Они уже давно ждали, когда их наконец пригласят в кабинет К. Увидев,

что курьер обратился к К., они встали и, пытаясь воспользоваться случаем, наперебой старались заговорить с К. Раз банк обошелся с ними так бесцеремонно, заставив их терять время в приемной, то они тоже никаких церемоний признавать не собирались.

— Господин прокурисст,— начал было один.

Но К. уже велел подать свое зимнее пальто и, одеваясь с помощью курьера, обратился ко всем троим:

— Простите, господа, сейчас я, к сожалению, не могу вас принять. Очень прошу меня извинить, но у меня весьма срочное дело и я должен сейчас же уйти. Вы сами видели, как долго меня задерживали. Не будете ли вы так любезны прийти завтра или когда вам будет удобно? А может быть, мы обсудим ваши дела по телефону? Или, быть может, вы сейчас вкратце изложите мне, что вам нужно, и я дам вам письменный ответ? Но лучше всего, конечно, если бы вы зашли еще раз.

От этих предложений посетители совершенно онемели и только переглядывались друг с другом: неужели они столько ждали понапрасну?

— Значит, договорились? — сказал К. и обернулся к курьеру, который подавал ему шляпу.

Сквозь открытую дверь кабинета видно было, что за окном гуще повалил снег. К. поднял воротник пальто и застегнул его у шеи.

И в эту минуту из соседнего кабинета вышел заместитель директора, с усмешкой увидел, что К. стоит в пальто, договариваясь о чем-то с посетителями, и спросил:

— Разве вы уже уходите, господин прокурисст?

— Да,— сказал К. и выпрямился,— мне необходимо уйти по делу.

Но заместитель директора уже обернулся к посетителям.

— А как же эти господа? — спросил он.— Кажется, они уже давно ожидают.

— Мы договорились,— сказал К.

Но тут посетители не выдержали; они окружили К. и заявили, что не стали бы ждать часами, если бы у них не было важных дел, которые надо обсудить немедленно, и притом с глазу на глаз. Заместитель директора послушал их, посмотрел на К.— тот, держа шляпу в руках, чистил на ней какое-то пятнышко— и потом сказал:

— Господа, есть очень простой выход. Если я могу вас удовлетворить, я с удовольствием возьму на себя переговоры вместо господина прокурюриста. Разумеется, ваши дела надо разрешить немедленно. Мы, такие же деловые люди, как и вы, понимаем, как драгоценно ваше время. Не угодно ли вам пройти сюда? — И он отворил дверь, которая вела в его приемную.

Как этот заместитель директора умел присваивать себе все, от чего К. по необходимости вынужден был отказываться! Но, может быть, К. вообще слишком перегибает палку и это вовсе не обязательно? Пока он будет бегать к какому-то неизвестному художнику с весьма необоснованными и — нечего скрывать — ничтожными надеждами, тут, на службе, его престиж потерпит непоправимый урон. Вероятно, было бы лучше всего снять пальто и по крайней мере заполучить для себя хотя бы тех двух клиентов, которые остались ждать в приемной. Возможно, что К. и попытался бы так сделать, если бы не увидел, что к нему в кабинет вошел заместитель директора и роется на его книжной полке, словно у себя дома. Когда К. подошел к двери, тот воскликнул:

— А-а, вы еще не ушли? — Он посмотрел на К. — от резких прямых морщин его лицо казалось не старым, а скорее властным — и потом снова стал шарить среди бумаг. — Ищу договор, — сказал он. — Представитель фирмы утверждает, что бумаги у вас. Не поможете ли вы мне найти их?

К. подошел было к нему, но заместитель директора сказал:

— Спасибо, уже нашел, — и, захватив толстую папку с документами, где явно лежал не только один этот договор, он прошел к себе в кабинет.

Теперь мне с ним не под силу бороться, сказал себе К., но пусть только уладятся все мои личные неприятности, и я ему первому отплачу, да еще как! Эта мысль немного успокоила К., он велел курьеру, уже давно открывшему перед ним дверь в коридор, сообщить директору банка, что ушел по делам, и, уже радуясь, что может хоть какое-то время целиком посвятить своему делу, вышел из банка.

Не задерживаясь, он поехал к художнику, который жил на окраине, в конце города, противоположном тому, где находились судебные канцелярии. Эта окраина была еще беднее той: мрачные дома, переулки, где в лужах

талого снега медленно кружился всякий мусор. В доме, где жил художник, было открыто только одно крыло широких ворот; в другом крыле внизу был пробит люк, и навстречу К. оттуда хлынула дымящаяся струя какой-то отвратительной желтой жидкости, и несколько крыс метнулось в канаву, спасаясь от нее. Внизу у лестницы, на земле ничком лежал какой-то младенец и плакал, но его почти не было слышно из-за оглушительного шума слесарной мастерской, расположенной с другой стороны подворотни. Двери в мастерскую были открыты, трое подмастерьев стояли вокруг какого-то изделия и били по нему молотками. От широкого листа белой жести, висящего на стене, падал бледный отсвет и, пробиваясь меж двух подмастерьев, освещал лица и фартуки. Но К. только мельком взглянул туда, ему хотелось как можно скорее уйти, переговорить с художником как можно короче и сразу вернуться в банк. И если он хоть чего-нибудь тут добьется, то это хорошо повлияет на его сегодняшнюю работу в банке.

На третьем этаже ему пришлось умерить шаг — он совсем задыхался, этажи были непомерно высокие, а художник, видимо, жил в мансарде. К тому же воздух был затхлый, узкая лестница шла круто, без площадок, зажатая с двух сторон стенами — в них кое-где, высоко над ступеньками, были пробиты узкие оконца. К. немного приостановился, и тут из соседней квартиры выбежала стайка маленьких девочек и со смехом помчалась вверх по лестнице. К. медленно поднимался за ними, и, когда одна из девочек споткнулась и отстала от других, он нагнал ее и спросил:

— Здесь живет художник Титорелли?

У девочки был небольшой горб, ей можно было дать лет тринадцать; в ответ она толкнула К. локотком в бок и взглянула на него искоса. Несмотря на молодость и физический недостаток, в ней чувствовалась безнадежная испорченность. Даже не улыбнувшись, она вперила в К. пастойчивый, острый и вызывающий взгляд.

К. притворился, что не заметил ее уловки, и спросил:

— А ты знаешь художника Титорелли?

Она кивнула и тоже спросила:

— А что вам от него нужно?

К. решил, что не мешает разузнать еще кое-что о Титорелли.

— Хочу, чтобы он написал мой портрет,— сказал он.

— Портрет? — переспросила она и, широко разинув

рот, шлепнула К. ладонью, словно он сказал что-то чрезвычайно неожиданное или несообразное, подхватила обеими руками свою и без того короткую юбчонку и во всю прыть побежала догонять остальных девочек, чьи крики уже терялись где-то наверху.

За следующим поворотом лестницы К. опять увидел их всех. Горбатенькая, очевидно, уже выдала им намерения К., и они дожидались его. Прижавшись к стенкам по обеим сторонам лестницы, чтобы дать К. свободный проход, они стояли, перебирая пальцами фартучки. В их лицах, в том, как они стояли рядом у стенок, была смесь какого-то ребячества и распутства. Горбатенькая пошла вперед, остальные со смехом сомкнулись за спиной К. Только благодаря ей К. сразу нашел дорогу. Он хотел было идти прямо наверх, но она сказала, что к Титорелли можно попасть только через боковую лестницу. Лестница, ведущая к нему, была еще уже, еще длиннее, шла круто вверх и кончалась у самой двери Титорелли. По сравнению со всей лестницей эта дверь хорошо освещалась небольшим, косо прорезанным в потолке окошечком, она была сколочена из некрашенных досок, и на ней широкими мазками кисти красной краской было выведено имя Титорелли. К. со своей свитой еще только поднялся до середины лестницы, как вдруг наверху, очевидно услышав шум на лестнице, приоткрыли двери, и в щель высунулся мужчина, на котором как будто ничего, кроме ночной рубахи, не было.

— Ох! — воскликнул он, увидев толпу, и сразу исчез. Горбунья от радости захлопала в ладоши, другие девочки стали подталкивать К. сзади, торопя его наверх.

Но не успели они подняться на самый верх, как дверь распахнулась и художник с низким поклоном попросил К. войти. Однако девочек он впустить не захотел и оттеснил их от дверей, сколько они ни просили и сколько ни пытались проникнуть к нему против его воли, не добившись разрешения. Только горбунье удалось проскользнуть у него под рукой, но художник погнался за ней, схватил за юбки, закружил ее вокруг себя и выставил за дверь, к другим девчонкам, которые не посмели переступить порог, даже когда художник отошел от двери. К. никак не мог взять в толк, как отнестись к тому, что происходит; тут как будто царили самые дружеские отношения. Вытянув шейки, девочки весело кричали художнику какие-то шутливые слова, которых К. не понимал, художник смеялся, и горбунья в его руках

чуть ли не взлетала в воздух. Потом он закрыл дверь, еще раз поклонился К., пожал ему руку и представился:

— Художник-живописец Титорелли.

К. показал на дверь, за которой перешептывались девчонки, и проговорил:

— Как видно, в этом доме вас очень любят!

— Ах уж эти мне мартышки! — сказал художник, тщетно пытаясь застегнуть ночную рубашку у ворота.

Он стоял босой, теперь кроме рубахи на нем были широкие штаны из желтоватого холста, они держались только на ремне, и длинный конец его свободно болтался.

— Мне от этих мартышек житья нет, — сказал он и, бросив попытки застегнуть рубаху, так как и последняя пуговица отлетела, принес кресло и пригласил К. сесть.

— Как-то я написал портрет одной из них — ее сейчас тут не было, — и с тех пор они меня преследуют. Когда я дома, они заходят только с моего позволения, но, стоит мне уйти, сюда непременно проберется хоть одна. Они подделали ключ к моей двери и передают друг дружке. Вы просто не представляете себе, как они мне надоели. Например, прихожу сюда с дамой, которую я собираюсь рисовать, открываю дверь своим ключом и вижу: за столом сидит горбунья и красит себе губы моей кисточкой, а ее братцы и сестрицы, за которыми ей велели присматривать, бегают по комнате, пачкают во всех углах. Или, например, вчера: вернулся я очень поздно — поэтому вы уж простите меня за костюм и за беспорядок в комнате, — значит, вернулся я домой поздно, хотел лечь в постель, и вдруг кто-то щиплет меня за ногу. Лезу под кровать и вытаскиваю одну из этих негодниц! И почему их так ко мне тянет — понять невозможно. Вы сами видели, что я их не очень-то поощряю. Они мне и работать мешают. Если бы это ателье не досталось мне бесплатно, я бы давно отсюда выехал.

И тут же за дверью нежный голосок боязливо пропщал:

— Титорелли, можно нам войти?

— Нет! — ответил художник.

— Даже мне одной нельзя? — спросил тот же голосок.

— Тоже нельзя! — сказал художник и, подойдя к двери, запер ее на ключ.

К. уже успел оглядеть комнату; никогда в жизни он не подумал бы, что эту жалкую каморку кто-нибудь называет «ателье». Двумя шагами можно было измерить ее и в длину, и в ширину. Всё — полы, стены, потолок — было деревянное, между досками виднелись узкие щели. У дальней стены стояла кровать с грудой разноцветных одеял и подушек. Посреди комнаты на мольберте видна была картина, прикрытая рубахой с болтающимися до полу рукавами. За спиной К. было окошко, в нем сквозь туман виднелась только крыша соседнего дома, засыпанная снегом.

При звуке ключа, повернутого в двери, К. вспомнил, что он, в сущности, намеревался уйти поскорее. Поэтому он вынул из кармана письмо фабриканта, подал его хужожнику и сказал:

— Я узнал о вас от этого господина, вашего знакомого, и по его совету пришел к вам.

Художник быстро просмотрел письмо и бросил его на кровать. Если б фабрикант не говорил так определенно о Титорелли как о своем приятеле, о бедном человеке, который зависит от его щедрот, то вполне можно было бы сейчас подумать, что Титорелли вовсе и не знаком с фабрикантом или, во всяком случае, совсем его не помнит. А тут художник еще спросил:

— Вы желаете купить картины или хотите заказать свой портрет?

К. с изумлением посмотрел на художника. Что же, собственно говоря, было написано в письме? К. считал, что фабрикант, само собой разумеется, сообщил в своем письме художнику, что К. хочет только одного: навести справки о своем процессе. И зачем он так необдуманно и торопливо бросился сюда! Но теперь надобно было хоть что-нибудь ответить художнику, и, взглянув на мольберт, К. сказал:

— Вы сейчас работаете над картиной?

— Да,— сказал художник и, сняв рубаху, прикрывавшую картину, швырнул ее на кровать, туда же, куда бросил письмо.— Пишу портрет. Неплохая работа, но еще не совсем готова.

Все складывалось как нельзя удачнее для К.: ему просто преподнесли на блюдечке предлог заговорить о суде, потому что портрет перед ним явно изображал судью. Более того, он очень походил на портрет судьи в кабинете адвоката. Правда, тут был изображен совершенно другой судья — чернобородый толстяк с пышной,

окладистой бородой, закрывавшей щеки; кроме того, у адвоката висел портрет, написанный маслом, тогда как этот был сделан пастелью в расплывчатых и мягких тонах. Но все остальное было очень похоже: судья и тут словно в угрозе приподымался на своем троне, сжимая боковые ручки.

«Да ведь это судья»,— хотел было сказать К., но удержался и, подойдя к картине, стал рассматривать ее во всех подробностях. Ему показалась непонятной длинная фигура, стоявшая за высокой спинкой кресла, похожего на трон, и он спросил художника, что это такое.

— Ее надо еще немного подработать,— объяснил ему художник и, взяв со столика пастельный карандаш, несколькими штрихами подчеркнул контуры фигуры, но для К. она от этого не стала яснее.— Это Правосудие,— объяснил наконец художник.

— Да, теперь узнаю,— сказал К.— Вот повязка на глазах, а вот и чаши весов. Но, по-моему, у нее крылышки на пятках и она как будто бежит?

— Да,— сказал художник,— я ее написал такой по заказу. Собственно говоря, это богиня правосудия и богиня победы в едином лице.

— Не очень-то правильное сочетание,— сказал К. с улыбкой.— Ведь богиня правосудия должна стоять на месте, иначе весы придут в колебание, а тогда справедливый приговор невозможен.

— Ну, тут я подчиняюсь своему заказчику,— сказал художник.

— Да, конечно,— сказал К., не желая обидеть его своим замечанием.— Очевидно, вы нарисовали эту статую так, как ее обычно и изображают — за креслом.

— Нет,— сказал художник,— ни кресла, ни статуи я никогда не видел, все это выдумки, но мне дали точное указание, что я должен написать.

— Как? — переспросил К., нарочно сделав вид, что не понимает художника.— Но ведь в кресле сидит судья?

— Верно,— сказал художник,— но это не верховный судья, а этот никогда и не сидел в таком кресле.

— И однако заставил написать себя в столь торжественной позе! Он тут похож на председателя суда!

— Да, честолюбие у этих господ большое! — сказал художник.— Но у них есть распоряжение свыше, чтобы их изображали именно в такой позе. Каждому точно предписано, в каком виде ему разрешается позировать.

К сожалению, по этой картине трудно судить о подробностях одежды и форме кресел, пастель для таких портретов не подходит.

— Да,— сказал К.,— странно, что этот портрет писан пастелью.

— Так пожелал судья,— сказал художник.— Портрет предназначен в подарок даме.

При взгляде на портрет художнику, очевидно, пришла охота поработать; засучив рукава рубахи, он взял пастельные карандаши, и К. увидел, как под их мелькающими остриями вокруг головы судьи возник красноватый ореол, расходящийся лучами к краям картины. Постепенно игра теней образовала вокруг головы судьи что-то вроде украшения или даже короны. Но вокруг фигуры Правосудия ореол оставался светлым, чуть оттененным, и в этой игре света фигура выступила еще резче, теперь она уже не напоминала ни богиню правосудия, ни богиню победы; скорее всего, она походила на богиню охоты. Почти помимо воли К. увлекся работой художника; но наконец он мысленно стал упрекать себя, что задержался так долго, а для своего дела еще ничего не предпринял.

— А как зовут судью? — внезапно спросил он.

— Этого я вам сказать не имею права,— ответил художник. Он низко наклонился над картиной и явно не обращал никакого внимания на гостя, которого встретил так приветливо. К. счел это просто капризом и рассердился, что теряет столько времени.

— А вы, должно быть, доверенное лицо в суде? — спросил он.

И тут художник отложил карандаши, выпрямился и, потирая руки, с улыбкой посмотрел на К.

— Ну, давайте начистоту! — сказал художник.— Вы хотите что-то узнать о суде? Кстати, так и написано в вашем рекомендательном письме, а о моих картинах вы заговорили, чтобы расположить меня к себе. Да я на вас не в обиде. Вы же не могли знать, что меня этим не проведешь. Нет, нет, не падо! — резко сказал он, когда К. хотел что-то возразить. И тут же добавил: — Впрочем, вы совершенно правильно заметили, я действительно доверенное лицо в суде.

Он сделал паузу, словно хотел дать К. время привыкнуть к этому утверждению. За дверью снова послышались голоса девочек. Должно быть, они столпились у замочной скважины, а может быть, подсматривали и в щели

между досками. К. не стал особенно оправдываться, ему не хотелось отвлекать художника от рассказа о суде, и вместе с тем он не хотел, чтобы художник слишком преувеличивал свое значение и тем самым старался стать недоступным, поэтому К. спросил:

— А это официально признанная должность?

— Нет,— коротко ответил художник, словно этот вопрос заставил его замолчать. Но для К. его молчание было не с руки, и он сказал:

— Знаете, люди на таких неофициальных должностях часто бывают куда влиятельнее официальных служащих.

— Именно так со мной и обстоит дело,— кивнул головой художник, хмуря лоб.— Вчера я говорил с фабрикантом о вашем процессе, и он меня спросил, не могу ли я вам помочь. Я сказал: «Пусть этот человек зайдет ко мне» — и рад, что вы так быстро явились. Как видно, это дело затронуло вас всерьез, чему я, впрочем, не удивляюсь. Может быть, вы для начала снимете пальто?

Хотя К. собирался уйти как можно скорее, он очень обрадовался предложению художника. Ему становилось все более душно в этой комнате, несколько раз он удивленно косился на явно нетопленную железную печурку в углу — было непонятно, отчего в комнате стояла такая духота. Пока он снимал пальто и расстегивал пиджак, художник извиняющимся тоном сказал:

— Мне тепло необходимо. А тут очень тепло, правда? В этом отношении комната расположена необыкновенно удобно.

К. ничего не сказал; собственно говоря, ему неприятна была не столько жара, сколько затхлый воздух, дышать было трудно, видно, комната давно не проветривалась. Неприятное ощущение еще больше усилилось, когда художник попросил К. сесть на кровать, а сам уселся на единственный стул, перед мольбертом. При этом художник, очевидно, не понял, почему К. сел только на краешек постели,— он стал настойчиво просить гостя сесть поудобнее, а увидев, что К. не решается, встал, подошел и втиснул его поглубже, в самый ворох подушек и одеял. Потом снова уселся на свой стул и впервые задал точный деловой вопрос, заставив К. позабыть обо всем вокруг.

— Ведь вы невиновны? — спросил он.

— Да! — сказал К. Он с радостью ответил на этот вопрос, особенно потому, что перед ним было частное лицо и никакой ответственности за свои слова он не нес. Никто еще не спрашивал его так откровенно. Чтобы продлить это радостное ощущение, К. добавил: — Я совершенно невиновен.

— Вот как,— сказал художник и, словно в задумчивости, наклонил голову. Вдруг он поднял голову и сказал: — Но если вы невиновны, то дело обстоит очень просто.

К. сразу помрачнел: выдает себя за доверенное лицо в суде, а рассуждает, как наивный ребенок!

— Моя невиновность ничуть не упрощает дела,— сказал К. Он вдруг помимо воли улыбнулся и покачал головой: — Тут масса всяких тонкостей, в которых может запутаться и суд. И все же в конце концов где-то, буквально на пустом месте, судьи находят тягчайшую вину и вытаскивают ее на свет.

— Да, да, конечно,— сказал художник, словно К. без надобности перебивал ход его мыслей.— Но ведь вы-то невиновны?

— Ну конечно,— сказал К.

— Это самое главное,— сказал художник.

Противоречить ему было бесполезно. Одно казалось неясным, несмотря на его решительный тон: говорит ли он это от убежденности или от равнодушия. К. решил тотчас же выяснить это, для чего и сказал:

— Конечно, вы осведомлены о суде куда лучше меня, ведь я знаю о нем только понаслышке, да и то от самых разных людей. Но в одном они все согласны: легкомысленных обвинений не бывает, и если уж судьи выдвинули обвинение, значит, они твердо уверены в вине обвиняемого, и в этом их переубедить очень трудно.

— Трудно? — переспросил художник, вздевая руки кверху.— Да их переубедить просто невозможно! Если бы я всех этих судей написал тут, на холсте, и вы бы стали защищаться перед этими холстами, вы бы достигли больших успехов, чем защищаясь перед настоящим судом.

«Он прав!» — сказал К. про себя, забыв, что он только хотел выпытать у художника его мнение.

За дверью снова запищала девчонка:

— Титорелли, ну когда же он наконец уйдет?

— Молчите! — крикнул художник.— Не понимаете, что ли, у меня с этим господином серьезный разговор!

Но девочка не утихомирилась:

— Ты его хочешь нарисовать? — И так как художник промолчал, она добавила: — Пожалуйста, не рисуй его, он такой некрасивый! — Остальные одобрительно зашумели, выкрикивая какие-то непонятные слова.

Художник подскочил к двери, приоткрыл ее — стали видны умоляюще протянутые руки девочек — и сказал:

— Если вы не замолчите, я вас всех с лестницы спущу! Сядьте на ступеньки и ведите себя смирно.

Видно, они не сразу послушались, и ему пришлось скомандовать:

— Ну, марш на ступеньки! — И только тогда стало тихо.

— Простите, — сказал художник, возвращаясь к К. Но К. даже не повернулся к двери, он полностью предоставил художнику защищать его, как и когда тот захочет.

Он и теперь не пошевелился, когда художник, нагнувшись к нему, прошептал ему на ухо так, чтобы на лестнице не было слышно: — Эти девчонки тоже имеют отношение к суду.

— Как? — спросил К., отшатнувшись и глядя на художника.

Но тот уже сел на свое место и то ли в шутку, то ли серьезно сказал:

— Да ведь все на свете имеет отношение к суду.

— Этого я пока не замечал, — коротко бросил К., но после такой общей фразы его уже больше не тревожили слова художника про девочек. И все же К. поглядывал на дверь, за которой притаились на ступеньках девочки. Одна из них, просунув соломинку в щель между досками, медленно водила ею вниз и вверх.

— Очевидно, вы никакого представления о суде не имеете, — сказал художник; он широко расставил ноги и постукивал по полу пальцами. — Но так как вы невиновны, вам это и не потребуется. Я и один могу вас вызволить.

— Каким же образом? — спросил К. — Только что вы сами сказали, что никакие доказательства на суд совершенно не действуют.

— Не действуют только те доказательства, которые излагаются непосредственно перед самим судом, — сказал художник и поднял указательный палец, словно К. упустил очень тонкий оттенок. — Однако все оборачивается совершенно иначе, когда пробуешь действовать за пре-

делами официального суда, скажем в совещательных комнатах, в коридорах или, к примеру, даже тут, в ателье.

Теперь слова художника показались К. гораздо более убедительными, они в основном вполне совпадали с тем, что К. слышал и от других людей. Более того, в них таилась явная надежда. Если судей так легко было склонить на свою сторону через личные отношения, как утверждал адвокат, то связи художника с тщеславными судьями были особенно важны; во всяком случае, недооценивать эти связи было бы глупо. Тем самым художник тоже включался в компанию помощников, которых К. постепенно собирал вокруг себя. В банке не раз хвалили его организаторские таланты, и сейчас, когда он был всецело предоставлен самому себе, у него была полная возможность использовать этот свой талант как можно шире.

Художник увидел, какое впечатление его слова произвели на К., и сказал с некоторой тревогой:

— А вам не кажется, что я говорю почти как юрист? Видно, на меня влияет непрестанное общение с господами судейскими. Конечно, и это имеет свои выгоды, но как-то пропадает артистический размах мысли.

— А как вы впервые столкнулись с этими судьями? — спросил К. Ему хотелось войти в доверие к художнику, прежде чем прямо воспользоваться его услугами.

— Очень просто,— сказал художник.— Эти связи я унаследовал. Мой отец тоже был судебным художником. А это место передается по наследству. Новых людей на него брагь нельзя. Дело в том, что для изображения разных чиновников установлено множество разнообразных, сложных и прежде всего тайных правил, недоступных никому, кроме определенных семейств. Например, вон в том ящике стола лежат записки моего отца, я их никому не показываю. Только тот, кто их знает, способен писать портреты судей. Впрочем, даже если бы я потерял эти записки, у меня в голове останется множество правил, я один их знаю, заучил их наизусть, так что никто не посмеет оспаривать мое место. Ведь каждому судье хочется, чтобы его писали так, как писали когда-то прежних великих судей, а это умею лишь я один.

— Вам можно только позавидовать,— сказал К., подумав о своем месте в банке.— Значит, ваше положение непоколебимо?

— Вот именно непоколебимо,— сказал художник и гордо развернул плечи.— Потому-то я и могу изредка помочь несчастному, против которого ведется процесс.

— Каким образом? — спросил К., словно не его художник только что назвал «несчастливым».

Но художник, не обращая внимания, продолжал:

— Взять, к примеру, ваш случай: так как вы совершенно невиновны, я предприиму следующее.

К. уже раздражало постоянное упоминание о его полной невиновности. Выходило так, будто, напоминая об этом, художник ставит благополучный исход процесса непременным условием своей помощи, которая тем самым превращается в ничто. Но, несмотря на все сомнения, К. сдержался и не стал прерывать художника. Отказываться от его помощи он не желал, это он решил твердо, причем в этой помощи он сомневался меньше, чем в помощи адвоката. К. даже предпочитал помощь художника, из-за того что тот предлагал ее более бескорыстно, более искренне.

Художник пододвинул стул поближе к кровати и, понизив голос, продолжал:

— Совсем забыл спросить вас вот о чем: как вы предпочитаете освободиться от суда? Есть три возможности: полное оправдание, оправдание мнимое и волокита. Лучше всего, конечно, полное оправдание, но на такое решение я никоим образом повлиять не могу. Помоему, вообще нет такого человека на свете, который мог бы своим влиянием добиться полного оправдания. Тут, вероятно, решает только абсолютная невиновность обвиняемого. Так как вы невиновны, то вы, вполне возможно, могли бы все надежды возложить на свою невиновность. Но тогда вам не нужна ни моя помощь, ни чья-нибудь еще.

Это точная классификация сначала смутила К., но потом он сказал, тоже понизив голос, как и художник:

— Мне кажется, вы сами себе противоречите.

— В чем же? — снисходительно спросил художник и с улыбкой откинулся на спинку стула. От этой улыбки у К. появилось такое ощущение, что сейчас он сам начнет искать противоречия не в словах художника, а во всем судопроизводстве. Однако он не остановился и продолжал:

— Вы только что заметили, что никакие доказательства на суд не действуют, потом вы сказали, что это касается только открытого суда, а теперь вы заявляете, что

за невинного человека вообще перед судом заступаться не нужно. Тут уже кроется противоречие. Кроме того, раньше вы говорили, что можно воздействовать лично на судей, а теперь вы отрицаете, что для полного оправдания, как вы это назвали, какое-либо личное влияние на судью вообще возможно. Это уже второе противоречие.

— Все эти противоречия очень легко разъяснить,— сказал художник.— Речь идет о двух совершенно разных вещах: о том, что сказано в законе, и о том, что я лично узнал по опыту, и путать это вам не следует. В законе, которого я, правда, не читал, с одной стороны, сказано, что невинного оправдывают, а с другой стороны, там ничего не сказано про то, что на судей можно влиять. Но я по опыту знаю, что все делается наоборот. Ни об одном полном оправдании я еще не слышал, однако много раз слышал о влиянии на судей. Возможно, разумеется, что во всех известных мне случаях ни о какой невинности не могло быть и речи. Но разве это правдоподобно? Сколько случаев — и ни одного невинного? Уже ребенком я прислушивался к рассказам отца, когда он дома говорил о процессах, да и судьи, бывавшие у него в ателье, рассказывали о суде; в нашем кругу вообще ни о чем другом не говорят. А как только мне представилась возможность посещать суд, я всегда пользовался ею, слушал бесчисленные процессы на самых важных этапах и следил за ними, поскольку это было возможно; и должен сказать вам прямо — ни одного полного оправдания я ни разу не слышал.

— Значит, ни одного оправдания,— повторил К., словно обращаясь к себе и к своим надеждам.— Но это только подтверждает мнение, которое я составил себе об этом суде. Значит, и с этой стороны суд бесполезен. Один палач вполне мог бы его заменить.

— Нельзя же так обобщать,— недовольным голосом сказал художник.— Ведь я говорил только о своем личном опыте.

— Этого достаточно,— сказал К.— Разве вы слышали, что в прежнее время кого-то оправдывали?

— Говорят, что такие случаи оправдания бывали,— сказал художник.— Но установить это сейчас очень трудно. Ведь окончательные решения суда не публикуются, даже судьям доступ к ним закрыт, поэтому о старых судебных процессах сохранились только легенды. Правда, в большинстве из них говорится о полных оправданиях,

в них можно верить, но доказать ничего нельзя. Однако и пренебрегать ими не следует, какая-то крупница истины в них, безусловно, есть, и, потом, они так прекрасны! Я сам написал несколько картин на основании этих легенд.

— Легендами мое мнение не изменишь,— сказал К.,— да и перед судом ни на какие легенды, вероятно, сослаться нельзя.

Художник рассмеялся.

— Ну конечно, нельзя,— сказал он.

— Значит, и говорить об этом бесполезно,— сказал К., решив покамест выслушать все соображения художника, хотя они казались ему малоубедительными и противоречили другим сведениям. Да ему было и некогда проверять правдивость всех рассказов художника и тем более возражать ему; будет уже величайшим достижением, если он заставит художника помочь ему хоть в чем-то, пусть и не в самом важном. Поэтому он только сказал:— Давайте оставим разговор о полном оправдании. Вы как будто упомянули еще о двух других возможностях.

— Да, о мнимом оправдании и о волоките. Только о них и может идти речь,— сказал художник.— Но прежде чем об этом говорить, вы, может быть, снимете пиджак? Вам, наверно, жарко?

— Да,— сказал К. До этой минуты он ни о чем другом, кроме объяснений художника, не думал, но при одном упоминании о жаре у него на лбу выступили крупные капли пота.— Жара тут невыносимая.

Художник кивнул, словно сочувствуя неприятным ощущениям К.

— Нельзя ли открыть окно? — спросил К.

— Нельзя,— сказал художник,— стекло вставлено намертво, оно не открывается.

Только тут К. понял, как он все время надеялся, что один из них — художник или он сам — вдруг подойдет к окну и распахнет его настежь. Он был даже готов вдыхать туман всей грудью. У него кружилась голова от ощущения полного отсутствия воздуха. Он шлепнул рукой по перине, лежавшей рядом, и слабым голосом сказал:

— Но ведь это неудобно и вредно.

— О нет! — сказал художник, словно защищая такое устройство окна.— Благодаря тому, что оно не открывается, это простое стекло лучше держит тепло, чем

двойные рамы. А если мне захочется проветрить — правда, это не очень нужно, тут через все щели идет воздух, — то можно открыть дверь или даже обе двери.

Это объяснение немного успокоило К., и он оглянулся, ища вторую дверь.

Заметив это, художник сказал:

— Она за вами, пришлось ее заставить кроватью.

Только тут К. увидел в стене за кроватью маленькую дверцу.

— Да, помещение для ателье маловато, — заметил художник, словно опережая упрек К. — Пришлось как-то устроиваться. Конечно, кровать стоит очень неудобно, у самой двери. Вот, например, тот судья, которого я сейчас пишу, всегда приходит через эту дверь у кровати, я ему и ключ от нее выдал, чтобы в мое отсутствие он мог подождать меня тут, в ателье. Но обычно он является ранним утром, когда я еще сплю. Ну и, конечно, как бы крепко я ни спал, он меня будит, открывая дверь около самой кровати. У вас пропало бы всякое уважение к судьям, если бы вы слышали, какими ругательствами я его осыпаю, когда он рано утром перелезает через мою кровать. Конечно, я мог бы отнять у него ключ, но тогда будет еще хуже. Тут любую дверь можно сорвать с петель без малейшего усилия.

Пока он это говорил, К. обдумывал, не снять ли ему и вправду пиджак, и в конце концов решил, что, если он этого не сделает, он никак не сможет высидеть тут ни минутой дольше. Поэтому он снял пиджак и положил его к себе на колени, чтобы сразу его надеть, как только кончатся переговоры. Но не успел он снять пиджак, как одна из девочек закричала:

— Он уже пиджак снял!

Слышно было, как они, толкаясь, припикли ко всем щелям, чтобы поглазеть на это зрелище.

— Девочки решили, что я вас сейчас буду писать, — сказал художник, — для того вы и раздеваетесь.

— Вот как, — сказал К. Его это ничуть не забавляло, потому что он чувствовал себя ничуть не лучше, хоть уже и сидел в одной рубашке. Довольно ворчливо он спросил: — Кажется, вы говорили, что есть еще две возможности? — Он опять забыл, как они называются.

— Мнимое оправдание и волокита, — сказал художник. — От вас зависит, что выбрать. И того и другого можно добиться с моей помощью, хотя и не без усилий, раз-

ница только в том, что мнимое оправдание требует кратких, но очень напряженных усилий, а волокита — гораздо менее напряженных, зато длительных. Сначала поговорим о мнимом оправдании. Если пожелаете его добиться, я напишу на листе бумаги поручительство в вашей невиновности. Текст такого поручительства передал мне мой отец, и ничего в нем менять не полагается. С этим документом я обойду всех знакомых мне судей. Начну, скажем, с того, что подам бумагу судье, которого я сейчас пишу: сегодня вечером он придет мне позировать. Я положу перед ним документ, объясню, что вы невиновны, и поручусь за вас. И это не какое-нибудь пустяковое, формальное поручительство, нет, это поручительство настоящее, ко всему обязывающее.— Художник взглянул на К., словно упрекая его за то, что приходится брать на себя такую ответственность.

— Это было бы очень любезно с вашей стороны,— сказал К.— Но, несмотря на то что судья вам поверит, он все же не оправдает меня полностью?

— Да, как я вам уже говорил,— ответил художник.— А кроме того, я вовсе не уверен, что мне поверят все судьи; некоторые, например, потребуют, чтобы я вас привел к ним лично. Что ж, тогда вам придется со мной пойти. Разумеется, в таком случае можно считать, что дело почти наполовину выиграно, тем более что я, конечно, подробнейшим образом проинструктирую вас, как себя вести с данным судьей. Хуже будет с теми судьями, которые — так тоже случается — откажут мне заранее. Тогда придется — но, разумеется, лишь после того, как я испробую всяческие подходы,— от них отказаться, но мы можем пойти на это, потому что каждый судья в отдельности ничего не рсшает. А когда наконец я соберу под вашим документом достаточное количество подписей от судей, я отнесу его тому судье, который ведет ваш процесс. Возможно, что среди подписей будет и его подпись, тогда события развернутся еще быстрее, чем обычно. По существу, вообще почти никаких препятствий больше не будет, и в такой момент обвиняемый может чувствовать себя вполне уверенно. Удивительно, но факт: в такой момент люди бывают увереннее, чем после оправдательного приговора. Тут уже особенно стараться не приходится. У судьи есть поручительство в вашей невиновности за подписями множества судей, и он может без всяких колебаний оправдать вас, что он, после некоторых формальностей, несомненно, и сделает в виде одолжения и

мне, и другим своим знакомым. А вы покинете суд и будете свободны.

— Значит, я буду свободен? — сказал К. с некоторым недоверием.

— Да,— сказал художник,— но, конечно, это только мнимая свобода, точнее говоря, свобода временная. Дело в том, что низшие судьи, к которым и принадлежат мои знакомые, не имеют права окончательно оправдывать человека, это право имеет только верховный суд, ни для вас, ни для меня и вообще ни для кого из нас совершенно недоступный. Как этот суд выглядит — мы не знаем, да, кстати сказать, и не хотим знать. Так что великое право окончательно освободить от обвинения нашим судьям не дано, однако им дано право отвода обвинения. Это значит, что если вас оправдали в этой инстанции, то на данный момент обвинение от вас отвели, но оно все же висит над вами, и, если только придет приказ, оно сразу опять будет пущено в ход. Так как я очень тесно связан с судом, то могу вам сказать, каким образом чисто внешне проявляется разница между истинным оправданием и мнимым. При истинном оправдании вся документация процесса полностью исчезает, она совершенно изымается из дела, уничтожается не только обвинение, но и все протоколы процесса, даже оправдательный приговор,— все уничтожается. Другое дело при мнимом оправдании. Документация сама по себе не изменилась, она лишь обогатилась свидетельством о невиновности, временным оправданием и обоснованием этого оправдательного приговора. Но в общем процесс продолжается, и документы, как этого требует непрерывная канцелярская деятельность, пересылаются в высшие инстанции, потом возвращаются обратно в низшие и ходят туда и обратно, из инстанции в инстанцию, как маятник, то с большим, то с меньшим размахом, то с большими, то с меньшими остановками. Эти пути неисповедимы. Со стороны может показаться, что все давным-давно забыто, обвинительный акт утерян и оправдание было полным и настоящим. Но ни один посвященный этому не поверит. Ни один документ не может пропасть, суд ничего не забывает. И вот однажды — когда никто этого не ждет — какой-нибудь судья внимательнее, чем обычно, просмотрит все документы, увидит, что по этому делу еще существует обвинение, и даст распоряжение о немедленном аресте. Все это я рассказываю, предполагая, что между мнимым оправданием и новым арестом пройдет довольно

много времени; это возможно, и я знаю множество таких случаев, но вполне возможно, что оправданный вернется из суда к себе домой, а там его уже ждет приказ об аресте. Тут уж свободной жизни конец.

— И что же, процесс начинается снова? — спросил К. с недоверием.

— А как же, — сказал художник, — конечно, процесс начинается снова, но и тут имеется возможность, как и раньше, добиться мнимого оправдания. Опять надо собрать все силы и ни в коем случае не сдаваться. — Последние слова художник явно сказал потому, что у него создалось впечатление, будто К. очень удручен этим разговором.

— Но разве во второй раз, — сказал К., словно хотел предвосхитить все разъяснения художника, — разве во второй раз не труднее добиться оправдания, чем в первый?

— В этом отношении, — сказал художник, — ничего определенного сказать нельзя. Вероятно, вам кажется, что второй арест настроит судей против обвиняемого? Но это не так. Ведь судьи уже предвидели этот арест при вынесении мнимого оправдательного приговора. Так что это обстоятельство вряд ли может на них повлиять. Но, конечно, есть бесчисленное количество других причин, которые могут изменить и настроение судей, и юридическую точку зрения на данное дело, поэтому второго оправдания приходится добиваться с учетом всех изменений, так что и тут надо приложить не меньше усилий, чем в первый раз.

— Но ведь и это оправдание не окончательное? — спросил К. и с сомнением покачал головой.

— Ну конечно, — сказал художник, — за вторым оправданием следует второй арест, за третьим оправданием — третий арест и так далее. Это включается в самое понятие мнимого оправдания. — К. промолчал. — Видно, мнимое оправдание вам не кажется особо выгодным, — сказал художник. — Может быть, волокита вам больше подойдет? Объяснить вам сущность волокиты?

К. только кивнул головой. Художник развалился на стуле, рубаха распахнулась у него на груди, он сунул руку в прореху и стал медленно поглаживать грудь и бока.

— Волокита, — сказал художник и на минуту уставился перед собой, словно ища наиболее точного опре-

деления,— волокита состоит в том, что процесс надолго задерживается в самой начальной его стадии. Чтобы добиться этого, обвиняемый и его помощник — особенно его помощник — должны поддерживать непрерывную личную связь с судом. Повторяю, для этого не нужны такие усилия, как для того, чтобы добиться мнимого оправдания, но зато тут необходима особая сосредоточенность. Нужно ни на минуту не упускать процесс из виду, надо не только регулярно, в определенное время ходить к соответствующему судье, но и навещать его при каждом удобном случае и стараться установить с ним самые добрые отношения. Если же вы лично не знаете судью, надо влиять на него через знакомых судей, но при этом ни в коем случае не оставлять попыток вступить в личные переговоры. Если тут ничего не упустить, то можно с известной уверенностью сказать, что дальше своей первичной стадии процесс не пойдет. Правда, он не будет прекращен, но обвиняемый так же защищен от приговора, как если бы он был свободным человеком. По сравнению с мнимым оправданием волокита имеет еще то преимущество, что впереди у обвиняемого все более определенно, он не ждет в постоянном страхе ареста и ему не нужно бояться, что именно в тот момент, когда обстоятельства никак этому не благоприятствуют, ему вдруг придется снова пережить все заботы и тревожения, связанные с мнимым оправданием. Правда, и волокита несет обвиняемому некоторые невыгоды, которые нельзя недооценивать. Я не о том говорю, что обвиняемый при этом не свободен, ведь и при мнимом оправдании он тоже не может считать себя свободным в полном смысле этого слова. Тут невыгода другая. Процесс не может стоять на месте без явных или, на худой конец, мнимых причин. Поэтому нужно, чтобы процесс все время в чем-то внешне проявлялся. Значит, время от времени надо давать какие-то распоряжения, обвиняемого надо хоть изредка допрашивать, следствие должно продолжаться и так далее. Ведь процесс все время должен кружиться по тому тесному кругу, которым его искусственно ограничили. Разумеется, это приносит обвиняемому некоторые неприятности, хотя вы никак не должны их преувеличивать. Все это чисто внешнее; например, допросы совсем коротенькие, а если идти на допрос нет ни времени, ни охоты, можно отпроситься, а с некоторыми судьями можно совместно составить расписание заранее, на много дней вперед,— словом, по существу речь идет только о

том, что, будучи обвиняемым, надо время от времени являться к своему судье.

Художник еще договаривал последнюю фразу, а К. уже встал, перекинув пиджак через руку.

— Встает! — закричали за дверью.

— Вы уже хотите уйти? — спросил художник. — По-видимому, вас гонит здешний воздух. Мне это очень неприятно. Нужно было бы еще многое вам сказать. Пришлось изложить только вкратце. Но я надеюсь, что вы меня поняли.

— О да! — сказал К., хотя от напряжения, с которым он заставлял себя все выслушивать, у него болела голова.

Несмотря на это утверждение, художник еще раз сказал, как бы подводя итог, в напутствие и в утешение К.:

— Оба метода схожи в том, что препятствуют вынесению приговора обвиняемому.

— Но они препятствуют и полному освобождению, — тихо сказал К., словно стыдясь того, что он это понял.

— Вы схватили самую суть дела, — быстро сказал художник.

К. взялся было за свое пальто, хотя еще и пиджак надеть не решался. Охотнее всего он схватил бы все в охапку и выбежал на свежий воздух. Даже голоса девочек не могли заставить его одеться, а они, не разглядев, уже кричали:

— Он одевается!

Художнику, очевидно, хотелось как-то объяснить состояние К., поэтому он сказал:

— Очевидно, вы еще не решили, какое из моих предложений принять. Одобряю. Я бы даже не советовал вам сразу принимать решение. Надо очень тонко разобраться и в преимуществах, и в недостатках. Надо все точно взвесить. Но, разумеется, терять время тоже нельзя.

— Я скоро вернусь, — сказал К. и вдруг решительно натянул пиджак, перекинул пальто через руку и поспешил к двери, за которой уже подняли крик девочки. К. почувствовал, что он видит их сквозь закрытую дверь.

— Вы должны сдержать слово, — сказал художник, не делая попытки его проводить, — не то я сам приду в банк справиться, что с вами.

— Откройте же двери! — сказал К. и рванул ручку — как видно, девочки крепко вцепились в нее снаружи.

— Ведь они вас там изведут! — сказал художник. — Лучше воспользуйтесь этим выходом, — и он показал на дверцу за кроватью. К. сразу согласился и бросился к кровати.

Но, вместо того чтобы открыть эту дверь, художник полез под кровать и оттуда спросил:

— Погодите минутку, не взглянете ли вы на картину, которую я вам мог бы продать?

К. не хотел быть невежливым: все-таки художник принял в нем участие, обещал и дальше помогать ему, а кроме того, К. по забывчивости еще ничего не говорил о вознаграждении за эту помощь, поэтому он не мог отказать художнику и позволил ему достать картину, хотя сам весь дрожал от нетерпения — до того ему хотелось поскорее уйти из ателье. Художник вытащил из-под кровати груды холстов без подрамников, настолько запыленных, что, когда художник попытался сдуть пыль с верхнего холста, она долго носилась в воздухе и у К. помутилось в глазах и запершило в горле.

— Степной пейзаж, — сказал художник и протянул К. холст. На нем были изображены два хилых деревца, стоящих поодаль друг от друга в темной траве. В глубине сиял многоцветный закат.

— Хорошо, — сказал К., — я ее покупаю. — К. нечаянно высказался так кратко и поэтому обрадовался, когда художник, ничуть не обидевшись, поднял с пола вторую картину.

— А эта картина — полная противоположность той, — сказал художник.

Может быть, он и хотел написать что-то другое, но ни малейшей разницы между картинами не было заметно: те же деревья, та же трава, в глубине — тот же закат. Но К. это было безразлично.

— Прекрасные пейзажи, — сказал он. — Я покупаю оба и повешу их у себя в кабинете.

— Видно, вам нравится тема, — сказал художник, доставая третий холст. — Как удачно, что у меня есть еще одна подобная картина.

Но и это был не просто похожий, а совершенно тот же самый степной пейзаж. Видно, художник ловко воспользовался случаем, чтобы сбыть свои старые картины.

— Я и эту возьму, — сказал К. — Сколько стоят все три картины?

— Договоримся в другой раз, — сказал художник. — Вы сейчас торопитесь, а связь мы с вами будем поддер-

живать. Знаете, меня очень радует, что вам нравятся эти картины, я вам отдам все холсты, которые лежат под кроватью. Тут одни степные пейзажи, я писал много степных пейзажей. Некоторые люди не понимают таких картин, оттого что они слишком мрачные, зато другие, в том числе и вы, любят именно мрачное.

Но К. вовсе не был расположен разбираться в творческих переживаниях этого нищего художника.

— Упакуйте все картины! — крикнул он, перебивая художника. — Завтра придет мой курьер и заберет их.

— Не надо, — сказал художник. — Надеюсь, мне сейчас же удастся найти вам носильщика, он вас проводит. — И, перегнувшись через постель, отпер наконец дверцу. — Не стесняйтесь, шагайте прямо по кровати, так все сюда входят, — сказал он.

Но К. и без его разрешения не постеснялся, он уже занес ногу на перину, но, заглянув в открытую дверь, отшатнулся.

— Что это там? — спросил он художника.

— Чего вы удивляетесь? — спросил тот так же удивленно. — Да, это судебные канцелярии. Разве вы не знали, что тут судебные канцелярии? Почему бы им не быть именно здесь? Да и мое ателье, в сущности, тоже относится к судебным канцеляриям, но суд предоставил мне его в личное пользование.

К. не того испугался, что и здесь очутился около канцелярии; его главным образом напугало собственное невсжество в судебных делах: ему казалось, что самое основное правило поведения для обвиняемого — быть всегда наготове, ни разу не дать захватить себя врасплох, не смотреть бессознательно направо, если слева от него стоит судья, и вот именно против этого правила он все время грешит. Перед ним тянулся длинейший коридор, и оттуда шел такой воздух, по сравнению с которым воздух в ателье казался просто освежающим. По обе стороны этого прохода стояли скамьи, совсем как в той канцелярской приемной, куда обращался К. Очевидно, все канцелярии были устроены по одному образцу. В данный момент в этой канцелярии посетителей было немного. Какой-то мужчина развалился на скамье, закрыв голову руками, и, кажется, спал; другой стоял в самом конце полутемного коридора. К. перелез через кровать, художник с картинами вышел за ним следом. Вскоре они встретили служителя суда — теперь К. легко отличал этих служителей по золотой пуговице, которая красовалась на

их гражданских пиджаках среди обыкновенных пуговиц,— и художник велел ему проводить К. и отнести картины. К. шел, пошатываясь, крепко прижав носовой платок ко рту. Они уже почти подошли к выходу, как вдруг им навстречу кинулась ватага девчонок. К. и тут не мог от них избавиться. Должно быть, они увидели, как открылась вторая дверь из ателье, бросились кругом и забежали с этой стороны.

— Дальше я вас провожать не стану! — со смехом заявил художник, окруженный девчонками.— До свиданья! И не раздумывайте слишком долго!

К. даже не обернулся ему вслед. На улице он схватил первый попавшийся экипаж. Ему непременно надо было избавиться от служителя суда, чья золотая пуговица непрерывно мозолила ему глаза, хотя другие люди ее, наверно, не замечали. В порыве услужливости служитель хотел было взобраться на козлы, но К. прогнал его. К. подъехал к банку далеко за полдень. Ему очень хотелось оставить картины в экипаже, но он побоялся, как бы художник потом не поинтересовался, где они. Поэтому он велел отнести их к себе в кабинет и запер на ключ в самом нижнем ящике стола, чтобы они хотя бы в ближайшее время не попались на глаза заместителю директора.

Глава восьмая

КОММЕРСАНТ БЛОК. ОТКАЗ АДВОКАТУ

Подошел день, когда К. наконец решил отказать адвокату в представительстве по его делу. Правда, он никак не мог преодолеть сомнение, правильно ли он поступает, но все пересилила мысль, что это необходимо. Решение пойти к адвокату, принятое в тот день, отняло у него много сил, работал он вяло, медленно, ему пришлось долго задержаться на службе, и уже пробило десять, когда он наконец подошел к двери адвоката. Прежде чем позвонить, К. подумал, не лучше ли было бы отказать адвокату по телефону или письмом, потому что личный разговор, наверно, будет очень неприятным. И, однако, К. хотел сделать это лично: на всякий другой отказ адвокат мог не ответить или отделаться пустыми словами, и К. никогда не узнал бы, если только не выпытал бы у Лени, как адвокат принял этот отказ и какие последст-

вия этот отказ будет иметь для самого К., по мнению адвоката, а с его мнением нельзя не считаться. Если же адвокат будет сидеть перед К. и отказ явится для него неожиданностью, то, даже не добившись от него ни слова, можно будет легко угадать все, что интересует К., по выражению лица и по поведению адвоката. Не исключено даже, что К. при этом убедится, как все-таки хорошо было бы поручить ему защиту, а тогда отказ можно и отменить.

Первые попытки дозвониться у двери адвоката были, как всегда, безрезультатными. Лени могла бы и поторопиться, подумал К. Слава богу, что хоть никто из соседей не вмешивался, как это обычно бывало: то выскакивал мужчина в халате, то еще кто-нибудь, и начиналась перебранка. Нажимая кнопку звонка во второй раз, К. оглянулся на дверь соседей, но на этот раз она тоже не открывалась. Наконец в глазке адвокатской двери показались два глаза, но это не были глаза Лени. Кто-то отпер замок, но придержал дверь изнутри и крикнул в глубь квартиры: «Это он!» — и только тогда дверь отворилась.

К. протиснулся в дверь — он услышал, как за его спиной уже торопливо поворачивали ключ в соседней квартире. И когда его пропустили в прихожую, он буквально ринулся туда, но только успел увидеть, как по коридору пробежала в одной рубашке Лени, услышав предупреждающий возглас того, кто отпер дверь. К. посмотрел ей вслед, потом обернулся к стоящему у порога. Это был маленький, тщедушный человек с бородкой, державший в руке свечу.

— Вы тут служите? — спросил К.

— Нет, — ответил тот, — я посторонний, я пришел к адвокату по делу, за советом.

— Без пиджака? — спросил К. и движением руки показал на скудный туалет посетителя.

— Ах, простите! — сказал тот и осветил сам себя свечкой, словно впервые заметил, в каком он виде.

— Лени — ваша любовница? — коротко спросил К. Он стоял, слегка расставив ноги и заложив за спину руки, державшие шляпу. Уже то, что на нем было добротное пальто, заставляло его чувствовать свое превосходство над этим заморышем.

— О господи! — сказал тот и в испуге, словно защищаясь, закрыл лицо рукой. — Нет, нет, как вы могли подумать!

— Вы мне внушаете доверие,— с улыбкой бросил К.,— но все же... Впрочем, пойдете! — Он махнул шляпой и пропустил того вперед.— Как ваше имя? — спросил он.

— Блок, коммерсант Блок,— сказал тот, оборачиваясь, чтобы представиться, но К. не дал ему остановиться.

— Это ваша настоящая фамилия? — спросил он.

— Конечно! — сказал Блок.— Почему вы сомневаетесь?

— Подумал, что у вас могут быть причины скрывать свое имя,— сказал К. Он чувствовал себя необыкновенно свободно — так бывает только на чужбине, когда разговаривая с простым народом, сам умалчиваешь обо всем, что тебя касается, и равнодушно расспрашиваешь об их делах, причем как будто ставишь их на одну доску с собой, но обрываешь разговор когда заблагорассудится.

У рабочего кабинета К. остановился, открыл дверь и крикнул коммерсанту, послушно идущему впереди:

— Не торопитесь! Посветите-ка сюда!

К. подумал, что, может быть, Лени спряталась в кабинете, он заставил коммерсанта осветить все углы, но в комнате было пусто. Перед портретом судьи К. придержал коммерсанта за подтяжки.

— Вы его знаете? — спросил он и ткнул указательным пальцем вверх.

Коммерсант поднял свечу, поморгал, посмотрел наверх и сказал:

— Это судья.

— Верховный судья? — спросил К. и стал рядом с коммерсантом, чтобы проверить, какое впечатление производит на него портрет.

Коммерсант с благоговением посмотрел наверх.

— Да, это верховный судья,— сказал он.

— Не очень-то вы проникательны,— сказал К.— Из всех ничтожных судейских чиновников он — самый мелкий.

— Теперь вспомнил,— сказал коммерсант и опустил свечу.— Ведь я это уже слышал.

— Ну конечно же! — воскликнул К.— Я совсем забыл, конечно же, вы должны были это слышать.

— Почему же? Почему? — спросил коммерсант, идя к двери, куда его подталкивал К.

Уже в коридоре К. спросил:

— Но вы, наверно, знаете, где прячется Лени?

— Прячется? — переспросил коммерсант. — Да нет же, она, наверное, на кухне, варит суп для адвоката.

— Почему же вы мне сразу не сказали? — спросил К.

— Я хотел вас туда привести, а вы меня отозвали назад, — сказал коммерсант, растерявшись от противоречивых распоряжений.

— Вы, как видно, считаете себя хитрецом! — сказал К. — Ну, ведите же меня туда!

В кухне К. еще ни разу не был, она оказалась неожиданно большой и богато оснащенной. Даже плита была раза в три больше обычной. Остальную обстановку почти нельзя было рассмотреть, потому что на кухне горела только маленькая лампочка, висевшая над входом. У плиты стояла Лени в своем обычном белом фартуке и выпускала яйца в кастрюлю, стоящую на спиртовке.

— Добрый вечер, Йозеф — сказала она, взглянув на него исподлобья.

— Добрый вечер, — ответил К. и показал коммерсанту на стоящий поодаль стул; тот повиновался и сел. Тогда К. подошел к Лени вплотную, наклонился через ее плечо и спросил:

— Кто это такой?

Лени обняла К. одной рукой — другой она мешала суп — и, притянув его к себе, сказала:

— Это несчастный человек, обедневший коммерсант, некто Блок. Ты посмотри на него.

Оба оглянулись. Коммерсант сидел на стуле, как ему велел К., он потушил ненужную свечу и пальцами приминал фитиль, чтобы не зачалдило.

— Ты была в одной рубашке, — сказал К. и, взяв в руки голову Лени, заставил ее отвернуться от Блока. Лени промолчала.

— Он твой любовник? — спросил К. Она хотела помешать в кастрюльке, но К. схватил ее за обе руки и сказал: — Отвечай!

Она сказала:

— Пойдем в кабинет, я тебе все объясню.

— Нет! — сказал К. — Я хочу, чтобы ты мне здесь же все объяснила. — Она повисла у него на шее, пытаясь его поцеловать, но К. отстранился и сказал: — Не хочу, чтобы ты меня сейчас целовала.

— Йозеф! — сказала Лени и посмотрела в глаза К. умоляюще и вместе с тем открыто. — Неужели ты ревнуешь меня к господину Блоку? Руди, — обратилась она к

коммерсанту,— помоги же мне, слышишь, в чем меня подозревают? И брось ты эту свечку!

Можно было подумать, что Блок не обращает на них внимания, но оказывается, он все отлично слышал.

— Не понимаю, с чего это вы вздумали ревновать! — сказал он несколько вызывающе.

— Я сам не понимаю! — сказал К. и с улыбкой взглянул на коммерсанта.

Лени громко рассмеялась и, пользуясь тем, что К. отвлекся, повисла у него на руке и зашептала:

— Оставь его, сам видишь, что это за человек. Я его немножко пожалела, потому что он очень важный клиент для адвоката, и только потому. А как ты? Хочешь сейчас же переговорить с адвокатом? Ему сегодня очень плохо, но, если угодно, я о тебе доложу. А на ночь ты останешься у меня, непременно останешься. Ты так давно у нас не был, даже адвокат про тебя спрашивал. Не запускай процесс. Мне тоже надо тебе многое сообщить, я кой о чем разузнала. Но прежде всего сними пальто.

Она помогла ему снять пальто, взяла его шляпу, побежала в прихожую повесить вещи, потом прибежала назад и посмотрела, не готов ли суп.

— Доложить о тебе или сначала накормить его супом? — спросила она у К.

— Доложи сначала обо мне,— сказал К.

Он был раздражен, потому что собирался поговорить с Лени о своих делах, особенно о нерешенном вопросе — отказать адвокату или нет, но присутствие этого коммерсанта отбило у него всякую охоту. Однако дело казалось ему настолько важным, что нельзя было из-за этого заморыша все решительно менять, поэтому он окликнул Лени, выбежавшую было в коридор.

— Все-таки накорми его сначала супом,— сказал он,— пусть подкрепитя перед разговором со мной, ему силы понадобятся.

— Значит, вы тоже клиент адвоката? — тихо сказал из угла коммерсант. Но его слова вызвали общее неудовольствие.

— Какое вам дело? — спросил К., а Лени сказала:

— Ты бы помолчал,— и обратилась к К.: — Значит, сначала я ему дам супу,— и стала паливать суп в тарелку.— Боюсь, как бы он сразу не заснул, после еды он всегда засыпает.

— Ничего, от моих слов с него сон слетит,— сказал К.

Ему все хотелось намекнуть, что он собирается обсу-

дить с адвокатом что-то очень важное, хотелось, чтобы Лени сначала заинтересовалась, о чем пойдет разговор, а уж тогда попросить у нее совета. Но она только в точности выполнила его пожелание. Проходя мимо него с тарелкой, она подчеркнуто ласково взглянула на него и сказала:

— Как только он поест, я сразу доложу о тебе, чтобы ты поскорее вернулся ко мне сюда.

— Ступай, ступай!— сказал К.— Ступай!

— Будь же поласковее! — сказала она и у самой двери, держа тарелку в руках, еще раз повернулась к нему всем телом.

К. посмотрел ей вслед. Теперь он твердо решил отказать адвокату; может быть, даже лучше, что он не успел перед этим поговорить с Лени, у нее никакого кругозора нет; наверно, она стала бы его отговаривать и, возможно, удержала бы на этот раз, и снова он мучился бы от неизвестности и сомнений, и все-таки через некоторое время выполнил бы свое намерение, потому что слишком упорно его вынашивал. А ведь чем раньше он решится, тем меньше вреда будет причинено. Впрочем, этот коммерсант тоже что-нибудь, наверно, может сказать.

К. обернулся, и как только коммерсант это заметил, он тут же хотел вскочить с места, но К. его удержал.

— Сидите, сидите,— сказал он и пододвинул к нему свой стул.— А вы давнишний клиент адвоката? — спросил он его.

— Да,— сказал коммерсант,— очень давнишний.

— Сколько же лет он представляет ваши интересы? — спросил К.

— Не знаю, в каком смысле вы об этом спрашиваете,— сказал коммерсант.— В моих торговых операциях — я торгую зерном — он представляет мои интересы с тех самых пор, как я принял дело, значит, уже лет двадцать, а в моем личном процессе, на который вы, вероятно, намекаете, он тоже представляет мои интересы с самого начала, то есть уже больше пяти лет. Да, гораздо больше пяти лет,— добавил он и вытащил старый бумажник.— Тут у меня все записано; если хотите, я вам назову точные даты. А запомнить наизусть трудно. Пожалуй, мой процесс длится много дольше, он начался вскоре после смерти жены, а тому уже больше пяти с половиной лет.

К. подвинулся к нему поближе.

— Значит, адвокат берется и за обычные гражданские дела? — спросил он. Такая связь суда с правовыми нормами удивительно успокоила К.

— Ну конечно, — сказал коммерсант и шепотом добавил: — Говорят даже, что в гражданских делах он больше смыслит, чем в тех, других.

Но, как видно, Блок тут же раскаялся в своих словах; положив руку на плечо К., он попросил:

— Прошу вас, не выдавайте меня!

К. успокаивающе похлопал его по коленке и сказал:

— Что вы, разве я предатель?

— Он очень мстительный, — сказал коммерсант.

— Ну, такому верному клиенту он никогда ничего не сделает, — сказал К.

— Еще как сделает! — сказал коммерсант. — Когда он рассердится, он никакой разницы не видит, а кроме того, не настолько уж я ему верен.

— То есть как это? — спросил К.

— Не знаю, можно ли вам все доверить, — с сомнением в голосе сказал коммерсант.

— По-моему, можно, — сказал К.

— Ну что же, — сказал коммерсант, — я вам кое-что доверю. Но тогда и вы должны мне открыть какую-нибудь тайну, чтобы мы вместе держались против адвоката.

— Очень уж вы осторожны, — сказал К. — Хорошо, я вам сообщу тайну, которая вас успокоит окончательно. В чем же вы неверны адвокату?

— У меня, — робко начал коммерсант таким тоном, словно сознавался в какой-то низости, — у меня кроме него есть и еще адвокаты.

— Ну, это не такой уж проступок, — немного разочарованно сказал К.

— Здесь это считается проступком, — сказал коммерсант. Он еще никак не мог отдышаться после своего признания, хотя слова К. немного подбодрили его. — Это не разрешается. И уж ни в коем случае не разрешено наряду с постоянным адвокатом приглашать еще подпольных адвокатов. А я именно так и сделал, у меня кроме него еще пять подпольных адвокатов.

— Пять! — крикнул К. Его поразило именно количество. — Целых пять адвокатов кроме этого!

Коммерсант кивнул.

— И еще веду переговоры с шестым.

— Но зачем вам столько адвокатов? — спросил К.

— Мне они все нужны,— сказал коммерсант.

— А вы можете объяснить зачем? — спросил К.

— Охотно,— сказал коммерсант.— Ну, прежде всего я не хочу проиграть свой процесс, это само собой понятно. Поэтому я не должен упускать ничего, что может пойти мне на пользу, и, если даже, в некоторых случаях, надежда получить от них пользу очень невелика, все равно я и такую надежду упускать не должен. Потому-то я и растратил на процесс все, что у меня было. Например, я вынул весь капитал из моего предприятия: раньше контора моей фирмы занимала почти целый этаж, а теперь осталась только каморка во флигеле, где я работаю с одним только рассыльным. Мои дела приняли такой оборот не только потому, что я истратил все деньги, но я и все силы истратил. Когда хочешь вести процесс, ни на что другое времени не остается.

— Значит, вы сами действуете и в суде? — спросил К.— Об этом я особенно хотел бы узнать подробнее.

— Тут я вам почти ничего сообщить не могу,— сказал коммерсант.— Сначала я было попробовал сам этим заняться, но потом бросил. Слишком утомительно, а результатов почти никаких. Действовать там самому, самому вести переговоры — нет, мне это оказалось совершенно не под силу. Даже просто сидеть и ждать — страшное напряжение. Сами знаете, какой в этих канцеляриях тяжелый воздух.

— Откуда вам известно, что я там был? — спросил К.

— Да я сидел в приемной, когда вы проходили.

— Какое совпадение! — воскликнул К. Его настолько это поразило, что он совсем забыл, каким нелепым ему показался коммерсант сначала.— Значит, вы меня видели! Вы были в приемной, когда я проходил! Да, один раз я там проходил.

— Не такое уж это совпадение,— сказал коммерсант,— я туда хожу почти каждый день.

— Наверно, и мне придется бывать почаще,— сказал К.— Только вряд ли меня примут с таким почетом, как в тот раз. Все передо мной встали — наверно, решили, что я судья.

— Нет,— сказал коммерсант,— мы приветствовали служителя суда. Мы уже знали, что вы обвиняемый. Такие сведения распространяются моментально.

— Значит, вы все знали,— сказал К.— Но тогда вам, может быть, показалось, что я вел себя слишком высокомерно? Был об этом разговор?

— Нет,— сказал коммерсант,—напротив. Впрочем, все это глупости.

— Как это глупости? — переспросил К.

— Ну зачем вы меня выпрашивали? — раздраженно сказал коммерсант.— Людей этих вы, по-видимому, не знаете и можете все неправильно истолковать. Примите только во внимание, что при данных обстоятельствах в разговорах всплывают такие вещи, которых разумом никак не понять. Человек устает, голова забита другими мыслями, вот и начинаются всякие суеверия. Я говорю о других, но и сам я ничуть не лучше. Например, есть такое суеверие, будто по лицу обвиняемого, особенно по рисунку его губ, видно, чем кончится его процесс. И эти люди утверждали, что, судя по вашим губам, вам вскоре вынесут приговор. Повторяю, это смешное суеверие, и по большей части факты говорят против него, но, когда вращаешься среди тех людей, трудно противостоять предрассудкам. И подумайте, до чего сильно это суеверие! Помните, как вы заговорили с одним из них? Он вам даже ответить не мог. Конечно, там все может сбить человека с толку, но его особенно поразили ваши губы. Потом он рассказывал, что по вашим губам он прочел не только ваш, но и свой приговор.

— По моим губам? — спросил К., вынул карманное зеркальце и посмотрелся в него.— Ничего особенного в своих губах я не вижу. А вы?

— И я тоже,— сказал коммерсант,— абсолютно ничего!

— До чего же эти люди суеверны! — воскликнул К.

— А что я вам говорю? — сказал коммерсант.

— Неужели они так часто встречаются и делятся всеми своими мыслями? — спросил К.— А я до сих пор держался совсем особняком.

— Не так уж они часто встречаются,— сказал коммерсант,— да это и невозможно, слишком их много. Да и общих интересов у них мало. Иногда какая-нибудь группа начинает верить, что у них общие интересы, но вскоре оказывается, что это ошибка. В этом суде коллективно ничего не добьешься. Каждый случай изучается отдельно, этот суд работает весьма тщательно. Скопом тут ничего не добиться. Лишь единицы втайне иногда чего-то могут достигнуть; только потом об этом узнают остальные, но, как оно случилось, никому не известно. Словом, ничего общего у этих людей нет. Правда, иногда они встречаются в приемных, но там особенно не пого-

воришь. А все эти суеверия завелись истари, и множатся они сами по себе.

— Видел я этих людей в приемной,— сказал К.,— и мне их ожидание показалось совсем бесполезным.

— Нет, ожидание не бесполезно,— сказал коммерсант,— бесполезны только попытки самому вмешаться. Я вам уже говорил, что кроме этого адвоката у меня их еще пять. Кажется—и мне самому вначале так казалось,— что можно было бы всецело передать дело в их руки. Но это было бы совершенно неправильно. Сейчас мне еще труднее передать им все, чем если бы у меня был один адвокат. Вам это, конечно, непонятно?

— Непонятно,— сказал К., и, словно пытаюсь успокоить коммерсанта, остановить его слишком быструю речь, он накрыл его руку своей рукой.— Я только хочу вас попросить: говорите немного медленнее, ведь это все для меня страшно важно, а так я не успеваю за вами следовать.

— Хорошо, что вы мне напомнили,— сказал коммерсант.— Ведь вы новичок, младенец. Вашему процессу всего-то полгода. Слышал, слышал. Такой молодой процесс! А я уже передумал обо всем тысячи раз, для меня нет на свете ничего понятнее.

— И наверно, вы рады, что ваш процесс уже так далеко зашел? — спросил К. Ему не хотелось прямо задать вопрос, как обстоят дела у коммерсанта. Но и прямого ответа он не получил.

— Да вот уже пять лет, как я тяну свой процесс,— сказал коммерсант и опустил голову.— Это немалое достижение.

И он замолчал. К. прислушался, не идет ли Лени. С одной стороны, ему не хотелось, чтобы она пришла, потому что ему еще надо было о многом расспросить коммерсанта, не хотелось ему, чтобы Лени застала их за дружеским разговором, а с другой стороны, он злился, что, несмотря на его присутствие, Лени так долго торчит у адвоката, куда дольше, чем нужно, чтобы накормить его супом.

— Я хорошо помню то время,— снова заговорил коммерсант, и К. весь обратился в слух,— когда мой процесс был примерно в таком же возрасте, как сейчас ваш. Тогда меня обслуживал только этот адвокат, но я им был не очень доволен.

Вот сейчас я все узнаю, подумал К. и оживленно заки-

вал головой, словно вызывая этим коммерсанта на полную откровенность в самом важном вопросе.

— Мой процесс,— продолжал коммерсант,— не двигался с места. Правда, велось следствие, я бывал на всех допросах, собирал материал, представил в суд все овои конторские книги, что, как я потом узнал, было совершенно излишне, все время бегал к адвокату, он тоже подавал многочисленные ходатайства...

— Как? Многочисленные ходатайства? — переспросил К.

— Ну конечно,— сказал коммерсант.

— Для меня это чрезвычайно важно,— сказал К.,— ведь по моему делу он все еще составляет первое ходатайство. Он ничего не сделал. Теперь я вижу, как безобразно он запустил мои дела.

— То, что бумага еще не готова, может быть, вызвано всякими уважительными причинами,—сказал коммерсант.— Да и, кроме того, впоследствии выяснилось, что для меня все эти ходатайства были совершенно бесполезны. Одно я даже прочел — мне его любезно предоставил один из служащих в суде. Правда, составлено оно было по-ученому, но, в сущности, без всякого смысла. Прежде всего — уйма латыни, в которой я не разбираюсь, потом — целые страницы общих фраз по адресу суда, потом — лестные слова об отдельных чиновниках — ои их, правда, не называл по имени, но каждый посвященный легко догадывался, о ком шла речь,— затем самовосхваление, причем тут адвокат подлизывался к суду хуже собаки, и, наконец, исследования всяких судебных процессов прошлых лет, якобы схожих с моим делом. Слов нет, эти исследования, насколько я мог понять, были проведены очень тщательно. Но я ни в коем случае не хочу в чем бы то ни было осуждать адвоката за его работу. К тому же та бумага, которую я прочитал, только одна из многих, во всяком случае — и это я должен оговорить сейчас же,— никакого продвижения в моем процессе я тогда не видел.

— А как вы представляете себе это продвижение? — спросил К.

— Ваш вопрос вполне разумен,— с улыбкой сказал коммерсант.— Эти дела очень редко двигаются с места. Но тогда я этого еще не знал. Ведь я коммерсант — прежде я еще больше занимался коммерцией, чем сейчас,— и мне хотелось видеть ощутимые результаты, дело должно было двигаться к концу или по крайней мере до-

стигнуть какого-то развития. А вместо этого шли бесконечные допросы, почти всегда одного и того же содержания; ответы на них я выучил наизусть, как молитву; но несколько раз в неделю ко мне являлись посыльные из суда — и в контору и домой, всюду, где могли меня застать; конечно, это очень мне мешало (теперь по крайней мере в этом отношении стало лучше, телефонные вызовы мешают гораздо меньше), а то среди моих деловых знакомых и особенно среди моих родственников начали распространяться слухи о моем процессе, так что вреда это мне принесло достаточно, а вместе с тем не было видно ни малейшего признака того, что в ближайшее время будет назначено хотя бы первое слушание дела. Тогда я обратился к адвокату с жалобой. Он дал мне пространные объяснения, однако решительно отказался сделать какие-то шаги в том направлении, как я предполагал: ускорить слушание дела все равно никто не может, а настаивать на этом в заявлении, как того требовал я, было бы просто неслыханно и могло погубить и его и меня. Я и подумал: то, чего не может или не хочет этот адвокат, захочет и сможет другой. И я стал искать других адвокатов. Сразу забегу вперед: никто никогда не требовал назначения дела к слушанию, никто этого не мог добиться, да и вообще с одной оговоркой, о чем я скажу позже, это действительно никак невозможно, значит, в этом отношении адвокат меня не обманул; но в остальном мне не пришлось жалеть, что я обратился к другим адвокатам. Вероятно, вы уже слышали от доктора Гульда о подпольных адвокатах. Должно быть, он говорил о них с большим презрением, да они этого и заслуживают. Однако когда он о них говорит и сравнивает с собой и своими коллегами, то совершает небольшую ошибку, и я вам попутно разъясню, какую именно. Обычно, говоря об адвокатах своего круга, он в отличие от подпольных называет их крупными адвокатами. Это неверно: конечно, каждый может называть себя крупным, если ему заблагорассудится, но в данном случае судебная терминология установлена твердо. Если руководствоваться ею, то кроме подпольных адвокатов существуют еще адвокаты крупные и мелкие. Так вот этот адвокат и его коллеги принадлежат к мелким адвокатам, а крупные адвокаты — о них я только слышал, но никогда их не видел, — те стоят по рангу неизмеримо выше мелких адвокатов, куда выше, чем «мелкие» стоят над презренными подпольными.

— Что же это за крупные адвокаты? — спросил К.— Кто они такие? Как к ним попасть?

— Значит, вы о них еще никогда не слыхали,— сказал коммерсант,— а ведь нет ни одного обвиняемого, который, узнав о них, не мечтал бы попасть к ним. Лучше не поддавайтесь этому соблазну. Кто эти крупные адвокаты, я понятия не имею, и попасть к ним, по-видимому, невозможно. Не знаю ни одного случая, когда с уверенностью можно было бы говорить об их вмешательстве. Кого-то они защищают, но по своему желанию этого нельзя добиться; защищают они только тех, кого им угодно защищать. Должно быть, то дело, за которое они берутся, уже выходит за пределы низших судебных инстанций. Вообще же лучше о них и не думать, потому что иначе все переговоры с другими адвокатами, все их советы и вся их помощь покажутся жалкими, никчемными; я сам это испытал: хочется просто бросить все, лечь дома в постель и ни о чем не слышать. Но, конечно, глупее этого ничего быть не может, да и в постели тебе все равно не будет покоя.

— Значит, вы и прежде о крупных адвокатах не думали? — спросил К.

— Думал, но недолго,— сказал коммерсант и опять усмехнулся.— Совершенно забыть о них невозможно, особенно ночью приходят всякие мысли. Но когда-то мне больше всего хотелось добиться ощутимых результатов, потому я и обратился к подпольным адвокатам.

— Как вы тут хорошо сидите вдвоем! — сказала Лени, она вернулась с тарелкой и остановилась в дверях.

И действительно, они сидели, почти прижавшись друг к другу; при малейшем повороте их головы могли столкнуться, а так как коммерсант при своем малом росте еще весь сгорбился, К. был вынужден наклоняться к нему совсем близко, чтобы слышать все как следует.

— погоди минутку! — остановил девушку К., и его рука, все еще лежавшая на руке коммерсанта, нетерпеливо дрогнула.

— Он просил, чтобы я ему рассказал о своем процессе,— обратился коммерсант к Лени.

— Ну рассказывай, рассказывай! — сказала та.

Она говорила с коммерсантом ласково, но очень свысока, и К. это не понравилось; он уже понял, что это был человек вполне достойный; во всяком случае, он много пережил и прекрасно обо всем рассказывал.

Очевидно, Лени судила о нем неверно. К. смотрел, как Лени с раздражением отняла у коммерсанта свечу — тот все время крепко держал ее в руке, — обтерла его пальцы своим фартуком и опустилась перед ним на колени, чтобы счистить воск, накапавший ему на брюки.

— Вы ведь хотели рассказать мне про подпольных адвокатов! — сказал К. и без всяких околичностей отодвинул руку Лени.

— Ты это что? — сказала Лени и, слегка хлопнув К. по руке, продолжала свою работу.

— Да, да, про подпольных адвокатов, — сказал коммерсант и провел рукой по лбу, как бы обдумывая, что говорить.

Желая ему помочь, К. подсказал:

— Вы хотели добиться немедленных результатов и потому обратились к подпольным адвокатам.

— Совершенно верно, — сказал коммерсант, но ничего не добавил.

Видно, не желает говорить при Лени, подумал К., и, хотя ему очень хотелось все услышать, он поборол нетерпение и больше настаивать не стал.

— Ты доложила обо мне? — спросил он Лени.

— Конечно, — ответила та. — Он тебя дожидается. Оставь Блока, с ним ты и потом успеешь поговорить, Блок побудет тут.

К. решил не сразу.

— Вы останетесь тут? — спросил он коммерсанта.

Ему хотелось, чтобы тот сам подтвердил это, и не нравилось, что Лени говорит о Блоке как об отсутствующем. Да и вообще сегодня К. испытывал какое-то затаенное раздражение против Лени.

Но ответила опять она:

— Он здесь часто ночует.

— Ночует здесь? — воскликнул К.

А он-то надеялся, что Блок просто дождетя, пока он как можно скорее закончит переговоры с адвокатом, а затем они вместе выйдут и основательно, без всяких помет все обсудят.

— Ну да, — сказала Лени. — Не каждого пускают к адвокату в любой час, как тебя, Йозеф. Ты как будто и не удивляешься, что адвокат, несмотря на болезнь, принимает тебя в одиннадцать часов ночи. Все, что ради тебя делают друзья, ты принимаешь как должное. Конечно, твои друзья, во всяком случае я сама, все делают

с удовольствием. Никакой благодарности я и не требую! Лишь бы ты меня любил.

Тебя любить? — подумал в первую минуту К., но сразу мелькнула мысль: ну конечно, я ее люблю.

Однако вслух он сказал, обходя эту тему:

— Меня адвокат принимает, потому что я его клиент. А если и тут не обойтись без чужой помощи, значит, на каждом шагу только и придется, что кланчить и благодарить.

— Какой он сегодня нехороший,— сказала Лени коммерсанту.

Вот теперь и про меня говорит, будто меня нет, подумал К. и даже рассердился на коммерсанта, когда тот так же бесцеремонно, как Лени, сказал:

— Адвокат его принимает еще и по другой причине: его процесс много интереснее моего. Кроме того, его процесс только что начался и, значит, не очень запутан, потому адвокат и занимается им так охотно. Потом все изменится.

— Да, да! — со смехом сказала Лени, глядя на коммерсанта.— Ишь разболтался! А ты ему не верь,— это она сказала, уже обращаясь к К.— Он ужасно милый, но и ужасно болтливый. Может быть, адвокат его за это и не выносит. Во всяком случае, принимает он его, только когда ему вздумается. Я и то сколько раз старалась заступиться, и все зря. Представь себе, иногда я докладываю о Блоке, а он его принимает только на третий день. Но если в ту минуту, как его позовут, Блок не явится, значит, все пропало, нужно сызнова о нем докладывать. Поэтому я разрешила Блоку ночевать тут: бывает, что адвокат ночью звонит и требует его к себе. А теперь Блок и ночью наготове. Правда, иногда он узнаёт, что Блок тут, и отменяет свой вызов.

К. вопросительно посмотрел на коммерсанта. Тот кивнул головой и сказал так же откровенно, как говорил до того с К. (видно, он растерялся только от смущения):

— Да, постепенно начинаешь очень зависеть от своего адвоката.

— Он только для виду жалуется,— сказала Лени,— а сам любит тут ночевать, он мне сколько раз говорил.— Она подошла к маленькой дверце и открыла ее.— Хочешь взглянуть на его спальню? — спросила она.

К. подошел и заглянул с порога в низкую каморку без окон, целиком занятую узенькой кроватью. Забираться в кровать можно было только через спинку. У изголовья

в стене виднелась небольшая ниша, там с педантичной аккуратностью были расставлены свеча, чернильница, ручка с пером и пачка бумаг — очевидно, документы процесса.

— Значит, вы спите в комнате для прислуги? — спросил К., обращаясь к коммерсанту.

— Мне ее уступила Лени,— сказал коммерсант.— Это очень удобно.

К. пристально посмотрел на него. Очевидно, первое впечатление, которое произвел Блок, было правильной: опыт у него был большой, потому что его процесс тянулся давно, но стоил ему этот опыт недешево. И вдруг весь вид этого человека стал для К. невыносим.

— Ну и укладывай его спать! — крикнул он Лени, которая явно его не поняла.

Нет, сейчас он пойдет к адвокату и откажет ему, а этот отказ освободит его не только от самого адвоката, но и от Лени, и от этого коммерсанта.

Но не успел он дойти до двери, как коммерсант громко окликнул его:

— Господин прокурист! — К. сердито обернулся.— Вы забыли свое обещание,— сказал коммерсант и умоляюще потянулся к К. со своего места.— Вы хотели сообщить мне какой-то секрет.

— Верно! — сказал К., мельком взглянув на Лени, внимательно смотревшую на него.— Так вот, слушайте: теперь это уже почти не секрет. Я сейчас иду к адвокату, чтобы ему отказать.

— Он ему отказывает! — крикнул коммерсант, вскочил со стула и забегал по кухне, воздевая руки к небу.— Он отказывает адвокату! — восклицал он снова и снова.

Лени хотела было наброситься на К., но коммерсант перебил ей дорогу, за что она стукнула его кулаком. Не разжимая кулаков, Лени бросилась за К., но тот опередил ее и уже вбегал в комнату к адвокату, когда Лени его догнала. Он почти успел захлопнуть двери, но Лени ногой задержала одну створку и схватила его за локоть, пытаясь вытащить обратно. Но он так стиснул ей кисть руки, что она, охнув, выпустила его. Зайти в комнату она не посмела, и К. запер дверь изнутри на ключ.

— Я вас очень давно жду,— сказал адвокат с кровати, положив на ночной столик документ, который он читал при свече, и, надев очки, пристально посмотрел на К.

Но, вместо того чтобы извиниться, К. сказал:

— А я скоро уйду.

Адвокат оставил без внимания эти слова и, так как К. не извинился, добавил:

— В следующий раз я вас так поздно не приму.

— Это вполне совпадает с моими намерениями,— сказал К.

Адвокат посмотрел на него вопросительно.

— Садитесь, пожалуйста! — сказал он.

— Если вам угодно,— сказал К., пододвинул кресло к ночному столику и сел.

— Мне показалось, что вы заперли дверь на ключ,— сказал адвокат.

— Да,— сказал К.,— из-за Лени.— Он не намеревался никого щадить.

Но адвокат спросил:

— Она опять к вам приставала?

— Приставала? — переспросил К.

— Ну да! — сказал адвокат и рассмеялся. От смеха у него начался приступ кашля, а когда кашель прошел, он опять засмеялся.— Да вы, наверно, уже сами заметили, какая она назойливая,— сказал он и похлопал К. по руке — тот по рассеянности положил руку на ночной столик, но тут же быстро отдернул ее.— Видно, вы не придаете этому значения,— сказал адвокат, когда К. промолчал.— Тем лучше! Иначе мне, наверно, пришлось бы перед вами извиняться. Это ее причуда, и я давно ей все простил и даже разговаривать об этом не стал бы, если бы вы не заперли дверь. Не мне объяснять вам эту причуду, но сейчас у вас такой растерянный вид, что придется все рассказать. Причуда эта состоит в том, что большинство обвиняемых кажутся Лени красавцами. Она ко всем привязывается, всех их любит, да и ее как будто все любят; а потом, чтобы меня поразвлечь, она иногда мне о них рассказывает — конечно, с моего согласия. Меня это ничуть не удивляет, а вот вы как будто удивлены. Если есть на это глаз, то во многих обвиняемых и в самом деле можно увидеть красоту. Конечно, это удивительное, можно сказать феноменальное явление природы. Разумеется, сам факт обвинения отнюдь не вызывает какие-либо отчетливые, ясно определенные перемены во внешности. Ведь это не то, что при других судебных делах: тут большинство обвиняемых продолжают вести свой обычный образ жизни, и если у них есть хороший адвокат, взявший на себя все заботы, то и процесс

их не касается. Тем не менее люди, искушенные в таких делах, могут среди любой толпы узнать каждого обвиняемого в лицо. По каким приметам? — спросите вы. Мой ответ вас, может быть, не удовлетворит. Просто эти обвиняемые — самые красивые. И не вина делает их красивыми — я обязан так считать хотя бы как адвокат, ведь не все же они виноваты — да и не ожидание справедливого наказания придает им красоту, потому что не все они будут наказаны; значит, все кроется в поднятом против них деле, это оно так на них влияет. Разумеется, среди этих красивых людей есть особенно прекрасные. Но красивы они все, даже Блок, этот жалкий червяк.

Когда адвокат договорил, К. уже решился окончательно, он даже вызывающе вскинул голову в ответ на последние слова адвоката, словно подтверждая самому себе правильность сложившегося у него убеждения, что адвокат всегда — и на этот раз тем более — старается отвлечь его общими разговорами, не имеющими никакого касательства к основному вопросу: проводит ли он какую-либо работу для пользы дела К. Адвокат, очевидно, заметил, что К. на этот раз настроен против него еще больше, чем обычно, и замолчал, выжидая, чтобы К. сам заговорил; но, видя, что К. упорно молчит, спросил его:

— Вы сегодня пришли ко мне с определенной целью?

— Да,— ответил К. и немного затенил рукой свечу, чтобы лучше видеть адвоката.— Я хотел вам сказать, что с сегодняшнего дня я лишаю вас права защищать мои интересы в суде.

— Правильно ли я вас понял? — спросил адвокат и, присев в постели, оперся рукой на подушки.

— Полагаю, что правильно,— сказал К., он сидел прямо и был все время начеку.

— Что ж, можно обсудить и этот план,— сказал адвокат, помолчав.

— Это уже не только план,— сказал К.

— Возможно,— сказал адвокат.— И все же не будем торопиться.

Он сказал «не будем», как будто не собирался выпустить К. из рук и был намерен остаться если не его представителем, то по крайней мере советчиком.

— Никто и не торопится,— сказал К., медленно поднялся и встал за спинкой кресла.— Я думал долго, может быть, даже слишком долго. Но решение принято окончательно.

— Тогда позвольте мне сказать несколько слов,— сказал адвокат, сбросил с себя перину и сел на край кровати. Его голые, покрытые седыми волосами ноги дрожали от холода. Он попросил К. подать ему плед с дивана.

К. подал плед и сказал:

— Вы совершенно зря подвергаете себя простуде.

— Нет, не зря, все это очень важно,— сказал адвокат, снова кутаясь в перину и укрывая ноги пледом.— Ваш дядя мне друг, да и вас я за это время полюбил. В этом я вам признаюсь откровенно. Стыдиться тут нечего.

К. было очень неприятно слушать чувствительные излияния старика, потому что они вынуждали его на решительное объяснение, а ему очень хотелось этого избежать, да и, кроме того, как он откровенно признался самому себе, все это сбило его с толку, хотя ни в какой мере не поколебало его решения.

— Благодарю за дружеские чувства,— сказал он.— Я вполне сознаю, что вы сделали для меня все, что только возможно и что, по-вашему, могло принести пользу. Однако в последнее время я пришел к убеждению, что этого недостаточно. Разумеется, я никогда не решусь навязывать свое мнение человеку, который настолько старше и опытнее меня; если я когда-либо невольно осмеливался на это, прошу меня простить, но дело тут, как вы сами выразились, чрезвычайно важное и, по моему глубокому убеждению, требует гораздо более решительного вмешательства в ход процесса, чем это было до сих пор.

— Я вас понимаю,— сказал адвокат.— Вы очень нетерпеливы.

— Вовсе я не так уж нетерпелив,— сказал К. с некоторым раздражением и сразу же перестал тщательно выбирать слова:— Вероятно, при первом моем посещении, когда я пришел с дядей, вы заметили, что особого интереса к своему процессу я не проявлял, и, когда мне не напоминали о нем, так сказать, насильно, я вообще о нем забывал. Но мой дядя настаивал, чтобы я поручил вам представлять мои интересы, и ему в угоду я это сделал. После этого, естественно, можно было ожидать, что я буду еще меньше тяготиться процессом, ведь для того и передают адвокату защиту своих интересов, чтобы свалить с себя заботы и хотя бы отчасти забыть о процессе. Но все вышло наоборот. Никогда еще я столь-

ко не тревожился из-за процесса, как с того момента, когда вы взяли на себя защиту моих интересов. До этого я был один, ничего по своему делу не предпринимал, да и почти что его не чувствовал, а потом у меня появился защитник, все шло к тому, чтобы что-то сдвинуть с места, и в непрерывном, все возрастающем напряжении я ждал, что вы наконец вмешаетесь, но вы ничего не делали. Правда, вы мне сообщили о суде много такого, чего мне, наверно, никто другой рассказать бы не мог. Но теперь, когда процесс форменным образом подкрадывается исподтишка, мне этого недостаточно.— К. оттолкнул кресло и встал, выпрямившись во весь рост, заложив руки в карманы.

— На известной стадии процесса,— сказал адвокат спокойно и негромко,— ничего нового, как показывает практика, не происходит. Сколько клиентов на этой стадии процесса стояли передо мной в той же позе, что и вы, и говорили то же самое!

— Это значит,— сказал К.,— что все они, эти люди, были так же правы, как прав я. Ваши возражения меня не убедили.

— Я вам и не собирался возражать,— сказал адвокат,— я только хотел бы добавить, что ожидал от вас более глубоких суждений, тем паче что я дал вам возможность гораздо глубже заглянуть в судопроизводство и в мои действия, чем обычно дают своим клиентам. А теперь остается только признать, что, несмотря на все, вы не питаете ко мне нужного доверия. И мне это никак не помогает.

Как он унижался перед К., этот адвокат! И никакого профессионального самолюбия. А ведь тут-то оно и должно было бы проявиться в полную силу. Почему он так себя вел? Адвокатская практика у него, по всей видимости, была большая, человек он был богатый, значит, отказ одного клиента и потеря заработка для него никакой роли не играли. Кроме того, как человек слабого здоровья, он должен был бы и сам стараться немного разгрузиться в работе. Но вопреки всему он крепко держался за К. Почему? Из личной приязни к дяде? Или процесс К. действительно казался ему таким необычным, что он надеялся отличиться благодаря ему? Но перед кем? Перед К. или же — не исключена и эта возможность! — перед своими приятелями из суда? По его виду ничего нельзя было определить, как пристально К. его ни разглядывал. Можно было подумать, что он нарочно сделал

такое непроницаемое лицо и выжидает, какое впечатление произведут его слова. Но он истолковал молчание К., видимо, в благоприятном для себя смысле и опять заговорил:

— Вы, наверно, заметили, что при весьма обширной канцелярии у меня нет никаких помощников. В прежние времена было иначе. Тогда на меня работали несколько молодых юристов, но теперь я работаю один. Отчасти это связано с изменением моей практики, с тем, что я ограничиваюсь главным образом ведением таких процессов, как ваш, отчасти же с тем, что я глубже проник в суть таких дел. Я понял, что нельзя поручать эту работу другим, если я не хочу грешить перед моими клиентами и перед взятой на себя задачей. Но решение взять всю работу на себя, конечно, имело свои последствия: пришлось отказывать почти всем и браться только за те дела, к которым у меня лежало сердце, впрочем, даже тут, поблизости, существует достаточно прилипал, готовых подбирать любые крохи, какие я им брошу. В довершение ко всему я заболел от переутомления. Но, несмотря на все, я ни разу не пожалел о принятом решении; возможно даже, что я должен был бы отстранить от себя еще больше дел, но то, что я всецело отдался взятым на себя процессам, оказалось необходимым и вполне оправдывалось достигнутыми успехами. В одном документе я как-то прочел прекрасное определение различия между ведением обычных гражданских дел и ведением дел такого рода. Там было сказано: в первом случае адвокат доводит своего клиента до приговора суда на веревочке, во втором же он сразу взваливает клиента себе на плечи и несет, не снимая, до самого приговора и даже после него. Так оно и есть. Впрочем, я был не совсем прав, говоря, что никогда не раскаивался в том, что взвалил на себя такую огромную работу. Если, как это случилось с вами, мою работу отмечают столь безоговорочно, я начинаю раскаиваться.

Однако весь этот разговор скорее раздражал, чем убеждал К. Ему казалось, что уже по одному тону адвоката можно угадать, что ждет его, если он сдастся: опять пойдет обнадеживание, начнутся намеки на успешную работу над ходатайством, на более благоприятное расположение духа судебных чиновников, но и, разумеется, на огромные трудности, препятствующие работе,— словом, все до тошноты знакомые приемы будут использо-

ваны, чтобы обмануть К. неопределенными надеждами и измучить неопределенными угрозами.

Надо этому решительно положить конец, подумал он и сказал:

— А что вы предпримете по моему делу, если останетесь моим поверенным?

Адвокат не запротестовал даже при такой обидной для него постановке вопроса и ответил:

— Буду продолжать то, что я уже предпринял для вас.

— Так я и знал,— сказал К.— Не будем же тратить лишних слов.

— Нет, я сделаю еще одну попытку,— сказал адвокат, будто все то, из-за чего волновался К., случилось с ним самим, а не с К.— Я, видите ли, подозреваю, что не только ваша неверная оценка моей правовой помощи, но и все ваше поведение вызвано тем, что с вами, хотя вы и обвиняемый, до сих пор обращались слишком хорошо или, выражаясь точнее, слишком небрежно, с напускной небрежностью. Но и на это есть свои причины; иногда оковы лучше такой свободы. Но я все же хотел бы вам показать, как обращаются с другими обвиняемыми; может быть, для вас это будет полезным уроком. Сейчас я вызову к себе Блока. Откройте дверь и сядьте сюда, к ночному столику!

— С удовольствием! — сказал К. и сделал так, как велел адвокат: поучиться он всегда был готов. Но, чтобы на всякий случай застраховаться, он спросил адвоката: — Но вы приняли к сведению, что я вас освобождаю от обязанности представлять меня?

— Да,— сказал адвокат,— но вы можете сегодня же изменить свое решение.

Он снова лег на подушки, натянул перину до подбородка и, отвернувшись к стене, позвонил.

На звонок сразу вошла Лени, она быстро огляделась, пытаясь понять, что произошло; то, что К. мирно сидит у постели адвоката, ее, очевидно, успокоило. С улыбкой она кивнула К. в ответ на его неподвижный взгляд.

— Приведи Блока,— сказал адвокат.

Но, вместо того чтобы за ним пойти, она просто подошла к двери и крикнула:

— Блок! К адвокату! — И, видя, что адвокат отвернулся к стене и ни на что не обращает внимания, она проскользнула за кресло К.

С этой минуты она не оставляла его в покое: то перегнется к нему через спинку кресла, то обеими руками погладит— правда, очень осторожно и нежно— его волосы или проведет ладонью по щекам. В конце концов К. решил прекратить это и крепко взял ее за руку: Сперва она пыталась отнять руку, но потом смирилась.

Блок явился по первому зову и остановился в дверях, словно раздумывая, войти ему или нет. Он высоко поднял брови и наклонил голову, прислушиваясь, не повторят ли приказ пройти к адвокату. К. мог бы подбодрить его, подозвать, но он решил окончательно порвать не только с адвокатом, но и вообще со всем, что происходило в этой квартире, и поэтому держался безучастно. Лени тоже молчала. Заметив, что его по крайней мере никто не гонит, Блок на цыпочках вошел в комнату, судорожно стиснув руки за спиной. Для возможного отступления он оставил двери открытыми. На К. он не смотрел, все внимание его было устремлено на высокую перину, под которой даже не видно было адвоката; тот совсем прижался к стене.

Из-под перины послышался голос.

— Блок тут? — спросил он.

От этого вопроса Блок, уже подошедший довольно близко, зашатался так, будто его толкнули в грудь, а потом в спину, скрючился в поклоне и проговорил:

— К вашим услугам.

— Чего тебе надо? — спросил адвокат.— Опять пришел некстати.

— Но меня как будто звали? — спросил Блок не столько у адвоката, сколько у себя самого, и, вытянув руки, словно для защиты, уже приготовился бежать.

— Да, звали,— сказал адвокат.— И все равно ты пришел некстати.— И, помолчав, добавил: — Ты всегда приходишь некстати.

С той минуты, как адвокат заговорил, Блок уже не смотрел на кровать, он уставился куда-то в угол и только вслушивался в голос, как будто боялся, что не перенесет ослепительного вида того, кто с ним разговаривает. Но и слышать адвоката было трудно, потому что он говорил в стенку и притом очень быстро и тихо.

— Вам угодно, чтобы я ушел? — спросил Блок.

— Раз уж ты тут — оставайся! — сказал адвокат.

Можно было подумать, что адвокат не то чтобы ис-

полнил желание Блока, а, наоборот, пригрозил его выпороть, что ли, потому что при этих словах Блок задрожал всем телом.

— Вчера я был у третьего судьи, — сказал адвокат, — у моего друга, и постепенно навел разговор на тебя. Хочешь знать, что он сказал?

— О да, прошу вас! — сказал Блок. Но так как адвокат ответил не сразу, Блок опять повторил свою просьбу и совсем согнулся, будто хотел стать на колени. Но тут К. закричал на него.

— Что ты делаешь? — крикнул он. Лени хотела остановить его, тогда он схватил ее и за другую руку. Отнюдь не в порыве любви, он крепко сжал ее руки, и Лени, вздыхая, попыталась их отнять. А за выходку К. расплатился Блок, потому что адвокат сразу спросил его:

— Кто твой адвокат?

— Вы! — ответил Блок.

— А кроме меня кто еще? — спросил адвокат.

— Кроме вас никого, — ответил Блок.

— Так ты никого и не слушай! — сказал адвокат.

Блок понял его и, сердито взглянув на К., решительно затряс головой. Если бы перевести этот жест на слова, они прозвучали бы грубой бранью. И с таким человеком К. собирался дружески обсуждать свое дело!

— Не буду тебе мешать, — сказал К., откидываясь в кресле. — Ползай на брюхе, становись на колени — словом, делай что хочешь. Я вмешиваться не буду.

Но у Блока, как видно, осталось еще какое-то самолюбие, во всяком случае по отношению к К., потому что он надвинулся на него, размахивая кулаками, и, еле сдерживая голос из страха перед адвокатом, закричал:

— Не смейте так со мной разговаривать! Это недопустимо! За что вы меня обижаете? Да еще при господине адвокате! Тут нас обоих, и меня и вас, терпят только из милости! Вы ничуть не лучше меня, вы такой же обвиняемый, и против вас тоже ведется процесс! А если вы считаете себя важным господином, так я такой же важный, может, еще важнее вас! И потрудитесь со мной так не разговаривать, да, вот именно! Может, вы считаете себя привилегированным оттого, что сидите тут, в кресле, а я должен, как вы изволили выразиться, ползать на брюхе? Так разрешите мне напомнить вам старую судебную поговорку: для обвиняемого движение лучше покоя,

потому что если ты находишься в покое, то, может быть, сам того не зная, уже сидишь на чаше весов вместе со всеми своими грехами.

К. ничего не сказал, только тупо уставился на этого обезумевшего человека. Как он изменился в течение одного только часа! Неужели процесс так его издергал, что он потерял способность понимать, кто ему друг и кто враг? Неужели он не видит, что адвокат нарочно унижает его, и на этот раз лишь с одной целью — похвалиться своей властью перед К. и, быть может, этим подчинить и его? Но если Блок не способен это понять или же так боится адвоката, что даже понимание ему не помогает, то как он ухитряется, как осмеливается обманывать адвоката, скрывать, что кроме него он пригласил еще других адвокатов? И как он осмеливается нападать на К., зная, что тот в любую минуту может выдать его тайну?

Но Блок и не на то осмелился; он подошел к постели адвоката и стал жаловаться на К.

— Господин адвокат,— сказал он,— вы слышали, как этот человек со мной разговаривает? Ведь его процесс длится какие-то часы, а он уже хочет поучать меня — меня, чей процесс тянется уже пять лет. Да еще бранится! Ничего не знает, а бранится, а ведь я в меру своих слабых силенок точно выучил, усвоил, чего требуют и приличие, и долг, и судебные традиции.

— Не обращай ни на кого внимания,— сказал адвокат,— делай, как считаешь правильным.

— Непременно,— сказал Блок, словно сам себя подбадривая, и, оглянувшись, встал на колени перед самой кроватью.— Я уже на коленях, мой адвокат! — сказал он. Но адвокат промолчал. Осторожно, одной рукой, Блок погладил перину.

В наступившей тишине Лени вдруг сказала, высвобождая руки из рук К.:

— Пусти. Ты мне делаешь больно. Я хочу к Блоку.

Она отошла и присела на край постели. Блок страшно обрадовался ей и стал немymi жестами и мимикой просить ее заступиться за него перед адвокатом. Очевидно, ему до зарезу нужно было выудить у адвоката какие-то сведения — возможно, лишь для того, чтобы их использовали другие адвокаты. Должно быть, Лени точно знала, какой подход нужен к адвокату, она глазами показала Блоку на его руку и сделала губы трубочкой, словно для поцелуя. Блок тут же чмокнул

адвоката в руку и по знаку Лени еще и еще раз приложился к руке. Но адвокат упорно молчал. Лени наклонилась к адвокату, перегибаясь через кровать, так что обрисовалось все ее здоровое, красивое тело, и, низко склоняясь к его голове, стала гладить его длинные седые волосы. Тут ему уже нельзя было промолчать.

— Не решаюсь ему сообщить,— сказал адвокат и слегка повернул голову — может быть, для того, чтобы лучше почувствовать прикосновения Лени. Блок исподтишка прислушивался, опустив голову, словно преступал какой-то запрет.

— Отчего же ты не решаешься? — спросила Лени.

У К. было такое чувство, словно он слышит заученный диалог, который уже часто повторялся и будет повторяться еще не раз и только для Блока никогда не теряет новизны.

— А как он себя вел сегодня? — спросил адвокат вместо ответа.

Перед тем как высказать свое мнение, Лени посмотрела на Блока и помедлила, глядя, как он умоляюще воздел к ней сложенные руки. Наконец она строго кивнула, обернулась к адвокату и сказала:

— Он был очень послушен и прилежен.

И это пожилой коммерсант, бородатый человек, умолял девчонку дать о нем хороший отзыв! Может быть, у него и есть какие-то задние мысли, но все равно никакого оправдания в глазах своего ближнего он не заслуживал. Эта оценка даже зрителя унижала. Значит, таков был метод адвоката (и какое счастье, что К. попал в эту атмосферу ненадолго!) — довести клиента до полного забвения всего на свете и заставить его тащиться по ложному пути в надежде дойти до конца процесса. Да разве Блок клиент? Он собака адвоката! Если бы тот велел ему залезть под кровать, как в собачью будку, и лаять оттуда, он подчинился бы с наслаждением. К. слушал внимательно и сосредоточенно, словно ему поручили точно воспринять и запомнить все, что тут говорилось, и доложить об этом в какой-то высшей инстанции.

— Чем же он занимался весь день? — спросил адвокат.

— А я его заперла в комнате для прислуги, чтобы он мне не мешал работать,— сказала Лени.— Он всегда там сидит. Время от времени я заглядывала в оконце, смот-

рела, что он делает. А он стоит на коленях на кровати, разложил на подоконнике документы, которые ты ему выдал, и все читает, читает. Мне это очень пришлось по душе: ведь окошко выходит во двор, в простенок, оттуда и свету почти нет. А Блок сидит и читает. Сразу видно, какой он покорный.

— Рад слышать,— сказал адвокат.— А он понимает, что читает?

Во время их разговора Блок непрестанно шевелил губами, очевидно заранее составляя ответы, которые надеялся услышать от Лени.

— Ну, на этот вопрос,— сказала Лени,— я, конечно, в точности ответить не могу. Во всяком случае, я видела, что читает он очень старательно. Целый день перечитывает одну и ту же страницу и все водит и водит пальцем по строкам. Заглянешь к нему, а он вздыхает; видно, чтение ему очень трудно дается. Должно быть, документы ты ему дал очень непонятные.

— О да! — сказал адвокат.— Они и вправду нелегкие. Да я и не верю, что он в них разбирается. Я их для того только и дал, чтобы он понял, какую труднейшую борьбу мне приходится вести за его оправдание. А ради кого я веду эту трудную борьбу? Ради... нет, просто смешно сказать — ради Блока! Пусть он научится это ценить. А он занимался без перерыва?

— Да, почти без перерыва,— ответила Лени.— Только раз попросил попить. Я ему подала стакан воды через оконце. А в восемь часов я его выпустила и немножко покормила.

Блок покосился на К., словно ему давали похвальные отзывы и они не могли не произвести впечатления. Повидимому, в нем пробудилась надежда, он двигался свободнее, даже поерзал на коленях по полу.

Тем резче показалась перемена: он буквально окаменел от слов адвоката.

— Ты все его хвалишь,— сказал адвокат,— а мне от этого еще труднее говорить. Дело в том, что судья неблагоприятно отозвался и о самом Блоке, и о его процессе.

— Неблагоприятно? — переспросила Лени.— Как же это возможно?

Блок посмотрел на нее таким напряженным взглядом, словно верил, что она еще и сейчас способна обратит в его пользу слова, давно уже сказанные судьей.

— Да, неблагоприятно,— сказал адвокат.— Его даже передернуло, когда я заговорил о Блоке. «Не говорите со мной об этом Блоке!» — сказал он. «Но ведь Блок мой клиент»,— сказал я. «Вами злоупотребляют»,— сказал он. «Но я не считаю это дело безнадежным». — «Да, вами злоупотребляют»,— повторил он. «Не думаю,— сказал я.— Блок прилежно занимается процессом и всегда в курсе дела. Он почти что живет у меня, чтобы постоянно быть наготове. Такое старание редко встретишь. Правда, лично он весьма неприятен, привычки у него отвратительные, он нечистоплотен, но к своему процессу относится безупречно». Я нарочно сказал «безупречно» — разумеется, я преувеличивал. На это он мне говорит: «Блок просто хитер. Он накопил большой опыт и умеет затеять волокиту. Но его невежество во много раз превышает его хитрость. Что бы он сказал, если бы узнал, что его процесс еще не начинался, если бы ему сказали, что даже звонок к началу процесса еще не прозвонил?» Спокойно, Блок! — сказал адвокат, когда Блок попытался подняться на дрожащих коленях, очевидно с намерением просить объяснения.

И тут адвокат впервые решил дать объяснение непосредственно самому Блоку. Он посмотрел усталыми глазами не то на Блока, не то мимо него, но Блок под этим взглядом снова медленно опустился на колени.

— Для тебя мнение судьи никакого значения не имеет,— сказал адвокат,— и не пугайся при каждом звуке. Если ты начнешь так себя вести, я тебе вообще ничего передавать не буду. Нельзя слова сказать, чтобы ты не делал такие глаза, будто тебе вынесли смертный приговор! Постыдился бы моего клиента! К тому же ты подрываешь доверие, которое он ко мне питает. Да и что тебе, в сущности, нужно? Ты пока еще жив; пока еще находишься под моим покровительством. Что за бессмысленные страхи! Где-то ты вычитал, что бывают случаи, когда приговор можно вдруг услышать неожиданно, от кого угодно, когда угодно. Конечно, это правда, хотя и с некоторыми оговорками, но правда и то, что мне противен твой страх и в нем я вижу недостаток необходимого доверия. А что я, собственно, сказал такого? Повторил высказывание одного из судей. Но ты же знаешь, что вокруг всякого дела создается столько разных мнений, что невозможно разобраться. Например, этот судья считает началом процесса один момент, а я — совершенно другой. Просто разница во мнениях, ничего более. На оп-

ределенной стадии процесса, по старинному обычаю, раздается звонок. По мнению этого судьи, процесс начинается именно тогда. Не стану тебе излагать сейчас все, что опровергает эту точку зрения, да ты все равно и не поймешь, скажу только, что возражений много.

Блок смущенно пощипывал меховой коврик у кровати; как видно, его так напугало мнение судьи, что он на время забыл свое унижение перед адвокатом и помнил только о себе, со всех сторон обдумывая слова судьи.

— Блок! — сказала Лени предостерегающе и, взяв его за ворот, подтянула кверху. — Не щипли мех, слушай, что тебе говорит адвокат,

Глава девятая

В СОБОРЕ

К. получил задание: надо было показать некоторые памятники искусства приезжему итальянцу, связанному давнишней деловой дружбой с банком, где его чрезвычайно ценили. В другое время К., без сомнения, счел бы такое задание весьма почетным, но теперь, когда сохранять свой престиж в банке ему стоило огромного напряжения, он согласился с неохотой. Каждый час, проведенный вне стен кабинета, был для него сплошным огорчением, хотя и служебное время он проводил уже далеко не так продуктивно, как раньше. Иногда часы тянулись в какой-то жалкой видимости настоящей работы, но тем сильнее он бывал озабочен, когда приходилось отсутствовать. Тогда ему казалось, что он видит, как заместитель директора, который и без того всегда его выслеживал, заходит к нему в кабинет, садится за его стол, роется в его бумагах, принимает клиентов, с которыми К. уже годами связан и даже дружен, и восстанавливает их против него, да еще, пожалуй, находит у него какие-то ошибки, — а в последнее время К. чувствовал, как ему со всех сторон угрожают эти ошибки и он ничем не может их избежать. И если ему теперь поручали как-нибудь даже весьма почетные деловые визиты и небольшие поездки — а в последнее время, может быть чисто случайно, такие поручения подвораживались все чаще, —

то ему постоянно мерещилось, будто его нарочно хотят удалить на время из кабинета, чтобы проверить его работу, или, во всяком случае, считают, что можно легко обойтись и без него.

От многих поручений можно было отказаться без труда, однако на это он не решался; если его подозрения имели хоть малейшее основание, то, отказываясь, он как бы признавался в своих страхах. Поэтому он с видимым безразличием принимал все такие поручения и однажды даже умолчал про серьезную простуду, когда нужно было отправиться на два дня в очень нелегкую служебную командировку, чтобы, упаси бог, ее не отменили, сославшись на скверную осеннюю погоду и дожди.

И вот, вернувшись из этой поездки с невыносимой головной болью, он узнал, что завтра ему придется сопровождать итальянского гостя. Сблазни отказаться хотя бы на этот раз был необычайно велик, тем более что придуманное для него поручение не было непосредственно связано с его служебными обязанностями. Безусловно, для дела было весьма важно проявить гостеприимство по отношению к приезжему, но для К. это никакого значения не имело, он отлично знал, что удержаться на службе он может только благодаря своим деловым успехам, а если это не удастся, то все остальное бесполезно, даже если он неожиданно очарует этого итальянца; ему не хотелось ни на день отрываться от рабочей обстановки — слишком велик был страх, что его больше не допустят к работе, и, хотя он отлично сознавал, насколько этот страх преувеличен, душа у него была не на месте. Однако в данном случае было почти невозможно найти благовидный предлог для отказа. К. хоть и не очень хорошо, но вполне достаточно владел итальянским языком, а главное, с юных лет разбирался в вопросах искусства, а в банке этим его познаниям придали слишком большое значение, узнав, что К. некоторое время, правда из чисто деловых соображений, был членом местного общества охраны памятников старины. А так как итальянец слыл любителем искусства, то роль гида, само собой понятно, выпала на долю К.

Утро было дождливое, очень ветреное, когда К., заранее раздражаясь при мысли о предстоящем дне, уже в семь утра явился в банк, чтобы выполнить хотя бы часть работы, пока не помешает приход гостя. Он очень устал,

просидев до поздней ночи над итальянской грамматикой, чтобы немного подготовиться; сейчас его тянуло к окну, где он часто проводил больше времени, чем у письменного стола, но он одолел искушение и сел за работу. К сожалению, вскоре вошел курьер и доложил, что господин директор послал его взглянуть, пришел ли господин К. и если он уже тут, то не будет ли он любезен зайти в приемную — итальянский гость уже прибыл.

— Сейчас иду, — сказал К., сунул в карман маленький словарик, взял под мышку альбом городских достопримечательностей, приготовленный в подарок гостю, и пошел через кабинет заместителя директора в директорскую приемную. Он был счастлив, что так рано явился на службу и сразу оказался в распоряжении директора, чего, вероятно, никто не ожидал. Разумеется, кабинет заместителя еще пустовал, словно стояла глубокая ночь; должно быть, директор и за ним посылал курьера, чтобы просить его в приемную, а его на месте не оказалось. Когда К. вошел в приемную, ему навстречу из глубины кресел поднялись два господина. Директор приветливо улыбался, видимо очень обрадованный его приходом, и сразу представил его итальянцу; тот крепко пожал К. руку и с улыбкой сказал что-то про ранних пташек. К. не сразу понял, что хочет сказать гость, да и слово было какое-то незнакомое, и К. только потом угадал его смысл. К. ответил какой-то гладкой фразой, итальянец опять рассмеялся и несколько раз погладил свои пышные, иссиня-черные с проседью усы. Усы были явно надушены, даже хотелось подойти поближе и понюхать. Когда все снова сели и завели короткую вступительную беседу, К. вдруг с испугом заметил, что понимает итальянца только по временам. Когда тот говорил совсем спокойно, К. понимал почти все, но это было редко; по большей части речь гостя лилась сплошным потоком, и он при этом радостно потряхивал головой. А главное, в увлечении он все время переходил на какой-то диалект, в котором К. даже не улавливал итальянских слов. Зато директор не только все понимал, но и отвечал на этом же диалекте — впрочем, К. должен был это предвидеть, потому что итальянец был родом из Южной Италии, а директор прожил там несколько лет. Во всяком случае, К. понял, что у него почти не будет возможности объясниться с итальянцем: по-французски тот говорил так же невнятно, а к тому же усы закрывали ему рот, иначе по

движению губ можно было бы легче понять его. К. предвидел много неприятностей и пока что оставил всякие попытки понять итальянца, да в присутствии директора, который понимал его с легкостью, это было бы ненужным напряжением, и К. ограничился тем, что с некоторой досадой наблюдал, как гость непринужденно и вместе с тем легко откинулся в глубоком кресле, как он то и дело одергивает свой коротенький, ловко скроенный пиджачок и вдруг, высоко подняв локти и свободно шевеля кистями рук, пытается изобразить что-то, чего К. никак не мог понять, хотя весь подался вперед, не спуская глаз с рук итальянца. Но в конце концов от этого безучастного, совершенно машинального созерцания чужой беседы К. почувствовал прежнюю усталость и, к счастью вовремя, с испугом поймал себя на том, что в рассеянности хотел было встать, повернуться и выйти вон. Наконец итальянец взглянул на часы и вскочил с места. Попрощавшись с директором, он так близко подошел к К., что тому пришлось отодвинуться, чтобы встать. Директор, заметив, как растерялся К. от этого итальянского диалекта, вмешался в разговор, да так умно и деликатно, что казалось, будто он только подает незначительные советы, хотя на самом деле он вкратце переводил для К. все то, что говорил неугомонный итальянец, перебивавший его на каждом слове. Таким образом К. узнал, что итальянцу непременно надо сделать какие-то дела и, хотя у него, к сожалению, очень мало времени, он ни в коем случае не намерен в спешке осматривать все достопримечательности и собирается, если только К. даст согласие — а решать должен именно он, — осмотреть только один собор, но зато как можно подробнее. Он будет чрезвычайно счастлив обозревать этот собор в сопровождении столь ученого и столь любезного спутника — так он выразился про К., который из всех сил старался не слушать итальянца и на лету схватывать объяснения директора, — и он просит К., если только ему это удобно, встретиться в соборе примерно часа через два, то есть около десяти. Сам он надеется к этому времени уже освободиться и прибыть туда. К. ответил как полагалось, итальянец пожал руку директору, потом К., потом снова директору и пошел к двери, уже почти не оборачиваясь к провожавшим его директору и К., но все еще не переставая говорить. К. еще немного пробыл у директора — тот сегодня выглядел очень плохо. Директору казалось, что он в чем-то должен извиниться перед

К., и он сказал дружески, стоя с ним рядом, что сначала собирался сам сопровождать итальянца, но потом — причины он объяснять не стал — решил лучше послать К. И пусть К. не смущается, если не сразу будет понимать итальянца, это скоро придет, а если он даже многого не поймет, то это тоже не беда; этому итальянцу вовсе не так важно, поймут его или нет. Да и кроме того, директор не ожидал, что К. так хорошо знает итальянский: без сомнения, со своей задачей он справится отлично.

На этом он отпустил К. Все оставшееся время К. потратил на выписывание из словаря трудных слов, которые могли ему понадобиться при осмотре собора. Работа была на редкость нудная, а тут еще курьеры проносили почту, чиновники заходили за справками и, видя, что К. занят, останавливались в дверях, но не уходили, пока К. не выслушивал их. Заместитель директора тоже не упустил случая помешать К., он нарочно заходил, брал из рук К. словарь и явно без всякой надобности перелистывал его, а когда двери приоткрывались, клиенты, ждавшие в приемной, появлялись из полутьмы и робко кланялись; видно, они хотели обратить на себя внимание и не были уверены, замечают ли их оттуда, в то время как сам К., оказавшийся как бы центром этого водоворота, старался составлять фразы, искал нужные слова в словаре, выписывал их, упражнялся в произношении и, наконец, пытался выучить их наизусть. Но его обычно хорошая память как будто совсем ему изменила, и в нем то и дело вспыхивала такая злоба к итальянцу, из-за которого приходилось столько мучиться, что он совал словарь под бумаги с твердым намерением больше не готовиться; но затем, сообразив, что не может же он молча ходить с итальянцем по собору и обозревать произведения искусства, как немой, он снова, с еще большей злобой, вытаскивал словарь.

В половине десятого, когда он уже собирался уходить, зазвонил телефон: Лени, пожелав ему доброго утра, спросила, как он себя чувствует. К. торопливо поблагодарил и сказал, что сейчас он разговаривать не может, потому что торопится в собор.

— Как в собор? — спросила Лени.

— Так, в собор.

— А зачем тебе в собор? — спросила Лени.

К. попытался вкратце объяснить ей, в чем дело, но не успел он начать, как Лени его перебила.

— Тебя затравили! — сказала она.

К. не выносил неожиданного и непрошеного сочувствия, поэтому он коротко простился с Лени, но, уже кладя трубку, все же сказал не то себе, не то девушке, которая была далеко и уже не могла его слышать:

— Да, меня затравили!

Было уже поздно, могло случиться, что он опоздает. В последнюю минуту, прежде чем сесть в такси, он спохватился, что не успел вручить итальянцу альбом, и захватил его с собой. Он держал альбом на коленях и все время, пока ехали, нетерпеливо барабанил по нему пальцами. Дождь почти перестал, но было сыро, холодно и сумрачно; наверно, в соборе ничего не будет видно, и, уж конечно, от стояния на холодных плитах простуда у К. еще больше обострится.

На соборной площади было пусто. К. вспомнил, как еще в детстве замечал, что в домах, замыкавших эту тесную площадь, шторы почти всегда бывают спущены. Правда, в такую погоду это было понятнее, чем обычно. В соборе тоже было совсем пустынно, вряд ли кому-нибудь могло взбрести в голову прийти сюда в такое время. К. обежал оба боковых придела и встретил только какую-то старуху, закутанную в теплый платок; она стояла на коленях перед мадонной, не спуская с нее глаз. Издали он еще увидел служку, но тот, прихрамывая, исчез в стенной дверце. К. пришел точно вовремя: когда он входил, пробило десять, но итальянец еще не явился. К. вернулся к главному входу, нерешительно постоял там и потом, несмотря на дождь, обошел весь собор снаружи — посмотреть, не ждет ли его итальянец у одного из боковых входов. Но там никого не было. Может быть, директор неправильно понял, какое время тот назначил? Да разве можно было понять этого типа? Во всяком случае, К. должен был подождать его хотя бы с полчаса. Так как он очень устал, он вернулся в собор и, увидев на ступеньке какой-то обрывок коврика, пододвинул его носком себе под ноги и, плотнее закутавшись в пальто, поднял воротник и сел на скамью. Чтобы рассеяться, он открыл альбом, полистал его немного, но пришлось и от этого отказаться: стало так темно, что даже в соседнем приделе К. ничего не мог разглядеть.

Вдали, на главном алтаре, большим треугольником горели свечи. К. не мог наверняка сказать, видел ли он их раньше. Может быть, их только что зажгли. Служки ходят, по должности, неслышно, их и не заметишь. Когда

К. случайно оглянулся, он увидел, что неподалеку от него, у одной из колонн, горит высокая толстая свеча. И хотя это было очень красиво, но для освещения алтарной живописи, размещенной в темноте боковых приделов, такого света было недостаточно, он только усугублял темноту. Итальянец поступил хотя и невежливо, но благоразумно, не явившись в собор, все равно ничего не было видно, пришлось бы осматривать картины по кусочкам при свете карманного фонарика К. Чтобы испытать, как это будет, К. прошел к одной из боковых капелл, поднялся на ступеньки к невысокой мраморной ограде и, перегнувшись через нее, осветил фонариком картину в алтаре. Лампадка, колеблясь перед картиной, только мешала. Первое, что К. отчасти увидел, отчасти угадал, была огромная фигура рыцаря в доспехах, занимавшая самый край картины. Рыцарь опирался на меч, вонзенный в голую землю, лишь кое-где на ней пробивались редкие травинки. Казалось, что этот рыцарь внимательно за чем-то наблюдает. Странно было, что он застыл на месте без всякого движения. Очевидно, он назначен стоять на страже. К., уже давно не выдавший картин, долго разглядывал рыцаря, непрестанно моргая от напряжения и от невыносимого зеленоватого света фонарика. Когда он осветил фонариком всю остальную картину, он увидел положение во гроб тела Христова, в обычной трактовке; к тому же картина была довольно новая. Он сунул фонарик в карман и сел на прежнее место.

Ждать итальянца уже не стоило, но на улице явно лил сильный дождь, и, так как в соборе, сверх ожидания, было не слишком холодно, К. решил пока что переждать тут. Рядом с ним возвышалась главная кафедра, на круглом навесе полулежали два золотых контурных креста, которые соприкасались верхними концами. С внешней стороны и перила и переход к несущей колонне были покрыты резьбой в виде зеленого плюща, ее поддерживали ангелочки, то смеющиеся, то спокойные. К. подошел к кафедре, обошел ее со всех сторон: каменная резьба была необычайно искусной, казалось, что густые тени пойманы и закреплены и в резьбе, и на фоне.

К. засунул руку в темное углубление и осторожно ощупал камень. Раньше он не знал о существовании такой кафедры. В эту минуту за скамьями соседнего ряда он случайно увидел церковного служку в черном сюрту-

ке с обвисшими складками, с табакеркой в левой руке. Он издали наблюдал за К. Чего ему надо? — подумал К. Разве у меня такой подозрительный вид? А может быть, он ждет чаевых? Но тут служка, видя, что К. его заметил, показал правой рукой с зажатой в пальцах щепоткой табаку куда-то в неопределенном направлении. К. не совсем понял, чего он хочет, подождал минуту, но служка все время куда-то показывал, подкрепляя свой жест энергичными кивками.

— Чего ему надо? — тихо проговорил К., не решаясь громко окликнуть его; но потом вытащил кошелек и, протиснувшись между скамьями, подошел к этому человеку.

Тот сразу отстранил его рукой, пожал плечами и заковылял прочь. Вот так же, торопливо ковыляя и подпрыгивая, К. в детстве пытался изображать скачку на конях. Видно, впал в детство, подумал К., теперь у него только и хватает ума, что служить в церкви. И как он останавливается, когда я останавливаюсь, как подкарауливает, пойду ли я дальше. К. с улыбкой прошел вслед за стариком по всему боковому приделу до главного алтаря. Старик продолжал куда-то указывать пальцем, но К. нарочно не оборачивался; по-видимому, старик только пытался отвлечь его, чтобы он не шел за ним по пятам. Наконец К. отстал от него — не хотелось особенно тревожить старика, да и было бы очень кстати на случай, если придет итальянец, показать ему и эту достопримечательность.

Войдя в главный придел, чтобы найти то место, где он оставил альбом, он вдруг увидел у колонны, недалеко от хоров, над алтарем, маленькую боковую кафедру из бледного голого камня. Кафедра была настолько мала, что издали казалась пустой нишей, куда забыли поставить статую святого. Проповеднику не хватило бы места и на шаг отступить от перил. Кроме того, каменный свод над кафедрой выступал очень далеко, и, хотя на нем не было никакой лепки, он шел настолько полого, что человеку среднего роста никак нельзя было выпрямиться, а пришлось бы стоять, перегнувшись через перила. Казалось, все было задумано нарочно для мучений проповедника, и нельзя было понять, зачем нужна эта кафедра, когда можно располагать главной, большой, столь искусно разукрашенной.

К., наверно, не заметил бы эту маленькую кафедру, если бы в ней не горела лампа, какие обычно зажигают

для проповедника перед проповедью. Неужели сейчас кто-то будет читать проповедь? Тут, в пустом соборе? К. поглядел на лесенку, которая вела на кафедру, лепясь к самой колонне; она была настолько узкой, что, казалось, служила не людям, а просто украшению колонны. Но тут К. растерянно улыбнулся, увидев, что у основания лесенки действительно стоял священник; положив руку на перильца, словно собираясь подняться на кафедру, он смотрел на К. Потом слегка кивнул, и К., осенив себя крестом, поклонился в ответ, хотя ему следовало бы поклониться первому. Священник круто повернулся и короткими быстрыми шагами поднялся на кафедру. Неужели сейчас начнется проповедь? По-видимому, церковный служака все-таки что-то соображал и хотел подтолкнуть К. к проповеднику, что было не лишнее в этой пустующей церкви. Правда, где-то у изображения мадонны стояла старуха, надо бы и ей подойти сюда. А если уж собираются начинать проповедь, почему перед этим не вступает орган? Но орган молчал, слабо поблескивая в темноте с высоты своего величия.

К. подумал, не удалиться ли ему поскорее. Если не уйти сейчас, то во время проповеди будет поздно, придется остаться, пока она не окончится, а он и так потерял сколько времени вне службы, ждать итальянца он больше не обязан. К. взглянул на часы: уже одиннадцать! Неужели сейчас начнется проповедь? Неужели К. один может заменить всех прихожан? А если бы он был иностранцем, который только хотел осмотреть собор? В сущности, для того он сюда и пришел. Бессмысленно было даже предполагать, что может начаться проповедь — сейчас, в одиннадцать утра, будним днем, при ужасающей погоде. Должно быть, священнослужитель — а он, несомненно, был священником, этот молодой человек с гладким смуглым лицом, — подымался на кафедру только затем, чтобы потушить лампу, зажженную по ошибке.

Но все вышло не так. Священник проверил лампу, подвернул фитиль еще немного, потом медленно наклонился к балюстраде и обеими руками обхватил выступающий край. Он простоял так некоторое время, не поворачивая головы и только окидывая взглядом церковь. К. отступил далеко назад и теперь стоял, облокотившись на переднюю скамью. Мельком он увидел, как где-то — он точно не заметил где — старый церковный служака, сгорбившись, мирно прикорнул, словно выполнив важ-

ную задачу. И какая тишина наступила в соборе! Но К. вынужден был ее нарушить, он вовсе не собирался оставаться здесь; если же священник по долгу службы обязан читать проповедь в определенные часы, не считаясь с обстоятельствами, то он прочтет ее и без участия К., тем более что присутствие К. ни в чем успеху этой проповеди, разумеется, способствовать не будет.

И К. медленно двинулся с места, ощупью, на цыпочках прошел вдоль скамьи, выбрался в широкий средний проход и пошел по нему без помехи; только каменные плиты звенели даже от легкой поступи, и под высокими сводами слабо, но мерно и многократно возникало гулкое эхо шагов. К. чувствовал себя каким-то потерянным, двигаясь меж пустых скамей, да еще под взглядом священнослужителя, и ему казалось, что величие собора почти невыносимо вынести обыкновенному человеку. Подойдя к своему прежнему месту, он буквально на ходу схватил оставленный там альбом. Он уже почти прошел скамьи и выбрался было на свободное пространство между ними и выходом, как вдруг впервые услышал голос священника. Голос был мощный, хорошо поставленный. И как он прогремел под готовыми его принять сводами собора! Но не паству звал священник, призыв прозвучал отчетливо, уйти от него было некуда:

— Иозеф К.!

К. остановился, вперив глаза в землю. Пока еще он был на свободе, он мог идти дальше и выскользнуть через одну из трех темных деревянных дверей — они были совсем близко. Можно сделать вид, что он ничего не разобрал, а если и разобрал, то не желает обращать внимания. Но стоило ему обернуться, и он попался: значит, он отлично понял, что оклик относится к нему, и сам идет на зов. Если бы священник позвал еще раз, К. непременно ушел бы, но, сколько он ни ждал, все было тихо, и тут он немного повернул голову: ему хотелось взглянуть, что делает священник. А тот, как прежде спокойно, стоял на кафедре, но было видно, что он заметил движение К.

Это было бы просто детской игрой в прятки, если бы К. тут не обернулся окончательно, но он обернулся, и священник тотчас поманил его пальцем к себе. Все пошло в открытую, и К., отчасти из любопытства, отчасти из желания не затягивать дело, быстрыми, размаши-

стыми шагами подбежал к кафедре. У первого ряда скамей он остановился, но священнику это расстояние показалось слишком большим, он протянул руку и резко ткнул указательным пальцем вниз, прямо перед собой, у подножия кафедры. К. подошел так близко, что ему пришлось откинуть голову, чтобы видеть священника.

— Ты Йозеф К.! — сказал священник и как-то неопределенно повел рукой, лежавшей на балюстраде.

— Да,— сказал К. и подумал, как легко и открыто он раньше называл свое имя, а вот с некоторого времени оно стало ему в тягость, теперь его имя уже заранее знали многие люди, с которыми он встречался впервые, а как приятно было раньше: сначала представиться и только после этого завязать знакомство.

— Ты — обвиняемый,— сказал священник совсем тихо.

— Да,— сказал К.,— мне об этом дали знать.

— Значит, ты тот, кого я ищу,— сказал священник.— Я капеллан тюрьмы.

— Вот оно что,— сказал К.

— Я велел позвать тебя сюда,— сказал священник,— чтобы поговорить с тобой.

— Я этого не знал,— сказал К.,— и пришел я сюда показать собор одному итальянцу.

— Оставь эти посторонние мысли,— сказал священник.— Что у тебя в руках, молитвенник?

— Нет,— сказал К.,— это альбом местных достопримечательностей.

— Положи его! — сказал священник, и К. швырнул альбом так резко, что он раскрылся и пролетел по полу с измятыми страницами.— Знаешь ли ты, что с твоим процессом дело обстоит плохо? — спросил священник.

— Да, мне тоже так кажется,— сказал К.— Я прилагал все усилия, но пока что без всякого успеха. Правда, ходатайство еще не готово.

— А как ты себе представляешь конец? — спросил священник.

— Сначала я думал, что все кончится хорошо,— сказал К.,— а теперь и сам иногда сомневаюсь. Не знаю, чем это кончится. А ты знаешь?

— Нет,— сказал священник,— но боюсь, что кончится плохо. Считают, что ты виновен. Может быть, твой процесс и не выйдет за пределы низших судебных ин-

станций. Во всяком случае, покамест считается, что твоя вина доказана.

— Но ведь я невиновен. Это ошибка. И как человек может считаться виновным вообще? А мы тут все люди, что я, что другой.

— Правильно,— сказал священник,— но виновные всегда так говорят.

— А ты тоже предубежден против меня?— спросил К.

— Никакого предубеждения у меня нет,— сказал священник.

— Благодарю тебя за это,— сказал К.— А вот остальные, те, кто участвует в процессе, все предубеждены. Они влияют и на неучаствующих. Мое положение все ухудшается.

— У тебя неверное представление о сущности дела,— сказал священник.— Приговор не выносится сразу, но разбирательство постепенно переходит в приговор.

— Вот оно как,— сказал К. и низко опустил голову.

— Что же ты намерен предпринять дальше по своему делу?— спросил священник.

— Буду и дальше искать помощи,— сказал К. и поднял голову, чтобы посмотреть, как к этому отнесется священник.— Наверно, есть неисчислимы́е возможности, которыми я еще не воспользовался.

— Ты слишком много ищешь помощи у других,— неодобрительно сказал священник,— особенно у женщин. Неужели ты не замечаешь, что помощь эта не настоящая?

— В некоторых случаях, и даже довольно часто, я мог бы с тобой согласиться,— сказал К.,— но далеко не всегда. У женщин огромная власть. Если бы я мог повлиять на некоторых знакомых мне женщин и они, сообщая, поработали бы в мою пользу, я много бы добился. Особенно в этом суде — ведь там сплошь одни юбочники. Покажи следователю женщину хоть издали, и он готов перескочить через стол и через обвиняемого, лишь бы успеть ее догнать.

Священник низко наклонил голову к балюстраде. Казалось, только сейчас свод кафедры стал давить его. И что за скверная погода на улице! Там уже был не пасмурный день, там наступила глубокая ночь. Витражи огромных окон ни одним проблеском не освещали темную стену. А тут еще служба стал тушить свечи на главном алтаре одну за другой.

— Ты рассердился на меня? — спросил К. священника. — Видно, ты сам не знаешь, какому правосудию служишь.

Ответа не было.

— Конечно, я знаю только то, что меня касается, — продолжал К.

И вдруг священник закричал сверху:

— Неужели ты за два шага уже ничего не видишь?

Окрик прозвучал гневно, но это был голос человека, который видит, как другой падает, и нечаянно, против воли, подымает крик, оттого что и сам испугался.

Оба надолго замолчали. Конечно, священник не мог различить К. в темноте, сгустившейся внизу, зато К. ясно видел священника при свете маленькой лампы. Но почему же он не спускается вниз? Проповеди он все равно не читает, только сообщил К. сведения, которые, если подумать, могут скорее повредить, чем помочь ему. Правда, К. ничуть не сомневался в добрых намерениях священника. Вполне возможно, что он сойдет вниз и они обо всем договорятся; вполне возможно, что священник даст ему решающий и вполне приемлемый совет, например расскажет ему не о том, как можно повлиять на процесс, а о том, как из него вырваться, как обойти его, как начать жить вне процесса. Должна же существовать и такая возможность — в последнее время К. все чаще и чаще думал о ней. А если священник знает про эту возможность, то, быть может, если его очень попросить, он откроет ее, хотя и сам принадлежит к судейскому кругу, — накричал же он на К. вопреки своей кажущейся кротости, когда К. задел правосудие.

— Не сойдешь ли ты вниз? — спросил К. — Проповеди все равно уже читать не придется. Спустись ко мне.

— Да, теперь, пожалуй, можно и сойти, — сказал священник. Должно быть, он раскаивался, что накричал. Снимая лампу с крюка, он добавил: — Сначала я должен был поговорить с тобой отсюда, на расстоянии. А то на меня очень легко повлиять, и я забываю свои обязанности.

К. ждал его внизу, у лесенки. Священник еще со ступенек, на ходу протянул ему руку.

— Ты можешь уделить мне немного времени? — спросил К.

— Столько, сколько тебе потребуется! — сказал священник и передал К. лампу, чтобы он ее нес. И вблизи в нем сохранилась какая-то торжественность осанки.

— Ты очень добр ко мне,— сказал К., и они вместе стали ходить взад и вперед по темному приделу.— Из всех судейских ты — исключение. Я доверяю тебе больше, чем всем, кого знал до сих пор. С тобой я могу говорить откровенно.

— Не заблуждайся! — сказал священник.

— В чем же это мне не заблуждаться? — спросил К.

— Ты заблуждаешься в оценке суда,— сказал священник.— Вот что сказано об этом заблуждении во Введении к Закону. У врат Закона стоит привратник. И приходит к привратнику поселянин и просит пропустить его к Закону. Но привратник говорит, что в настоящую минуту он пропустить его не может. И подумал проситель и вновь спрашивает, может ли он войти туда впоследствии? «Возможно,— отвечает привратник,— но сейчас войти нельзя». Однако врата Закона, как всегда, открыты, а привратник стоит в стороне, и проситель, наклонившись, старается заглянуть в недра Закона. Увидев это, привратник смеется и говорит: «Если тебе так не терпится — попытайся войти, не слушай моего запрета. Но знай: могущество мое велико. А ведь я только самый ничтожный из стражей. Там, от покоя к покою, стоят привратники, один могущественнее другого. Уже третий из них внушал мне невыносимый страх». Не ожидал таких препон поселянин, ведь доступ к Закону должен быть открыт для всех в любой час, подумал он; но тут он пристальнее взглянул на привратника, на его тяжелую шубу, на острый горбатый нос, на длинную жидкую черную монгольскую бороду и решил, что лучше подождать, пока не разрешат войти. Привратник подал ему скамеечку и позволил присесть в стороне, у входа. И сидит он там день за днем и год за годом. Непрестанно добивается он, чтобы его впустили, и докучает привратнику этими просьбами. Иногда привратник допрашивает его, выпытывает, откуда он родом и многое другое, но вопросы задает безучастно, как важный господин, и под конец непрестанно повторяет, что пропустить его он еще не может. Много добра взял с собой в дорогу поселянин, и все, даже самое ценное, он отдает, чтобы подкупить привратника. А тот все принимает, но при этом говорит: «Беру, чтобы ты не думал, будто ты что-то упустил». Идут года, внимание просителя неотступно приковано к привратнику. Он забыл, что есть еще другие стражи, и ему кажется, что только этот, первый, преграждает ему доступ к Закону. В первые годы он громко клянет эту

свою неудачу, а потом приходит старость и он только ворчит про себя. Наконец он впадает в детство, и, оттого что он столько лет изучал привратника и знает каждую блоху в его меховом воротнике, он молит даже этих блох помочь ему уговорить привратника. Уже меркнет свет в его глазах, и он не понимает, потемнело ли все вокруг, или его обманывает зрение. Но теперь, во тьме, он видит, что неугасимый свет струится из врат Закона. И вот жизнь его подходит к концу. Перед смертью все, что он испытал за долгие годы, сводится в его мыслях к одному вопросу — этот вопрос он еще ни разу не задавал привратнику. Он подзывает его кивком — оочоченевшее тело уже не повинуетя ему, подняться он не может. И привратнику приходится низко наклониться — теперь по сравнению с ним проситель стал совсем ничтожного роста. «Что тебе еще нужно узнать? — спрашивает привратник. — Ненасытный ты человек!» — «Ведь все люди стремятся к Закону, — говорит тот, — как же случилось, что за все эти долгие годы никто, кроме меня, не требовал, чтобы его пропустили?» И привратник, видя, что поселянин уже совсем отходит, кричит изо всех сил, чтобы тот еще успел услышать ответ: «Никому сюда входа нет, эти врата были предназначены для тебя одного! Теперь пойду и запру их».

— Значит, привратник обманул этого человека, — торопливо сказал К. Его всерьез захватил этот рассказ.

— Не торопись, — сказал священник, — и не принимай чужих слов на веру. Я рассказал тебе эту притчу так, как она стоит во Введении. Там ничего не говорится про обман.

— Но ведь это же ясно, — сказал К., — и первое твое толкование было совершенно правильно. Привратник только тогда открыл спасительную правду, когда этому человеку уже ничем нельзя было помочь.

— А раньше его не спрашивали, — сказал священник. — И не забывай, что он был только привратником и свой долг выполнял честно.

— Почему ты считаешь, что он выполнял свой долг? — спросил К. — Вовсе он его не выполнял. Может быть, его долг был не пускать туда посторонних, но уж того человека, для которого вход был предназначен, он обязан был впустить.

— Ты недостаточно уважаешь Свод законов, — сказал священник, — потому и переосмыслил эту притчу. А в ней есть два важных объяснения привратника насчет до-

пуска к Закону: одно в начале, другое в конце. Первое гласит, что в настоящую минуту привратник его допустить не может, а второе — что этот вход предназначен только для него. Если бы между этими двумя объяснениями было какое-то противоречие, ты был бы прав и привратник действительно обманул бы этого человека. Но тут никакого противоречия нет. Напротив, первое объяснение уже ведет ко второму. Можно даже сказать, что привратник преступает свой долг тем, что подает этому человеку надежду на то, что впоследствии его туда впустят. А в то же время его единственной обязанностью было не впускать этого человека, и многие толкователи Закона всерьез удивляются, что привратник вообще допускает этот намек, так как он, по-видимому, любит точность и строго следует своим обязанностям. Многие годы он не покидал свой пост и только под конец запирает врата; он полон сознания важности своей службы и прямо говорит: «Могущество мое велико»; он уважает вышестоящих и прямо говорит: «Я только самый ничтожный из стражей»; он не болтлив, потому что за все эти годы задает только, как там сказано, «безучастные» вопросы; он неподкупен, потому что, принимая подарки, говорит: «Беру, чтобы ты не думал, будто ты что-то упустил», а там, где речь идет о его долге, ничто не может ни смягчить, ни ожесточить его: там прямо сказано, что этот человек «докучает привратнику своими просьбами», и, наконец, самое описание его внешности говорит о педантичном складе его характера: и острый горбатый нос, и длинная жидкая черная монгольская борода. Разве найдешь более преданного привратника? Но в привратнике проявляются и другие черты, весьма выгодные для того, кто требует пропуск, и если их понять, то поймешь также, почему он, намекая на какие-то будущие возможности, в какой-то мере превышает свои полномочия. Скрывать не приходится — он несколько скудоумен и в связи с этим слишком высокого мнения о себе. И если даже его слова о своем могуществе и о могуществе других привратников, чей вид ему и самому невыносим, — если, как я уже сказал, эти его слова сами по себе справедливы, то по манере выражаться ясно видно, как его восприятие ограничено и скудоумием, и самомнением. Толкователи говорят об этом так: «Правильное восприятие явления и неправильное толкование того же явления никогда полностью взаимно не исключаются». Однако надо признать, что скудоумие и самомнение, в какой бы

малой степени они ни наличествовали, являются недостатками характера привратника, они ослабляют охрану врат. Надо еще добавить, что по природе этот привратник как будто дружелюбный человек, он вовсе не всегда держится как лицо официальное. В первую же минуту он шутки ради приглашает просителя войти, хотя и намерен строго соблюдать запрет, да и потом не прогоняет его, а, как сказано, дает ему скамеечку и разрешает присесть в стороне у входа. И терпение, с которым он столько лет подряд выслушивает просьбы этого человека, и крагкие расспросы, и прием подарков, и, наконец, то благородство, с каким он терпит, когда поселянин громко проклинает свою неудачу, зачем именно этого привратника поставили тут,— все это дает повод заключить, что в душе привратника шевелится сострадание. На его месте не всякий поступил бы так. И под конец он наклонился к этому человеку по одному его кивку, чтобы выслушать последний вопрос. И только в возгласе: «Ненасытный ты человек!» — прорывается легкое нетерпение; ведь привратник знает, что всему конец. А некоторые идут в толковании этого возгласа даже дальше, они считают, что слова «Ненасытный ты человек!» выражают своего рода дружеское восхищение, не лишенное, конечно, некоторой снисходительности. Во всяком случае, образ привратника встает совсем в другом свете, чем тебе представляется.

— Ты знаком с этой историей и лучше и дольше, чем я,— сказал К. Они помолчали. Потом К. сказал: — Значит, ты считаешь, что этого человека не обманули?

— Не толкуй мои слова превратно,— сказал священник,— я только изложил тебе существующие толкования. Но ты не должен слишком обращать на них внимание. Сам Свод законов неизменен, и все толкования только выражают мнение тех, кого это приводит в отчаяние. Есть даже такое толкование, по которому обманутым является сам привратник.

— Ну, это очень отдаленное толкование,— сказал К.— На чем же оно основано?

— Основано оно,— сказал священник,— на скудомии привратника. О нем сказано, что он ничего не знает о недрах Закона и ему известна только та тропа перед вратами, по которой он должен ходить назад и вперед. Считается, что его представление о недрах Закона — сущее ребячество, и предполагают, что он сам боится того, чем пугает просителя. Больше того, его страх куда силь-

нее страха просителя — тот только и жаждет войти в недра Закона, даже услышав о страшных их стражах, а привратник и войти не хочет, по крайней мере об этом ничего не сказано. Правда, другие говорят, что он, видимо, уже побывал там, внутри, потому что принимали же его когда-то на службу в суд, а это могло произойти только в самих недрах. Но на это возражают, что его назначил привратником чей-то голос оттуда и что туда, в самые недра, он, конечно, не проникал, потому что уже один вид третьего стража внушал ему невыносимый страх. К тому же нигде не сказано, что за все эти годы он сообщил хоть что-нибудь о недрах Закона. Может быть, ему это запрещено, но и о запрещении он ни слова не говорит. Из всего этого можно заключить, что он сам не знает ни того, что творится в недрах Закона, ни того, какой в этом смысл, и все время находится в заблуждении. Но выходит так, что он, по-видимому, заблуждается и насчет этого просителя, ибо привратник, сам того не ведая, подчинен просителю. То, что он обращается с просителем как с подчиненным, ясно видно во многом, и ты, наверно, помнишь, в чем именно. Но то, что в сущности подчиненным является привратник, тоже видно не менее ясно, как говорит другое толкование. Всегда свободный человек выше связанного. А проситель в сущности человек свободный, он может уйти, куда захочет, лишь вход в недра Закона ему воспрещается, причем запрет наложен единственно только этим привратником. И если он садится в сторонке на скамеечку у врат и просиживает там всю жизнь, то делает он это добровольно, и ни о каком принуждении притча не упоминает. Привратник же связан своей должностью с постом, он не может уйти с поста, но и в недра Закона он, при всем желании, войти не может. Кроме того, хоть он и служит Закону, но служба его ограничена только этим входом, то есть служит он только этому человеку, единственному, для кого предназначен вход. Выходит, что и по этой причине привратник подвластен просителю. Приходится предположить, что много лет — то есть, в сущности, все свои зрелые годы — он служил, так сказать, впустую, потому что в притче сказано, что к нему пришел мужчина, а под этим разумеется зрелый муж, и, значит, привратник был вынужден долго ждать, прежде чем ему будет дано выполнить свой долг, притом ждать именно столько, сколько угодно тому человеку, ибо тот пришел по своей воле, когда захотел. Да и кончается его служба только с окончанием

жизни этого человека, значит, до самого конца привратник ему подвластен. И много раз в притче подтверждается, что, по всей видимости, привратнику об этом ничего не известно. Но толкователи не узрели тут ничего удивительного, потому что, согласно этому толкованию, привратник находится в еще более тяжком заблуждении, ибо оно касается его должности. Мы слышим, как в конце притчи он говорит: «Теперь я пойду и запру их», но в начале сказано, что врата в Закон открыты, «как всегда», а если они всегда открыты — именно всегда, независимо от продолжительности жизни того человека, для которого они предназначены, — значит, и привратник закрыть их не может. Тут толкования расходятся: хочет ли привратник, сообщая о том, что он закроет врата, только дать ответ или подчеркнуть свои обязанности, или же он стремится в последнюю минуту повергнуть просителя в горечь и раскаяние. Но многие сходятся на том, что закрыть врата он не сможет. Считается даже, что под конец он и в познании истины стоит ниже того человека, потому что тот видит неугасимый свет, что струится из врат Закона, а привратник, охраняя вход, очевидно, стоит спиной к вратам и ничем не выказывает, что заметил какие-либо изменения.

— Все это отлично обосновано, — сказал К., негромко повторявший про себя отдельные места из разъяснений священника. — Обосновано все хорошо, и я тоже верю, что привратник заблуждается. Однако прежнее мое утверждение все же остается в силе, потому что оба толкования частично совпадают. Совершенно неважно, понимает ли привратник все до конца или введен в заблуждение. Я сказал, что введен в заблуждение проситель. Можно было бы усомниться в этом, если бы привратник все понимал до конца, но если и привратник обманут, то его заблуждения непременно передаются просителю. Тогда, конечно, сам привратник не является обманщиком, но, значит, он столь скудоумен, что его немедленно надо было бы выгнать со службы. Не упускай из виду, что заблуждение привратника самому ему никак не вредит, а просителю наносит непоправимый вред.

— Тут ты столкнешься с совершенно противоположным толкованием, — сказал священник. — Многие, например, считают, что эта притча никому не дает права судить о привратнике. Каким бы он нам ни казался, он слуга Закона, а значит, причастен к Закону, значит, суду

человеческому не подлежит. Но тогда нельзя и считать, что привратник подвластен просителю. Быть связанным с Законом хотя бы тем, что стоишь на страже у врат, неизмеримо важнее, чем жить на свете свободным. Тот человек только подходит к Закону, тогда как привратник уже стоит там. Закон определил его на службу, и усомниться в достоинствах привратника — значит усомниться в Законе.

— Нет, с этим мнением я никак не согласен,— сказал К. и покачал головой.— Если так думать, значит, надо принимать за правду все, что говорит привратник. А ты сам только что вполне обоснованно доказал, что это невозможно.

— Нет,— сказал священник,— вовсе не надо все принимать за правду, надо только осознать необходимость всего.

— Печальный вывод! — сказал К.— Ложь возводится в систему.

К. сказал это, как бы подводя итог, но окончательного вывода не сделал. Слишком он устал, чтобы проследить все толкования этой притчи, да и ход мыслей, вызванный ею, был ему непривычен. Эти отвлеченные измышления скорее годилось обсуждать компании судейских чиновников, нежели ему. Простая притча стала расплывчатой, ему хотелось выбросить ее из головы, и священник проявил тут удивительный такт, молча приняв последнее замечание К., хотя оно явно противоречило его собственному мнению.

Молча шли они рядом. К. старался держаться как можно ближе к священнику, не понимая, где он находится. Лампа у него в руках давно погасла. Вдруг прямо против него серебряное изображение какого-то святого блеснуло отсветом серебра и сразу слилось с темнотой. Не желая быть полностью зависимым от священника, К. спросил его:

— Мы, кажется, подходим к главному выходу?

— Нет,— сказал священник,— мы очень далеко от него. А разве ты уже хочешь уйти?

И хотя К. за минуту до того не думал об уходе, он сразу ответил:

— Конечно, мне необходимо уйти. Я служу прокуристом в банке, меня ждут, я пришел сюда, только чтобы показать собор одному деловому знакомому, иностранцу.

— Ну что ж,— сказал священник и подал К. руку,— тогда иди.

— Да мне в темноте одному не выбраться,— сказал К.

— Иди к левой стороне,— сказал священник,— потом, не сворачивая, вдоль этой стены, и ты найдешь выход.

Священник уже отошел на несколько шагов, и тут К. крикнул ему очень громко:

— Подожди, прошу тебя!

— Я жду! — сказал священник.

— Тебе больше ничего от меня не нужно? — спросил К.

— Нет,— сказал священник.

— Но ты был так добр ко мне сначала,— сказал К.,— все объяснил мне, а теперь отпускаешь меня, будто тебе до меня дела нет.

— Но ведь тебе нужно уйти? — сказал священник.

— Да, конечно,— сказал К.— Ты должен понять меня.

— Сначала ты должен понять, кто я такой,— сказал священник.

— Ты тюремный капеллан,— сказал К. и снова подошел к священнику; ему вовсе не надо было так срочно возвращаться в банк, как он это изобразил, он вполне мог еще побыть тут.

— Значит, я тоже служу суду,— сказал священник.— Почему же мне должно быть что-то нужно от тебя? Суду ничего от тебя не нужно. Суд принимает тебя, когда ты приходишь, и отпускает, когда ты уходишь.

Глава десятая

КОНЕЦ

Накануне того дня, когда К. исполнился тридцать один год,— было около девяти вечера, и уличный шум уже стихал,— на квартиру к нему явились два господина в сюртуках, бледные, одутловатые, в цилиндрах, словно приросших к голове. После обычного обмена учтивостями у входной двери — кому войти первому — они еще более учтиво стали пропускать друг друга у двери комнаты К. Хотя его никто не предупредил о визите, он уже сидел у двери на стуле с таким видом, с каким обычно ждут гостей, весь в черном, и медленно на-

тягивал новые черные перчатки, тесно облегавшие пальцы. Он сразу встал и с любопытством поглядел на господ.

— Значит, меня поручили вам? — спросил он.

Оба господина кивнули, и каждый повел рукой с цилиндром в сторону другого. К. признался себе, что ждал не таких посетителей. Он подошел к окну и еще раз посмотрел на темную улицу. На той стороне почти во всех окнах уже было темно, во многих спустили занавеси. В одном из освещенных окон верхнего этажа за решеткой играли маленькие дети, они тянулись друг к другу ручонками, еще не умея встать на ножки.

Посылают за мной старых отставных актеров, сказал себе К. и оглянулся, чтобы еще раз удостовериться в этом. Дешево же они хотят от меня отделаться. К. вдруг обернулся к ним и спросил:

— В каком театре вы играете?

— В театре? — спросил один господин у другого, словно советуясь с ним, и уголки его губ дрогнули. Другой стал гримасничать, как немой, который пытается перебороть свою немощь.

Видно, они не подготовились к вопросам, сказал К. про себя и пошел за своей шляпой.

Оба господина хотели взять К. под руки уже на лестнице, но он сказал:

— Нет, возьмете на улице, я же не больной.

Но у самых ворот они повисли на нем так, как еще ни разу в жизни никто не висел. Притиснув сзади плечо к его плечу и не сгибая локтей, каждый обвил рукой руку К. по всей длине и сжал его кисть заученной, привычной, непреодолимой хваткой. К. шел, выпрямившись, между ними, и все трое так слились в одно целое, что, если бы ударить по одному из них, удар пришелся бы по всем трем. Такая слитность присуща, пожалуй, только неодушевленным предметам.

Под каждым фонарем К. пытался разглядеть своих спутников получше, чем можно было в полутьме его комнаты, хотя это было очень трудно при таком тесном соприкосновении. Может быть, они теноры, подумал он, разглядев их двойные подбородки. Ему были противны их лоснящиеся чистотой физиономии. Казалось, что буквально видишь руку, которая прочистила им углы глаз, вытерла верхнюю губу, выскребла складки на подбородке.

Разглядев их, К. остановился, и с ним остановились

оба господина; они оказались на краю пустой, безлюдной, засаженной кустарником площади.

— Почему это послали именно вас? — крикнул К. скорее нетерпеливо, чем вопросительно. Те явно не знали, что ответить, и ждали, опустив свободную руку, как ждут санитары, когда больной останавливается передохнуть.

— Дальше я не пойду, — сказал К., нащупывая почву.

На это им отвечать не понадобилось, они просто, не ослабляя хватки, попытались сдвинуть К. с места, но он не поддался. Больше уж мне мои силы не понадобятся, нужно хоть сейчас напрячь их вовсю, подумал К., и ему вспомнилось, как мухи отдираются от липкой бумаги и при этом отрывают себе ножки. Да, этим господам придется туго.

И тут на маленькой лесенке, которая вела на площадь с улочки, лежавшей внизу, показалась фройляйн Бюрстнер. К. был не совсем уверен, она ли это, хотя сходство было большое. Но для К. не имело никакого значения, была ли то фройляйн Бюрстнер или нет, просто он вдруг осознал всю бессмысленность сопротивления. Ничего героического не будет в том, что он вдруг станет сопротивляться, доставит этим господам лишние хлопоты, попытается в самообороне ощутить напоследок хоть какую-то видимость жизни. Он двинулся с места, и радость, которую он этим доставил обоим господам, отчасти передалась и ему. Они дали ему возможность направлять их шаги, и он направил их в ту же сторону, куда шла перед ним фройляйн Бюрстнер, но не потому, что хотел ее догнать, не потому, что хотел видеть ее подольше, а лишь для того, чтобы не забыть то предзнаменование, которое он в ней увидел. Единственное, что мне остается сейчас сделать, сказал он себе, и равномерный шаг его самого и его спутников как бы подкреплял эту мысль, единственное, что я могу сейчас сделать, — это сохранить до конца ясность ума и суждения. Всегда мне хотелось хватать жизнь в двадцать рук, но далеко не всегда с похвальной целью. И это было неправильно. Неужто и сейчас я покажу, что даже процесс, длившийся целый год, ничему меня не научил? Неужто я так и уйду тупым упрямым? Неужто про меня потом скажут, что в начале процесса я стремился его окончить, а теперь, в конце, — начать сначала? Нет, не желаю, чтобы так говорили! Я благодарен, что на этом пути мне в спутники даны эти полунемые, бесчувственные люди

и что мне предоставлено самому сказать себе все, что нужно.

Между тем фройляйн Бюрстнер уже свернула на боковую улицу, но К. мог теперь обойтись и без нее и отдался на волю своих провожатых. В полном согласии они перешли втроем мост, освещенный луной; оба господина беспрекословно следовали самому малейшему движению К., и, когда он повернулся к перилам, оба всем телом повернулись за ним. Вода, переливаясь и дрожа в лунном свете, струилась вокруг маленького острова, где, словно теснясь друг к дружке, густо росли кусты и деревья. Дорожки, усыпанные гравием,—сейчас их не было видно—вели к удобным скамейкам, где К. летом часто отдыхал, позевывая и потягиваясь всем телом.

— А я вовсе и не хотел тут останавливаться,—сказал К. своим спутникам, пристыженный их беспрекословной готовностью.

К. показалось, что за его спиной один мягко упрекнул другого в недогадливости, и они двинулись дальше.

Улицы пошли в гору, кое-где им навстречу попадались полицейские, стоявшие на посту или расхаживавшие по мостовой; они проходили то в отдалении, то совсем близко. Один из них, с пышными усами, держа руку на эфесе сабли, словно нарочно подошел вплотную к этой несколько подозрительной группе. Оба господина остановились, полицейский открыл было рот, но тут К. рывком потянул их обоих вперед. На ходу К. то и дело осторожно озирался, чтобы увидеть, не пошел ли полицейский за ними; а когда они завернули от него за угол, К. побежал, и его спутникам пришлось, несмотря на одышку, бежать вместе с ним.

Вскоре они оказались за городом, где сразу, почти без перехода, начинались поля. Небольшая каменоломня, заброшенная и пустая, лежала у здания еще совершенно городского вида. Здесь оба господина остановились: то ли они наметили это место заранее, то ли слишком устали, чтобы бежать дальше. Они отпустили К., молча ожидавшего, что же будет, сняли цилиндры и, оглядывая каменоломню, отерли носовыми платками пот со лба. На всем лежало лунное сияние в том естественном спокойствии, какое ни одному другому свету не присуще.

После обмена вежливыми репликами о том, кому выполнять следующую часть задания,—очевидно, обязан-

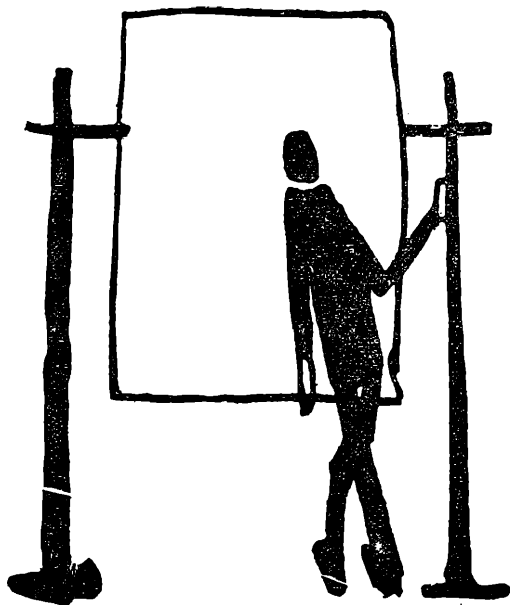
ности этих господ точно распределены не были,— один из них подошел к К. и снял с него пиджак, жилетку и, наконец, рубаху. К. невольно вздрогнул от озноба, и господин ободряюще похлопал его по спине. Потом он аккуратно сложил вещи, как будто ими придется воспользоваться,— правда, не в ближайшее время. Чтобы К. не стоял неподвижно в ощутимой ночной прохладе, он взял его под руку и стал ходить с ним взад и вперед, пока второй господин искал в каменоломне подходящее место. Найдя его, тот помахал им рукой, и первый господин подвел К. туда. У самого шурфа лежал отколотый камень. Оба господина посадили К. на землю, прислонили к стене и уложили головой на камень. Но, несмотря на все их усилия, несмотря на то, что К. старался как-то им содействовать, его поза оставалась напряженной и неестественной. Поэтому первый господин попросил второго дать ему одному попробовать уложить К. поудобнее, но и это не помогло. В конце концов они оставили К. лежать, как он лег, хотя с первого раза им удалось уложить его лучше, чем теперь. Потом первый господин расстегнул сюртук и вынул из ножен, висевших на пояском ремне поверх жилетки, длинный, тонкий, обоюдоострый нож мясника и, подняв его, проверил на свету, хорошо ли он отточен. Снова начался отвратительный обмен учтивостями: первый подал нож второму через голову К., второй вернул его первому тоже через голову К. И внезапно К. понял, что должен был бы схватить нож, который передавали из рук в руки над его головой, и вонзить его в себя. Но он этого не сделал, только повернул еще не тронутую шею и посмотрел вокруг. Он не смог выполнить свой долг до конца и снять с властей всю работу, но отвечает за эту последнюю ошибку тот, кто отказал ему в последней капле нужной для этого силы. Взгляд его упал на верхний этаж дома, примыкавшего к каменоломне. И как вспыхивает свет, так вдруг распахнулось окно там, наверху, и человек, казавшийся издали, в высоте, слабым и тонким, порывисто наклонился далеко вперед и протянул руки еще дальше. Кто это был? Друг? Просто добрый человек? Сочувствовал ли он? Хотел ли он помочь? Был ли он одинок? Или за ним стояли все? Может быть, все хотели помочь? Может быть, забыты еще какие-нибудь аргументы? Несомненно, такие аргументы существовали, и хотя логика непоколебима, но против человека, который хочет жить, и она устоять не может. Где судья, которого он ни разу не видел? Где вы-

сокий суд, куда он так и не попал? К. поднял руки и развел ладони.

Но уже на его горло легли руки первого господина, а второй вонзил ему нож глубоко в сердце и повернул его дважды. Потухшими глазами К. видел, как оба господина у самого его лица, прильнув щекой к щеке, наблюдали за развязкой.

— Как собака,— сказал он так, как будто этому позору суждено было пережить его.

Из дневников



TAGEBÜCHER

1910—1923

Перевод Е. Кацевой

*Впервые частично опубликовано в журнале
«Вопросы литературы», 1968, № 2*

© Перевод на русский язык «Иностранная литература», 1988

© Перевод на русский язык Е. Кацевой, 1989

Наконец-то после пяти месяцев жизни, в течение которых я не смог написать ничего такого, чем был бы доволен, и которые никто и ничто не в силах мне возместить, хотя все обязаны бы это сделать, я надумал снова поговорить с самим собой. На это я еще способен, если действительно задаюсь такой целью, здесь еще можно что-то выбить из той копны соломы, в которую я превратился за эти пять месяцев и судьба которой, кажется, в том, чтобы летом ее подожгли и она сгорела быстрее, чем зритель успеет моргнуть глазом. Пускай бы это случилось со мной! И пусть хоть десять раз случится — я ведь не сожалею о времени, даже злополучном. Мое состояние — не состояние «несчастья», но это и не счастье, не равнодушие, не слабость, не усталость, не интерес к чему-то, — тогда что же оно такое? То обстоятельство, что я не знаю этого, связано, вероятно, с моей неспособностью писать. А ее я, кажется, ощущаю, не зная причины. Все вещи, возникающие у меня в голове растут не из корней своих, а откуда-то с середины. Попробуй-ка удерживать их, попробуй-ка держать траву и самому держаться за нее, если она начинает расти лишь с середины стебля. Пожалуй, кое-кто это умеет, например японские акробаты, взбирающиеся по лестнице, которая стоит не на земле, а на поднятых вверх ступнях полулежащего человека, и не прислонена к стене, а вздымается вверх прямо в воздух. Я этого не умею, не говоря уж о том, что под моей лестницей нет даже тех ступней. Конечно, это еще не все, и такая задача еще не заставит меня заговорить. Но каждый день на меня должна быть направлена по меньшей мере одна строка, как направляют теперь подзорные трубы на кометы. И еще — я должен оказаться перед настоящей фразой, захваченный этой фразой, как то случилось со мною, например, в последнее рожде-

ство, когда дело дошло до того, что я едва мог владеть собой, и когда, казалось, я действительно был на последней ступеньке своей лестницы, которая, правда, спокойно стояла на земле у стены. Но что за земля, что за стена! И все же та лестница не упала — так прижимали ее к стене мои ноги, так держали ее мои ноги на земле.

Сегодня, например, я совершил три дерзости — по отношению к кондуктору, по отношению к одному из моих начальников; так, их только две, но они мучают меня, словно боль в желудке. Они были бы дерзостью со стороны любого человека, тем более с моей. Итак, я вышел из себя, сражался в воздухе, в тумане, и вот что самое скверное: никто не заметил, что я и по отношению к моим спутникам совершил дерзость, сделал, должен был сделать именно как дерзость настоящую гримасу, за которую необходимо нести ответственность; но самое скверное, что один из моих знакомых воспринял мою дерзость не как черту характера, а как самый характер, обратил мое внимание на эту дерзость и восхитился ею. Почему я вышел из себя? Теперь я, правда, говорю себе: смотри, мир позволяет тебе бить его, кондуктор и начальник остались спокойными, когда ты выходил, начальник даже поклонился. Однако это ничего не значит. Ты не можешь ничего достичь, выходя из себя. Но что еще ты потеряешь, оставаясь в очерченном тобой круге? На это я отвечаю следующее: я лучше позволю избивать себя в этом круге, чем самому избивать кого-то вне его. Но где, черт возьми, этот круг? Некоторое время я видел его на полу словно мелом нарисованным, теперь же он лишь витает вокруг меня, да и не витает даже.

19 июля¹. Я часто думаю об этом и каждый раз прихожу к выводу, что мое воспитание во многом очень повредило мне. Этот упрек относится ко множеству людей, правда, они стоят здесь рядом и, как на старых групповых портретах, не знают, что им делать: опустить глаза им не приходит в голову, а улыбнуться они от напряженного ожидания не решаются. Здесь мои родители, кое-кто из родственников, из учителей, кухарка, которую я запомнил, некоторые девушки из школы танцев, некоторые посетители нашего дома прежних времен, некоторые писатели, преподаватель плавания, билетер, школьный инспектор, затем люди, которых я лишь однажды встречал на улице, и какие-то еще, которых я сейчас не могу припомнить, и такие, которых никогда больше не вспом-

ню, и, наконец, такие, на уроки которых я, чем-то отвлекшись тогда, вообще не обратил внимания,— короче, их так много, что надо следить, как бы не упомянуть дважды одного и того же. И к ним всем я обращаю свой упрек, знакомя их тем самым друг с другом и никаких возражений не приемлю. Ибо воистину я уже слышал их предостаточно, и, так как большинство этих возражений я не сумел оспорить, мне ничего другого не остается, как включить и их в счет и сказать, что, как и мое воспитание, эти возражения тоже во многом очень повредили мне.

Может быть, подумают, будто я воспитывался где-то в глуши? Нет, я воспитывался в городе, в самом центре города. Не в руинах, к примеру, не в горах и не на берегу озера. Мои родители и их присные до сих пор были хмуры и серы из-за моего упрека, но вот они легко отстранили его и улыбаются, потому что я снял с них мои руки и приложил их ко лбу и думаю: мне бы быть маленьким обитателем руин, вслушивающимся в гомон галок, осененным их тенью, освежающимся под холодной луной,— пусть вначале я и был бы чуть слаб под грузом добрых качеств, которые должны были бы буйно, как сорная трава, разрастись во мне, обожженном солнцем, сквозь развалины пробивающимся со всех сторон и светящим на мое свитое из плюща ложе.

27 ноября. Бернхард Келлерман читал вслух. «Кое-что неопубликованное из моих сочинений» — так он начал. По-видимому, милый человек; почти седые, торчком стоящие волосы, старательно, чисто выбрит, острый нос, желваки перекатываются, как волны, на скулах. Писатель он посредственный, хотя есть хорошо написанные куски (какой-то мужчина выходит в коридор, кашляет и оглядывается, нет ли здесь кого-нибудь); честный человек, он хочет прочитать то, что пообещал, но публика не дает, испугавшись первого рассказа о психиатрической лечебнице: из-за скуки, навеваемой манерой чтения, слушатели, несмотря на известную занимательность рассказа, все время поодиночке выходят с такой ретивостью, будто по соседству читают что-то другое. Когда он, прочитав треть рассказа, остановился, чтобы выпить минеральной воды, ушло уже много народа. Он испугался. «Скоро конец»,— просто соврал он. Когда он закончил, все встали, раздались аплодисменты, прозвучавшие так, словно все поднялись, а один остался сидеть и аплодиро-

вал для собственного удовольствия. Келлерман хотел читать дальше — еще один рассказ или даже несколько. Увидев, что все уходит, он только рот раскрыл. Наконец, по чьему-то совету, он сказал: «Я хотел бы еще прочитать небольшую сказку, это займет всего пятнадцать минут. Сделаем пятиминутный перерыв». Кое-кто остался, и он прочитал сказку, вполне дававшую слушателям право бежать через зал чуть ли не по головам соседей к выходу.

15 декабря. Своим выводам из моего нынешнего, уже почти год длящегося состояния я просто не верю — для этого мое состояние слишком серьезно. Я даже не знаю, могу ли я сказать, что это состояние не новое. Во всяком случае, я думаю: состояние это ново, подобные у меня бывали, но такое — еще никогда. Я словно из камня, я словно надгробный памятник себе, нет даже щелки для сомнения или веры, для любви или отвращения, для отваги или страха перед чем-то определенным или вообще, — живет лишь шаткая надежда, бесплодная, как надписи на надгробиях. Почти ни одно слово, что я пишу, не сочетается с другим, я слышу, как согласные с металлическим лязгом трутся друг о друга, а гласные подпевают им, как негры на подмостках. Сомнения кольцом окружают каждое слово, я вижу их раньше, чем само слово, да что я говорю! — я вообще не вижу слова, я выдумываю его. Но это еще было бы не самым большим несчастьем, если бы я мог выдумывать слова, которые развеяли бы трупный запах, чтобы он не ударял сразу в нос мне и читателю.

Когда я сажусь за письменный стол, то чувствую себя не лучше человека, падающего и ломающего себе обе ноги в потоке транспорта на Place de l'Oréga. Все экипажи тихо, несмотря на производимый ими шум, устремляются со всех сторон во все стороны, но порядок, лучший, чем его мог бы навести полицейский, устанавливает боль этого человека, которая закрывает ему глаза и опустошает площадь и улицы, — не поворачивая машин обратно. Полнота жизни причиняет ему боль, ибо он ведь тормозит движение, но и пустота не менее мучительна, ибо она отдает его во власть боли.

16 декабря. «Дорога одиночества» В. Фреда². Как пишутся такие книги? Человек, достигший чего-либо путного в малом, так натужно растягивает свой талант на

большой роман, что становится тошно, даже если ты восхищаешься энергией, с какой человек насилует собственный талант.

Зачем это третирование второстепенных персонажей, о которых я читаю в романах, пьесах и т. д. Какое чувство близости я испытываю к ним! В «Бишофсбергских девах»³ (так это называется?) говорится о двух швеях, готовящих белье для невесты. Какова жизнь этих двух девушек? Где они живут? Что они натворили такого, что их не пускают в пьесу? Им лишь дозволено, буквально утопая в потоках ливня, снаружи прижать в последний раз лицо к окошку каюты Ноева ковчега, для того чтобы зрители в партуре увидели на мгновение нечто смутное.

17 декабря. Если бы французы по характеру своему были немцами, как бы тогда восхищались ими немцы!

То, что я так много забросил и повычеркивал — а это я сделал почти со всем, что вообще написал в этом году, — тоже очень мешает мне при писании. Ведь это целая гора, в пять раз больше того, что я вообще когда-либо написал, и уже одной массой своей она прямо из-под пера притягивает к себе все, что я пишу.

19 декабря. Начал ходить на службу. После обеда был у Макса⁴.

Почитал немного дневники Гёте. Время уже излило покой на эту жизнь, дневники озаряют ее светом. Ясность всех событий делает их таинственными, так же как парковая ограда при созерцании больших лужаек успокаивает глаз и вместе с тем вселяет в нас преувеличенное почтение.

Только что пришла к нам впервые моя замужняя сестра.

20 декабря. Чем оправдаю я вчерашнее замечание о Гёте (которое почти столь же неверно, как и отмеченное записью чувство, ибо подлинное было развеяно приходом сестры)? Ничем. Чем оправдаю я то, что сегодня еще ничего не написал? Ничем. Тем более что мое состояние не наилучшее. У меня в ушах все время звучит призыв: «Приди ж, незримый суд!»

21 декабря. Достопримечательности из «Подвигов Великого Александра» Михаила Кузмина ⁵: «Ребенок, верхняя половина которого была мертвою, нижняя же — со всеми признаками жизни... младенческий труп с шевелящимися красными ножками». «Нечистых царей, Гогу и Магогу, питавшихся червяками и мухами, загнал в рассевшиеся скалы и до скончания мира запечатал Соломоновою печатью». «Каменные потоки, что вместо воды стремят с грохотом камни, песчаные ручьи, три дня текущие к югу, три дня — на север». «Мужеподобные женщины, с выжженными правыми грудями, короткими волосами, в мужской обуви». «Крокодилы, мочою сжигающие дерево».

Был у Баума ⁶, слушал прекрасные вещи. Я слаб, как прежде и всегда. Такое ощущение, будто меня связали, и одновременно другое ощущение, будто, если бы развязали меня, было бы еще хуже.

22 декабря. Сегодня я не решаюсь даже делать себе упрёки. Прозвучи они в этот пустой день, они имели бы отратительное эхо.

27 декабря. У меня нет больше сил написать хоть одну фразу. Да если бы речь шла о словах, если б можно было, прибавив одно слово, отвернуться в спокойном сознании, что это слово целиком наполнено тобою.

28 декабря. Когда я несколько часов веду себя по-человечески, как сегодня с Максом и позже у Баума, то перед сном уже исполнен высокомерия.

1911

12 января. Шиллер, нарисованный Шадовом в 1804 г. в Берлине, где его пышно чествовали. Крепче, чем за этот нос, лицо не ухватить. Нос несколько оттянут книзу вследствие привычки во время работы тереть его. Дружелюбный, с немного впалыми щеками человек, бритое лицо делает его похожим на старика.

14 января. Роман «Супруги» Берадта ¹. Плохой язык. Все время внезапно зачем-то появляется автор, например: все были веселы, но присутствовал один, который не был весел. Или: и вот пришел некий господин Штерн

{которого мы уже знаем до мозга его романых костей). Подобное есть и у Гамсуна, но там это столь же естественно, как сучки на дереве, здесь же это капают на действие, как модное лекарство на сахар. Внимание беспричинно приковывается к каким-то странным оборотам. Например: он трудился над ее волосами, трудился и снова трудился. Отдельные лица, хотя и не освещены новым светом, видны хорошо, настолько хорошо, что местами даже недостатки не мешают. Второстепенные персонажи большей частью безнадёжны.

19 января. Так как я, кажется, вконец измотан — в последний год я был бодр не больше пяти минут, — мне предстоит каждый день желать исчезнуть с лица земли или, хотя и это не дало бы мне ни малейшей надежды, начать все сначала малым ребенком. Внешне мне будет легче, чем тогда. Ибо в те времена я лишь смутно стремился к изображению, которое было бы каждым словом связано с моей жизнью, которое я мог бы прижать к груди и которое сорвало бы меня с места. С какими муками (правда, ни в какое сравнение не идущими с нынешними) я начинал! Каким холодом целыми днями преследовало меня написанное! Но так велика была опасность и так ничтожны были даваемые ею передышки, что я совсем не чувствовал этого холода, что, конечно, в целом не очень-то уменьшало мое несчастье.

Однажды я задумал роман, в котором два брата враждовали друг с другом; один из них уехал в Америку, между тем как другой остался в тюрьме в Европе. Я только время от времени записывал строчку-другую, потому что сразу же уставал. Вот так однажды в воскресенье, когда мы были в гостях у бабушки с дедушкой и наелись особенно мягкого хлеба с маслом, которым там всегда угощали, я начал писать что-то про ту тюрьму. Вполне возможно, что я занялся этим главным образом из тщеславия и шурушанием бумаги по скатерти, постукиванием карандаша, рассеянным рассматриванием круга под лампой хотел возбудить в ком-нибудь желание взять у меня написанное, прочесть его и восхититься мною. В нескольких строчках был описан преимущественно коридор тюрьмы, главным образом тишина и холод; было сказано и сочувственное слово об оставшемся брате, ибо это был хороший брат. Возможно, меня охватило ощущение невыразительности описания, но с того дня я никогда больше не обращал особого внимания на такие ощу-

шения, когда сидел за круглым столом в знакомой комнате среди родственников, к которым привык (моя робость была столь велика, что среди привычного я уже бывал наполовину счастлив), ни на минуту не забывая, что я молод и нынешний покой не про меня — мне предначертано великое. Дядя, любивший поиздеваться, наконец взял у меня листок, который я слабо попытался удерживать, бросил на него беглый взгляд и вернул обратно, даже не посмеявшись; он сказал остальным, которые следили за ним глазами: «Обычная чепуха», мне же не сказал ни слова. Я, правда, остался на месте, по-прежнему склонившись над своим, стало быть, никчемным листком, но из общества я был изгнан одним пинком, дядин приговор отозвался в моей душе уже почти во всем действительном значении, в самом чувстве семьи мне раскрылся весь холод нашего мира, я должен согреть его пламенем, на поиски которого я еще только собирался отправиться.

19 февраля. Когда я сегодня хотел подняться с постели, я свалился как подкошенный. Причина этого очень проста: я крайне переутомился. Не из-за службы, а из-за другой моей работы. Служба неповинно участвует в этом лишь постольку, поскольку я, не будь надобности ходить туда, мог бы спокойно жить для своей работы и не тратить там ежедневно эти шесть часов, которые особенно мучительны для меня в пятницу и субботу, потому что я полон моими писаниями, — так мучительны, что Вы себе представить не можете. В конечном счете — я знаю — это пустая болтовня, виноват только я, служба предъявляет ко мне лишь самые простые и справедливые требования. Но для меня это страшная двойная жизнь, исход из которой, вероятно, один — безумие. Я пишу это при ясном свете утра и наверняка не стал бы писать, не будь это настолько правдой и не будь столь сильна моя сыновья любовь к Вам.

Впрочем, завтра, наверное, уже опять все будет в порядке, и я приду на службу, где первыми услышу слова о том, что Вы хотите избавиться от меня Ваш отдел.

19 февраля. Особенность моего вдохновения, охваченный которым я сейчас, в два часа ночи — счастливейший и несчастнейший, — иду спать (может быть, оно, если я только смогу вынести мысль об этом, сохранится, ибо оно сильнее, чем когда-либо прежде), заключается в том,

что я умею все, а не только нечто определенное. Когда я, не выбирая, пишу какую-нибудь фразу, например: «Он выглянул в окно», то она уже совершенна.

20 февраля. Молодые, аккуратные, хорошо одетые юноши рядом со мной в галерее напоминают мне юность и потому производят отталкивающее впечатление.

Письмо молодого Клейста, двадцатидвухлетнего. Отказался от военной карьеры. Дома спрашивают: ради какой же доходной профессии? — только о такой и могла быть речь. У тебя есть выбор — юриспруденция или камеральные науки. Но есть ли у тебя связи при дворе? «Вначале я несколько смущенно ответил отрицательно, но потом с тем большей гордостью заявил, что, если бы у меня и были связи, я, по моим нынешним понятиям, стыдился бы рассчитывать на них. Усмехнулись; я почувствовал, что ответил опрометчиво. Следует остерегаться произносить вслух такие истины».

21 февраля. Я живу здесь так, словно уверен, что буду жить второй раз; ну, например, как после неудачной поездки в Париж я утешал себя тем, что постараюсь вскоре снова побывать там. Передо мной — резко разделенные участки света и тени на тротуаре.

26 марта. Теософские доклады д-ра Рудольфа Штайнера из Берлина. Риторический прием: обстоятельно излагает возражения противников, слушатель поражен, сколь сильны эти противники, слушатель встревожен, он полностью погружается в эти возражения, словно вокруг ничего более не существует, слушатель считает уже, что опровергнуть их вообще невозможно, и он более чем удовлетворен даже самым беглым изложением возможной защиты. Кстати, такой риторический эффект соответствует предписанию погрузить слушателей в благоговейное настроение. Долго рассматривается вытянутая вперед ладонь. Заключительная точка не ставится. Обычно каждая фраза, произносимая оратором, начинается с прописных букв, по мере продолжения она изо всех сил наклоняется к слушателю и в конце своем с заключительной точкой возвращается к оратору. Когда же заключительной точки нет, ничем не сдерживаемая фраза дышит слушателю прямо в лицо.

28 марта. Художник П.— Карлин, его жена, два широких больших передних зуба заостряют большое, в общем-то плоское лицо, госпожа надворная советница Б., мать композитора, крепкий костяк которой от старости так выпирает, что она похожа на мужчину, по крайней мере когда сидит.

Отсутствующие ученики требуют столько внимания от д-ра Штайнера. Во время его выступления вокруг него так теснятся покойники. Жажда знаний? Разве их, собственно, это интересует? Видимо, да. Спит два часа. С тех пор как однажды во время его выступления выключили электрический свет, он всегда носит с собой свечу. Он был очень близок к Христу. Он поставил в Мюнхене свою пьесу (ты можешь изучать ее целый год и все равно не поймешь), сам нарисовал костюмы, написал музыку. Он был наставником некоего химика. Симону Лёви, торговцу мылом в Париже, Quai Мопсеу, он дал превосходные деловые советы. Тот перевел его произведения на французский язык. Поэтому надворная советница занесла в свою записную книжку: «Как достичь познания высших миров? ² У С. Лёви в Париже».

В Венской ложе есть теософ, шестидесяти пяти лет, необычайно толстый, прежде забубенный пьяница, который постоянно верит и постоянно впадает в сомнения. Говорят, было очень забавно, когда однажды на конгрессе в Будапеште во время ужина на Блоксберге в лунную ночь неожиданно пришел д-р Штайнер и он со страху спрятался со своей кружкой за пивной бочкой (хотя д-р Штайнер не рассердился бы).

Возможно, он и не самый великий современный исследователь духа, но лишь на нем возлежит долг объединить теософию с наукой. Поэтому он и знает все. Однажды в его родном селе появился ботаник, большой знаток оккультных наук. Он и просветил его. То, что я посетил д-ра Штайнера, дама истолковала мне как проявление памяти предков. Врач этой дамы, когда у нее обнаружили симптомы инфлюэнцы, спросил у д-ра Штайнера о лекарстве, прописал это лекарство даме и сразу же вылечил ее. Одна француженка попрощалась с ним, сказав: «Au revoir». Он потряс за ее спиной рукой. Через два месяца она умерла. Еще один подобный случай в Мюнхене. Мюнхенский врач лечит красками, которые назначил д-р Штайнер. Он посылал также больных в пинакотеку с предписанием стоять, сосредоточившись, пе-

ред определенной картиной, в течение получаса или больше.

Гибель Атлантиды, гибель Лемурии³, и теперь еще — гибель от эгоизма. Мы живем в решающее время. Опыт д-ра Штайнера удастся, если только духи зла не одержат верх. Он питается двумя литрами миндального молока и фруктами, растущими на возвышенностях. Со своими отсутствующими учениками он общается посредством мысленных образов, которые он им направляет. Создав эти образы, он больше не занимается ими, но они быстро стираются, и он должен их снова создавать.

Госпожа Ф.: «У меня плохая память».

Д-р Шт.: «Не ешьте яиц».

Мое посещение д-ра Штайнера.

Одна женщина уже ожидает (на третьем этаже гостиницы «Виктория» на Юнгманштрассе), но настоятельно просит меня пройти раньше ее. Мы ждем. Приходит секретарша и обнадеживает нас. Я вижу его в конце коридора. Нешироко раскинув руки, он приближается к нам. Женщина говорит, что я пришел первым. И вот я иду позади него, он ведет меня в свою комнату. На его черном сюртуке, который во время вечерних выступлений кажется навощенным (так он блестит своей чистой чернотой), теперь, при дневном свете (сейчас три часа пополудни), видна пыль, особенно на спине и плечах, и даже пятна.

В его комнате я пытаюсь выказать робость, испытывать которую не могу, тем, что нахожу самое неподходящее место для своей шляпы, кладу ее на маленькую деревянную подставку для шнуровки ботинок. Стол посередине, я сижу лицом к окну, он — с левой стороны стола. На столе бумаги с несколькими рисунками, напоминающими рисунки на докладах об оккультной физиологии. Номер «Анналов натурфилософии» лежит поверх небольшой стопки книг, кажется, кругом валяются еще книги. Но осматриваться нельзя, так как он все время старается заморозить посетителя своим взглядом. Когда же он не делает этого, нужно быть начеку, пока взгляд его снова не обратится на вас. Он начинает несколькими непринужденными фразами: «Вы ведь доктор Кафка? Давно ли Вы занимаетесь теософией?»

Но я произношу свою заготовленную речь:

«Я ощущаю, что большая часть моего существа тяготеет к теософии, но вместе с тем я испытываю перед нею

сильнейший страх. Я боюсь, что она породит новое смятение, которое было бы для меня очень опасным, ибо мое нынешнее несчастье как раз и проистекает из смятения. Смятение это вызвано вот чем: мое счастье, мои способности и всякая возможность приносить какую-то пользу с давних пор связаны с литературой. И здесь я переживал состояния (не часто), очень близкие, по моему мнению, к описанным Вами, господин доктор, состояниям ясновидения, я всецело жил при этом всякой фантазией и всякую фантазию воплощал и чувствовал себя не только на пределе своих сил, но и на пределе человеческих сил вообще. Но покоя, который, по-видимому, приносит ясно-видящему вдохновение, в этих состояниях почти не было. Я заключаю это по тому, что лучшие из моих работ написаны не в подобных состояниях. Но литературе я не могу отдаться полностью, как это было бы необходимо,— не могу по разным причинам. Помимо моих семейных обстоятельств я не мог бы существовать литературным трудом уже хотя бы потому, что долго работаю над своими вещами; кроме того, мое здоровье и моя натура не позволяют мне жить, полагаясь на — в лучшем случае — неопределенные заработки. Поэтому я стал чиновником в обществе социального страхования. Но эти две профессии никак не могут ужиться друг с другом и допустить, чтобы я был счастлив сразу с обеими. Малейшее счастье, доставляемое одной из них, оборачивается большим несчастьем в другой. Если я вечером написал что-то хорошее, я на следующий день на службе весь горю и ничего не могу делать. Эти метания из стороны в сторону становятся все более мучительными. На службе я внешне выполняю свои обязанности, но внутренние обязанности я не выполняю, а каждая невыполненная внутренняя обязанность превращается в несчастье, и оно потом уже не покидает меня. И вот к этим двум стремлениям, которых мне никогда не примирить, мне теперь прибавить еще третье — теософию? Не будет ли она мешать двум другим и не будут ли ей самой мешать эти другие? Смогу ли я, человек, столь несчастный уже и сейчас, довести всю троицу до конца? Я пришел, господин доктор, спросить Вас об этом, ибо чувствую, что, если Вы считаете меня способным, я действительно смогу принять все на себя».

Он слушал в высшей степени внимательно, по-видимому, совершенно не наблюдая за мною, полностью поглощенный моими словами. Время от времени кивал го-

ловой, что он, вероятно, считал вспомогательным средством для большей сосредоточенности. Вначале ему мешал небольшой насморк, у него текло из носа, он беспрерывно возился с носовым платком, усиленно работая пальцем в глубине каждой ноздри.

20 августа. Читал о Диккенсе. Это так трудно, да и может ли сторонний человек понять, что какую-нибудь историю переживаешь с самого ее начала, от отдаленнейшего пункта до встречи с наезжающим локомотивом из стали, угля и пара? Но и в этот момент ты не покидаешь ее, а хочешь и находишь время, чтобы она гнала тебя дальше, то есть она гонит тебя, и ты по собственному порыву мчишься впереди нее туда, куда она толкает тебя и куда ты сам влечешь ее.

Я не могу понять и даже не могу поверить в это. Я лишь временами живу в маленьком слове, в его ударе. Например, на мгновение теряю свою ни на что не пригодную голову («удар» сверху). Первая и последняя буква — начало и конец моего чувства пойманной рыбы.

26 августа. Вероятно, это заключено в природе дружбы и сопровождает ее, как тень: один что-либо приветствует, другой о том же сожалеет, третий просто не замечает...

29 сентября. Дневники Гёте. Человек, не ведущий дневника, неверно воспринимает дневник другого человека. Когда он, например, читает в дневниках Гёте: «11.1.1797. Целый день был занят дома различными распоряжениями», то ему кажется, что сам он никогда за весь день не делал так мало.

Путевые наблюдения Гёте совсем иные, чем нынешние, потому что они велись из почтовой кареты и развивались проще, местность изменялась медленно, и потому за ней легче было следить человеку, даже незнакомому с этой местностью. Это было спокойное, воистину пейзажное мышление. Так как окрестность представлялась пассажиру кареты нетронутой, в ее натуральном виде, и проселочные дороги разделяли ее гораздо естественнее, чем железнодорожные линии, с которыми они соотносятся примерно так же, как реки с каналами, то это не требовало от созерцателя никаких усилий и он мог без особого напряжения систематизировать свои впечатления.

Поэтому моментальных наблюдений мало, большей частью в помещениях, где иные люди сразу же полностью распахиваются, например австрийские офицеры в Гейдельберге; а пассаж о мужчинах в Визенгейме, напротив, ближе к описанию местности: «На них были синие сюртуки и белые жилеты, украшенные ткаными цветами» (цитирую по памяти). Много написано о Рейнском водопаде в Шафхаузене, и вдруг посредине большими буквами: «Возникшие идеи».

30 сентября. Тухольский и Сафранский⁴. Берлинское произношение с придыханием, которое требует пауз в голосе, образуемых словечком «вишь». Первый из них — вполне цельный человек, двадцати одного года. От сдержанного и сильного размахивания тростью, заставляющего плечо по-юношески подниматься, до рассудительного довольства и пренебрежения к собственным писательским трудам. Хочет стать адвокатом, видит лишь небольшие препятствия к этому и одновременно — возможности их устранения; звонкий голос, мужское звучание которого после первого получаса говорения переходит как будто в девичье; сомневается, что способен позировать, но надеется, что ему в этом поможет больший жизненный опыт; наконец, боится, что знакомство с миром ввергнет его в мировую скорбь, что он замечал в пожилых берлинцах-евреях близкого ему направления, хотя пока он в себе этого совсем не ощущает. Скоро женится.

1 октября. О Гёте. «Возникшие идеи» — это всего-навсего идеи, которые вызвал Рейнский водопад. Это видно из одного письма к Шиллеру. Мимолетное наблюдение — «Кастаньетный ритм детских деревянных башмаков» — произвело такое впечатление, так всеми воспринято, что нельзя себе представить, чтобы кто-нибудь, даже не зная об этом наблюдении, воспринял его как собственную оригинальную идею.

2 октября. Бессонная ночь. Уже третья подряд. Я хорошо засыпаю, но спустя час просыпаюсь, словно сунул голову в несуществующую дыру. Сон полностью отлетает, у меня ощущение, будто я совсем не спал или сном был объят лишь поверхностный слой моего существа, я должен начать работу по засыпанию сначала и чувствую, что сон отвергает мои попытки. И с этого момента всю ночь часов до пяти я как будто и сплю, и вместе с

тем яркие сны не дают мне заснуть. Я как бы формально сплю «около» себя, в то время как сам я должен биться со снами. Часам к пяти последние остатки сна уничтожены, я только грежу, и это изнуряет еще больше, чем бодрствование. Короче говоря, всю ночь я провожу в том состоянии, в каком здоровый человек пребывает лишь минуту перед тем, как заснуть. Когда я просыпаюсь, меня обступают все сновидения, но я остерегаюсь продумать их. На заре я вздыхаю в подушку, ибо всякая надежда на прошедшую ночь исчезла. Я вспоминаю о тех ночах, в конце которых выбирался из сна столь глубокого, словно был заперт в скорлупе ореха.

Страшным видением сегодня ночью был слепой ребенок, как будто дочь моей ляйтмерецкой тети, у которой вообще нет дочерей, а только сыновья, один из них однажды сломал себе ногу. Во сне существуют какие-то связи между этим ребенком и дочерью д-ра М., превращающейся, как я недавно заметил, из красивого ребенка в толстую, чопорно одетую маленькую девочку. Оба глаза слепого или плохо видящего ребенка прикрыты очками, левый глаз под довольно сильно выпуклым стеклом молочно-серого цвета, выпученный, другой глаз сидит глубоко и прикрыт вогнутым стеклом. Для того чтобы стекло сидело оптически правильно, необходимо было вместо обычной заложенной за ухо дужки применить рычажок, головку которого никак нельзя было прикрепить иначе, кроме как к скуле, так что от стекла к скуле спускается проволочка, уходящая в продырявленное мясо и кончающаяся на кости, из которой выступает другая проволочка, заложенная за ухо.

Вероятно, я страдаю бессонницей только потому, что пишу. Ведь как бы мало и плохо я ни писал, эти маленькие потрясения делают меня очень чувствительным, я ощущаю — особенно по вечерам и еще больше по утрам — дыхание, приближение захватывающего состояния, в котором нет предела моим возможностям, и потом не нахожу покоя из-за сплошного гула: он тягостно шумит во мне, но унять его у меня нет времени. В конечном счете этот гул не что иное, как подавленная, сдерживаемая гармония; выпущенная на волю, она бы целиком наполнила меня, расширила и снова наполнила. Теперь же это состояние, порождая лишь слабые надежды, причиняет мне вред, ибо у меня не хватает сил вынести теперешнюю мысль, днем мне помогает видимый мир, ночь же без помех разрезает меня на части. При этом я всег-

да думаю о Париже, где во времена осады и позже, до Коммуны, население северных и восточных предместий, прежде чужое парижанам, в течение месяцев, как бы толчками, подобно часовой стрелке, буквально с каждым часом все ближе придвигалось переулками к центру Парижа.

Мое утешение — с ним я и отправляюсь спать — в том, что я так долго не писал, что писание еще не могло занять свое место в моей нынешней жизни, и потому оно должно — правда, при наличии определенного мужества — хотя бы некоторое время удаваться.

Я сегодня был настолько слаб, что даже рассказал шефу историю про ребенка. Теперь я вспоминаю, что очки, виденные во сне, принадлежат моей матери, сидящей вечером возле меня и во время игры в карты не очень приветливо поглядывающей на меня сквозь пенсне. Правое стекло ее пенсне — не помню, чтобы я раньше замечал это, — ближе к глазу, чем левое.

3 октября. Диктуя на службе довольно длинное уведомление о несчастных случаях участковым управлениям, я, дойдя до конца, который должен был прозвучать повнушительнее, вдруг запнулся и не мог продолжать, а только уставился на машинистку К., — она же, по своему обыкновению, особенно оживилась, задвигалась в кресле, стала покашливать, рыться на столе и тем самым привлекла внимание всей комнаты к моей беде. Искомый оборот приобрел теперь еще и то значение, что он должен был успокоить ее, и чем необходимей он становился, тем труднее давался. Наконец я нашел слово «заклеймить» и соответствующую ему фразу, но держал все это во рту с чувством отвращения и стыда, словно это был кусок сырого мяса, вырезанного из моего мяса (такого напряжения мне это стоило). Наконец я выговорил фразу, но осталось ощущение великого ужаса, что все во мне готово к писательской работе и работа такая была бы для меня божественным исходом и истинным воскрешением, а между тем я вынужден ради какого-то жалкого документа здесь, в канцелярии, вырывать у способного на такое счастье организма кусок его мяса.

4 октября. Я беспокоен и язвителен. Вчера перед сном у меня в верхней части головы мерцал прохладный огонек. Над левым глазом уже прочно обосновалась давящая тяжесть. Когда я думаю об этом, мне кажется, что

на службе я больше не смог бы выдержать даже в том случае, если бы мне сказали, что через месяц я стану свободен. И тем не менее я, как правило, выполняю на службе свои обязанности, вполне спокоен, если могу быть уверен, что шеф доволен мною, и не считаю свое положение столь ужасным. Впрочем, вчера вечером я намеренно сделался бесчувственным, ходил гулять, читал Диккенса, потом я немного оправился, у меня не было сил предаться грусти, которую я считаю оправданной и тогда, когда она кажется чуть отодвинутой вдаль, что дает мне надежду на лучший сон. Он и был глубже, но недостаточно глубокий, и часто прерывался. Я говорил себе в утешение, что зато снова подавил великое волнение, возникшее во мне, что я не хочу терять власти над собой, как это раньше всегда бывало после таких периодов, что и послеродовые боли этого волнения не заставят меня лишиться четкого сознания, как то всегда бывало прежде. Может быть, я таким образом сумею найти в себе еще какую-то скрытую силу сопротивления.

9 октября. Если я доживу до сорока лет, то, наверное, женюсь на старой деве с выступающими вперед, не прикрытыми верхней губой зубами... Но до сорока я вряд ли доживу, об этом свидетельствует, например, ощущение, будто в левой половине черепа у меня набухает что-то, на ощупь напоминающее внутреннюю прокажу, и, когда я отвлекаюсь от неприятностей и хочу только наблюдать это ощущение, оно напоминает поперечный разрез черепа в школьных учебниках или почти не причиняющее боли вскрытие живого тела, где нож, чуть холодея, осторожно, часто останавливаясь, возвращаясь, иной раз застывая на месте, продолжает отделять тончайшие слои ткани совсем близко от функционирующих участков мозга.

17 октября. Как только я вспоминаю анекдот — Наполеон рассказывает за столом в Эрфурте: «Когда я был еще простым лейтенантом в пятом полку... (Королевские высочества смущенно взглядывают друг на друга, Наполеон замечает это и поправляет себя.) ...Когда я еще имел честь быть простым лейтенантом...», — у меня вздуваются жилы на шее от вполне понятной мне, помимо воли охватывающей меня самой гордости,

23 октября. Спор между Чиссиком и Лёви⁵. Ч.: Эдельштатт — самый крупный еврейский сочинитель. Он возвышен. Розенфельд, конечно, тоже крупный сочинитель, но не первый. Лёви: Ч.— социалист, и, поскольку Эдельштатт пишет социалистические стихи (он редактор еврейской социалистической газеты в Лондоне), Ч. считает его самым крупным. Но кто такой Эдельштатт, его знает его партия, больше же никто, а Розенфельда знает весь мир. Ч.: Дело не в признании. Все, написанное Эдельштаттом, возвышенно. Л.: Я тоже его хорошо знаю. «Самоубийца», например, очень хорош. Ч.: К чему спорить? Мы все равно не сойдемся. Я буду твердить свое до завтра, да и ты тоже. Л.: Я до послезавтра.

26 октября. Подведя черту, писал в отчаянии, потому что сегодня особенно шумно играют в карты, я должен сидеть за общим столом, О. смеется с полным ртом, она встает, садится, тянется через весь стол, обращается ко мне, и я в довершение несчастья пишу так плохо и думаю о хороших, написанных одним духом парижских воспоминаниях Лёви, светящихся его собственным огнем, в то время как я, во всяком случае сейчас, наверняка главным образом потому, что у меня так мало времени, почти полностью нахожусь под влиянием Макса, и это иной раз чересчур отравляет даже радость от его сочинений.

Перепишу автобиографическую заметку Шоу, поскольку она меня утешает, хотя она, собственно говоря, содержит в себе нечто противоположное утешению: подростком он был учеником в конторе одного агента по продаже земельных участков в Дублине. Вскоре покинул это место, уехал в Лондон и стал писателем. За первые девять лет — с 1876 до 1885 года — он заработал всего сто сорок крон. «Но хотя я и был крепким молодым человеком и семья моя жила в трудных условиях, я не бросился в борьбу с жизнью; я бросил в нее мать и жил на ее средства. Я не был поддержкой отцу, напротив, я держался за его штаны». В конце концов это немного утешило меня. Годы, которые он свободным человеком провел в Лондоне, у меня уже позади, возможное счастье все больше становится невозможным, я веду ужасную, какую-то ненастоящую жизнь и достаточно жалок и труслив, чтобы следовать за Шоу хотя бы настолько, чтобы прочитать родителям это место. Как сверкает перед мо-

ими глазами эта возможная жизнь — в стальных красках, в стройных стальных прутьях и прозрачной темноте между ними!

27 октября. Какими израненными мне представляются актеры после спектакля, как я боюсь прикоснуться к ним словом. Я предпочел бы после короткого рукопожатия быстро уйти, словно я зол и недоволен, ибо высказать свое истинное впечатление невозможно. Все кажется мне фальшивыми, за исключением Макса, который спокойно говорит что-то бессодержательное. Но фальшив тот, кто спрашивает о какой-то бесстыдной детали, фальшив тот, кто отвечает шуткой на какое-либо замечание актера, фальшив иронизирующий, фальшив тот, кто пускается в рассуждения о своих разнообразных впечатлениях, весь этот сброд, который, будучи поделом засунут в глубину зрительного зала, теперь, поздней ночью, вылезает оттуда и снова проникается сознанием собственной ценности (очень далекой от подлинной).

28 октября. «Аксиома о драме» Макса на страницах «Шаубюне». Носит характер фантастической истины, к которой как раз и подходит выражение «Аксиома». Чем фантастичнее она раздувается, тем сдержаннее надо ее воспринимать. Высказаны следующие принципы:

Сущность драмы заключена в каком-то человеческом недостатке, это тезис.

Драма (на сцене) более исчерпывающа, чем роман, потому что мы видим все, о чем обычно только читаем.

Но так лишь кажется, ведь в романе автор может показать нам только важное, в драме же, напротив, мы видим все — актера, декорации, — и потому не только важное, следовательно, меньше. Поэтому с точки зрения романа лучшей драмой была бы драма, ни к чему не побуждающая, например философская, которую читали бы вслух актеры в комнате с любой декорацией.

И все же наилучшей является драма, дающая в зависимости от времени и места наибольшие импульсы, освобожденная от всех требований жизни, ограничивающаяся только речами, мыслями в монологах, главными моментами события, во всем остальном управляемая лишь импульсами, поднятая на несомый кем-нибудь из актеров, художников, режиссеров щит, следующая лишь высшему вдохновению.

Ошибки этого умозаключения: оно меняет, не указы-

вая на это, исходную посылку, рассматривает вещи то из писательского кабинета, то из зрительного зала. Допустим, что публика не все видит глазами автора, что постановка ошеломляет его самого, но ведь он носил в себе всю пьесу со всеми деталями, двигался от детали к детали, и только потому, что собрал все детали в речах, он придал им драматическую весомость и силу. Тем самым драма в своем наивысшем развитии оказывается невыносимо очеловеченной, и снизить ее, сделать выносимой — это задача актера, который расслабляет, разжижает предписанную ему роль, доносит ее дыхание. Таким образом, драма парит в воздухе, но не как сорванная бурей крыша, а как целое здание, чей фундамент с силой, еще и сегодня очень близкой безумию, вырван из земли и поднят ввысь.

Иной раз кажется, что пьеса покоится сверху на софитах, актеры отодрали от нее полосы, концы которых они ради игры держат в руках или обернули вокруг тела, и лишь там и сям трудно отторгаемая полоса, на страх публике, уносит актера вверх.

30 октября. Моя старая привычка: чистым впечатлениям, болезненным они или приятны, если только они достигли своей высшей чистоты, не дать благотворно разлиться во мне, а замутнить их новыми, непредвиденными, бледными впечатлениями и отогнать от себя. Тут нет злого намерения повредить самому себе, я просто слишком слаб, чтобы вынести чистоту тех впечатлений, но, вместо того чтобы признаться в этой слабости, дать ей обнаружиться — что было бы единственно правильным — и призвать для подкрепления другие силы, я пытаюсь втихомолку помочь себе, вызывая, будто произвольно, новые впечатления.

Так было, например, в субботу вечером, после того как я услышал прочитанную вслух хорошую новеллу фройляйн Т. ⁶, принадлежащую больше Максу, во всяком случае принадлежащую ему в большей степени и с большим основанием, чем какая-либо его собственная, после того как прослушал отличный отрывок из «Конкуренции» Баума, где захватившая автора драматическая сила полностью передается и читателю, как это бывает при виде изделия увлеченного мастерового, — после слушания этих двух вещей я был так подавлен и моя душа, довольно пустая в течение многих дней, совершенно неожиданно на-

полнилась такой тяжелой грустью, что на обратном пути я заявил Максу, что из «Роберта и Самуэля»⁷ ничего не получится. Для такого заявления тогда не требовалось ни малейшего мужества — ни по отношению к самому себе, ни по отношению к Максу. Дальнейший разговор немного смутил меня, так как «Роберт и Самуэль» в то время отнюдь не был моей главной заботой, и потому я не нашел правильных ответов на возражения Макса. Но когда я потом остался один и ничто не отвлекало меня от моей грусти — ни разговор, ни утешение, почти всегда доставляемое мне присутствием Макса, — безнадежность так переполнила меня, что затуманила мой разум (как раз в это время, когда я сделал перерыв для ужина, пришел Лёви и мешал мне и развлекал меня с семи до десяти часов). Но вместо того, чтобы дома выждать, что случится дальше, я беспорядочно читал два номера «Акция», немного из «Неудачников»⁸, наконец, свои парижские заметки и лег в кровать чуть более довольный собой, но ожесточенный. Нечто подобное было со мной несколько дней тому назад, когда я вернулся после прогулки, полный стремления подражать Лёви, направив извне силу его воодушевления на мою собственную цель. Тогда я тоже читал, много и сумбурно говорил дома и обессилел.

1 ноября. Сегодня после полудня боль из-за моего одиночества охватила меня так пронзительно и круто, что я отметил: таким путем растрачивается сила, которую я обретаю благодаря писанию и которая предназначалась мною во всяком случае не для этого.

2 ноября. Сегодня утром впервые после долгого перерыва снова радость при представлении о поворачиваемом в моем сердце ноже.

В газетах, в разговорах, в канцелярии часто прельщает яркость языка, затем порожденная нынешней слабостью надежда на внезапное и потому особенно сильное озарение, или одна лишь самоуверенность, или просто халатность, или сильное впечатление, которое во что бы то ни стало хочешь свалить на будущее, или мнение, будто нынешний подъем оправдывает любую сумбурность в будущем, или радость от фраз, которые одним-двумя толчками поднимаются посредине и заставляют постепенно раскрыть рот во всю ширь, а затем закрыть даже слыш-

ком быстро и судорожно, или намек на возможность решительного, основанного на ясности суждения, или стремление придать уже законченной речи дальнейшее плавное течение, или потребность спешно бросить, если нужно, на произвол судьбы тему, или отчаяние, ищущее исхода для своего тяжкого дыхания, или стремление к свету без тени — все это может заставить прельститься фразами, подобными следующим: «Книга, которую я сейчас закончил, лучшая из всех, что я до сих пор читал», или: «Так хороша, как никакая другая из прочитанных мною».

5 ноября. Я хочу писать, ощущение непрерывного подергивания на лбу. Я сижу в своей комнате — главном штабе квартирному шуму. Я слышу, как хлопают все двери, их грохот избавляет меня только от звука шагов пробегающих через них людей, а еще я слышу, как затворяют дверцу кухонной плиты. Отец распахивает настежь двери моей комнаты и проходит через нее в волочащемся за ним халате, в соседней комнате выскребает золу из печи, Валли спрашивает из передней, словно кричит через парижскую улицу, вычищена ли уже отцова шляпа, шиканье, которое должно выразить внимание ко мне, лишь подхлестывает отвечающий голос. Входная дверь открывается вначале с простудным сипом, переходящим в быстро обрываемое женское пение, и закрывается с глухим мужественным стуком, который звучит особенно бесцеремонно. Отец ушел, теперь начинается более деликатный, более рассредоточенный, более безнадежный шум, предводительствуемый голосами двух канареек. Я уже и раньше подумывал — а теперь канарейки снова навели меня на эту мысль, — не приоткрыть ли чуть-чуть дверь, не проползти ли, подобно змее, в соседнюю комнату, чтобы вот так, распластавшись на полу, умолять моих сестер и их горничную о покое.

Горечь, которую я чувствовал вчера вечером, когда Макс читал у Баума мой небольшой рассказ об автомобиле. Я замкнулся в себе и сидел, не смея поднять голову, прямо-таки вдавив подбородок в грудь. Беспорядочные фразы с провалами, в которые можно засунуть обе руки; одна фраза звучит высоко, другая низко, как придется; одна фраза трется о другую, как язык о дырявый или вставной зуб; иная же фраза так грубо вламывается, что весь рассказ застывает в досадном недоумении;

то и дело, как волна, накатывается вялое подражание Максу (сюжет то приглушен, то выпячен), иной раз все выглядит как неуверенные шаги на уроке танцев в первые пятнадцать минут. Я объясняю это недостатком времени и покоя, который мешает мне полностью вывить возможности моего таланта. Поэтому на свет появляются всегда только начала — они тут же обрываются; оборванное начало, например, и весь рассказ об автомобиле. Если бы я мог когда-нибудь написать крупную вещь, хорошо выстроенную от начала до конца, тогда история эта никогда не могла бы окончательно отделиться от меня и я был бы вправе спокойно и с открытыми глазами, как кровный родственник здорового сочинения, слушать чтение его; теперь же все кусочки рассказа бегают, как бездомные, по свету и гонят меня в противоположную сторону. И хорошо еще, если я нашел верное объяснение.

9 ноября. Шиллер однажды сказал: главное (или что-то в этом роде) — «претворить аффект в характер».

11 ноября. Как только я каким-либо образом осознаю, что оставляю в покое зло, устранить которое призван (например, внешне благополучную, с моей же точки зрения безотрадную, жизнь моей замужней сестры), я перестаю на какой-то момент ощущать мускулы рук.

Я попытаюсь постепенно составить список того, что во мне бесспорно, затем — вероятно, потом — возможно и т. д. Бесспорна во мне жажда книг. Нет, не владеть ими или читать их я жажду, а видеть их, убеждаться перед витриной книготорговца, что они существуют. Если где-нибудь лежат несколько экзemplаров одной книги, меня радует каждый из них. Жажда эта подобна неверно направленному чувству голода, она словно исходит из желудка. Книги, которыми я сам владею, радуют меня меньше, книги же моих сестер, напротив, меня радуют. Желание владеть ими несравненно слабее, оно почти отсутствует.

14 ноября. Перед сном.

Как плохо быть холостяком⁹, старому человеку напрашиваться, с трудом сохраняя достоинство, в гости, когда хочется провести вечер вместе с людьми, носить для одного себя еду домой, никого с ленивой уверенностью не дожидаться, лишь с усилием или досадой делать

кому-нибудь подарки, прощаться у ворот, никогда не подниматься по лестнице со своей женой, болеть, утешаясь лишь видом из своего окна, если, конечно, можешь приподниматься, жить в комнате, двери которой ведут в чужие жизни, ощущать отчужденность родственников, с которыми можно пребывать в дружбе лишь посредством брака — сначала брака своих родителей, затем собственного брака, дивиться на чужих детей и не сметь беспрестанно повторять: у меня их нет, ибо семья из одного человека не растет, испытывать чувство неизменности своего возраста, своим внешним видом и поведением равняться на одного или двух холостяков из воспоминаний своей юности. Все это верно, но при этом легко совершить ошибку: если так широко расстилаешь перед собой будущие страдания, то взгляд невольно отрывается от них и уже больше не возвращается, а ведь сейчас и позднее ты действительно окажешься перед ними, окажешься перед ними реально, весь целиком, с головой, а значит, и лбом, чтобы бить по нему рукой.

Теперь попытаться сделать набросок вступления к «Рихарду и Самуэлю».

15 ноября. Вчера вечером, уже предвкушая сон, откинул одеяло, лег и вдруг снова явственно ощутил все свои способности, словно держал их в руках; они распирали мне грудь, воспаляли голову, какое-то время я повторял себе, чтобы утешиться по поводу того, что не встаю и не сажусь работать: «Это вредно для здоровья, это вредно для здоровья», и хотел чуть ли не силком натянуть сон на голову. Я все время представлял себе фуражку с козырьком, которую я, чтобы защититься, изо всех сил натягиваю на лоб. Как много я вчера потерял, как тяжело стучала кровь в стесненной голове — обладать такими способностями и держаться только силами, которые необходимы просто для существования и попусту растрачиваются.

Бесспорно: все, что я заранее, даже ясно ощущая, придумываю слово за словом или придумываю лишь приблизительно, но в четких словах, за письменным столом, при попытке перенести их на бумагу, становится сухим, искаженным, застывшим, мешающим всему остальному, робким, а главное — нецельным, хотя ничто

из первоначального замысла не забыто. Разумеется, причина этого в значительной степени кроется в том, что вдаль от бумаги я хорошо придумываю только в состоянии подъема, которого я больше боюсь, чем жажду, как бы я его ни жаждал, но полнота чувств при этом так велика, что я не могу справиться со всем, черпаю из потока вслепую, случайно, горстями, и все добытое таким способом оказывается при спокойном записывании ничтожным по сравнению с той полнотой, в которой оно жило, неспособным эту полноту выразить и потому дурным и вредным, ибо напрасно привлекло к себе внимание.

16 ноября. Из старой записной книжки: «Вечером, после того как я с шести часов утра делал уроки, я заметил, что моя левая рука уже некоторое время из сострадания поддерживает пальцы правой руки».

19 ноября. Воскресенье. Сон:

В театре. Постановка «Далекой страны» Шницлера в обработке Утица¹⁰. Я сижу совсем близко к сцене, мне кажется, что в первом ряду, пока не оказывается, что во втором. Спинка сиденья повернута к сцене, так что удобно смотреть в зрительный зал, сцену же можно видеть, лишь повернувшись. Автор где-то поблизости, я не могу скрыть от него своего плохого мнения о пьесе, которую я, видимо, уже знаю, но зато добавляю, что третий акт должен быть остроумным. Этим «должен быть» я хочу сказать, что, если говорить об удачных местах, я пьесы не знаю и полагаюсь на слышанное мнение; это замечание я повторяю дважды не только для себя, но окружающие не обращают на него внимания. Вокруг меня большая толпа, все словно одеты по-зимнему и потому занимают слишком много места. Люди около меня, позади меня, люди, которых я не вижу, заговаривают со мной, указывают мне на вновь приходящих, называют имена, особенно обращают мое внимание на какую-то протискивающуюся через ряды кресел супружескую пару, потому что у женщины темно-желтое, мужское, длинноносое лицо, и, кроме того, насколько можно увидеть в толпе, над которой возвышается ее голова, она одета в мужской костюм; рядом со мной удивительно непринужденно стоит актер Лёви, очень непохожий на реального, и произносит взволнованные речи, в которых повторяется слово «*principium*», я все жду выражения «*tertium*

comparationis» *, но его нет. В ложе второго яруса, собственно в углу галерей, справа от сцены, которая там примыкает к ложам, стоит позади своей сидящей матери какой-то третий сын семьи Киш и говорит что-то, обращаясь к залу; на нем красивый сюртук с развевающимися полами. Слова Лёви имеют какое-то отношение к этим его словам. Посреди речи Киш показывает на верх занавеса и говорит, что там сидит немецкий Киш¹¹, подруга моего школьного товарища, изучавшего германистику.

Когда занавес поднимается, в зале становится темно и Киш так или иначе должен исчезнуть, он вместе с матерью проносится, чтобы привлечь большее внимание, вверх по галерее, широко раскинув руки и ноги, в развевающейся одежде.

Сцена расположена несколько ниже зрительного зала, на нее приходится смотреть вниз, упиравшись подбородком в спинки сидений. Декорации сводятся к двум низким толстым колоннам посередине сцены. Изображается пир, в котором участвуют девушки и молодые люди. Мне мало что видно, потому что, хотя с началом представления многие из первого ряда ушли, по-видимому за сцену, оставшиеся девушки двигаются на своих местах и их большие, плоские, большей частью голубые шляпы закрывают мне сцену. Но одного невысокого мальчика лет десяти-пятнадцати я вижу на сцене очень отчетливо. У него сухие, разделенные пробором, ровно подстриженные волосы. Он не умеет даже правильно расстелить салфетку на коленях и вынужден поэтому внимательно смотреть вниз; ему приходится изображать в пьесе прожигателя жизни. Это наблюдение мешает мне испытывать особое доверие к спектаклю. Общество на сцене поджидает новых гостей, спускающихся из первых рядов зрительного зала на сцену. Но пьеса плохо разучена. Вот появляется актриса Хакельберг, другой актер, светски-небрежно откинувшись в кресле, называет ее «Хакель», замечает свою ошибку и поправляется. Входит девушка, которую я знаю (мне кажется, ее зовут Франкель), она перелезает как раз на моем месте через ряд; когда она перелезает, видна ее спина, совершенно обнаженная, кожа не очень чистая, на правом бедре расчесанное до крови место величиной с кнопку дверного звон-

* «Третье в сравнении» (лат.), то есть общее как основа для сравнения разного.

ка. Но, оказавшись на сцене и повернув к залу чистое лицо, она играет очень хорошо. Теперь должен издали галопом прискакать на коне певец, рояль передает стук копыт, слышится приближающееся бурное пение, наконец я вижу и певца, который, чтобы передать естественное нарастание звука при стремительном приближении, бежит вдоль верхней галереи на сцену. Он еще не достиг сцены, еще и песня не окончена, и все же он выразил всю крайнюю спешку и громкость пения, даже рояль не может уже передать более отчетливо звук цокающих по камням копыт. Поэтому оба затихают, и певец вступает на сцену, он поет спокойно, только старается так согнуться, чтобы его не было ясно видно,— лишь голова торчит над перилами галереи.

На этом кончается первый акт, но занавес не опускается, в зале по-прежнему темно. На полу сцены сидят два критика и пишут, прислонившись спиной к декорации. Заведущий литературной частью или режиссер с белокурой эспаньолкой впрыгивает на сцену, на лету он повелительно вытягивает одну руку, в другой руке он держит гроздь винограда, прежде лежавшую в вазе с фруктами на пиршественном столе, и ест этот виноград.

Снова повернувшись к зрительному залу, я вижу, что он освещен простыми керосиновыми лампами, которые укреплены, как на уличных фонарях, и теперь, конечно, совсем слабо горят. Вдруг — может быть, из-за плохого керосина или фитиля — из одного фонаря выбивается пламя и сноп искр падает на зрителей, которые неразличимы для глаза и сливаются в черную, как земля, массу. И вот из этой массы поднимается человек, прямо по ней идет к фонарю, вероятно, чтобы привести все в порядок, но сначала смотрит вверх, на фонарь, на мгновение останавливается возле него и, так как ничего не происходит, спокойно возвращается на свое место и исчезает. Я путаю себя с ним и погружаю лицо в черноту.

Я и Макс, должно быть, в корне различны. Как ни восхищаюсь я его сочинениями, когда они лежат передо мною как нечто целое, недоступное моему или чьему-либо другому вмешательству, и даже вот сегодня эти небольшие рецензии на книги, — тем не менее каждая фраза, которую он пишет для «Рихарда и Самуэля», заставляет меня идти на уступки, которые я болезненно ощущаю всем своим существом. По крайней мере сегодня.

Сегодня вечером я снова был полон боязливо сдерживаемых способностей.

20 ноября. Бесспорно мое отвращение к антитезам. Хотя они производят впечатление неожиданности, они не ошеломляют, потому что всегда лежат на поверхности; если они и были неосознанными, то лишь малого недоставало для осознания их. Они, правда, создают ощущение основательности, полноты, непрерывности мысли, но это подобно фигуре в вертящемся колесе; мы гоним по кругу свою незначительную мысль. Они кажутся разными, но лишены нюансов; они набухают, словно от воды, под рукой, первоначально они сулят проникновение в бесконечность, а сводятся к одним и тем же неизменным средним величинам. Они замыкаются на самих себе, их нельзя развить, они указывают отправную точку, но это всего лишь пустоты, стремительный бег на месте, они тянут за собой, как я показал, новые антитезы. Пусть же они и притянут их все к себе, раз и навсегда.

21 ноября. Моя бывшая няня, смугло-желтая лицом, с резко очерченным носом и столь милой мне некогда бородавкой на щеке, сегодня пришла к нам второй раз подряд, чтобы повидать меня. Первый раз меня не было дома, нынче же я хотел, чтобы меня оставили в покое и дали поспать, я просил сказать, что меня нет дома. Почему она так плохо воспитала меня, я ведь был послушным, она сама сейчас говорит об этом в передней кухарке и горничной, у меня был спокойный и покладистый нрав. Почему она не употребила этого мне на благо и не уготовила мне лучшего будущего? Она замужем или вдова, имеет детей, у нее живой язык, не дающий мне заснуть, она уверена, что я высокий, здоровый господин в прекрасном возрасте — двадцати восьми лет, охотно вспоминаю свою юность и вообще знаю, что с собой делать. А я лежу здесь на диване, одним пинком вышвырнутый из мира, подстерегаю сон, который не хочет прийти, а если придет, то лишь коснется меня, мои суставы болят от усталости, мое худое тело изматывает дрожь волнений, смысл которых оно не смеет ясно осознать, в висках стучит. А тут у моей двери стоят три женщины, одна хвалит меня, каким я был, две — какой я есть. Кухарка говорит, что я сразу — она имеет в виду прямиком, без обходных путей — попаду в рай. Так оно и будет.

22 ноября. Бесспорно, что главным препятствием к успеху является мое физическое состояние. С таким телом ничего не добьешься. Я должен буду свыкнуться с его постоянной несостоятельностью. Последние ночи, полные кошмарных сновидений, но длящегося лишь минуты сна, меня сегодня утром настолько выбили из колеи, что, кроме лба своего, я ничего не ощущал, мое нынешнее состояние настолько далеко от хоть сколько-нибудь выносимого, что из одной лишь готовности к смерти я охотно свернулся бы в клубок с деловыми бумагами в руках на цементном полу коридора. Мое тело слишком длинно и слабо, в нем нет ни капли жира для создания благословенного тепла, для сохранения внутреннего огня, нет жира, которым мог бы иной раз подкрепиться измотанный потребностями дня дух, не причиняя вреда целому. Как может это слабое сердце, так часто болевшее в последнее время, гнать кровь через всю длину этих ног. Только до колен — и то ему хватило бы работы, а в холодные голени кровь толкается уже только со старческой силой. Но вот она уже опять необходима наверху, ее ждешь, в то время как она растрачивается попусту внизу. Из-за длины тела все растянута. Что уж оно может сделать, это тело, если, будь оно даже и более плотно сбито, в нем слишком мало сил для того, чего я хочу достичь.

23 ноября. 21-го, в день сотой годовщины смерти Клейста, семья Клейста возложила на его могилу венок с надписью: «Лучшему из нашего рода».

8 декабря. Пятница. Долго не писал, но на этот раз наполовину из-за удовлетворенности, так как я сам закончил первую главу «Рихарда и Самуэля» и считаю особенно удачным начало описания сна в купе. Более того, мне кажется, во мне происходит нечто очень близкое тому шиллеровскому претворению аффекта в характер. Несмотря на все внутреннее сопротивление, я должен это записать.

Максу не понравились последние написанные мною части, во всяком случае потому, что он считает их неподходящими для целого, но возможно, что они и сами по себе кажутся ему плохими. Это очень вероятно, ибо он предостерегал меня от таких длинных описаний, говоря, что подобные описания производят впечатление желеобразных.

Даже если не принимать во внимание все другие препоны (физическое состояние, родители, характер), я увлекаю очень хорошее самооправдание тому, что вопреки всему не сосредоточиваюсь на литературе, из следующего двучлена: пока я не создам большую, полностью удовлетворяющую меня вещь, до тех пор я не могу ни на что отжаться. Это неопровержимо.

9 декабря. Штауффер-Берн¹²: «Сладость продукции вводит в заблуждение относительно ее абсолютной ценности».

Если книга писем или воспоминаний, все равно чьих (на сей раз Карла Штауффера-Берна), оставляет тебя спокойным, не захватывает — ведь для этого требуется искусство, и оно уже само осчастлиливает, — а ты только поддаешься (если не оказывать сопротивления, это случается скоро), даешь собравшимся чужим людям увести тебя и породниться с тобой, тогда нет ничего особенного в том, что, закрыв книгу, вернувшись к самому себе, к своей заново осознанной, заново встряхнутой, издали кратко рассмотренной собственной сущности, ты чувствуешь себя после этой вылазки и этого отдыха лучше, с более легкой головой. Лишь потом мы можем удивиться, что чужие жизненные перипетии, несмотря на их живость, описаны в книге застывшими, хотя по собственному опыту мы знаем, что нет на свете ничего более далекого от какого-либо переживания, например грусти, вызванной смертью друга, чем описание этого переживания. Но то, что годится для нас самих, непригодно для других. Если мы, например, не можем своими письмами выразить собственные чувства — разумеется, здесь есть множество расплывающихся оттенков, — если даже в самом лучшем своем состоянии мы все время прибегаем к таким выражениям, как «неописуемо», «невыразимо», или после «так грустно» или «так прекрасно» должна сразу же следовать раздробляющая фраза с «что», то, словно в награду, нам дана способность воспринимать чужие рассказы со спокойным тщанием, чего, во всяком случае в такой мере, нам не хватает при писании собственных писем. Неведение, в каком мы пребываем относительно тех чувств, которые в зависимости от обстоятельств усилили лежащее перед нами письмо или же скомкали его, — именно это неведение превращается в понимание, ибо мы вынуждены держаться этого письма,

верить только тому, что там написано, считать, таким образом, что все в нем выражено точно, и в этом точном выражении по праву видеть открытую дорогу в глубины человеческого. Так, например, письма Карла Штауффера содержат только рассказ о короткой жизни художника...

(Запись обрывается.)

13 декабря. «Бобровая шуба»¹³. Неровная, без взлетов гаснущая пьеса. Фальшивые сцены с управляющим. Нежная игра актрисы Леман из лессинговского театра. Наклоняясь, она закладывает юбку между коленями. Задумчивый взгляд человека из народа; поднимает обе ладони, которые он слева от лица складывает, словно для того, чтобы добровольно ослабить силу лгущего или клянущегося голоса. Беспомощная, грубая игра остальных. Вольности комика, отступающего от текста (обнажает саблю, путает шляпы). Мое холодное неприятие. Пошел домой, но, еще сидя в театре, с удивлением думал о том, что столько людей в течение целого вечера соглашались пережить столько волнений (на сцене кричат, воруют, обворовываются, докучают, злословят, унижают) и что в этой пьесе, если смотреть ее, зажмурив глаза, слышишь так много неразборчивых человеческих голосов и выкриков. Красивые девушки. Одна из них с гладким лицом, чистой кожей, округлыми щеками, высокой прической, и среди этой гладкости — растерянные, слегка припухлые глаза. Отдельные хорошие места в пьесе, в которой Вольфен одновременно оказывается воровкой и честной подругой умного, прогрессивно и демократически настроенного человека. Какой-нибудь Верхан¹⁴ в качестве зрителя должен, собственно говоря, утвердиться в правильности своих взглядов. Грустный параллелизм четырех актов. В первом акте происходит кража, во втором суд, то же самое в третьем и четвертом актах.

Когда я после некоторого перерыва начинаю писать, я словно вытягиваю каждое слово из пустоты. Заполучу одно слово — только одно оно и есть у меня, и опять все надо начинать сначала.

16 декабря. Воскресенье, двенадцать часов дня. Утро потратил попусту на сон и чтение газет. Страх передписанием рецензии для пражской «Тагблатт». Этот страх

всегда выражается в том, что я при случае, не за письменным столом, придумываю вступительные фразы к тому, что должен написать, и они сразу же оказываются непригодными, сухими, ломаются задолго до конца и своими торчащими изломами предвещают грустный итог.

В переходные периоды — а таким для меня была последняя неделя и нынешний момент тоже — меня часто охватывает грустное, но спокойное удивление собственной бесчувственностью. Я отделен ото всех вещей пустым пространством, через границы которого я даже и не стремлюсь пробиться.

Я убедился, что воскресенье я никогда не могу использовать полнее, чем будний день, так как своим особым распорядком оно опрокидывает все мои привычки и мне необходимо лишнее время, чтобы кое-как приладиться к этому особому дню.

В тот момент, когда я освобожусь от службы, я немедленно осуществлю свое желание написать автобиографию. Такая решительная перемена должна перед началом работы на время стать целью, чтобы суметь управлять потоком событий. Другой же, более плодотворной перемены, которая сама по себе столь страшно невероятна, я не вижу. Тогда работа над автобиографией была бы большой радостью, потому что она давалась бы так же легко, как записывание снов, но вместе с тем дала бы совсем другой, заметный результат, который всегда влиял бы на меня и был бы доступен разуму и чувству каждого.

18 декабря. Позавчера «Гипподамия»¹⁵. Жалкая пьеса. Блуждание по греческой мифологии без всякого смысла и основания. Заметка Квапила на театральной программе, который между строк говорит о том, о чем кричит вся постановка: что хорошая режиссура (которая здесь не что иное, как подражание Рейнгардту) может превратить плохое сочинение в замечательное театральное зрелище. Все это должно показаться грустным хоть что-нибудь повидавшему чеху. Наместник, в перерыве глотающий через открытую дверь своей ложи воздух из прохода. Появление тени мертвой Аксиохи, которая быстро исчезает, потому что в этом мире ее, лишь недавно умершую, снова слишком сильно охватывают прежние человеческие страдания.

Я непунктуален, потому что не чувствую боли ожидания. Я ожидаю, как вол. Когда передо мною хотя бы неясно вырисовывается цель моего нынешнего существования, я поддаюсь слабости и становлюсь столь тщеславным, что ради этой цели охотно все переношу. Если бы я был влюблен, что только не было бы мне тогда под силу! Как долго дожидался я много лет назад под аркадой на Ринге, пока не проходила мимо М., если даже она шла со своим возлюбленным. Я пропускал условленное время встреч — отчасти по небрежности, отчасти из-за того, что мне неведома боль ожидания, но отчасти и ради того, чтобы усложнить новые неуверенные поиски тех, с кем я условился, то есть чтобы обновить ощущение долгого неуверенного ожидания. Уже из того, что ребенком я испытывал нервный страх перед ожиданием, можно заключить, что я был предназначен для чего-то лучшего и что я вместе с тем предчувствовал свое будущее.

У моих хороших состояний нет времени и прав для естественного развития; у плохих же, напротив, их больше, чем требуется. Сейчас я страдаю от такого состояния с девятого числа, почти десять дней, как можно высчитать по дневнику. Вчера я снова лег в постель с пылающей головой, и хотел уже порадоваться, что плохое время окончилось, и уже начать бояться, что буду плохо спать. Но это прошло, я спал довольно хорошо, а бодрствую плохо.

19 декабря. Вчера «Скрипка Давида» Латайнера¹⁶. Изгнанный брат, искусный скрипач, возвращается, как в мечтах моих первых гимназических лет, разбогатевшим домой, но сначала, в нищенской одежде, с обмотанными тряпьем, как у уборщика снега, ногами, испытывает своих никогда не покидавших родины родственников: честную бедную дочь, богатого брата, который не позволяет своему сыну взять в жены бедную кузину, а сам, несмотря на возраст, хочет жениться на молодой. Лишь потом изгнанник открывает себя, распахнув сюртук, под которым на ленте наискось висят ордена, полученные им в награду от всех государей Европы. Игрой на скрипке и пением он превращает всех родственников и их близких в хороших людей и приводит их отношения в порядок.

Сегодня за завтраком случайно заговорил с матерью о женитьбе и детях, я сказал лишь несколько слов, но при этом впервые отчетливо понял, какое неверное и наивное представление имеет обо мне мать. Она считает меня здоровым молодым человеком, который немножко страдает от того, что вообразил себя больным. Фантазии эти со временем исчезнут сами собой, но самый решительный способ уничтожить их — жениться и наплодить детей. Тогда и интерес к литературе сократится до той степени, какая, быть может, и подобает образованному человеку. В нормальном, ничем не урезаемом объеме сам собою разовьется и интерес к моей профессии, или к фабрике, или к чему-нибудь еще, что мне подвернется. Поэтому нет никаких оснований для непрерывного отчаяния в связи с моим будущим; повод для временного, но тоже неглубокого отчаяния может возникнуть тогда, когда мне покажется, будто я снова испортил себе желудок, или когда я, из-за того что много пишу, не смогу спать. Возможностей избавления существуют тысячи. Самая вероятная из них — я внезапно влюблюсь в девушку и не захочу отступить от нее. Вот тогда я увижу, что мне хотели добра и что мне не будут мешать. Но если я останусь холостяком, как дядя в Мадриде¹⁷, тоже не будет большой беды, потому что при моем уме я уж сумею устроиться.

23 декабря. Суббота. Если, видя мой образ жизни, уводящий в неправильную, чуждую всем родным и знакомым сторону, отец выскажет опасение, что из меня получится второй дядя Рудольф¹⁸, то есть посмешище для новой, подрастающей семьи, посмешище, несколько видоизмененное в соответствии с требованиями времени,— с этого момента я почувствую, как в моей матери, с течением лет все более слабо протестовавшей против такого мнения, собирается и крепнет все, что говорит за меня и против дяди Рудольфа и, подобно клину, вбивается между представлениями о нас двоих.

Позавчера на фабрике. Вечером у Макса, где художник Новак как раз раскладывал литографированные портреты Макса. Я растерялся перед ними, не мог сказать ни «да», ни «нет». Макс высказал несколько соображений, которые уже возникли у него, моя мысль завертелась вокруг них, бесплодно. В конце концов я присмотрелся к отдельным листам, во всяком случае, ошеломленность неопытного зрителя улеглась, я нашел, что на

одном листе подбородок круглый, лицо сдавлено, на верхней части туловища словно кольчуга, но она, скорее, выглядит так, будто под обычным костюмом — исполинская фрачная сорочка. В ответ на это художник привел какие-то возражения, взять в толк которые мне не удалось ни с первой, ни со второй попытки, но он ослабил их уже тем, что высказывал их именно нам, которые говорили чистейшую чепуху, в то время как он был внутренне прав. Он утверждал, что диктуемая чувством и даже разумом задача художника — включить портретируемого в систему собственного художественного видения.

Чтобы достичь этого, художник сперва сделал эскиз портрета в красках — он тоже лежал перед нами, и в его темных красках действительно обнаруживалось слишком острое, строгое сходство (эту слишком большую остроту я могу лишь теперь осознать), — Макс признал его лучшим портретом, так как он был не только похож, но глаза и рот на нем были еще и отмечены благородными штрихами, усиленными в должной мере темными красками. Этого действительно нельзя было отрицать. По этому эскизу художник работал потом дома над своими литографиями; делая литографию за литографией, он стремился все больше и больше отойти от натуры, не только не причиняя вреда при этом своему собственному художественному видению, но штрих за штрихом приближаясь к нему. Так, например, ушная раковина утратила свои естественные изгибы и своеобразие очертания и превратилась в углубленную полуокружность вокруг маленького темного отверстия. Костистый, начинающийся уже от ушей подбородок Макса потерял свое человеческое очертание, и, каким бы необходимым оно ни казалось, зрителю отход от правды старой дал слишком мало новой правды. Волосы переданы уверенными, ясными штрихами и остались человеческими волосами, хотя художник и отрицал это.

Требую от нас понимания смысла этих превращений, художник затем лишь мимоходом, но с гордостью указал, что на этих листах все имеет значение и что даже случайное благодаря его воздействию на все второстепенное стало необходимым. Так, узкое бледное кофейное пятно около головы стекает вниз почти через весь портрет, оно нанесено намеренно, с расчетом, и убрать его, не нарушив все пропорции, нельзя. На другом листе слева в углу — большое, намеченное разбросанным пункти-

ром, еле заметное голубое пятно; это пятно нанесено с определенным намерением, ради слабо излучаемого им на все изображение света, в котором художник и продолжал работу. Теперь его ближайшая цель — заняться преобразованием рта, с которым кое-что, но недостаточно, уже проделано, и затем носа; на жалобу Макса, что тем самым литография еще больше отдалится от прекрасного цветного эскиза, он заметил: вовсе не исключено, что она к нему снова приблизится.

Во всяком случае, нельзя не отметить уверенности, с какой художник в любой момент разговора доверялся непредвиденностям своего вдохновения, и одно лишь это доверие с полным правом делало его художественный труд трудом почти научным. Две литографии — «Продавщица яблок» и «Прогулка» — купил.

Одно из преимуществ ведения дневника состоит в том, что с успокоительной ясностью осознаешь перемены, которым ты непрестанно подвержен и в которые ты, в общем и целом, конечно, веришь, догадываешься о них и признаешь их, но всякий раз именно тогда невольно отрицаешь, когда дело доходит до того, чтобы из этого признания почерпнуть надежду или покой. В дневнике находишь доказательства того, что даже в состояниях, которые сегодня кажутся невыносимыми, ты жил, смотрел вокруг и записывал свои наблюдения, что, таким образом, вот эта правая рука двигалась, как сегодня, когда ты благодаря возможности обозреть тогдашнее состояние, правда, поумнел, но с тем большим основанием ты должен признать бесстрашие своего тогдашнего стремления, сохранившегося, несмотря на полное неведение.

24 декабря. Ребенком я испытывал страх, а если не страх, то неприятное чувство, когда отец говорил о последнем дне месяца, об «ultima», а, как делец, он часто говорил об этом. Так как я не был любопытен — а если бы я и задал однажды вопрос, то вследствие медленной работы мысли не смог бы достаточно быстро понять ответ, и, если иной раз и проявлялось слабое любопытство, оно удовлетворялось уже самим вопросом и ответом, не требуя еще и смысла, — выражение «последний день» осталось для меня мучительной тайной; более внимательно вслушиваясь, я различал слово «ultima», но на меня оно не производило столь сильного впечатления. Плохо было и то, что никогда нельзя было окончательно спра-

виться с этим так долго со страхом ожидаемым «последним днем», ибо, как только он проходил — без особых примет, даже без особого внимания (то, что он всегда приходил примерно после тридцати дней, я заметил лишь много позднее) — и благополучно наступало первое число, снова начинали говорить о «последнем дне», правда без особого ужаса, что я без размышлений присоединял к остальным непонятностям.

25 декабря. Все, что я узнал от Лёви о современной еврейской литературе в Варшаве, и то, что я знаю о современной чешской литературе (частично на основе собственных наблюдений), позволяет сделать вывод, что многие заслуги литературы — пробуждение умов, сохранение целостности часто бездеятельного во внешней жизни и постоянно распадающегося национального сознания, гордость и поддержка, которую черпает нация в литературе для себя и перед лицом враждебного окружения, ведение как бы дневника нации, являющееся совсем не тем же, чем является историография, в результате чего происходит более быстрое и тем не менее всегда всестороннее критически оцениваемое развитие, всепроникающее одухотворение широкой общественной жизни, привлечение недовольных элементов, сразу же оказывающихся полезными там, где ущерб может быть причинен просто халатностью, сосредоточение внимания нации на изучении собственных проблем и восприятие чужого лишь в отраженном виде, порождение уважения к людям, занимающимся литературной деятельностью, временное, но приносящее свои плоды пробуждение высоких стремлений в подрастающем поколении, включение литературных явлений в политическую злобу дня, облагораживание и создание возможности обсуждения противоречий между отцами и детьми, исполненный боли, вызывающий к прощению, очищающий показ национальных недостатков, возникновение оживленной и потому осознающей свое значение книжной торговли и жадности к книгам, — все это может достичь даже такая литература, которая вследствие недостатка в выдающихся талантах имеет лишь видимость широко развитой, будучи в действительности развитой не слишком широко. Активность подобной литературы даже большая, нежели литературы, богатой талантами, ибо, поскольку здесь нет писателя, дарование которого заставило бы замолчать по крайней мере большинство скептиков, литературная борьба

оказывается действительно в полной мере оправданной. Поэтому в литературе, не проламываемой большим талантом, нет и щелей, в которые могли бы протиснуться равнодушные. Тем настоятельнее такая литература претендует на внимание. Самостоятельность отдельного писателя гарантируется лучше — разумеется, лишь в пределах национальных границ. Отсутствие непререкаемых национальных авторитетов удерживает совершенно неспособных от литературного творчества. Но и слабых способностей недостаточно, чтобы подпасть под влияние господствующих в данный момент писателей, лишенных характерных особенностей, или чтобы освоить результаты чужих литератур, или чтобы подражать освоенной чужой литературе, что можно увидеть по тому, как, например, внутри столь богатой большими талантами литературы, как немецкая, самые плохие писатели существуют благодаря подражанию отечественным образцам. Особенно эффективно проявляется в вышеупомянутом направлении творческая и благодетельная сила литературы, отдельные представители которой не делают ей чести, когда начинают составлять историко-литературный реестр умерших писателей. Их бесспорное тогдашнее и нынешнее влияние становится чем-то настолько реальным, что это можно перепутать с их творчеством. Говорят о последнем, а подразумевают первое, более того — даже читают последнее, а видят только первое. Но так как то влияние не забывается, а творчество самостоятельно воздействия на воспоминание не оказывает, то нет ни забвения, ни воскрешения. История литературы преподносит неизменный, внушающий доверие блок, которому мода может лишь очень мало повредить.

Память малой нации не меньшая, чем память великой нации, поэтому она лучше усваивает имеющийся материал. Правда, трудится меньшее число историков литературы, но литература — дело не столько истории литературы, сколько дело народа, и потому она сохраняется, хотя и не в своем чистом виде, но надежно. Ибо требования, предъявляемые национальным сознанием малого народа, обязуют каждого всегда быть готовым знать, нести, защищать приходящуюся на него долю литературы, — защищать в любом случае, даже если он ее не знает и не несет.

Старые сочинения получают много толкований, которые обходятся со слабым материалом весьма энергично, правда, энергичность эта несколько сдерживается опасе-

нием, как бы слишком легко не проникли до сути, а также благоговением ко всем ним. Все делается честнейшим образом, но только с какой-то робостью, которая никогда не проходит, исключает всякую усталость и движением чьей-то ловкой руки распространяется на много миль вокруг. В конечном же счете робость не только мешает увидеть перспективу, но мешает и проникнуть в глубь вещей, чем перечеркиваются все эти замечания.

Поскольку нет совместно действующих людей, постольку нет и совместных литературных действий. (Одно какое-нибудь явление задвигается глубоко, чтобы можно было наблюдать его с высоты, или возносится на высоту, чтобы можно было наверху рядом с ним самому утвердиться. Искусственно.) Если же отдельное явление иной раз и осмысливают спокойно, то все равно не достигают его границ, где оно связано с другими однородными явлениями, границы достигают чаще всего в отношении политики, более того, стремятся увидеть эти границы даже раньше, чем они возникают, часто стремятся повсюду находить эти узкие границы. Узость пространства, затем оглядка на простоту и равномерность, наконец, соображение о том, будто вследствие внутренней самостоятельности литературы внешняя ее связь с политикой безопасна,— в результате всего этого литература распространяется в стране благодаря своим крепким связям с политическими лозунгами.

Вообще охотно занимаются литературной разработкой малых тем, которые имеют право быть лишь настолько большими, чтобы суметь вызвать малый восторг, и обладают полемическими перспективами и подпорками. Облеченные в литературную форму ругательства катятся туда-сюда, а в кругу более сильных темпераментов — летают. То, что в больших литературах происходит внизу и образует подвал здания,— подвал, без которого можно и обойтись,— здесь происходит при полном освещении; то, что там вызывает минутное оживление, здесь влечет за собой никак не меньше, чем решение о жизни и смерти всех.

Трудно перестроиться, после того как всем своим существом ощутил эту полезную, радостную жизнь.

Гёте мощью своих произведений задержал, вероятно, развитие немецкого языка. Если проза за это время иной раз и отдалялась от Гёте, то сейчас она в конце концов

снова вернулась к нему с тем большей страстностью, и даже старые обороты, которые, правда, встречаются у Гёте, но с ним не связаны, она теперь усвоила, чтобы насладиться усовершенствованным видом своей безграничной зависимости.

26 декабря. Перечень тех мест в «Поэзии и правде», которые неизъяснимым своим своеобразием производят особенно сильное впечатление живости, даже не очень связанное с собственно изображенным, например представление о мальчишке Гёте, любопытном, богато одетом, всеми любимом, оживленно вторгающемся ко всем знакомым, чтобы видеть и слышать все, что только можно видеть и слышать. Перелистывая сейчас книгу, я не могу найти таких мест, все мне кажется четкими и столь живыми, что ничто случайное не может превзойти их. Следует подождать, пока я в благодушном настроении снова возьмусь за книгу и тогда уж буду останавливаться на нужных местах.

27 декабря. Чувство фальши, которое я испытываю, когда пишу, можно выразить следующим сравнением: человек сидит перед двумя слуховыми окошками и ожидает некоего видения, которое может появиться только в правом окошке. Но именно оно и закрыто еле заметным запором, а видения одно за другим возникают в левом окошке, они упорно стараются привлечь к себе взгляд, добиваются своего и в конце концов, все увеличиваясь в объеме, полностью заслоняют предназначенное отверстие, несмотря на все противодействие. Теперь, если упомянутый человек не хочет покинуть своего места — а он ни в коем случае не хочет, — он вынужден заниматься этими видениями, которые вследствие своей летучести — на одно лишь появление они тратят всю свою силу — не могут удовлетворить его, но когда из-за слабости они задерживаются, их можно разогнать во все стороны, чтобы дать возможность появиться другим, ибо надолго задержать взгляд на одном из них невыносимо и к тому же теплится надежда, что после того, как иссякнут все фальшивые видения, наконец покажутся подлинными. Как мало силы в этом образе. Между настоящим чувством и его описанием проложена, как доска, предпосылка, лишенная всяких связей.

29 декабря. Вот те живые места у Гёте. Стр. 265: «Поэтому я увлек своего друга в леса». Гёте, 307: «В эти часы я не слышал никаких других разговоров, кроме как о медицине или естествознании, и моя фантазия перебралась совсем в другую область».

Даже маленькое сочинение трудно закончить не потому, что наше чувство для окончания требует огня, которого не может породить действительное содержание,— трудно, скорее, потому, что даже маленькое сочинение требует от автора самоудовлетворенности и погруженности в самого себя, выйти из которой в атмосферу привычного дня без твердой решимости и внешнего побуждения трудно, так что, прежде чем закруглить сочинение и тихо отойти от него, автор, гонимый тревогой, срывается с места и потом вынужден извне, руками, которые должны не только работать, но и за что-то держаться, завершить конец.

30 декабря. В моей склонности к подражанию нет ничего актерского, ей недостает прежде всего цельности. Грубое, бросающееся в глаза характерное во всем его объеме я совсем не могу воспроизвести, подобные попытки мне никогда не удавались, они противны моей натуре. К воспроизведению же грубых деталей у меня, напротив, есть явная склонность; я охотно воспроизвожу манипуляции определенных людей с тростью, их жесты, движение пальцев, и это я могу делать без труда. Но как раз эта легкость, эта жажда подражания отдаляет меня от актера, ибо оборотная сторона этой легкости в том, что никто не замечает моего подражания. Лишь собственное признание, удовлетворенность или чаще отвращение подтверждают удачу. Но далеко за пределы этого внешнего подражания выходит подражание внутреннее, которое часто бывает так метко и сильно, что я оказываюсь не в состоянии наблюдать и констатировать подражание,— я обнаруживаю его лишь в воспоминаниях. Подражание это столь совершенно и столь полно подменяет меня самого, что на сцене — при условии, если его вообще можно сделать зримым,— оно было бы невыносимо. От зрителя нельзя требовать большего, чем понимание внешней игры. Если актер, которому предписано избить другого, в возбуждении, под чрезмерным наплывом чувств начнет по-настоящему избивать и другой закричит от боли, тогда в зрителе должен запротестовать

человек и он должен вмешаться. Но то, что в такой форме случается редко, в менее заметных формах случается бесчисленное количество раз. Сущность плохого актера не в том, что он слабо подражает, а скорее в том, что в результате недостатка образования, опыта и способностей он подражает плохим образцам. Но самая существенная его ошибка в том, что он выходит за границы игры и подражает слишком сильно. Его побуждает к этому весьма туманное представление о требованиях сцены, и даже если зритель думает, что тот или иной актер плох, потому что он топчется на месте, теребит пальцами края кармана, неуместно упирает руки в боки, прислушивается к суфлеру, во что бы то ни стало при любых обстоятельствах сохраняет смертельную серьезность, то и этот, свалившийся, как снег, на сцену актер лишь потому плох, что он слишком сильно подражает, даже если он только воображает, что делает это.

31 декабря. Утром я чувствовал себя таким бодрым, готовым писать, теперь же мне совершенно не дает писать мысль, что после обеда я должен буду читать Максу. Это также показывает, насколько я не способен к дружбе, если считать, что дружба в этом смысле вообще возможна. Поскольку во всякую дружбу неизбежно вторгается повседневность, то множество ее проявлений, пусть даже основа ее остается нерушимой, все время заглушается. Правда, нерушимая основа порождает новые проявления дружбы, но, так как всякое такое порождение требует времени и не всякое удастся, никогда нельзя, даже если и не обращать внимания на смену личных настроений, начать снова там, где в последний раз что-то порвалось. Поэтому каждая новая встреча близких друзей должна вызывать у них беспокойство, которое не обязательно должно быть так велико, чтобы оно чувствовалось, но которое может настолько мешать разговору и поведению, что начинаешь недоумевать, тем более что причина кажется непонятной или невероятной. Как же я могу при всем этом читать Максу или писать, думая, что прочту ему написанное.

Кроме того, мне еще мешает, что сегодня утром я листал дневник с мыслью о том, что можно прочесть Максу. При этом я не обнаружил ни особой ценности записей, ни необходимости тут же выбросить все. Мое мнение лежит между обоими суждениями, ближе к первому, но все же оно не таково, чтобы, исходя из ценности напи-

санного, я, несмотря на свою слабость, должен был считать себя исчерпанным. И все-таки самый вид того, сколько я написал, почти безнадежно отвлек меня на несколько часов от источника моего писания, потому что внимание потерялось в том же потоке, ушло в известной мере вниз по течению.

1912

3 января. Многое прочел в «Нойе рундшау». Начало романа «Голый человек»¹, зыбковатая ясность в целом, детали безошибочны. «Бегство Габриэля Шиллинга» Гауптмана. Образование людей. Поучительно в дурном и хорошем.

Новогодье. Я собирался после обеда почитать Максую кое-что из дневников, заранее радовался, но не сделал этого. Мы были настроены по-разному, я ощущал в нем расчетливую мелочность и торопливость, он был почти не другом мне, но я все-таки настолько владел собой, что видел себя его глазами, видел, как я все время бессмысленно листаю тетради, и это листание, мелькание одних и тех же страниц было отвратительно. При такой обоюдной напряженности работать вместе, конечно, было невозможно, и страница «Рихарда и Самуэля», которую мы при обоюдном сопротивлении написали, является лишь свидетельством Максовой энергии, сама же по себе она плоха. Новогодний вечер у Чада. Не так скверно, потому что Велч², Киш и еще один гость внесли свежую струю, так что я в конце концов, правда лишь в пределах этого общества, снова вернулся к Максую. В толпе на улице я потом, уже не глядя на него, пожал ему руку и, как мне вспоминается, гордо пошел, прижимая к себе свои три тетради, прямо домой.

В автобиографии неизбежно вместо соответствующего правде слова «однажды» пишешь «часто». Ибо всегда понимаешь, что воспоминание черпает из темноты то, что словом «однажды» уничтожается, и, хотя слово «часто» его не полностью сберегает, оно по крайней мере в глазах пишущего сохраняется и уносит его к событиям, которых, возможно, и не было в его жизни, но они для него замена тех, о каких он в своих воспоминаниях и думать забыл.

5 января. Когда кажется, будто твердо решил вечером остаться дома³, надел домашнюю куртку, уселся после ужина за освещенный стол и занялся такой работой или игрой, по окончании которой обычно идут спать, когда на улице такая скверная погода, что лучше всего сидеть дома, когда ты так долго спокойно просидел за столом, что уже нельзя уйти, не вызвав отцовского гнева, всеобщего удивления, когда и на лестнице уже темно и ворота заперты и когда, несмотря на все это, ты во внезапном порыве встаешь, надеваешь вместо куртки пиджак, появляешься сразу же одетым для улицы, говоришь, что должен уйти, и, коротко попрощавшись, действительно уходишь и в зависимости от быстроты, с какой захлопываешь входную дверь и тем самым обрываешь всеобщее обсуждение твоего ухода, оставляешь всех в большей или меньшей степени раздосадованными, когда оказываешься уже на улице и тело вознаграждает тебя за неожиданно дарованную ему свободу особой подвижностью, когда чувствуешь, что одним этим решением уйти ты пробудил в себе весь запас решимости, когда яснее, чем обычно, осознаешь, что в тебе больше возможности, нежели потребности легко вызвать и перенести быстрейшую перемену, что, предоставленный самому себе, ты в полной мере наслаждаешься покоем и разумом,— тогда ты на данный вечер выбыл из своей семьи с такой абсолютностью, какой ты не мог бы достичь самым дальним путешествием, и пережил такое необычное в Европе чувство одиночества, что его можно назвать только русским. Оно еще больше усилится, если в этот поздний вечерний час навестить друга, чтобы справиться, как его дела.

7 января. Вчера у Баума. Должен был прийти Штробл, но он был в театре. Баум читал вслух статью «О народной песне», плохо. Затем главу из «Игр судьбы», очень хорошо. Я был безучастен, в плохом настроении не получил никакого представления о вещи в целом. На обратном пути, в дождь, Макс рассказывал мне о плане «Ирмы Полак». Сознаться в своем состоянии я не мог, так как Макс никогда по-настоящему не считается с ним. Потому я поневоле был неискренним, и это вконец мне все отравило. Я был настолько угнетен, что охотнее обращался к Максиму тогда, когда его лицо было в темноте, несмотря на то что при этом мое собствен-

ное лицо на свету легче могло выдать меня. Но потом таинственный конец романа захватил меня вопреки всем помехам. На пути домой после прощания я был полон раскаяния по поводу своего лицемерия и боли из-за его неизбежности. Решил завести тетрадь о своем отношении к Максусу. Что не записано, то мерцает перед глазами, и оптические случайности определяют общее суждение.

Я должен позировать обнаженным художнику Ашеру⁴ для святого Себастьяна.

31 января. Ничего не писал. Велч принес мне книги о Гёте, повергшие меня в рассеянное, бесплодное волнение. План статьи «Ужасная сущность Гёте», страх перед двухчасовой вечерней прогулкой, которую я теперь вменил себе в правило.

4 февраля. Три дня тому назад Ведекинд⁵: «Дух земли». Ведекинд и его жена Тилли тоже играют. Ясный, четкий голос женщины. Узкое, похожее на серп луны лицо. Когда она стоит спокойно, ноги как бы разветвляются в стороны. Пьеса ясна и потом, когда оглядываешься назад, так что можно спокойно и с чувством уверенности в себе идти домой. Остается противоречивое впечатление от чего-то твердо обоснованного и тем не менее по-прежнему чуждого.

Когда я шел в театр, мне было хорошо. Я отведывал свое нутро, как мед. Пил его глоток за глотком. В театре это ощущение сразу же пропало. Впрочем, это было в прошлый раз — «Орфей в аду» с Палленбергом. Постановка была такой плохой, аплодисменты и хохот в стоячих местах партера такими громкими, что я только и мог спастись, сбежав после второго акта и тем самым заставив все умолкнуть.

Рвение, с каким я читаю о Гёте (беседы с ним, студенческие годы, часы, проведенные с Гёте; пребывание Гетё во Франкфурте), захватывает меня целиком и удерживает от писания.

5 февраля. Понедельник. От усталости не могу читать даже «Поэзию и правду». Я тверд снаружи, холоден внутри...

Прекрасный силуэт Гёте во весь рост. Но при виде этого совершенного человеческого тела возникает и чувство отвращения, ибо достичь такой ступени совершенства представляется невозможным, и выглядит эта ступень лишь сконструированной и случайной. Прямая осанка, опущенные руки, тонкая шея, линия колена.

Нетерпение и грусть, вызванные моей вялостью, находят пищу особенно в том, что у меня перед глазами постоянно маячит будущее, уготованное мне ими. Какие вечера, прогулки, приступы отчаяния, когда я лежу в кровати или на диване (7 февраля), ждут еще меня впереди — страшнее чем уже пережитые.

Вчера на фабрике. Девушки в невообразимо грязной и кое-как натянутой одежде, с растрепанными, как после сна, волосами, с тупым выражением лица — из-за непрерывного шума трансмиссий и нескольких автоматически, но каждый раз неожиданно останавливающихся станков, — с ними не здороваются, они будто не люди, перед ними не извиняются, если толкнут, когда зовут их для мелкой работы; они ее исполняют и тут же возвращаются к станку, кивком головы им указывают, что им делать; они стоят здесь в нижних юбках, подвластные ничтожнейшей силе, у них нет даже возможности понять, что это за сила, чтобы взглядом или поклоном выразить свою признательность и снискать ее расположение. Но как только пробьет шесть часов, они криком оповещают об этом друг друга, сдергивают косынки с шеи и головы, счищают с себя пыль щеткой, переходящей из рук в руки и нетерпеливо выхватываемой друг у друга, через головы снимают юбки, смывают, насколько возможно, грязь с рук — в конце концов, они ведь женщины, они умеют, несмотря на бледность и плохие зубы, улыбаться, они распрямляют затекшее тело, их нельзя уже толкать, рассматривать или не замечать, даешь им дорогу, прижимаясь к грязным ящикам, держишь шляпу в руке, когда они говорят «добрый вечер», и не знаешь, как быть, когда одна из них подает тебе пальто.

8 февраля. Гёте: «Мое желание творить было безграничным».

26 февраля. Сегодня напишу Лёви. Письма к нему я буду переписывать сюда, потому что надеюсь ими достичь чего-нибудь:

Дорогой друг...

27 февраля. У меня нет времени дважды писать письма.

Вчера вечером в 10 часов я уныло плелся вниз по Целтнергассе. Неподалеку от шляпного магазина Гесса, шагах в трех от меня, останавливается молодой человек, чем вынудил остановиться и меня, снимает шляпу и бросается ко мне. В испуге я отшатываюсь, думаю сначала, что он хочет узнать дорогу к вокзалу, но почему таким образом? Потом, поскольку он доверительно приближается и снизу заглядывает мне в лицо, потому что я выше его ростом, я решаю: может быть, он хочет просить денег или еще чего похуже. Мое смятенное молчание и его смятенная речь сливаются воедино. «Вы юрист, не правда ли? Доктор? Пожалуйста, не могли бы вы дать мне совет? У меня судебное дело, мне нужен адвокат». Из осторожности, общей подозрительности и страха, что я могу осрамиться, я говорю, что не юрист, но готов дать ему совет. В чем состоит его дело? Он начинает рассказывать, я слушаю с интересом; чтобы укрепить его доверие, предлагаю ему продолжить разговор по дороге, он предлагает проводить меня, нет, лучше я пойду с ним, мне все равно куда идти.

Он хороший чтец-декламатор, раньше был далеко не таким хорошим, как сейчас, но теперь уже может так подражать Кайнцу, что никто их не различит. Могут сказать, что он только подражает, но он добавляет и много своего. Он, правда, маленького роста, но мимика, память, манера держаться — все, все у него есть. На военной службе, в лагере в Миловице, он декламировал, один товарищ пел, они прекрасно развлекались. Это было хорошее время. Охотнее всего он декламирует Демеля⁶, например страстные нескромные стихи о невесте, воображающей брачную ночь; когда он их декламирует, это производит сильное впечатление, особенно на девушек. Оно и понятно. Он очень красиво переплел Демеля, в красную кожу. (Он показывает жестами, как это выглядит.) Но дело не в переплете. Кроме того, он очень охотно декламирует Ридеамуса⁷. Нет, эти разные вещи совсем не противоречат друг другу, он их связывает, говорит от себя, что приходит на ум, морочит

публике голову. Затем в его программе «Прометей». Здесь уж он никого не боится, даже Моисси⁸, Моисси пьет, он — нет. Наконец, он очень охотно читает из Света Мартена, это новый северный писатель. Очень хороший. Пишет эпиграммы, короткие изречения. Особенно великолепны о Наполеоне, но также и все прочие о других великих людях. Нет, декламировать он отсюда еще ничего не может, он еще не выучил их, даже не все прочитал, его тетя ему недавно читала их, вот тогда они ему и понравились.

Он собирался выступить с этой программой и предложил обществу «Фрауэнфортшритт» выступить на вечере. Собственно говоря, он хотел сначала прочитать «Усадебную историю» Сельмы Лагерлёф⁹ и одолжил этот рассказ для ознакомления председательнице «Фрауэнфортшритта» госпоже Дюреж-Воднанской. Она сказала, что рассказ-то сам по себе хорош, но слишком велик, чтобы читать его со сцены. Он согласился, рассказ действительно слишком велик, тем более что на задуманном вечере должен был еще играть его брат-пианист. Его брату двадцать один год, он очень милый молодой человек, настоящий виртуоз, два года (четыре года тому назад) проучился в высшей музыкальной школе в Берлине. Но вернулся совершенно испорченным. Собственно, не испорченным, но хозяйка, у которой он был на пансионе, влюбилась в него. Он потом рассказывал, что так часто уставал, что не мог играть — настолько его заездила эта карга.

Поскольку «Усадебную историю» отклонили, сошлись на другой программе: Демель, Ридеамус, «Прометей» и Свет Мартен. Но для того чтобы заранее показать госпоже Дюреж, что он за человек, он принес ей рукопись своего сочинения «Радость жизни», написанного летом нынешнего года. Он писал его на даче, днем стенографировал, вечером переписывал набело, отшлифовывал, отделявал, но, собственно, труда оно потребовало немного, так как удалось ему сразу. Если я хочу, он мне одолжит его, оно написано, правда, популярно, намеренно популярно, но там есть хорошие мысли, и оно, как говорится, «со вкусом». (Тонко усмехнулся, вздернув подбородок.) Если я хочу, могу его сейчас полистать, под электрическим фонарем. (Это призыв к молодежи не грустить, ибо существует ведь природа, свобода, Гёте, Шиллер, Шекспир, цветы, мотыльки и т. д.) Дюреж сказала, что у нее сейчас нет времени читать, но

пусть он оставит ей свое сочинение, она вернет через несколько дней. У него уже возникло подозрение, и он не хотел оставлять, всячески уклонялся, сказал, например: «Видите ли, госпожа Дюреж, зачем оно вам, в нем одни банальности, это, правда, хорошо написано, но...» Ничто не помогло, пришлось оставить. Это было в пятницу.

28 февраля. В воскресенье утром, когда он умывался, он вдруг вспомнил, что еще не читал «Тагблатт». Он раскрывает его, случайно, как раз на первой странице литературного приложения. Ему бросается в глаза заголовок первой статьи «Ребенок как творец», он читает первые строки и начинает плакать от радости. Это его сочинение, слово в слово его сочинение. Его впервые напечатали! Он бежит к матери и рассказывает ей. Какая радость! Старая женщина, страдающая сахарной болезнью и разведенная с отцом, который, впрочем, не виноват, она так гордится. Один сын — музыкант-виртуоз, другой станет писателем!

После того как первое возбуждение улеглось, он задумался. Как его сочинение попало в газету? Без его согласия? Без указания имени автора? И он не получит гонорара? Это злоупотребление доверием, обман. Эта госпожа Дюреж — суший дьявол. У женщин нет души, как сказал Магомет (несколько раз повторяет). Нетрудно себе представить, каким образом совершился плагиат. Попалось прекрасное сочинение, такое на улице не валяется. И вот госпожа Д. пошла в редакцию «Тагблатт», села рядом с редактором, и оба, не помня себя от счастья, взялись за переделку. Не переделывать было нельзя: во-первых, чтобы с первого взгляда не обнаружился плагиат, и, во-вторых, сочинение в тридцать две страницы слишком велико для газеты.

Я спросил, не покажет ли он мне совпадающие места, они меня особенно интересуют, и я лишь потом смогу дать совет, как ему поступить; он начал читать свое сочинение сначала, потом раскрыл его на другом месте, полистал, ничего не нашел и наконец сказал, что списано все. Например, в газете написано: душа ребенка — это чистый лист бумаги, а «чистый лист бумаги» есть и в его сочинении. Или: слово «поименовать» тоже списано у него, разве иначе найдешь такое слово, как «поименовать». Но отдельные места он сравнивать не может. Хотя и списано все, все замаскировано, подано в дру-

гой последовательности, сокращено и разбавлено небольшими дополнениями.

Я читаю вслух несколько бросающихся в глаза мест из газеты. Есть это в его сочинении? Нет. А это? Нет. Это? Нет. Да, но это и есть как раз присочиненные места. Внутри же все, все списано. Боюсь, что доказать это будет трудно. Он докажет, с помощью умелого адвоката, для того ведь и существуют адвокаты. (Он смотрит на это доказательство как на совершенно новую, полностью отделенную от самого дела задачу и горд тем, что считает себя способным выполнить ее.)

То, что это его сочинение, видно, кстати, и из того, что оно опубликовано через два дня. Обычно ведь проходит по крайней мере месяца полтора до публикации принятой вещи. Здесь же им, понятно, пришлось поспешить, чтобы он не вмешался. Потому и хватило двух дней.

Кроме того, сочинение в газете называется «Ребенок как творец». Это явный намек на него и, кроме того, шпилька. Под «ребенком» подразумевается именно он, ведь раньше его считали «ребенком», «глупым» (он действительно был таким, но только во время военной службы, а служил он полтора года), этим заголовком хотят теперь сказать, что он, ребенок, создал нечто хорошее — данное сочинение, но что, хотя он и проявил себя как творец, он все же остался глупым, как ребенок, дав себя так обмануть. Под тем ребенком, о котором идет речь в первом абзаце, подразумевается кузина из деревни, живущая сейчас у его матери.

Но особенно убедительно плагиат подтверждается одним обстоятельством: до которого он додумался, правда, после длительного размышления: «Ребенок как творец» дан на первой странице литературного приложения, на третьей же странице дан небольшой рассказ некой Фельдштайн. Фамилия эта, очевидно, псевдоним. Незачем читать весь рассказ, достаточно пробежать глазами первые строки, чтобы сразу понять: это бесстыдное подражание Сельме Лагерлёф. Рассказ в целом обнаруживает это с еще большей отчетливостью. Что сие означает? Это означает, что Фельдштайн, или как бы ее там ни звали, является креатурой Дюреж, что та дала ей прочитать «Усадебную историю», которую он принес, воспользовалась этим сочинением для написания своего рассказа, и таким образом, обе бабы использовали его — одна на первой, другая на третьей

странице литературного приложения. Разумеется, каждый может и по собственному побуждению прочитать Лагерлёф и начать ей подражать, но здесь именно его влияние уж слишком очевидно. (Он часто ударяет рукой по одной и той же странице.)

В понедельник в обед, сразу после закрытия банка, он, разумеется, пошел к госпоже Дюреж. Она приоткрывает дверь только на узенькую щелочку, она явно испугана: «Но, господин Райхман, почему вы пришли в такое время? Мой муж спит, я не могу сейчас впустить вас». — «Госпожа Дюреж, вы непременно должны меня впустить. Речь идет о важном деле». Она видит — я не шучу, и впускает меня. Мужа, конечно, дома не было. В соседней комнате я вижу на столе мою рукопись и сразу же делаю свои выводы. «Госпожа Дюреж, что вы сделали с моей рукописью? Вы без моего разрешения отдали ее в «Тагблатт». Какой гонорар вы получили?» Она дрожит, твердит, что ничего не знает, не имеет представления, каким образом рукопись могла попасть в газету. «J'accuse *, госпожа Дюреж, — говорю я, наполовину шутя, но все же так, что она понимает мое истинное настроение, и это «j'accuse, госпожа Дюреж» я повторяю все время, пока нахожусь там, чтобы она как следует это запомнила, и повторяю еще много раз при прощании у дверей. Я, конечно, хорошо понимаю ее страх. Если я расскажу обо всем и предъявлю иск, это погубит ее репутацию, она должна будет покинуть «Фрауэнфортшритт» и т. д.

Прямо от нее я иду в редакцию «Тагблатт» и прошу вызвать редактора Лёва. Он выходит, понятно, бледный как полотно, едва в силах двигаться. Тем не менее я не хочу сразу начинать о своем деле, хочу сперва испытать его. Я спрашиваю его: «Господин Лёв, вы сионист?» (Я ведь знаю, что он сионист.) «Нет», — говорит он. Мне известно достаточно, значит, он должен передо мной притворяться. Теперь я спрашиваю о статье. Опять уклончивая речь. Он-де ничего не знает, не имеет никакого отношения к литературному приложению, позовет, если я хочу, соответствующего редактора. «Господин Виттман, идите сюда», — зовет он, довольный, что может уйти. Приходит Виттман, тоже очень бледный. Я спрашиваю: «Вы редактор литературного приложе-

* Я обвиняю (франц.).

ния?» Он: «Да». Я говорю лишь: «J'accuse» — и ухожу.

Из банка я сразу же звоню по телефону в «Богемию», говорю, что хочу опубликовать у них эту историю. Но дозвониться не удалось. И знаете почему? Редакция «Тагблатт» находится вблизи главного почтамта, поэтому те, из «Тагблатт», легко могут по своему усмотрению управлять связью, прерывать или соединять. И я действительно все время слышал в трубке неясный шепот, очевидно, редакторов «Тагблатт». Конечно же, они очень заинтересованы в том, чтобы этот телефонный разговор не состоялся. Тут я услышал (разумеется, очень неясно), как одни уговаривали телефонистку не соединять меня, в то время как другие уже говорили с «Богемией» и отговаривали их заниматься моей историей. «Фройляйн,— кричу я в телефон,— если вы немедленно не соедините меня, я пожалуюсь почтовой дирекции». Коллеги в банке обступили меня и смеются, слыша, как энергично я разговариваю с телефонисткой. «Позовите редактора Киша. У меня есть для «Богемии» исключительно важное сообщение. Если там его не опубликуют, я немедленно передам его в другую газету. Время не терпит». Но так как Киша нет на месте, я кладу трубку, ничего не выдавая.

Вечером я иду в «Богемию» и прошу вызвать редактора Киша. Я рассказываю ему свою историю, но он не хочет ее публиковать. «Богемия»,— говорит он,— не может этого сделать, это вызвало бы скандал, а мы не можем себе позволить такое, потому что мы люди зависимые. Передайте дело адвокату, это самое лучшее.

Уйдя из «Богемии», я встретил вас и вот прошу совета.

— Я вам советую кончить дело миром.

— Я тоже думал, что так было бы лучше. Она ведь женщина. У женщин нет души, как справедливо сказал Магомет. И простить было бы более человечно, по-гётевски.

— Конечно. И тогда вам не нужно будет отменять выступление с декламацией, от которого в противном случае придется отказаться.

— Что же я должен теперь делать?

— Пойдите туда завтра и скажите, что считаете, что на сей раз они бессознательно поддались влиянию.

— Прекрасно. Я так и сделаю.

— Но от мести вам не следует отказываться. Опубликуйте свое сочинение где-нибудь в другом месте и

пошлите его потом госпоже Дюреж с хорошим посвящением.

— Это будет лучшим наказанием. Я опубликую его в «Дойчес абендблатт». Там у меня его возьмут, в этом я не сомневаюсь. Я просто откажусь от гонорара.

Потом мы говорим о его артистическом таланте. Я замечаю, что ему все-таки надо бы поучиться. «Да, вы правы. Но где? Не знаете ли вы, где этому учат?» Я говорю: «Это трудно. Я плохо разбираюсь в этом». Он: «Неважно. Спрошу Киша. Он журналист и имеет большие связи. Уж он-то даст мне хороший совет. Я просто позвоню ему, избавлю его и себя от необходимости куда-то идти и все узнаю».

— А с госпожой Дюреж вы поступите так, как я вам советовал?

— Да, только я забыл, что вы мне советовали?

Я повторяю свой совет.

— Хорошо, я так и поступлю.

Он идет в кафе «Корсо», я — домой, обогащенный опытом: как освежающе действует разговор с законченным дураком. Я почти не смеялся, я был только очень оживлен.

2 марта. Кто подтвердит мне истинность или правдоподобность того, что лишь из-за моего литературного призвания я ни к чему другому не испытываю интереса и потому бессердечен?

3 марта. 28 февраля у Моисси. Противоестественный вид. Он сидит как будто бы спокойно, держит руки, наверх морщинистые, между колен, глаза устремлены в свободно лежащую перед ним книгу, над нами разносится его голос с прерывающимся, словно у бегуна, дыханием.

Хорошая акустика зала. Ни одно слово не теряется, не возвращается, как слабое эхо, — все постепенно увеличивается, словно голос, давно уже занятый где-то в другом месте, непосредственно продолжает здесь звучать, все усиливая первоначальные задатки и захваты-вая нас.

Здесь начинаешь понимать возможности собственного голоса. Так же как зал работает на голос Моисси, так и его голос работает на нас. Беззастенчивые актерские приемы и эффекты, при которых опускаешь глаза и к которым сам никогда не прибег бы: начало отдель-

ных стихов словно поется, например «Спи, Мириам, дитя мое», вибрирующий голос, быстрое извержение майской песни, кажется, будто кончик языка мелькает между словами; паузы между словами «ноябрьский ветер», для того чтобы толкнуть вниз «ветер» и дать ему со свистом взмыть вверх. Если смотреть на потолок зала, стихи поднимут тебя вверх.

Стихотворения Гёте недосыгаемы для декламатора, поэтому не стоит указывать на ошибки этого исполнения, ибо каждая из них отразила лишь стремление к цели. Сильным было впечатление, когда он, читая на «бис» «Песнь дождя» Шекспира, стоял прямо, не глядя в текст, мял и комкал в руках платок и сверкал глазами.

Круглые щеки и все-таки угловатое лицо. Мягкие волосы, которые он все время приглаживает мягкими движениями рук. Восторженные рецензии, которые мы читали о нем, влияют на нас лишь до тех пор, пока мы сами не услышим его, но потом они сбивают нас и мешают непосредственному восприятию.

Эта манера декламировать сидя, с книгой перед глазами, немного напоминает чреовещание. Артист, как будто безучастный, сидит, как и мы, время от времени мы едва видим на его опущенном лице движения губ и стихи будто сами собой произносятся над его головой. Несмотря на то что прозвучало столько мелодий и казалось, будто он управляет голосом, словно легкой лодкой на воде, мелодии стихов, собственно говоря, не было слышно. Иные слова голос как бы растворял, он касался их так нежно, что они куда-то уносились, отрываясь от человеческого голоса, пока вдруг какой-нибудь резкий согласный звук не возвращал слово на землю и голос не умолкал.

8 марта. Вчера доклад Гардена¹⁰ о «Театре». Повидимому, целиком импровизированный; я был в довольно хорошем настроении и потому счел его не столь пустым, как остальные. Хорошее начало: «В этот момент, когда мы здесь собрались для обсуждения «Театра», во всех зрительных залах Европы и всех остальных частей света раздвигается занавес и открывает перед зрителями сцену». Перед ним электрическая лампа, подвижно укрепленная на уровне груди, она освещает пластрон сорочки, как на витрине бельевого магазина; двигая лампу во время доклада, он меняет освещение.

Приподнимается на цыпочки и пританцовывает, чтобы казаться выше ростом и усилить впечатление импровизации. Непристойно обтягивающие брюки. Короткий фрак сидит на нем туго, как на кукле. Лицо серьезно, почти напряжено, напоминает то старую даму, то Наполеона. Лоб бледный, как в парике. Вероятно, он занят в корсет.

10 марта. Воскресенье. Он изнасиловал девушку в небольшом местечке в Изерских горах, где прожил целое лето, чтобы вылечить больные легкие. Не помня себя, как то случается с легочными больными, он после короткой попытки склонить ее уговорами кинул девушку, дочь своей хозяйки, которая охотно согласилась прогуляться с ним вечером после работы, на траву на берегу речки и овладел ею, потерявшею от страха сознание. Потом ему пришлось пригоршнями зачерпывать воду в реке и плескать ей в лицо, чтобы вернуть к жизни. «Юльхен, ну Юльхен»,— без конца повторял он, склонившись над нею. Он был готов взять на себя любую ответственность за свой проступок и только изо всех сил старался объяснить самому себе, насколько серьезно его положение. Он пытался постичь, как это могло с ним случиться. Сама по себе девушка, которая лежала перед ним и уже начала ровно дышать, но лишь от страха и смущения не открывала глаз, его не беспокоила; носком ботинка он, большой, сильный человек, мог бы отбросить ее в сторону. Она была слаба и невзрачна—могло ли то, что с ней случилось, завтра иметь хоть какое-нибудь значение? Разве не придет всякий к такому выводу, сравнив их обоих? Река спокойно тянулась между лугами и полями к лежащим в отдалении горам. Солнечный свет падал лишь на склон противоположного берега. С чистого вечернего неба уплыли последние облака.

Ничего не получается, ничего. Таким путем я вызываю перед собой только призраки. Я был захвачен, хоть и слабо, лишь тогда, когда писал: «Потом ему пришлось...», главным образом при слове «плескать». В описании пейзажа мне какое-то мгновение виделось что-то правильное.

11 марта. Декламатор Райхман на следующий день после нашего разговора попал в сумасшедший дом.

16 марта. Суббота. Снова ободрился. Снова я ловлю себя, как мяч, который падает и которыйловишь во время его падения. Завтра, сегодня начну более крупную работу, которая просто должна быть мне по плечу. Я не отступлюсь от нее, пока хватит сил. Лучше бессонница, чем такое существование.

17 марта. Гёте, утешение в боли. Все дают боги, бесчисленные, своим любимцам, все сполна: все радости, бесчисленные, все боли, бесчисленные, все сполна...

18 марта. Я был мудрым, если угодно, потому что в любое мгновение готов был умереть, но не потому, что выполнил все возложенное на меня, а потому, что, ничего из всего этого не сделал и не мог даже надеяться когда-нибудь сделать хоть часть.

26 марта. Только не переоценить написанного мною, иначе я не напишу того, что мне предстоит написать.

1 апреля. Впервые за неделю почти полная неудача в работе. Почему? На прошлой неделе я тоже прошел через разные состояния и не дал им повлиять на работу; но я боюсь писать об этом.

3 апреля. Вот так и прошел день: до обеда — служба, после обеда — фабрика, теперь вечером — крики в квартире справа и слева, позже — надо привезти сестру с «Гамлета». И ни на одну минуту не находил себе места.

9 мая. Вчера вечером с Пиком¹¹ в кафе. Как я, несмотря на все тревоги, держусь за свой роман¹² — совсем как скульптурная фигура, которая смотрит вдаль, держась на глыбе.

Безотраднй вечер в семье. Зятю нужны деньги для фабрики, отец взволнован из-за сестры, из-за конторы и из-за своего сердца, моя несчастная вторая сестра, из-за всех нас несчастная мать — и я со своим сочинительством.

23 мая. Сегодня вечером от скуки три раза подряд мыл руки в ванной.

6 июня. Читаю в письмах Флобера: «Мой роман — утес, на котором я вишу, и я ничего не знаю о том, что происходит в мире». Похоже на то, что я записал о себе 9 мая.

Невесомый, бескостный, бестелесный, два часа бродил по улицам и обдумывал, что я пережил после обеда, когда писал.

7 июня. Зол. Ничего не писал. Завтра не будет времени.

Понедельник, 6 июля. Немножко начал. Слегка сонный. И одинокий среди этих совершенно чужих людей.

9 июля. Так долго ничего не писал. Завтра начать. Иначе я снова увязну во все расширяющемся неудержимом недовольстве; собственно говоря, оно уже охватило меня. Начались нервозности. Но ежели я что-нибудь умею, то умею без всяких суеверных мер предосторожности.

Черт придуман. Если мы одержимы чертом, то не может существовать один черт, иначе мы, по крайней мере на земле, жили бы спокойно, как с богом, единодушно, без противоречий, без размышлений, зная, что он постоянно следует за нами по пятам. Его облик не пугал бы нас, ибо, принадлежа черту, мы при некоторой чувствительности к его виду были бы достаточно благоразумны и охотно принесли бы в жертву руку, чтобы прикрыть его лицо. Если бы мы находились во власти одного-единственного черта, который спокойно и без помех мог бы узнать все о нашей сущности, мог бы в любую минуту распорядиться нами по своему усмотрению, тогда у него хватило бы сил, чтобы в течение человеческой жизни держать нас так высоко над божьим духом в нас да еще давать возможность взлета, что мы и отблеска его не увидели бы и, таким образом, нас никто и оттуда не тревожил бы. Только множество чертей может составить наше земное несчастье. Почему они не уничтожат друг друга и не оставят только одного или почему они не подчинятся одному великому черту? И то и другое соответствовало бы чертову принципу — по возможности сильнее обмануть нас. Пока нет единства, что пользы от чрезмерной заботливости, которой окружают нас все черти? Совершенно естествен-

но, что чертям должно быть больше дела до выпадения одного человеческого волоса, чем богу, ибо черт действительно теряет этот волос, бог же — нет. Но пока в нас сидит много чертей, мы все равно не обретем хорошего самочувствия.

7 августа. Долгие муки. Наконец написал Максу, что не могу разделаться с оставшимися кусочками, не хочу насиловать себя и потому книгу не издам¹³.

8 августа. С мимолетным удовлетворением закончил «Мошенника». Из последних сил нормального состояния духа. Двенадцать часов, как смогу я уснуть?

9 августа. С вдохновением читал вслух «Бедного музыканта». В этой новелле проявилось мужество Грильпарцера¹⁴. Он умел на все отважиться и ни на что не отваживался, ибо все в нем было истинным, и если на первый взгляд что-то казалось противоречивым, то в решающий момент оно доказывало свою истинность. Как он спокойно распоряжается сам собой. Медленный шаг, никуда не спешащий. И мгновенная готовность, когда требуется, не раньше, ибо он точно все предвидит.

10 августа. Ничего не писал. Был на фабрике и два часа дышал газом в машинном отделении. Энергия мастера и кочегара, потраченная на мотор, который по непостижимой причине не хочет завестись. Жалкая фабрика.

11 августа. Ничего, совсем ничего. Сколько времени отнимает у меня издание маленькой книжки и сколько вредной, смехотворной самоуверенности возникает при чтении старых вещей в расчете на опубликование! Только это и удерживает меня от писания. И все же я в действительности ничего не достиг, расстройство — лучшее доказательство этого. Во всяком случае, я теперь, после выхода книжки, должен буду еще дальше держаться от журналов и критики, если не хочу удовольствоваться тем, чтобы лишь кончиками пальцев касаться правды. Как тяжел на подъем я стал! Раньше стоило мне сказать только одно слово, противостоящее заданному в настоящий момент направлению, и я мгновенно сам отлетал в противоположную сторону, теперь же я просто смотрю на себя и остаюсь таким, как есть.

14 августа. Письмо Ровольту ¹⁵.

Глубокоуважаемый господин Ровольт!

Посылаю рассказы, которые Вы желали посмотреть; они, пожалуй, составят небольшую книжку. Когда я отбирал их для этой цели, мне иной раз приходилось выбирать между присущим мне чувством ответственности и жаждой увидеть и мою книжку среди Ваших прекрасных книг. Конечно, не всегда выбор был совершенно безоговорочным. Но теперь, разумеется, я был бы счастлив, если бы мои вещи понравились Вам хотя бы настолько, чтобы Вы их опубликовали. В конце концов, недостатки в этих вещах даже опытному и понимающему читателю открываются не с первого взгляда. Вель индивидуальность писателя в том главным образом и состоит, что свои недостатки каждый прикрывает на свой особый манер.

Преданный Вам.

15 августа. Бесплезный день. Я сонный, смущенный. Праздник Богородицы на Альтштедтер-Ринг. Человек с голосом как из ямы. Много думал — что за смущение перед написанием имени? — о Ф. Б. ¹⁶. Вчера — «Польское хозяйство» ¹⁷. Сейчас О. читала наизусть стихи Гёте. Выбирает она с настоящим чувством. «Утешение в слезах», «Лотте», «Вертеру», «К луне».

Снова читал старые дневники, вместо того чтобы держаться подальше от этих вещей. Я живу крайне неразумно. Но во всем виновато издание тридцати одной страницы ¹⁸. Конечно, еще более виновата моя слабость, которая позволяет подобным вещам влиять на меня. Вместо того чтобы встряхнуться, я сижу здесь и думаю, как бы пообиднее выразить все это. Но мое страшное спокойствие мешает изобретательности. Мне любопытно, как я выберусь из этого состояния. Подтолкнуть себя я не дам, правильной дороги не знаю, как же это получится? Окончательно ли я застрял, как большая глыба на узкой дороге? Тогда я мог бы по крайней мере поворачивать голову. Это я и делаю.

20 августа. Если бы Ровольт вернул это и я смог бы снова все запереть и сделать так, будто ничего и не было, чтобы стать лишь столь же несчастным, как прежде.

21 августа. Непрерывно читал Ленца¹⁹ и набирался у него — вот как обстоит со мной дело! — ума.

Картина недовольства, которую являет собой улица: каждый отталкивается от того места, где стоит, — чтобы уйти.

30 августа. Все время ничего не делал. Приезд дяди из Испании. В прошлую субботу Верфель²⁰ декламировал в «Арко» «Песни жизни» и «Жертву». Чудовищно! Но я смотрел ему прямо в глаза и выдерживал его взгляд весь вечер.

Мне трудно встряхнуться, и вместе с тем я беспокоен. Когда я сегодня после обеда лежал в кровати и кто-то быстро повернул ключ в замке, мне показалось, будто все мое тело в замках, как на карнавальном костюме, и с короткими интервалами то тут, то там открывался или запирался какой-нибудь из замков.

Анкета журнала «Miroir» о нынешней любви и об изменении, произошедших в любви со времен наших дедушек и бабушек. Одна актриса ответила: «Никогда еще так хорошо не любили, как в наши дни».

Этот месяц, который благодаря отсутствию шефа я мог бы так хорошо использовать, я без особых на то оправданий (отправка книги Ровольту, нарывы, посещение дяди) проспал и попусту растратил. Еще сегодня я три часа провалялся после обеда в постели, находя для этого фантастические оправдания.

15 сентября. Дупло, которое прожигает гениальная книга в нашем окружении, очень удобно для того, чтобы поместить там свою маленькую свечу. Вот почему гениальное воодушевляет, всех воодушевляет, а не только побуждает к подражанию.

18 сентября. Истории, рассказанные вчера Х. в канцелярии. Каменщик, который выпросил у него на шоссе лягушку и, держа ее за лапки, в три откуса проглотил сначала головку, затем туловище и наконец лапки. Лучший способ убивать кошек, слишком цепляющихся за жизнь: сдавить между закрытыми дверями шею и потянуть за хвост. Его отвращение к насекомым. Во время

военной службы однажды ночью у него зачесалось под носом, во сне он ткнул туда рукой и что-то раздавил. Это «что-то» оказалось клопом, и вонь его преследовала несколько дней.

Четверо съели вкусно приготовленное жаркое из кошек, но лишь трое знали, что они ели. После еды эти трое начинают мяукать, но четвертый не хочет верить — только тогда, когда ему показали окровавленную щкурку, он поверил, не смог быстро выбежать, чтобы его вырвало, и две недели тяжело болел.

Тот каменщик ел только хлеб и случайно добытые фрукты или живность и пил только водку. Спал он в кирпичном сарае кирпичного завода. Однажды Х. в сумерках встретил его в поле. «Остановись,— сказал каменщик,— иначе...» Х. шутки ради остановился. «Дай мне сигарету»,— сказал тот. Х. дал. «Дай еще одну!» — «Так, еще одну тебе нужно?» — спросил Х., держа на всякий случай наготове дубинку в левой руке, и так ударил его правой в лицо, что у того выпала сигарета. Трусливый и слабый, как всякий пьяница, каменщик сразу же убежал.

23 сентября. Рассказ «Приговор»²¹ я написал одним духом в ночь с 22 на 23 с десяти часов вечера до шести часов утра. Еле сумел вылезти из-за стола — так онемели от сидения ноги. Страшное напряжение и радость от того, как разворачивался предо мной рассказ, как меня, словно водным потоком, несло вперед. Много раз в эту ночь я нес на спине свою собственную тяжесть. Все можно сказать, для всех, для самых странных фантазий существует великий огонь, в котором они сгорают и воскресают. За окном заголубело. Проехала повозка. Двое мужчин прошли по мосту. В два часа я в последний раз посмотрел на часы. Когда служанка в первый раз прошла через переднюю, я написал последнюю фразу. Погасил лампу. Дневной свет. Слабая боль в сердце. Посреди ночи усталость исчезла. Дрожь, вошел в комнату сестер. Прочитал им вслух. До этого потянулся при служанке, сказал: «Я до сих пор писал». Вид нетронутой постели, словно ее только что внесли сюда. Укрепился в убеждении, что то, как я пишу роман²², находится на постыдно низком уровне сочинительства. Только так можно писать, только в таком состоянии, при такой полнейшей обнаженности тела и души. До обеда в постели. Не сомкнул глаз. Множество испы-

таннных во время писания чувств, например радость по поводу того, что я смогу дать что-то хорошее в «Аркадию»²³ Макса, — разумеется, мысли о Фрейде, об одном месте из «Арнольда Беера»²⁴, о другом из Вассермана²⁵, из «Великанши» Верфеля, разумеется, и о моем «Городском мире».

25 сентября. Насильно заставил себя не писать. Встал в постели. Кровь прилиwała к голове и без пользы текла дальше. Как это вредно! Вчера у Баума читал вслух... Незадолго до конца моя рука, помимо воли, начала жестикулировать перед самым лицом. В глазах у меня стояли слезы. Бесспорность рассказа подтвердилась. Сегодня вечером оторвал себя от писания. Кинематограф в здании театра. Ложа. Фройляйн О., которую однажды преследовал священник. Она прибежала домой, вся потная от страха. Данциг. Жизнь Кёрнера. Лошади. Белая лошадь. Запах пороха. Дикая охота Лютцова.

1913

11 февраля. Читая корректуру «Приговора», я выписываю все связи, которые мне стали ясны в этой истории, насколько я их сейчас вижу перед собой. Это необходимо, ведь рассказ появился из меня на свет, как при настоящих родах, покрытый грязью и слизью, и только моя рука может и хочет проникнуть в самую плоть.

Друг — это связь между отцом и сыном, он — их самая большая общность. Сидя в одиночестве у своего окна, Георг сладострастно копается в этом общем, думает, что отец существует в нем самом, и ему кажется, что все, если не считать мимолетной печальной задумчивости, исполнено миролюбия. Дальнейшее же развитие истории показывает, как от общности — от друга — отец отделяется и оказывается противоположностью Георга, подкрепленной другими, менее важными общностями, например любовью, преданностью матери, верностью ее памяти, клиентурой, которую отец все же привлек когда-то к фирме. У Георга нет ничего; его невесту отец легко изгоняет — она ведь существует в рассказе лишь благодаря связи с другом, то есть с общим, и, поскольку свадьба еще не состоялась, она не может

войт» в круг кровных отношений, охватывающий отца и сына. Общее целиком громоздится вокруг отца, Георг ощущает его лишь как нечто чужое, ставшее самостоятельным, никогда в достаточной мере им не защищенное, во власти русских революций, и только потому, что у него самого больше ничего нет, кроме оглядки на отца, на него так сильно действует приговор, полностью преграждающий ему доступ к отцу.

Имя «Георг» имеет столько же букв, сколько «Франц». В фамилии «Бендеман» окончание «ман» — лишь усиление «Бенде», предпринятое для выявления всех еще скрытых возможностей рассказа. «Бенде» имеет столько же букв, сколько «Кафка», и буква «е» расположена на тех же местах, что и «а» в «Кафка».

«Фрида» имеет столько же букв, что и Ф.¹ И ту же начальную букву, Бранденфельд начинается с той же буквы, что и Б., и «фельд» тоже значимое слово. Может быть, даже мысль о Берлине появилась не без влияния, и воздействовало, может быть, воспоминание о Бранденбургской марке.

12 февраля. При описании друга на чужбине я много думал о Штойере. Когда я однажды, месяца через три после написания рассказа, случайно встретил его, он сообщил мне, что месяца три назад обручился.

Вчера, после того как я у Велча вслух прочитал рассказ, старый Велч вышел из комнаты и, вскоре вернувшись, стал хвалить зримость образов в рассказе. Вытянув руку, он сказал: «Я прямо-таки вижу перед собой этого отца» — и при этом глядел на пустое кресло, в котором сидел во время чтения.

Сестра сказала: «Это ведь наша квартира». Я удивился, что она не поняла место действия, и сказал: «В таком случае отец должен был бы жить в клозет».

2 мая. Снова стало крайне необходимо вести дневник. Моя ненадежная голова. Ф., погибель в канцелярии, физическая невозможность писать и внутренняя потребность в этом.

История дочери садовника, прервавшей мою работу. Я стремлюсь работой излечить свою неврастению, а должен выслушивать, как брат девушки — его звали Яном, он, собственно, и был садовником и предполагае-

мым преемником старика Дворского и даже уже хозяином цветника,— два месяца тому назад в возрасте двадцати восьми лет впал в меланхолию и отравился. Летом, несмотря на свою склонность к отшельничеству, он чувствовал себя неплохо, так как должен был общаться хотя бы с покупателями, зимой же он полностью замыкался в себе. Его возлюбленная, служащая — *iged-pise*,— тоже была меланхолической девушкой. Они часто вместе ходили на кладбище.

3 мая. Страшная ненадежность моего внутреннего бытия.

4 мая. Бесперывное представление о широком кухонном ноже, быстро и с механической ритмичностью вонзающемся в меня сбоку и срезающем тончайшие поперечные полосы, которые при быстрой работе отскакивают в сторону почти свернутыми в трубку.

24 мая. ...Преисполнен высокомерия, потому что считаю «Кочегара» таким удавшимся. Вечером читал его родителям; когда я читаю что-нибудь крайне неохотно слушающему отцу, нет лучшего критика, чем я. Много мелких мест перед явно недоступными глупинами.

21 июня. Какой чудовищный мир теснится в моей голове! Но как мне освободиться от него и освободить его, не разорвав. И все же лучше тысячу раз разорвать, чем хранить или похоронить его в себе. Для того я и живу на свете, это мне совершенно ясно.

1 июля. Жажда беспредельнейшего одиночества. Быть с глазу на глаз с самим собой. Может быть, я обрел это в Риве².

Фотография празднования трехсотлетия Романовых в Ярославле на Волге. Царь, царевны угрюмо стоят на солнце, лишь одна из них, хрупкая, немолодая, вялая, опирающаяся на зонтик, смотрит прямо перед собой. Наследник престола на руках огромного, с непокрытой головой, казака. На другой фотографии давно проехавшие мимо мужчины продолжают отдавать честь.

2 июля. Плакал над отчетом о суде над двадцатитрехлетней Марией Абрахам, задушившей из-за нужды и голода девятимесячную дочь Барбару мужским галстуком, который она носила вместо подвязки и сняла с ноги. Совершенно банальная история.

3 июля. Высказанная мною вслух мысль сразу же и окончательно теряет значение; записанная, она тоже всегда его теряет, зато иной раз обретает новый смысл.

21 июля. Не отчаиваться, не отчаиваться и по поводу того, что ты не отчаиваешься. Когда кажется, что все уже кончено, откуда-то все же берутся новые силы, и это означает, что ты живешь. Если же они не появляются, тогда действительно все кончено, и притом окончательно.

Не могу спать. Одни сновидения, никакого сна...

На шею набросили петлю, выволокли через окно первого этажа, безжалостно и равнодушно протащили, изувеченного и кровоточащего, сквозь все потолки, мебель, стены и чердаки до самой крыши, и только там появилась пустая петля, потерявшая остатки моего тела, когда им проламывали черепичную кровлю.

Особый метод мышления. Оно пронизано чувствами. Все, даже самое неопределенное, воспринимается как мысль (Достоевский).

Эти блоки внутри. Один крючок сдвинется с места где-то в самых тайниках, в первый момент и не заметишь этого, и вот уже весь аппарат пришел в движение. Подвластный непостижимой силе, как часы кажутся подвластными времени, он то тут, то там щелкает, и все звенья одно за другим, с грохотом разыгрывают навязанную им пьесу.

Перечень всего того, что говорит «за» и «против» моей женитьбы:

1. Неспособность одному выносить жизнь, не способность жить, совсем напротив, кажется даже невероятным, что я смогу с кем-то вместе жить, но я не спосо-

бен выносить натиска своей собственной жизни, требований своей собственной личности, атак времени и возраста, неожиданного наплыва страсти к писанию, бессонницы, близости безумия — выносить это все в одиночку я не способен. Вероятно, добавляю я, конечно. Союз с Ф. придаст мне сопротивляемости.

2. Все заставляет меня раздумывать. Шутка в юмористической газете, воспоминание о Флобере или Грильпарцере, вид ночных сорочек на приготовленных для сна постелях родителей, женитьба Макса. Вчера моя сестра сказала: «Все женатые (наши знакомые) счастливы, я не могу этого понять». Это высказывание тоже заставило меня задуматься, я снова ощутил страх.

3. Я много времени должен быть один. Все что я сделал, только плод одиночества.

4. Я ненавижу все что не имеет отношения к литературе, мне скучно вести разговоры (даже о литературе), мне скучно ходить в гости, горести и радости моих родственников мне смертельно скучны. Разговоры лишают все мои мысли важности, серьезности, истинности.

5. Страх перед соединением, слиянием. После этого я никогда больше не смогу быть один.

6. Перед моими сестрами я часто был совсем иным человеком, нежели перед другими людьми, особенно раньше бывало так. Бесстрашным, откровенным, сильным, неожиданным, таким одержимым, каким бывал только тогда, когда писал. Если бы я мог благодаря жене быть таким перед всеми! Но не будет ли это за счет писания? Только не это, только не это!

7. Живи я один, я, может быть, когда-нибудь действительно мог бы отказаться от службы. Женатый я никогда не смогу этого сделать.

Жалкий я человек!

Хорошенько хлестать лошадей! Медленно вонзать в нее шпоры, затем одним рывком вырвать их, а потом изо всей силы снова всадить их в мясо.

Что за ужас!

С ума мы сошли, что ли! Мы бегали ночью по парку и раскачивали ветки.

Я вплыл на лодке в маленькую естественную бухту.

В гимназические годы я любил время от времени навещать некоего Йозефа Мака, друга моего покойного отца. Когда я после окончания гимназии...

(Запись обрывается.)

Хуго Зайферт любил в гимназические годы время от времени навещать некоего Йозефа Кимана, старого холостяка, дружившего с покойным отцом Хуго. Визиты внезапно оборвались, когда Хуго неожиданно предложили за границей работу, к которой надо было приступить немедленно, и Хуго на несколько лет покинул родной город. Когда он вернулся, он, правда, собирался навестить старика, но все не представлялось случая, а может быть, такой визит уже и не отвечал бы его изменившимся взглядам, и, хотя он часто проходил по улице, где жил Киман, хотя не раз видел его сидящим у окна и, возможно, даже был замечен им, Хуго так и не навестил его.

Ничего, ничего, ничего. Слабость, самоуничтожение, прорывающиеся из-под земли языки адского пламени.

13 августа. Может быть, теперь все кончено и мое вчерашнее письмо было последним. Это было бы, безусловно, правильно. Какие страдания ни предстоят мне, какие страдания ни предстоят ей, их нельзя сравнить с теми страданиями, которые были уготованы нам вместе. Я постепенно приду в себя, она выйдет замуж — это единственный выход у живых людей. Мы вдвоем не можем прорубить для нас двоих дорогу в скале, достаточно, что мы целый год проплакали и промучились из-за этого. Она должна понять это из моих последних писем. Если же нет, я, конечно, женюсь на ней, ибо я слишком слаб, чтобы противиться ее представлению о нашем совместном счастье, и, если это зависит от меня, не могу не осуществить чего-нибудь, что она считает возможным.

14 августа. Произошло все наоборот. Получил три письма. Перед последним я не мог устоять. Я люблю ее, насколько способен, но любовь задыхается под погребящими ее страхом и самообвинениями.

Выводы из «Приговора» для меня самого. Косвенно я ей обязан рассказом. Но ведь Георг погиб из-за невесты.

Коитус как кара за счастье быть вместе. Жить по возможности аскетически, аскетичней, чем холостяк,— это единственная возможность для меня переносить брак. Но для нее?

И все же, несмотря ни на что, будь мы, я и Ф., полностью равноправны, имей мы одинаковые перспективы и возможности, я бы не женился. Но тупик, в который я постепенно загнал ее судьбу, вмещает мне это в неизбежную, хотя и вовсе не непереносимую обязанность. Здесь действует какой-то тайный закон человеческих отношений.

15 августа. Мучительное утро в постели. Единственным выходом мне казался прыжок из окна. Мать подошла к кровати и спросила, отправил ли я письмо и было ли написано оно по-старому. Я сказал, что по-старому, только еще более резко. Она сказала, что не понимает меня. Я ответил, что она, конечно, не понимает меня, и не только в этом вопросе. Позже она спросила, напишу ли я дяде Альфреду, он заслужил, чтобы я написал ему. Я спросил, чем он это заслужил. «Он телеграфировал, он писал, он хорошо относится к тебе». «Это все показное,— сказал я,— он мне совершенно чужой, он совершенно не понимает меня, он не знает, чего я хочу и что мне нужно, я не имею к нему никакого отношения», «Стало быть, никто тебя не понимает,— сказала мать,— я тебе, наверное, тоже чужая и отец тоже. Мы все, стало быть, желаем тебе только плохого». — «Конечно, вы все мне чужие, между нами только родство по крови, но оно ни в чем не проявляется. Плохого вы мне, конечно, не желаете».

Эти и некоторые другие самонаблюдения убедили меня в том, что моя растущая решительность и уверенность позволяет, вопреки всему, сохранить себя в браке, более того — брак поможет укрепить мою решительность. Правда, этим убеждением я проникся, находясь уже в известной мере на краю окна.

Я запрюсь от всех и до бесчувствия предамся одиночеству. Со всеми рассорюсь, ни с кем не буду разговаривать.

21 августа. Сегодня получил книгу Кьеркегора³ «Книга судьбы». Как я и думал, его судьба, несмотря на значительные различия, сходна с моей, во всяком случае, он на той же стороне мира. Он, как друг, помог мне самоутвердиться.

Я набросал следующее письмо к ее отцу⁴, которое завтра отправлю, если буду в силах.

«Вы медлите с ответом на мою просьбу, это вполне понятно, любой отец поступил бы так по отношению к любому жениху, и я пишу совсем не из-за этого, самое большее, на что я надеюсь,— что вы спокойно отнесетесь к моему письму. Пишу же я из боязни, что Ваши колебания или размышления имеют более общие причины, нежели то единственное место — а только оно и должно было их вызвать — из моего первого письма, которое могло меня выдать. Я имею в виду место, где речь идет о том, что мне невыносима моя служба.

Вы, возможно, не обратите внимания на это слово, но Вам не следует так делать. Скорее, Вам надо очень подробно расспросить меня об этом, и тогда я должен буду четко и коротко ответить следующее: моя служба невыносима для меня, потому что она противоречит моему единственному призванию и моей единственной профессии — литературе. Я весь — литература, и ничем иным не могу и не хочу быть, моя служба никогда не сможет увлечь меня, но зато она может полностью погубить меня. Я уже недалек от этого. Меня непрерывно одолевают тяжчайшие нервные состояния, и нынешний год сплошных забот и мучений о будущем моем и Вашей дочери полностью доказал мою неспособность к сопротивлению. Вы вправе спросить, почему я не отказываюсь от своей службы и не пытаюсь — состояния у меня нет — жить литературным заработком. На это я могу дать лишь жалкий ответ, что у меня нет сил для этого и, насколько я способен судить о своем положении, я погибну из-за службы, причем погибну очень скоро.

А теперь сравните меня с Вашей дочерью, этой здоровой, жизнерадостной, естественной, сильной девушкой. Как бы часто я ни повторял ей в пятистах письмах и как бы часто она ни успокаивала меня своим, правда, не очень убедительно обоснованным «нет», дело обстоит ведь именно так: она, насколько я могу судить, будет со мной несчастна. Не только из-за внешних обстоятельств, а гораздо больше по характеру своему я

человек замкнутый, молчаливый, нелюдимый, мрачный, но для себя я не считаю это несчастьем, ибо это лишь отражение моей цели. Из образа жизни, который я веду дома, можно сделать некоторые выводы. Так, я живу в своей семье, среди прекрасных и любящих людей более чужой, чем чужак. Со своей матерью я за последние годы в среднем не говорю за день и двадцати слов, а к отцу вряд ли когда-нибудь обратился с другими словами, кроме приветствия. Со своими замужними сестрами и с зятьями я вообще не разговариваю, хотя я и не в ссоре с ними. Причина только та, что мне просто совершенно не о чем с ними говорить. Все, что не относится к литературе, наводит на меня скуку и вызывает ненависть, потому что мешает мне или задерживает меня, хотя, возможно, это только кажется. Я лишен всякой склонности к семейной жизни, в лучшем случае могу быть разве что наблюдателем. У меня совсем нет родственных чувств, в визитах мне чудится прямо-таки направленный против меня злой умысел.

Брак не мог бы изменить меня, как не может меня изменить моя служба».

15 октября. Безутешен. Сегодня после обеда в полусне: в конце концов страдание должно разорвать мою голову. И именно в висках. Представив себе эту картину, я увидел огнестрельную рану, края которой острыми выступами загнуты кверху, как в грубо вскрытой жестяной банке.

Не забывать о Кропоткине⁵!

20 октября. Невыносимая грусть с утра. Вечером читал «Дело Якобсона» Якобсона⁶. Эта способность жить, принимать решения, уверенно ставить ногу куда надо. Он сидит в себе, как сидел бы искусный гребец в своей, да и в любой другой, лодке. Я хотел написать ему письмо. Но вместо этого пошел гулять, приглушив все владевшие мной чувства разговором с Хаасом, которого встретил, меня возбудили женщины, теперь я читаю дома «Превращение» и нахожу его плохим. Может быть, я действительно погибаю, утренняя грусть вернется, я не смогу ей долго противиться, она отнимает у меня всякую надежду. У меня нет даже желания вести дневник, возможно потому, что уж слишком многого там нет, возможно потому, что я все время должен описывать

лишь половинчатые и, по-видимому, неизбежно половинчатые действия, возможно потому, что само писание усиливает мою грусть.

Я охотно писал бы сказки (почему я так ненавижу это слово?), которые могли бы понравиться В. и которые она, держа за едой под столом, в перерывах читала бы и, заметив, что санаторный врач уже некоторое время стоит позади нее и наблюдает за ней, страшно покраснела бы. Ее частая, собственно говоря постоянная, взволнованность во время рассказа (как я замечаю, я боюсь прямо-таки физического напряжения, вызываемого старанием что-то вспомнить, боли, под которой медленно раскрывается или сперва слегка прогибается пол бездумного пространства). Все противится тому, чтобы быть записанным. Если б я знал, что так я следую ее повелению — ничего не говорить о ней (я строго, почти без труда исполнил его), — я был бы доволен, но это не что иное, как неспособность. Каково, кстати, мое мнение по поводу того, что сегодня вечером большую часть пути я раздумывал, скольких радостей лишился из-за знакомства с В., радостей с русской девушкой, которая — это отнюдь не исключено, — возможно, впустила бы меня ночью в свою комнату, находящуюся наискосок от моей. Мое вечернее общение с В. сводилось к тому, что я стучал ей условным стуком, окончательного значения которого мы так и не установили, в потолок моей комнаты, находящейся под ее комнатой, выслушивал ее ответ, высовывался из окна, махал ей рукой, однажды она благословила меня, однажды я поймал конец ее ленты, часами сидел на подоконнике и прислушивался к каждому ее шагу наверху, каждый случайный стук по ошибке принимал за условный знак, слушал, как она покашливает, как поет, ложась спать.

21 октября. Потерянный день. Посещение фабрики Рингхоффера, семинара Эренфельса⁷, Велча, ужин, прогулка, теперь 10 часов, я дома. Все время думаю о черном жуке⁸, но писать не буду.

26 октября. «Так кто же я такой?» — набросился я на себя. Я поднялся с дивана, на котором лежал с поднятыми коленями, и сел. Дверь, ведущая прямо с лестничной площадки в мою комнату, отворилась, и вошел молодой человек с опущенной головой и испытующим

взором. Он обогнул, насколько это было возможно в тесной комнате, диван и остановился в темном углу около окна. Я хотел посмотреть, что это за явление, направился туда и взял его за руку. Это был живой человек. Несколько ниже меня ростом, он с улыбкой поднял на меня глаза; уже сама беззаботность, с какой он кивнул и сказал: «Вы только испытайте меня», должна была успокоить меня. Тем не менее я схватил его за отвороты пиджака и потряс. Мне бросилась в глаза его красивая массивная золотая цепь от часов, и я рванул ее книзу с такой силой, что порвалась петля, к которой она была прикреплена. Он спокойно перенес это, лишь посмотрел на причиненный ущерб и безуспешно попытался застегнуть жилетную пуговицу порванной петлей. «Что ты сделал?» — сказал он наконец и показал на жилет. «Спокойно!» — с угрозой сказал я.

Я начал метаться по комнате, с шага перешел на рысь, с рыси на галоп и каждый раз, минуя посетителя, показывал ему кулак. Он же возился со своим жилетом, не обращая на меня никакого внимания. Я чувствовал себя очень свободно, мне дышалось необычайно легко и лишь одежда мешала груди исполински вздыматься...

6 ноября. Откуда эта внезапная уверенность в себе? Если бы она осталась! Если бы я мог, как человек, хоть кое-как держащийся на ногах, входить и выходить через все двери! Не знаю только, хочу ли я этого.

18 ноября. Я снова буду писать, но сколько сомнений породило у меня мое писание. В сущности, я бездарный, невежественный человек, который, не принуждали бы его ходить в школу — не по доброй воле, но и едва ли замечая принуждение, — способен был бы забиться в собачью конуру, вылезая из нее только тогда, когда ему приносят жратву, и забираясь обратно, проглотив ее.

19 ноября. Меня захватывает чтение дневника. Не в том ли причина, что у меня нет сейчас ни малейшей уверенности в настоящем? Все мне кажется сконструированным. Любое замечание, любой случайный взгляд все переворачивает во мне, даже забытое, совершенно незначительное. Я не уверен в себе больше, чем когда бы то ни было, лишь насилие жизни ощущаю

я. И я совершенно пуст. Я подобен овце, потерянной ночью в горах, или овце, бегущей вслед за этой овцой. Быть таким потерянным и не иметь даже сил это оплакать.

Я нарочно хожу по улицам, где есть проститутки. Когда я прохожу мимо них, меня возбуждает эта далекая, но тем не менее существующая возможность пойти с одной из них. Это вульгарно? Но я не знаю ничего лучшего, и такой поступок кажется мне, в сущности, невинным и почти не заставляет меня каяться. Только хочу я толстых, пожилых, в поношенных, но благодаря разным накидкам кажущихся пышными платьях. Одна из них, по-видимому, уже знает меня. Я встретил ее сегодня после обеда, она была еще не в профессиональном наряде, непричесанная, без шляпы, в простой рабочей блузе, как кухарка, и несла большой сверток, вероятно, белье к прачке. Ни один человек, кроме меня, не нашел бы в ней ничего соблазнительного. Мы мельком посмотрели друг на друга. Теперь, вечером, когда стало прохладно, я увидел ее на противоположной стороне узкого, ответвляющегося от Целтнергассе переулка*, где она обычно поджидает клиентов; она была в облегчающем желтовато-коричневом пальто. Я дважды оглянулся на нее, она ответила на мой взгляд, но я прямо-таки сбежал от нее.

21 ноября. Вот печальное наблюдение, в основе которого, несомненно, лежит конструкция, опирающаяся на пустоту: едва взяв с письменного стола чернильницу, чтобы отнести ее в другую комнату, я почувствовал в себе некую твердость, как бывает, например, когда в тумане вдруг на мгновение появляется, чтобы сразу исчезнуть, угол большого здания. Я перестал чувствовать себя потерянным, зависимым от людей, даже от Ф., во мне возникло смутное ожидание. Что, если я убегу от всего этого, как, например, человек вдруг убегает в поле.

Как смешны эти предсказания, это равнение на примеры, этот страх. Все это конструкции, которые даже в

* Здесь и далее названия городов, а также улиц, площадей и т. п. в Праге даются немецкие, как они назывались во времена жизни Кафки, когда Чехословакия входила в состав Австро-Венгерской монархии, распавшейся в 1918 году.

воображении, где они только и существуют, едва добравшись до живой поверхности, тут же одним толчком опрокидываются. Где взять волшебную руку, чтобы, попади она в мотор, тысячи ножей не разорвали ее на кусочки и не разбросали во все стороны.

Я охочусь за конструкциями. Я вхожу в комнату и вижу в углу их белесое переплетение.

4 декабря. Со стороны глядя, это ужасно — умереть взрослым, но молодым, еще страшнее покончить с собой. Уйти из жизни в полном смятении, которое имело бы смысл, если бы ему суждено было продлиться, утратив все надежды, кроме одной-единственной, что по великому счету твое появление на свет будет считаться как бы не состоявшимся. В таком положении я мог бы оказаться сейчас. Умереть сейчас значило бы не что иное, как погрузить Ничто в Ничто, но чувства не могли бы с этим примириться, ибо можно ли, даже ощущая себя как Ничто, сознательно погрузить себя в Ничто, причем не просто в пустое Ничто, а в Ничто бурлящее, чье ничтожество состоит лишь в его непостижимости.

Кружок мужчин, господ и слуг. Четкие, сверкающие живыми красками лица. Господин садится, слуга подает ему на подносе кушанья. Между обоими разница не большая, чем, например, разница между человеком, в результате взаимодействия бесчисленных обстоятельств ставшим англичанином и живущим в Лондоне, и другим — лапландцем, одиноко плывущим в своей лодке по морю во время шторма. Конечно, слуга — тоже при определенных обстоятельствах — может стать господином, но этот вопрос, как ни отвечай на него, здесь не играет роли, ибо речь идет о данной оценке данных отношений.

Страх перед глупостью. Глупость видится в каждом чувстве, стремящемся прямо к цели, заставляющем забыть обо всем остальном. Что же тогда не глупость? Не глупость — это стоять, как нищий у порога, в стороне от входа, постепенно опускаться и погибнуть. Но П. и О. все-таки отвратительные глупцы. Необходимы глупости более великие, чем их носители. Но как отвратительны маленькие глупцы, которые тщатся совершить

великие глупости. А разве не таким же выглядел Христос в глазах фарисеев?

9 декабря. Ненавижу дотошный самоанализ. Психологические толкования вроде: вчера я был таким-то, и это потому, что... а сегодня я такой-то, и это потому... Все это неправда — не потому и не потому и, следовательно, не таким-то и таким-то. Надо спокойно разбираться в себе, не торопиться с выводами, жить так, как подобает, а не гоняться, как собака за собственным хвостом.

10 декабря. Невозможно учесть и оценить все обстоятельства, которые в тот или иной момент влияют на настроение или даже определяют и само настроение, и оценку его, потому неправильно говорить, что вчера я чувствовал себя уверенным, сегодня я в отчаянии. Такого рода распознавания свидетельствуют лишь о том, что человек хочет поддаваться самовнушениям и вести жизнь, по возможности обособленную от самого себя, спрятавшись за предрассудками и химерами, отчасти искусственную, подобно тому, как кто-нибудь в углу трактира, спрятавшись за стаканчиком шнапса, развлекает сам себя совершенно ложными, беспочвенными фантазиями и мечтами.

11 декабря. В Тойнби-халле читал вслух начало «Михаэля Кольхааса»⁹. Полнейшая неудача. Плохо выбрал, плохо читал, в конце концов, бессмысленно барахтался в тексте. Образцовые слушатели. В первом ряду маленькие мальчики. Один из них пытался избавиться от скуки, в которой он не виноват, тем, что осторожно сбрасывал шапку на пол и затем так же осторожно поднимал ее — и так без конца. Поскольку он был слишком мал, чтобы проделывать это, сидя на своем месте, он то и дело должен был немного соскальзывать с кресла. Нелепо, и плохо, и непродуманно, и невнятно читал. А ведь после обеда я дрожал от желания читать, с трудом держал рот закрытым.

В самом деле, даже толчка не нужно — достаточно сдержат последние расходуемые на себя силы, и я прихожу в отчаяние, совершенно раздирающее меня. Когда я сегодня представлял себе, что во время чтения непременно буду спокоен, я спрашивал себя, что за спокой-

ствие это будет, на чем оно будет основано, и мог лишь сказать, что это будет спокойствие ради самого спокойствия, непостижимая милость, ничто друкое.

12 декабря. Только что внимательно рассматривал себя в зеркале, и лицо мое — правда, при вечернем освещении, и источник света находился позади меня, так что освещен был, собственно говоря, лишь пушок по краям ушей,— даже при внимательном изучении показалось мне лучше, чем оно есть на самом деле. Ясное, четко, почти красиво очерченное лицо. Чернота волос, бровей и глазных впадин проступает, подобно жизни, из остальной застывшей массы. Взгляд совсем не опустошенный, ничего похожего, но он и не детский, скорее неожиданно энергичный,— но, может быть, он был только наблюдающим, так как я ведь наблюдал себя и хотел внушить себе страх.

Вечером дискуссия в союзе чиновников. Я председательствовал. Забавно, что может стать источником самоуважения. Моя вступительная фраза: «Открывая сегодняшнюю дискуссию, я должен выразить сожаление по поводу того, что она состоится». Меня не известили своевременно, и потому я не подготовился.

14 декабря. Прочитал сейчас у Достоевского место, так напоминающее мою «несчастность».

15 декабря. Читал «Мы, юноши 1870—1871 годов». С подавляемыми рыданиями перечитывал вдохновенные сцены о победах. Быть отцом и спокойно разговаривать со своим сыном. Но тогда нельзя иметь вместо сердца игрушечный молоток.

16 декабря. «Громовой вопль восторга серафимов»¹⁰.

Я сидел у Велча в качалке, мы говорили о беспорядочности нашей жизни,— он — все же с некоторой надеждой («Надо желать невозможного»), я — без всякой надежды, уставившись на свои пальцы, чувствуя себя представителем собственной внутренней пустоты, которая исключительна и вместе с тем даже и не чрезмерно велика.

17 декабря. Доклад Бергмана «Моисей и современность»¹¹. Незамутненное впечатление. Но мне, во всяком случае, до всего этого нет дела. Между свободой и рабством пересекаются поистине страшные пути, для предстоящего нет проводника, пройденное мгновенно погружается во тьму. Таких путей — бесчисленное множество, а может быть, всего один — узнать это невозможно, обозреть их не дано. Я там. Уйти я не могу. Мне не на что жаловаться. Я не страдаю чрезмерно, ибо страдания мои не взаимосвязаны, они не накапливаются, по крайней мере я пока не чувствую этого — страдания мои значительно меньше тех страданий, которые, возможно, мне суждены.

20 декабря. Воздействие умиротворенного лица, спокойной речи человека, особенно чужого, еще не разгаданного. Словно глас божий из человеческих уст.

1914

5 января. Днем. Отец Гёте умер в слабоумии. Во время его последнего заболевания Гёте работал над «Ифигенией».

«Доставь эту дрянь домой, она пьяна», — сказал Гёте какой-то придворный чиновник о Кристиане.

Август, напивавшийся так же, как его мать, и бесстыдно шатавшийся с бабами.

Нелюбимая Оттилия, навязанная отцом ему в жены из светских соображений.

Вольф, дипломат и писатель.

Вальтер, музыкант, не смог сдать экзамены.

Месяцами жил в садовом домике; когда царица захотела его видеть, он заявил: «Скажите царице, что я не дикий зверь».

«Здоровье у меня скорее свинцовое, чем железное».

Ничтожная, бесплодная писательская деятельность Вольфа.

Стариковское общество в мансарде. Восьмидесятилетняя Оттилия, пятидесятилетний Вольф и старые знакомые.

Лишь на таких крайностях замечаешь, как каждый человек безвозвратно потерян в самом себе, и только размышление над другими людьми и над господствующей

щими в них и повсюду законами может дать утешение. Как податлив внешне Вольф, как легко его провести, развеселить, ободрить, заставить систематически работать — и как он внутренне скован и неподвижен.

Почему чукчи не покидают свой ужасный край, в любом месте они жили бы лучше по сравнению с их пышней жизнью и их нынешними желаниями. Но они не могут; все, что возможно, происходит; возможно лишь то, что происходит.

6 января. Дильтей: «Переживание и творчество»¹. Любовь к человечеству, высочайшее уважение ко всему им созданному. Спокойное пребывание на наиболее подходящем для наблюдения месте. Юношеские сочинения Лютера, «могучие тени, переступающие из невидимого мира в мир видимый, привлеченные убийством и кровью». — Паскаль.

3 января. Что у меня общего с евреями? У меня даже с самим собой мало общего, и я должен бы совсем тихо, довольный тем, что могу дышать, забиться в какой-нибудь угол.

12 января. Вчера: любовные связи Оттилии, молодые англичане.

Обручение Толстого, ясное впечатление нежного, бурного, сдерживающего себя, полного предчувствий молодого человека. Красиво одет, в темном и темно-синем.

Разумеется, и для меня существуют возможности. Но под каким камнем лежат они?

Бессмысленность молодости. Страх перед молодостью, страх перед бессмысленностью, перед бессмысленным расцветом бесчеловечной жизни.

19 января. На службе страх попеременно с самонадеянностью. Вообще же стал уверенней. Очень недоволен «Превращением». Конец читать невозможно. Несовершенно все, почти до самого основания. Рассказ получился бы гораздо лучше, не помешай мне тогда служебная поездка.

24 января. Не в силах написать несколько строк фройляйн Бл.², уже на два письма не ответил, сегодня пришло третье. Я ничего не могу воспринять правильно и при этом совершенно тверд, но пуст. На днях, когда я выходил в обычное время из лифта, мне пришло в голову, что моя жизнь с ее однообразными до мельчайших подробностей днями похожа на наказания, при которых ученик в зависимости от своей вины должен десять раз, сто раз или еще больше написать фразу, самым повторением превращенную в бессмыслицу, только у меня речь идет о наказании — «столько раз, сколько выдержишь».

26 января. Как я сейчас накричал на мать за то, что она одолжила Элли³ «Злую невинность»⁴, — а ведь только вчера я сам хотел предложить ей книгу. «Оставь мне мои книги! У меня ничего больше нет». И такие речи — с настоящей яростью.

11 февраля. Бегло прочитал «Гёте» Дильтея, огромное впечатление, я полностью захвачен, почему нельзя зажечься и погибнуть в этом огне? Или последовать велению, даже если не слышишь его? Сидеть посреди своей пустой комнаты в кресле, уставившись в пол. Вывать «Вперед!» в горном ущелье и со всех горных тропинок слышать отклики одиноких людей и видеть, как они появляются там.

14 февраля. Если бы я покончил с собой, никто насколько не был бы виноват, будь даже непосредственной причиной отношение ко мне Ф. Я уже однажды в полусне представил себе сцену, которая произошла бы, если бы я в предвидении конца с прощальным письмом в кармане пришел к ней на квартиру и, получив отказ как жених, положил письмо на стол, подошел к балкону, вырвался от всех, кинувшихся ко мне и пытающихся удержать меня, и, отнимая руки — одну за другой — от балконных перил, перемахнул через них. В письме было бы, однако, написано, что, хотя я и бросился вниз из-за Ф., ничего существенно не изменилось бы для меня, если б мое предположение и приняли. Я обречен, я не вижу другого исхода, Ф. случайно оказалась тем, на чем подтвердилось это предначертание, я не могу жить без нее и должен броситься вниз,

но и с нею — и Ф. чувствует это — я не смог бы жить. Так почему не сделать этого нынешней ночью? Я заранее представляю себе болтливых гостей, которые придут сегодня вечером к родителям, они будут разглагольствовать о жизни и о том, какие условия необходимо создать для нее, — но я прикован к общепринятому, живу, целиком увязнув в жизни, я не сделаю этого, я совершенно холоден, мне грустно оттого, что ворот рубашки давит мне шею, я проклят, задыхаюсь в тумане.

23 февраля. Еду. Письмо от Музиля⁵. Оно меня радует и печалит, ведь у меня ничего нет.

9 марта. Я здесь не забуду Ф. и потому не женюсь. Это совершенно определено?

Да, я могу сказать это, мне уже почти тридцать один год, знаю Ф. около двух лет и потому должен уже здраво отдавать себе во всем отчет. Кроме того, мой здешний образ жизни таков, что мне не забыть Ф., даже если бы она и не имела такого значения для меня. Однообразие, размеренность, удобство и несамостоятельность моего образа жизни цепко держат меня и заставляют оставаться на том месте, где я оказался.

Кроме того, мною владеет более сильная, чем обычно, склонность к удобной и несамостоятельной жизни, все вредное находит подкрепление во мне самом. Наконец, я ведь становлюсь старше, перемены даются все труднее. И во всем этом я вижу большое несчастье для себя, которое обещает быть долгим и безысходным; мне предстоит тащиться сквозь годы, получая свое жалованье и становясь все более грустным и одиноким, пока хватит сил выдержать.

Но ты ведь хотел для себя такой жизни?

Жизнь чиновника была бы для меня подходящей, будь я женат. Она давала бы мне хорошую опору со всех точек зрения — по отношению к обществу, к жене, к литературной работе, не требуя слишком больших жертв и, с другой стороны, не превращая меня в раба удобств и несамостоятельности, ибо как человеку женатому мне нечего было бы опасаться этого. Но холостяком я такой жизнью жить до конца не могу.

Но ты ведь мог бы жениться?

Тогда я не мог жениться, все во мне протестовало против этого, как ни любил я Ф. Удерживала главным образом писательская работа, ибо я думал, что брак повредит ей. Возможно, я был прав; но холостяцкая жизнь при теперешних моих условиях уничтожила ее. Я целый год не писал, я и сейчас не могу писать, у меня в голове одна только мысль, и она пожирает меня. Все это я тогда не мог проверить. Впрочем, при моей несамостоятельности, которую по меньшей мере питает такой образ жизни, я ко всему подхожу нерешительно и ни с чем не справляюсь с ходу. Так было и здесь.

Почему ты отказываешься от надежды все же добиться Ф.?

Я уже шел на всякие унижения. Однажды в Тиргартене я сказал: «Скажи «да», даже если ты считаешь свое чувство ко мне недостаточным для брака, моей любви к тебе хватит, чтобы восполнить недостающее, она достаточно сильна, чтобы принять все на себя». Ф. казалась обеспокоенной особенностями моей натуры, страх перед которыми я вселил в нее во время нашей долгой переписки. «Я достаточно люблю тебя, чтобы избавиться от всего, что могло бы тебя беспокоить. Я стану другим человеком». Теперь, когда все должно было стать ясным, я могу признаться, что даже во время наших самых сердечных отношений у меня возникали подозрения и подтвержденные мелочами опасения, что Ф. меня не очень любит, не со всей силой, с какой она способна любить. Это поняла и Ф., правда, не без моей помощи. Боюсь даже, что после наших двух последних встреч Ф. испытывает ко мне некоторое отвращение, хотя внешне мы очень приветливы друг с другом, говорим друг другу «ты», ходим рука об руку. Последнее воспоминание о ней — неприязненная гримаса, которую она сделала, когда я в прихожей ее дома не удовольствовался поцелуем через перчатку, а расстегнул ее и поцеловал руку. Теперь же, несмотря на обещание аккуратно поддерживать дальнейшую переписку, она не ответила на два моих письма, а только в телеграммах обещала прислать письма, но и это обещание не выполнила, она даже не ответила моей матери. Безднадежность всего этого, пожалуй, несомненна.

Впрочем, никогда нельзя так говорить. С точки зрения Ф., разве твое прежнее поведение не казалось тоже безднадежным?

Но это было нечто иное. Я всегда, даже при как будто последнем прощании летом, открыто признавался в своей любви к ней; я никогда не молчал с такой жестокостью; для моего поведения были причины, их можно было не признавать, но обсудить их следовало. Единственная же причина Ф.— совершенно недостаточная любовь. Тем не менее верно, что я мог бы ждать. Но ждать с удвоенной безнадежностью я не в силах: во-первых, видя, что Ф. все больше удаляется от меня, а во-вторых, становясь все более неспособным как-то спасти себя. Это был бы самый большой риск, на который я мог бы отважиться, несмотря на то — или именно потому — что это больше всего отвечало бы всем самым дурным склонностям во мне. «Никогда нельзя знать, что случится» — не аргумент против невыносимости того или иного нынешнего состояния.

Что же ты хочешь предпринять?

Уехать из Праги. Против человеческих страданий, самых сильных из всех, которые я когда-либо испытывал пустить в ход самое сильное средство, которым я располагаю.

Оставить службу?

Служба, как сказано выше, частично и порождает невыносимость. Надежность, расчет на всю жизнь, достаточное жалованье, неполное напряжение сил — это ведь всё вещи, которые мне, холостяку, ни к чему и которые превращаются в муки.

Что же ты хочешь предпринять?

Я мог бы сразу ответить на все вопросы такого рода, сказав: мне нечем рисковать, каждый день и каждый малейший успех — это подарок, все, что я сделаю, будет хорошо. Но я могу и точнее ответить: как австрийский юрист, кем я всерьез вовсе не являюсь, я не имею подходящих перспектив; самое лучшее, чего бы я мог достичь для себя в этом направлении, у меня уже есть, и все-таки я не могу этим воспользоваться. На тот, сам по себе совершенно невозможный случай, если бы я захотел извлечь какие-нибудь блага из своей юридической подготовки, речь могла бы идти только о двух городах: о Праге, из которой я должен уехать, и Вене, которую я ненавижу и где я непременно был бы несчастен, ибо поехал бы туда уже с глубоким убеждением в неотвратимости несчастья. Стало быть, нужно ехать за пределы Австрии и, поскольку у меня нет таланта к языкам и я плохо справляюсь как с физической, так и с коммерче-

ской работой, ехать — по крайней мере вначале — придется в Германию, в Берлин, где больше всего возможностей просуществовать.

Там я смогу наилучшим и непосредственным образом применить свои литературные способности также и в журналистике и найти более или менее достаточный для себя заработок. Буду ли я, сверх того, еще способен к творческой работе, об этом я сейчас не могу говорить хотя бы с малейшей уверенностью. Но одно я, кажется, знаю твердо: самостоятельное и свободное положение, которое я обрету в Берлине (будь оно в остальном даже и жалким), даст мне то единственное чувство счастья, на какое я еще способен сейчас.

Но ты избалован.

Нет, мне нужна комната и вегетарианский стол, почти ничего больше.

Не ради Ф. ли ты едешь туда?

Нет, я выбираю Берлин только по вышеуказанным причинам, но, конечно, я люблю его из-за Ф., из-за всего, что ее окружает там, — над этим я не властен. Возможно также, что в Берлине я сойду с Ф. Если же эта совместная жизнь поможет мне изгнать Ф. из своего сердца — тем лучше, тогда в этом еще одно преимущество Берлина.

Ты здоров?

Нет, сердце, сон, пищеварение.

15 марта. За гробом Достоевского студенты хотели нести его кандалы. Он умер в рабочем квартале, на четвертом этаже доходного дома.

Ничего, кроме ожидания, кроме вечной беспомощности.

5 апреля. Если б можно было поселиться в Берлине, стать самостоятельным, изо дня в день жить, пусть голодая, но давая выход всей своей силе, вместо того, чтобы здесь экономить ее или еще лучше — обращать в ничто! Если бы Ф. захотела мне помочь!

8 апреля. Вчера не мог написать ни слова. Сегодня не лучше. Кто даст мне избавление? И эта стесненность внутри меня, этот мрак, сквозь который ничего не видно. Я подобен живой решетке, решетке, которая еще стоит, но вот-вот упадет...

27 мая. Если я не ошибаюсь⁶, я начинаю обретать ясность. Такое впечатление, словно где-то в лесной просеке происходит духовная битва. Я вторгаюсь в лес, ничего не нахожу и из-за слабости скоро выбираюсь обратно; часто, покидая лес, я слышу — или мне кажется, будто слышу, — бряцание оружия в той битве. Может быть, сквозь лесной мрак меня ищут взоры бойцов, но я так мало знаю о них, и знания эти так обманчивы.

Продолжайте, свиньи, свой танец. Какое мне до этого дело?

Но это истиннее, чем все, что я написал в последний год. Может быть, все дело в том, чтобы набить руку. Когда-нибудь я еще научусь писать.

28 мая. Послезавтра еду в Берлин⁷. Несмотря на бессонницу, головную боль и заботы, я, кажется, в лучшем состоянии, чем когда-либо прежде.

29 мая. Завтра в Берлин. Испытываю я просто лишь нервный подъем или же состояние мое действительно надежное? Что будет? Верно ли, что, если однажды познаешь суть творчества, ничто уже не погибнет, ничто не пропадет, хотя, правда, лишь редко что-либо взмывает ввысь. Не таким ли будет брезжущий брак с Ф.? Странное, хотя по воспоминаниям не совсем неведомое мне состояние.

Я строю планы. Я пристально смотрю перед собой, чтобы не отвести взгляда от воображаемого глазка воображаемого калейдоскопа, в который гляжу. Я перемешиваю добрые и корыстные намерения, на добрых краска тускнеет, зато полностью проявляет себя на корыстных. Я приглашаю небо и землю участвовать в моих планах, но не забываю и маленьких людей, которых надо вытащить из боковых улиц и которые пока что могут быть более полезными для моих планов. Это только начало, все время только начало. Я еще стою здесь со своей бедой, но вот уже сзади подъезжает огромный воз моих планов, маленький помост подкатывается мне под ноги, обнаженные девушки, как на карнавальных повозках в прекрасных краях, ведут меня спиной вперед вверх по ступенькам, я парю в воздухе, потому что девушки парят, я поднимаю руку, приказывая молчать.

Около меня возникают кусты роз, в кадилъницах курится фимиам, опускаются лавровые венки, предо мною и надо мною рассыпают цветы; два трубача, словно высеченные из камня, трубят в фанфары; сбегается толпа простого народа, которую упорядочивают вожаки; пустые, сверкающие чистотой, прямоугольные свободные места становятся темными, подвижными, переполненными, я чувствую, что напряжение людей достигло предела, и по собственному побуждению и с внезапно появившейся ловкостью проделываю на своем возвышении трюк, которым я много лет тому назад восхищался у человека-змеи: я медленно выгибаюсь назад — как раз в этот момент небо пытается раскрыться, чтобы показать какое-то явление, которое имеет отношение ко мне, но останавливается, — протаскиваю голову и верхнюю часть туловища между ног и постепенно снова воскресаю распрямившимся человеком. Был ли это наивысший подъем, доступный человеку? По-видимому, так, ибо я уже вижу, как из всех ворот глубоко и широко лежащей подо мною земли вылезают маленькие рогатые черти, они бегают повсюду, под их ногами все посередине ломается, их хвостики все сметают, вот уже пятьдесят хвостиков скользят по моему лицу, почва становится мягкой, я увязаю сначала одной ногой, затем другой, крики девушек преследуют меня до самой глубины, куда я отвесно погружаюсь через шахту, поперечник которой соответствует моему телу, но тем не менее бесконечно глубокую. Эта бесконечность не вдохновляет на особые деяния, все, что бы я ни делал, было бы мелко, я падаю без чувств, и это лучше всего.

Письмо Достоевского к брату о жизни на каторге.

6 июня. Вернулся из Берлина. Был закован в цепи, как преступник. Если бы на меня надели настоящие кандалы, посадили в угол, поставили передо мной жандармов и только в таком виде разрешили смотреть на происходящее, было бы не более ужасно. И вот такой была моя помолвка! Все пытались пробудить меня к жизни, но, поскольку это не удавалось, старались мириться со мной таким, какой я есть. Правда, кроме Ф.— вполне оправданно, ибо она больше всех страдала. Ведь то, что другим казалось просто внешней манерой, для нее талло угрозу.

Чиновник магистрата Брудер⁸ вернулся домой из канцелярии лишь около девяти часов вечера. Было уже совсем темно. Жена поджидала его у подъезда, держа на руках маленькую дочь. «Как дела?» — спросила она. «Очень плохо, — сказал Брудер, — пойдем домой, там я все тебе расскажу». Едва они вошли в дом, Брудер запер входную дверь. «Где служанка?» — спросил он. «В кухне», — сказала жена. «Это хорошо, пошли!» В большой низкой комнате зажгли светильник, все сели, и Брудер сказал: «Дело обстоит так. Наши отступают. Бой под Румдорфом, как я понял из достоверных сведений, поступивших в муниципалитет, закончился нашим поражением. Большая часть войск уже покинула город. Пока еще это скрывают, чтобы не вызвать в городе панику. Я считаю это не совсем разумным, лучше бы открыто сказали правду. Но долг обязывает меня молчать. Конечно, никто не может помешать мне сказать правду тебе. Впрочем, все догадываются о правде, это заметно по всему. Все запирают дома, прячут, что только можно спрятать».

Некоторые чиновники муниципалитета стояли у каменного парапета вдоль окна ратуши и смотрели вниз, на площадь. Последняя часть арьергарда ожидала там приказа к отходу. Это были молодые, рослые краснощечные парни, осаживавшие рвавшихся из туго натянутых поводьев лошадей. Два офицера гарцевали перед ними. Они явно ожидали вестей. Время от времени они высылали вперед верховых, посланный стремительно исчезал по круто поднимающейся от площади боковой улице. Пока ни один из них еще не вернулся.

К стоявшей у окна группе подошел чиновник Брудер, еще молодой бородатый мужчина. Поскольку он был старшим по чину и благодаря своим способностям пользовался особым уважением, все вежливо поклонились и пропустили его к парапету. «Итак, конец, — сказал он, устремив взгляд на площадь. — Это совершенно ясно».

«Значит, вы думаете, господин советник, — сказал высокомерный молодой человек, не сдвинувшийся с места, когда подошел Брудер, и теперь стоявший так близко к Брудеру, что они не могли даже посмотреть друг другу в лицо, — что битва проиграна?»

«Совершенно верно. В этом не может быть сомнения. Мы должны искупить всевозможные старые грехи. Теперь, правда, не время говорить об этом, теперь каждый

должен позаботиться о себе. Мы стоим перед окончательной развязкой. Сегодня вечером гости уже могут быть здесь. Возможно, они не станут дожидаться и вечера, а будут здесь через полчаса».

11 июня. Однажды вечером я пришел из канцелярии домой несколько позже, чем обычно — один знакомый задержал меня внизу у ворот, — и открыл свою комнату, мыслями весь еще в разговоре, вертевшемся главным образом вокруг сословных вопросов, повесил пальто на крючок и хотел подойти к умывальнику, как вдруг услышал чужое прерывистое дыхание. Я поднял глаза и увидел на вдвинутой глубоко в угол печи, в полутьме что-то живое. Сверкающие желтоватым светом глаза уставились на меня, под незнакомым лицом на карнизе печи по обе стороны лежали две большие круглые женские груди, все существо, казалось, состояло из груд мягкого белого мяса, толстый длинный желтоватый хвост свисал с печи, конец его все время скользил по щелям между кафельными плитками.

Первое, что я сделал, — большими шагами, с низко опущенной головой, повторяя тихо, как молитву: «Наваждение! Наваждение!» — направился к двери, ведущей в квартиру хозяйки. Лишь потом я заметил, что вошел, не постучав...

(Запись обрывается.)

Было около полуночи. Пятеро мужчин остановили меня, шестой из-за их спин протянул руку, чтобы схватить меня. «Пустите», — закричал я и так закружился волчком, что все отпрянули. Я чувствовал, что вступили в силу некие законы, знал, делая последнее усилие, что они одержат верх, видел, как все мужчины с поднятыми руками отскочили назад, понял, что в следующее мгновение они все вместе ринутся на меня, повернулся к входной двери — я находился вблизи нее, — отпер словно бы с величайшей охотой и с необычайной поспешностью поддавшийся замок и взбежал по темной лестнице наверх.

Наверху, на последнем этаже, в раскрытой двери стояла моя старая мать со свечой в руке.

— Осторожно, осторожно, — крикнул я еще с предпоследнего этажа, — они меня преследуют.

— Кто же? Кто же? — спросила мать. — Кто может тебя преследовать, мой мальчик?

— Шестеро мужчин,— сказал я, запыхавшись.

— Ты их знаешь? — спросила мать.

— Нет, неизвестные мужчины,— сказал я.

— Как они выглядят?

— Я плохо рассмотрел их. У одного черная окладистая борода, у другого большое кольцо на пальце, у третьего красный пояс, у четвертого порваны брюки на коленях, у пятого открыт только один глаз, а последний скалит зубы.

— Не думай больше об этом,— сказала мать,— иди в свою комнату, ложись спать, я постелила.

Мать, эта старая женщина, уже отрешенная от всего живого, с хитрой складкой вокруг бессознательно повторяющего восьмидесятилетние глупости рта.

— Теперь спать? — воскликнул я...

(Запись обрывается.)

12 июня. Письмо Достоевского к одной художнице.

Жизнь общества движется по кругу. Только люди, пораженные одинаковым недугом, понимают друг друга. Объединенные характером страдания в один круг, они поддерживают друг друга. Они скользят по внутренним краям своего круга, уступают друг другу дорогу или в толпе осторожно подталкивают друг друга. Один утешает другого в надежде на то, что утешение это возымеет обратное действие на него самого, или страстно упивается этим обратным действием. Каждый обладает только опытом, который дает ему его страдание, тем не менее в рассказах товарищей по несчастью этот опыт выглядит неслыханно многообразным. «Так обстоит с тобой дело,— говорит один другому,— и, вместо того чтобы жаловаться, благодари бога, что именно так оно обстоит, ибо, будь оно по-другому, это навлекло бы на тебя такое-то или такое-то несчастье, такой-то или такой-то позор». Откуда это ему известно? Судя по его высказыванию, он ведь принадлежит к тому же кругу, что и его собеседник, у него такая же потребность в утешении. А люди одного круга знают всегда одно и то же. Положение утешающего ни на йоту не лучше положения утешаемого. Поэтому их беседы — лишь соединение самовнушений, обмен пожеланиями. То один глядит в землю, а другой на птицу в небе (в таких различиях протекает их общение). То их объединяет одна надежда, и оба, голова к голове, глядят в бесконечные дали небес. Но понимание своего по-

ложения обнаруживается лишь тогда, когда они оба опускают голову и один и тот же молот обрушивается на них.

14 июня. Я иду спокойным шагом, в то время как в голове у меня стучит и неприятнейшее ощущение вызывает слегка ударяющая меня по голове ветвь. Во мне, как и в других людях, есть спокойствие, уверенность, но заложены они как-то навыворот.

1 июля. Слишком устал.

5 июля. Какие страдания я должен переносить и причинять!

29 июля. Йозеф К., сын богатого купца, однажды вечером после крупной ссоры с отцом — отец упрекал его в безалаберной жизни и требовал немедленного ее прекращения — направился без всякой цели, лишь из полнейшей безнадежности и усталости, в купеческий клуб, стоявший на виду недалеко от гавани. Швейцар низко склонился пред ним. Йозеф едва взглянул на него, не поздоровавшись. «Эти молчаливые прислужники делают все, чего от них ожидают, — подумал он. — Раз я думаю, что он незаметно наблюдает за мной, значит, он действительно делает это». И он еще раз, опять без приветствия, оглянулся на швейцара; тот повернулся лицом к улице и смотрел на покрытое облаками небо.

Записи о путешествии сделал в другой тетради. Вещи, над которыми я начал работать, не удались. Я не сдаюсь, несмотря на бессонницу, головную боль, общую слабость. Но мне понадобилось собрать для этого все свои последние силы. Я пришел к выводу, что избегаю людей не затем, чтобы спокойно жить, а чтобы спокойно умереть. Но я буду обороняться. В моем распоряжении месяц без шефа.

30 июля. Я искал совета, я не был упрямым. То было не упрямство, когда с судорожно перекошенным лицом и с пылающими щеками я смеялся про себя над тем, кто, не зная этого, давал мне какой-нибудь совет. Это было напряженное внимание, готовность к восприятию, болезненное отсутствие упрямства.

Директор страхового общества «Прогресс» всегда был крайне недоволен своими служащими. Пожалуй, всякий директор недоволен своими служащими, разница между служащими и директорами слишком велика, чтобы ее могли выравнивать одни лишь приказы директора и одно лишь послушание служащих. Только обоюдная ненависть приводит к выравниванию и придает законченность всему делу.

Бауц, директор страхового общества «Прогресс», с сомнением смотрел на человека, который стоял перед его письменным столом и добивался места служителя. Время от времени он заглядывал в лежавшие перед ним документы претендента.

«Рост-то у вас достаточный,— сказал он,— это видно, а вот чего вы стоите? У нас служители должны уметь что-то большее, чем лизать марки, как раз этого они у нас не обязаны уметь, ибо это у нас делают автоматы. У нас служители наполовину чиновники, они должны делать ответственную работу, чувствуете ли вы себя способным к этому? У вас странная форма головы. Какой покатый лоб. Странно. Где вы служили в последнее время? Что? Целый год не работали? Почему? Из-за воспаления легких? Так? Ну, это не очень выигрышно для вас, не правда ли? Нам, разумеется, нужны только здоровые люди. Прежде чем поступить к нам, вы должны обследоваться у врача. Вы уже выздоровели? Да? Конечно, это возможно. А погромче говорить вы можете? Вы действуете мне на нервы своим шепотом. По документам я вижу: вы женаты, у вас четверо детей. И целый год вы не работали? Ну знаете, милейший! Ваша жена прачка? Так. Ну да. Раз уж вы здесь, обследуйтесь сразу у врача, служитель проводит вас к нему. Но из этого вы не должны заключать, что приняты, даже если свидетельство врача будет благоприятным. Совсем нет. Во всяком случае, вы получите письменное извещение. Чтобы быть откровенным, хочу сказать сразу: вы мне совсем не нравитесь. Нам нужны совсем другие служители. Но на всякий случай обследуйтесь. Ну идите же, идите. Просить бесполезно. Я не вправе заниматься благотворительностью. Вы согласны выполнять любую работу. Конечно. Всякий согласен. Это не заслуга. Это лишь свидетельствует, как невысоко вы себя цените. Ну, говорю в последний раз: идите и не задерживайте меня больше. Воистину достаточно».

Бауцу пришлось стукнуть кулаком по столу, прежде чем человек позволил служителю вытащить его из директорского кабинета.

31 июля. У меня нет времени. Всеобщая мобилизация. К. и П. призваны. Теперь я получу в награду одиночество. Впрочем, едва ли это можно назвать наградой, одиночество — это наказание. Как бы то ни было, меня мало задело всеобщее бедствие, я исполнен решимости, как никогда. В послеобеденное время мне нужно будет находиться на фабрике, жить я буду не дома, так как к нам переселяется Э. с двумя детьми. Но писать буду, несмотря ни на что, во что бы то ни стало — это моя борьба за самосохранение.

2 августа. Германия объявила России войну.
После обеда школа плавания.

3 августа. Один в квартире моей сестры. Она расположена ниже моей комнаты, да и улица боковая, поэтому хорошо слышна громкая болтовня соседней внизу у дверей. И насвистывание. В остальном же полнейшее одиночество. Желанная жена не открывает двери. Через месяц я должен был бы жениться. Мучительные слова: чего хотел, то и получил. Стоишь, больно прижатый к стене, боязливо опускаешь глаза, чтобы увидеть руку, прижимающую тебя, и с новой болью, заставляющей забыть прежнюю, видишь собственную искривленную руку — она держит тебя с силой, которой никогда не обладала для настоящей работы. Поднимаешь голову, снова ощущаешь первоначальную боль, опять опускаешь глаза, и нет конца этому движению головы вверх-вниз.

4 августа. Снимая квартиру, я, по-видимому, написал хозяину какую-то бумагу, которая обязывала меня к двух- или даже шестилетней аренде. Теперь он предъявляет требование согласно этому договору. Глупость, или, лучше сказать, полная и абсолютная беспомощность, которую обнаруживает мое поведение. Скользнуть в поток. Это соскальзывание представляется мне, наверное, потому столь желанным, что напоминает о «подталкивании».

6 августа. Вдоль Грабена тянулась артиллерия. Цветы, крики «Heil» и «Nazdar»*. В толпе лицо, судорожно застывшее, изумленное, внимательное, смуглое и черноглазое.

Я разбит, а не окреп. Пустой сосуд, еще целый, но уже погребенный под осколками, или уже осколок, но все еще под гнетом целого. Полон лжи, ненависти и зависти. Полон бездарности, глупости, тупости. Полон лени, слабости и беззащитности. Мне тридцать один год. Я видел двух управляющих именем на фотографии Оттлы⁹. Молодые свежие люди, которые кое-что знают и достаточно сильны, чтобы суметь применить свои знания среди людей, оказывающих по необходимости легкое сопротивление. Один ведет на поводу прекрасных лошадей, другой, с безусловно внушающим доверие и обычно, видимо, неподвижным лицом, лежит на траве и кончиком языка водит по губам.

Я обнаруживаю в себе только мелочность, нерешительность, зависть и ненависть к воюющим, которым я страстно желаю всех бед.

С литературной точки зрения моя судьба очень проста. Желание изобразить мою исполненную фантазий внутреннюю жизнь сделало несущественным все другое, которое потому и хирело и продолжает хиреть самым плачевным образом. Ничто другое никогда не могло меня удовлетворить. Но я не знаю, есть ли у меня еще силы для этого изображения, может быть, они иссякли навсегда, может быть, они все же снова нахлынут на меня, хотя условия моей жизни не благоприятствуют этому. Так меня и бросает из стороны в сторону, я взлетаю непрерывно на вершину горы, но ни на мгновение не могу удержаться там. Других тоже бросает из стороны в сторону, но в долинах, да и сил у них больше; стоит им только начать падать, как их тут же подхватывает родственник, для того и следующий за ними. Меня же бросает из стороны в сторону там, наверху,— к сожалению, это не смерть, но вечная мука умирания.

Патриотическое шествие. Речь бургомистра. Скрывается, появляется снова, заканчивает германской здравницей: «Да здравствует наш любимый монарх, ура!»

* Ура (нем., чешск.).

Я стою и смотрю злыми глазами. Эти шествия — одно из самых отвратительных сопутствующих явлений войны. Они организованы еврейскими коммерсантами — то немецкими, то чешскими, — которые признаются себе, правда, в этом, но никогда так громко не могли выкрикаться, как теперь. Разумеется, они многих увлекают. Организованы шествия хорошо. Они будут повторяться каждый вечер, а завтра, в воскресенье, — дважды.

7 августа. Каждого толкуешь на свой лад, даже если ты лишен малейших способностей к индивидуализации. «Л. из Бинца» ткнул в мою сторону тростью, чтобы привлечь мое внимание, и напугал.

Уверенные шаги в школе плавания.

Вчера и сегодня написал четыре страницы — трудно превзойти их ничтожность.

Титанический Стриндберг. Эта ярость, эти добытые в кулачном бою страницы.

Хоровое пение из трактира напротив. Спать невозможно. Из раскрытых стеклянных дверей доносится песня. Тон задает девичий голос. Поются невинные любовные песни. Я мечтаю о полицейском. Он как раз появляется. На какое-то время он останавливается около двери и прислушивается. Затем зовет: «Хозяин!» Девичий голос: «Войтишек». Откуда-то выскакивает мужчина в штанах и рубашке. «Закройте двери! Этот шум мешает». «О, пожалуйста, пожалуйста», — говорит хозяин с вкрадчивыми предупредительными жестами; словно обхаживая даму, он сперва закрывает дверь позади себя, затем открывает ее, чтобы проскользнуть, и опять закрывает. Полицейский (чье поведение, особенно ярость, непонятно, ибо ему-то уж пение никак не мешает, наоборот, оно может только скрасить его скучную службу) уходит, у певцов охота к пению пропадает.

12 августа. Совсем не спал. После обеда три часа без сна в оцепении лежал на диване, ночь прошла так же. Но это не должно мне мешать.

15 августа. Вот уже несколько дней пишу¹⁰ — хорошо, если бы так продолжалось. Хотя я сейчас не столь защищен и не настолько одержим работой, как два года назад¹¹, тем не менее жизнь обрела какой-то смысл, моя размеренная, пустая, бессмысленная холостяцкая жизнь имеет оправдание. Я снова могу вести диалог с

самим собой и уже не вперяю взгляд в полнейшую пустоту. Только на этом пути для меня возможно выздоровление.

ВОСПОМИНАНИЕ О ДОРОГЕ НА КАЛЬДУ

Когда-то, много лет тому назад, я служил на узкоколейке в глубине России. Таким покинутым, как там, я никогда не был. По различным причинам, о которых здесь не стоит говорить, я тогда искал такое место; чем больше одиночество окружало меня, тем приятнее мне было, и я теперь не хочу жаловаться на это. Но в первое время мне не доставало занятия. Сперва узкоколейку заложили, видимо, из каких-то хозяйственных соображений, но средств не хватило, строительство застопорилось, и, вместо того чтобы протянуться до Кальды, ближайшего, расположенного в пяти днях езды от нас более крупного населенного пункта, дорога остановилась у маленького селения, в самой глуши, откуда до Кальды нужно было ехать целый день. Но даже если бы дорога эта была доведена до самой Кальды, она еще бог весть сколько времени оставалась бы нерентабельной, ибо весь проект был ошибочным: край нуждался в шоссейных, а не в железных дорогах; в том же состоянии, в котором дорога сейчас находилась, она вообще была ни к чему — те два поезда, что ежедневно курсировали, везли грузы, которые можно было бы перевозить на телегах, пассажирами были лишь несколько батраков в летнее время. Но тем не менее полностью законсервировать дорогу не хотели, ибо все еще надеялись, что, если она будет функционировать, удастся раздобыть средства для продолжения строительства. На мой взгляд, надежда эта была не столько надеждой, сколько отчаянием и ленью. Пока подвижной состав и уголь имелись, дорога работала, ее несколькими работниками нерегулярно и не полностью, словно это была милостыня, выдавалось жалованье, вообще же ждали краха всего предприятия.

Итак, я служил на этой дороге и жил в деревянной халупе, сохранившейся еще со времен строительства и служившей одновременно станционным помещением. Она состояла из одной комнаты, где для меня был сколочен топчан и стол для работы. Над топчаном установлен был телефонный аппарат. Когда я весной прибыл

туда, один поезд проходил мимо станции очень рано — потом это изменилось, — и иной раз случалось, что какой-нибудь пассажир являлся на станцию, когда я еще спал. Разумеется, он не оставался под открытым небом — до самой середины лета ночи там были холодными, — а стучал в дверь; я отпирал, и, бывало, мы часами болтали. Я лежал на своем топчане, гость устраивался на полу или же готовил по моему указанию чай, который мы затем пили в добром согласии. Все эти деревенские люди очень обходительны. Впрочем, я заметил, что не очень способен выносить полнейшее одиночество, хотя должен сказать, что одиночество, которое я возложил на себя, уже через короткое время начало развеивать мои прежние заботы. Я вообще пришел к выводу, что это хорошее испытание меры несчастья — дать человеку совладать с собой в одиночестве. Одиночество могущественней всего и гонит человека обратно к людям. Естественно, что потом пытаешься найти другие, кажущиеся менее болезненными, но пока еще просто неведомые пути.

Я привязался к тамошним людям гораздо больше, чем думал. Конечно, постоянного общения у нас не было. Каждая из пяти деревень, с которыми я мог бы общаться, находилась от станции и других деревень на расстоянии нескольких часов ходьбы. Слишком далеко уходить от станции я не мог, если не хотел потерять свою должность. А этого я вовсе не хотел, во всяком случае в первое время. Стало быть, в деревни ходить я не мог и поэтому вынужден был ограничиваться общением с пассажирами и с теми людьми, которые не боялись дальней дороги, чтобы навестить меня. Уже в первый месяц такие люди нашлись, но, сколь ни дружественно настроены они были, легко было догадаться, что они приходят для того, чтобы попытаться заключить со мною какую-нибудь сделку, — впрочем, они и не скрывали своих намерений. Они приносили разные товары, и сначала, пока были деньги, я обычно покупал почти все, не глядя, — так рад я был этим людям, особенно некоторым из них. Позже я, правда, сократил эти покупки, сократил еще и потому, что мне показалось, будто они пренебрежительно относятся к моей манере покупать. Кроме того, мне привозили продукты и поездом — правда, они были скверными и еще более дорогими, чем те, что приносили крестьяне.

Поначалу я собирался развести небольшой огород,

купить корову и таким образом стать по возможности от всех независимым. Я привез с собой огородный инвентарь и семена, земли было предостаточно, она лежала вокруг моей хибары, насколько хватал глаз, не возделанной равниной, без единого холмика. Но я был слишком слаб, чтобы покорить эту почву, упрямую почву, до самой весны скованную морозом и не поддававшуюся даже моей новой острой мотыге. Все посеянное в эту землю пропадало. Эта работа вызывала у меня приступы отчаяния. Целыми днями я лежал на топчане и не выходил даже при прибытии поездов. Я только высовывал голову в оконце над топчаном и сообщал, что болен. Тогда железнодорожники — их было трое — заходили ко мне погреться, но тепла они находили мало, ибо я старался не пользоваться старой железной печкой, боясь, что она взорвется. Я охотнее лежал закутанный в старое теплое пальто и укрытый овчинами, которые постепенно скупал у крестьян. «Ты часто болеешь, — говорили они мне. — Хворый человек. Тебе отсюда не выбраться». Они говорили так совсем не для того, чтобы огорчить меня, просто они старались по возможности напрямик говорить правду. И при этом странно тарасились.

Один раз в месяц, но непременно в разное время приезжал инспектор, чтобы проверить книгу записей, забрать у меня выручку и — далеко не всегда — выдать мне жалованье. О его прибытии меня каждый раз уведомляли на день раньше люди, высадившие его на последней станции. Они считали это величайшим благодеянием, которое могут мне оказать, хотя, конечно, у меня всегда во всем был порядок. Да для этого не требовалось ни малейшего труда. Но инспектор всегда вступал на станцию с таким видом, будто уж на этот раз он обязательно раскроет мою нерадивость. Дверь хибары он отворял коленом и пытливо взглядывал на меня. Едва раскрыв книгу, он находил ошибку. Проходило много времени, прежде чем мне удавалось доказать ему, что не я, а он ошибся. Он всегда бывал недоволен моей выручкой, потом он со стуком хлопывал книгу и снова испытующе взглядывал на меня. «Мы должны будем закрыть дорогу», — говорил он каждый раз. «Да, этим кончится», — отвечал я обычно.

После ревизии отношения наши менялись. У меня всегда была припасена водка и по возможности какое-

нибудь лакомство. Мы чокались, затем он пел довольно сносным голосом, но неизменно только две песни, одна была грустной и начиналась словами: «Куда бредешь, бедняжка, лесом?», другая была веселой и начиналась так: «Веселые дружки, мне с вами по пути!» В зависимости от настроения, в какое мне удавалось его привести, я по частям получал свое жалованье. Но только поначалу я посматривал на него с определенным намерением, позднее мы достигли полного единодушия, беззастенчиво ругали администрацию, он шептал мне в ухо, какой карьеры добьется и для меня, и в конце концов мы в обнимку падали на топчан и валялись так иной раз по десять часов. На следующее утро он уезжал опять как мой начальник. Я стоял перед поездом и отдавал честь, он обычно, перед тем как войти в вагон, еще раз поворачивался ко мне и говорил: «Итак, дружище, через месяц мы снова увидимся. Ты знаешь, что поставлено на карту ради тебя». Я еще вижу повернутое с трудом ко мне распухшее лицо, все на этом лице выпирает вперед — щеки, нос, губы.

Это было единственное большое развлечение, которое я себе позволял раз в месяц; если случайно оставалось немного водки, я выпивал ее сразу же после отъезда инспектора, чаще всего я еще слышал сигнал к отправлению поезда, а водка уже булькала у меня в горле. После подобной ночи жажду я испытывал чудовищную; казалось, будто во мне сидит второй человек, который высовывает из моего рта свою голову и шею и требует пить. Инспектор-то был обеспечен, он всегда возил с собой в поезде большие запасы спиртного, в моем же распоряжении было только недопитое.

Зато потом я весь месяц не пил и не курил, я только выполнял свою работу и ничего другого не хотел. Работы, как я уже говорил, было немного, и делал я ее добросовестно. Например, в мои обязанности входило ежедневно чистить и проверять железнодорожный путь — километр направо и километр налево от станции. Но я не придерживался инструкции и часто шел гораздо дальше, так далеко, что едва различал станцию. При ясной погоде она была еще видна на расстоянии пяти километров — местность ведь была совершенно плоской. Когда я отдалялся настолько далеко, что хибара лишь маячила вдаль, я порой из-за оптического обмана видел, как множество черных точек движется по направ-

лению к ней. Это были целые толпы, целые отряды. Но иной раз действительно кто-нибудь приходил, и тогда я, размахивая киркой, всю длинную обратную дорогу бежал бегом.

К вечеру я справлялся со своей работой и окончательно забирался в хибару. Обычно в это время никто не приходил, ибо ночью возвращаться в деревню было небезопасно. Вокруг шатались всякие темные личности, то не были местные жители, каждый раз это были разные люди, иногда, правда, кто-нибудь приходил и вторично. Многих я видел, уединенная станция привлекала, да люди эти, собственно, не были опасны, но с ними следовало обходиться строго.

Они были единственными, кто мне мешал в долгие сумерки. Обычно я лежал на топчане, не думал о прошлом, не думал о дороге — следующий поезд проходил между десятью и одиннадцатью часами вечера, — короче говоря, не думал ни о чем. Время от времени я читал старую газету, которую мне бросали из проходящего поезда, в ней описывались скандальные происшествия в Кальде, может, они и заинтересовали бы меня, но по разрозненным номерам я не мог их понять. Кроме того, в каждом номере давалось продолжение романа под названием «Мечь командира». Командир этот, всегда носивший на боку кинжал, а в особых случаях бравший его даже в зубы, однажды приснился мне. Впрочем, много читать я не мог, так как быстро темнело, а керосин или сальные свечи были непомерно дороги. От дороги я ежемесячно получал всего пол-литра керосина, чтобы поддерживать вечером в течение получаса сигнальный свет для поезда, — иссякал этот керосин задолго до окончания месяца. Но свет этот и не нужен был, и потом я его больше не зажигал, по крайней мере в лунные ночи. Я предвидел, что, когда кончится лето, керосин мне понадобится. Поэтому в углу хибары я выкопал яму, поставил туда старый просмоленный пивной бочонок и каждый месяц выливал в него сэкономленный керосин. Все было прикрыто соломой, и никто ничего не замечал. Чем больше в хибаре воняло керосином, тем довольнее я был; вонь потому была сильной, что бочонок был из старого потрескавшегося дерева, которое пропиталось керосином. Позднее я из осторожности закопал бочонок позади хибары, потому что однажды инспектор бахвалился передо мною коробкой восточных спичек и, когда я попросил отдать ее мне, стал

зажигать спичку за спичкой и подбрасывать их в воздух одну за другой. Нам обоим, и в особенности керосину, грозила реальная опасность, я спас все тем, что бросился на него и стал трясти, пока спички не выпали у него из рук.

В свободное время я часто думал, как мне обеспечить себя на зиму. Если я уже теперь, в теплое время года, мерз — а в этом году, как говорили, было теплее, чем обычно, — то зимой мне будет совсем плохо. Керосин я запасал из причуды, будь я благоразумнее, мне многим следовало бы запастись для зимы; в том, что общество не особенно побеспокоится обо мне, не было никакого сомнения, но я был легкомысленным, вернее, не легкомысленным, а просто мне было слишком мало дела до самого себя, чтобы очень уж стараться сделать что-либо в этом отношении. Теперь, в теплое время года, мне жилось сносно, и я оставлял все, как есть, ничего не предпринимая.

Одним из соблазнов, приведших меня на эту станцию, были виды на охоту. Мне говорили, что эта местность исключительно богата дичью, и я уже заручился обещанием прислать мне ружье, когда скоплю немного денег. И вот оказалось, что пригодной для охоты дичи нет и в помине, здесь водятся как будто лишь волки и медведи — в первые месяцы я их не видел; кроме того, здесь были какие-то странные большие крысы, их я увидел сразу же, — словно гонимые ветром, они полчищами носились по полям. Но дичи, которой я заранее радовался, не было. Люди рассказывали мне не небывлицы, богатая дичью местность существовала, но она находилась в трех днях езды отсюда, — мне не приходило в голову, что в этих краях, на протяжении сотен километров необитаемых, точно указать место было трудно. Во всяком случае, пока что ружье мне не требовалось и я мог использовать деньги для других целей; но для зимы мне, конечно, необходимо было приобрести ружье, и я регулярно откладывал для этого деньги. Для крыс, атакывавших иногда мои продукты, достаточно было длинного ножа.

В первое время, когда еще все вызывало мое любопытство, я однажды наколол такую крысу и повесил ее перед собой на стене на уровне глаз. Маленьких зверей можно хорошо рассмотреть лишь тогда, когда держишь их перед собой на уровне глаз; если наклоняться к ним к земле и рассматривать их в таком положении, полу-

чаешь о них неверное, неполное представление. Самое поразительное в этих крысах — когти, большие, вогнутые и все же на концах заостренные; они очень хорошо приспособлены для рытья. При последней судороге висевшая передо мною на стене крыса, в явном несоответствии со своим характером при жизни, распрямила когти, и они стали похожи на ручонку, протянутую кому-то навстречу.

Вообще-то эти звери мало досаждали мне, но ночью они иной раз будили меня, со стуком пробегая по твердой земле мимо хибары. И если я потом, сидя в постели, зажигал восковую свечу, то в какой-нибудь дыре под деревянным косяком мог видеть просунутые снаружи, лихорадочно работающие крысиные когти. Это была совершенно бесполезная работа — для того чтобы вырыть для себя достаточно большую нору, крысе нужно было бы работать целыми днями, а она убегала, едва только день занимался, тем не менее она работала, словно рабочий, имеющий определенную цель. И делала она свою работу хорошо; правда, когда она копала, взлетали лишь маленькие комья земли, но впустую когти никогда не пускались в ход. Часто я ночью долго наблюдал их работу, пока картина эта своей размеренностью и спокойствием не усыпляла меня. В таких случаях у меня не хватало сил погасить свечку и она еще некоторое время продолжала светить крысе.

Однажды теплой ночью я, услышав стук когтей, осторожно, не зажигая света, вышел наружу, чтобы посмотреть на самого зверька. Он низко опустил голову с острым рыльцем, почти просунул ее между передними лапками, чтобы как можно теснее придвинуться к дереву и поглубже засунуть под него когти. Можно было подумать, будто кто-то в хибаре, крепко держа за когти, хотел туда втянуть всего зверька, так он был напряжен. Все было кончено одним ударом ноги, которым я убил крысу. Я не мог допустить, чтобы на моих глазах, когда не сплю, было совершено нападение на хибару, на мое единственное достояние.

Чтобы защитить хибару от крыс, я заткнул все дыры соломой и паклей и каждое утро обследовал пол. Пол хибары — а это была хорошо утрамбованная земля — я собирался покрыть досками, что тоже принесло бы пользу зимой. Крестьянин из ближайшего села, по имени Екоц, давно обещал мне принести для этой цели хоро-

шие сухие доски, я уже не раз выставлял ему угощение за одни только посулы, он и не пропадал надолго, а появлялся каждые две недели, иногда ему приходилось отправлять кое-что поездом, но доски он все не приносил. Он приводил всякие отговорки, чаще всего повторял, что сам он слишком стар, чтобы тащить такую тяжесть, а сын его, который должен принести эти доски, именно сейчас занят в поле. Екоцу, по его словам, — и так оно, наверное, и было — уже далеко за семьдесят, но это был крупный, еще очень сильный человек. Временами его отговорки менялись, в другой раз он говорил, как трудно достать такие длинные доски, какие мне нужны. Я не настаивал, мне не так уж необходимы были доски, Екоц сам первый навел меня на мысль покрыть пол досками, может быть, такой настил вовсе и не нужен, — короче говоря, я спокойно выслушивал вранье старика. Мое постоянное приветствие было: «Доски, Екоц!» Он тут же начинал лопотать извинения, называл меня инспектором, капитаном или лишь телеграфистом, обещал не только принести на днях доски, но с помощью сына и нескольких соседей снести всю хибару и вместо нее построить крепкий дом. Я слушал, пока не уставал, потом выталкивал его за дверь. Но стоя уже в дверях, он, выпрашивая прощение, поднимал свои якобы слабые руки, которыми на самом деле мог задушить взрослого человека. Я понимал, почему он не приносит доски, он думал, что поближе к зиме они мне станут более необходимы и я лучше заплачу за них, кроме того, пока доски не у меня, он сам представляет для меня большую ценность. Он, конечно, был неглуп и соображал, что я знаю, что у него на уме, но, поскольку я не использовал своего знания, он считал это своим преимуществом и дорожил им.

Однако все приготовления, которые я предпринимал, чтобы защитить хибару от зверей и обеспечить себя на зиму, пришлось прекратить, когда я — первая четверть года моего пребывания здесь близилась к концу — серьезно заболел. До сих пор меня в течение многих лет миновали всякие болезни, даже легкие недомогания, а тут я заболел. Началось с сильного кашля. Примерно в двух часах ходьбы от станции протекал небольшой ручей, из которого я обычно набирал бочку воды и привозил ее на тачке. Иногда я там и купался и в результате схватил кашель. Приступы кашля были такими сильными, что я весь скорчивался, думая, что не вы-

держу кашля, если не скорчусь и не соберу таким образом все силы вместе. Мне казалось, железнодорожники придут в ужас от такого кашля, но он был им знаком, они называли его волчьим кашлем. И впрямь я начал различать в своем кашле вой. Я сидел на лавке перед хибарой и воем приветствовал поезд, воем же и провожал его. Ночами я стоял на коленях на топчане, вместо того чтобы лежать, и вдавливал лицо в овчины, чтобы по крайней мере не слышать воя. Я напряженно ждал, пока не лопнет какой-нибудь важный кровеносный сосуд и не наступит конец. Но ничего этого не случилось, а через несколько дней кашель даже прошел. Есть такой чай, которым его лечат, машинист обещал мне привезти этого чая, но сказал, что пить его нужно лишь на восьмой день после начала кашля, иначе он не поможет. На восьмой день он действительно привез его, и я вспоминаю, что, кроме железнодорожников, ко мне в хибару зашли и пассажиры, двое молодых крестьян: услышать первый приступ кашля после выпитого чая считается хорошей приметой. Я выпил, первый глоток выкашлял в лицо присутствующим, а потом действительно сразу же почувствовал облегчение — правда, в последние два дня кашель сам собой стал уже слабее. Но жар не проходил.

Этот жар очень изнурил меня, я совершенно ослабел, случалось, лоб внезапно покрывался потом, я начинал дрожать всем телом и должен был тут же, где бы ни находился, лечь и ждать, пока снова соберусь с силами. Я явственно ощущал, что мне становится не лучше, а хуже и что мне необходимо поехать в Кальду и побыть там несколько дней, пока не поправлюсь.

21 августа. Начал с такими надеждами и всеми тремя рассказами отброшен назад¹² сегодня сильнее всего. Наверное, будет правильно, если над рассказом из русской жизни я буду работать всегда только после «Процесса». С этой нелепой надеждой, опирающейся, очевидно, лишь на привычную фантазию, я снова принимаюсь за «Процесс». Совсем уж бесполезным это не было.

29 августа. Конец одной главы не удался, другую, уже начатую, главу я вряд ли смогу или, вернее, совершенно определенно не смогу так хорошо продолжать, а

той ночью мне бы это наверняка удалось. Но я не вправе сам себя покинуть, я совершенно один.

30 августа. Холодно и пусто. Я слишком хорошо ощущаю границы своих способностей, которые, если я не поглощен полностью, безусловно узки. Я даже думаю, что и в состоянии поглощенности я тоже вовлечен в пределы лишь этих узких границ, но тогда я этого не чувствую из-за увлеченности. Тем не менее в этих границах есть место для жизни, и я буду пользоваться им до тех пор, пока самому не станет тошно.

1 сентября. В состоянии полнейшего бессилия еле написал две страницы. Я сегодня отступил далеко назад, хотя и хорошо спал. Но я знаю, что не должен поддаваться, если хочу, преодолев глубочайшие страдания, причиняемые мне сочинительством, обрести большую свободу, которая, может быть, ждет меня. Былое отупение, как я заметил, еще не совсем прошло, а холод сердца, вероятно, никогда и не пройдет. То обстоятельство, что меня не отпугивает никакое унижение, может так же означать безнадежность, как и вселять надежду.

13 сентября. Снова едва две страницы. Сперва я думал, грусть в связи с поражениями Австрии и страх перед будущим (страх, в основе своей кажущийся мне нелепым и вместе с тем гнусным) вообще помешают мне писать. Этого не произошло, меня лишь то и дело охватывает оцепенение, и его надо постоянно преодолевать. Для грусти у меня достаточно времени и помимо писания. Ход мыслей, связанных с войной, мучителен, они разрывают меня во все стороны и напоминают мои старые тревоги в связи с Ф. Я не способен переносить тревоги и, вероятно, для того и создан, чтобы погибнуть от тревог. Когда я достаточно ослабею — а этого не придется долго ждать, — наверное, достаточно будет малейшей тревоги, чтобы выбить меня из колен. Конечно, в предвидении этого я могу найти способ немного отсрочить несчастье. Правда, несмотря на то что я напряг все силы сравнительно мало ослабленного в то время организма, я плохо справился со своими тревогами в связи с Ф., но писание оказывало мне большую помощь лишь вначале, теперь же я не хочу больше лишаться этой помощи.

7 октября. Взял недельный отпуск, чтобы сдвинуть с места роман. До сегодняшнего дня — а сегодня ночь среды, в понедельник мой отпуск кончается — это не удалось. Я писал мало и дурно. Правда, я и на прошлой неделе уже был в состоянии упадка, но я не мог предвидеть, что станет настолько скверно. Дают ли эти три дня основание для вывода, что жить без канцелярии я недостойн?

1 ноября. Вчера после долгого перерыва хорошо продвинулся вперед, сегодня опять почти ничего не получается, две недели после моего отпуска почти полностью потеряны.

Сегодня довольно хорошее воскресенье. В Хотекском сквере читал сочинения Достоевского. Охрана в замке и у штаба корпуса. Фонтан в Тунском дворце. Большое чувство самоудовлетворения в течение всего дня. А теперь полнейшая несостоятельность в работе. Это даже не несостоятельность, я вижу свою задачу и путь к ее разрешению, я только должен пробиться через какие-то совсем слабые препятствия и не могу. Игра с мыслями о Ф.

3 ноября. После обеда письмо к Э., просмотрел рассказ Пика «Слепой гость» и записал поправки к нему, немного читал Стриндберга, потом не спал, в полдевятого был дома, в десять вернулся к себе, от страха перед головной болью, уже начавшейся, и еще потому, что и ночью я очень мало спал, ни над чем не работал, отчасти и потому, что боялся испортить написанный вчера сносный кусок. Начиная с августа это четвертый день, когда я совсем не писал. Виной тому письма, попробую не писать их вообще или же писать только совсем коротко. В каком смятении я сейчас и как бросает меня из стороны в сторону! Вчера вечером был сверхсчастлив после того, как прочитал несколько строк из Жамма¹³, до которого вообще-то мне нет дела, но его французский язык — речь шла о посещении друга-поэта — произвел на меня сильнейшее впечатление.

4 ноября. Вернулся П. Кричит, возбужден, неистовствует. Его рассказ о кроте, который рылся под ним в окопе, — он счел крота божественным знаком, повелевающим ему уйти с этого места. Едва он отошел, пуля попала в солдата, который пополз вслед за ним и находился в этот

момент как раз над кротом. Рассказывает о своем капитане. Видели, как его взяли в плен. Но на следующий день нашли в лесу голым, проткнутым штыками. По-видимому, у него были с собой деньги, его хотели обыскать и ограбить, но он — офицер ведь! — не позволил дотронуться до себя. От ярости и возбуждения П. почти заплакал, когда по пути с вокзала встретил своего шефа (которого он раньше безмерно и до смешного почитал), элегантно одетого, надушенного, с биноклем на шее, идущего в театр. Месяц спустя он сам туда отправился с билетом, подаренным ему шефом. Он пошел на комедию «Неверный Эккегарт». Спал однажды в замке князя Сапегги, однажды, находясь в резерве, спал перед самыми австрийскими батареями, которые вели огонь, однажды — в комнате у крестьян, где в каждой из двух кроватей, стоявших справа и слева у стен, спало по две женщины, за печкой — девушка, а на полу восемь солдат. Наказание для солдат: стоять привязанным к дереву, пока не посинеешь.

12 ноября. Родители, ожидающие от своих детей благодарности (есть даже такие, которые ее требуют), подобны ростовщикам: они охотно рискуют капиталом, лишь бы получить проценты.

25 ноября. Голое отчаяние, невозможно подняться, лишь насладившись страданием, я могу успокоиться.

30 ноября. Не могу больше писать. Я у последней черты, пред которой мне, наверное, опять придется сидеть годами, чтобы затем, может быть, начать новую вещь, которая опять останется незаконченной. Эта участь преследует меня. Я опять холоден и бестолков, осталась лишь старческая любовь к совершеннейшему покою. И подобно какому-нибудь сорвавшемуся с привязи животному, я уже снова готов подставить шею и хочу попытаться заполучить на это время Ф. Я действительно попытаюсь это сделать, если мне не помешает отвращение к самому себе.

2 декабря. После обеда у Верфеля с Максом и Пиком. Читал им «В исправительной колонии», не совсем недоволен, за исключением сверхъясных, неискоренимых ошибок. Верфель прочитал стихи и два акта из «Эсфири, царицы Персии». Акты захватывающие. Но меня легко

сбить с толку. Замечания и сравнения, которые сделал Макс, не очень довольный пьесой, мешают мне, и в памяти пьеса осталась далеко не такой цельной, какой воспринималась при слушании. [...]

Вывод из сегодняшнего дня, еще до Верфеля: во что бы то ни стало продолжать работу, грустно, что сегодня это невозможно, я устал и болит голова, она начала болеть еще с утра, в канцелярии. Во что бы то ни стало продолжать работу, несмотря на бессонницу и канцелярию.

5 декабря. Письмо от Э. о положении ее семьи. Мое отношение к семье лишь тогда приобретает для меня настоящий смысл, когда я воспринимаю себя как причину гибели семьи. Это единственное естественное объяснение, начисто отметающее все то, что вызывает удивление. Это и единственная действенная связь, которая в данный момент существует между мною и семьей, ибо в остальном, что касается чувств, я полностью от нее отделен — впрочем, возможно, не более непреодолимо, чем от всего прочего мира. (Мое существование в этом отношении можно сравнить с бесполезной, покрытой снегом и инеем, криво и слабо всаженной в землю жердь, торчащей на глубоко вскопанном поле на краю большой равнины темной зимней ночью.) Только гибель производит впечатление. Я сделал несчастной Ф., ослабил сопротивляемость всех, кто сейчас так нуждается в ней, способствовал смерти ее отца, разъединил Ф. и Э. и, наконец, навлек несчастье и на Э., несчастье, которое, по всей вероятности, будет еще возрастать. Я в него впряжен, мне предназначено усугубить его. Последнее письмо к ней, которое я вымучил из себя, она считает спокойным; оно «дышит покоем», как она выражается. При этом не исключено, что она выражается так из деликатности, желая пощадить меня, тревожась обо мне. Я ведь и так уже в целом достаточно наказан, само мое отношение к семье служит достаточным наказанием, и я перенес такие страдания, что никогда не оправлюсь от них (мой сон, моя память, мои мыслительные способности, моя выносливость в отношении малейших забот непоправимо ослаблены, — странным образом это примерно те же следствия, к которым приводит длительное тюремное заключение), но сейчас я мало страдаю из-за моих отношений с семьей, во всяком случае меньше, чем Ф. или Э. Правда, есть нечто мучительное в

том, что я теперь должен совершить с Э. рождественское путешествие, в то время как Ф. остается, видимо, в Берлине.

8 декабря. Вчера впервые после долгого перерыва был безусловно способен хорошо работать. И тем не менее написал только первую страницу главы о матери ¹⁴, потому что уже две ночи я почти совсем не спал, потому что с самого утра начинались головные боли и потому что я испытываю слишком большой страх перед завтрашним днем. Снова понял, что все написанное в отрывках и не за полночи (а то и за всю ночь) неполноценно и что условиями своей жизни я обречен на эту неполноценность.

13 декабря. Вместо того чтобы работать — я написал только одну страницу (толкование легенды ¹⁵), — перечитывал готовые главы и нашел их отчасти удачными. Меня постоянно преследует мысль, что чувство удовлетворения и счастья, которое мне дает, например, легенда, должно быть оплачено, причем — чтобы никогда не знать передышки — оно должно быть оплачено тут же.

На днях был у Феликса. Возвращаясь домой, я сказал Максу, что, если только боли не будут слишком сильными, я на смертном одре буду чувствовать удовлетворение. Я забыл добавить, а потом уже намеренно не сказал, что лучшее из написанного мною исходит из этой готовности помереть удовлетворенным. Во всех сильных и убедительных местах речь всегда идет о том, что кто-то умирает, что ему это очень трудно, что в этом он видит несправедливость по отношению к себе или по меньшей мере жестокость, — читателя, во всяком случае, так мне кажется, это должно тронуть. Для меня же, думающего, что на смертном одре я смогу быть удовлетворенным, такого рода описания втайне являются игрой, я даже радуюсь возможности умереть в умирающем, расчетливо использую сосредоточенное на смерти внимание читателя, у меня гораздо более ясный разум, нежели у него, который, как я полагаю, будет жаловаться на смертном одре, и моя жалоба поэтому наиболее совершенна, она не обрывается внезапно, как настоящая жалоба, а кончается прекрасной и чистой нотой, подобно тому, как я всегда жаловался матери на страдания, которые были далеко не такими сильными, какими они представляли в жа-

лобе. Правда, перед матерью мне не требовалось столько искусства, сколько перед читателями.

14 декабря. Жалкая попытка ползти вперед — а ведь это, возможно, самое важное место в работе, где так необходима была бы одна хорошая ночь.

Поражения в Сербии, бестолковое командование.

19 декабря. Вчера почти бессознательно писал «Деревенского учителя»¹⁶, но боялся писать позже, чем до без четверти два, боязнь эта обоснованная, я почти не спал, забывался только три раза в недолгих снах и потом в канцелярии пребывал в соответствующем состоянии. Вчера отец упрекал меня в связи с фабрикой: «Ты меня в это втравил». Потом я пошел домой и спокойно писал три часа, в сознании того, что моя вина бесспорна, хотя и не столь велика, как ее изображает отец. Сегодня, в субботу, не вышел к ужину отчасти из страха перед отцом, отчасти ради того, чтобы полностью использовать для работы ночь, но написал только одну и то не очень хорошую страницу.

Начало всякой новеллы сперва кажется нелепым. Кажется невероятным, чтобы этот новый, еще не сложившийся, крайне чувствительный организм мог устоять в сложившейся организации мира, которая, как всякая сложившаяся организация, стремится к замкнутости. При этом забываешь, что новелла, если она имеет право на существование, уже несет в себе свою сложившуюся организацию, пусть еще и не совсем развившуюся; потому отчаяние, охватывающее тебя, когда принимаешься за новеллу, в этом смысле беспочвенно; с таким же основанием должны бы отчаиваться родители при виде грудного ребенка, ибо они ведь хотели произвести на свет не это жалкое и совершенно нелепое существо. Правда, никогда не знаешь, обоснованно или необоснованно отчаяние, которое испытываешь. Но известную поддержку эта мысль может оказать; отсутствие такого опыта уже причинило мне вред.

20 декабря. Замечание Макса о Достоевском, о том, что в его произведениях слишком много душевнобольных. Совершенно неправильно. Это не душевнобольные. Обозначение болезни есть не что иное, как средство характе-

ристики, причем средство очень мягкое и очень действенное. Например, если постоянно и очень настойчиво твердить человеку, что он ограничен и туп, то, если только в нем есть зерно Достоевщины, это подстрекнет его проявить все свои возможности. С этой точки зрения характеризующие его слова имеют примерно то же значение, что и бранные слова, которыми обмениваются друзья. Когда они говорят: «Ты дурак», то это не означает, что тот, кому это адресовано, действительно дурак и они унизили себя дружбой с ним; чаще всего — если это не просто шутка, но даже и в таком случае — это заключает в себе бесконечное переплетение разных смыслов. Так, например, отец братьев Карамазовых отнюдь не дурак — он очень умный, почти равный по уму Ивану, но злой человек, и, во всяком случае, он умнее, к примеру, своего неразоблачаемого рассказчиком двоюродного брата или племянника, помещика, который считает себя настолько выше его.

23 декабря. Прочитал несколько страниц из «Лондонских туманов»¹⁷ Герцена. Не понимал даже, о чем речь, и тем не менее предо мной полностью возник образ человека — решительного, истязającego самого себя, овладевающего собой и снова падающего духом.

26 декабря. В Куттенберге у Макса и его жены. Как я рассчитывал на эти четыре свободных дня, сколько часов думал, как их правильно употребить, и все же теперь, кажется, просчитался. Сегодня вечером почти не писал и, наверное, уже не в состоянии продолжать «Сельского учителя», над которым работаю целую неделю и которого за три свободные ночи я наверняка закончил бы набело и без явных погрешностей; теперь же, несмотря на то что он едва начат, в нем уже допущено два непоправимых промаха, и вообще он хилый. Отныне — новый распорядок дня! Еще лучше использовать время! Жалуюсь я здесь, чтобы в этом найти спасение? Эта тетрадь не даст мне его, оно придет, когда я буду в постели, оно уложит меня на спину, и я буду лежать красивый, легкий и голубовато-белый, другого спасения не будет.

31 декабря. С августа работал, в общем — немало и неплохо, но и в первом, и во втором отношении не в полную силу своих возможностей, как следовало бы, особен-

но если учесть, что по всем признакам (бессонница, головная боль, сердечная слабость) возможности мои скоро иссякнут. Работал над незаконченными вещами: «Процесс», «Воспоминания о железной дороге на Кальду», «Сельский учитель», «Младший прокурор» — и над началами более мелких рассказов. Готовы лишь «В исправительной колонии» и глава из романа «Пропавший без вести», оба — за время двухнедельного отпуска. Не знаю, зачем я составляю этот список, — это совсем не в моем характере!

1915

4 января. Большое желание начать новый рассказ, не поддаваться. Все бесполезно. Если я не могу гнать рассказы сквозь ночи, они удирают и пропадают, — это происходит сейчас с «Младшим прокурором». А завтра я иду на фабрику, после того как призвали П., я, наверное, должен буду ходить туда ежедневно во второй половине дня. Это положит конец всему. Мысли о фабрике — это мой бесконечный Судный День.

6 января. «Сельского учителя» и «Младшего прокурора» пока отложил. Но я почти не в силах продолжать и «Процесс». Мысли о девушке из Лемберга¹. Надежда на какое-то счастье, подобная надеждам на вечную жизнь. С известного расстояния они кажутся обоснованными, а приблизиться не решаешься.

17 января. «Черные знамена» Стриндберга. О влиянии издали: ты, конечно, чувствовал, что другие не одобряли твоего поведения, но они не высказывали вслух своего неодобрения. Тебе доставляло спокойное удовлетворение одиночество, но ты не отдавал себе отчета — почему; кто-то вдалеке хорошо подумал о тебе, хорошо говорил о тебе.

18 января. До половины восьмого с равной бесполезностью работал на фабрике, читал, диктовал, слушал, писал. Равно бессмысленное чувство удовлетворения после этого. Головная боль, плохо спал. Не способен к более или менее продолжительной сосредоточенной работе. К тому же слишком мало был на свежем воздухе. Несмотря на это, начал новый рассказ, старые боюсь испор-

тить. И вот они предо мною, четыре или пять рассказов, встали на дыбы, как лошади перед директором цирка Шуманом в начале представления.

19 января. Пока я вынужден ходить на фабрику, я не смогу ничего написать. Я думаю, неспособность работать, которую я сейчас ощущаю, того же рода, какую я чувствовал во время службы в «Дженералл»². Непосредственная близость жизни, поглощенной добыванием заработка — хотя внутренне я, насколько возможно, безучастен, — застилает мне кругозор, словно я нахожусь в овраге, к тому же с опущенной головой. Например, сегодня в газете опубликовано высказывание компетентных шведских кругов о том, что, несмотря на угрозы Тройственного согласия, нейтралитет непременно должен быть сохранен. В заключение сказано: «Члены Тройственного согласия обломают себе в Стокгольме зубы». Сегодня я воспринимаю это почти совсем так, как сказано. Три дня назад я бы всем существом своим чувствовал, что говорит какой-то стокгольмский призрак, что «угрозы Тройственного согласия», «нейтралитет», «компетентные шведские круги» — все это не что иное, как сработанные по определенной схеме воздушные сооружения, которыми можно любоваться мысленно, но никогда нельзя ощупать руками.

Я договорился с двумя друзьями о загородной прогулке в воскресенье, но совершенно неожиданно проспал время встречи. Мои друзья, знавшие мою всегдашнюю пунктуальность, очень удивились, подошли к дому, где я жил, немного постояли около него, затем поднялись по лестнице и постучали в дверь. Я очень испугался, вскочил с постели и, ни на что не обращая внимания, постарался как можно скорее собраться. Когда я затем, полностью одетый как полагается, вышел из дверей, мои друзья с явным испугом отпрянули от меня. «Что у тебя на затылке?» — воскликнули они. Еще только проснувшись, я почувствовал, что мне что-то мешает отклонять голову назад, и теперь попытался рукой нащупать помеху. В ту минуту, когда я ухватился за рукоятку меча позади моей головы, друзья, уже пришедшие немного в себя, закричали: «Осторожнее, не поранься!» Друзья приблизились ко мне, осмотрели меня, повели в комнату и перед зеркалом шкафа раздели до пояса. В мою спину был воткнут по самую рукоятку большой старый рыцарский

меч с крестообразным эфесом, но воткнул так, что клинок прошел невероятно точно между кожей и плотью, ничего не повредив. Не было раны и на шее, на месте удара мечом; друзья уверяли, что оставленная клинком щелка совершенно не кровоточила и была сухой. Да и теперь, когда друзья, взобравшись на кресло, медленно, миллиметр за миллиметром, стали вытаскивать меч, кровь не выступила, а дыра на шее закрылась до едва заметной щелки. «Вот тебе твой меч», — со смехом сказали друзья и протянули мне его. Я взвесил его в руках, это было дорогое оружие, оно вполне могло принадлежать крестоносцам. Кто потерпит, чтобы в его снах шатались старые рыцари, безответственно размахивали своими мечами, втыкали их в невинных спящих и лишь потому не наносили тяжелых ран, что их оружие вначале, наверное, соскальзывает с живого тела, и потому, что верные друзья стоят за дверью и стучат, готовые прийти на помощь.

20 января. Конец писанию. Когда я снова примусь за него? В каком плохом состоянии я встречу с Ф.! С отказом от писания сразу же пришла неповоротливость мыслей, неспособность подготовиться к встрече, в то время как на прошлой неделе я с трудом мог отделаться от важных мыслей в связи с ней. Хорошо бы извлечь из этого единственно возможную выгоду — сносный сон.

«Черные знамена». Как плохо я читаю. И как зло и болезненно я наблюдаю за собой. Проникнуть в мир я, видимо, не могу, но могу спокойно лежать, воспринимать, воспринятое растворять в себе и затем спокойно показываться на людях.

24 января. С Ф. в Боденбахе. Мне кажется, невозможно, чтобы мы когда-нибудь соединились, но я не отваживаюсь сказать об этом ни ей, ни — в решающий момент — себе. И я снова обнадежил ее, безрассудно — ведь с каждым днем я старею и коснею. Когда я пытаюсь понять, как она страдает, оставаясь в то же время спокойной и веселой, ко мне возвращаются старые головные боли. Мы не должны снова мучить себя длинными письмами, пусть эта встреча останется случайным эпизодом. Или, может быть, я верю, что смогу здесь стать свободным, жить литературным трудом, поехать за границу или еще куда-нибудь и там тайно жить вместе с Ф.? Мы ведь нашли друг

друга ни в чем не изменившимися. Каждый молча признался себе, что другой непоколебим и безжалостен. Я не отступаю от своих намерений вести фантастическую, полностью обусловленную моей работой жизнь, она же, глухая ко всем немым просьбам, хочет обыденности, уютной квартиры, интереса к фабрике, обильной еды, сна с одиннадцати часов вечера, натопленной комнаты, она подводит мои часы, вот уже четверть года уходящие вперед на полтора часа, чтобы они показывали время с точностью до одной минуты. И она права, и всегда будет права, она права, делая мне замечание, когда я говорю кельнеру: «Принесите газету, пока она не зачитана до дыр», и я не могу ничего изменить, когда она говорит об «отпечатке своеобразия» (это можно произнести только скрипучим голосом) в будущей обстановке квартиры. Моих двух старших сестер она считает «плоскими», о младшей она не спрашивает, к моей работе почти не проявляет интереса и явно не разбирается в ней. Это — одна сторона.

Я бессилен и опустошен, как всегда, и, собственно говоря, должен бы размышлять только о том, почему у кого-то все же возникает хоть малейшее желание дотронуться до меня мизинцем. Одного за другим, подряд, я обдал холодом трех совсем разных людей...

Ф. сказала: «Как мы благоразумны». Я промолчал, словно не слышал этого восклицания. Два часа мы были одни в комнате. Меня окружали лишь скука и безнадежность. Не было еще ни одной минуты, когда нам было бы хорошо, когда я мог бы свободно дышать. С Ф. я, кроме как в письмах, никогда не ощущал сладости отношений с любимой женщиной, как то было в Цукмантеле и Риве, — только безграничное восхищение, покорность, сострадание, отчаяние и презрение к самому себе. Я пытался читать ей вслух, фразы бестолково топтались на месте, никакого контакта со слушательницей — лежала с закрытыми глазами на диване и молча слушала. Равнодушная просьба дать рукопись с собой и разрешить переписать ее. Рассказ о привратнике вызвал несколько большее внимание, были высказаны верные наблюдения. Мне лишь при этом чтении раскрылся смысл рассказа, она также верно поняла его, но затем, правда, мы вломились в него с грубыми замечаниями, начало которым положил я.

Причина испытываемых мною при разговоре с людьми трудностей — трудностей, совершенно неведомых дру-

гим,— заключается в том, что мое мышление, вернее, содержимое моего сознания очень туманно, сам я, пока дело касается лишь меня, безмятежно и иной раз даже самодовольно успокаиваюсь на этом, но ведь человеческая беседа требует остроты, поддержки и продолжительной связности — то есть того, чего нет во мне. Никто не захочет витать со мною в туманных облаках, а даже если кто-нибудь и захочет, то я не смогу прогнать туман из своей головы — между двумя людьми он растает и превратится в ничто. Ф. сделала большой крюк, чтобы попасть в Боденбах, ей стоило усилий получить паспорт, она должна была после беспокойной ночи терпеть меня, еще и выслушивать чтение вслух,— и все бессмысленно. Воспринимает ли она это с таким же страданием, как я? Наверняка нет, даже если и предположить одинаковую чувствительность: ведь у нее нет чувства вины.

Мое определение было правильным и признано правильным: каждый любит другого таким, каков тот есть. Но с таким, каков тот есть, он не сможет, думает он, жить.

Эта группа: д-р В.³ пытается убедить меня, что Ф. заслуживает ненависти, Ф. пытается убедить меня, что В. заслуживает ненависти. Я верю обоим и люблю обоих или стремлюсь их любить.

29 января. Снова пытался писать, почти безрезультатно. В последние два дня рано ложился спать, в 10 часов, чего уже с давних пор не бывало. Чувство свободы в течение дня, полуудовлетворенность, бóльшая пригодность в конторе, возможность разговаривать с людьми. Теперь — сильные боли в коленных суставах.

7 февраля. Полнейший застой. Бесконечные мучения.

При известной степени самопознания и при других благоприятствующих наблюдению за собой условиях неизбежно будешь время от времени казаться себе отвратительным. Любой критерий хорошего — сколь различны бы ни были мнения на сей счет — будет представляться слишком высоким. Придется признаться себе, что ты являешься не чем иным, как крысиной норой жалких задних мыслей. Даже малейший поступок будет зависим от этих жалких мыслей. Эти задние мысли будут такими грязными, что, анализируя свое поведение, не захочешь даже продумать их, а ограничишься взглядом на расстоя-

нии. Эти задние мысли будут обуславливаться не каким-то, скажем, корыстолюбием,— корыстолюбие по сравнению с ними покажется идеалом добра и красоты. Грязь, которую обнаружишь, будет существовать во имя самой себя, ты познаешь, что явился на этот свет насквозь пропитанный ею, из-за нее же, неузнанный или слишком хорошо распознанный, отойдешь в мир иной. Эта грязь будет самым глубинным слоем, которого только можно достичь, но этот самый глубинный слой будет состоять не из лавы, а из грязи. Она будет началом и концом, и даже сомнения, которые породит самоанализ, очень скоро станут столь же вялыми и самодовольными, как свинья, валяющаяся в навозной жиже.

9 февраля. Вчера и сегодня немного писал. Рассказ о собаке.

Теперь прочитал начало. Оно безобразно и вызывает головную боль. Несмотря на всю правдивость, оно зло, педантично, механически написано — еле дышащая на отмели рыба. Я слишком преждевременно пишу своего «Буvara и Пекюше»⁴. Если оба элемента — наиболее отчетливо они выражены в «Кочегаре» и «В исправительной колонии» — не сольются, я погиб. Но сможет ли это слияние осуществиться?

Наконец снял комнату. В том же доме на Билекгассе.

10 февраля. Первый вечер. Сосед часами разговаривает с хозяйкой. Оба говорят тихо, хозяйка — почти неслышно, тем ужаснее. Наладившаяся два дня назад работа прервана. Кто знает, на какой срок. Полнейшее отчаяние. Неужели так в каждой квартире? Неужели у каждой хозяйки, в каждом городе меня ожидает такая нелепая и непременно смертельная беда? Две комнаты моего классного наставника в монастыре. Но сразу же отчаиваться бессмысленно, лучше искать выход, как бы ни... нет, это не противоречит моему характеру, во мне еще есть нечто от иудейского упорства, но оно чаще всего дает обратный результат.

14 февраля. Безграничная притягательная сила России. Лучше, чем тройка Гоголя, ее выражает картина великой необозримой реки с желтоватой водой, повсюду стремящей свои волны, волны не очень высокие. Пустын-

ная растрепанная степь вдоль берегов, поникшая трава.

Нет, ничего эта картина не выражает, скорее — все гасит.

Сенсимонизм.

15 февраля. Все застопорилось. Плохое, бестолковое распределение времени. Квартира мне все портит. Сегодня снова прислушивался к уроку французского языка у дочери хозяйки.

16 февраля. Не нахожу себе места. Словно все, чем я владел, покинуло меня, а вернись оно — я едва ли был бы рад.

22 февраля. Неспособность — полная и во всех смыслах.

25 февраля. После непрерывных, длившихся днями напролет головных болей наконец почувствовал себя свободнее и увереннее. Будь я посторонним человеком, наблюдающим за мной и за течением моей жизни, я должен был бы сказать, что все должно окончиться безрезультатно, растратиться в беспрестанных сомнениях, изобретательных лишь в самоистязании. Но, как лицо заинтересованное, я — живу надеждой.

1 марта. После многонедельных приготовлений и страхов с большим трудом отказался от квартиры, отказался без особых оснований — ведь здесь довольно спокойно, — я просто по-настоящему не работал и потому не испытывал ни покоя, ни беспокойства. Я хочу терзаться, хочу постоянных перемен, мне кажется, в перемене мое спасение, и еще мне кажется, что такие небольшие перемены, которые другие совершают как бы в полусне, я же — с напряжением всех сил разума, смогу подготовить меня к перемене большой, в которой я, по-видимому, нуждаюсь. Конечно, я переселяюсь в квартиру, во многих отношениях худшую. И тем не менее сегодня первый день (или второй), когда я, не будь у меня такой сильной головной боли, мог бы вполне хорошо работать. Быстро написал страницу.

11 марта. Как уходит время, опять прошло десять дней, и я ничего не достиг. Я не могу пробыть. Одна

страница мне иной раз удается, но я не могу держаться, на следующий день я бессилён.

13 марта. Вечер: в шесть часов лег на диван. Часов до восьми спал. Не было сил встать, ждал, когда пробьют часы, но в дремоте не слышал боя. В девять встал. Домой к ужину уже не пошел, не пошел и к Максусу, где сегодня собирались друзья. Причины: отсутствие аппетита, страх перед поздним возвращением, но главным образом — мысль о том, что вчера я ничего не написал, что я все больше отдаляюсь от работы и мне грозит опасность потерять все, чего я с таким трудом добился за последние полгода. Явил доказательства этого, написав жалких полторы страницы нового и уже окончательно заброшенного рассказа, затем в отчаянии, усугубленном безрадостным состоянием желудка, занялся чтением Герцена, чтобы он каким-то образом повел меня за собой. Счастье первого года его женитьбы, ужас, охвативший меня, когда я представил такое счастье для себя, высокая жизнь в его кругу, Белинский, Бакунин, целыми днями лежащий в шубе на кровати.

Порой я ощущаю почти разрывающее душу отчаяние и одновременно уверенность, что оно необходимо, что всякое надвигающееся несчастье помогает выработать цель (сейчас это происходит под влиянием мыслей о Герцене, но бывает и в другое время).

14 марта. Утро: до половины двенадцатого в постели. Медленно образующаяся и невероятно стойко сохраняющаяся путаница в мыслях. После обеда читал (Гоголя, статью о лирике), вечером прогулка, частично во власти упорных, но сомнительных утренних мыслей. Сидел в Хотекском сквере. Самое красивое место в Праге. Пение птиц, замок с галереей, деревья в прошлогодней листве, полумрак. Потом пришла Оттла с Д.

23 марта. Не способен написать ни строчки. Хорошее настроение, которое было у меня в Хотекском сквере и сегодня на Карлсплац, когда я сидел с книгой Стриндберга «На шхерах». Хорошее настроение сегодня в комнате. Пуст, как ракушка на берегу, которую может раздавить нога любого прохожего.

27 апреля. В Надь-Михай со своей сестрой. Не способен жить с людьми, разговаривать с ними. Полностью по-

гружен в самого себя, в мысли о себе. Апатичен, бездумен, боязлив. Мне нечего рассказывать, никогда, никому. [...]

3 мая. Полнейшее равнодушие и оупение. Высохший колодец, вода лишь на недосыгаемой глубине, да и то неизвестно, есть ли она там. Пустота, пустота. Не понимаю жизни в «Разрыве» Стриндберга; то, что он называет прекрасным, вызывает у меня отвращение, имей оно отношение ко мне. Письмо к Ф., фальшивое, отправлять его невозможно. Каким прошлым или каким будущим живу я? Настоящее призрачно, я не сижу за столом, а кружу вокруг него. Пустота, пустота. Тоска, скука, нет, не скука, только пустота, бессмысленность, слабость. Вчера в Добжиховице.

4 мая. Состояние улучшилось, потому что читал Стриндберга («Разрыв»). Я читаю его не ради того, чтобы читать, а ради того, чтобы полежать у него на груди. Он держит меня, как ребенка, на левой руке. Я сижу там, как человек на статуе. Десять раз мне грозит опасность соскользнуть, но в одиннадцатый раз я усаживаюсь прочно, обретаю уверенность и мне становится видно далеко вокруг.

Раздумываю над отношением людей ко мне. Как бы мал я ни был, нет никого, кто понимал бы меня полностью. Иметь человека, который понимал бы, жену например,— это значило бы иметь опору во всем, иметь бога. Отгла понимает кое-что, даже многое, Макс, Феликс — кое-что, иные, как Э., понимают лишь частности, но зато уж с отвратительной дотошностью, Ф., возможно, совсем ничего не понимает, правда, при бесспорно существующей между нами внутренней связи это создает особое положение. Порой мне казалось, что она понимает меня, сама о том не ведая,— например, когда она ожидала меня, невыносимо тосковавшего по ней, на станции подземки; стремясь как можно скорее увидеть ее и думая, что она ждет меня наверху, я чуть не пробежал мимо нее, но она молча схватила меня за руку.

5 мая. Пустота, тупая, слабая головная боль. После обеда в Хотекском сквере читал Стриндберга, который питает меня,

14 мая. [...] Сегодня читал старые главы «Кочегара» — написано с силой, ныне мне, по-видимому, недоступной (уже недоступной). Боюсь выбыть из строя из-за порока сердца.

27 мая. Очень несчастен в связи с предыдущей записью. Погибаю. Так бессмысленно и бесполезно погибнуть.

13 сентября. Канун дня рождения отца, новый дневник. Он не столь необходим, как прежде, мне не нужно вызывать в себе беспокойство, беспокоен я достаточно, но ради какой цели, когда будет она достигнута, как может сердце, не совсем здоровое сердце выносить столько недовольства и столько беспрерывно гложащих его желаний.

Эта рассеянность, эта забывчивость, эта глупость!

16 сентября. Раскрыл Библию. О неправедных судьях. Нашел, таким образом, свое собственное мнение или по крайней мере мнение, которого я до сих пор придерживался. Впрочем, это не имеет значения, в таких вещах я никогда не поддавался заметному внушению, страницы Библии не реяли перед моими глазами.

Кажется, самое подходящее место, для того чтобы вонзить нож, — между шеей и подбородком. Поднимаешь подбородок и вонзаешь нож в напряженные мышцы. Но это только кажется, будто оно самое подходящее. Надеешься увидеть, как великолепно хлынет кровь и порвется сплетение сухожилий и сочленений, как в ножке жареной индейки.

Читал «Лесничий Флек в России». Возвращение Наполеона на Бородинское поле боя. Тамошний монастырь. Его взорвали.

28 сентября. Бессмысленность жалоб. Как ответ на них — колющая боль в голове.

Почему бессмысленны вопросы? Жаловаться — значит задавать вопросы и ждать ответа. Но на вопросы, которые не отвечают сами себе при возникновении, никогда не получить ответа. Между вопрошающим и отвечающим нет расстояний. Никаких расстояний преодо-

левать не надо. Потому вопросы и ожидание бессмысленны.

29 сентября. Различные туманные решения. Именно такие мне и удаются. Случайно увидел имеющую к этому некоторое отношение картину на Фердинандштрассе. Плохой эскиз фрески. Под ним чешское изречение, смысл примерно такой: «Ослепленный, ты оставляешь кубок ради девушки, но скоро ты, вразумленный, вернешься обратно».

Раньше я думал: ничто не погубит тебя, эту твердую, ясную, отменно пустую голову, никогда не зажмуришь ты невольно или от боли глаза, не наморщишь лоб, не всплеснешь руками,— всегда сможешь лишь описывать это.

Как мог Фортинбрас сказать, что Гамлет держался как истинный король!

30 сентября. Россман и К.⁵, невинный и виновный, в конечном счете оба равно наказаны смертью, невинный — более легкой рукой, он скорее устранен, нежели убит.

1 октября. Третий том воспоминаний генерала Марселлина де Марбо⁶. Полоцк — Березина — Лейпциг — Ватерлоо.

6 октября. Различные формы нервозности. Мне кажется, шум уже не будет мешать мне. Правда, я сейчас не работаю. Правда, чем глубже копаешь себе яму, тем тише становится, чем менее пугливым становишься, тем тише становится.

7 октября. Неразрешимый вопрос, сломлен ли я? Гибну ли я? Все признаки говорят за это (холод, оцепенение, состояние нервов, рассеянность, неспособность к работе, головные боли, бессонница); почти единственное, что говорит против этого,— надежда.

5 ноября. Возбужденное состояние после обеда. Начал с размышлений, покупать ли мне — и если покупать, то на какую сумму,— облигации военного займа. Дважды направлялся в ланку, чтобы сделать нужное распоряже-

ние, и оба раза возвращался, не заходя туда. Лихорадочно высчитывал проценты. Потом попросил мать купить облигаций на тысячу крон, но увеличил сумму до двух тысяч. При этом выяснилось, что я совсем не знал о принадлежащем мне вкладе размером около трех тысяч крон и что я остался почти совсем равнодушным, узнав про него. Голова моя занята была только сомнениями по поводу военного займа, и они не оставляли меня даже во время получасовой прогулки по оживленным улицам. Я чувствовал себя непосредственным участником войны, взвешивал, конечно в соответствии со своими познаниями, финансовые перспективы в целом, увеличивал и уменьшал проценты, которые когда-нибудь будут в моем распоряжении, и т. д. Но постепенно возбуждение улеглось, мысли обратились к писанию, я почувствовал себя способным к нему, ничто другое, кроме возможности писать, мне уже не нужно было, прикидывал, какне ночи я смогу в ближайшее время посвятить этому, перебежал, чувствуя боль в сердце, через каменный мост, ощутил столь часто испытанную мною беду — пожирающий огонь, которому нельзя дать вспыхнуть, придумал, чтобы выразить и успокоить себя, изречение «Дружок, излейся», стал непрерывно напевать его на особый мотив, сопровождая пение тем, что сжимал и разжимал, как волынку, носовой платок в кармане.

21 ноября. Совершеннейшая бесполезность. Воскресенье. Ночью полная бессонница. До четверти двенадцатого в постели, при свете солнца. Прогулка. Обед. Читал газету, перелистывал старые каталоги. Прогулка — Гибнернергассе, городской парк, Венцельсплац, Фердинандштрассе, затем к Подолу. С трудом растянул ее на два часа. Врремя от времени чувствовал сильные, однажды прямо-таки жгучие головные боли. Ужинал. Теперь я дома. Кто может открытыми глазами взирать на это сверху — от начала до конца?

25 декабря. Раскрыл дневник с целью вызвать сон. Но случайно наткнулся на последнюю запись, — я мог бы представить себе тысячу записей подобного содержания за последние три-четыре года. Я бессмысленно истощаю свои силы, был бы счастлив, если бы мог писать, но не пишу. Головные боли уже не отпускают меня. Я в самом деле измотал себя,

Вчера откровенно поговорил с шефом,— решив поговорить, дав обет не отступать, я в прошлую ночь добился двухчасового, правда беспокойного, сна. Предложил своему шефу четыре варианта: 1. Все оставить так, как было в последнюю — ужаснейшую, мучительнейшую — неделю, и кончить нервной горячкой, безумием или еще чем-нибудь подобным; 2. Взять отпуск не хочу — из какого-то чувства долга, да и не помогло бы это; 3. Уволиться не могу сейчас — из-за родителей и фабрики; 4. Остается только военная служба. Ответ: неделя отпуска и курс лечения гематогеном, который шеф хочет пройти вместе со мной. Он сам, по-видимому, очень болен. Если я тоже уйду, отдел осиротее.

Облегчение оттого, что поговорил откровенно. Впервые словом «увольнение» прямо-таки потряс воздух учреждения.

Тем не менее сегодня почти не спал.

Постоянно эта не дающая мне покоя мысль: если бы я в 1912 году уехал в расцвете сил, с ясной головой, не истощенный стараниями подавить живые силы!

Разговор с Лангером⁷. Книгу Макса он сможет прочитать лишь через тринадцать дней. Он мог бы читать в рождество, потому что по старому обычаю в рождество нельзя читать тору, но на сей раз рождество пало на субботу. Через тринадцать же дней русское рождество, и тогда он сможет читать. По средневековой традиции художественной литературой и светскими науками можно заниматься только после семидесяти лет, согласно более терпимому взгляду — после сорока. Медицина — единственная наука, которой можно было заниматься. В настоящее же время нельзя заниматься и ею, ибо она теперь слишком сильно переплетается с другими науками. В клозете нельзя думать о торе, поэтому там можно читать светские книги. Весьма набожный пражанин, некий К., обладал широкими светскими познаниями — все это он изучил в клозете.

1916

19 апреля. Он хотел открыть дверь, чтобы выйти, но она не поддавалась. Он посмотрел вверх, вниз — помехи не было видно. Однако дверь не была заперта, ключ тор-

чал изнутри, если бы пытались запереть ее снаружи, ключ вытолкнули бы. Да и кому нужно было запирать? Он толкнул дверь коленом, матовое стекло зазвенело, но дверь не открылась. Смотри-ка.

Он вернулся в комнату, подошел к балкону и посмотрел вниз на улицу. Не успев хоть единой мыслью охватить обычную послеобеденную жизнь внизу, он снова вернулся к двери и попытался открыть ее. Но теперь это была уже не попытка, дверь тут же открылась, не потребовалось и толчка, она прямо-таки распахнулась от дуновения воздуха с балкона; без всякого труда, словно ребенок, кому шутки ради дают дотронуться до ручки, на которую в действительности нажимает взрослый, он смог выйти.

Недавнее сновидение: мы живем на улице Грабен вблизи кафе «Континенталь». Из Герренгассе выступает полк, направляющийся к городскому вокзалу. Мой отец говорит: «На это надо глядеть, куда можешь», и вскакивает (в коричневом домашнем халате Феликса, весь облик — смешение обоих) на окно, расплывается широко раскинутыми руками на очень широком, с сильным наклоном наружу оконном парапете. Я хватаю его и держу за петли, в которые вдевается шнур халата. Мне назло он еще больше высовывается наружу, я напрягаю все силы, чтобы удержать его. Я думаю о том, как хорошо было бы, если б я мог привязать свои ноги веревками к чему-нибудь устойчивому, чтобы отец не увлек меня за собой. Правда, чтобы сделать это, я должен хоть на минутку отпустить отца, а это невозможно. Сон — тем более мой сон — не выдерживает такого напряжения, и я просыпаюсь.

20 апреля. Сон: две группы мужчин сражаются друг с другом. Группа, к которой принадлежу я, поймала одного из противников, огромного обнаженного мужчину. Пятеро из нас держат его, один — за голову, по двое — за руки и за ноги. К сожалению, у нас нет ножа, чтобы заколоть его, быстро спрашиваем всех по кругу, нет ли ножа, — ни у кого нет. Но так как почему-то нельзя терять времени, а поблизости стоит печь, необычайно большая чугунная дверца которой раскалена докрасна, мы подталкиваем к ней пленника, приближаем вплотную к дверце его ногу, пока она не начинает дымиться, затем отводим ее в сторону и даем остыть, чтобы потом снова

приблизить к дверце. Так мы все время проделываем это, пока я не просыпаюсь не только в холодном поту, но и с лязгающими от страха зубами.

11 мая. Итак, вручил письмо директору. Позавчера. Прошу, если война окончится осенью, предоставить мне потом длительный отпуск без сохранения жалованья или же, если война не окончится, отменить освобождение от воинской повинности. Все это сплошная ложь. Ложью наполовину было бы, если б я просил о немедленном длительном отпуске, а в случае отказа — об увольнении. Правдой было бы, если б я заявил об уходе со службы. Ни на то, ни на другое я не отважился, отсюда — полная ложь.

Сегодня бесполезный разговор. Директор думает, я добиваюсь трехнедельного обычного отпуска, который мне как освобожденному от воинской повинности не положен, и потому сразу же предлагает мне его, говоря, что еще до письма решил это сделать. О военной службе он вообще не говорит, словно в письме об этом нет и речи. Когда я заговариваю о ней, он пропускает это мимо ушей. Длительный отпуск без сохранения жалованья он явно считает причудой, осторожно давая понять это. Настаивает, чтобы я немедленно взял трехнедельный отпуск. Делает попутные замечания, как дилетант-невропатолог, каковыми все себя считают. Мне ведь не приходится нести такую ответственность, как ему на его должности, — она, конечно, может довести до болезни. А как много он работал раньше, когда готовился к экзаменам на адвоката и одновременно служил в канцелярии. В течение девяти месяцев работал по одиннадцать часов в день. И затем — главное отличие. Разве мне когда-либо и почему-либо приходилось тревожиться за свою должность? А ему приходилось. У него были в канцелярии враги, готовые сделать все возможное, чтобы обрубить сук, на котором он сидел, выбросить его на свалку.

Как ни странно, о моем сочинительстве он не говорит.

Я слабоволен, хотя понимаю, что речь идет чуть ли не о моей жизни. Но все же твержу, что хочу на военную службу и что трех недель отпуска мне мало. В ответ он откладывает продолжение разговора. Если б он был не так дружелюбен и участлив!

Буду настаивать на следующем: я хочу на военную службу, хочу уступить этому подавляемому в течение

двух лет желанию; по различным причинам, касающимся не меня, я бы предпочел, получи я его, длительный отпуск. Но это, видимо, невозможно как по служебным, так и по военным соображениям. Под длительным отпуском я подразумеваю — чиновнику стыдно сказать об этом, больному не стыдно — полгода или даже целый год. Я не хочу жалованья, потому что дело идет не о телесном недуге, который можно точно установить.

Все это — продолжение лжи, но, если я буду последователен, это по своему воздействию близко к правде.

2 июня. Что за наваждение с девушками — несмотря на головные боли, бессонницу, седину, отчаяние. Я подсчитал: с прошлого лета их было не меньше шести. Я не могу устоять, не могу удержаться, чтобы не восхищаться достойной восхищения, и не любить, пока восхищение не будет исчерпано. Я виноват перед всеми шестью почти только внутренне, но одна из них передавала мне через кого-то упреки.

19 июня. Все забыть. Открыть окна. Вынести все из комнаты. Ветер продует ее. Будешь видеть лишь пустоту, искать по всем углам и не найдешь себя.

4 июля. Какой я? Жалкий я. Две дощечки привинчены к моим вискам.

5 июля. Тяготы совместной жизни. Она держится отчужденностью, состраданием, похотью, трусостью, тщеславием, и только на самом дне, может, есть узенький ручеек, который заслуживает названия любви, но который бесполезно искать, — он лишь кратко сверкнул, сверкнул на мгновенье.

6 июля. Прими меня в свои объятия, в них — глубина, прими меня в глубину, не хочешь сейчас — пусть позже.

Возьми меня, возьми меня — сплетение глупости и боли.

20 июля. Сжался надо мной, я грешен до самой глубины своего существа. Но у меня были задатки не совсем ничтожные, небольшие способности, — неразумное существо, я расточил их втуне, и теперь, когда, казалось бы, все могло бы обернуться мне во благо, теперь я бли-

зок к гибели. Не толкай меня к потерянному. Я знаю, это говорит смешное себялюбие, смешное и со стороны, и даже вблизи, но раз уж я живу, то я имею право и на себялюбие живого, и, если живое не смешно, тогда не смешны и его обычные проявления. Жалкая диалектика!

Если я обречен, то обречен не только на смерть, но обречен и на сопротивление до самой смерти.

В воскресенье утром, незадолго до моего отъезда, мне показалось, что ты хочешь помочь мне. Я надеялся. Поныне — пустая надежда.

Но на что бы я ни сетовал, в сетованиях моих нет убежденности, в них нет даже истинного страдания, они раскачиваются, как якорь брошенного судна, далеко не достигая той глубины, где можно бы обрести опору.

Дай покой моим ночам — детская жалоба.

22 июля. Странный судебный обычай. Палач закалывает приговоренного в его камере, причем никто не имеет права присутствовать при этом. Приговоренный сидит за столом и заканчивает письмо или последнюю трапезу. Стук в дверь, входит палач. «Ты готов?» — спрашивает он. Вопросы и распоряжения ему строго предписаны, он не имеет права отступать от них. Приговоренный, вначале вскочивший со своего места, снова садится и сидит, уставившись перед собой или уткнувшись лицом в руки. Так как палач не получает ответа, он открывает на нарах свой ящик с инструментами, выбирает кинжалы и пытается еще наточить их. Уже очень темно, он достает небольшой фонарь и зажигает его. Приговоренный незаметно поворачивает голову в сторону палача, но, увидев, чем тот занят, содрогается, отворачивается и не хочет больше ничего видеть. «Я готов», — говорит палач спустя некоторое время.

«Готов? — вскрикивает приговоренный, вскакивает и теперь уже открыто смотрит на палача. — Ты не убьешь меня, не положишь на нары и не заколешь, ты ведь человек, ты можешь казнить на помосте, с помощниками, перед судебными чиновниками, но не здесь, в камере, просто как человек человека». И так как палач, склонившись над ящиком, молчит, приговоренный добавляет спокойнее: «Это невозможно». Но так как и теперь палач продолжает молчать, приговоренный еще говорит: «Именно потому, что это невозможно, ввели этот стран-

ный судебный обычай. Форма еще должна быть соблюдена, но смертную казнь уже не нужно приводить в исполнение. Ты доставишь меня в другую тюрьму, там я, наверное, еще долго пробуду, но меня не казнят». Палач достает еще один кинжал, завернутый в вату, и говорит: «Ты, кажется, веришь в сказки, где слуга получает приказ погубить ребенка, но вместо этого отдает его сапожнику в учение. То сказка, а здесь не сказка».

27 августа. Заключительный вывод после двух ужасных дней и ночей: благодари свой чиновничий порок слабости, скупости, нерешительности, расчетливости, предусмотрительности и т. д. за то, что ты не отправил открытку Ф. Возможно, ты не стал бы отрекаться от написанного, я допускаю, что это возможно. Каков был бы результат? Поступок, подъем? Нет. Этот поступок ты однажды уже совершил, но лучше ничего не стало. Не пытайся объяснить это; конечно, ты сумеешь объяснить все прошлое, ты ведь даже и на будущее не отваживаешься, пока заранее не объяснишь его. А это как раз и невозможно. То, что является чувством ответственности и как таковое заслуживает всяческого уважения, в конечном счете чиновничий дух, ребячество, сломленная отцом воля. Возьми лучшее в себе, над ним работай — это в твоей власти. Это означает: не щади себя (вдобавок за счет все-таки любимой тобой Ф.), ведь щадить невозможно, мнимое желание щадить почти сгубило тебя. Ты щадишь себя, не только когда речь идет о Ф., браке, детях, ответственности и т. д., ты щадишь себя и тогда, когда речь идет о службе, на которой ты торчишь, о плохой квартире, с которой ты не расстаешься. Все. И хватит об этом. Нельзя себя щадить, нельзя рассчитывать все заранее. Ты ничего не знаешь о себе, чтобы предугадать, что для тебя лучше. Сегодня ночью, например, за счет твоего мозга и сердца в тебе боролись два совершенно равноценных и равносильных довода, каждый из них имеет свои сложности, это означает, что рассчитать все невозможно. Что же делать? Не унижать себя, не превращать себя в поле битвы, где сражаются, не обращая никакого внимания на тебя, и ты не чувствуешь ничего, кроме страшных ударов бойцов. Итак, соберись с силами. Исправляй себя, беги чиновничьего духа, начни же понимать, кто ты есть, вместо того чтобы рассчитывать, кем ты должен стать. Ближайшая задача, безусловно,

стать солдатом. Откажись от безумного заблуждения и не сравнивай себя ни с Флобером, ни с Кьеркегором, ни с Грильпарцером. Это совершеннейшее мальчишество. Как звено в цепи расчетов, примеры, конечно, могут пригодиться, или, вернее, они непригодны вместе со всеми расчетами; взятые же по отдельности для сравнения, они уже с самого начала непригодны. Флобер и Кьеркегор очень хорошо знали, как обстоит с ними дело, у них была твердая воля, они не рассчитывали, они действовали. У тебя же бесконечный ряд расчетов, чудовищная смена подъемов и спадов в продолжение четырех лет. Сравнение с Грильпарцером, может быть, и верно, но Грильпарцера ты ведь не считаешь достойным подражания — злощастный пример, которому потомки должны быть благодарны, ибо он страдал ради них.

8 октября. Воспитание как заговор взрослых. Разными обманами, в которые мы сами, правда в другом смысле, верим, мы увлекаем играющих на свободе детей в наш тесный дом. (Кому не охота быть благородным? Запереть дверь.)

Нелепости в толковании и в одержании победы над Максом и Морицем¹.

Ничем не заменимое значение неистовства пороков состоит в том, что оно обнаруживает всю их величину и силу и делает их наглядными для всех, даже возбужденные соучастники и те их видят, пусть хоть в слабом мерцании. К матросской жизни не приучишь упражнениями в луже, зато чрезмерной тренировкой в луже можно убить способность сделаться матросом.

16 октября. Одно из четырех условий, предложенных гуситами католикам как основа для объединения, заключалось в том, что все смертные грехи, к числу которых относились «обжорство, пьянство, разврат, ложь, клятвопреступление, ростовщичество, присвоение церковных денег», должны караться смертью. Одна партия требовала даже предоставить право любому совершить казнь, если он обнаружит, что кто-либо запятнал себя одним из названных грехов.

Мы вправе собственной рукой поднять на себя кнут.

18 октября. Из одного письма².

Не так просто с легкостью отнестись к тому, что ты

говоришь о матери, родителях, цветах, Новом годе и обществе за столом. Ты говоришь, что и для тебя «будет не самым большим удовольствием сидеть у тебя дома за столом вместе со всей твоей семьей». Ты высказываешь, разумеется, только свое мнение, совершенно справедливо не считаясь с тем, обрадует оно меня или нет. Так вот, оно меня не радует. Но, конечно, еще меньше обрадовало бы меня, если бы ты написала противоположное. Пожалуйста, скажи ясно, насколько возможно, чем тебе это будет неприятно и что тому причиной? Мы ведь уже часто говорили на эту тему, во всяком случае в связи со мною, но очень трудно хотя бы отчасти понять, в чем тут дело.

Коротко — а потому и с не совсем соответствующей истине жестокостью — я могу свою позицию изложить примерно так: я, который чаще всего бывал несамостоятелен, бесконечно стремлюсь к самостоятельности, независимости, всесторонней свободе. Лучше надеть шоры и проделать свой путь до конца, чем дать толпе родных кружить вокруг меня и отвлекать мой взгляд. Поэтому каждое слово, которым мы обмениваемся с родителями, так легко превращается в бревно, брошенное мне под ноги. Любая связь, которую я не сам создал или завоевал, даже если это связь между частями моего «я», никакой цены не имеет, мешает моему движению, я ненавижу ее или близок к тому, чтобы ее возненавидеть. Дорога длинна, силы не велики, оснований для такой ненависти более чем достаточно. Но я происхожу от своих родителей, связан с ними и с сестрами кровно, в повседневной жизни и из-за неизбежной погруженности в свои мысли я не чувствую этого, но на самом деле считаюсь с этим больше, чем сам осознаю. Иной раз моя ненависть направлена и на это, дома один вид супружеской постели,мятых простынь, заботливо приготовленных ночных сорочек вызывает у меня отвращение, доходящее до рвоты, выворачивающее наружу все мое нутро, мне начинает казаться, будто я еще окончательно не родился, должен снова и снова появляться на свет среди затхлой жизни этой затхлой комнаты, снова и снова подтверждать в ней свое существование, я неразрывно связан с этими отвратительными вещами, если не целиком и полностью, то по крайней мере частично, во всяком случае, это пути на моих ногах, которые хотят убежать, но завязли в первозданном бесформенном месиве. Это — иной раз.

А в другой раз я снова вспоминаю, что они все-таки мои родители, неотъемлемая часть моего собственного

существа, постоянные источники моей силы, связанные со мной не только как препятствие, но и как сущность. И тогда я представляю их себе, как представляют себе все самое лучшее; при всей злости, дурных привычках, эгоизме, бессердечии я издавна дрожал за них и, собственнo говоря, дрожу до сих пор, ведь это не проходит, и если они — мать, с одной стороны, отец, с другой, — опять-таки в силу необходимости почти сломили мою волю, то я еще и поэтому хочу их почитать. Они меня обманули, но я все же не могу, не впадая в безумие, восстать против закона природы, стало быть, опять ненависть и ничего, кроме ненависти. (Оттла временами кажется мне такой, какой должна быть, по моему смутному представлению, мать, — чистой, искренней, честной, последовательной. Кротость и гордость, впечатлительность и стойкость, самоотверженность и самостоятельность, робость и смелость в равной мере. Я упоминаю Оттлу, ибо и в ней ведь моя мать, правда совершенно неузнаваема.) Итак, я хочу поэтому их почитать.

Ты принадлежишь мне, я сделал тебя своей, и ни в одной сказке нет женщины, за которую сражались бы дольше и отчаяннее, чем я сражался за тебя с самим собой, так было с самого начала, так повторялось снова и снова, и так, видно, будет всегда. Значит, ты принадлежишь мне, поэтому мое отношение к твоим родственникам подобно моему отношению к моим родственникам, хотя, разумеется, оно несравненно спокойнее и в добром и в злом. Они означают еще одну связь, которая мешает мне (мешает, даже если бы мне никогда не пришлось сказать им хоть слово), и я не могу их почитать в упомянутом смысле. Я говорю с тобой столь же открыто, как с самим собой, ты не обидишься за это и не увидишь здесь высокомерия, — по крайней мере там, где ты могла бы его увидеть, его нет.

Окажись ты сейчас здесь, за столом моих родителей, тогда все враждебное мне в моих родителях обретет возможность гораздо более широкого воздействия на меня. Им покажется, что моя связь с семьей как с целым очень упрочится (но это не так и не должно быть так), им покажется, что я уже занял свое место в том ряду, одна из важнейших позиций которого — спальня по соседству со столовой (а я не занимал ее), вопреки моему сопротивлению они думают, что получили в тебе поддержку (они не получили ее), все безобразное и отвратительное в них усилится.

Но если это так, почему же я не радуюсь твоему замечанию? Потому что стою в кругу и непрерывно размахиваю ножами, чтобы все время и ранить, и защищать мою семью, позволь мне в этом полностью заменить тебя, но по отношению к твоей семье не заменяй меня в этом смысле. Не слишком ли велика для тебя, любимая, эта жертва? Она неслыханна, и облегчается она лишь тем, что, если ты не принесешь ее, мой характер заставит меня вырвать ее у тебя. Но если ты ее принесешь, ты много сделаешь для меня. Я умышленно не буду тебе писать один-два дня, чтобы ты могла без помех с моей стороны обдумать это и ответить. Для ответа достаточно — так велико мое доверие к тебе — одного только слова.

1917

29 июля. Придворный шут. Исследование о придворных шутах.

Великие времена придворных шутов, пожалуй, прошли и больше не вернутся. Все куда-то уходит, этого нельзя отрицать. Тем не менее я еще наслаждался придворным шутовством, хоть оно и исчезло сейчас из обихода человечества.

2 августа. Паскаль наводит большой порядок перед появлением бога, но должен существовать более глубокий робкий скепсис, нежели скепсис [*одно слово неразборчиво*]... человека, который режет себя на части хоть и великолепным ножом, но со спокойствием колбасника. Откуда это спокойствие? Это уверенное владение ножом? Разве бог — театральная колесница триумфатора, которую, даже если не забывать о тяжелых и отчаянных усилиях рабочих, вытаскивают на сцену с помощью канатов?

3 августа. Еще раз я во всю силу легких крикнул в мир. Потом мне заткнули рот кляпом, надели кандалы на руки и ноги, завязали платком глаза. Несколько раз меня протащили взад-вперед, посадили и снова положили, тоже несколько раз, дергали за ноги так, что я дыбился от боли, дали немножко полежать спокойно, а потом стали глубоко всаживать в меня что-то

острое, неожиданно то тут, то там, как подсказывала прихоть.

4 августа. Пользуясь литературой как синонимом упрека, делают такое сильное языковое сокращение, что это постепенно влечет за собой — возможно, с самого начала так и было задумано — и сокращение мысли, которое искажает истинную перспективу и заставляет самый упрек падать далеко от цели и в стороне от нее.

Громкозвучные трубы Пустоты.

15 сентября. У тебя есть возможность¹ — насколько вообще такая возможность существует — начать сначала. Не упускай ее. Если хочешь взяться всерьез, ты не сможешь избежать того, чтобы грязь исторглась из тебя. Но не валяйся в ней. Если, как ты утверждаешь, рана в легких является лишь символом, символом раны, воспалению которой имя Ф., глубине которой имя Оправдание, если это так, тогда и советы врача (свет, воздух, солнце, покой) — символ. Ухватись же за этот символ.

18 сентября. Все порвать.

19 сентября. Рана так болит не потому, что она глубока и велика, а потому, что она застарелая. Когда старую рану снова и снова вскрывают, снова режут то место, которое уже множество раз оперировали, — вот это ужасно.

Для меня всегда непостижимо, что почти каждый, кто умеет писать, может объективировать в боли боль, что я, к примеру, могу в несчастье, может быть, с еще пылающей от несчастья головой сесть и кому-то письменно сообщить: я несчастен. Более того, я могу даже с различными вывертами, в зависимости от дарования, которому словно дела нет до несчастья, фантазировать на эту тему просто, или усложненно, или с целым оркестром ассоциаций. И это вовсе не ложь и не успокаивает боли, это просто благостный избыток сил в момент, когда боль явно истощила до самого дна все силы моей души, которую она терзает. Что же это за избыток?

В мирные дни ты не преуспеваешь, в дни войны ты истекаешь кровью.

21 сентября. Ф. была здесь, она ехала, чтобы повидать меня, тридцать часов, мне следовало бы помешать этому. Насколько я представляю себе, на ее долю выпало, в значительной степени по моей вине, самое большое несчастье. Я сам не могу себя понять, я совершенно бесчувствен, столь же беспомощен, думаю о нарушении некоторых своих удобств и в качестве единственной уступки немножко разыгрываю комедию. В мелочах она не права, не права в защите своих мнимых или даже подлинных прав, в целом же она невинно приговорена к тяжким пыткам; я совершил несправедливость, из-за которой она подвергается пыткам, и я же подаю орудия пыток. Ее отъездом (каре́та с нею и Оттлой объезжает пруд, я напрямик пересекаю дорогу и снова приближаюсь к ней) и головной болью (брённые останки комедианта) кончается день.

25 сентября. По дороге в лес. Ты разрушил все, ничем, собственно говоря, еще не овладев. Как ты собираешься теперь восстановить это? Откуда возьмет силы для этой огромной работы твой мечущийся дух?

«Новое поколение» Таггера² — убого, болтливо, местами живо, умело, хорошо написано, с легким налетом дилетантизма. Какое он имеет право козырять? В основе своей он столь же убог, как я и как все. Не так уж преступно больному чахоткой иметь детей. Отец Флобера был болен туберкулезом. Выбор: или у ребенка в легких заводится флейта (очень красивое выражение для той музыки, ради которой врач прикладывает ухо к груди), или он становится Флобером. Трепет отца, пока это впустую обсуждается.

Временное удовлетворение я еще могу получать от таких работ, как «Сельский врач», при условии, если мне еще удастся что-нибудь подобное (очень маловероятно). Но счастлив я был бы только в том случае, если бы смог привести мир к чистоте, правде, незыблемости.

Плети, которыми мы стегаем друг друга, за последние пять лет обросли добротными узлами.

28 сентября. Из письма Ф., возможно последнего (1 октября)³.

Когда я проверяю себя своей конечной целью, то оказывается, что я, в сущности, стремлюсь не к тому, чтобы стать хорошим человеком и суметь держать ответ пред каким-нибудь высшим судом, — совсем напротив, я стремлюсь обзреть все сообщество людей и животных, познать его главные пристрастия, желания, нравственные идеалы, свести их к простым нормам жизни и в соответствии с ними самому как можно скорее стать непременно приятным, и притом (вот в чем фокус) настолько приятным, чтобы, не теряя всеобщей любви, я как единственный грешник, которого не поджаривают, мог открыто, на глазах у всех обнажить все присущие мне пороки. Короче говоря, меня интересует только суд человеческий, притом и его я хочу обмануть, конечно, без обмана.

8 октября. За это время: жалобные письма от Ф., Г. Б. грозитя прислать письмо. Безотрадное состояние (*courbature* *). Кормление коз, изрытое мышами поле, копка картофеля («Как ветер дует нам в зад»), сбор шиповника, крестьянин Ф. (семь девочек, одна маленькая, с милым взглядом, на плече белый кролик), в комнате висит картина «Император Франц Иосиф в склепе капуцинов», крестьянин К. (могучий, продуманное изложение всемирной истории его хозяйства, но дружелюбен и добр). Общее впечатление от крестьян: благородные люди, нашедшие спасение в сельском хозяйстве, где они так мудро и безропотно организовали свою работу, что она полностью слилась с мирозданием и до блаженной кончины оберегает их от всяких колебаний и морской болезни. Истинные граждане земли.

Парни, которые вечером гоняются за разбегающимся, рассыпанным по широким холмистым полям стадом и при этом все время должны тащить стреноженного, упирающегося молодого быка.

«Копперфилд» Диккенса («Кочегар» — прямое подражание Диккенсу; в еще большей степени — задуманный роман). История с чемоданом, осчастливливающий и очаровывающий, грязные работы, возлюбленная в поместье, грязные дома и др., но прежде всего манера. Моим намерением было, как я теперь вижу, написать диккенсов-

* Чрезмерная усталость (*франц.*).

ский роман, но обогащенный более резкими осветителями, которые я позаимствовал бы у времени, и более слабыми, которые я извлек бы из себя. Диккенсовское богатство и могучий, неудержимый поток повествования, но при этом — места ужасающе вялые, где он утомлено лишь помешивает уже сделанное. Впечатление варварства производит бессмысленное целое, — варварства, которого я, правда, избежал благодаря собственной слабости и наученный своим эпигонством. За манерой, затопляемой чувством, скрыта бессердечность. Эти колоды необработанных характеристик, которые искусственно подгоняются к каждому персонажу и без которых Диккенс был бы не в состоянии хотя бы раз быстро взобраться на свое сооружение. (Общность Вальзера⁴ с ним в расплывчатом применении абстрактных метафор.)

1919

27 июня. Начал новый дневник, собственно говоря, лишь потому, что читал старый. Некоторых причин и намерений теперь, без четверти двенадцать, уже не восстанавливать.

30 июня. Был в Ригерпарке. Прогуливался с Ю.¹ среди кустов жасмина. Лживость и правдивость, лживость во вздохах, правдивость в скованности, в доверчивости, в чувстве защищенности. Беспокойное сердце.

6 июля. Все те же мысль, желание, страх. И все-таки я спокойнее, чем обычно, словно во мне готовится великая перемена, отдаленную дрожь которой я ощущаю. Слишком много сказано.

5 декабря. Снова прорвался сквозь эту страшную длинную узкую щель, которую можно одолеть, собственно, лишь во сне. Наяву это по собственному желанию, конечно, никогда не удается.

8 декабря. Понедельник, праздник в Баумгартене, в ресторане, в галерее. Страдание и радость, вина и невиновность как две неразъединимо сплетенные руки, для того чтобы разъять, их надо было бы разрезать — мясо, кровь и кости.

9 декабря. Много Элезеуса². Но куда бы я ни повернулся, навстречу мне бьет черная волна.

11 декабря. Четверг. Холод. Молча бродил с Ю. по Ригерпарку. Соблазн на Грабене. Все это слишком тяжело. Я недостаточно подготовлен. В духовном смысле это похоже на то, что двадцать шесть лет тому назад говорил учитель Бек, не замечая, конечно, пророческой шутки: «Пусть он еще посидит в пятом классе, он слишком слаб, такая чрезмерная спешка потом отомстит за себя». Действительно, я рос, как слишком быстро вытянувшиеся и забытые саженцы, с известным артистическим изяществом уклоняясь от сквозняков; если угодно, есть даже что-то трогательное в этих движениях, но не более того. Как у Элезеуса с его весенними деловыми поездками в города. При этом его совсем не надо недооценивать: Элезеус мог бы стать героем книги, наверное, даже стал бы им во времена молодости Гамсуна.

1920

6 января. Все, что он делает, кажется ему необычайно новым. Если бы оно не обладало свежестью жизни, то само по себе — он хорошо это знает — оно неизбежно было бы порождением старого чертова болота. Но свежесть вводит его в заблуждение, заставляет забыть обо всем, или легко примириться, или даже, все понимая, воспринимать безболезненно. Ведь сегодняшней день, несомненно, и есть именно тот день, когда прогресс собирается двинуться дальше.

9 января. Суеверие и принцип и осуществление жизни. Через рай порока достигаешь ада добродетели. Столь легко? Столь грязно? Столь немислимо? Суеверие — оно просто.

В его затылке вырезали сегментобразный кусок. Вместе с солнцем туда заглядывает весь мир. Это нервнрует его, отвлекает от работы, кроме того, его злит, что именно он должен быть исключен из спектакля.

Если на следующий день после освобождения чувство несвободы еще остается неизменным, а то и усиливается, и даже если настойчиво уверяют, что оно никогда не кончится, — это нисколько не опровергает предчувствия окончательного освобождения. Все это, скорее, необходимые предпосылки окончательного освобождения,

15 октября. С неделю назад все дневники дал М.¹. Немного свободнее? Нет. Способен ли я еще вести нечто вроде дневника? Во всяком случае, это будет нечто другое, скорее всего, оно забьется куда-нибудь, вообще ничего не будет, о Хардте, например, который сравнительно сильно занимал меня, я лишь с величайшим трудом мог бы что-нибудь записать. Кажется, будто я все уже давно о нем написал или, что то же самое, будто меня нет больше в живых. О М. я могу, пожалуй, писать, но уже не по свободному решению, да это и было бы слишком сильно направлено против меня, подобные вещи мне уже не нужно, как прежде, подробно объяснять себе, в этом отношении я уже не столь забывчив, как раньше, я стал живой памятью, отсюда и бессонница.

16 октября. Воскресенье. Беда непрерывных начал, никакого заблуждения относительно того, что все — лишь начало, и даже еще не начало, — глупость окружающих, которым это неведомо и которые, к примеру, играют в футбол в надежде когда-нибудь наконец «преуспеть», собственная глупость, которую погребаешь в себе самом, как в гробу, глупость окружающих, думающих, что перед ними настоящий гроб, то есть гроб, который можно перевезти с места на место, открыть, разломать, поместить на другой.

Среди молодых женщин в парке. Зависти нет. У меня достаточно фантазии, чтобы разделять их счастье, достаточно здравого смысла, чтобы понимать, что я слишком слаб для такого счастья, достаточно глупости, чтобы верить, будто осознаю свое и их положение. Нет, глупости недостаточно, осталась маленькая щель, ветер дует в нее и мешает полноте резонанса.

Проникнись я желанием стать легкоатлетом, это было бы, вероятно, то же самое, как если бы я пожелал попасть на небо и там имел возможность пребывать в таком же отчаянии, как здесь.

Какой бы жалкой ни была моя первооснова, пусть даже «при равных условиях» (в особенности если учесть слабость воли), даже если она самая жалкая на земле,

я все же должен, хотя бы в своем духе, пытаться достичь наилучшего; говорить же: я в силах достичь лишь одного, и потому это одно и есть наилучшее, а оно есть отчаяние, говорить так — значит прибегать к пустой софистике.

17 октября. То, что я не научился ничему полезному, к тому же зачах и физически — а это взаимосвязано, — могло быть преднамеренным. Я хотел, чтобы меня ничто не отвлекало, не отвлекала жизнерадостность полезного и здорового человека. Как будто бы болезнь и отчаяние не отвлекают в такой же степени!

Я мог бы эту мысль вертеть по-разному и довести ее до конца в свою пользу, но я не решаюсь и не верю — по крайней мере ныне и в большинстве других дней — в какую-либо благоприятную для меня развязку.

Я не завидую отдельной супружеской паре, я завидую только всем супружеским парам, а если я и завидую одной супружеской паре, то я, собственно говоря, завидую вообще супружескому счастью во всем его бесконечном многообразии, счастье одной-единственной супружеской пары даже в самом благоприятном случае, наверное, привело бы меня в отчаяние.

Я не думаю, будто есть люди, чье внутреннее состояние подобно моему, тем не менее я могу представить себе таких людей, но чтобы вокруг их головы все время летал, как вокруг моей, незримый ворон, этого я себе даже и представить не могу.

Поразительно это систематическое саморазрушение в течение многих лет, оно было подобно медленно назревающему прорыву плотины — действие, полное умысла. Дух, который осуществил это, должен теперь праздновать победу; почему он не дает мне участвовать в празднике? Но может быть, он еще не довел до конца свой умысел и потому не может ни о чем другом думать.

18 октября. Вечное детство. Снова зов жизни.

Легко вообразить, что каждого окружает уготованное ему великолепие жизни во всей его полноте, но оно скрыто завесой, глубоко спрятано, невидимо, недоступно. Однако оно не злое, не враждебное, не глухое. Позови его заветным словом, оклики истинным именем, и оно при-

дет к тебе. Вот тайна волшебства — оно не творит, а вызывает.

19 октября. Сущность дороги через пустыню. Человек, сам себе народный предводитель, идет этой дорогой, последними остатками (большого не дано) сознания постигая происходящее. Всю жизнь ему чудится близость Ханаана; мысль о том, что землю эту он увидит лишь перед самой смертью, для него невероятна. Эта последняя надежда может иметь один только смысл: показать, сколь несовершенным мгновением является человеческая жизнь, — несовершенным потому, что, длись она и бесконечно, она все равно всего лишь мгновение. Моисей не дошел до Ханаана не потому, что его жизнь была слишком коротка, а потому, что она человеческая жизнь. Конец Моисеева пятикнижия сходен с заключительной сценой «Education sentimentale»².

Тому, кто при жизни не в силах справиться с жизнью, одна рука нужна, чтобы отбиться от отчаяния, порожденного собственной судьбой, — что удастся ему плохо, — другой же рукой он может записывать то, что видит под руинами, ибо видит он иначе и больше, чем окружающие: он ведь мертвый при жизни и все же живой после катастрофы. Если только для борьбы с отчаянием ему нужны не обе руки и не больше, чем он имеет.

20 октября. После обеда Лангер, потом Макс читали вслух «Франци».

Сновидение, ненадолго во время судорожного, недолгого сна судорожно захватившее меня, наполнив безмерным счастьем. Сновидение широко разветвленное, с тысячью совершенно понятных связей, — осталось лишь слабое воспоминание о чувстве счастья.

Мой брат совершил преступление, мне кажется — убийство, я и другие замешаны в этом преступлении, наказание, развязка, избавление приближаются издали, приближение мощно и неудержимо нарастает, это видно по многим признакам, моя сестра, кажется, все время возвещает эти признаки, которые я все время приветствую безумными выкриками, безумие возрастает вместе с приближением. Мне казалось, я никогда не смогу забыть своих отдельных выкриков, коротких фраз благодаря их ясности, теперь же ничего не могу точно

вспомнить. Это могли быть только выкрики, ибо говорить мне было очень трудно, для того чтобы произнести слово, я должен был надуть щеки и одновременно скривить рот, как при зубной боли. Счастье заключалось в том, что наказание пришло и я свободно, убежденно и радостно приветствовал его,— картина эта умилила богов, и умиление богов тоже тронуло меня почти до слез.

21 октября. Он не мог позволить себе войти в дом, ибо слышал глас, повелевший ему: «Жди, пока я поведу тебя!» И так лежал он во прахе перед домом, хотя давно уже, наверное, не оставалось никакой надежды...

Всё — фантазия: семья, служба, друзья, улица; всё — фантазия, более далекая или более близкая, и жена — фантазия; ближайшая же правда только в том, что ты бьешься головой о стенку камеры, в которой нет ни окон, ни дверей.

22 октября. Знаток, специалист, человек, знающий свое дело,— правда, знания эти никому нельзя передать, но, к счастью, они, кажется, никому и не нужны.

23 октября. После обеда. Фильм о Палестине.

25 октября. Вчера Эренштайн³.

Родители играли в карты; я сидел один, совершенно чужой; отец сказал, чтобы я играл с ними или хотя бы смотрел, как играют; я нашел какую-то отговорку. Что означал этот многократно повторявшийся с детства отказ? Приглашения открывали мне доступ в общество, в известной мере к общественной жизни, с занятием, которого от меня как от участника требовали, я справился бы если не хорошо, то сносно, игра, наверное, даже и не слишком наводила бы на меня скуку — и все-таки я отказывался. Если судить по этому, я не прав, жалуясь, что жизненный поток никогда не захватывал меня, никогда я не мог оторваться от Праги, никогда меня не заставляли заниматься спортом или каким-нибудь ремеслом и тому подобное,— я бы, наверное, всегда отклонял предложение, так же как приглашение к игре. Лишь бессмысленное было доступно — изучение права, канцелярия, потом бессмысленные добавления, например работа в саду, столярничанье и тому подобное; эти добавления подобны

действиям человека, который выкидывает за дверь несчастного нищего и потом сам с собой играет в благодетеля, передавая милостыню из своей правой руки в свою же левую руку.

Но я всегда от всего отказывался, возможно, из-за общей слабости, в особенности же из-за слабости воли, только понял это я поздно. Раньше я считал этот отказ чаще всего хорошим признаком (обольщенный большими надеждами, которые я возлагал на себя), сегодня же от этой приятной точки зрения почти ничего не осталось.

29 октября. В один из ближайших вечеров я все же участвовал в игре, записывая для матери ее очки. Но сближения не получилось, а если и был намек на него, то он развеялся под давлением усталости, скуки, грусти по поводу потерянного времени. И так было бы всегда. Пограничную зону между одиночеством и общением я пересекал крайне редко, в ней я обосновался даже более прочно, чем в самом одиночестве. Каким живым, прекрасным местом был по сравнению с этим остров Робинзона.

30 октября. После обеда в театре. Палленберг⁴.

Мои внутренние возможности для (я не хочу сказать — изображения или написания «Скупого», а именно для) самого скупого. Нужно только быстрое решительное движение — и весь оркестр зачарованно уставится туда, где над пультом капельмейстера должна подняться дирижерская палочка.

Чувство полнейшей беспомощности.

Что связывает тебя с этими прочно осевшими, говорливыми, остроглазыми существами теснее, чем с какой-нибудь вещью, скажем с ручкой в твоей руке? Уж не то ли, что ты их породы? Но ты не их породы, потому-то и задался таким вопросом.

Эта четкая ограниченность человеческого тела ужасна.

Странная, непостижимая сила предотвращает гибель, молча направляет. Сам собой напрашивается абсурдный вывод: «Что касается меня, я давно бы погиб». Что касается меня,

1 ноября. «Песнь козла» Верфеля.

Свободно повелевать миром, не повинуюсь его законам. Предписывать закон. Счастье быть послушным этому закону.

Однако невозможно предписать миру такой закон, при котором все оставалось бы по-прежнему и лишь новый законодатель был бы свободен. Это был бы не закон, а произвол, смута, самоосуждение.

2 ноября. Шаткая надежда, шаткая вера.

Бесконечное хмурое воскресенье, поедающее целые годы, годам равное послеобеденное время. Попеременно в отчаянии бродил по пустынным улицам и успокоенный лежал на диване. Порой вызывали удивление почти непрерывно тянущиеся бесцветные, бессмысленные облака. «Тебя ждет великий понедельник!» Хорошо сказано, но воскресенье никогда не кончится.

3 ноября. Звонок по телефону.

7 ноября. Неизбежная необходимость в самонаблюдении: если за мною кто-то наблюдает, я, естественно, тоже должен наблюдать за собой, если же никто другой не наблюдает за мною, тем внимательнее я должен наблюдать за собой сам.

Можно позавидовать легкости, с какой от меня может избавиться всякий, кто поссорится со мной или кому я стану безразличен или надоем (при условии, что дело не идет о жизни; когда однажды казалось, что у Ф. дело идет о жизни, избавиться от меня было нелегко,— правда, я был молод и силен, и желания мои тоже были сильными).

1 декабря. После четырех посещений М. уедет, завтра уезжает. Четыре спокойных дня посреди дней мучительных. Как долгод путь от мысли, что я не грущу по поводу ее отъезда, не грущу по-настоящему, до понимания, что ее отъезд все-таки вызывает во мне бесконечную грусть. Разумеется, грусть не самое страшное.

2 декабря. Писал письма в комнате родителей. Формы гибели невообразимы. Недавно представил себе, что ма-

лым ребенком я был побежден отцом и теперь из честолюбия не могу покинуть поле боя — все последующие годы напролет, хотя меня побеждают снова и снова. Все время М., или не М., а принцип, свет во мраке.

6 декабря. Из одного письма: «Оно согревает меня в эту грустную зиму». Метафоры — одно из многого, что приводит меня в отчаяние, когда пишу. Несамостоятельность писания, зависимость от служанки, топящей печь, от кошки, греющейся у печи, даже от бедного греющегося старика. Все это самостоятельные, осуществляющиеся по собственным законам действия, только писание беспомощно, существует не само по себе, оно — забава и отчаяние.

Двое детей, одни в доме, забрались в большой сундук, крышка захлопнулась, они не смогли открыть ее и задохнулись.

20 декабря. Много перестрадал в мыслях.

В испуге вскочил, вырванный из глубокого сна. Посреди комнаты за маленьким столом при свете свечи сидел чужой человек. Он сидел в полумраке, широкий и тяжелый, расстегнутое зимнее пальто делало его еще более широким.

Лучше продумать:

Умиравший Вильгельм Раабе⁵, которому жена гладит лоб, говорит: «Как хорошо».

Дедушка, смеющийся беззубым ртом при виде своего внука.

Разумеется, очень хорошо, если можешь спокойно написать: «Задохнуться — это невообразимо страшно». Ну конечно же, невообразимо, следовательно, опять-таки ничего не написано.

25 декабря. Снова сидел над «Náš Skautík»⁶.

«Иван Ильич»⁷.

16 января. Последняя неделя была как катастрофа, катастрофа полная, подобная лишь той, что произошла однажды ночью два года назад, другой такой я больше не переживал. Казалось, всему конец, да и сейчас как будто бы ничего еще не изменилось. Это можно воспринять двояко, пожалуй, только так и можно это воспринимать.

Во-первых, бессилие, не в силах спать, не в силах бодрствовать, не в силах переносить жизнь, вернее, последовательность жизни. Часы идут вразнобой, внутренние мчатся вперед в дьявольском, или сатанинском, или, во всяком случае, нечеловеческом темпе, наружные, запинаясь, идут своим обычным ходом. Можно ли ожидать, чтобы эти два различных мира не разъединились, и они действительно разъединяются или по меньшей мере разрывают друг друга самым ужасающим образом. Стремительность хода внутренних часов может иметь различные причины, самая очевидная из них — самоанализ, который не дает отстояться ни одному представлению, гонит каждое из них наверх, чтобы потом уже его самого, как представление, гнал дальше новый самоанализ.

Во-вторых, исходная точка этой гонки — человечество. Одиночество, которое с давних времен частично мне навязали, частично я сам искал — но и искал разве не по принуждению? — это одиночество теперь непреложно и беспредельно. Куда оно ведет? Оно может привести к безумию — и это, кажется, наиболее вероятно, — об этом нельзя больше говорить, погоня проходит через меня и разрывает на части. Но я могу — могу ли? — пусть в самой малой степени и уцелеть, сделать так, чтобы погоня неслась меня. Где я тогда окажусь? «Погоня» — лишь образ, можно также сказать «атака на последнюю земную границу», причем атака снизу, со стороны людей, и, поскольку это тоже лишь образ, можно заменить его образом атаки сверху, на меня.

Вся эта литература — атака на границу, и, не помещай тому сионизм, она легко могла бы превратиться в новое тайное учение, в кабалистику. Предпосылки к этому были. Конечно, здесь требуется что-то вроде непостижимого гения, который заново пустил бы свои корни в древние века или древние века заново сотворил бы, не растратив себя во всем этом, а только сейчас начав тратить себя.

17 января. Все то же.

18 января. Мгновенные раздумий. Будь доволен, учись (учись, сорокалетний!) жить мгновением (ведь когда-то ты умел это). Да, мгновением, ужасным мгновением. Оно не ужасно, только страх перед будущим делает его ужасным. И, конечно, взгляд в прошлое. Что сделал ты с дарованным тебе счастьем быть мужчиной? Не получилось, скажут в конце концов, и это все. Но ведь легко могло бы получиться. Конечно, исход решила мелочь, и притом незначительная. Что в этом особенного? Так бывало во время величайших битв мировой истории. Мелочи решали исход мелочей.

М. права: страх — это несчастье, но из этого не следует, что мужество — счастье, счастье — это бесстрашие, а не мужество, которое, возможно, требует большего, нежели силы (в моем классе, пожалуй, было только два еврея, обладавших мужеством, и оба еще в гимназии или вскоре после ее окончания застрелились), итак, не мужество, а бесстрашие, спокойное, с открытым взглядом, способное все вынести. Не принуждай себя ни к чему, но не будь несчастен из-за того, что ты не принуждаешь себя, или из-за того, что тебе приходится принуждать себя, когда нужно это делать. И если ты не принуждаешь себя, не избегай блудливо возможностей принуждения. Разумеется, так ясно это не бывает никогда, или нет — это всегда так ясно, например: мой пол гнетет меня, мучает днем и ночью, я должен преодолевать страх и стыд и даже грусть, чтобы удовлетворять его потребности, с другой же стороны, несомненно, что я без страха и стыда и грусти сразу же воспользуюсь мимолетным и благосклонным случаем; тогда, значит, придется не преодолевать закон, страх и т. д. (но и не играть мыслями о преодолении), а пользоваться случаем (но не жаловаться, если он не представляется). Конечно, существует нечто среднее между «действием» и «случаем», а именно: привлечение, подманивание «случая», — к этой практике я прибегал, к сожалению, не только в таких делах, но и вообще. Исходя из «закона», против этого вряд ли что-нибудь возразишь, тем не менее «подманивание», в особенности если оно делается негодными средствами, подозрительно смахивает на «игру с мыслью о преодолении», и спокойного, открыто глядящего бесстрашия здесь нет и в помине. Как раз вопреки «буквальному» совпадению с «законом» в этом есть нечто отвратительное, не-

что такое, чего непременно следует избегать. Но чтобы избегать этого, требуется усилие, а мне с собой не справиться.

19 января. Что означают вчерашние констатации сегодня? Они означают то же самое, что и вчера, они верны,— вот только кровь сочится между большими камнями закона.

Бесконечное, глубокое, теплое, спасительное счастье — сидеть возле колыбели своего ребенка, напротив матери.

Здесь есть что-то и от чувства: теперь дело не в тебе, а ты только того и хочешь. Другое чувство у бездетного: все время дело в тебе, хочешь ты того или нет, в каждое мгновение, до самого конца, в каждое разрывающее нервы мгновение, все время дело в тебе, и все безрезультатно. Сизиф был холостяком.

Ничего дурного; раз ты переступил порог, все хорошо. Другой мир, и ты не обязан говорить.

Два вопроса !:

По некоторым мелочам, называть которые мне стыдно, у меня сложилось впечатление, что последние посещения были хотя и, как всегда, милыми и беспечными, все же несколько утомительными, несколько натянутыми, как посещения больного. Правильно ли это впечатление?

Может быть, ты нашла в дневниках что-то, что решающим образом говорит против меня?

20 января. Немного спокойнее. Как необходимо это было. Но едва стало чуть спокойнее, как уже слишком спокойно. Словно я по-настоящему чувствую самого себя только тогда, когда невыносимо несчастен. Это, пожалуй, верно.

Схватили за воротник, протащили по улицам, бросили в дверь. Схематически это так и есть, в действительности существуют противодействующие силы, лишь на самую малость — малость, достаточную только для поддержания жизни и муки, — менее разнузданные, чем те, каким они противостоят. Я жертва тех и других.

Уж это «слишком спокойно». Словно для меня закрыты — прямо-таки физически, физически как следствие многолетних страданий (надежды! надежды!), — возможности спокойной творческой жизни, то есть творческой жизни вообще, ибо состояние страдания для меня не что иное, как полное, закрытое в самом себе, закрытое по отношению ко всему на свете страдание, и ничто другое.

Торс: если смотреть сбоку, скользя взглядом вверх от края чулка, по колену, ляжке, бедру, — он принадлежит темнокожей женщине.

Тоска по земле? Не уверен. Земля порождает тоску, тоску беспредельную.

М. права в отношении меня: «Все прекрасно, только не для меня, и это справедливо». Справедливо, соглашусь я и делаю вид, что верю по крайней мере в это. А может быть, я и в это не верю? Я ведь, собственно говоря, не думаю о «справедливости», у жизни столько бесконечно сильных доводов, что в ней не остается места для справедливости и несправедливости. Как нельзя рассуждать о справедливости и несправедливости в преисполненный отчаяния смертный час, так нельзя рассуждать о них и в преисполненной отчаяния жизни. Достаточно уже и того, что стрелы точно подходят к ранам, нанесенным ими.

Однако у меня и в помине нет желания осудить все поколение в целом.

21 января. Еще не слишком спокойно. В театре, при виде тюрьмы Флорестана, внезапно раскрылась бездна. Всё — певцы, музыка, публика, соседи, — всё более отдаленно, чем бездна.

Насколько мне известно, такой тяжелой задачи не было ни у кого. Мне могут сказать: это вовсе не задача, это даже и не неразрешимая задача, это даже и не сама неразрешимость, это ничто, это даже меньше, чем надежда бесплодной женщины родить ребенка. И все-таки это тот воздух, которым я дышу, покуда мне суждено дышать.

Уснул после полуночи, проснулся в пять. Невероятное достижение, невероятное счастье, к тому же я еще полусонный. Но счастье было моим несчастьем, ибо тут же пришла неотвратимая мысль: такого счастья ты не заслуживаешь, все боги мести обрушились на меня, я увидел их расщепленного Владыку, его пальцы страшно растопырены и грозят мне или с ужасающей силой бьют в кимвалы. Возбуждение этих двух часов, до семи утра, не только уничтожило результаты того, что дал сон, но и весь день заставило меня дрожать и беспокоиться.

Без предков, без супружества, без потомков, с неистовой жаждой предков, супружества, потомков. Все протягивают мне руки: предки, супружество, потомки — но слишком далеко от меня.

Для всего существует искусственный, жалкий заменитель: для предков, супружества, потомков. Его создают в судорогах и, если не погибают от этих судорог, гибнут от безотрадности заменителя.

22 января. Решение, принятое ночью.

Заметка относительно «Несчастья холостяка»² была пророческой, правда пророчеством при очень благоприятных предпосылках. Но сходство с дядей Р.³ поразительно еще и сверх того: оба тихие (я — менее), оба зависимы от родителей (я — больше), во вражде с отцом, любимы матерью (он к тому же обречен на страшную совместную жизнь с отцом; конечно, и отец обречен), оба застенчивы, сверхскромны (он — более), оба считаются благородными, хорошими людьми, что совсем неверно в отношении меня и, насколько мне известно, мало соответствует истине в отношении его (застенчивость, скромность, робость считаются благородными и хорошими качествами, потому что они слабо противодействуют собственным экспансивным порывам), оба вначале ипохондрики, а потом действительно больные, обоих, хотя они и бездельники, мир неплохо содержит (его, как меньшего бездельника, содержат гораздо хуже, насколько можно пока сравнивать), оба чиновники (он — лучший), у обоих наивнообразнейшая жизнь, оба неразвивающиеся, до конца пребывают молодыми, — точнее слова «молодые» слово «законсервированные», — оба близки к безумию, он, далекий от евреев, с неслышанным мужеством, с неслышанной отчаянностью (по которой можно судить, на-

сколько велика угроза безумия) спасся в церкви, до конца, насколько можно судить, его будут держать на длинной привязи, сам же он, кажется, уже многие годы ни на чем не держится. К его счастью или несчастью, разница в том, что он обладал меньшими, чем я, художественными способностями, следовательно, мог бы в юности выбрать лучшую дорогу, его не так разрывало на части, в том числе и тщеславие. Боролся ли он за женщин (с собою), я не знаю, в одном его рассказе, который я читал, можно найти подтверждение этому, кроме того, когда я был ребенком, о нем рассказывали что-то в этом духе. Я слишком мало знаю о нем, спрашивать же об этом я не решался. Впрочем, до сих пор я легкомысленно писал о нем как о живом. Неправда также, что он не был добрым, я никогда не замечал в нем и следа скупости, зависти, ненависти, жадности; для того же, чтобы самому помогать другим, он был слишком слаб. Он был бесконечно невиннее меня, здесь нельзя и сравнивать. В деталях он был карикатурой на меня, в главном же я карикатура на него.

23 января. Снова нахлынуло беспокойство. Откуда? От привычных мыслей, их быстро забываешь, а беспокойство они оставляют незабываемое. Мне легче вспомнить не мысли, а место, где они возникли, одна из них, например, пришла мне в голову на маленькой, обложенной дерном дорожке, идущей вдоль здания Старо-Новой синагоги. Беспокойство возникает также и в предчувствии хорошего состояния, которое время от времени приближается — робко и на почтительное расстояние. Беспокойство и из-за того, что ночное решение остается лишь решением. Беспокойство от того, что жизнь моя до сих пор была маршем на месте, в лучшем случае развивалась подобно тому, как развивается дырявый, обреченный зуб. С моей стороны не было ни малейшей, хоть как-то оправдавшей себя попытки направить свою жизнь. Как и всякому другому человеку, мне как будто был дан центр окружности, и я, как всякий другой человек, должен был взять направление по центральному радиусу и потом описать прекрасную окружность. Вместо этого я все время брал разбег к радиусу и все время сразу же останавливался. (Примеры: рояль, скрипка, языки, германистика, антисионизм, сионизм, древнееврейский, садоводство, столярничанье, литература, попытки жениться, собственная квартира.) Середина воображае-

мого круга вся покрыта начинающимися радиусами, там нет больше места для новой попытки, «нет места» означает: возраст, слабость нервов; «никакой попытки больше» означает: конец. Если же я когда-нибудь проходил по радиусу немножко дальше, чем обычно, например при изучении права или при помолвках, все оказывалось ровно настолько хуже, а не лучше, чем обычно.

Рассказал М. о ночи, неудовлетворительно. Симптомы отметить про себя, не жалуйся на симптомы, окупись в страдание.

Беспокойство сердца.

24 января. Счастье молодых и пожилых женатых мужчин — моих коллег по канцелярии. Мне оно недоступно, а будь и доступно, оно было бы невыносимо для меня, и тем не менее это единственное, чем я склонен был бы насытиться.

Медленье перед рождением. Если существует переселение душ, то я еще не на самой нижней ступени. Моя жизнь — это медленье перед рождением.

Стойкость. Я не хочу развиваться определенным образом, я хочу в другое место, в действительности это то самое «стремление к другой звезде», но мне было бы достаточно стоять вплотную около самого себя, мне было бы достаточно, если бы место, на котором я стою, я мог воспринимать как другое место.

Все развивалось просто. Когда я был еще доволен, я хотел быть недовольным, и всеми средствами, которые предоставлялись мне временем и традициями, я загонял себя в недовольство, но хотел иметь возможность возврата. Итак, я всегда был недоволен, в том числе и своим довольством. Характерно, что при достаточной последовательности комедию всегда можно претворить в действительность. Мой духовный упадок начался с детской, правда по-детски сознательной, игры. Например, я заставлял лицевые мускулы искусственно подергиваться, шел со скрещенными на затылке руками по Грабену. Детская отвратительная, но успешная игра. (Нечто подобное было и с развитием сочинительства, но развитие это, к сожалению, потом застопорилось.) Раз возможно таким способом насильно навлечь на себя несчастье,

значит, все можно насильственно привлечь. Как бы ни казалось, что весь ход моего развития опровергает мое рассуждение, и как бы такая мысль вообще ни противоречила моему существу, я никак не могу признать, что первые начала моего несчастья были внутренне необходимы, а если даже и была в них необходимость, то не внутренняя, они налетали, как мухи, и, как мух, их легко было прогнать.

Окажись я на другом берегу, несчастье было бы столь же большим, а возможно, и бóльшим (вследствие моей слабости), я ведь уже знаю это по опыту, рычаг еще слегка вибрирует с тех пор, как я в последний раз передвинул его. Но зачем же я увеличиваю несчастье, стремясь попасть на другой берег, когда нахожусь на этом берегу?

Грустен по определенной причине. Зависим от нее. Вечно в опасности. Безысходность. Как легко было в первый раз, как трудно на этот раз. Как беспомощно глядит на меня деспот: «Так вот куда ты меня ведешь?» И так, несмотря на все, покоя нет; после обеда хороню утреннюю надежду. При такой жизни невозможно удовлетвориться любовью, еще не было, наверное, человека, которому удалось бы это. Когда другие люди достигали этого предела — а тот, кто дошел до него, уже достаточно жалок, — они поворачивали обратно, я же не могу этого сделать. Мне даже кажется, будто я и не шел к нему, а уже малым ребенком меня притащили туда и приковали цепями, лишь сознание несчастья пробуждалось постепенно, само же несчастье уже существовало, нужен был только пронизательный, даже не пророческий, взгляд, чтобы увидеть его.

Утром я думал: «Таким образом ты, наверное, сможешь жить, только оберегай теперь эту жизнь от женщин». Оберегай ее от женщин, но в этом «таким образом» они уже заключены.

Сказать, что ты покинула меня, было бы очень несправедливо, но то, что я покинут, порой страшно покинут, — это правда.

Мое «решение» тоже дает право безгранично отчаиваться в связи с моим положением.

27 января. Шпиндлермюле. Надо не зависеть от помноженных на собственную неловкость злоключений вроде парных саней, поломанного чемодана, шаткого стола, скверного освещения, невозможности послеобеденного отдыха в гостинице и тому подобного. Независимости не добьешься, если не обращать на это внимания, но не обращать на это внимания нельзя, независимости можно добиться только привлечением новых сил. Правда, здесь случаются неожиданности, с этим должен согласиться самый отчаявшийся человек; бывает, из ничего появляется нечто, из заброшенного свинарника вылезает кучер с лошадьми⁴.

Пока катались на санях, у меня все время убывали силы. Жизнь не сделаешь так, как гимнаст стойку на руках.

Странное, таинственное, может быть, опасное, может быть, спасительное утешение, которое дает сочинительство: оно позволяет вырваться из рядов убийц, постоянно наблюдать за действием. Это наблюдение за действием должно породить наблюдение более высокого свойства, более высокого, но не более острого, и чем выше оно, тем недоступней для «рядов», тем независимей, тем неуклоннее следует оно собственным законам движения и тем неожиданней, радостней и успешней его путь.

Несмотря на то что я четко написал свое имя в гостинице, несмотря на то что и они уже дважды правильно написали его, внизу на доске все-таки написано «Йозеф К.». Просветить мне их или самому у них просветиться?

28 января. Немного оглушен, устал от катания с гор на санках, есть еще на свете приспособления, ими редко пользуются, я с трудом обращаюсь с ними, потому что мне неведома радость, ими доставляемая,— в детстве я не учился ей. Я не учился ей не только «по вине отца», но и потому, что хотел разрушить «покой», нарушить равновесие, и поэтому незачем позволять кому-то родиться, чтобы затем пытаться его угробить. Правда, к «вине» мне все равно надо обратиться, ибо почему я хотел уйти из мира? Потому что «он» не позволял мне жить в мире, в его мире. Конечно, теперь мне не следует так определенно судить об этом, ибо теперь я уже гражданин дру-

того мира, который так же относится к миру обычному, как пустыня к плодородному краю (вот уже сорок лет, как я покинул Ханаан), я смотрю назад, как иноземец, правда, я и в том, другом, мире самый маленький и самый робкий — это свойство я принес с собой как отцовское наследство, — я и в нем жизнеспособен только благодаря особому тамошнему порядку, допускающему молниеносные взлеты даже маленьких людей, но, правда, и тысячелетние штормовые разрушения. Разве я не должен, несмотря ни на что, быть благодарен? Разве я не должен был искать пути сюда? Если бы я был «изгнан» оттуда, а сюда бы меня не пустили, разве не был бы я раздавлен на границе? Разве не властью отца изгнание стало таким неотвратимым, что ничто не могло противостоять ему (не мне)? Правда, это подобно возвращению в пустыню с беспрестанными приближениями к ней и детскими надеждами (особенно в отношении женщин): «Я все же, может быть, останусь в Ханаане», а тем временем я уже давно в пустыне, и все это лишь видения, порожденные отчаянием, в особенности тогда, когда я и там был самым жалким из всех и Ханаан должен был представляться единственной страной надежд, ибо третьей страны людям не дано.

29 января. Вечером на заснеженной дороге приступы. Все представления смешиваются — примерно так: мое положение в этом мире ужасно, здесь, в Шпиндлермюле, я один, на заброшенной дороге, где в темноте на снегу то и дело поскальзываешься, да и дорога эта бессмысленна, не ведет ни к какой земной цели (к мосту? Почему именно туда? К тому же я и не дошел до него), и в местечке я покинут (рассчитывать на личную человеческую помощь врача не могу, я ничем ее не заслужил, в сущности, у меня только гонорарные отношения с ним), неспособен с кем-нибудь познакомиться, неспособен вынести знакомства, бесконечное удивление вызывает у меня и любое веселое общество (правда, здесь, в гостинице, не много веселого, я не хочу заходить так далеко и утверждать, будто причиной тому являюсь я, скажем как «человек со слишком большой тенью», но тень, которую я отбрасываю в этом мире, действительно слишком велика, и я снова и снова удивляюсь, когда вижу упорство иных людей, желающих тем не менее, «несмотря ни на что», жить даже в этой тени, именно в ней; но здесь добавляется еще кое-что, о чем еще следует поговорить),

и даже родители с их детьми,— не только здесь я так покинут, я покинут вообще, и в Праге, на моей «родине», и покинули меня не люди, это было бы еще не самое ужасное, я мог бы, пока жив, бежать вслед за ними, но я сам покинул себя, оборвав связь с людьми, мои силы поддерживать связь с людьми покинули меня, я расположен к любящим, но я не могу любить, я слишком далек от всех, я изгнан, у меня есть — поскольку я человек, а корни требуют питания — также и там «внизу» (или наверху) мои ходатаи, жалкие, бездарные комедианты, которые лишь потому могут удовлетворить меня (конечно, они меня совсем не удовлетворяют, и потому я так покинут), что главное питание мне дают другие корни, другой воздух, эти корни тоже жалкие, но все же более жизнеспособные.

Так смешиваются представления. Будь все именно так, как может показаться на заснеженной дороге, было бы ужасно, тогда я погиб бы — это надо понимать не как надвигающуюся угрозу, а как немедленную казнь. Но я совсем в другом мире, однако притягательная сила мира человеческого столь огромна, что в одно мгновение она может заставить обо всем забыть. Но притягательная сила и моего мира тоже велика, те, кто любит меня, любят меня потому, что я «покинутый», но все же, может быть, и потому, что они чувствуют, что в счастливые времена я в этом своем мире обретаю свободу движения, которой здесь начисто лишен.

Было бы ужасно, если б, например, сюда неожиданно приехала М. Правда, внешне мое положение сразу же стало бы относительно блестящим. Меня стали бы почитать как человека среди людей, я услышал бы не одни только официальные слова, я сидел бы (конечно, менее прямо, чем сейчас, поскольку я сижу один, да и сейчас я сижу изнеможенно) за столом среди общества актеров, социально я внешне стал бы почти равен доктору Х., — но я был бы низвержен в мир, в котором не могу жить. Остается лишь разрешить загадку, почему в Мариенбаде я был счастлив четырнадцать дней кряду и почему я, возможно, и здесь был бы с М. счастлив, правда после мучительнейшего прорыва границы. Но это, пожалуй, далось бы еще труднее, чем в Мариенбаде: образ мыслей стал прочнее, опыт — больше. То, что раньше представлялось разделяющей полосой, теперь стало стеной или горой — или, вернее, могилой.

30 января. Жду воспаления легких. Страх не столько перед болезнью, сколько за мать и перед матерью, перед отцом, перед директором и всеми другими. Вот где становится очевидным, что существуют два мира и что перед лицом болезни я так же невежествен, так же беспомощен, так же робок, как перед обер-кельнером. В остальном разделение кажется мне чересчур определенным, в своей определенности опасным, грустным и чрезмерно властным. Разве я живу в другом мире? Как могу я осмелиться сказать это?

Иногда говорят: «На что мне жизнь? Я не хочу умирать только ради семьи»,— но ведь семья и есть само воплощение жизни, стало быть, жить хотят все-таки ради жизни. Ну, что касается матери, это, кажется, относится и ко мне, но лишь в последнее время. Но не благодарность ли и растроганность привели меня к этому? Благодарность и растроганность, потому что я вижу, с какой беспредельной для ее возраста силой она старается восстановить мои порванные связи с жизнью. Но благодарность тоже есть жизнь.

31 января. Это означало бы, что я живу ради матери. Но это не может быть верным, ибо, даже если бы я был чем-то бесконечно большим, чем я есть, я был бы все равно лишь посланцем жизни, пусть и ничем иным не связанным с нею, кроме как этим предначертанием.

Одним лишь негативным, каким бы сильным оно ни было, нельзя довольствоваться, как я думаю в свои самые несчастливые времена. Ибо, как только я взбираюсь на самую маленькую ступень, оказываюсь в какой-нибудь, пусть даже самой сомнительной, безопасности, я ложусь и жду, пока негативное не то что взберется за мной, а сорвет меня с этой малой ступени. Это своего рода оборонительный инстинкт, который не терпит во мне ни малейшего чувства длительной успокоенности и, например, разрушает супружеское ложе еще до того, как оно устроено.

1 февраля. Ничего, только усталость. Счастье ломового извозчика, который каждым вечером наслаждается так, как я сегодняшним, или еще больше. Скажем, вечером, лежа на печи. Человек чище, чем ут-

ром, время перед тем, как, усталый, засыпаешь,— это время настоящей свободы от призраков, все они изгнаны, лишь с продолжением ночи они возвращаются, к утру они уже все снова здесь, хотя и незримы, и вот здоровый человек снова принимается за их ежедневное изгнание.

С примитивной точки зрения настоящая, неопровержимая, решительно ничем (мученичеством, самопожертвованием ради другого человека) не искажаемая извне истина — только физическая боль. Странно, что главным богом в самых древних религиях не был бог боли (возможно, он стал им лишь в более поздних). Каждому больному — своего домашнего бога, легочному больному — бога удушья. Как можно вынести его приближение, если не быть с ним связанным еще до страшного соединения?

2 февраля. Борьба утром по дороге в Танненштайн, борьба при наблюдении за состязаниями по прыжкам на лыжах с трамплина. На маленького веселого Б., при всей его безобидности, все же как бы отбрасывают тень мои призраки, по крайней мере так я вижу его, в особенности эту выставленную вперед ногу в сером скатанном чулке, бессмысленно блуждающий взгляд, бессмысленные слова. Мне приходит в голову — но это уже натяжка,— что он хочет вечером проводить меня домой.

«Борьба» при изучении ремесла, наверное, была бы ужасной.

Достигнутый «борьбой» возможный предел негативного приближает разрешение вопроса: сохранить себя или погибнуть в безумии.

Какое счастье быть вместе с людьми.

3 февраля. Бессонница, почти сплошная; измучен сновидениями, словно их выцарапывают на мне, как на неподдающемся материале.

Слабость, бессилие очевидны, но описать эту смесь робости, сдержанности, болтливости, безразличия трудно, я хочу описать нечто определенное, ряд слабостей, которые в известном смысле представляют собой одну

поддающуюся точному определению слабость (она ничего общего не имеет с большими пороками, с такими, как лживость, тщеславие и т. д.). Эта слабость удерживает меня как от безумия, так и от любого взлета. За то, что она удерживает меня от безумия, я лелею ее; из страха перед безумием я жертвую взлетом, и, конечно же, в этой сделке, заключенной в области, никаких сделок не допускающей, я останусь в проигрыше. Если только не вмешается сонливость и своей отнимающей дни и ночи работой не разрушит все препятствия и не расчистит дорогу. Но тогда я опять отдамся во власть безумию, потому что я подавил в себе желание взлета, а взлет возможен только при желании взлететь.

4 февраля. Объят отчаянным холодом, измененное лицо, загадочные люди.

М. сказала, сама не вполне понимая (существует ведь и обоснованное печальное высокомерие) правду этих слов, о счастье, которое доставляет беседа с людьми. Но кого еще может так, как меня, порадовать беседа с людьми! Возвращаюсь к людям, вероятно, слишком поздно и странными обходными путями.

5 февраля. Спасти от них. Каким-нибудь ловким прыжком. Сидеть дома, в тихой комнате, при свете лампы. Говорить об этом — неосторожно. Это вызовет их из лесов — все равно что зажечь лампу, чтобы помочь напасть на след.

6 февраля. С утешением слушал рассказ о том, как кто-то служил в Париже, Брюсселе, Лондоне, Ливерпуле на бразильском пароходе, дошедшем по Амазонке до границы Перу, во время войны сравнительно легко перенес страшные муки зимней кампании, потому что он с детства привык к лишениям. Утешительна не только демонстрация таких возможностей, но и чувство наслаждения, что при успехах на первом уровне жизни одновременно завоевываешь многое, многое вырываешь из судорожно сжатых кулаков и на втором уровне. Значит, это возможно.

7 февраля. Защищен и истощен усилиями К. и Х.

8 февраля. В высшей степени издерган обоими, но все-таки жить так я действительно не смог бы, и это не жизнь, это подобно перетягиванию каната; другой при этом беспрерывно работает и побеждает и все же никогда не перетягивает меня к себе, но все-таки это спокойное отупение, подобно тому, как было с В.

9 февраля. Потерял два дня, но те же два дня использовал для того, чтобы укорениться.

10 февраля. Без сна, лишенный малейшей связи с людьми, кроме той, которую они устанавливают сами и в возможность которой я на миг начинаю верить, как и во все, что они делают.

Новая атака со стороны Г. Совершенно ясно, яснее, чем что бы то ни было, что, когда меня слева и справа атакуют могущественные враги, я не могу уклониться ни вправо, ни влево — только вперед, голодное животное, там дорога к годной для тебя пище, к чистому воздуху, к свободной жизни, пусть даже по ту сторону жизни. Ты ведешь за собой толпы, огромный великий полководец, поведи же отчаявшихся через покрытые снегом, никому другому не видные горные перевалы. Но кто даст тебе силы?

Полководец стоял у окна разрушенной хибары и широко раскрытыми немигающими глазами смотрел на ряды шагавших мимо в снегу и тусклом лунном свете войск. Время от времени ему казалось, что кто-то из солдат выходил из колонны, останавливался у окна, прижимал лицо к стеклу, бросал беглый взгляд на него и шел дальше. Хотя каждый раз это был другой солдат, ему казалось, что это один и тот же, одно и то же скуластое лицо с толстыми щеками, круглыми глазами, обветренной желтоватой кожей и что каждый раз, проходя, он поправлял амуницию, передергивал плечами и перебирал ногами, чтобы снова попасть в такт с шагавшей на заднем плане колонной. Раздраженный этой игрой, полководец подкараулил очередного солдата, распахнул перед ним окно и схватил его за грудь. «А ну-ка, влезай сюда», — велел он ему забраться через окно. В комнате он загнал его в угол, встал перед ним и спросил: «Кто ты такой?» «Я никто», — испуганно ответил

солдат. «Так я и думал,— сказал полководец.— Зачем ты заглядывал в окно?» «Хотел посмотреть, здесь ли ты еще».

12 февраля. Меня всегда отталкивала не та женщина, что говорила: «Я не люблю тебя», а та, что говорила: «Ты не можешь меня любить, как бы ты того ни хотел, ты, на свою беду, любишь любовь ко мне, любовь ко мне не любит тебя». Поэтому неправильно говорить, будто я познал слова «я люблю тебя», я познал лишь тишину ожидания, которую должны были нарушить мои слова «я люблю тебя», только это я познал, ничего другого.

Страх при катании на санках с гор, испуг, когда надо было пройти по скользкому снегу, короткий рассказ, прочитанный мною сегодня, снова вызвали мысль — она давно не приходила в голову, но всегда лежала на поверхности,— не является ли безумное своекорыстие, страх за себя, причем страх не за высокое «я», а страх за самое обыденное благополучие, причиной моей гибели — так, словно я сам вызвал из глубины моего существа мстителя (своеобразное: «правая рука не ведает, что творит левая»). В канцелярии все еще надеются, что моя жизнь начнется лишь завтра, между тем я у последней черты.

13 февраля. Возможность служить во всю силу.

14 февраля. Власть удобства надо мной, мое бессилие, когда я лишен его. Я не знаю никого, у кого и то и другое было бы столь сильно развито. Вследствие этого все, что я строю, ненадежно, непрочно, служанка, забывшая принести мне утром теплую воду, опрокидывает весь мой мир. При этом стремление к удобствам преследует меня с давних пор и не только отняло у меня силы переносить что-либо иное, но и силы создавать удобства, они сами создаются вокруг меня, или же я добиваюсь их мольбами, слезами, отказом от более важного.

15 февраля. Немножко пения внизу, немножко хлопанья дверью в коридоре — и все потеряно.

16 февраля. История о трещине в леднике.

18 февраля. Театральный директор, которому приходится создавать все самому, даже актеров. К нему не допускают посетителя — директор занят важными театральными делами. Какими? Меняет пленки будущему артисту.

19 февраля. Надежды?

20 февраля. Незаметная жизнь. Заметная неудача.

25 февраля. Письмо.

26 февраля. Я согласен — с чем согласен? с письмом? — что во мне есть возможности, явные возможности, которых я еще не знаю; но как найти дорогу к ним и, найдя ее, отважиться! То, что возможности существуют, значит очень много, это значит даже, что подлец может стать честным человеком, — счастливым своей честностью человеком.

Фантазии твоего полусна в последнее время.

27 февраля. Плохо спал после обеда, все изменилось, беда снова навалилась на меня.

28 февраля. Вид на башню и синее небо. Умиротворяет.

1 марта. «Ричард III». Обморок.

5 марта. Три дня в постели. Небольшое общество у постели. Поворот. Бегство. Полное поражение. Вечно запертая в комнатах мировая история.

6 марта. Снова серьезен и снова устал.

7 марта. Вчера был ужаснейший вечер, казалось, пришел конец.

9 марта. То была лишь усталость, но сегодня новый приступ, вызвавший испарину на лбу. Что, если сам собой задохнешься? Если из-за настойчивого самонаблюдения отверстие, через которое ты впадаешь в мир, станет слишком маленьким или совсем закроется? Временами я совсем надалек от этого. Текущая вспять река, В основном это происходит уже давно,

Отнять коня у атакующего и самому на нем поскакать. Единственная возможность. Но сколько сил и ловкости это требует! И как уже поздно!

Жизнь кустарника. Завидую счастливой, неистощимой и все же явно по необходимости (совсем как я) работающей, но всегда выполняющей все требования противника природе. И так легко, так музыкально.

Раньше, если у меня что-то болело и боль проходила, я был счастлив, теперь я испытываю лишь облегчение и горькое чувство: «Опять всего лишь здоров, не более того».

Где-то ждет помощь, и погонщики направляют меня туда.

13 марта. Чистое чувство и ясное понимание его источника. Вид детей, особенно одной девочки (прямая походка, короткие черные волосы) и другой (светловолосая, неопределенные черты, неопределенная улыбка), бодрящая музыка, маршевый шаг. Чувство человека в беде, который, когда приходит помощь, радуется не тому, что спасен — он вовсе не спасен, — а тому, что пришли новые молодые люди, надежные, готовые вступить в бой, правда не ведающие, что им предстоит, но их неведение вызывает у того, кто смотрит на них, не чувство безнадежности, а восхищение, радость, слезы. Сюда примешивается и ненависть к тем, с кем предстоит бой...

15 марта. Возражения, взятые из книги: популяризация, причем сделанная с увлечением и — волшебством. Как он обходит опасности (Блюер⁵).

Спасти бегством в завоеванную страну и вскоре счесть ее невыносимой, ибо спастись бегством нельзя нигде.

Еще не родиться — и уже быть обреченным ходить по улицам и разговаривать с людьми.

20 марта. Разговор за ужином об убийце и казни. Никакой страх не ведом спокойно дышащей груди. Неведома разница между совершённым и задуманным убийством.

22 марта. После обеда. Сон про опухоль на щеке. Постоянно трепещущая грань между обычной жизнью и кажущимся более реальным ужасом.

24 марта. Как все подстерегает меня! Например, по дороге к врачу, часто именно там.

29 марта. В потоке.

4 апреля. Как длинна дорога от внутренней беды до сцены, подобной той, что разыгралась во дворе, и как короткий обратный путь. И поскольку находишься на родине, уже никуда не денешься.

6 апреля. Уже два дня предчувствие, вчера приступ, дальнейшее преследование, великая сила врага. Один из поводов: разговор с матерью, шутки по поводу будущего. Запланированное письмо к Милене.

Три эринии. Бегство в рощу. Милена.

7 апреля. Две картины и две терракоты на выставке. Сказочная принцесса (Кубин⁶), обнаженная, на диване, смотрит в открытое окно, пейзаж словно входит в комнату в манере пленэра, как на картине Швинда⁷.

Обнаженная девушка (Брудер⁸) немецко-богемского типа, в своей только ей присущей грации покоящаяся в объятиях возлюбленного, — благородно, убедительно, обольстительно.

Пич⁹: крестьянская девушка сидит, свесив ногу, ступня чуть повернута, наслаждается отдыхом; стоящая девушка, ее правая рука покоится на животе, обхватив тело, левая рука подпирает подбородок, плосконосое, простодушно-глубокомысленное, неповторимое лицо.

Письмо от Шторма.

10 апреля. Пять ведущих принципов для ада (в генетической последовательности).

1. «За окном самое страшное». Все остальное — ангелоподобно, с этим прямо или, при несогласии (что случается чаще), молчаливо соглашаются.

2. «Ты должен обладать каждой девушкой!» — не допжуански, а, по слову черта, согласно «сексуальному этикету».

3. «Этой девушкой ты не смеешь обладать!» — и потому и не можешь. Небесная *fata morgana* в аду.

4. «Все это — лишь естественная потребность»; так как у тебя она есть, будь доволен.

5. «Естественная потребность — это все». Как можешь ты иметь все? Потому у тебя нет даже естественной потребности.

Юношей я был так неискушен и равнодушен в сексуальном плане (и очень долго оставался бы таким, если бы меня насильно не толкнули в область сексуального), как сегодня, скажем, в плане теории относительности. Меня удивляли только мелочи (и то лишь после должного обучения), например, что именно те женщины, которые на улице казались мне самыми красивыми и самыми нарядными, непременно должны быть дурными.

Вечная молодость невозможна; не будь даже другого препятствия, самонаблюдение сделало бы ее невозможной.

13 апреля. Страдание Макса. Утром в его конторе.

Днем перед церковью (пасхальное воскресенье).

Невысокая девушка — восемнадцати лет, нос, форма головы, светловолосая, мельком видел профиль — вышла из церкви.

16 апреля. Страдание Макса. Прогулка с ним. Во вторник он уезжает.

27 апреля. Вчера девушка из «Маккаби»¹⁰ в редакции «Самозащиты» говорит по телефону: «Prisla jsem ti romost» *. Чистый, нежный голос и язык.

Вскоре после этого открыл дверь М.

8 мая. Работа с плугом. Он глубоко врежется в землю и тем не менее идет легко. Или он только царапает землю. Или идет вхолостую с поднятым никчемным лемехом, с ним или без него — все равно.

* «Я пришла тебе помочь» (чешск.).

Работа закрывается, как может закрыться нелеченая рана.

Разве это значит вести разговор, если один молчит и, чтобы поддержать видимость разговора, его пытаются заменить, то есть подражают ему, то есть пародируют его, то есть пародируют сами себя.

М. была здесь, больше не придет, вероятно, это умно и правильно, и все же, наверное, есть возможность, запертую дверь которой мы оба охраняем, чтобы она не открылась или, вернее, чтобы мы не открыли ее, ибо сама она не откроется.

12 мая. «Проповедник»¹¹. Бесперывное разнообразие, и вдруг среди него на миг ослабевшее умение создавать вариации — это трогательно.

Из «Паломника Каманиты»¹²: «О дорогой, подобно тому, как человек, которого привезли с завязанными глазами из страны гандхарвов и затем отпустили в пустыню и его заносило на восток, или север, или юг, ибо он был привезен с завязанными глазами и с завязанными глазами был отпущен; но после того, как кто-то снял с его глаз повязку и сказал ему — «вон там живут гандхарвы, туда иди», — он, идя от селения к селению и спрашивая дорогу, наученный и вразумленный, добрался до родных гандхарвов, — тоже человек, который нашел на земле сей учителя и понял: к этой мирской суете я лишь до тех пор буду причастен, пока не найду спасения, и тогда я вернусь домой».

Оттуда же: «Пока он во плоти, его видят люди и боги, но, когда плоть его разрушает смерть, его не видят больше ни люди, ни боги. И даже природа, за всем следящая природа, не видит его больше: ослепил он око природы, бежал от нее, от злой».

19 мая. Вдвоем он чувствует себя более покинутым, чем один. Если он с кем-нибудь вдвоем, этот второй хватает его и крепко держит его, беспомощного, в своих руках. Если он один, его хватает, правда, все человечество, но бесчисленные вытянутые руки запутываются одна в другой, и никто его не настигает.

20 мая. Масоны на Альтшtedтер-ринг. Возможно, что всякая речь и учение истинны,

Маленькая, грязная, босоногая девочка бежит в коротком платьице, с развевающимися волосами.

23 мая. Неправильно, когда говорят о ком-нибудь: ему хорошо, он мало страдал; правильнее было бы: он был таким, что с ним ничего не могло случиться; самое правильное: он все перенес, но все в один-единственный момент,— как могло с ним случиться что-нибудь еще, если вариации страдания в действительности или благодаря его могущественному слову полностью были исчерпаны.

5 июня. Похороны Мыслбека ¹³.

Талант к «штопке».

23 июня. Плана ¹⁴.

27 июля. Приступы. Вчера вечером прогулка с собакой. Tvrz Sedlec *. Вишневая аллея у опушки леса, своей укромностью подобная комнате. Мужчина и женщина возвращаются с поля. Девушка в дверях конюшни в заброшенном дворе, словно борющаяся со своими большими грудями, невинно-внимательный звериный взгляд. Мужчина в очках везет тяжело нагруженную тележку с кормом, пожилой, немного горбатый, тем не менее держащийся из-за напряжения очень прямо, высокие сапоги, женщина с серпом, рядом с ним и позади него.

26 сентября. Два месяца ничего не записывал. С перерывами хорошее время, которым я обязан Оттле. В последние дни снова крах. В первый его день сделал в лесу своего рода открытие.

14 ноября. Вечером все время 37,6, 37,7°. Сижу за письменным столом, ничего не получается, почти не выхожу на улицу. Тем не менее это тартюфство — жаловаться на болезнь.

18 декабря. Все время в постели. Вчера «Или — или» ¹⁵.

* Крепость Седлец (чешск.).

12 июня. Ужасы последнего времени, неисчислимы, почти непрерывные. Прогулки, ночи, дни, не способен ни на что, кроме боли.

И все-таки. Никакого «и все-таки», как бы испуганно и напряженно ты ни смотрела на меня, Крижановская, с открытки, стоящей предо мной.

Все более боязлив при писании. Это понятно. Каждое слово, повернутое рукою духов — этот взмах руки является их характерным движением, — становится копьем, обращенным против говорящего. Особенно такого рода замечания. И так до бесконечности. Одно только утешение: это случится, хочешь ты или нет. А если ты и хочешь, это поможет лишь совсем немного. Но вот что больше, чем утешение: у тебя тоже есть оружие.

ПРИМЕЧАНИЯ ИЗ ДНЕВНИКОВ

В «Дневниках» Кафки зафиксированы литературные замыслы, фрагменты, варианты, незаконченные рассказы, сны, зачастую мало чем отличающиеся от его новелл, и наброски новелл, подобные снам, размышления о жизни, о литературе и искусстве, о прочитанных книгах и увиденных спектаклях, мысли о писателях, художниках, актерах; сюда занесены копии отправленных или отрывки непосланных писем, главы из будущих романов. Все это в сочетании с записями сугубо личного характера складывается в полную картину его «фантастической внутренней жизни», его безграничного одиночества — столь мучительного и вместе с тем столь желанного, — непрерывно терзающего его страха — страха перед жизнью, страха перед несвободой, но и перед свободой, страха перед изменениями, но и перед продолжением привычной жизни. С такой пронзительностью здесь раскрыта беспрестанная трагическая борьба с самим собой и окружающей действительностью, что многое в его романах и новеллах, кажущееся искусственным плодом причудливой фантазии, получает объяснение, обнаруживает свою реалистическую подоплеку, раскрывается как чисто автобиографическое.

Кафка начал вести дневник с 1910 года и вел его — иногда с продолжительными перерывами — по 1923 год. Самую большую часть составляют записи 1911 и 1914 годов; 1918 год вообще отсутствует; записей за 1919, 1920, 1921, 1922, 1923 годы немного, и они приведены нами полностью; из записей остальных годов здесь представлено около половины текста. Выбранные записи, как правило, даются без купюр.

Отдельную часть «Дневников» составляют путевые дневники, которые Кафка вел во время путешествий по Швейцарии, Франции и Германии (1911 и 1912 годы), в наше издание они не включены.

Выборка и перевод сделаны по книгам: Franz Kafka, Tagebücher 1910—1923. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Mein, 1951; Das Kafka-Buch, Fischer-Bücherei, 1965.

В своем послесловии к книге М. Брод пишет, что «опустил отдельные незначительные, слишком фрагментарные места. При этом дело в большинстве случаев касается лишь нескольких слов. Не вклю-

чены и некоторые фразы, повторяющиеся с небольшими вариациями... В некоторых (редких) случаях опущены чрезмерно интимные записи, а также чересчур оскорбительная критика того или иного человека... Живые люди чаще всего обозначены инициалами или неопределенной буквой,— если только речь не идет о художниках или политиках, которые по роду своей деятельности всегда должны быть готовы к тому, чтобы их критиковали. В то время как при полемике с другими здравствующими лицами я прибегал к купюрам, я не считал нужной такую цензуру в тех немногих случаях, когда Кафка отрицательно высказывался обо мне (то шутивно-иронически, то серьезно). Читатель сам разберется в естественно создающемся при этом неправильном впечатлении, будто я единственный, против кого у Кафки было что-то на сердце».

1910

¹ Запись от 19 июля приведена в «Дневниках» в трех вариантах (здесь публикуется третий). Из разночтений наиболее существенна имеющаяся только во втором варианте фраза: «Короче говоря, этот упрек всажен, как кинжал, во все общество, и никто — повторяю: к сожалению, никто — не уверен, что острее кинжала не вылезет вдруг спереди, или сзади, или сбоку».

² *Фред В.* (1879—1922) — художественный критик и эссеист.

³ «*Бишофсбергские девы*» («Die Jungfern von Bischofsberg») — комедия немецкого драматурга Герхарда Гауптмана (1862—1946).

⁴ *Брод, Макс* (1884—1968) — австрийский писатель и критик; ближайший друг и душеприказчик Кафки, автор книги о его жизни и творчестве: «Franz Kafka. Eine Biographie» (первое издание книги вышло в 1937 году в Праге, третья, дополненное новыми материалами,— в 1954 году во Франкфурте-на-Майне, в издательстве Фишера).

⁵ *Кузмин, Михаил Алексеевич* (1875—1936) — русский писатель; «Подвиги Великого Александра» опубликованы в 1910 году («Вторая книга рассказов». М., «Скорпион»). Интересно отметить, что сборник М. Кузмина впервые вышел на немецком языке в 1912 году. Можно было бы предположить, что выписки — в очень точном переводе — из «Подвигов Великого Александра», занесенные в дневник 21 декабря 1910 года, даны Кафкой в собственном переводе, но подтверждений того, что Кафка знал русский язык, не имеется.

⁶ *Баум, Оскар* (1883—1940) — австрийский писатель, один из близких друзей Кафки.

1911

¹ *Берадт, Мартин* (1881—1949) — один из сотрудников берлинского еженедельника «Aktion» (1911—1914).

² «*Как достичь познания высших миров*» («Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten») — название книги австрийского теософа Рудольфа Штайнера (1861—1925).

³ Существует гипотеза, согласно которой легендарный материк Лемурия, бывший колыбелью человеческой цивилизации, погиб в Индийском океане.

⁴ *Тухольский, Курт* (1890—1935) — немецкий писатель-публицист,

Сафранский, Курт — немецкий художник, современник Тухольского и Кафки.

⁵ *Чиссик и Лёви* — актеры странствующей еврейской труппы, выступавшей в то время в пражском кафе «Савой». С Исааком Лёви Кафка особенно подружился, его имя часто встречается в «Дневниках».

⁶ *Тауссиг, Эльза* — будущая жена Макса Брода.

⁷ «*Рихард и Самуэль*» — название (Кафка ошибочно пишет здесь «Роберт и Самуэль») романа, который Кафка и Брод собирались писать вместе. Замысел этот не был осуществлен; фрагменты, написанные Кафкой, Брод опубликовал в первом томе собрания сочинений Кафки («Erzählungen und kleine Prosa», 1935); один отрывок напечатан при жизни Кафки (в 1912 году) в издававшихся Вилли Хаасом «Herderblätter».

⁸ «*Неудачники*» («Die Mißgeschickten») — роман немецкого писателя Вильгельма Шефера (1868—1952).

⁹ Этот отрывок с небольшими сокращениями и изменениями опубликован затем под названием «Несчастье холостяка» («Das Unglück des Junggesellen») в сборнике «Созерцание» («Betrachtung», январь, 1913).

¹⁰ *Шницлер, Артур* (1862—1931) — австрийский драматург, прозаик и поэт.

Утиц, Эмиль (1883—1956) — гимназический соученик Кафки, впоследствии философ.

¹¹ *Киш, Пауль* — соученик Кафки, брат чешско-немецкого писателя-публициста Эгона Эрвина Киша (1885—1948).

¹² *Штауффер-Берн, Карл* (1857—1891) — швейцарский художник, график и скульптор

¹³ «*Бобровая шуба*» (1893) — сатирическая пьеса Герхарта Гауптмана.

¹⁴ *Верхан* — один из главных персонажей «Бобровой шубы».

¹⁵ «*Гипподамия*» (1890—1891) — пьеса чешского поэта и драматурга Ярослава Врхлицкого (1853—1912).

¹⁶ *Латайнер, Йозеф* (1853—1935) — чешско-немецкий драматург, автор пьес о жизни евреев.

¹⁷ *Лёви, Альфред* — старший дядя Кафки со стороны матери, добившийся высокого положения (он стал генеральным директором железных дорог в Испании).

¹⁸ *Лёви, Рудольф* — сводный брат матери Кафки, бухгалтер; он также остался холостяком, жил уединенно, слыл в семье чудачком. В одном из писем Кафка писал о нем, что он все больше превращается в «загадочного, сверхскромного, одинокого и при этом почти болтливого человека».

1912

¹ «*Голоый человек*» («Der nackte Mann», 1912) — роман немецкого писателя Эмиля Штрауса (1866—1960).

² *Велч, Феликс* — писатель и философ, друг Кафки.

³ Этот отрывок под названием «Внезапная прогулка» («Der plötzliche Spaziergang») опубликован затем в сборнике «Созерцание».

⁴ *Ашер, Эрнст* — немецкий художник.

⁵ *Ведекинд, Франк* (1864—1918) — немецкий писатель, драматург. Пьеса «Дух земли» («Erdgeist») написана в 1895 году.

⁶ *Демель, Рихард* (1863—1920) — немецкий поэт.

⁷ *Ридеамус* (от латинского *ridere* — смеяться) — псевдоним немецкого писателя Кица Оливена (1874—1956) — автора комедий, сатирических стихов, эстрадных обзоров.

⁸ *Моисси, Александр* (1880—1935) — австрийский актер.

⁹ *Лагерлёф, Сельма* (1858—1940) — шведская писательница.

¹⁰ *Гарден, Максимилиан* (1861—1927) — немецкий публицист, издатель и критик.

¹¹ *Пик, Отто* (1887—1938) — критик, переводчик на немецкий язык чешских пьес, в том числе Карела и Йозефа Чапеков; один из редакторов газеты «Prager Presse».

¹² Кафка в это время работал над романом, упоминаемым в «Дневниках» под названием «Der Verschollene» («Пропавший без вести»). Роман остался незаконченным, рукопись названия не имела, и при издании Макс Брод назвал его «Америка», объясняя это тем, что в беседах Кафка говорил, что работает над «американским романом». При жизни Кафки опубликована (в 1913 году) первая глава романа под названием «Кочегар» («Der Heizer»).

¹³ Речь идет о подготовке к изданию сборника новелл «Созерцание», рукопись которого была затем отправлена в середине августа в издательство «Ровольт».

¹⁴ *Грильпарцер, Франц* (1791—1872) — австрийский поэт, прозаик. Новелла «Бедный музыкант» («Der arme Spielmann») посвящена судьбе бесправного и обездоленного человека, который исполнен нравственного величия и человеческого достоинства.

¹⁵ *Ровольт, Эрнст* (1887—1960) — издатель, выпустивший первую книгу Кафки — сборник «Созерцание».

¹⁶ Ф. Б. — *Фелица Бауэр* (1887—1960), берлинская девушка, с которой Кафка за два дня до этого познакомился. В конце мая 1914 года в Берлине состоялось их официальное обручение, расторгнутое в конце июля того же года. В 1915 году их отношения были возобновлены, в июле 1917 года состоялось вторичное обручение, снова расторгнутое в декабре того же года. Отношениям с Фелицей Бауэр посвящены многие страницы «Дневников».

¹⁷ «*Польское хозяйство*» — название оперетты Жана Жильбера.

¹⁸ 14 августа Кафка отправил Ровольту рукопись сборника «Созерцание».

¹⁹ *Ленц, Якоб Михаэль Рейнгольд* (1751—1792) — немецкий писатель, один из поэтов и теоретиков «Бури и натиска».

²⁰ *Верфель, Франц* (1890—1945) — австрийский писатель. Кафка был с ним близким знаком.

²¹ Перед этой записью в «Дневниках» приведен полный текст новеллы «Приговор» («Das Urteil»).

²² Имеется в виду работа над «Америкой»; после записи от 25 сентября следует переписанная набело первая глава романа, «Кочегар».

²³ «*Аркадия*» («Arkadia») — ежегодник, издававшийся Максом Бродом (вышел только один номер в 1913 году); здесь впервые была опубликована новелла Кафки «Приговор» с посвящением Фелице Бауэр.

²⁴ «*Арнольд Беер*» («Arnold Beer», 1912) — роман Макса Брода.

²⁵ *Вассерман, Якоб* (1873—1934) — немецкий писатель.

¹ Это имя по-немецки пишется Friede и имеет столько же букв, что и Felice.

² Городок в Швейцарии, где Кафка несколько раз проводил отпуск.

³ *Кьеркегор, Сёрен* (1813—1855) — датский писатель, философ, теолог.

⁴ Имеется в виду отец Фелицы Бауэр.

⁵ По свидетельству М. Брода, воспоминания П. Кропоткина, как и Герцена, были в числе любимых книг Кафки, вообще питавшего пристрастие к чтению воспоминаний, дневников, биографических и автобиографических произведений. В «Дневниках» имеются выписки — иной раз по шесть-семь страниц — из книг «Разговоры с Гёте» Эккермана, «Воспоминания генерала Марселлина де Марбо» Пауля Хольцхаузена, «Немцы в России 1812» и др.

⁶ *Якобсон, Зигфрид* (1881—1926) — немецкий публицист, театральный критик.

⁷ *Эренфельс, Кристиан фон* (1859—1939) — австрийский философ, предшественник гештальтпсихологии.

⁸ Речь идет о новелле «Превращение» («Die Verwandlung»).

⁹ «*Михаэль Кольхаас*» (1810) — новелла немецкого писателя Генриха фон Клейста (1777—1811).

¹⁰ Слова Ивана Карамазова из романа «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского.

¹¹ *Бергман, Хуго* — школьный товарищ Кафки, впоследствии философ.

1914

¹ *Дильтей, Вильгельм* (1833—1911) — немецкий философ, историк культуры. Книга «Переживание и творчество» («Das Erlebnis und die Dichtung») написана в 1906 году.

² *Фройляйн Бл.* — Грета Блох, подруга Фелицы Бауэр.

³ *Элли (Габриэла)* — сестра Кафки.

⁴ «*Злая невинность*» («Böse Unschuld») — роман Оскара Баума.

⁵ *Музиль, Роберт* (1880—1942) — австрийский писатель.

⁶ Перед этой записью приведены наброски к рассказу о белой лошади.

⁷ Во время этой поездки состоялось первое обручение Кафки с Фелицей Бауэр.

⁸ Этот и следующий отрывки написаны почти за два месяца до начала первой мировой войны и вступления русских войск в Австрию; вслед за этими отрывками идет запись от 11 июня 1914 года — большой отрывок (11 страниц) под названием «Обольщение в деревне» («Verlockung im Dorf»), являющийся подготовительным наброском к роману «Замок», к работе над которым Кафка вернулся много лет спустя (1921—1922).

⁹ *Оттла (Оттилия)* — младшая, любимая сестра Кафки.

¹⁰ Кафка начал работать над романом «Процесс».

¹¹ Два года назад, в 1912 году, Кафка работал над новеллами «Приговор», «Превращение», романом «Америка».

¹² Кафка в это время одновременно работал над «Обольщением в деревне», русским рассказом, «Процессом».

¹³ *Жамм, Франсис* (1868—1938) — французский поэт и прозаик.

¹⁴ Орывок под названием «Поездка к матери» («Fahrt zur Mutter») опубликован в качестве приложения к роману «Процесс».

¹⁵ Имеется в виду притча о привратнике у врат Закона, рассказанная К.—герою «Процесса» — священником в соборе.

¹⁶ Опубликован впоследствии Бродом под названием «Der Riesentauwurm» («Гигантский крот»).

¹⁷ Глава первая из шестой части «Былого и дум».

1915

¹ *Фанни Райз* — одна из учениц школы для детей беженцев в Галиции, где Брод преподавал всемирную историю; Кафка познакомился с этой девушкой, навещая Брода. В «Дневниках» она затем упоминается несколько раз. *Лемберг* — название г. Львова, когда он входил в состав Австро-Венгерской монархии.

² Страховое общество Assicurazioni Generali, где Кафка впервые начал работать (октябрь 1907).

³ *Вийс, Эрнст* (1884—1940) — австрийский писатель, друг Кафки, служивший посредником в его отношениях с Фелицей Бауэр.

⁴ Роман Г. Флобера.

⁵ *Карл Россман* — герой романа «Америка»; *Йозеф К.* — герой романа «Процесс».

⁶ *Де Марбо, Жан Батист Антуан Марселлин* (1782—1854) — автор мемуаров о наполеоновских походах.

⁷ *Лангер, Георг* (1894—1943) — психоаналитик, исследователь хасидизма.

1916

¹ Герои одноименной иллюстрированной повести в стихах для детей немецкого поэта и художника Вильгельма Буша (1832—1908).

² Имеется в виду письмо к Фелице Бауэр.

1917

¹ За несколько дней до этого врачи впервые установили у Кафки туберкулез; он принял решение расторгнуть вторую помолвку с Фелицей Бауэр, уволиться со службы и переехать в деревню к своей сестре Оттле.

² *Таггер, Теодор* (1891—1958) — австрийский писатель, драматург.

³ Письмо это оказалось предпоследним, оно приведено полностью во впервые изданном в конце 1967 года Э. Хеллером и Ю. Борном томе писем Кафки к Фелице, содержащем также и другую корреспонденцию, связанную с обеими помолвками Кафки с Фелицей («Franz Kafka, Briefe an Felice und andere Korrespondenz aus der Verlobungszeit. S. Fischer Verlag, 1967»). Перед переписанным в дневник отрывком сказано:

«То, что во мне борются два человека, Ты знаешь. Что лучший из этих двух принадлежит Тебе, в этом я меньше всего сомневаюсь, особенно в последние дни. О ходе борьбы я в течение пяти лет изве-

шал Тебя — большей частью к Твоей муке — словами и молчанием, и тем и другим вместе. Если Ты спросишь меня, всегда ли это было правдиво, я смогу лишь ответить, что ни перед одним человеком я с такой силой не избегал сознательной лжи или — чтобы быть еще более точным — не избегал с большей силой, чем перед Тобой. К маскировке я иной раз прибегал, ко лжи — очень мало, если допустить, что вообще может быть «очень мало» лжи. Я лживый человек, иначе я не могу сохранять равновесие, мой челл очень неустойчив».

Далее следует приведенный в дневнике отрывок, после которого в письме написано:

«Примени это к нашему случаю, который не является «любим», скорее это мой одиночный случай. Ты мой суд человеческий. Два человека, что борются во мне или, вернее, из чьей борьбы я весь, вплоть до последней истерзанной частички моего существа, состою, — это добрый и злой; временами они меняют свои маски, и это еще больше запутывает запутанную борьбу; но в конце концов, при всех ударах самого последнего времени я все же мог надеяться, что самое невероятное (самым вероятным была бы вечная борьба), которое всегда ведь представлялось мне в мечтах чем-то лучезарным, все-таки случится и я, с годами ставший жалким, убогим, наконец обрету Тебя.

Вдруг оказалось, что потеря крови была слишком велика. Кровь, которую проливает добрый (теперь мы называем его добрым), чтобы выиграть Тебя, идет на пользу злему. Когда злой — вероятно или возможно — собственными силами не может больше найти ничего существенно нового для своей защиты, тогда это новое представляется ему добрым. Втайне я считаю, что моя болезнь вовсе не туберкулез, а общее мое банкротство. Я думал, что можно будет еще держаться, но держаться больше нельзя. Кровь исходит не из легких, а из раны, нанесенной обычным или решающим ударом одного из борцов.

Этот борец получил теперь поддержку — туберкулез, поддержку столь огромную, какую находит, скажем, ребенок в складах материнской юбки. Чего теперь хочет другой? Разве борьба не достигла блистательного конца? Это туберкулез, и это конец. Что иное остается другому — слабому, усталому и в таком состоянии почти невидимому Тебе, — как не прислониться здесь, в Цюрау, к Твоему плечу и вместе с Тобой, самой невинностью чистого человека, ошеломленно и безнадежно с удивлением воззреться на взрослого мужчину, который, почувствовав себя обладателем любви человечества или предназначенной ему наместницы, пускается на свои отвратительные подлости. Это искажение моих стремлений, которые сами по себе уже суть искажение. Не спрашивай, почему я устанавливаю преграду. Не лишай меня тем самым мужества. Одно только такое слово — и я снова у Твоих ног. Но мне сразу же опять вспоминается действительный или, скорее, мнимый туберкулез, и я должен отказаться от этого. Это оружие, начиная с «физической неспособности», поднимаясь до «работы» и опускаясь до «алчности», предстает во всей своей скудной целесообразности и примитивности.

Впрочем, я открою тебе секрет, в который я и сам сейчас совсем не верю (хотя меня, вероятно, должен был бы убедить мрак, охватывающий меня и разливающийся далеко вокруг при попытках работать и думать), но который тем не менее правда: я уже не вы-

здоровею. Именно потому, что это не туберкулез, который укладывают в шезлонг и выхаживают, а оружие, крайняя необходимость в котором существует до тех пор, пока существую я. Оба же существовать не могут».

⁴ *Вальзер, Роберт* (1878—1956) — швейцарский прозаик и поэт.

1919

¹ *Юлия Вохрыцек*, вторая невеста Кафки; знакомство, обручение, расторжение помолвки — все это произошло в течение полугода и послужило толчком к написанию «Письма отцу».

² *Элзеус (Елисей)* — герой романа Кнута Гамсуна (1859—1952) «Соки земли» (1917).

1921

¹ Речь идет о чешской журналистке Милене Есенской (это первое упоминание ее имени в «Дневниках»). Кафка познакомился с ней в начале 1920 года, после того как в чешском журнале «Ктеп» был опубликован ее перевод «Кочегара». Связь продолжалась в течение двух лет. В 1952 году один из друзей Кафки, немецкий журналист Вилли Хаас, издал письма Кафки к ней («Franz Kafka, Briefe an Milena»). Как пишет в послесловии к книге В. Хаас, письма были ему подарены Миленой в 1939 году, вскоре после вступления немецких войск в Прагу (в 1939 году Миленка была заключена в концентрационный лагерь, где в 1944 году погибла).

² «*Воспитание чувств*» (франц.) — роман Г. Флобера.

³ *Эреништайн, Альберт* (1886—1950) — немецкий лирик и новеллист.

⁴ *Палленберг, Макс* (1877—1934) — австрийский актер.

⁵ *Раабе, Вильгельм* (1831—1910) — немецкий писатель.

⁶ «*Náš Skautik*» — журнал чешских скаутов.

⁷ Повесть Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича», которая, по свидетельству М. Брода, наряду с народными рассказами Толстого была в числе любимых произведений Кафки.

1922

¹ Эти вопросы адресованы Милене Есенской.

² См. прим. 9 к 1911 году.

³ *Рихард Лёви*, дядя Кафки со стороны матери, адвокат, у которого Кафка в 1906 году, после окончания юридического факультета Пражского университета, работал ассистентом.

⁴ Слова из новеллы Кафки «Сельский врач» (1919).

⁵ *Блюэр, Ганс* (1888—1955) — немецкий писатель, с книгой которого «*Secessio Judaica*» («Отделение евреев») Кафка полемизировал.

⁶ *Кубин, Альфред* (1877—1959) — австрийский художник и писатель.

⁷ *Швинд, Мориц фон* (1804—1871) — немецкий живописец и график.

⁸ *Брудер* — австрийский художник.

⁹ *Пич, Людвиг* — австрийский художник.

¹⁰ Еврейское спортивное общество. «Самозащита» («Selbstwehr») — пражский еврейский еженедельник.

¹¹ «*Великий проповедник*» («Der große Maggid») — книга австрийского писателя, философа Мартина Бубера (1878—1965).

¹² «*Паломник Каманита*» («Pilger Kamanita») — роман с буддистской тематикой датского писателя Карла Гьеллерупа (1857—1919).

¹³ *Мыслбек, Йозеф Вацлав* (1848—1922) — чешский скульптор.

¹⁴ *Плана* — местечко в юго-восточной Богемии, где Кафка отдыхал у своей сестры Оттлы.

¹⁵ «*Или — или*» — книга С. Кьеркегора.

Е. Кацева

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Д. Затонский. Предисловие</i> ,	3
АМЕРИКА. Роман. <i>Перевод В. Белоножки</i> , ,	15
ПРОЦЕСС. Роман. <i>Перевод Р. Райт-Ковалевой</i>	241
ИЗ ДНЕВНИКОВ. <i>Перевод Е. Кацевой</i>	429
Примечания ,	597

Кафка Ф.

К30 Америка: Роман; Процесс: Роман; Из дневников: Пер. с нем. / Авт. предисл. Д. Затонский.— М.: Политиздат, 1991.— 606 с.
ISBN 5—250—01696—0

В сборник избранных произведений Франца Кафки — одного из крупнейших немецкоязычных писателей XX века — наряду с публиковавшимся ранее романом «Процесс» и дневниками включен роман «Америка», ранее неизвестный советскому читателю.

К 0301080000—113
079(02)—91

ББК 84.4А

Франц Кафка

АМЕРИКА. Роман
ПРОЦЕСС. Роман
ИЗ ДНЕВНИКОВ

Перевод с немецкого

Составитель *Евгения Александровна Кацева*

Редактор *К. В. Ажаев*

Младшие редакторы *И. В. Конопляникова, Е. А. Чернова*

Художник *М. Л. Уранова*

Художественный редактор *В. И. Шедька*

Технический редактор *В. П. Крылова*

ИБ № 8965

Сдано в набор 19.11.90. Подписано в печать 27.02.91. Формат 84×108¹/₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 32.03. Уч.-изд. л. 33,95. Тираж 150 тыс. экз. Заказ № 1355.
Цена 10 руб.

Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий».
103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.

ich so weit war, dass ich durch nur gerade
 lassen konnte und wo ich, wie
 der letzten Stufe meiner
 aber ruhig auf dem Boden
 der Wand. Aber was das war, was für
 eine Wand! Und doch für eine Leiter nicht,
 so drückten sie mein Frisbe an den Boden,
 so hoben sie meine Frisbe an die Wand.



10 руб.



Легко вообразить,
что каждого окружает
уготованное ему великолепии жизни
во всей его полноте,
но оно скрыто завесой,
глубоко спрятано, невидимо,
недоступно. Однако оно не злое,
не враждебное, не глухое.
Позови его заветным словом,
оклики истинным именем,
и оно придет к тебе.
Вот тайна волшебства —
оно не творит, а вызывает.

ФРАНЦ КАФКА

Издательство политической литературы